АЛЕКСАНДР

# ЯКОВЛЕВ

## ЧЕЛОВЕК И ПУСТЫНЯ

# АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

# ЧЕЛОВЕК И ПУСТЫНЯ

РОМАН
РАССКАЗЫ

Москва
«Художественная литература»
1986

Р2
Я47

Вступительная статья
В. ПЕТЕЛИНА

Составление и подготовка текста
В. ЯКОВЛЕВОЙ

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

Я 4702010200-245
028(01)-86 53-86

© Статья, составление, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

## А. С. ЯКОВЛЕВ

(1886—1953)

Мало кто знает сейчас творчество писателя Александра Степановича Яковлева, а в двадцатые годы он пользовался большой и заслуженной известностью. О его творчестве много писали. В 1925 году А. М. Горький обратил на Яковлева внимание, а в письме к Ромену Роллану (1928) написал: «Хорошо растут Александр Яковлев, Каверин...»

«Прекрасным рассказчиком» считал Яковлева А. Луначарский. «Это настоящий живописец-жанрист, картины которого обыкновенно невелики, но полны тонко наблюденной жизнью,— отмечал он,— исполнены с простым, не кокетничающим, но серьезным мастерством...» [1]

Действительно, в каждом своем произведении Александр Яковлев стремился воспроизвести правду эпохи, показать людей своего времени, со всеми их достоинствами и недостатками. Писатель не боялся ставить своих героев в остродраматические положения, когда человеческое существо обнажается, предстает таким, каково оно на самом деле, без всяких прикрас. «Ведь мы,— писал он в дневнике,— держимся только правдой, непререкаемой правдой, мы говорим о жизни, какова она есть на самом деле» [2].

Передо мною «Схема для изучения личности и творчества писателя (клуб ФОСП [3], кабинет по изучению труда и быта писателя)», заполненная Александром Яковлевым в конце двадцатых годов. Казалось бы, «схемы», «анкеты» мало что дают для понимания личности писателя. Но «схема», о которой идет речь в данном случае, весьма своеобразна. Заполняющий ее писатель отвечает на вопросы, редко встречающиеся в обычных анкетах.

Так, Александр Степанович пишет, что считает себя человеком средней силы воли; борьба с препятствиями его весьма привлекает;

---

[1] Луначарский А. В. Собр. соч., т. 2, с. 292.

[2] Здесь и далее материалы ЦГАЛИ.

[3] Издательство Федерации объединений советских писателей, основанное в 1929 году в Москве. Оно существовало до 1934 года, затем влилось в издательство «Советский писатель».

преобладающее его настроение — скорее жизнерадостное; анализировать собственные переживания не любит; считает себя человеком романтичным, цельным по натуре, с преобладанием социального. «Чрезвычайно большая любовь к природе,— подчеркивает он,— отсюда устойчивость, бодрость».

Читаешь это, и перед тобой постепенно вырисовывается облик скромного, доброжелательного человека, умного, требовательного к самому себе художника.

Александр Степанович Яковлев родился в 1886 году в городе Вольске Саратовской губернии, в семье маляра. «Все мои родственники со стороны отца,— писал он,— крестьяне, бывшие крепостные графа Орлова-Давыдова, а со стороны матери — бурлаки на Волге. Никто из моих близких родичей не знал грамоты. Из всех родичей только моя мать и дед — ее отец — умели читать церковнославянские книги».

Большую роль сыграла в жизни Александра Яковлева его бабка: «Ее сказки, ее рассказы, ее яркий красочный язык прошли со мной через всю мою жизнь». Под влиянием книжек про разбойников в двенадцать лет он бежал из дома в пермские леса. Много верст прошел пешком, но, конечно, вернулся, «измученный голодом и дорогой». В пятнадцать лет окончил городское училище. Год прослужил на телеграфе, потом на почте. В шестнадцать начал писать, печатался в местной газете. «Чрезвычайно много читал... В то время прочел Тургенева «Отцы и дети». И жизнь преломилась: от глубочайшей религиозности — к полной потере веры. Время мук необычайных: «Где смысл жизни?» И тут — 1905 год. Вот смысл и цель: борьба за всеобщее счастье. Хотел, чтобы социализм наступил сегодня, завтра...

...Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Голодал и собирался перевернуть весь мир. С увлечением слушал лекции, а после шел за Невскую заставу к рабочим. Грозил арест. Бежал на Кавказ, и там, в Грозном, настигли. Окружная тюрьма, смертники, печальные чеченские песни по вечерам».

Пять лет Александр Яковлев пробыл под надзором полиции в Ростове-на-Дону. Сотрудничал в местной газете «Утро юга». В августе 1914 года добровольно пошел на войну санитаром. «Хотелось быть со всеми, пережить, смотреть». Писал очерки. В 1920 году опубликовал свой первый рассказ в журнале «Общее дело» — «Смерть Николина камня» (1919). Много ездил по стране, «побывал во всех уголках СССР», «на самолете облетел Север», но всю свою жизнь оставался верен родному Поволжью.

С Поволжьем и связано все его творчество, за исключением, пожалуй, одной из первых его повестей — «Октябрь» (1918), написанной по горячим следам революционного переворота в Москве и опубликованной в 1923 году.

В рассказах и повестях «Терновый венец» (1921), «Цветет осокорь» (1923), «Повольники» (1923), «В родных местах» (1924), «Жгель» (1925), «Слава семьи Острогоровых» (1937) и других действие обычно происходит где-нибудь на Волге, чаще всего в родном Вольске, где все близко, знакомо писателю: и природа, и люди, и события. Он не может представить себе заимствованного, вторичного творчества, когда писатель

рассказывает с чужих слов, не видя и не слыша тех людей, о которых пишет. В этом случае чаще всего возникают фальшь и схематизм, нетерпимые в художественном творчестве. «На себе самом я проверил истину Достоевского: «Чтобы творить, надо страдать». Во всяком случае, надо быть кровно заинтересованным в деле,— так я понимаю эту истину».

Все, о чем рассказывает писатель в своих произведениях, пережито им самим. Кровная связь с родной землей, с людьми, с эпохой — основная черта Яковлева как художника. В этом отношении интересен рассказ А. Яковлева о том, как он работал над повестью «Октябрь»: «Эту книгу я начал писать в те безумные октябрьские ночи, когда в окнах моей комнаты дрожали стекла от гула пушечных выстрелов. А задумал ее — в первое ночное обывательское дежурство во время московских сражений, когда мы, дрожащие от испуга, бродили, как черные тени, каждую минуту дожидаясь, что к нам вернутся бойцы той или иной стороны и бой перекинется на наш двор, в наши квартиры. Кончил, а пятна смерзшейся крови еще были всюду на улицах, укрытых снегом. Здесь все безмерно близко для меня. Пережитое».

В повести «Октябрь» Александр Яковлев нарисовал отчетливые и ясные картины классовых сражений, создал образы участников революционных событий 1917 года, в характерах которых воплотились разные пути к познанию правды жизни.

Накануне решающих событий два брата Петряевых ведут серьезный разговор о том, что делать, если завтра начнется гражданская война. Эсер Иван Петряев тверд, спокоен — он давно выбрал свою дорогу. В первый же день революции он пошел с оружием в руках против большевиков.

Василий Петряев ошеломлен, потрясен до глубины души тем, что открылось перед ним в первые же сутки Октябрьского переворота. Вслед за братом он бросается на помощь к своим товарищам — эсерам. Но Василию не приходится взяться за оружие — в силу обстоятельств он не попадает туда, где идут бои, а то, что он видит в первый день революции, подрывает его веру в правильность избранного им пути.

Александр Яковлев глубоко и тонко прослеживает процесс духовного перелома, который происходит в душе Василия Петряева. Его решимость сменяется растерянностью при виде силы и сплоченности большевиков, при виде того, как дружно поддерживают большевиков рабочие, солдаты, красногвардейцы. Об активном участии в событиях уже не может быть и речи. Василий еще не знает, где искать выход. Твердо знает он только одно: сражаться против большевиков он не может.

Иван Петряев уверен в своей правоте, но в первый же день революционного переворота он чувствует себя чужим среди юнкеров, студентов и офицеров. Его поражает жестокость, с которой те расправляются с пленными красногвардейцами. И чем дальше, тем острее он ощущает неправоту избранной им дороги. Он понимает, что совершил непоправимую ошибку. Иван все отчетливее чувствует свое одиночество,

свою оторванность от рабочих масс. Десять лет революционной борьбы он мечтал о всенародном восстании, а сейчас, когда этот момент настал, он стоит в стороне, «как чужой, как враг». Этого Иван перенести не может и кончает с собой.

Глубокая вера в правоту и справедливость революционных преобразований звучит в повести «Октябрь». Все симпатии Александра Яковлева целиком на стороне большевиков. Впоследствии он скажет, что в своих книгах стремится «рассказать о людях, которые жизнь и душу свою положили в борьбе за всеобщее счастье. О жестоком дореволюционном прошлом рассказать и о счастливом настоящем и будущем. Рассказать, как мечта воплотилась в жизнь».

Наряду с «Октябрем» широкую известность Александру Яковлеву принесла повесть «Повольники» (1923). В ней писатель раскрыл губительную власть стихийного в человеческом поведении, когда разум отступает под напором бесконтрольных чувств.

Главный герой повести Герасим Боков был преданным, бесстрашным солдатом революции. Но судьба вознесла его слишком высоко: его поставили во главе целого уезда. Нужно было руководить людьми, и таких качеств, как храбрость и решительность, оказалось уже недостаточно. Жизнь требовала иных способов, методов, приемов, более тонкой организаторской работы — настойчивой, упорной, разумной. К этому Боков не был подготовлен... и оказался в руках ловких и юрких советников. Упоение властью, приказы, которые решали судьбы сотен людей, а отсюда незаконные репрессии, поборы, мобилизации — вот что стало главным в деятельности бывшего солдата революции.

Когда Герасима Бокова расстреляли, никто о нем не вспомнил добрым словом, даже те, кому он, пользуясь своею властью, давал поблажки.

Проблема стихийного и сознательного в революции волновала многих советских писателей. Д. Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев взяли наиболее типичные ситуации, когда большевикам удавалось справиться с буйными проявлениями стихийничества. Но порой бывало и иначе. В. Шишков в «Ватаге», Вс. Иванов в «Цветных ветрах», А. Яковлев в «Повольниках» стремились показать, к чему приводит разгул стихийных сил.

А. Луначарский называл повесть «Повольники» одним из самых ярких произведений Яковлева. Подчеркивая значительность поставленных писателем проблем, а также присущее ему знание народной жизни, он писал: «С замечательной глубиной показано, как слепые стихии бунтарской разбойничьей народной силы влились в революцию, какова была их вредная и в то же время горькая судьба... и как силы эти должны были прийти непременно в столкновение со все более дисциплинированными, со все более организованными силами» [1].

Александр Яковлев относится к той категории писателей, которые чутко воспринимают все значительные события, происходящие на их веку. Первая мировая война, революция и гражданская война, страшный голод заволжских деревень — все это сердечной болью входит

---

[1] Луначарский А. В. Собр. соч., т. 2, с. 323.

в его жизнь. С первых рассказов писатель активен по своему мировосприятию, беспощаден к фальши, подлости, лицемерию.

Разнообразные по тематике и поставленным проблемам, ранние рассказы Яковлева привлекают ясностью творческого замысла, чистотой языка, точностью бытовых и психологических деталей. Среди них особенно выделяется рассказ «Мужик», написанный в 1920 году.

Русского солдата Никифора Пильщикова посылают в разведку. Осторожно пробираясь в темноте, он случайно натыкается на спящего «австрияка», забирает у него ранец, винтовку и возвращается в расположение своей части. Его командир, узнав, что Пильщиков не уничтожил врага на месте, как положено по уставу, сначала недоумевает, потом приходит в дикую ярость... но все кончается тем, что офицер «будто не хочет, а смеется» над солдатом.

За что же обругал офицер Пильщикова? За то, что русский солдат при виде спящего австрийца увидел в нем такого же, как и он сам, трудового человека. Не врага, а именно человека, сморенного усталостью, вечными переходами с места на место, бессмысленностью братоубийственной войны.

Здесь важна каждая деталь: и то, как Пильщиков «не торопясь» надел на себя ранец и взял винтовку, и то, как «осторожно пошел назад довольный, хитренько улыбающийся». Во всем этом чувствуется «ровный всегда, хозяйственный мужик». Ему бы не воевать, а пахать, сеять пшеницу, обихаживать скотину. Все его мысли, чувства, действия даже здесь, на войне, связаны с землей, с крестьянским трудом. Так, разумнее было бы ему пробираться в разведку по пшенице, безопаснее, да душа крестьянская воспротивилась. «Только в нее шагнул, а она как зашумит сердито, словно живая: «Не топчи меня». Аж страшно стало. Да и жалко: хлеб на корню мять — нет дела злее».

Рассказывая о революционных событиях, о происходящих в стране коренных преобразованиях, Александр Яковлев выбирает обычные и повседневные ситуации. Движение жизни, ее стремительный бег раскрываются в будничных явлениях.

Новая жизнь пришла в деревню, в заводской поселок, пришла не на время, а навечно, навсегда. На своем собственном житейском опыте люди труда убеждаются в справедливости свершившихся перемен.

Благодетелем, кормильцем рабочих хотел казаться фабрикант Каркунов, один из персонажей рассказа «Жгель» (1924). Когда в дни гражданской войны заводы встали, а люди остались без работы, Каркунов злорадствовал: новой власти не обойтись без него. Он считал, что завод «не пустят никогда». А новая власть уже думала о пуске заводов и фабрик. За дело взялся Яков Сычев, бывший конторщик Каркунова: «К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знакомый басовитый гудок». Народ под руководством новой революционной власти возродил завод к жизни.

А через месяц Каркунов умер. Он сразу сломался, как только пустили завод. Он жил надеждой, что без него не обойдутся. Но обошлись, и ему больше ничего не оставалось, как уйти из жизни...

Другой народ пошел и на селе.

В рассказе «В родных местах» (1924) граф, бывший помещик, возвращается на принадлежавшие ему когда-то земли. Селится с семьей на время у мужика Перепелкина. Целое лето дивятся мужики и бабы на житье графской семьи. Делать ничего не умеют, работать не хотят, а спеси хоть отбавляй. Крестьяне видят, «как господа живут да как с черным народом обращаются». «Будто не люди жили»,— к такому выводу приходят Перепелкины, почтительно встретившие графа и его семью в начале лета.

Историческую закономерность перехода власти из рук капиталистов в рабочие и крестьянские руки раскрывает писатель в своем романе «Человек и пустыня» (1929). Сохранились ценные записи Александра Яковлева, рассказывающие о творческом замысле этого романа:

«Все еще работаю над романом «Человек и пустыня». Два года назад довел роман до конца, а все не могу доделать, опять и опять возвращаюсь, не верю себе, боюсь неправильного тона, боюсь фальши. Не нравится то, что нравилось вчера... На месяцы прячу рукопись в стол, чтобы немного опомниться. Множество лет мучают меня мои Андроновы и Зеленовы, мужики и господа, солдаты и офицеры, атеисты, скитники. Русь — Россию — Расею хочу поднять во всех ее трех лицах — и чувствую: спина трещит. ...Главная трудность — изобразить положительных людей, строителей жизни, изобразить так, чтобы они были совсем живыми и убедительными.

...Строить у нас, в России, значит бороться с Пустыней. Все у нас не возделано и при громадности и богатстве — совсем ничтожный и беднейший труд. И вот борцов с этой пустыней мне хочется изобразить (я знал их и знаю). Сильный человек — строитель — мой герой».

В романе «Человек и пустыня» прослежены судьбы трех поколений купцов Андроновых.

После «Дела Артамоновых» М. Горького никому из русских писателей не удалось создать столь яркого произведения, в котором бы с такой правдивостью рассказывалось о роли купечества в освоении новых русских земель и в то же время о растлевающей душу власти денег, о закономерном крушении всесильного купеческого рода, о трагическом расколе некогда единой семьи.

Действие романа происходит в одном из городов на берегу Волги. Здесь, в этих местах, исстари живет легенда: давным-давно на берегу Волги поселился змей, «большущий был змей — сорок верст длины, так врастяжку и лежал вдоль самой Волги». «Пустыня-матушка прислала змея свой покой стеречь, никого не пускать с полуночной стороны, потому что предсказано было ей: завоюет тебя человек, что придет от полуночи... Вот в этих местах вся Волга пустой стала, века целые пустой лежала. Ну, потом пробил час: пришел богатырь русский и отрубил змею голову». Эту легенду рассказывает старый Андронов своему внуку, восьмилетнему Витьке, одному из главных персонажей романа «Человек и пустыня».

Александр Яковлев поставил перед собой задачу проследить самые важные этапы жизни Виктора Андронова, показать процесс формирования представителя купеческого дома, раскрыть положительные и отрицательные стороны его деятельности.

Старый Андронов был среди тех, кто пришел «с полуночной стороны», дороги провел, хуторов настроил, он способствовал тому, что в этой пустынной стороне «села да деревни пошли». Так «завоевали матушку-пустыню».

Виктору Андронову не приходится «грехом» добывать себе богатства — он наследник богатейшего «дела». Виктор ни в чем не нуждался, но и ему пришлось испытать и горечь, и обиду. Ему многое позволялось, в нем души не чаяли и бабушка, и дедушка, и родители, но стоило ему отказаться от молитвы, как он был жестоко избит отцом. В доме Андроновых свято соблюдали все древние религиозные обряды. В религиозной строгости воспитывался и Виктор Иванович Андронов.

В центре романа — судьба Виктора: учеба в реальном училище, затем в Петровской академии, женитьба на дочери миллионера Зеленова, объединение двух торговых домов, широкое наступление Андроновых и Зеленовых на пустыню. Виктор Андронов — купец новой формации. Он не раз ездил в Европу и Америку, набирался опыта. Много нового ввел он и в быт купеческого дома, и в управление делами. Во время революции 1905 года Виктор Иванович выступал за конституцию, ругал царя. В начале революции он был полон радужных надежд, произнес в купеческом собрании полную либеральных призывов речь, от которой вскоре отказался. Теперь ему и вспоминать о ней смешно: «Будто угар какой отуманил голову». Угар либерализма развеялся, и Виктор Иванович пришел к выводу, что «нам с революцией совсем не по пути». Он уже готов на открытый бой с революционерами, но как? Какими средствами?.. Доносить? Нет, нет! Ведь он же вполне порядочный человек! И одновременно с этим Виктор Иванович убежден, что революция — «это что-то страшное».

Александр Яковлев создает яркий образ Виктора Андронова. Казалось, ничто не может изменить благополучной судьбы этого человека. «Все говорило о довольстве и богатстве: каждое окно и каждый столб забора». Но это благополучие было только внешним. Его нарушала тревога: сын Иван стал революционером. «Опять социалисты стали голову поднимать, не спутался ли с ними Иван, уж очень много в письмах говорит о земельной справедливости»,— вот что не дает покоя Виктору Андронову. И действительно, Иван Андронов стал большевиком, порвал с отцом: «С грабителями я не желаю иметь никакого дела».

В конце романа Виктор Иванович Андронов предстает «седым, шершавым старикашкой», потерявшим веру в то дело, которое пытался отстаивать: «Все безнадежно!» И пустыня, с которой сражалось три поколения Андроновых, теперь видится ему в образе «старухи старой, с сумрачным лицом, вся морщинистая... Она глянула пронзительными глазами прямо в душу. И засмеялась».

Роман «Человек и пустыня» — это гимн сильному человеку, строителю и преобразователю новой жизни. Ивану Андронову — большевику, командиру Красной Армии — отдает все свои симпатии Александр Яковлев. И бесславно кончают свой жизненный путь Виктор Иванович Андронов — последний владелец гигантского торгового дела на Волге и его младший сын, оказавшиеся в лагере белогвардейцев.

В тридцатые и сороковые годы Александр Яковлев много ездит по стране, много пишет. Появляются его новые книги: «Победитель» (1927), «Огни в поле» (1927), автобиографический роман «Ступени» (1946). Некоторые его произведения этих лет обращены к детскому читателю: «Жизнь и приключения Роальда Амундсена» (1932), «Пионер Павел Морозов» (1938), «Тайна Саратовской земли» (1946). В годы Великой Отечественной войны Александр Яковлев выступает в печати с публицистическими статьями, написанными пером художника — патриота своей Родины, верного ее сына.

Скончался Александр Степанович Яковлев в 1953 году.

Хорошо знавший его Вл. Лидин писал: «Александр Степанович Яковлев обладал удивительной способностью выискивать во всех явлениях жизни радости. Он отметал все случайное, зачастую грубое и искажающее жизнь, и оставлял для себя только чистую гамму красок. Его жизнелюбие было в такой степени органическим, в какой, скажем, дерево или растение берут от земли все питательные соки, способствующие росту и цветению. Он прошел все своим путем, самоуком, с поразительным упорством одолевая ступень за ступенью жизнь. Одна из его автобиографических книг так и называется — «Ступени». Я редко встречал человека такой душевной чистоты и расположения к людям, каким был Александр Степанович... В советской литературе имя его не будет забыто. К книгам Яковлева вернутся не раз, и молодой наш читатель добрым словом помянет писателя, который во всех своих книгах прославлял жизнь и человека, преобразующего жизнь» [1].

*Виктор Петелин*

---

[1] Лидин Вл. Люди и встречи. Страницы полдня. М., «Московский рабочий», 1980, с. 66, 72.

# ЧЕЛОВЕК И ПУСТЫНЯ

РОМАН

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I. У Змеевых гор

Маленький был Витька. Сколько? Лет восемь, не больше. Ходил он летним днем с дедом по саду, а дед говорил:

— Ты еще неразумный, внучек мой! Ты еще много чего не знаешь. Видишь вон гору? Ты думаешь, это — гора?

Витька храбро ответил:

— Гора.

Дед хитро прищурил глаз и щелкнул языком.

— Эге! Нет, миляк, это не гора, это — змеева голова.

У Витьки глаза округлели, вырастая: видал он змей (на Кривом озере ужей сколько хочешь), маленькие они, а тут одна голова — целая гора.

— Да, брат, большущий был змей — сорок верст длины, так врастяжку и лежал вдоль самой Волги. А пришел тот змей из Заволжья,— видишь вон? Оттуда.

Поднял клюку дед, показал вдоль дорожки, где в самом конце видать синеватую широченную Волгу, а за ней еле-еле мельтешат кусточки на том берегу.

— Пустыня-матушка прислала змея свой покой стеречь, никого не пускать с полуночной стороны, потому что предсказано было ей: завоюет тебя человек, что придет от полуночи.

О, как чудесно поверить в этого змея, в живую, думающую пустыню, в человека, который придет от полуночи. И слушать жадно сказ про них; слушать, раскрыв рот, чтобы ни единое слово, даже самое маленькое, самое юркое, не проскочило бы мимо. А дед такой торжественный,— говорит и серебряную аршинную бороду поглаживает:

— Ни прохода, ни проезда не было по Волге тогда. Чуть кто покажет нос, змей вскинется и проглотит сразу. Не только человеку аль птице,— рыбе не было проходу. Вот в этих местах вся Волга пустой стала, века целые пустой лежала. Ну, потом

пробил час: пришел богатырь русский и отрубил змею голову, а самого змея в куски иссек. Голова-то ишь куда отскочила! А тулово — вон оно, зачинается возле нашего сада.

И дед — клюкой в белую гору, что как раз за забором сада. Витьке хоть задохнуться впору.

— А потом, дедушка?

— Ну, что ж потом? Вот голова закаменела и тулово закаменело — горами стали. Змеевы горы теперь прозываются. И некому защищать пустыню. Пришел человек с полуночной стороны, дороги провел, хуторов настроил, села да деревни пошли — любо-дорого смотреть. И почти всё, брат, на моей памяти. Завоевали матушку-пустыню мы.

— И ты воевал?

— А как же? И я воевал. Победили, разделили. Вот теперь отец твой воюет, а придет время — ты воевать будешь. Мы — Андроновы, нам туда все пути.

А-а, мы — Андроновы. Бывало, дед приедет домой из Заволжья, шумный такой, оручий, схватит Витьку на руки, зачнет носить по комнатам, зачнет качать да бородой щекотать.

— Ты чей? — спросит.

Витька уже знает, как надо сказать.

— Я — Андронов, Виктор Иванович.

Загрохочет дед, бородища заколыхается, глаза станут звездочками:

— Зернышко ты мое...

А мама ходит за дедом, руки растопырит: боится, как бы дед не уронил Витьку...

Теперь уж не берет дед Витьку на руки. Где же! Витька большой. Вон лицо-то у него какое круглое, с пристальными глазами, смотрит на деда не мигаючи.

— Дедушка, почему ты теперь не воюешь?

Дед потемнел сразу.

— Отвоевал, внучек, отвоевал! Пора на покой, о душе подумать.

Помолчал, погладил задумчиво бороду, заговорил, будто сам с собой:

— Ох, чуют кости старые: смерть идет, суд последний близится, а на суде на том дашь ответ за всякое слово праздное. А сколько их было на веку долгом — слов праздных? Много, прости господи!

И уж совсем про себя:

— Исчезе в болезнех живот мой, и лета моя в воздыханиях. Молись, молись, Михайло, молись за род весь свой — андроновский.

Витька, вдруг притихший, молча идет рядом с дедушкой; ребячьим сердцем он чует: задел деда за живое за что-то. Слыхал Витька, дома не раз говорили: грехи дедушка замаливает, все ему дружки-приятели были — и табашники, и бритоусцы, и щепотники, и рыла скобленые — вино, пиво с ними пивал, на

гулимонах гуливал. А ныне — и поясница болит, и о грехах гребтится.

От сына от родного со снохой вот сюда в сад убежал, за четыре версты от города, зиму и лето здесь живет, постится, молится, душу спасает.

Сад большой-большой. Речка Сарга через самую середку бежит — лентой светлой. Одним краем сад в берег Волги уперся, другим — кустарником и вишней — владимировкой и марелью — чуть забрался на белую гору... А это не гора — змеево тулово, что богатырь рассек.

В саду белый двухэтажный дом с широкой террасой, крыша на дому ярко-зеленая, и кругом дома — высокие липы, от старости уже дуплистые. За домом, по взгорью, между кудрявых яблонь с выбеленными стволами, стоят ульи темными монахами, и дед целый день, бывало, ходит между ними с непокрытой головой, в длинном черном кафтане-сорокосборке, ходит шарящей походкой и поет тихонько «Отверзу уста моя». В дому у деда две комнаты в нижнем этаже, в комнатах — чистота, вязаные дорожки на полах, картинки по стенам: «Жизнь праведника и жизнь грешника», «Страшный суд», «Ступени человеческой жизни»; а передний угол в большой комнате весь заставлен темными иконами, и перед ними три лампы горят неугасимо. Аналойчик перед иконами, на нем — толстейшая книга в кожаном переплете, закладки разноцветные в книге — утром и вечером и середь дня дед торжественно, нараспев читает каноны, кланяется в землю, кланяется и кряхтит...

На стене — тоже в большой комнате — висят огромные старинные часы с полупудовыми гирями на тонких бечевках. Часы медленно, по-стариковски говорят: чи-чи-чи — и по-стариковски же через каждый час кашляют.

А живет с дедом работник Филипп, малость помоложе да пошустрей деда, однако седой весь, и тоже о спасении своей души думает: с лестовкой у пояса так и ходит, дрова ли рубить пойдет, за водой ли на речку Саргу,— без лестовки ни шагу.

Так и жили два старика — спасали душу — в саду, на речке на Сарге, в том самом саду, про который сам дед говорил: «Место райское». И дед и Филипп ходят в сорокосборках — сорок сборок в талии,— одежде праведных, в сапогах высоких, потому что грех выпускать брюки на улицу. Оба — с седыми бородами во всю грудь и оба мудрые, потому что оба доподлинно знают и могут рассказать Витьке, где живут волки и медведи; могут сказать, в каких горах, в каком месте клады зарыты и почему золотые яблоки растут только в раю. У деда есть книги толстые-претолстые в кожаных переплетах, от книг пахнет воском и ладаном, а в книгах этих картинки: красивые ворота с резными столбами да завитушками, а за воротами — большущий сад, на яблонях — яблоки золотые и птицы с голубыми хвостами.

Не из этих ли книг дед узнал про волков и медведей, про клады заколдованные и про змея?

Вдвоем ходят по саду — дед и Витька, ходят по дорожкам, усыпанным золотым песком, и говорят. Или выйдут на берег — там белые и серые камни. Волга широкая и вся светится; по Волге пароход бежит, дым распустил хвостом длинным; плот плывет,— видать, как над самой водой люди по бревнам похаживают или в кружок усядутся, обедают. А то песни поют.

Стоят долго; дед держит Витьку за руку, не позволяет бегать по берегу:

— Побежишь да утонешь!

Дед большой, как черный столб, а Витька маленький, в беленькой рубашечке, с русыми волосами до плеч. Отсюда, с берега, все горы — вот на ладони; горы, что протянулись вниз от Андронова сада, вдоль Волги, нависли над самой водой, ярами стоят, а по их макушкам — деревья зеленые, издали словно травка.

— Эти горы, дедушка?

— Эти, миляк! Вот эти самые Змеевы горы и есть.

Потом опять пойдут в сад. Вон, видать, ходят по саду, там, далеко, девки и бабы, ими командует садовник Софрон, что живет в синем домике в углу сада. А дедушка, как увидит, девки, бабы идут, сейчас в сторону.

Не раз Витька просил:

— Дедушка, пойдем к ним!

Хотелось ему посмотреть, как там работают, а дед угрюмо:

— Не к чему это. Пусть они там, а мы — здесь. Баба мысли разбивает.

И хочется узнать Витьке, как там баба мысли разбивает, но деда не переспоришь: тянет к пчельнику, в гору, где бабы редко бывают.

С горя побежит Витька от деда, запрыгает на одной ножке, запляшет. А дед опять каргой закаркает:

— Витька, не пляши! Грех!

— Грех?

— На том свете плясуны будут повешены за пуп. Видал на картинке? Вот и тебя так!

А, за пуп? Не распляшешься! О, дедушка знает все! За пуп? Это страшно!

Вот солнце передвинулось, стало спускаться с небушка к горе (а это не гора, а змеево тулово), Фимка кричит где-то за деревьями:

— Витенька-а, домой пора!

— Вишь, Фимка зовет тебя. Идем, брат, чай пить. Потом к матери поедешь.

Витьке не хочется к матери: у деда лучше, но знает: домой ехать надо. Вот и сама Фимка — здоровая такая, с красными ручищами, как грабли, а в пазухе у ней будто два арбуза спрятаны.

— Ехать надо, Михайло Петрович, барыня заругаются, ежели опоздаемся.

Дед отвернулся недовольный, не смотрит на Фимку, ворчит:

— Барыня... опозднимся.

А Фимке — ровно с гуся вода.

— Храпон уже лошадь запрег, поедем скорей, Витенька! — говорит она весело.

— Подождешь! Сперва Витька чаю напьется,— перебивает ее дед.— Идем, Витька!

Вдвоем поднимаются они на верхнюю террасу по скрипучим ступеням, а там, на столе, на белой скатерти уже фырком фырчит самовар и среди тарелок с булками и печеньями стоит розовое блюдо с медом.

Филипп не спеша ходит около стола с лестовкой в руке. Увидал хозяина — лестовку к поясу, заулыбался навстречу Витьке:

— Пожалуйте, заждались.

С террасы всю Волгу видать — зарумянилась она перед вечером. И почти под берегом, совсем недалеко от сада, идет большущий пароход с красной полосой на трубе.

— Вот как мы нынче загулялись!.. Уже самолет идет,— говорит дедушка.

— Да, нынче вы что-то заговорились. Уж и девки кончили работу.

И тихонько, по-стариковски они говорят о чем-то. А Витька, вдруг притихший (может быть, уставший), смотрит молча на Волгу, на дальние горы, за которые уже вот-вот закатится солнце.

— Дедушка, а пароходы тогда как?

— Когда?

— Когда змей был.

— Не было. Пароходов не было. Пароходы вовсе недавно. Я еще помню, как первый пароход пошел здесь, а мы тогда боялись ездить на нем, все думали: бесовская сила в нем работает. Бывало, пароход идет сам по себе, а мы на лодке плюх да плюх — сами по себе.

— Лодка — дело верное,— вмешался Филипп,— на лодке сам Исус Христос со учениками плавал.

— Так-то так. Ну, все-таки на пароходе не в пример скорее. И притом же, поглядел я: на кажном пароходе — иконы. Никола милостивый — уж это обязательно...

— Почему же змей пароход не съел?

— А-а, какой ты дурачок! Я же говорю, пароход — это недавно. А змей — и не помнит никто, когда змей был.

Сад уже затемнел. Стало слышнее, как журчит вода в Сарге, птички запели по-вечернему грустно, дальний берег Волги туманится. Слышно, как внизу, за домом, нетерпеливо стучит копытами запряженная лошадь. Комары тоскливо запели над ухом. А Фимка снизу зовет:

— Скоро ли, Витенька? Мамаша ругаться будут.

— Успеешь,— говорит лениво дед,— ну, ты, впрочем, пей скорей.

Витька ложкой ест мед, чаю пьет немножко, и вот уже чувствует: все у него стало сладко — и во рту, и внутри.

— Будет!

— Напился? Ну, собирайся. Фимка, Витенька готов.

Фимка, скрипя ступенями, поднимается на террасу, торопится, надевает пальто на Витьку.

— Стой-ка, сейчас записку напишу отцу. Филипп, принеси бумагу и перо!

Дед надел страшные очки, взял перо, прицелился, задвигал губами, бородой,— начал писать. И все — Фимка, Филипп, Витька — замерли, точно боялись спугнуть духа.

— На, отдай Ивану,— подает дедушка Фимке записку.

И Фимка уже громко говорит Витьке:

— Прощайся с дедушкой!

Витька обнимает дедушку, целует, путается лицом в его большой бороде. А внизу, возле террасы, гремит пролетка. Кучер Храпон — молодой смешливый парень — едва сдерживает застоявшуюся лошадь. Витька бежит к пролетке, сам садится, Фимка лезет за ним,— пролетка вся покряхтывает, когда лезет на нее здоровущая Фимка.

— Трогай, Храпон. С богом!

Витька из-за деревьев в последний раз смотрит на дедушку. Дед, черный, стоит на террасе, улыбается. У ворот сада пролетка перегоняет толпу девок и баб. Со смехом и шутками они сторонятся, что-то кричат Храпону. А тот, лихо зыкнув, ударил Карька вожжами, и пролетка понеслась по мягкой дороге вдоль яра.

Солнце уже закатилось, небо над горой покраснело, горит пожаром. Волга темнеет, туманится. Витька прижимается к Фимкину горячему боку. Птичка сидит на сухой высокой ветке, поет печально. Дорога идет круто вверх, на яр. Храпон пускает лошадь шагом. Слыхать, как сзади, далеко, поют девки. В песке тихонько шуршат колеса. На яру светлее. Волга внизу. Темно там. Вот около города зажглись огни. А здесь еще видать горы. Витька вспоминает змея, богатыря, пустыню. И ему чуть страшно. И крепче он прижимается к Фимке.

## II. Дом над Волгой

И каждый раз, как побывает Витька у деда, утром и встать бы, а глаза слипаются и голову не поднимешь.

— Вставай, Витенька, вставай, мальчик золотой! — воркует над кроватью знакомый голос.

Витька чуть приоткрыл глаза, глянул и опять закрыл беспомощно. Бабушка! Это бабушка воркует. Наклонилась, улыбается, зовет:

— Вставай!

Одеяло теребит, тянет с Витьки.

— Бабушка, я сейчас!.. Еще хочу,— бормочет Витька.

— Устал вчера, горюшечко? Не надо бы так допоздна у дедушки сидеть. Легко ли? Приехали совсем темно. Ну, полежи еще немножечко, полежи!

И не утерпела: наклонилась, поцеловала Витьку в щеку — розовую, належенную во сне.

— Я сейчас, бабушка! — просит Витька.

Ему досадно, что бабушка пристала, и хочется утереть поцелованную щеку. Он приоткрыл глаза. Бабушкина голова в белом платке отодвинулась.

«Это не гора, а змеева голова»,— вспоминает Витька и с удивлением открывает глаза, чтобы еще глянуть на голову.

Нет, гора не такая!

И разом опять: живая, думающая пустыня, змей, Волга, богатырь, что пришел от полуночи.

Пропал сон. Но скорей-скорей с головой под одеяло, будто спит, и — ни гугу. Бабушка не тронет, подумает: Витька спит. Можно полежать, раз вчера были у дедушки. Чу! Скрипнула ступенька на лестнице, открылась дверь, и шепот:

— Еще спит?

— Спит. Пусть его. Устал. Что-то вы вчера так поздно приехали? Разве можно так?

— Да не пускал дедушка. Хоть Храпона спросите. Совсем темно, а они все по саду гуляют.

А, это Фимка! Вот так утром всегда: когда ни проснешься, всегда они две стоят возле кровати, шепчутся. И, сколько помнит себя Витька, каждое утро бабушка с этой песенкой:

— Вставай, Витенька, вставай, миленок!

И поднимет. Со смехом, с шутками, с поцелуями, а поднимет — тут хоть ревом реви. Почнет приговаривать:

— Кто рано встает, тому бог подает. Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя — глаза продирает.

Витьке — эх, поспать бы! А бабушка тянет с кровати, поет:

Права ножка,
Лева ножка,
Поднимайтесь
Понемножку.

Трет, бывало, Витька кулачком глаза, куксится, готовый зареветь, а бабушка уже другую песню поет:

Вставай раньше,
Умывайся,
Полотенцем утирайся,
Богу молися,
Христу поклонися.
Христовы-то ножки
Бегут по дорожке.

Витька глубже забирается под одеяло, с головой прячется. Раздевает его бабушка, стаскивает все, холодными руками ловит его за голые ножки, и оба смеются. У бабушки все лицо дряхлыми морщинами излучилось. На висках ямы — и там морщинки.

— Ох, да что это мы? Лба не перекрестили, нача́л не положили, а уж за смеханьки да хаханьки? Ну-ка, вставай, вставай! Давай я тебе рубашку надену.

Одевает, умывает Витьку, ставит на молитву, а потом ведет вниз, в столовую, где на столе уже тихонько ворчит самовар. Бабушка любит, чтобы самовар бурлил во всю прыть, чтобы над ним клубами пар поднимался.

— Митревна, подложи-ка уголек! — кричит она в кухню.

А Митревна знает свое дело. Она уже готова. Идет к столу с лотком, полным золотых углей, и сыплет их в самовар. Витька уже развеселился, ему хочется схватить уголек. Он рвется к самовару, поднимается на стуле, протягивает руки.

— Ай, обожжешься! — пугаются и в один голос кричат и бабушка и Митревна.— Фа-фа-фа!..

Витька отдергивает поспешно руки и тоже:

— Фа-фа-фа!

А сзади кто-то обцепил его руками.

— Опять балуешь? Ах, разбойник!

Мама! Витька весь к ней, лицом к ее груди...

Пьют чай долго, только втроем — мама, бабушка и Витька, потому что дедушка и папа с утра, чем свет, уже уехали. Приедут только к обеду, повертятся, опять уедут — и уже до самого вечера.

Напился чаю Витька, бежит на балкон. Широкий балкон с толстой балюстрадой висит над садом. Как далеко видно с него! Прямо под балконом — сад, весь зеленый, а дальше — Волга, широкая, голубая, серебряные блестки играют на ней — будто смеются. Далеко-далеко чернеют кустики. Витька уже знает: там загадочная «та сторона». Сверху идет белый пароход. Когда идет от белой дальней горы, он совсем маленький — с комара. Потом становится больше, больше. Вдруг белое живое облачко пара появляется над ним — и грянет рев: ту-ту-у!..

Витька топает ножками в восторге, хохочет и сам дудит:

— Ту-ту-у-у-у!..

А пароход заворачивает к пристаням, взбудораживает серебряную Волгу темными, змеистыми, ленивыми волнами.

Выходит бабушка на балкон.

— Ага, пароход пришел?

Она тоже радуется и этому дню, и пароходу, и солнышку. Глядит на Витьку, смеется.

— Бабушка, пароход?

— Да, да, милый, пароход.

Но лицо у бабушки озабоченно. Уходит она с балкона, кричит уже в комнате:

— Смотри, не упади, Витенька! Бух... Фимка, посмотри за Витей!

И на балконе появляется Фимка — краснощекая, с большими красноватыми руками, смешливая. Витька любит ее. Фимка умеет хорошо бегать, Витька ловит ее, а Фимка — от него. Оба смеются... Потом собираются, идут в сад под деревья, на песочек... Хорошо в саду! Пестрый сад, везде дорожки, пруды, мостики. Высокой плотной стеной отгорожен он и от улицы, и от других садов. Только в одном месте — решетчатые железные ворота. Здесь часто останавливаются рваные мальчики, с завистью смотрят в сад, смотрят, как Витька играет здесь один. Иногда бородатое лицо мелькнет.

Зеленые и белые беседки в саду. А пруды устроены один выше другого, и вода светлым ручейком всегда выливается из одного пруда в другой. Аллейки всюду, клумбы, деревья диковинные. А наверху, на яру, где стоит дом, два кедра раскидистых. И все стены дома закрыты высокими липами, сиренью да акациями.

От пруда к пруду, по дорожкам, бежать, бежать. Ласково светит солнышко, трогает Витькины щеки так нежно — нежнее, чем бабушка. Тени шевелятся на дорожках, на поверхности пруда. Грачи возятся на больших осокорях, что вон вдоль забора у Волги, бабочки летают. Пройдет по Волге пароход, застучит колесами и заревет страшно.

Весь день, бывало, бегает Витька по саду, рвет траву, играет с Фимкой в прятки. Вдруг над садом зычный крик:

— Витя-а!

Глядь, на балконе, там далеко, стоит отец, зовет. На белой каменной стене, между белыми колоннами, резко виднеется его черная фигура.

— Папа, папа приехал! Зовет. Иди скорее! — испуганно бормочет Фимка и, схватив Витьку за руку, тащит к дому.

— Папа, папа, папа! — смеется Витька.

— Витя-а! — кричит отец.

— А ну откликнись, откликнись! Кричи: «Папа!»,— говорит Фимка.

— Папа! — во весь голос кричит Витька.

— Витя-а! Сынок! — зыкает отец.

И через минуту он — черный, бородатый, большой — бежит навстречу сыну, хватает его на руки, несет к дому, в столовую, где уже накрывают стол. Раскачивая на руках Витьку, отец несет его к столу, целует, щекочет длинной бородой. А там уже мама, бабушка, дедушка, тоже смеются. Принесли дымящийся суп.

— Садитесь, садитесь,— торопит мама,— будет вам!

Папа ставит Витьку на пол.

— Ну, помолимся, сынок!

Все встают, оборачиваются лицом к иконам, и на минуту у всех лица становятся суровыми, неприятными. Долго крестятся,

бормочут молитвы. Крестится и Витька. А потом садятся за стол, и опять отец и все — добрые и ласковые, и незаметно, что сейчас папа сердито разговаривал с сердитым богом. Развертывает папа салфетку, крякает: видать, хочет сказать что-то, а молчит.

— Грех за обедом говорить.

Поговорить бы! Витьке хочется рассказать отцу, дедушке, что он сегодня видел.

— Молчи, молчи, Витенька,— певуче-ласково говорит бабушка,— есть надо молча.

И молчат. Весь обед молчат.

И, только пообедав и помолившись, опять все становятся и шумными и веселыми. Но дед спешит, папа спешит — они «соснут полчаса» и опять куда-то пропадут из дома.

А Витька опять в сад, на солнышко.

Весь день хорошо дела идут, только вот вечером, бывало, обязательно неприятность: бабушка заставляет Витьку долго молиться перед сном.

— Вставай, Витенька, помолись боженьке, начáл положи. Поклонись богородице, святителям!

Это хуже ножа острого. Бывало, протянет Витька недовольным голосом:

— Не хочу!

Потому что и устал он за день, и поужинал сейчас так, что живот вроде арбуза стал,— тяжело Витьке.

— Не хочу!

— Нельзя, нельзя, миленький! Боженька побьет, в огонь посадит, ушко отрежет. Надо молиться!

Что ж, как ни отбивайся, а правда в огне сидеть неприятно или чтоб ухо отрезали.

— Ну, складывай крестик! Давай сюда пальчики!

Возьмет бабушка Витькины пухленькие пальчики, сложит их.

— Вот так! Эти два вместе прямо держи, а эти вот три к ладонке прислони. По-старинному молись, по-хорошему, как дедушка твой молится, папа, мама, я молюсь. Вот есть нечестивцы, которые щепотью молятся. Щепотники. Не бери с них обыку!

И бабушка левой рукой — обязательно левой, бесовской, чтобы не осквернить правую — Христову руку,— покажет, как молятся щепотники.

Сама сложит Витьке пальчики. И только отнимет свою руку, а Витькины пальчики разошлись коряжкою.

— Бабушка, гляди!

— Ах, господи!.. А ты держи их, чтобы не расходились. Ну, клади на головку. Говори: господи...

— Господи.

— Исусь Христе.

— Сюсехристе.

— Сыне божий.

— Бабушка, опять...

— Что ты?

Сует ей Витька свою руку с растопыренными пальчиками к глазам.

— Опять!

— Да что же ты их не держишь? Держи!..

Ну, раз, два, три — так, а потом научился капельный Витька пальчики держать. Этак, может быть, через неделю, через месяц. Научился сам и «Исусову» молитву читать. Встанет перед темным ликом иконы и откатает: «Господисусехристесынбожепомилуйнас».

Так, одним словом, подряд от начала до конца. Что оно и к чему, Витька не понимает. Так, какая-то неприятная тягота.

Хорошо, что коротко! Сразу скажешь, перекрестишься и бух в постельку. Спи!

Но потом стало труднее. Заставила бабушка «Богородицу» читать, потом «Достойну», а потом и до «Отче наш» дошли. Сперва-то в охотку.

— Богородице дево, радуйся, обрадованная...

А потом ох как надоело!..

С этими молитвами и первый страх родился перед отцом, и перед бабушкой, и перед мамой. Хорошо помнит Витька этот темный вечер. Не по себе было. Хотелось спать.

— Иди, молись,— позвала бабушка.

Перекрестился Витька, прочел «Исусову».

— Все!

— Как это все? А «Богородицу»?

— Не хочу «Богородицу»!

— Как не хочешь? — испугалась бабушка.— Нельзя, нельзя, читай!

Лицо у нее стало строгим, будто с кучером Петром говорит, когда Петр пьяный напьется.

— Читай, тебе говорю!

Ее строгое лицо еще больше раздражило Витьку.

— Не хочу, не буду!

— Что ж, я в постель не пущу. Иди на холод, там ночуешь.

Витька лезет в кровать, а бабушка не пускает.

— Прочти «Богородицу», потом и ляжешь.

— Не хочу!

— А я тебе велю. Читай!..

— Не хочу!

— Читай, тебе говорю!

Лицо у бабушки стало страшным: рот открылся, и зуб завиднелся — желтый и длинный, как палец.

— Не хочу!

— Ах ты, пащенок!.. Вот я отца позову. Он тебя...

Бабушка на минуту ушла. А Витька стоял на коврике перед иконой, босиком, в одной рубашке ночной, без штанишек. Стоял,

глаза стали большие, ждал, что будет. Бабушка вбежала, запыхавшись, а за ней — папа, хмурый, в одной жилетке, из-под которой белая рубаха, в валяных туфлях.

— Что такое?

— Не хочет молиться. Заставь его ты.

— Это что такое? Ты, брат, смотри! С тропы не сваливайся. Знай край, да не падай. Молись сейчас же!

Но Витька упрям.

— Не хочу!

— Как не хочешь, болван? Молись!

И отец свирепо дернул Витьку за руку, повертывая к иконе.

Но Витька уже оскорблен.

— Не хочу!

— Ах, ты так? Где двухвостка-то? Подай-ка, бабушка, двухвостку!

А бабушка с полной готовностью побежала вниз, в большую комнату, и скоро-скоро возвратилась с коротенькой палкой, на конце которой прикреплены два узких, длинных ремешка — двухвостка. А за бабушкой, видать, поднимается по лестнице мама — у ней лицо недоброе. Отец взял двухвостку в руки.

— Молись!

— Не хочу!

Р-раз! Двухвостка больно обожгла Витькину спину. Впервые. Взвизгнул Витька. Отец опять замахнулся. Сквозь слезы увидел Витька, что лицо у отца стало свирепым, страшным. О-о!.. Бабушка! К бабушке бы... К маме бы... Но и у них обеих лица сердитые.

— Молись, негодяй!

— Молись, молись! — кричала бабушка.— Ну, помолись, Витенька!

— Молись! — стонала мама.

— Читай молитву! — ревел отец и держал двухвостку над Витькиной головой. И опять: р-раз!

— Да будет же, будет! — истерически закричала мама и вырвала Витьку из отцовских рук. Отец все еще пытался ударить, но мама и бабушка уже загораживали его, не дали.

— Будет, будет! Он сейчас помолится. Не бей!

А Витька дрожал, выл, прижимался к бабушке, хотел весь спрятаться в ее платье. О, как больно!..

— Ну, милый мой, ну, хороший, ну, помолись же!..— стонала бабушка.

— Молись, Витенька! — плакала мама.

— Молись сейчас же! Запорю мерзавца! — ревел отец.— Молись!

— Ну, будет же, Иван! Он сейчас помолится. Молись, Витенька! Ну, оборотись к иконе... Читай за мной... «Богородице дево, радуйся, обрадованная».

Сквозь рыдания, всем телом дожидаясь нового удара, весь дрожа, читал Витька «Богородицу»...

— Вот умница! — говорит бабушка.— Ну, будет плакать! Ступай, Иван, ступай! Витенька умницей будет. Он больше никогда не откажется молитву читать.

— Вот я посмотрю еще. У меня в другой раз не то будет,— погрозил отец и ушел.

А бабушка и мама ведут рыдающего Витьку в постельку, укладывают и целуют его, прижимают к груди.

— Будет же, будет, моя ягодка! — плачет мама.— Не плачь же! Будет. Испей водички!..

А Витька неутешно плачет. Что же это? Бог страшный, «в огонь посадит», «ушко отрежет». И отец страшный, с двухвосткой, бьет, если не молишься. Бабушка, мама тоже не заступаются... Вот они — бог, отец, бабушка, мама,— они все напали на маленького Витьку...

— Ах ты, господи! Надрывается-то как! Будет же, мой воробышек! Будет! Разве можно не молиться боженьке? — говорит бабушка, прикладывая свою руку к пылающему Витькиному лбу.— Нельзя, деточка! Бог накажет. И меня накажет. И отца накажет, если он не будет заставлять тебя молиться... И маму накажет: «Убей сына, аще он отпадет от господа, аще не хочешь свою душу погубити...» Несмышленыш еще ты. Или тебя научить, или самому погибнуть. Вот оно как! Ну, будет же, не плачь!

Бормочет бабушка тихонько, нежно, все стараются успокоить Витьку, а тот плачет безутешно.

Ночью у Витьки начался бред. Чудилось ему, что все обрушивается на него: и стены, и папа, и мама, и потолок, и бабушка. Еще какие-то люди пришли и — все на него. Он вскрикивает, вскакивает с постели.

— Бабушка, боюсь!

А бабушка боялась еще больше. Подхватит Витьку, носит завернутого в одеяльце по спальне, качает, успокаивает.

— Не плачь, деточка, не плачь, птенчик мой! Господи, да что ж это? О, сила сильная, ветровая сила метельная, сойди, сила, на раба божьего Виктора, укрепи телеса его. Солнце-батюшка, сойди силой своей на Витеньку. Вода-матушка, омой, укрепи. Ангелы, архангелы, поддержите его, святители!

И сквозь сон и бред Витька видел, как у постели мелькали то мама, то испуганный, одетый в пестрый халат отец, хмурый, всклокоченный.

Но пришло утро, проснулся Витька с ясными глазками, и головка не болит, только немного бледный. Вышел с мамой в столовую, нарядно одетый, умытый, с причесанными рядком волосиками. А там за кипящим самоваром уже отец сидит, увидал сына — запел:

— А-а, Виктор Иванович, добро пожаловать, мое почтение!

И дедушка здесь сидит, улыбается.

Словно не было вчера ничего. Сбычился Витька, принахмурился, говорить не хочет.

— Ну, иди сюда, ну, здравствуй! — манит отец.

— Я с тобой не дружусь,— оттопыривая губы, говорит Витька.

— А, да ну тебя, да ну, что там! С кем не бывает? — смущенно говорит отец.

Он взял сына на руки, носит его, целует, щекочет, хочет развеселить. А Витька упирается в грудь ему руками, отталкивает:

— Не хочу!

А самому уже хочется смеяться. И не утерпел. Зазвенел, как серебряный колокольчик:

— Ха-ха-ха!

Заключен мир.

И отец рад. Смеется, глаза светятся, борода вся трепыхается в смехе.

— Дай же ему, мать, чаю.

— Витенька, поешь вареньица.

О, Витька любит варенье! Можно? Ложкой, ложкой его!

А все смотрят на него, смеются.

Отец весь день провозился с ним, будто работу забыл. Ездили кататься; и всё, что ни попросит Витька, папа тотчас исполнял.

— Папа, едем на Волгу!

Ехали на Волгу.

— Папа, я в лес хочу!

Ездили в лес, за три версты от города. Петра и лошадей замучили.

А Витька с той поры понял: и с отцом, и с бабушкой, и с мамой все можно сделать, все можно требовать, а вот как до бога — шабаш! Тут их верх. Молился Витька, читал «Богородицу» и «Достойну», и даже понравилось. Какие-то диковинные слова, что и в сказке не услышишь, а что они значат — не понять. Но от частого, годового повторения они врезались в память, и каждый раз, когда он читал их, они вызывали в маленькой головке одни и те же, всегда определенные картины.

— Богородице дево, радуйся, обрадованная,— бормочут губки.

А в голове картина: плывет по Волге плот, а на плоту ходят люди, стучат по бревнам топорами. Такова «Богородица».

Станет читать «Достойну» — и перед глазами у Витьки уже другое: большие-большие крендели, вроде тех, что висят над булочной Кекселя. Золотые они и крутятся. И крутятся до тех пор, пока Витька не скажет: «Тя величаем».

Скажет — тут крендели и пропали.

Это даже нравилось — каждый вечер вызывать и этот плот, и эти крендели. Но когда до «Отче наш», опять было плохо. Долго Витька учил непонятные слова, плакать сколько раз принимался, хотел увильнуть. Ничего не помогло! Так со слезами и учил. И в голове потому «Отче наш» сложилось в тяжкое.

Станет читать, а перед глазами мохнатое появится, черное, злое, вроде большой собаки... Ух, страшно!..

— Не хочу «Отчу»,— закапризит Витька.

— Читай, детка, читай! — просит бабушка.

— Не хочу!

Бабушка сразу становится строгая.

— А я папу позову.

И приходилось читать. Помнит Витька тот случай.

А раз совсем закапризничал. Все хорошо шло. И «Богородица», и «Достойна», а дошло до «Отче наш» — Витька повернулся к бабушке и, закинув руку за голову, сказал:

— Не хочу собаку-у!..

— Что ты? Какая собака?

— «Отче» — собака!..

Ахнула бабушка, задрожала и сейчас же за отцом.

И, должно быть, сразу ему многое сказала, потому что отец прибежал прямо с двухвосткой.

— А, ты над богом измываешься? Ах ты негодяй!..

Сняли с Витьки штанишки и взбететенили двухвосткой маленькие бедерки до красноты.

И много лет, как только Витька становился на молитву, он помнил эту двухвостку в руках отца. Молитва и двухвостка.

Бог, бог! Раз было так.

Вечером, в воскресенье, папа с Витькой играли в зале. Зима, на окне мороз; Витька сел верхом на папину коленку, держит папу за бороду, кричит:

— Но-о!..

А папа коленкой качает: едет Витька.

Мама тут со старицей Софьей в залу вошли — чай пить пробирались. Увидала старица — Иван Михайлович с сыном в лошадки играет, из себя вышла. Всегда такая умильная да ласковая, а тут как закричит:

— Да ты с ума сошел, Иван Михайлович? Да на что это похоже? Да ты же душеньку сыновью губишь таким баловством! Нужно, чтобы дети трепетали перед родителями, а ты, на-ко, в лошадки с ним! Что закон-то божий говорит? Не токмо в игры пускаться, но и смеяться с дитем нельзя. Лик родительский должен быть строгий для детей!

— Ах ты, дьявол беззубый! — бурчал потом Иван Михайлович.

А ослушаться не посмел. Стал холоден при ней с Витькой. Еще бы! Ведь эта ведьма может пойти и во всех дворах раззвонить, что вот он, Иван Михайлович Андронов, первогильдейский купец, а в лошадки с сыном-то...

Хорошо с папой поиграть! Он оручий и сильный, как богатырь. Может поднять к потолку.

А то пойдет Витька на кухню. На кухне всегда богомольцы да богомолки, дурачки да юродивые — рваные, с растрепанными головами, и кислятиной от них пахнет, как от капустной кадушки.

Многое множество их — приходят одни, уходят, а другие уже здесь чавкают за столом. Митревна и Катерина им щей да каши в блюдах большущих дают; а то чай пьют, грызут сахар, говорят сдержанно, но веско:

— И пришел диавол к Прасковье Петровне...

— Неужели сам приходил? — спросит Катерина.

— Сам! Воистину мне известно! Приходил во образе околоточного надзирателя. И даже книжку держал в руке.

— А-а, батюшки!

О, как интересно! Смотрит Витька круглыми глазами, рот раскрыл: не пропустить бы. И мама тут. Ей Катя уже приготовила кресло. Села мама в кресло, в ковровую шаль закуталась, смотрит по-витькиному, не мигаючи. И бабушка пришла. И Фимка.

Странник говорит ровненько, и в кухне будто умерли все — не дышат. Только глаза живут.

— А я, матушка-барыня Ксения Григорьевна, и в аду ведь побывал.

Сдержанный вздох-вскрик проносится в кухне. Мама откачнулась на спинку кресла. Витька крепче прижался к ней.

— В аду?

— Воистину так! Попустил господь, побывал и в огне адовом. И знаки вот имею на руках своих.

Странник вдруг засучивает рукав, и все видят: у локтя, на исхудалой руке, черное пятно вроде лодочки.

— От огня адова. Обожгло. И вот семь годов уж, а не проходит!..

Сгрудились все к столу, глядят на пятно, а странник поет:

— Но это пятно небольшое. А большое пятно на спине у меня. Вся спина, можно сказать, сожжена. Отседова и доседова.

Странник тронул себя по шее и потом под коленкой.

— Показать же пятна сии не смею.

Мама смотрит не мигаючи.

— Как же ты попал в ад?

— В непотребной пьяной жизни моей событие оное произошло.

Голос у странника громче — говорит-разливается. И все ахают и вздыхают. Позади — за спиной за Витькиной — плачут.

— Кэ-эк схватили они меня, а пальцы-то у них на манер крючков...

Хлюпают кругом, когда кончил странник, а мама шепчет Фимке:

— Принеси-ка бисерный кошелек мне, там, на столе в спальной.

И разом все стали новые, отпрянули от стола, но не очень чтоб далеко. И умильные улыбки у всех. Открыла мама кошелек и протянула большую белую монету страннику. Тот забормотал, закланялся. И все забормотали, закланялись. Рук многое

множество к маме протянулось. А мама — кому гривенник, кому двугривенный — пошла, раздает монетки.

И за ужином папе:

— Прямо из ада человек вернулся. Вот на кухне сидит.

Папа громоносно хохочет:

— Вот мошенник! Это вот мошенник!

Мама и бабушка в обиду:

— Тебе все мошенники. Перекрестись! Человек и обжоги показывал.

— А-а, ха-ха-ха!

И вдруг сразу серьезно-пресерьезно:

— Гнать бы метлой всех. Поганой бы метлой!

Мама и бабушка в ужасе:

— Божьих-то людей?

И почнут, и почнут спорить. Папа махнет рукой, нахмурится:

— Ну, говорить с вами!..

А через неделю человек из ада пришел на двор пьяный, в опорках, закричал, запел:

— Э-э-э, пляши, нога! Святители-тители, тители-святители, выпить не хотите ли?

Он топнул и прошелся дробно худыми опорками по камням двора.

— Э-эх, гуля! Святители-тители...

Налезло из кухни много, смотрят испуганно. У отворенных ворот — мальчишки, смеются, кривляются. Папа увидал, гаркнул громом:

— Во-он! Храпон! Гони его в шею!

Человек из ада все плясал. Подбежал Храпон к нему, схватил за руку, потащил к калитке. Тот одно свое:

— Святители-тители, выпить не хотите ли?

И плечами этак с вывертом: весь дрожит, изгибается.

Тут папин праздник пришел.

— Вот и все ваши странники такие,— сказал он маме и бабушке,— гнать в шею надо.

— Ну, все! Скажешь — слушать нечего!

— Знамо, все. Дождутся они у меня!

Не любит папа божьих людей. Смеется. Недавно увидал папа, пришла во двор дурочка Манефа, в лохмотьях вся, крикнул:

— Манефа, это ты?

— Я, батюшка, я!

— Пришла?

— Пришла, батюшка, пришла!

— А ну попляши!

Заревела Манефа в голос, заплакала, затопала грязными босыми ногами: лохмотья взъерошились на ней. Папа ушел, посмеиваясь. А Манефа пляшет, пляшет и пляшет. Витька выбежал на крыльцо, заюжал в смехе. Из кучерской пришли Храпон и Петр, и Петрова жена выглянула, из кухни народ полез, а Ма-

нефа пляшет во всю прыть, и уж пот с нее льет. В доме забегали. Поспешно вышла мама на крыльцо, лицо испуганное:

— Манефа, перестань!

А Манефа еще пуще перебирать ногами зачала, у самой пот и слезы по лицу бегут.

— Хозяин велел.

— Перестань, тебе говорю! — крикнула мама.

— Хозяин велел.

Тут к крыльцу поналезли странницы.

— Не смеет ослушаться, матушка Ксения Григорьевна! Надо, чтобы кто повыше тебя приказал.

Пришла бабушка на крыльцо и тоже:

— Манефа, будет!

Манефа как вкопанная.

А мама и бабушка — две вместе — на папу:

— Да ты это что озоруешь? А? Бесстыжие твои глаза! Над убогим человеком измываешься? Мальчишки так на улице забавляются, а ты услыхал — перенял?

И пошли, и пошли. Папа грохочет только.

Ну и Витька тоже, этак через недельку увидал Манефу на дворе, крикнул:

— Манефа, попляши!

Заревела Манефа, заплясала.

Опять прибежал народ, мама на крыльцо выплыла.

— Перестань, Манефа!

Манефа перестала. Дозналась мама, что Витька Манефе приказал, Витьку за ухо:

— Не озоруй, не озоруй, негодный мальчишка!

Витька думал: папа заступится. А папа хмуро так и нехотя:

— Ну, будет, мать! Да перестань же!

И отнял Витьку.

— Не плачь, сынок! Не связывайся с ними. Видишь, меня ругают и тебя обижают. Это я плохо тогда сделал, пошутил с Манефой. Ты так не делай!

И уведет Витьку, уведет в залу, где на потолке птички ласточки, а по карнизу — золотые облупившиеся цацы.

— Ну, не плачь же, тебе говорю! Вон, погляди, вон птички какие!..

Затуманенными глазами Витька смотрит на потолок. Птичка?..

— Это кто сделал?

— Барин сделал.

— Какой?

— Барин, чей дом был. Разве ты не знаешь?

И Витька вспомнит разом: дедушка — он все знает — часто рассказывал про дом про этот и про сад, что внизу, под балконом, и про тот сад, где теперь дед живет:

— Барин был гордющий такой. Все на крепостных мужиках ехал.

Витька представлял: сядет барин верхом на мужика, вот как он сам, Витька, садится на Фимку, ножки свесит — и айда, пошел!

— Крепостные ему и дом этот строили, и сад разводили. Ну, отменил царь крепость,— барин не одумался, все аллейками, беседочками занимался. А мы его — к ногтю. К ногтю!

И, бывало, засмеется дедушка радостно.

— Этак приезжает кучер ко мне,— мы тогда на Моховой жили, где теперь магазин Андреева. «Так и так, барин зовет вас по делу». По делу? Что ж, по делу сходить можно. Прихожу. Малый в передней меня встречает, в белых перчатках, в кафтане красном. Этак гордо: «Что надо?» — «Доложи-ка барину, звал меня зачем-то. Андронов я». Ушел человек. Минуты не прошло, зовет барин в кабинет. «А-а, любезнейший, здравствуй!» — «Здравствуйте, ваше превосходительство!» — «Позвал я тебя по делу. Я слыхал, ты деньги даешь в долг».— «Даю, коли случаются».— «Дай мне под этот дом и под этот сад двадцать тысяч».— «Что вы, говорю, ваше превосходительство? У нас таких денег и в заводе не было». Ну, поговорили, вижу: дать можно. А признаться, давно мне этот дом люб был. Что же, видать сразу: не ноне-завтра барин в трубу вылетит: пимоны-гулимоны до дела не доведут. Ну, сговорились, дал ему восемь тысяч. И то был рад-радехонек. Потом еще пять. Подходит время платежа, у барина шиш в кармане. «Отсрочь».— «Извольте». Еще срок. А тут гляжу: другие наседают. Вот-вот барин банкрутом станет. Зовет раз: «Покупай дом совсем — и дом, и сад. В Петербург хочу ехать, на службу». Считали, считали. Доплатил я шесть тысяч, сделали купчую, через месяц барин уехал. Ну что ж? Освятили дом,— вот уже двадцать лет живем, бога благодарим. Барин все на крепостных ехал,— гляди, какая обширность везде. Ну и доехал! Патрет даже оставил на память. Видали в зале-то? Это он самый и есть. Потом, слыхать было, захирел вовсе, голоштанником стал. А мы теперь попросте здесь живем, без крепостных.

И опять дедушка засмеется.

Сам не знает почему, а рад Витька, как дедушка барина победил. У, барин, барин, а штанов-то нет! Вот висит на стене — можно ему язык показать...

— Вставай, вставай, учитель скоро придет, а ты вылеживаешься, бесстыдник!

Витька поглубже в подушки, в перину, подальше под одеяло — и холодом повеяло на Витькины ноги, за шиворот.

— Вставай!

И за руку. И за плечи. И целует в шею. Ух, эта бабушка! Ворчит и целует.

Фимка уже мелькает везде. И тоже, будто бабушка, ворчит, смеется.

— Невесты в училищу поехали, а жених еще храпит.

— Я не храплю,— сердито говорит Витька.

— Ночью-то, верно, не храпишь, а утром обязательно храпишь.

— Врешь ты!

Витька поднимается, сердито смотрит на Фимку. У Фимки лицо розовое, большое, веселое, как солнышко, и зубы белые блестят, словно кусочки сахару, щипчиками нащипанные. Витька одевается, будто недовольный, а бабушка улыбается, Фимка улыбается, солнышко улыбается,— сам не смеялся бы, да нельзя.

— Ха-ха-ха!.. Бабушка, я вчера у дедушки был.

Бабушка будто удивлена.

— Ну, что ж тебе он говорил?

— Про змея говорил. Я воевать скоро буду, убью змея. Дедушка воевал, и я буду воевать.

— А-а, воители-греховодники! А про меня, поди, не спрашивал? Не говорил, как меня покинул на старости годов? Эх вы, воители!..

Лицо у бабушки кривится чуть, будто она отведала кислого.

— Ну, молись, воитель, да иди вниз — мать ждет.

Витька встает перед иконой, всматривается в знакомые лики, голубые, золотые и красные лампады и, вслух выговаривая непонятные слова, вызывает плот на Волге и золотые крендели от Кекселя,— хорошо это, такое привычное, ласковое. И бабушка притихла, и Фимка притихла, словно боятся спугнуть Витькины видения. Потом — поскорее мимо страшного, лохматого...

—...но избави нас бог от лукавого.

Витька глубоко вздохнул, обернулся, а бабушка смеется ему навстречу ласково, Фимка — одобрительно:

— Вот молодец, во-от! Ну, теперь иди чай пить.

Крича во все горло,— потому что теперь можно, Витька знает, никто не побранит,— по скрипучим ступеням вниз, и не слышно бабушкина голоса сзади:

— Не упади!

Уже внизу, уже вот большая белая дверь. Отворил, а там, за большим-большим столом, папа — большой такой, черные волосы на стороны, рядком причесаны.

— А-а, Виктор Иванович! А-а, господин Андронов, с добрым утром!

И мама, белолицая мама, смотрит, смеется. Витька на момент чувствует крепкий папин запах — чуть пóтом, чуть мукой; потом мамин — горячий и ласковый, душистым мылом или чем-то; у папы — лицо волосатое, щекочет, а у мамы — мягкое, горячее...

Отцеловал, лезет Витька на стул. А папа строго:

— Ты что же с тетей не здороваешься?

Витька с любопытством оглядывается. Из-за самовара глядит лицо в морщинках, улыбается умильно, на подбородке — вот как раз под нижней губой — бородавка волосатая, вроде вишенки. Витька нехотя идет к тете, боится: вдруг бородавка пристанет?..

— Ну, что тебе говорил дедушка? — спросил папа, едва Витька взобрался на стул.

— Про змея. Ты, папа, воюешь?

— Как?

— Дедушка говорил, ты воюешь. Потом я буду воевать.

Папа раскатисто рассмеялся.

— Верно! Воюем. И ты будешь воевать.

— Ну, воитель, скорей пей чай. Сейчас учитель придет,— поторопила мама.

Витьке хочется рассказать про змея, про горы, но папа торопится.

— Вот у нас дела-то какие,— говорит папа, обращаясь к незнакомой тете,— вот ушел тятенька в сад и живет. Третий год живет, душу спасает. Все дела забросил. А сила-то есть еще!

— Что ж, это божье дело.

— Божье-то божье! Кто спорит! Да не водится так. Все в городе про это говорят. Нехорошо! Вроде будто не в себе он. Кредита мы можем лишиться. Наше дело коммерческое, а тут вроде живыми в угодники!

— А ты не осуждай отца-то, Иван Михайлович! — говорит тетя строго.

— Да что ж, я не осуждаю. Только чудно это. И в семью остуду внес. Мамашу и ту видеть не хочет. «Ты меня, говорит, на мысли наводишь».

И опять рассмеялся раскатисто.

— Одного только внучка вот и жалует. Кабы не внучек, должно, и совсем забыл бы про дом про наш.

— И не бывает?

— Бывает, да редко. Только в праздники большие, вроде как с визитом. Ну и когда обедню служат у нас.

Витька пьет с блюдца чай, глядит на свое лицо, отраженное в самоваре,— такое длинное и смешное. И уже не слушает, что говорят взрослые.

### III. У дверей в большую науку

Вот Витька думал: Семен Николаевич знает не меньше дедушкиного, и было чуть досадно ему, что хоть и учитель Семен Николаевич, а человек лядащий, и сапоги у него худые, как у кучера Петра. Досадно такого слушаться, ежели сапоги худые.

— Семен Николаевич, вы про змея знаете?

— Про какого змея?

— Про змея, который горы?

— Чего городишь? Какие горы?

— Богатырь змея разрубил, стали горы. А змея пустыня прислала.

— Ну, что за юрунда! Нечего там! Давай-ка вот арифметикой займемся. Никаких таких змей не было!

И нахмурился сердито. Витька даже все слова забыл,— смутился. Как же нет змей, когда горы — вот они, и дедушка об этом очень хорошо знает?

— Это мне дедушка сказал.

Хотелось Витьке уязвить Семена Николаевича, а себя выгородить, не сам, мол, выдумал, вот какой человек сказал — дедушка.

— Юрунда!

И в первый раз за все полтора года Витька почувствовал: Семен Николаевич не знает, ничегошеньки не знает про змея. Прямо хоть заплакать впору.

— Вы не знаете, а дедушка знает.

— Ну, ты об этом помолчи! Много вы с дедушкой знаете!

А-а! Витька оскорбился. Испуганными и вместе холодными глазами он посмотрел на учителя, на его длинную рыжую староверскую бороду и сказал угрюмо:

— Нет, вы не знаете. Дедушка знает.

— Ну, поговори у меня! — рассердился Семен Николаевич.— Я тебе поговорю!

Витька капризно сбычился, оскорбленный за себя.

— Отвечай урок.

— Не хочу!

— Как не хочешь?

— Не хочу!

— А я отца позову.

Витька помолчал, деловито подумал, что будет, если придет отец, сказал:

— Вы ничего не знаете.

— А-а, ты так? Ты еще такой молокосос, что дешевле воробья, а такие слова мне? Хорошо, я отцу скажу нынче же.

Вечером, когда собирались ужинать, папа позвал:

— А ну-ка, ученик дорогой, пойди сюда!

Мама что-то завздыхала:

— Будет уж тебе, Иван Михайлович!

Папа посмотрел на нее сердито:

— Не суйся, если нос короток.

И взял Витьку за плечо.

— Ты что это нынче учителю отмочил?

— Я ничего, папа.

— Как ничего? Ты зачем ему дерзил?

— Он говорит: змеев нет. Вы с дедушкой ничего не знаете. А я ему сказал: вы ничего не знаете.

Витька говорил запинаясь, язык будто связан, и все — мать, отец, бабушка — слушали молча. Отец хмурился, вот брови сошлись над переносьем, грозно, страшно. И вдруг:

— Хо-хо-хо!

— Ах ты... подковыра этакий! Да как же ты так? Семен Николаевич — учитель, его надо уважать.

— Про змея не знает.

— Ну, маштак,— качала головой бабушка, не то укоряла, не то одобряла,— разве можно учителю так?

— Ну ж учитель! — брезгливо сказала мама.— Голова всегда растрепана, и в бороде крошки.

Отец задумчиво побарабанил пальцами по столу.

— Не в этом дело, что в бороде крошки, пусть хоть коровы пасутся — не беда. А вот в голове пусто — это плохо. Не может поставить себя с мальчишкой. Говорил я: Николая Алексеевича пригласить.

— Да ведь табашник он!

— Ну, что ж табашник? Можно бы запретить ему у нас курить. Зато учитель. А этот — вот тебе, из грязи да в князи. Да туда же: «Ничего с дедушкой не понимаете».

— Папа, я не хочу с ним учиться.

— Ну, ты помолчи! Про то уж я знаю, с кем тебе учиться.

И задумался.

— Придется начинать учить по-настоящему. Раз сынок простым учителям начал говорить: «Вы ничего не знаете», надо учителей настоящих. Ты как думаешь, мать?

— Знамо бы, надо!

— Да-а, реального не миновать.

— Что ты, Иван, перекрестись! — сказала с испугом бабушка.

— И креститься нечего! Все отдают. Намедни я в Саратове был, Широкова Влас Гаврилыча встретил. «Растет,— спрашиваю,— сынок-то?» — «Растет, в гимназию отдал учиться». Ну, я не утерпел, попенял его. А он: «Э, говорит, брось, не те времена! Ныне без науки нельзя». И не токмо в гимназию, думает в университет тащить его. «Ежели, говорит, задался, отдам обязательно аль к немцам отправлю: пусть поглядит, как образованные народы фабрики, заводы ведут». А ты, мамынька, чего-то боишься.

— Ну, пусть там твои Широковы что ни говорят, а мой сказ один: не пущай его далеко в науку — совратится.

— Что зря говорить? «Совратится, совратится»! Аль их в школах учат бога забывать?

— Щепотью будет молиться, табак курить. И-и, не моги!

И мать тут вмешалась:

— Приглашать будем домой учителей, бог даст, научим.

— Я в училищу хочу,— сказал Витька.

— Ты помолчи, малый! — строго сказал отец.— Сколько раз я тебе говорил? Ежели большие говорят, ты должен молчать.

Витька заморгал. Бабушка сказала:

— Намедни я с матерью Марфой поговорила. «И-и, говорит, огонь вечный ждет его, ежели вы его далеко в науку пустите. Все ученые в бога не верят».

— Ну, еще глупую бабу слушать!

— Эк сказал, глупую бабу! Не дурее тебя. Все уставы...

— Что там уставы? Гляжу я, на одну колодку деланы ваши уставщики. Пошел я намедни к отцу Игнату. «Как,— спраши-

ваю,— с сыном быть? Учить хочу, а вот опасаюсь».— «Не моги, говорит, в реальное отдавать. Там, говорит, не только учителя табашники, а есть и немец, и француз, и все британоусцы. И танциям учат, и песни петь. Нам, говорит, давай. Мы обучим».

— Вот и отдай,— поддержала бабушка.

— Обучат они стихиры петь — это верно. Только нам это ни к чему.

— В училищу хочу,— опять протянул Витька.

— Кому я сказал: не лезь? — строго крикнул отец.

— Видать, теперь уже неслухом делается, а тогда что?

— Неслухом это вы его баловством своим сделали. Я как возьмусь, так у меня не побалуется. Сядь прямо!

Витька с удивлением поглядел на отца.

— Тебе говорю, сядь прямо!

Витька выпрямился и сказал:

— В училищу хочу.

У отца в смехе задрожали щеки.

— Эту песню мы уже слыхали. Будет! Куда отдадим, там и будешь.

И опять повернулся к бабушке.

— Ты, мамынька, говоришь, не пускать далеко в науку. А то не возьмешь во внимание, что образованный человек легче живет. Али ты хочешь зла внуку?

— От легкой-то жизни и грехи все.

— Вот Задорогины не грешнее нас, не побоялись греха, отдали Кузьку в реальное. Опять же Ермоловы, Клявлины,— гляди, все купечество потянулось к науке.

— Пусть потянулись, а тебе вот мой сказ: не пущай далеко! Поучил дома — и ладно. Вырастет, приучай к своему делу... И не махай рукой-то! Что ты машешь? Сам-то стал своебышником. Материно слово, как горох от стены.

— Да ведь, мамынька, дела-то такие простору требуют. А ежели науки нет, где же просторы?

— Вот просторы-то — адова дорога,— самые тебе просторы. Иди, сыночек милый, иди! А внучка я не отдам.

Витька посмотрел на бабушку сердито и опять сказал:

— А я в училищу хочу.

— А я не пущу.

— А я убегу.

Отец захохотал, бабушка стала сразу суровой.

— Да ты что, Иван, очумел? Мальчишка дыбырится, как петух, а ты смеешься?

И пошла, и пошла. Отец нахмурился.

— Ступай-ка, брат, отсюда,— сказал он Витьке.— Из-за тебя шум. Мала куча, да хоть нос зажимай.

Витька капризно оттопырил губы, пошел из-за стола и уже издали, от двери, крикнул:

— Я в училищу пойду!

И убежал.

Вечером бабушка смотрела на Витьку холодно, и ему было нехорошо. Он, лежа в постели, спросил:

— Бабушка, ты на меня сердишься?

Бабушка вместо ответа вдруг заплакала. Опустилась на стул, качала головой из стороны в сторону, говорила будто про себя:

— Что это, господи? Муж на старости годов покинул, сын не слушает, внучка сгубить хотят. Головушка моя бедная!

Витька поднялся на локте, смотрел на бабушку пристально: ему было очень жалко ее.

— Бабушка! — позвал он.

Ему хотелось утешить ее.

— Бабушка, я не буду больше.

— Чего ты не будешь? Маненький ты, ничегошеньки ты еще не понимаешь! Все будешь делать, что велят тебе... Эх, головушка моя! Вот отдадут тебя в училищу, а там ты и бога забудешь! Вот они, учены-то, ни середы, ни пятницы не блюдут: молоко хлещут, мясо лопают. Ровно собаки.

Жалко было бабушку Витьке. Он подумал про училище. И в училище хотелось ездить на лошади, как ездят другие мальчики, а на картузе светлый герб, на шинели — золотые пуговицы...

Ну что ж, с того вечера и пошли в доме ссоры да розни. Дом замолк. Бабушка, мама, папа не шутили, не разговаривали; бабушка смотрела на Витьку затаенно-сердитыми глазами, будто он причина зла. От хозяев перешло на прислугу. Фимка говорила приглушенно, не смеялась. Старухи на кухне все шептались. Кухарка Катя сердилась на всех и раз при Витьке ударила кошку ухватом. Витька капризничал, говорил дерзости Семену Николаевичу.

Вдруг — это было утром, когда во всем доме особенно занудилось,— на дворе затопала лошадь. Витька к окну. У крыльца стояла большая коляска, а из нее вылезал кто-то белобородый, в картузе. Витька взвизгнул:

— Дедушка!

И опрометью бросился на крыльцо. Дедушка уже поднимался по лестнице. Витька повис у него на руке.

— Подожди-ка, подожди,— отстранил его дедушка,— целоваться потом будем.

«И этот!» — с отчаянием подумал Витька.

Дедушка уторопленно шел по лестнице. В доме забегали. Отец и мать шли навстречу дедушке... Все — почти молча — пошли в столовую. Туда же пришла и бабушка. Она поклонилась деду в пояс.

— Здравствуй, Михайло Петрович!

Дед сказал:

— Здравствуй!

А на бабушку поглядел мельком.

— Ну, в чем у вас тут зарубка? Дом, что ли, проваливается?

— Да вот насчет Витьки,— торопливо сказал отец.

— Ну?

— Вот я...— Отец вдруг повернулся к двери и крикнул: — Фимка!

В момент Фимка была здесь.

— Возьми-ка Витьку, идите погуляйте в саду.

Витька хотел закапризничать, но увидел суровые лица и не посмел.

Он пошел с Фимкой в сад. Из окон дома несся сердитый говор, и кто-то кричал тоненьким скрипучим голоском. Витька удивился.

— Это бабушка сердится,— сказала Фимка.— Идем, идем отсюда.

Когда они вернулись, ни дедушки, ни отца не было дома. А у бабушки и у мамы глаза были заплаканы. Витька затомился, не мог ни играть, ни есть. И не мог понять, что происходит. Обедали только вдвоем: мама и Витька. Лицо у мамы было помятое.

— Ну, сынок, наделал ты забот!

— Почему, мама?

Она не ответила, махнула рукой; Витька, томясь, пошел к бабушке. Бабушка стояла на коленях перед иконами, кланялась в землю. И все лампады были зажжены, как на пасху.

— Отврати, господи,— шептала бабушка,-- отврати...

Казалось Витьке: тяжелое несчастье наваливается на дом.

Вечером дедушка опять приехал. Витька боязливо пошел ему навстречу. Вдруг — свет: дедушка улыбается!

— А ну иди, иди, заноза, иди сюда!

И поцеловал внука в лоб, в щеку, в другую.

— Это ты что же бабушке дерзишь? А? Еще ничего не видя, уже нос воротишь?

— Я, дедушка, ничего... Я бабушку люблю.

— А меня?

— И тебя люблю. Ты золотой, а бабушка серебряная.

— А, дурачок...

Отец, как увидал дедушкину улыбку, просиял, а весь день был туча тучей.

И бабушка приплыла. И показалось Витьке, будто похудела она сразу, и тревожно глядели ее глаза.

— Ну что? — спросила она.

— Что ж, был и советовался,— сказал дедушка, усаживаясь.

Все сели. Витька с удивлением смотрел на торжественные, напряженные лица...

— Ну, явился к нему. «А, Михаил Петрович, рад тебя видеть! Как жив-здоров?» — «Так и так, Евстигней Осипович, к вам за советом пришел, как вы голова, можно сказать, так вот... насчет внука».— «Что такое?» — спрашивает. «Внука хотим в большую учебу отдать, а сомневаемся, будет ли угодно богу».— «В какую учебу?» — «Да вот в еральное, что в сапожниковом

доме». А он прямо с первого слова: «Это дело хорошее».— «Ой ли, хорошее? Мы боимся, не вышло бы пагубы. Учат-то кто там? Табашники да британоусцы. Боимся, как бы бога не забыл впоследствии времени али табак не научился курить. Ведь вон, иду я намедни, а они — эти самые ералисты — собрались за углом и покуривают. Вот тебе, куда дело глядит».— «А ты, говорит, на это дело не смотри. Насчет бога да табаку и у них в училище строго. И сами вы за этим присмотрите, в струне мальчишку будете держать. А без науки теперь нельзя: наука — первое дело».— «Мы вот так кумекаем, не лучше ли попросте? Жили мы неучёны, а капитал нажили. Не такой ли дорожкой и ему идти?» — «Э, говорит, нет! Времена не те. Теперь жизнь много требует. Вот и я — нет-нет да посетую: мало меня учили».— «Что вы, говорю, Евстигней Осипович, образованней вас во всем городе никого нет».— «Это по нашей дикости так кажется. Я-то вот сам чувствую, как много мне надо учиться. Ну, что там, отдавайте». Тут Настасья Кузьминична объявилась: «Пожалуйте чай пить». За чаем я ему про начетчика нашего. «Начетчик не советует: совратится, говорит». А Евстигней Осипович даже рассердился: «Вот у меня то же было. Покойный родитель хотел меня в Москву отдать — тетка там жила, учиться — простор. Так эти наши греховодники: «Не моги отдавать, совратится, древлего благочестия лишится». Так и сбили родителя». Ну, побеседовали мы еще с ним,— перебил ведь он меня иконами-то. Из Москвы привез две: Смоленскую, новгородского дела, и Николу, письма строгановского. Ну что за иконы!..

— Так как же насчет Витьки-то? — не утерпев, перебил дедушку Иван Михайлович.

Старик покосился на сына.

— Что же, надо быть, придется отдать. Видно, быть по-твоему!

Застонала бабушка:

— Ну, пропала его головушка! Родили его на горе горькое!

Дед глянул на нее сурово:

— Помолчи, баба! Все мы родимся на горе горькое. Тут главное дело в тебе будет, Иван! Чтоб ты его в струне держал.

— Дедушка, я буду реалистом? — закричал Витька, не утерпел.

— А, ты тоже здесь? Будешь ералистом. Только покуда говорят старшие, свово носа в разговор не суй.

Витька выскочил из комнаты, задыхаясь от восторга. И темным коридором, потом по лестнице вниз, в кухню. Там — за столом — пять темных женщин сидят у самовара. Заулыбались навстречу Витьке искательно. Витька им в лицо:

— А меня отдают в реальное!

Лица у старух вытянулись, глаза глянули испуганно.

— Дедушка сказал: отдадут.

И, попрыгав, он бросился назад в дверь, по лестнице — вверх, и коридором — в комнаты. Дед, бабушка, отец и мать

тихонько разговаривали. Витька с разбегу прыгнул к деду и схватил его за шею, спрятал свое счастливое лицо в его бороде.

— Что ты, дурачок? Ну? Ишь радуется! Несмышленыш еще...

Он осторожно прижал к себе Витьку и весь улыбался.

— Я каждый день на лошади в училище буду ездить,— выпалил Витька.

— Это как придется,— улыбнулся дед.

И, помолчав немного, сказал:

— Дед-то без порток в его пору щеголял, а внучек-то... обязательно ему на лошади. Да-а! А тятяша-то мой в лаптях в город пришел... Эге-ге-ге, времена-то как меняются!

...Боялся Витька попов, как бога. Боялся их волосатых голов, их голосов ревучих, рад был убежать и спрятаться где-нибудь в уголке сада, когда они толпой приходили в дом. Но хорошо было: на него никто не смотрел, с ним никто не говорил, когда приходили попы прежде. А вот на этот раз только ради Витьки дед с папой и решили отстоять обедню в дому по случаю начатия большой Витькиной учебы. Все эти дни, как узнал Витька про реальное,— узнал, что он теперь законный ученик приготовительного класса,— небывалое торжество захватило его от пят до маковки. Пусть бабушка поплачет, ежели ей хочется, а Витька — реалист! Вот только эти попы! Затомился Витька, когда увидал, что в зале занавешивают скатертью портрет барина-трубокура, а в дальней комнате — в молельной — перед темной большой иконой владычицы накрывают стол широкими полотенцами, зажигают все лампады; бабушка, мама, старухи, Фимка надели сарафаны, мама даже шелковую белую шаль надела. И на Витьку надели сапоги с высокими голенищами и черный кафтанчик-сорокосборку — сорок сборок в талии. Мама велела Фимке расчесать Витьке голову и погуще намазать волосы деревянным маслом. Неловко и чуть страшно стало Витьке. Дед и Филипп приехали из сада, оба суровые и торжественные. Дед увидал внука, спросил ласково-сурово:

— Нарядился?

Оба прошли в молельню. Витька за ними. Дед долго молился, потом развернул белый узел, вынул оттуда темную икону Спаса в серебряной чеканной ризе. Эта икона — дедушкина гордость; слыхал Витька, как говорили про нее не раз и не два: говорили, икона эта письма рублевского, а что оно значит, письма рублевского, Витька расспросить не удосужился. Икона как икона: темная и старая.

Вдруг в молельню поспешно вошла Фимка, сказала испуганным голосом:

— Приехали!

У Витьки заныли ноги от тоски, но пошел он за дедом, за мамой, за папой, за Фимкой в переднюю. Там уже полно было народа — все в черных кафтанах-сорокосборках, большие, бородатые, в картузах.

Седобородый снял картуз, и Витька с удивлением увидел, как у него из-под картуза выскочила кулижка, развернулась кулижка — стала маленькой седенькой косичкой. Старик поймал ее тремя пальцами и потеребил, поправляя, чтобы не торчала она вверх. И другие снимали картузы и оправляли волосы, высвобождая спрятанные в них косички. Увидали деда, не торопясь все полезли к нему и долго ликовались: целовались крестнакрест.

— Как господь милует?

— Пока грехам терпит.

— Давненько не видались! Э, отец Григорий, иней и на твою голову начал садиться.

— Ничего не поделаешь. Божьи пути. Текёт время.

— Я тоже вот — седьмой десяток стукнул. Ровно на тройке скачут года. Вот уж, внучка в училищу определяю.

— Что ж, дело будто не плохое. Хоша многие из наших и недолюбливают этого.

— Пожалуйста, покорнейше прошу!

Все толпой, чуть церемонясь и уступая старикам дорогу, пошли в молельню. За ними со всего дома потянулись старухи, Митревна, кухарка Катя, Храпон, тоже причесанный, тоже в кафтане, с таким серьезным лицом, что Витька удивился, потому что Храпон всегда зубы скалил. Другой кучер, Петр, стоял в зале, не решаясь идти за всеми, потому что он был в жилетке, из-под которой рубаха спускалась почти до колен. А кафтан Петр пропил. Отец прошел поспешно через залу, позвал:

— Витя, иди сюда!

Схватил Витьку за руку, провел сквозь темную толпу по молельне, поставил впереди рядом с дедом. Старик — тот, что ловил упрямую косичку,— уже был в золотой ризе. Душистый дым поднимался из кадила. Старик закрестился, тяжело опустился на пол. И все закрестились поспешно, широко махая руками, поклонились в землю — каждый на подручник. Бабушка сунула Витьке подручник в руки. Кланяясь в землю, Витька клал подручник на пол и в поклоне касался лбом как раз его.

Ревучими голосами черные косматые начетчики запели точно козлы, а с ними батюшка в ризе. Дед тоже что-то зажужжал над Витькиным ухом. Начетчики пели в унисон — то глухо, протяжно, то голосами тонкими и быстро. Это наводило тоску. Витька оглянулся. Мама рядом, бабушка рядом — обе в шелковых белых платках, повязанных почти до глаз.

— Не вертись! — строго прошептал дедушка.

Витька испугался, стал как вкопанный. Вот дед взял его за плечо, пододвинул совсем близко к батюшке. Батюшка обернулся и над самой Витькиной головой зачитал раздельно, растягивая слова:

— ...Страху господню научу вас... иже Соломона премудрости научивый, боже всех... отверзи душу и сердце, уста и ум

раба твоего Виктора... Избави его от всякого искушения диавольского...

«Это про меня»,— удивился Витька, услыхав свое имя в молитве, и от волнения кашлянул.

Когда стали кропить святой водой, дедушка опять выдвинул Витьку вперед.

Вышли из молельной, когда уже засинело в окнах. Витька устал от тоски. Вышел и удивился: толпой стояли гости у самой молельной. Все тети одеты нарядно, в тяжелых шумящих платьях, с большими сверкающими сережками в ушах. А дяди — сплошь в староверских кафтанах, подстриженные в кружок, расчесанные рядком, все важные, толстые, бородатые, с хитрыми глазами.

Незнакомый дядя ухватил большими руками Витькину голову, запел:

— А-а, вот он, ерой!

Кто-то еще трепал Витьку, женщины целовали. Целовались между собой. Мужчины ликовались... Было шумно, весело. И в этой толпе Витька опять почувствовал себя по-праздничному.

Однако за стол Витьку не посадили. Но Витька не обиделся, потому что знал: когда сидят за столом большие, маленькому не место с ними.

Старый священник и ревучие начетчики вместе с дедушкой уселись за стол у самых икон. А гости пестрой лентой вокруг столов по зале: женщины — по одну сторону, мужчины — по другую. Только папа, мама и бабушка не сели — их места остались пустыми.

— Гостечки дорогие, пожалуйста, получайте! Получайте, что кому желательно,— суетился папа.

— За здоровье твово внука, Михал Петрович!

— Спаси Христос, кушайте, пожалуйста!

— Анисия Васильевна, что вы не получаете? Икорки-то вот, балычку! Получайте, прошу вас!

Зашумели гости, застучали вилками, ножами, тарелками. Дедушка со священником разговор держал о чем-то благочестиво. И гости ели и пили чинно, вежливенько.

Витька походил по дому, опять вернулся в залу. Здесь уже было шумнее. Священник и поючие начетчики смеялись, их глаза совсем утонули в складках, головы чуть растрепались. Фимка, Глафира, Катя метались от кухни к гостям с блюдами, тарелками. На столе все было в беспорядке. Глаза у дядей осовели. А тети смеялись весело, жеманились.

Папа кричал исступленно:

— Василь Никанорыч, заморского-то! Ежели зеленое не пьешь, хвати этого.

А Василь Никанорыч — седобородый, борода у него страшенная, еще больше дедушкиной,— загудел:

— Не потребляю, Иван Михалыч, уволь! После того случаю не могу!

— Ну, да стаканчик-то можно!

Вдруг папа повернулся, увидел Витьку, схватил за руку:

— Ты чего здесь? Иди, спи! Фимка, отведи его спать.

Вот так, ради него собрались все эти, а теперь спать отведи?

Хотел покапризничать, но Фимка вела уже за руку наверх по лестнице.

— Раздевайся, спи!

Она торопила нетерпеливо, и Витька знал: ей хочется поскорее вернуться вниз, смотреть, как пьют, едят гости.

Витька разделся, лег. Фимка потушила лампу:

— Спи!

Она ушла. Витька долго смотрел на темные окна, на синюю лампаду, горящую перед иконами, послушал крики, что доносились снизу. Стало тоскливо. Он слез с кровати, оделся, спустился. И первое, что увидел он,— двое дядей, которые вели под руки пьяного священника, а священник вырывался и кричал:

— Стой! Тебе говорю, стой! Сокрушу всех дьяволов!

Дедушка шел сзади — красный такой, что не узнать, только волосы были те самые, белые и дыбырились, будто снег зимой в сильный ветер.

— Ты что здесь? — закричал сердито дедушка.— Марш наверх!

Витька побежал назад.

И сидел долго, слушал, как внизу плясали, гулко топая. И пели песни...

А через три дня он на лошади вместе с папой ехал в училище. Большой картуз с гербом мял его уши, на шинели сверкали пуговицы. Народ останавливался на улицах, смотрел на Витьку, розового от смущения и гордости.

## IV. Мгла

В эту осень Витька ушел от бабушки. Внизу, в большой угловой комнате, два окна которой выходили к Волге, папа приказал поставить кровать, стол, диван, шкафчик для книг, мама окропила все святой водой. Витька перелетел в это гнездо новое.

Жалел? Не жалел. Была бабушка, будила, пела: «Права ножка, лева ножка», ласкала, радовала, ныне стала сердитой, точно чужой.

И этот вот случай еще:

— Бабушка!

— Ну?

— Ты мне говорила: земля на трех китах.

— Ну?

— А вот в книжке написано: земля — шар, по орбите катится. Вот гляди-ка!

И Витька с торжеством показал: в середине солнышко, лучи от него как от господней головы на иконе, а кругом линия, и по ней катится шар — земля.

Глянула бабушка, заворчала:

— Что ж, рыло-то брито, и стала орбита. Вот тебе и весь мой сказ!

А Витька этак с задором:

— Никаких китов нет. Ты не знаешь ничего.

И бабушка, не говоря худого слова, марш из комнаты, и через минуту отец пришел — с двухвосткой.

Можно тут жалеть?

О, бабушка, она позади осталась, не до нее!

Закружились дни, запрыгали, как никогда не кружились и не прыгали прежде,— будто поток хлынул прямо на Витькину голову. Из колдобинки поплыл Витька в большое море. Утром — темновато еще — Фимка придет в комнату, зажжет лампу.

— Вставай!

Поспать бы! А Фимка без слов, без споров одеяло стащит и на холоду оставит Витьку лежать в одной длинной, белой, тонкой рубашке. Не улежишь!

— Вставай!

— Уйди! Я сейчас.

— Вставай!

Настойчивая, не умолишь, не упросишь, как, бывало, бабушку. Поднимет, заставит умыться, одеться. А на дворе и свету еще нет.

— Иди чай пей!

Но умоется, пробежится Витька, увидит бурлящий самовар на столе, бабушку или маму возле самовара — и уже весело ему, и про спор с Фимкой забудет, заторопится, все бы ему пыхом...

У крыльца во дворе слыхать: топает лошадь. Там Храпон-зубоскал ждет, чуть дремлет на козлах в рассветных сумерках, и лицо у него зеленоватое. В длинной шинели с золотыми пуговицами, ранец за плечами, выбежит Витька, и вот мчатся-мчатся по проснувшимся улицам. Карий жеребец Забой несет, перегоняет, пугает — только ветер хлещет в лицо. На тихой улице, против городского сада — белый большой дом. Здесь.

Шумно уже в коридорах. Стриженые мальчики в серых куртках или черных мундирчиках с золотыми пуговицами кричат, бегают. Витька бежит в свой класс коридорами. И не робко, как вот недавно, две-три недели назад. А Краснов ждет. Он немного угрюмый, робкий, делает все, что захочет Витька. С Красновым можно поиграть в перышки, в пятнашки, можно поменяться книжками, поговорить, о чем хочешь.

В двери мелькает Барабан, молодой надзиратель, строго оглянет, не шалят ли мальчишки слишком, опять скроется.

В коридоре бьет звонок. Торопливо становятся мальчики в пары, идут, как солдаты, в зал, и там, установясь длинными рядами, оглушительно поют: «Царю небесный», «Отче наш», «Боже, царя храни»...

И странно: «Отче наш» так же томит Витьку, как в минуты его одинокой молитвы.

И после ждать учителя, чуть волноваться: не спросит ли?

Учитель придет, молодой, усики чуть-чуть, зовут Пал Палыч, прозывают Огурчик.

— Андронов, отвечай!

У Витьки птицей забьется сердце, зарумянится весь он.

— Ну?

И улыбнется ласково Пал Палыч.

— А ты не робей. Ведь знаешь урок.

— Знаю.

— Так вот.

И Витька уже отвечает.

— Вот-вот, молодец!

Скоро Витька привык: не бьется уже сердце птицей, ныне — спроси не спроси — он всегда знает.

— Э, да ты в самом деле молодец! — скажет Пал Палыч.

И батюшка, страшный, лохматый церковный батюшка, тоже:

— Молодец, молодец! Ты каких Андроновых-то? Иван Михайлыча, что ли?

Удивительно, даже батюшка знает папу!

Домой Витька идет с Красновым пешком. Оба маленькие, а ранцы — с вагон; побежать если, книжки и пеналы в них громыхают.

И дома с гордостью рассказывать папе, маме, что было в классе.

По воскресеньям кое-когда приходил Филипп из сада:

— Приказал дедушка прислать внучка.

И вот на Забое в возке мчались за город, в сад.

Дедушка будто пел, разговаривая с Витькой:

— Ну, ученик, как дела-делишки?

Так дни — кубарем, играя, как зайцы в степи. Только бабушка вот стонет, охает. Захворала, ноги отнялись, будто почуяла: не нужна она в жизни больше, раз Витька ушел. И уже редко-редко приходила сверху, тяжело шаркая больными ногами.

А весна шла. Каждое утро — Витька еще не просыпался — комната до краев наполнялась светом. Папа говорил:

— Скоро Волга треснет.

Витька знал:

— Волга треснет ночью.

И утрами, вскочив с постели, прилипал к окну: поглядеть, не треснула ли, не двинулась ли Волга? Но Волга еще не треснула. Только по закрайкам из-за снега заголубела вода, дорога почернела, темным широким полотном лежала от берега до берега, и еще на острове, что против города, проглянули пески, плешинами, заплатами маячили на белом снегу, сверкающем на солнце.

Но раз ночью за окнами заухало, зашумело. Витька поднял голову, долго слушал. Вдруг за дверью шаги. Вошел папа со свечой, одетый.

— Волга пошла. Оденься! Идем на балкон!

Витька поспешно оделся, и оба вышли на балкон молча.

Внизу, за садом, двигалось чудовище. Кругом трещало, кряхтело, ухало, стонало. Витьке показалось: движется змей. Он прижался к отцову боку.

«...Теперь отец твой воюет, а придет время — будешь воевать ты».

Витька засмеялся беспричинно и вдруг заорал:

— Эй, э-эй!

— Тю! С ума сошел? — удивился папа.— Людей перебудишь!

Витька сконфузился.

— Папа, хорошо!

— Хорошо, малый, это верно. Люблю.

Так двое долго стояли они, слушали, как ворчал под горой змей...

В вербное воскресенье Витька ездил к деду в сад. Ездил с папой. Везли вербу освященную деду. На Волге чки шли длинные, по целой версте, на конце острова вздымалась целая гора льдин. Хотелось выпрыгнуть и бежать, бежать, орать. Отец все посмеивался:

— У, какой вертун стал ты!

Сад бурел еще весь голый, но все деревья приветливо махали тонкими ветвями навстречу весеннему легкому ветру. Снег лежал только возле стволов яблонь и возле заборов. Льдины подходили к самому саду — вон за забором внизу ползли, шумели. Дедушка постарел за эту зиму, потемнел, будто согнулся. Но обрадовался крепко — это было видно по его глазам: дедушка моргнул, точно заплакал, когда целовал Витьку. Пока готовили чай, Витька убежал в сад, из сада — на берег. Там, забравшись на камень, стоял долго, смотрел на ползущие льдины. Пришел Филипп, позвал:

— Иди, дедушка зовет!

Отец и дед сидели за кипящим самоваром.

— ...переродом засею, а по Чалыкле белотурку думаю пустить.

— Найдешь ли рабочих-то?

— Ну, этого добра много! У меня теперь везде машины работают.

— Хорошо ли машины-то? Поглядеть бы надо съездить.

— И глядеть нечего: все за первый сорт идет.

Дедушка помолчал, подумал о чем-то, поглаживая бороду; Витька заметил: рука у деда стала сухой, желтой, и синие жилки на ней обозначались, вот как на носу. Поглядел дед на Витьку, улыбнулся:

— А внучек как?

— Что ж внучек! — ответил папа.— У внучка дела не надо быть лучше. Намедни сам я в училище был: все учителя хвалят.

— Вот, слава богу, умник!

— В кого же ему дураком быть? — усмехнулся отец.— Дедов внучек-то!

Дедушка потянулся к Витьке, поцеловал.

— Дедушка, а я когда буду воевать?

— Хе, ты все про это. Подожди малость. Твой черед впереди.

Дед опять задумался.

— Надо бы мне самому съездить, поглядеть, направить.

— Ну, куда ты, папаша? Вишь, ты какой кволый стал!

Они заговорили опять про свое, оба бородатые, оба лобатые, суровые, и носы у обоих здоровенные. А Витька опять в сад, и чашку чаю не допил...

Уже в конце весны раз приехал дед из сада домой в город, дрожащий, сумрачный, но весь этакий решительный, и потребовал:

— Иван, вези меня за Волгу.

Побледнел тогда Витькин отец.

— Зачем, папаша?

— Хочу в остатний раз на хутора поглядеть. Чую: к осени умру.

О-го-го что было, как сказал он это слово: умру!

— Куда тебе ехать в такую даль? Умрешь дорогой. Здесь в спокое...

А дед бух палкой в пол:

— Вези, тебе говорю!

И разом все примолкли: вот какое в голосе у деда было!

Дня этак через три на волжском пароме — кибитка с кожаным верхом, на рессорах, похожая на большого жука; мужики и бабы боязливо заглядывали под верх:

— Кто это там? Не исправник ли?

А в кибитке, в темноте, борода белеет — большущая, волнистая. Узнали мужики, и шепот кругом пошел:

— Сам Андронов едет! Старик Михайло...

— А это кто высокий с ним?

— Это его сын, Иван.

— А-а-а!..

И все украдкой — на них, на них, этакие смущенные, в полном сознании своего ничтожества. И, наверное, не заметили бы большелобого реалиста в белой парусиновой курточке, что жадно глядел на Волгу, на мужиков, на дальний берег,— жадно, потому что ехал впервые в пустыню. Да нельзя не заметить: чуть реалистик подойдет к борту, из кибитки голос:

— Витька, куда ушел? Утонешь! Иди сюда!

И такой непривычный для слуха голос был, ласковый. Это сам Андронов-то, суровый старик Михайло! А на пароме шепот благоговейный.

— Ишь ты, о внуке как пекется!

— Свое, дорого!

Витька в кибитке, а сам ждет, ждет, ждет: когда же пустыня? Он много думал о ней, ждал.

Она — старуха старая, с сумрачным, свирепым лицом, исхлестанным морщинами, большая-большая, она не пускает человека, она не пускает Андроновых; зимой она дует ледяными ветрами, а летом — зноем и мглой, от которых мертвеет жизнь. Так говорит дед:

— Мы ей — жизнь, она нам — смерть. Ну, только шалишь, мы не поддадимся!

Витька ждал: он увидит эту пустыню, что посылает мертвящие ветры. Заглянет в ее сердитые глаза. Пусть боязно это, но заглянет.

Паром пристал к берегу. Через песчаные прибрежные отмели поехали Андроновы, и колеса кибитки глубоко тонули в песке. Потом дорога — между *талами*, потом по берегу потянулись немецкие колонки — аккуратные домики, скучные кирки, за колонками — хутора, и везде вокруг хуторов и колонок — поля, поля, поля...

— Дедушка, где же пустыня?

— Дальше, миляк, дальше! Теперь пустыня отодвинулась, мы ее шуганули. Бывало, едешь здесь — ни тебе посева, ни тебе кустика, ни тебе хутора. *Типчак* один желтел, да ковыль, да бурьян, да кое-где лесок. А теперь, гляди-ка, благодать какая! Отодвинули пустыню.

Ехали тогда весь день. Все поля, хутора, и никакой пустыни. Поля да синяя небесная чаша над ними, а по краям ее кое-где белые церкви: там села. И долгой показалась Витьке дорога. Глянуть вперед — никого, глянуть назад — никого! Только кибитка, похожая на черного жука, ползущего среди зеленых просторов. В кибитке сам дед и Витька, на козлах — кучер Храпон; позади кибитки — легкая коляска: там едет Витькин отец. Лишь порой — далеко — обоз. И верблюды. О, их много здесь! Витька глядел на них жадными глазами. Верблюды шагали широко, равномерно, чуть вытянув длинную шею, а голова маленькая, лодочкой, глаза большие, печальные, умные. Голова, шея и тело у верблюдов неподвижны, только ноги как весла: цоп-цоп-цоп! — мягко ступали по мягкой степной дороге. И птиц многое множество. Нарядные кулики сидели на дорогах: вот лошадь наступить готова — только тогда слетали. Косокрылые усатые дрофы тяжело поднимались из травы рядом с дорогой и, хлопая крыльями, летели прочь. Дед сказал:

— По пуду бывают.

— Кто?

— Дудаки-то эти. Бывало, когда я помоложе был, верхом на лошадь — да за ними, да плетью... Бежит, бежит, а подняться не может: тяжела. И убьешь.

— А вон скворцы.

— Где?

— Вон по дороге ходят.

— Это жаворонки черные. Скворцы сюда только осенью налетают.

И так ново было: и черные жаворонки, и большие серые суслики-свистуны, что, как кошки, мелькали то и дело по траве, и плаксивые пигалицы над лывинами, и густые стаи уток на синих озерах.

В пригрев, когда солнце сильно начинало припекать, все дали менялись. Видать: над зелеными полями, над лугами прозрачной мелькающей рекой лился нагретый воздух. И все вдали — хутора, пригорки, редкие деревья — отрывалось от земли, возносилось, меняло очертания, точно воздушные, неясные замки.

На второй день перед полуднем доехали до хутора, где красные кирпичные амбары для хлеба и машин, кирпичные конюшни для скота и кирпичный дом для приказчика и рабочих. Издали они завиднелись, и дед долго в них всматривался.

— Постой, Храпон, это наше?

— Так точно.

Дед нахмурился.

— Когда же построили?

— Недавно.

— А ну остановись!

Храпон остановил лошадей.

Иван подъехал. А хутор — вот он рядом, но не хочет старик въезжать туда.

— Иван, это что же такое будет?

— Ты насчет чего, папаша?

— Не виляй! — закричал свирепо дед.— Я тебя спрашиваю: откуда эти постройки?

— В третьем году поставили.

— А я где был?

— Дома.

Витька видел, как отец побледнел.

Дедова палка сама щелкала по дну кибитки. И дед стал весь малиновый, лицо из-за бороды пылало красным заревом.

— Перевод деньгам только делаешь. У, шкура!

Так свирепый и приехал дед на хутор. Все ходил, бурчал что-то под нос. И только когда увидел все хозяйство, крепко слаженное, сказал сыну милостиво:

— А ты это, пожалуй, хорошо удумал. Навеки сколочено.

Отец сразу повеселел.

— А чего глядеть-то? Мы не на один год поселились. Мазанки — шут ли в них толку? Пять лет простоит — строй другую. А тут без хлопот!

Дед самодовольно посмотрел на Витьку, смеясь одними глазами:

— Вот тебе, брат, и пустыня! Шабаш!

И помолодел будто. И уже любовно смотрел в степные просторы.

Когда опять выехали степью за хутор, самодовольно поглаживал бороду аршинную.

— Вот и наши края пошли. Видишь песок? Здесь пустыня была. Пришел я в те поры — только трава да песок, да киргизишки табуны свои гоняли. Десять годов не прошло — все распахал. Стоп, пустыня-матушка, отодвигайся, нам не до тебя!

Дед повел рукой, будто отодвинул кого.

А Витька ждал: когда же будет пустыня? Но только зеленые просторы, стаи птиц над дальними полями, маленькие церкви на краях степи, теплый ветер, хутора. И нигде никакого лица.

На четвертый вечер остановились ночевать на хуторе Красная Балка. Дед к вечеру заохал, опять заворчал недовольно.

— Ты, дедушка, что?

— Кости, внучек, ломят: ненастье завтра будет.

После заката работники собрались на краю степи, у колодца.

Дед подошел к ним.

— Будет?

— Будет беспременно. Вон небушко какое.

И Витька заметил: небо мутное. И беспокойство непонятное ходило кругом. В степи наперебой, взапуски кричали дергуны, коровы протяжно ревели, лошади нервно подергивали головами.

Работники переговаривались тихо.

— Дедушка, это пустыня идет?

Дед мельком глянул на Витьку.

— Не сама она, матушка, только посланца посылает. Мгла идет.

Мгла? Какое странное, тайное слово. Витька слыхал про нее, эту мглу, но не видал ее раньше.

— Мы увидим ее?

Только бы увидать, только бы увидать!

Дед опять мельком бросил сердито:

— А как же? Завтра!

Вот завтра, наконец-то!

— Дедушка, ты меня завтра рано разбуди.

— Зачем тебе?

— А так!

Хотелось Витьке сказать: «Буду мглу смотреть»,— застеснялся.

— Разбужу.

Комната большая — приказчик сам здесь живет, но нынче, по случаю приезда хозяев, он с женой переселился в амбар, а здесь перин настлали прямо на пол, потому что приказчик знал: дед любил просторы. А на окнах герани, белые занавески, ковер над кроватью.

Дед посмотрел на герани, на ковры и сказал презрительно:

— Ишь живет, что твой князь! Мягкие перины не доведут до добра. Гляди за ним, Иван, я не верю тем, кто сладко ест да мягко спит.

А сверчки — два — поют в разных углах, задорно поют: «Завтра, завтра!»

Кусали блохи. Витька места не находил. Томило непонятное. Хотелось будто пить, а возьмешь кружку — только глоточек отопьешь. Ни рукам, ни ногам места нет. За окнами тьма, слыхать: кто-то ходит шарящей походкой. Кто? Может быть, это и есть посланец пустыни? Дед назвал пустыню смертью. Вот за окнами смерть! Витька укрылся с головой. Глухо теперь. Но прислушаешься: ходит!.. Витька прижался плотно к дедову теплому боку, а дед сразу обнял его большущими холодными руками.

— Не спится? — шепотом спросил дед.

— Я боюсь, дедушка!

— Ну, господь с тобой. Чего бояться? Бояться нечего!

— За окном ходит.

— Народ это ходит, не бойся. Это наши. Всем не спится. В этакие ночи не спят.

Хорошо под дедовым боком и не страшно. А в закрытых глазах плывут степи, хутора, дороги, летят лениво птицы, и слышно, как свистнул суслик. Вдруг — тррах! Витька испуганно открыл глаза. И разом почувствовал, что он один в комнате. Темно, душно, где-то свист и стук. Окна занавешены, но в щели лезут голубоватые прутья: свет. За стенами — шорох, хлопанье, вой.

Пришла!

Витька испуганно завыл, метнулся и, как был, раздетый, выскочил на крыльцо. Жаркий ветер ударил ему в лоб, в шею, пробрался под рубашку. А ничего страшного! Дед стоит поодаль, как черный столб, в черном, длинном, почти до пят, кафтане; ветер неистово чешет его длинную белую бороду, закидывает на плечи — то на одно, то на другое.

— Дедушка!

Дед оглянулся, и борода — белый флаг на черном столбе — затрепалась.

— Проснулся?

Дед зашагал к крыльцу.

— Пришла?

— Пришла, внучек, пришла, батюшка! Не избавил господь! Вишь, что делается! Засвистал свистень степовый!

Лошади у крыльца стоят, понуря головы, хвосты и гривы у них взъерошены, мечутся. Над степью вдали идут серые столбы, вышиной до неба. Сероватый туман везде видать, как облаками несется он. Солнце круглое, без блеска, вроде старый двугривенный. А ветер хлещет, хлещет.

Дед кричит, чтобы перекричать шумы:

— Иди одевайся! Нынче не поедем.

— Где же мгла, дедушка?

— А разве не видишь ветер-то с туманами?

А Витька-то думал: мгла — это живое, вроде старухи-пустыни. Только ветер, только туман, и еще — трудно дышать. Мутносизый ветер проносился над полями, ветер с пылью, мельчайшей, жгучей, пронзающей пылью. Так вот эта самая пыль? Папа

рассказывал про нее Витьке. Сколько? Тысячи верст этот ветер — мутный и сизый — пронес эту жгучую пыль из далеких пустынь азиатских, чтобы сечь поля, сечь реки, сечь людей, скот, сечь все живое... Пустыня мстила людям.

Трескались губы, плакали глаза; не только у людей: у скота тоже; «пить, пить, пить», а в колодцах иссыхала вода, вот на глазах видно, как иссыхала!

Витька видел: взъерошенные птицы тревожно летали над полями, лошади стояли, грустно опустив голову, и огненный ветер рвал невидимыми пальцами их гривы, их хвосты. Еще Витька видел: лошади плакали — часто-часто моргали, из глаз их катились круглые, с горошину, слезы. И Витьке было не по себе от лошадиного плача, от взъерошенных птиц, от трудного дыхания, от жары... А дед как лег в комнате, так и лежал колодой, хрипел, кашлял, стонал, брюзжал, этакий колючий стал. И крикнул раз на Витьку сердито:

— Затворяй дверь! Шляешься тут...

Витька обиделся, ушел на двор, ходил долго около отца, потом пожаловался угрюмо:

— Меня дедушка ругает.

А хмурый отец сказал:

— Ты теперь не лезь к нему, сынок! Он теперь больной, сердитый.

«Вот,— подумал Витька,— завезли сюда и обижают».

Ему хотелось поплакать, пожаловаться, но смолчал.

Работники не работали в эти дни, ходили как неприкаянные, покоренные пустынным ветром, придавленные.

И все злые, злые неизвестно на что. Деду занедужилось: он заныл, расхворался, а на другой день он уже стонал вслух и жаловался Витькиному отцу:

— За-да-вит меня эта пустыня.

— Ничего, папаша! Вот уедем, бог даст!

— Тебе, борову, все ничего.

— Пройдет, гляди, скоро.

А сам, выйдя с Витькой на крыльцо, где еще бушевал ветер, говорил шепотом:

— Вот проклятая, ведь сгубит старика!

— Кто проклятая, папа?

— Пустыня. Видишь, дед-то? Ох, как бы не помер здесь!

Витька не уходил эти дни с хутора никуда, томился, разве к Поганой балке — глубокому оврагу с пологими берегами, где за зеленым чаканом пузырилась темная вода. Раз, томясь, до самой воды сошел Витька. Ух, как гадко пахнет здесь! Чем это? Вроде угар. Вода темная, и пятна голубые по ней плавают. Иногда большой пузырь появлялся в воде у мутного дна и, колыхаясь, выплывал через воду и лопался. Так гадко пахнет, что в ушах зашумело у Витьки. А отец уже стоит на берегу балки, ворчит:

— Куда ты ушел?

— Я, папа, гуляю.

— Ну, нашел место! Вылезай скорей! Задохнешься там.

Витька вылез.

— А что здесь, папа? Почему здесь так пахнет?

— Пес ее знает! Поганое место. Думали, в овраге вода будет, рыли колодец. И хутор-то из-за этого здесь поставили.

— Вода есть, папа!

— Есть-то есть, да, брат, такая, что лошади от нее морды воротят: негодящая вода. Что оно такое, бог с ней,— не пойму. Вроде гнилая вода. Ты не ходи сюда, дух тут тяжелый.

Отец помолчал, пошли вместе к хутору. А ветер все рвал-метал, и надо было держать картуз, чтобы его не снесло с головы.

— Вот дедушка-то разнемогся, беда!..

Опять Витьке стало нехорошо. Хуторские постройки под ветром казались ма-аленькие.

Витька видел, как на глазах увядала жизнь кругом: поля серели, листочки на ветлах, что росли у колодца, свернулись и загремели, птицы с беспокойными криками носились над степью, словно не находили себе места. Они потеряли страх, летели к хутору, садились здесь возле построек, и клювы у них были раскрыты, крылья не складывались плотно, отделялись, словно полы фрака у учителя арифметики Романа Павловича.

Ночью дед стонал, ворочался, говорил вслух жалобно:

— И откуда оно берется, господь с ней? Дует и дует, как из печки.

— Из Рынь-Песков, папаша! — ответил отец.— Видишь, песку сколько несет! Так все и пронизывает песком.

— Знаю, из Рынь-Песков. Да много очень уж! Будет бы!

Так и не поехали дальше. Три дня шла мгла над хуторами, над просторами заволжскими. Когда кончилась мгла,— это было на четвертый день,— дед решил ехать назад...

— Трудно мне, домой хочу...

Опять бескрайняя степь, теперь чуть пожелтевшая. Дед смотрел на нее больными, беспокойными глазами.

— Отудобит?

— Отудобит,— отвечал Витькин отец,— это не в цвету. Теперь что? Дождичек — и все пойдет. Вот если бы в цвету — не дай бог!

Караваны верблюдов на дальних дорогах теперь показались сиротливыми, и верблюды будто спешили, шагая широко.

Витька думал, глядя на них:

«Вот и не видал пустыню».

Назад Андроновы ехали — печальный кортеж: везли деда больного. Теперь Витька в коляске с отцом, а в кибитке, на перинах,— больной дедушка.

«Задавила меня пустыня».

На стоянках, очень частых, деду клали в кибитку траву, смоченную водой, чтобы ему не было так душно и жарко.

А степь такой печальной казалась, совсем не той, что вот была немного дней назад, когда Витька по ней проезжал впервые. И все теперь было тревожно, серо, казалось усталым. «Скорей бы домой!» Сюда ехали — не долго ехали, коротенькая дорога, отсюда — долго, скучно, и все думалось: «Когда же столько проехали?» Уже у самой Волги были — последние пески стали проезжать,— поднялась с запада туча, брызнула каплями. И капли, падая на раскаленный песок, разом превращались в пар, туманили воздух. Вдали заволакивалось. И, только увидев Волгу — синюю, большую,— Витька понял, почему так печальна была заволжская пустыня: в ней не было воды.

Дед уже не мог сам выйти из кибитки, когда вечером на третий день приехали домой. Его вынесли на руках — отец, Храпон, Гришка, приказчик Родионов. Несли и говорили тревожно, полушепотом. Дед шептал что-то пересохшими губами, а возле выцветших глаз у него было бело...

Мама, увидев деда, заплакала. Витька побежал наверх к бабушке. Бабушка тоже плакала. И... и некому было рассказать, что Витька видел там, за Волгой...

## V. Непонятный завет

Дед попросил отправить его в сад. Шипел шепотом:

— В са-ад! В са-ад!

Точно пустыня сожгла, иссушила его голос.

— Хочу... там... умереть!

Но папа не пустил, пошел против дедушкиной воли.

— Невозможно, папаша! Умирать тебе еще рано. Мы тебя еще поправим. Вот дохторов я созвал, пусть посоветываются, как лечить.

— Каки дохтора! Смерть... идет. Видишь, ноги-то... запухать стали. А ты — дохтора. Брось! У нас в роду первый признак перед смертью — ноги запухают.

— Ну, это как бог пошлет, а в сад невозможно. Здесь мы хоть присмотрим, здесь и священника позвать, в случае чего, и дохтора. Повидаться с тобой опять же кто захочет.

— Волга... там... близко... больно!

— Да у нас-то на что ближе? Вот мы тебя устроим под окном.

Поворчал дед, но видит, все в один голос: не пустим — покорился. И самому, должно быть, невмоготу было. В зале,— где на стене висел портрет барина, на потолке — ласточки, а по карнизу — золотые цацы,— поставили у окна широкую кровать, уложили деда. Двери на балкон были открыты весь день. На балконе чирикали воробьи, слыхать, как возились птицы внизу под балконом. С кровати — в окно — было видно Волгу, всю — от берега до берега. Дед будто успокоился: здесь

она, Волга. Бабушка сползла сверху,— старуха Агафья поддерживала ее под руку, вела,— дошла до дедовой кровати, села в кресло. Витька пристально смотрел на дедушку и бабушку, он уже и забыл, когда дед с бабушкой между собой разговаривали.

— Что, старый, умираешь?

— Умираю, баба, умираю! И не хочет коза на базар, да за рога ведут. Умираю.

— Ты бы погодил маленько. Сперва бы я.

— Ну, это не нами решено, кому прежде, кому после. Грехов много, гребтится, а то что ж про порядок говорить?

— Замолил, чать, грехи-то... Вот сколько время молился! Бросил меня на старости годов одну,— укорила бабушка.

Дед промолчал.

— Что молчишь-то?

— Говорить нечего. Гляжу я на тебя, грехи вспоминаю. Ушла бы ты, не мозолила глаза.

Бабушка покачала головой с укором:

— Эх, в гроб залезаешь, а все такой же упрямый как бык.

И пошла, заторопилась, зашаркала ногами, стукнула клюкой.

В доме появилось много чужих людей — доктора, знахари, начетчики, купцы. Приходили, садились или стояли около дедовой постели, говорили с ним. Филипп сюда же перебрался. На деревянном диванчике спал по ночам, а днем сидел в уголке залы, незаметный, перебирал лестовку, шептал молитвы, и его борода ходила волнами. Часто приходили попы, возле дедовой кровати ставили столик, служили. У всех в руках горели свечи. Было тревожно, тоскливо и вместе таинственно. Витьку никто не замечал. Обедали наспех, не все вместе. Отец ходил озабоченный, с Витькой не разговаривал. Вышел раз Витька в сад,— закричал, забегал, но прибежала Фимка и крикнула, словно госпожа какая:

— Что это ты? Дедушка умирает, а ты орешь? Вот папаша выйдут — смотри тогда!

Витька покорно присмирел. Он чувствовал себя заброшенным, одиноким. Кому какое дело до него? Никому. Он уходил из дома, не спросясь, уходил на Волгу, купался у Белой горы — на местах самых крутяжных. Бродил по набережной в толпе крючников, рыбаков, галахов, мужиков, слушал, смотрел. Вечерами город был тих, будто полон тайны. Витька бродил по улицам и приходил домой, когда уже темнело, с грустью в душе. Раз, возвращаясь, он увидел в коридоре: Храпон обнял Фимку и целовал ее в щеку торопливо, словно клевал. Фимка смеялась нервным, мелким смешком. У Витьки зарябило в глазах от обиды. Вот Фимка сколько лет нянчилась с Витькой, а теперь ее целует Храпон, и она — никакого отпора, только смеется. И еще острее стало Витькино одиночество.

К деду порой хотелось. Но как пойти к нему, если там всегда большие? В дому, на кухне, появилось много старух в темных платках и темных сарафанах. И бородатых стариков, с расчесанными рядком, вроде шалаша, волосами. Им готовили обед и ужин в больших чугунах. Скоро их стало так много, что они спали на лестнице, во дворе, в саду, под балконом; кучер Петр их потихоньку ругал:

— У, коршунье! Налетели? Почуяли?

Витька не знал, куда девать себя от тоски. Забивался в дальний угол сада, лежал на песке, думал. Вечерами, на закате солнца, белые горы вдали горели розовым светом. Тогда Витька вспоминал о змее, пустыне, и сердце сжималось от тревоги за деда. Он шел в залу, к деду. А там всегда кто-нибудь торчал, и не поговорить с дедом по душам.

Дед дышал хрипло, с трудом. Увидит Витьку, губы у него зашевелятся, зашипит дедов шепот:

— Живешь?

Словно старые часы, что были у деда в саду.

— Живу, дедушка!

И еще хочет, хочет что-то сказать, борода вот так и ходит ходуном, а не может, только махнет рукой безнадежно...

Однажды утром рано Фимка разбудила Витьку:

— Иди, дедушка зовет!

Витька испугался.

— Умирает?

— Ну, там увидишь!

Полуодетый, Витька побежал в залу. Около дедовой кровати стояли отец и Филипп. Филипп держал в руках старинную икону Спаса — любимую дедову икону.

— Вот пришел,— сказал папа.

Дед повернул с трудом голову, глянул на Витьку, шевельнул рукой:

— Дай-ка!

Филипп подал ему икону.

— Подойди... Вот... господи... благослови!

Он с трудом взял икону, с трудом приложил ее к губам Витьки, ко лбу.

— Возьми... береги... мое благословение... тебе... милый мой...

Слезы потекли из глаз деда. Витьке стало жалко-жалко деда.

— Дедушка, не умирай! — закричал он.

И зарыдал. Папа взял его за плечо, повел из угла.

Успокоившись, он опять пошел к деду. И удивился: дед говорил ясным голосом!

— Ива-ан!

— Что, папаша?

— Витьку-то за Волгу направляй. Наши капиталы там.

— Само собой, папаша! Теперь все обозначилось.

— И потом...

— Что, папаша?

— Витьки здесь нет?

— Здесь!

— Витька, выйди на минутку отседа!

Витька покорно за дверь, а чуткому уху слыхать все: каждый дедушкин стон.

— У Зеленовых девчонка растет, Лизутка. Видал? Самая под рост Витьке. Ты правь их. У Зеленовых путь вместе с нами, за Волгу. И богатые... Сила к силе — не две, а три силы.

— Ну, папаша, это еще рано. Ему только десять лет.

— «Рано, рано»,— заскрипел, задразнил дед,— тебе все рано; ты должен заранее все обдумать. Правь, тебе говорю!

— Хорошо, папаша, только это больше бабье дело.

— А-а... бабье... Гляжу я на тебя: плохой ты соображатель, Иван! Разве можно бабе доверить это?

— Испокон веков бабы сватали.

— Сватали, когда мужики указывали... Разве сама баба что может понять? Знамо, я и с бабами поговорю. Ну, только ты гляди сквозь. Позови Ксенью...

Отец прошел мимо Витьки поспешно, потом вернулся, а за ним торопливо шла мать. Дверь затворили плотно. Витька не мог понять: почему это о Лизутке Зеленовой заговорили? Он вспомнил ее вздернутые белые вихры: за них очень удобно дергать. Раз были в гостях. Витька дернул: Лизка закричала, высунула, дразнясь, язык... Витька подергал еще, посильнее. Лизка заплакала в голос. Прибежали взрослые.

— Ме-ня Вить-ка-а-а....

— Ты что ее обижаешь? Вот так жених! Ничего еще не видя, а невесту за волосья!

Витька возмутился:

— Какая невеста? Она маленькая, а я большой.

— Ишь ты, или другую себе подсмотрел?

Витьке тогда было шесть лет, а Лизутке четыре.

И вот теперь дед, умирающий,— вот стонет, вот плачут кругом, и попы, что ни день, лезут со своим ладаном,— а вспомнил о Лизутке. К чему это?

Когда отец со слезами на глазах вышел из залы, Витька хотел спросить его и застыдился. Да и видно: некогда было, отец торопил Храпона, Петра:

— Скорей, скорей поезжайте!

В доме забегали, захлопали дверями. Кто-то сказал:

— ...Умирает.

Витька вбежал в залу. Дед почти сидел, высоко обложенный подушками. Он был спокоен, суров, только грудь у него ходила ходуном. Филипп дал ему в руку зажженную свечу, а на одеяло перед дедовым лицом положили большой кипарисовый крест. Витька заплакал в голос. Вдруг чей-то другой

голос, странный и никогда не слышанный, заплакал над Витькиным ухом. Это плакал папа.

Потом торопливым шепотом говорили в зале попы, запели, зачитали. Дедушка ловил ртом воздух, склонился на подушку, свеча выпала у него из рук. Филипп поднял, опять вложил свечу в руку, но дедовы пальцы уже не сгибались. Попы запели все разом — строго и торжественно. Папа упал перед кроватью ниц и заплакал пронзительным тенорком. Потом заплакали женские голоса рядом — завопили, заглушая пение. В залу лезли черные старухи, бородатые старики,— все со свечами в руках,— пели, присоединяясь к пению попов и всю залу заполняя голосами — резкими, торжественными. И так долго вопли глушили пение, пение глушило вопли. Филипп положил деда удобнее, сложил ему руки на груди и, крестясь широко, поклонился трижды в землю. Чьи-то руки взяли рыдающего Витьку, повели из залы.

Хоронить деда собрались толпы, каких раньше Витька не видел. Много людей в черных кафтанах, в сапогах бутылками толклось у гроба. Шествие растянулось на три квартала. Но не было видно духовенства в золотых ризах. Батюшка, дьякон и певчие были одеты, как все, в кафтаны, а седой батюшка спрятал в волосах свою косичку. В моленной — в узком, таинственном переулке за Легким колодцем — служили долго, так долго, что Витьку взяла тоска. Староверское кладбище на горах, в песках. Когда вышли за город — впереди, у гроба, запели печальными голосами, в унисон. Витька шел теперь далеко от гроба, в толпе, уставший. Он слышал, как господин в мундире с золотыми пуговицами сказал, смеясь, соседу:

— Запели. Пятаки зарабатывать начали.

Похоронили дедушку в песчаной могиле, засыпали золотистым песком. Витька, должно быть, выплакал все слезы,— здесь не плакал. Когда поехали назад, он с удовольствием смотрел вниз, на город, на Волгу, бесконечной широкой дорогой раскинувшуюся внизу, а пароходы и баржи на ней были маленькие-маленькие. Только папа — с запухшими от слез глазами — пугал его и беспокоил.

Весь дом был полон народа: все цветогорское купечество съехалось поминать дедушку. Был сам Евстигней Осипович — голова. Куда ни сунься, все чужие и чужие. Чужие кухарки и повара верховодили на кухне. И у бабушки народ: приходили к ней старухи-купчихи посетовать-поплакать...

А на дворе — рядами столы, и за столами — необозримо нищих и убогих.

Сорок дён у Андронова двора, запружая улицу, собирались толпы нищих. Сорок дён каждому нищему подавали по большой белой пяташной пышке и по семишнику деньгами. А в день похорон, на девятый, на двадцатый и на сороковой — по пятаку.

Нищие приходили со всего города и из ближних деревень. Многие так и жили во дворе, на улице — возле забора андроновского сада. Каждое утро Храпон вытаскивал мешки с медными деньгами и подавал. Эти мешки дед сам копил много лет. Они лежали в кладовой вместе со всяким хламом — ждали вот этих дней. В сороковой день опять полон дом был народа, служили торжественно, потом — поминки. И Зеленовы на этот раз были с Лизуткой. Витька, увидев неуклюжую костлявую девочку, что держалась за руку матери, вспомнил, как говорил дед:

— Правь!

И не мог понять: зачем?

После успеньева дня — училище. Оно избавляло от тоски, неопределенности, от слез, радовало. Забыться в шумной толпе хорошо.

Немного дней спустя, накануне воздвижения, в училище прискакал на лошади Храпон. И Витьку вызвали с урока, потому что умирала бабушка.

Витька уже не испугался и почти не пожалел: так далеко он ушел от бабушки за эти немногие недели.

Бабушка лежала на кровати в сарафане, в руке у ней горела свеча, и опять, как в недавние дни, у всех, кто был в комнате, горели в руках свечи. Лицо у бабушки было новое, как бывало, когда она сильно радовалась, и морщины будто разгладились. Глаза светились. Поп и начетчики в кафтанах пели, читали ревучими голосами. Вдруг бабушка беспомощно открыла рот раз, два, три... Желтый и длинный зуб, точно палец, мелькал из-под губы. Это было страшно, и Витька крикнул:

— Бабушка!

Кто-то обвил его мягкими руками, зажал рот, поднял, понес из комнаты.

А на воздвижение бабушка лежала уже в гробу, одетая в темный сарафан, в белом платке, а у пояса у ней лежала голубая лестовка — погребальная. С ней — с голубой лестовкой — бабушка пойдет по голубым небесам к престолу господню. Лицо у бабушки сжалось в кулачок и глаза запали. Витька не плакал.

Опять был полон дом народа, черные толпы нищих во дворе, попы и ладан возле гроба, вынос, дорога на гору, песчаная бабушкина могила возле дедовой. Витька слышал говор:

— Вот убежал было от старухи, а старуха пришла, догнала.

— Да, теперь уж не убежит! Вместе доживут до гласа трубного.

Опять эта раздражающе-толстая тетка — мать Лизки Зеленовой — прилезла, погладила жирной рукой Витькины вихры, спросила:

— И бабушку схоронил, милый?

Как будто не знала, кого Витька хоронит. Теперь уже

привычно было видеть толпы нищих у двора, народ в доме в дни поминок, и тишь угнетающая стояла в доме в дни буден. Бабушкину кровать уже вынесли. Дедова кровать давно стояла в каретнике. Дом будто просторнее стал. Но уже новым был занят Витька — книгами, училищем, товарищами; дом не влек, стал как исчезающий дым ладана или как мгла.

## VI. Герой сменяет героя

Всю зиму был тих андроновский дом. Папа и мама не собирали гостей, как в прежние зимы, и сами никуда не ездили. И большие комнаты казались угрюмыми и пустыми, и в них уныло увядали фикусы и олеандры в круглых зеленых черепяных банках и в деревянных кадках. Прежде каждую зиму папа накупал в клетках птиц, вешал их в своей комнате и вот здесь, в зале, а ныне и птиц нет.

Только в маминой половине — всегда люди: старухи в черных платьях и черных платках, низко сдвинутых на лоб, у старух — всегда фальшивые улыбки, и еще — рваные странники и странницы; от этих пахнет прогорклым.

И Витька не любил теперь мамины комнаты. Пошел бы, да как вспомнит лохматые бороды, сладкие улыбки, скрипучие голоса, так всего и охватит дрожь.

И отца нет дома, где-то на «низах» или на бирже — местах таинственных.

И Витька, вернувшись из училища,— все дома, дома, и один. Только книжки с ним. «Робинзон Крузо», «Робинзон в русском лесу»... Уйти бы в леса, на необитаемый остров, жить там, работать, бороться.

Вечером отец придет — слыхать: сердитый, кричит; придет к Витьке и строго так:

— Приготовил уроки?

— Приготовил.

— То-то, смотри, брат! Уроки прежде всего.

— Папа, я всегда уроки готовлю.

— Ну, да ты молодец у меня! А все же мне надобно знать.

И уходил успокоенный. А Витька опять за «Робинзона».

Но долгий вечер, долгий. И глаза слипаются. Тогда — книгу в сторону. Хорошо забиться на широкий кожаный диван, сидеть тихо-тихо, думать. Что же это — пустыня? Степь, пески. Пустыня за Волгой — остров необитаемый. Вот бы одному уйти туда, пасти коз, сеять хлеб.

А зимой как?

— Ты где, сынок?

Витька вскакивал:

— Я здесь, папа!

— Лежишь? Не надо бы лежать. Кто много лежит, портится. Лежать только ночью надо, в постели. Ты что читал? «Робинзона»?

— Я, папа, тоже буду Робинзоном.

— Что ж, будешь коз пасти и горшки мастерить?

— Все буду.

— Чудак! Не надо искать того, что нашли люди. А твоих коз будут пасти работники. У тебя другая дорога. Ты как? Воюй. У нас, браток, дела в тысячу раз больше Робинзоновых. В гору лезем. Стучит машина. А ты... Робинзон. Эх, ты! Глупыш еще ты!

И вздохнул. И взял Витьку широкими теплыми ладонями за щеки, покачал Витькину голову из стороны в сторону.

— Папа, а какие дела?

Отец опустил руки, перестал улыбаться.

— Большие, брат, дела. Такие дела, куда там Робинзонам!.. Вырастай поскорее да учись лучше. Дела большие ждут...

— Нет, ты скажи: какие?

— После узнаешь! Сейчас ты маленький, не поймешь.

— Папа! Я пойму, скажи. Воевать? С пустыней?

Отец посмотрел пристально на Витьку, подумал.

— Кто говорил тебе про пустыню?

— Дедушка.

— Ну да, с пустыней. И вообще...

Отец замолчал, задумался. И Витька молчал. Как же это будет? Интереснее Робинзона или нет?

Эту зиму в тишине, в просторах, в полутемных комнатах он часто вспоминал пустыню, поездку с дедом, мглу, необъятные просторы, думал.

Вот и дед говорил: воюй! И отец говорит: воюй!

Это интересно — воевать. Но как?

— Нет, Робинзон лучше!

Много раз в эту зиму отец уезжал на хутора. Храпон выводил из каретника просторную кибитку, обшитую войлоком и кожей, с кожаным запоном, в кибитку клали ларцы с провизией, с бутылками и посудой, а главное, что особенно волновало Витьку, клали два ружья: одно двуствольное — это для отца, другое одноствольное — для Храпона. Если ружья тут, значит, действительно воевать.

Отец весь, с головой, закутывался в волчий тулуп, становился как столб лохматый. И Храпон закутывался... Прощались торжественно и шли к кибитке. А там, закутанный в овчину, стоял высокий человек с ружьем, туго подпоясанный ремнем, а на ремне — револьвер. Лицо у человека большое, красное, побитое оспой. Это стражник Веденей. Он садится вместе с отцом в кибитку. Мать кудахтала:

— Гляди, Иван Михайлович, как бы метелюга не застала. Не ездий на ночь глядя.

— Знаю. Прощай! — крепким, не таким, как в комнатах, голосом отвечал отец.

И Витька замечал: как выйдет отец во двор, он говорит по-другому и уже не улыбается.

И поедет шагом кибитка из ворот, а на крыльце стоят все — и мать, и Витька, и Катя-кухарка, Митревна, горничная Груша, Фимка и странницы, что уже с утра толкутся в маминой комнате.

И пойдут дни — полным-полны тревоги; кудахчет мать, кудахчут Катя, Митревна, Фимка:

— Ой, не попали бы в метелюгу!

А странницы этакими всезнающими голосами:

— Ничего, бог упасет!

— Аль на разбойников не наткнулись бы. Вот в третьем годе убили Матвея Семеновича. На самой, можно сказать, на дороге.

— А Веденей-то на что?

— Бог попустит, и Веденей не спасет.

И томление во всем доме, тишь, тоска. Витька теперь совсем один... только книги. Пошел бы на каток, на улицу, позвал бы товарищей к себе, Ваньку Краснова, например,— нельзя, дедушкина годовщина не вышла. И кажется тогда ему: отец воюет там с пустыней, стреляет в нее из ружья, и Храпон стреляет, и Веденей... Хорошо!

А приедет отец — в доме разом кавардак.

Это бывало всегда перед вечером. Прибежит Гришка, помощник кучерской, и где-то там, на кухне, внизу, крикнет:

— Приехали!

И, как эхо, пронесется по всему дому:

— Приехали!

И разом крик, беготня — и радостная и этакая испуганная. Все уже знают, кто приехал. Витька выскакивал на двор раздетый, с головой непокрытой. Гришка зажег фонарь, толчется возле темной кибитки. На крыше кибитки — снег. Тулуп у Храпона в снегу. На лошадях снег, и пар от них валит. Они устало пофыркивают, вздыхают. Из кибитки уже вылез Веденей — стоит огромный, кланяется. А там из тьмы... лезет кто-то черный, большой. Вот кашлянул.

— Папа!

Витька бросается навстречу. Но из тьмы сердитый голос:

— Раздетый! Да ты что это? Прочь домой! Оденься!

Тут и мать, и все наскакивают на Витьку:

— Зачем выскочил раздетый? Беги оденься!

Витька бежит, наскоро надевает шапку, пальто — и опять во двор. Отец треплет его за щеку, холодной мокрой бородой холодит его лицо... Идет, большой такой, в дом. И за ним все. А Витька нетерпеливо спрашивает Веденея и Храпона:

— Стреляли? Воевали?

— Как же-с! Стреляли обязательно...

Ух, интересно!..

Катя на крыльце, зовет:

— Веденей, Храпон, ужинать идите!

Витька мечется между горницей и кухней. И к отцу интересно, и к Веденею. Но с отцом толпой народ, не продерешься... А Веденей с Храпоном жадно хлебают щи большими ложками, широченно раскрывая рты; у обоих лица красные от мороза и ветра и глаза красные.

— Кэ-эк он на нас наскочит! Храпон кричит: «Вон он, держи!» Я ему вдогонку — бац! Храпон чуть удержал лошадей...

— Ну да, тряхнули нас....

— А попал?

— Кто же знает? Должно, попал. Ну, только лошади нас унесли.

— А кто же это был? Разбойник?

— Волк степовый. Рыжий такой.

Витька — в горницы. У отца и лицо и глаза тоже красные. Он уже разделся, в ситцевой рубахе и в полукафтанье, глядит, как мать вытаскивает из ларца свертки... Это — масло заволжское, с заволжских трав душистых. И еще отец тащит лестовки пестрые, полотенце, расшитое узорами, гарусные пояски: это подарок матери Серафимы из скита Иргизского...

— Ну, наследник, как твои дела?

— Мои ничего, а ты воевал, папа?

— Воевал, сынок! Приказчика Турлакова в три шеи выгнал... Запил, подлец! Приезжаю, а он как стелька...

Витька видит, не ему, а взрослым, другим, говорит отец:

— Так я его!..

Витька не утерпел:

— Ты стрелял?

Отец улыбнулся:

— Ну, до этого не дошло!

— А Храпон говорит: вы стреляли.

— Так то в волка!

— Неужели и волков видали? — ужаснулась мать.

— Попался какой-то сумасшедший.

На другой день с утра топили баню. Отец ходил туда с четвертной бутылью брусничного острого кваса и двумя березовыми вениками. Храпон надевал голицы и парил Ивана Михайловича до изнеможения. Одним веником парил, другой веник, на очереди, в кипятке лежал.

Иван Михайлович по-звериному выл, подставляя бока под огневые прутья, и, пока Храпон переменял веники, пил квас... Он возвращался из бани мясисто-красный, утомленный, с ленивыми глазами. И улыбался.

— Всю простуду выгнал.

Потом и день и два отец ходил ласковый, отдыхал. С ним можно было долго разговаривать.

— И-и, брат, просторы какие! Конца-краю нет, все белым-бело. И дороги иной раз нет — так от хутора до хутора на глаз и едешь. Все занесено... Снега в этом году очень хороши. Так хороши, что сказать невозможно! В одном селе чуть на крышу избы не заехали: сплошь занесло. И старики говорят: давно таких снегов не было.

Витька представляет: едет тройка, и вдруг на крыше...

— Папа, и я с тобой в другой раз поеду.

— Подожди, сынок, твое время придет. Весь твой путь туда, наездишься еще...

Вот так — на тройке, закутанным — скакать с ружьем по бескрайним степям... Хорошо!.. Пожалуй, лучше Робинзона!

В конце весны, после экзаменов, отец увез Витьку на хутор за Маяньгу, что на Иргизе. К хутору долго плыли на лодке. Витька уже бывал здесь. Уже помнит. Там мельница — на речонке, что течет из озера в Иргиз. Озеро большое, все заросло по берегам тальником и осокорями. В воде у берега — осока, чакан и кувшинки. Вода тиха, как зеркало. Среди буйных трав по берегу к озеру тропинка, а там, в осоке,— лодка, привязанная к колу. Впрыгнуть — и на простор с удочками, куда-нибудь к тальнику... О, какая тишь! Вон там, под другим берегом,— дикие утки. Прячутся... Вот поднялись, тяжело полетели.

— Вот бы их тр-рах!..

Витька бросал весла, протягивал руки вслед уткам, словно ружье, и кричал:

— Б-бух!

А по Иргизу — тальник низко, до воды, и песок везде, песчаные косы... Здесь тоже есть лодка — побольше. Прислушаешься — шумит вода: это на мельнице, вон виднеется крыша за осокорями. А спать в высокой избушке, что стоит на высоченных столбах, чтобы во время разлива вода не залила избушку. Приказчик, мельник, работники, сторож Николай...

— Вот опять привез вам наследника. Вишь, как замучился он на учебе у меня! Пусть у вас отдохнет. Молоком его попоите, кашкой покормите. Скоро и мать приедет сюда отдохнуть.

Приказчик и мельник смотрели почтительно, гудели:

— Милости просим! У нас отдых за первый сорт. Лучше, чем на Капказе. Да ему не впервой у нас, отдыхал уже и еще отдохнет.

А вечерком в этот же первый день отец водил Витьку по берегу, показывал:

— Вот просторы, вот пустыня! Это тебе как у Робинзона.

И у Витьки сразу свет:

— А ведь правда!

И лето целое он жил, как заправский Робинзон. Он просыпался с солнцем и вместе с Петром, молодым работником, ехал по озеру проверять жаки и сетки... На озере в эти утра крутой туман цеплялся за воду — видать, неохота ему уйти

с облюбованного места. А солнце уже грозит золотыми пальцами — вон мелькнули они на верхушках осокорей, и туман смущенно и лениво жмется под желтым берегом, хочет уходить. Иволга прозвонила над дальним лугом. Ремез кричит, со свистом летают скворцы.

Вот кол, вбитый в дно озера, у кола — крыло жака. Витька сам хочет тащить — самому интереснее. И медленно тащит, а сам не мигаючи смотрит на жак: что там?

— Два линя. Окуней-то сколько!..

Говорят шепотом, и кругом тишина, покой глубокого озера. Когда едут, веслами стараются не шуметь.

Потом на Иргиз. Цапли пролетели. Кулик крикнул тоскливо. Коршуны-рыболовы широкими кругами кружат над заводью, где плещется рыбешка.

А на хуторе уже проснулись, голоса перекликаются. Нагруженные рыбой, Витька и Петр возвращаются с Иргиза.

Потом, целый день, Витька один. Только Стрелок с ним, лохматая собака. На дальнем берегу, на мысу, он построил просторный шалаш. Весь мыс заплетен ежевикой: это Робинзонова летняя дача, а ежевика — виноградники. Витька ездит сюда отдыхать, ловить рыбу удочкой, мечтать. Целый день он голый и босой. Сперва беспокоили пестряки, теперь привык. И хорошо всей кожей встречать ветер. Робинзон хотел привыкнуть ходить без шляпы, не привык. Витька — привык.

К середине лета он заставил отца купить ему ружье. И с петрова дня над озером и над Иргизом — выстрел за выстрелом.

Мать приехала, охала сперва, беспокоилась, но привыкла и она.

А вечерами, когда за мельницей, внизу, работники варили уху, Витька был с ними. Их много было, работников. В полутьме все они были неясными и таинственными. У них грубые голоса, кажется — это разбойники... И в самом деле они часто говорили про грабежи, про убийства, про ведьм и леших, про страшное. Это тревожило и тянуло к себе.

И сторож Николай где-то здесь. Сидит на обрыве, покряхтывает. Про него говорят: он был разбойником. И папа говорит, а папа уж знает. Задорный парень — работник пристает к Николаю:

— Дедушка, ты давно на Иргизе?

— Я и родился здесь, браток!

— А сколько тебе годов?

— Мне годов еще немного. Восемьдесят третий пошел.

— О, да ты совсем молодой человек! Жениться не собираешься?

— Три раза женился. Будет!

— Вот, чать, перевидал разных разностев!

— Было. Всякое было.

— Ну, расскажи, как ты разбойником был.

Николай смущенно кашлянул:

— Что там? Сам-то я не был. Это мой брат...

И скрипучим, ленивым голосом дед расскажет, как шайка его брата грабила хутора, скиты, колонки. Но так расскажет, что всем подумается: это был сам Николай.

Ночь тихая. Зеленоватые тени на небе. Пищат комары. В траве кричит дергун.

И чудилось: кругом ходят разбойники, сеют страх.

Утром, при солнце, Витька не любил разговаривать с дедом — он не верил, что этот морщинистый, ссохшийся старичишка мог говорить про разбойников, про конокрадов. Нет, ночью был другой Николай!

В сенокос все луга ночью загорались кострами, песнями, смехом. А днем везде пестрые бабьи платки, пестрые крики. Вечером у мельницы толпился народ.

Отец прискачет измученный, прискачет на узкой пролетке. И все такой же крикливый, шумный.

— Ну, Робинзон, как дела?

— Ничего.

— О, да ты вырос!

— Вот бегает всеми днями,— жаловалась мать,— прямо не угляжу за ним.

— Пусть побегает.

— Ты гляди, как исцарапался он. Руки-то все исковерканы.

— Какой же это мальчишка без царапины?

— И грязный весь, и одежда на нем словно горит. Только вчера дала ему штаны новенькие, а ты гляди, на что похоже!

— Мама, это я с дерева упал.

— Вот и по деревьям лазит. Внуши ты ему, Иван Михайлыч!

— Ну, по деревьям! Это греха нет. А вот ты скажи, не много ли он спит? Вот это грех! А штаны я ему новые куплю. Вишь, как он загорел. Молодец!

— Боюсь, как бы не утонул.

— Мама, я же плавать умею...

Отец хохочет:

— Хо-хо-хо!.. Знай наших! Ну, как же твой Робинзон?

— Я, папа, не хочу быть Робинзоном.

У отца сразу выросли глаза и открылся рот.

— Почему же?

— Я хочу с людьми жить.

Отец грянул хохотом:

— Хо-хо-хо!

— Так, брат, так! Это ты правильно. Значит, черепок-то варит. Верно! Без людей какая жизнь? Гляди вот, гляди в оба! Все оследствуй и проверь. А ты, мать, говоришь: штаны-ы!.. Ты вот гляди,— он похлопал Витьку по лбу,— а штаны — самое пустяковое дело. Ай да Витька! Так не хочешь в Робинзоны? Это верно ты. К людям иди. К себе их тяни. Сам работай до

упаду и их заставляй работать до упаду. Чтоб кипело-горело. Вот! Воюй. А то — Робинзон!..

Витька не понимал, почему так расшумелся отец. Он глядел в его смеющиеся глаза, на размашистые руки...

— Тут что главное? Главное — сам. Двенадцать лет ему, а он — не хочу быть Робинзоном!.. А про штаны, мать, ты забудь!

— Испортится он.

— Он? Ну, это мы поглядим! Андроновы пока не портились.

К августу потянуло в город. Теперь он столько знал, столько испытал,— есть порассказать о чем. Он словно чаша переполненная.

Опять осень, опять зима. Училище, дом, каток, товарищи, книги, драки на широком училищном дворе. Этой зимой отец и мать ездили в гости. Гости бывали у них, но Витька одичал на хуторе, прятался от гостей, сидел в своей комнате, и далеко за полночь у него горел свет.

— Ты у меня волчонком становишься! — сердился отец.

— Я волчонком не буду, папа, я буду Жильяном.

— Жильяном? Это еще что такое?

— Моряк такой был, Жильян.

— О! Надо поглядеть! Ты мне почитай. Только вот как же с Робинзоном-то?

— Робинзоном я не буду. Я же сказал тебе.

И вечером отец приходил в Витькину комнату — в туфлях, в жилетке расстегнутой, толстый... Садился в уголке.

— Читай-ка!

И Витька чуть гордо читал «Труженики моря».

Отец мычал одобрительно:

— Верно! Вот таким надо. Что задумал, тут хоть тресни, а чтоб по-твоему было. Работай, кипи, гори! Вот! А мошенников вешать надо. Этого бы Клюбена, например! Так ты Жильяном будешь?

— Жильяном, папа!

— Хо-хо-хо! Это здорово! Вот это я одобряю! И море перед тобою, братец ты мой, огромнейшее — пустыня-то наша. Чем не море? Вот завоевывай!

И вдруг спохватился:

— Расти, что ль, скорее ты, Витька! Помощника мне надо.

— Папа, я уже большой.

— Большой, да не очень. Годика через два пущу тебя в дело.

И после этих вечеров отец стал звать Витьку Жильяном.

— Жильян, иди-ка обедать!

— Жильян, к тебе товарищи пришли!

Мать возмущалась:

— Что это ты, Иван Михалыч? Аль забыл, как его крестили? Нехорошо это, Витенькина ангела обижать.

Отец только хохотал.

— Чего ты понимаешь, мать? Тут дело высшее, не твоему уму тут рыться. Твое дело — попы да монахи, а наше дело — война.

Витька смотрел на мать и боязливо, и свысока. Мать поджимала губы:

— Ну ж, война!..

— Вот подрастет, вот посмотришь, какой сын у меня будет...

И хлопал Витьку по плечу. А Витька вечерами, посматривая в маленькое ручное зеркальце, тянул углы губ книзу, чтобы походить на Жильяна, у которого «углы губ были опущены»; морщил брови, чтобы над переносьем была складка, как у Жильяна; долго махал руками и щупал мускулы: не такие ли они напружистые, как у Жильяна? Он хотел быть сильным, смелым и ловким.

Месяц за месяцем, год за годом, училище, книги, разговоры с отцом — будто на гору высокую поднимался Витька, все дальше становилось видно.

Было ему четырнадцать лет, когда он впервые, как взрослый, сел верхом на лошадь, поехал впереди отцовской коляски по степям заволжским — через Синие горы, на Караман, на Чалыклу,— в места далекие, о которых Витька до этого только слышал.

Накануне, как поехать, отец говорил с ним, точно с большим, не улыбаясь:

— Приучайся! Пройдет лет десять — все твое будет. Учись править.

— Почему десять, папа?

— Може, раньше. Смерть неизвестно когда приходит.

Мать была здесь, заахала:

— Будет уж тебе, Иван Михалыч, пустяки городить!

— Да, это ты верно! Я и сам умирать не хочу. Ну, готовым быть надо. Кто что знает? Никто. Пусть он приучается.

От хутора к хутору, мягкими степными дорогами, среди полей зеленых... Галчонок задорно пофыркивает, тянет просторы, а воздух синь, звенят неуемно жаворонки, в логах, видать, перелетают лениво косокрылые дрофы.

Витька думает:

«Вот бы ружье!»

В стороне — широкие ветлы, за ними — крыши: хутор.

— Витька! — кричит отец из коляски.— Постой-ка! Не заехать ли к Зеленовым?

Витька пугается.

Там намекнут, там подумают, потому что уже не раз, бывало, намекали про эту проклятую Лизку.

— Не надо, папа! Скоро доедем.

— Доедем? Еще десять верст. А Зеленовы здесь все лето проводят. Ольга Петровна здесь, и Лизавета здесь. Може, и самого Василия Севастьяныча застанем.

— Не надо, папа!

Витька вполглаза смотрит на отца. У того под усами дрожит улыбка и в глазах — плутовство. И Храпон нагнулся, спина наклонилась, и будто смеется спина-то.

— Да ты что упираешься? Аль брезгуешь?

«У, застрелить бы эту Лизку, чтоб не было ее на свете, не было бы сраму такого!»

— У меня дела там, заедем.

Ясно, отец смеется.

— А-а, так?..

Витька вдруг выпрямился в седле, поднял нагайку.

— Как хочешь. Раз дела — поезжай. Я один дорогу найду до нашего хутора.

Галчонок повернулся на месте и рысью от коляски — враз. Сзади смех дребезжащий. Слыхать, и Храпон смеется.

— Постой! Тебе говорю, постой!

Витька скачет во весь мах мимо ненавистного хутора. И не смотрит. Ему чудятся за деревьями чьи-то наблюдающие глаза (чьи?), и эти глаза знают, почему он скачет.

Версты две отъехал, тогда оглянулся. Коляска ехала по дороге, как маленькая темная букашка, хутор миновала.

Витька поехал шагом.

— А чего я стыжусь? Жильян бы не стыдился. Ведь ходил он играть на волынке под окна Дерюшетты.

Витька засвистал, загарцевал, дожидаясь отца. Он теперь готов посмотреть прямо.

— Ты чего, чудак, ускакал?

— Я не хочу к ним.

— Он невесты испугался,— засмеялся угрюмо Храпон.

— Ну, ты, Храпон, помалкивай! Не твое дело, чего я испугался.

Витька весь ощерился.

— Ого, уж орать? А ты на Храпона-то не ори! Он ведь, сынок, правду говорит.

— Знамо, испугался,— дразнил Храпон.

Вот бы поднять нагайку и огреть этого мужлана по шее! Он и не стал бы больше разговаривать.

И слава богу, что на хуторе событие: пали три коровы. Отец заорал, затопал ногами:

— Гнать вас, чертей, дармоедов! Смотреть не умеете!

И сразу забыли про Зеленовых.

А когда обходили загоны, Витька видел, как отец стукнул по подбородку работника Никишку. У того дернулась голова. Чуть спустя Никишка плевал, стараясь делать плевки незаметными, плевал кровью. Было стыдно смотреть на него. Витька не смотрел, но думал:

«Так и надо! Недоглядел — и сдохла скотина. Жильян вот так же надавал бы оплеух мужику: не мори скотину!»

Вечером, перед сном, когда остались в избе одни, а в сенях улегся Храпон (Витька знал: у Храпона в мешке револьвер), отец говорил:

— А ведь дедка твой правду сказал: не надо тех привечать, кто любит мягко спать да сладко есть. Вот еще тогда он приметил. Поглядел я — ни к шутам хозяйство. Прогнать придется. Дармоед!

А за окнами кто-то ходил, будто подслушивал и готовился. Витька ждал: придут, нападут. Надо бы отцу помолчать: они ведь двое только (ну, Храпон еще), а работников на хуторе много, приказчик с ними, и все они разбойники. Отец, как назло:

— Чуть недоглядишь, все навыворот пойдет. Эх, народ! Дубить его еще века цельные. Под носом не видят ничего, ленивы, хоть руки об него оббей. Вот, гляди, Витька! Хочешь богатым быть, везде свой глаз суй. Ни одному дьяволу не верь! Только сам.

В комнатке было душно, жарко. А отец все говорил, и казалось: жар идет из его рта, от раскаленных слов.

Так вот на каждом хуторе отец орал, стучал ногами, сыпал зуботычины. А Витька ждал: кто же даст сдачи отцу? Стыдно было: бьет больших. И страшно чуть. Но никто никакой сдачи. Все этакие испуганные, с заискивающими улыбками... Вот тебе разбойники! Может быть, это только в речах — разбойники, а на деле — куры?

Когда объехали хутора, вернулись в Цветогорье, мать кудахтала, радовалась, Витька почуял себя большим.

Мать:

— Милый ты мой, сыночек ты мой!

А Витька:

— Будет тебе, мама!

Ему совестно было. Что он, маленький — целовать его при всех? Ну, поздоровались, и будет. А то...

— Сейчас я. Вот дело справлю...

Отец мигал левым глазом, хохотал беззвучно.

— А сынок-то у меня! Гляди, не чмокун, целоваться не любит. Герой!

И по плечу мать — щелк!

— Всю дорогу верхом. Хо-зяин растет!

— Не сглазь, старик!

— А-а, сглазь! Чего ты с бабьими глупостями лезешь? Разве такого сглазишь?

Витька обошел комнаты. Как потускнели они и какими маленькими стали! К шири, просторам привык глаз — и все здесь съежилось, было странно. А сладкие материны слова после отцовских криков были приторны. Хотелось хмурить брови и говорить басом.

Вышел опять в столовую, где мать сидела с отцом, и отец уже второй пот пускал: пил чай — ворот расстегнут, волосатая грудь виднеется; от пота волосы стали вроде вороньего крыла.

Мать не удержалась — к Витьке, целовать.

А тот холодно отвертывался от ищущих губ. Хотелось ему вытереть платком щеку возле уха, где мать поцеловала.

Подумал:

«Да что за нежности, ей-богу?»

Но не сказал: еще робость была с матерью. Лишь басом, сурово:

— А когда, папа, на мельницу?

Он с удовольствием увидел, как испугалась мать.

— Опять уедешь?

— А как же? Дело. Нужно.

Отец счастливо засмеялся.

— Ну уж, не пущу! — решительно сказала мать.

Витька холодно посмотрел на нее.

— Как это не пустишь?

— Очень просто: сиди дома.

Витька презрительно засмеялся:

— Вот новости!

Мать чуть не заплакала. Тут и отец вмешался:

— Посмотрю я, Витька, на тебя, очень ты шикуешь. Мать, знамо, соскучилась. Ты не больно спесь напускай на себя.

Витька покраснел.

— Да что же я? Я так. Ты ж сам говорил мне: дела. Ну, так напрасно чего сидеть?

Витька помнил: Жильян был всегда суров.

Конец лета — жнитво и уборка — он прожил на хуторе за Маяньгой; мать была с ним (привязалась): приехала вместе с отцом, но тот прожил три дня, собрался на дальние хутора. И, уезжая, говорил Витьке при матери:

— Ну, сынок, гляди в оба! Ты остаешься вместо меня.

Витька еще вырос на целый вершок.

«Вместо меня!»

Это говорит отец — Иван Михайлович Андронов. Как не закружиться голове? И закружилась. Когда жнецы пришли жаловаться: «Голодом морит нас, идол проклятущий, в солонине черви по пальцу!» — и стояли злые, с тоской в глазах, Витька закричал на приказчика, на приказчика Василия Мироновича, как на жулика последнего:

— Выдай им хорошей солонины!

Приказчик ушам не поверил. Должно, думал: «Уже лает, щенок?»

А сам говорил:

— Нельзя-с, Виктор Иванович, народ и это сожрет. Чего ему сделается? Привыкнет.

Бабы орали:

— Да ведь червяки-то по пальцу! Сам жри, толстопузый охальник!

Приказчик презрительно кривил губы.

— Поглядела бы в пузе-то у себя: там червяки не по пальцу, а по сажени целой... Дура!

Но Витька настаивал:

— Выдай!

Тогда приказчик сходил к хозяйке — Витькиной матери. И та, как узнала про червей по пальцу, сказала:

— Выдай хорошей...

— Слушаю, Ксения Григорьевна, воля ваша, ну, только я не в ответе. Приедет Иван Михайлович, он все разберет.

И Ксения Григорьевна не знала, как быть: боялась вмешаться в мужское дело. И только Витька настойчиво кричал:

— Без разговоров! Выдать сейчас же!

И глаза у него были круглые, а возле крыльев носа дрожали две морщинки, как у отца, когда он рассердится.

Витька видел: когда бабы и мужики увозили пахучую солонину (чуть лучше той), они смотрели на него заискивающими глазами.

— Спасибо тебе, лебедик, выручил. А то живоглот маханом кормит...

А дня через два приехал отец, долго ходил с приказчиком, разговаривал тихонько, тот объяснял что-то и разводил руками... Отец позвал Витьку.

— Ты велел выдать мясо?

Витька не смутился. Пристально ударил глазами в глаза отцу:

— Велел.

Отец покрутил пальцами бороду.

— Съели бы!

— Папа, там черви по пальцу!

— Ну, для мужичьего брюха червяк — не помеха.

— Они кричали, папа!

— Кричали? Так ты что ж? Крику испугался или пожалел их?

Витька подумал:

— Кричали так, думал: побьют приказчика.

Отец глянул тучей.

— А-а, так ты крику испугался? Ну, это, брат, дело последнее, чтобы хамьего крику бояться. Слышишь, чтоб в другой раз ты не смел мешаться! Я думал, ты пожалел. А ты — эх, шалаш! Разве можно бояться? Покажи им страх — они тебе сапоги на голову. С мужиком один разговор: по башке плетью, кулаком в зубы.

Витька слушал. «Как Жильян бы здесь?» Жильян — тоже оплеуху?..

День и два ходил чуть смущенный. Понимал свою ошибку. «Пусть черви по пальцу...»

Отец смотрел на него пристально, будто с недоверием. И Витька это понимал.

Но день, еще день, еще — забылось внешне. Опять отец хохотал, хлопал по плечу. А Витька помнил: «Червяк — не помеха».

Он объезжал вместе с отцом широкие поля, во все стороны от Маяньги,— Витька верхом, отец в пролетке,— смотрели, чистожином ли жнут, не потеряно ли много колоса. И порой орал звонко, по-отцовски:

— Эй, бабы, жните чище!

А приказчику с десятским указывал:

— Вот у того верха плохо жнут, колосьев набросано много.

И приказчик сжимал плеть, шел к «тому верху»...

Моряк — Жильян — Витька, море — пустыня — хутора, борьба — война — победа,— вот зацепка для Витькиных дум и помыслов.

Осенью — сентябрь звенящий шел — отец говорил как-то вечером:

— Учись, брат, изо всех жил! Ты теперь видишь, какая путина перед тобой.

У Витьки плотнее складывались губы. И чувствовал он, как под серой ученической блузой у него сжимаются мускулы.

Борьба!

И с наслаждением, с восторгом он копил в своей просторной голове, что слышать доводилось об этой борьбе.

Раз историк на уроке заговорил о Змеевых горах — горах, что от Андронова сада начинаются.

— Еще Адам Олеарий в начале семнадцатого века записал легенду: лежал змей вдоль Волги, сторожил покой пустыни, потом пришел богатырь с запада...

Витька вспыхнул гордостью:

— Мой дед мне рассказывал, когда я был маленьким...

— Вот сколько лет легенде!

Может быть, правда, пустыня боялась? Посылала змея?

— И пришел человек с запада и отрубил змею голову...

«Мы — Андроновы, наши пути — туда».

— Плескалось море. Ушло. Вот откуда пески и солончаки. Пришли кочевники: скифы и татары, киргизы, башкиры — верные дети пустыни. Но пришел человек с запада и — поставил первый забор. Забор в пустыне. Какими ветрами не валила его пустыня! Какими песками не засыпала! Забор стоял. А от забора начинается культура.

«Это мой дед поставил забор».

Он представлял деда, как помнил: в черном длиннополом кафтане, с седой бородой, мечущейся по ветру. Дед идет по пустыне и ставит первый забор.

Началась борьба с кочевниками.

О, Витька слышал, и сколько раз слышал, и читал сколько!

В просторах — курганы древние, у Синих гор, у подножья — семь в ряд: стоят как шиханы. То скифы бились насмерть с монголами, монголы с татарами, с киргизами, с калмыками. Из далекой Азии, откуда сейчас лишь ветры буйные дуют, ветром когда-то шли орды одна за другою. В курганах костей груды — это след борьбы. Они — дети пустыни, дети просторов; они ссорились между собою, забыли про человека с запада, про врага главного.

Он пришел и поставил забор. Тогда киргизы, башкиры и татары, сарты — все на него, человека с забором. И была борьба насмерть.

Захватят — уведут в плен.

Захватят — сожгут на костре.

Захватят — привяжут одну ногу к одной лошади, другую к другой и разорвут.

Захватят — выколют глаза и отрежут уши.

Захватят — отрежут язык, отрубят ступни по щиколотку.

— Не ходи в наши края!

А он шел упорно, не боясь никаких мук. И сам жестоко расправлялся, если попадались. Конокрадов и убийц живьем сжигали в стогах сена, убивали «миром», в лютые зимы сажали в амбары — морозили, как бабы морозят тараканов.

Вот недавно отец рассказывал:

— Еду, а из озера ноги торчат, к колу привязанные. Догоняю — немцы в фуре. Спрашиваю: «Вы?» А они смеются и: «Найн». Э, чего там «найн»! Бояться нечего: люди свои... «Конокрад? — спрашиваю.— Лошадки воровал?» — «Найн, баба резаль». Ну вот, это понятно! Раз бабу зарезал — туда и дорога! Баба в степи, пожалуй, дороже скотины.

Витька добыл широченную карту Нижнего Заволжья, земель уральских и аральских, повесил над столом у себя. Занимался ли, читал ли книгу — откинуться на спинку стула, глянуть и разом вспомнить Синие горы, непыленые степные дороги, крик дергунов в траве и перепелов и белую церковь на горизонте... А пустыня — где же? Она отодвинулась.

Придет отец, этаким плутовским взглядом глянет на карту, засмеется:

— Свое царство обозреваешь? А ну-ну, где наши хутора?

— Вот смотри, вот Чалыкла, здесь наша Меженевка. А вот Караман — видишь? Вот Красная Балка, вот ссыпки, вот Ковыли: я сам отметил. А это вот железная дорога пройдет новая.

— А это что червяком вьется?

— Иргиз. Вот на нем и наша Маяньга.

— Ишь, сразу как на ладони!

Помолчал, погладил бороду.

— Да, пустыня была — мы завладели. Вот и чугунка пойдет. А то, бывало, верблюды, лошади, быки тянутся по степи, а снег по брюхо. Хохлы, казаки, мужики — народ новый пошел здесь. Немцы еще...

— Папа, ты любишь немцев?

— Не люблю, сынок! Немцы только себе хороши. А до других им, что до прошлогоднего снега. Не соседский народ, не компанейский. Землю самую хорошую занимают и работают ничего, а вот не лежит к ним душа. Полтораста годов на нашей земле живут — ни сами не разбогатели, ни другим пользы от них никакой. Даже русскому языку за это время не научились, вроде за каменной стеной живут. Как зима — так гурьбами по миру к нам же идут. «Милостинка, Криста рати». Не люблю!

— А хохлы, папа?

— У, это народ старательный. И чистяки. А вот казачишки по Уралу, глядел я,— лентяи несусветные. Пороть бы надо!..

Витька задумчиво глядел на карту. Полосами: по Волге — немцы, по Уралу — казаки, и ни тех, ни других отец не жалует.

И мать вот, как говорит про немцев, сейчас губы брезгливо сожмет.

— И утром и вечером ноют: тню-тню-тню...

— Это зачем?

— Богу так чудно́ молятся.

Бабы-приживалки — они всегда возле матери — брезгливо сморщатся, поплюют.

— Ух, пакости дьяволовы! Уж чего — трубку не выпускают изо рта.

Верно, это и Витька заметил: трубка с вонючим каучуковым длинным чубуком всегда во рту торчит. Даже зуб — передний резец — нарочно ножом вырезан, чтоб чубук лучше держался.

— Тню-тню-тню!..

— Ну, мать, ты уж очень! Все же народ трудовой. Видала, как работают? Больше лошадей! И непьющие. Ежели пьют, так без шуму и бойла.

— Не-ет, наши русские лучше!

— Не знаю, у немцев в избе чистота, ковер постелен, а у наших коровы в избе.

— А по миру к нам!

— Ну, это же не все, чать...

— Тню-тню-тню!..

Это молитва.

Жалко, что у Жильяна нет про то ничего, как относиться к немцам...

## VII. Дерюшетта

Уже пятый класс. Уже на выросте. И отец стал звать Витьку Виктором,— жизнь идет.

Колька Пронин начал мазать свои волосы фиксатуаром, и еще человек пять за ним, пока инспектор не погрозил карцером. И перед зеркалом в коридоре нет-нет и бросят тайный взгляд: красив ли я? И руки, глядишь, вымыты чистым-чисто. Бляха на поясе блестит, блуза складочками собрана на спине, а на груди и на животе — ни одной складочки. И в разговорах замелькало слово «девчонки», и уже без презрения, как это было прежде, вот с полгода-год назад. Полкласса записалось к учителю танцев, что приходил два раза в неделю — по вторникам и пятницам — после четвертого урока. Витька попробовал танцевать — чудно что-то, вроде стыдно; потоптался, бросил. А девчонки? И для него это слово вдруг обрело новый смысл. Все шутят, говорят о них как-то намеками, с улыбками. Тут задумаешься! Сначала немного непонятно:

— Почему все об одном?

Даже скромница Колоярцев, даже горбун Мурылев, даже Ванька Краснов — лентяй, надоеда, ходит всегда вразвалку, ноги везет, словно сто лет ему,— а тоже и они:

— Девчонки!..

И Жильян вот. Жильян имел Дерюшетту. Пусть Дерюшетта принесла ему смерть, но любил он ее и только ради нее совершил свой подвиг — победил море, победил чудовище,— ради нее. И потерять Дерюшетту — значит умереть.

Что же, Дерюшетта у каждого?

Какая же она, вот его, Витькина, Дерюшетта? Он думал мучительно, и в думах сладко томилось тело. Дерюшетта!

На улицах он украдкой, по-воровски, всматривался в лица гимназисток, таких загадочных и недоступных. Искал Дерюшетту. И чувствовал себя смущенно, связанно. И мучительно думал:

«Кто же полюбит такого хмурого, большелобого, с суровым лицом?»

Реалисты готовились к декабрьскому ученическому вечеру, на который каждый мог пригласить знакомую гимназистку.

Пронин и Смирнов были избраны распорядителями от класса, им инспектор передал билеты. И вот Пронин, громко так, при всем классе:

— Авинов, ты берешь?

— Андронов, ты берешь?

Витька вдруг покраснел малиной и ответил басом:

— Беру.

Товарищи захохотали.

— Ну, как же? Обязательно берет! У него зазноба.

— Никакой зазнобы нет. Я двоюродной сестре отдам.

— Врет! Ей-богу, врет! У него нет двоюродной сестры. Врет!..

Виктор вспыхнул:

— Не ваше дело! Кому хочу, тому и отдам. Балбесы.

— А вот мы поглядим на твою двоюродную сестру.

— И поглядите.

Момент — у него блеснула мысль отказаться от билета: зачем он? — но взял.

И вот — вечер мук, дни мук, дум.

Дерюшетта, где ты?

Он — Жильян — не имеет своей Дерюшетты. Его имя никто никогда не писал на снегу пальцем, не смотрел на него с лукавой улыбкой. О, Жильян, жить тебе, бороться только ради Дерюшетты. Но где она, кто она?

В эти дни — немногие до вечера — он почуял страшную пустоту. Нет Дерюшетты. Лиза Зеленова? О ней он думал с ненавистью, помнил ее белые вихры, розовый язык, дразнящийся, года два назад видел ее на улице: она в гимназическом платьице шла через мостовую — тонконогая, голенастая, костлявая, лопатки вздымали платье. Она была выше его. Вихры белые спрятаны были под коричневой шляпкой. Ну какая это Дерюшетта? Вспомнит Виктор о ней — у него под ложечкой похолодеет от смущения и ненависти.

— Ты, Виктор, не захворал?

Отец смотрел на него с тревогой.

— Нет, папа, я здоров.

— Словно ты бледнеть стал эти дни.

Тут мама на выручку:

— Уж ты, отец, не накличь болезнь, с тебя хватит. Отчего ему болеть? Еда у нас, слава тебе, господи...

— У, гусыня, тебе бы только еда! Не в еде дело бывает.

— Нет, папа, я здоров.

И покраснел. Если бы папа да мама узнали, что мучает Витьку!

Нет, нет, нет Дерюшетты!

И час или два спустя — в этот вечер — Витька, запершись в комнате (а никогда не запирался), открыл последнюю страницу общей тетради и написал:

Я здесь один, я в мире целом,
Никто не вспомнит обо мне,
Ничьи глаза меня не приветят,
Никто не улыбнется мне.

Слезы закапали на страницы тетради, на руки, все странно зарябило,— ой, сколько лет Витька не плакал! — пятнами мокрыми расплылись по бумаге. Это были стихи, полные отчаяния. О, Дерюшетта, где ты?

На столе лежал пригласительный билетик — словно паспорт Дерюшетты. Сквозь слезы глядел на него Витька. Вот паспорт есть, Дерюшетты нет.

Он задыхался, перо скакало по бумаге, слезы лились...

И, заглушая рыдания, он упал на диван.

И все дни потом он ходил вялый, ничто не было мило ему — ни книги, ни уроки, ни товарищи. В общей тетради, на последних страницах, прибавлялись все новые и новые стихи.

А в городе уже говорили про вечер. И папа узнал. За обедом раз, уже накануне вечера, посмеиваясь, спросил:

— Кому ж ты свой билет послал?

Ровно нож в Витькино сердце.

— Никому.

Мать сладко улыбнулась:

— Ты, Витенька, пошли Лизочке Зеленовой.

— Никому я не послал, я изорвал его.

Брови у отца далеко залетели на лоб — удивился.

— Изорвал?

— Да, изорвал.

Отец покачал головой сожалительно.

— Эх ты, верблюд!

Витька покраснел, уткнулся в тарелку, молчал. И после обеда сейчас же побежал в комнату и спрятал билет в старенький учебник географии Смирнова — часть первая, оставшийся еще от первого класса.

Но на вечере был. Все, все видел. Реалисты все в черных мундирах с золотыми пуговицами, тугими воротниками. И Витька был в мундире. А гимназистки — в белых передниках, обшитых кружевами, в коричневых платьицах, и епархиалки — в зеленых и бордовых платьях и в белом — такие недоступные, прекрасные. Пытливыми глазами Витька смотрел на них. Где Дерюшетта? А, вот эта белокурая, с толстой косой, румяными щеками. Из-за спин гостей, сидевших на стульях, он смотрел на нее. Шестиклассники, семиклассники читали стихи собственного изготовления, читали Пушкина и Лермонтова, один пиликал на скрипке, трое пели. Потом хор, потом струнный оркестр, но спроси Витьку — он не сказал бы, что было. Он видел только толстую косу, только пунцовые пухлые губы.

Кто она?

Говорили, что один билет послан дочери предводителя дворянства — князя Турусова. Может быть, это она, княжна Турусова — Дерюшетта?

Он думал мучительно.

В антракте публика задвигалась, все ходили по коридору и соседнему классу, очищенному от парт, гимназистки и епархиалки ходили и парами, и стаями. И она пошла с подругой. Что-то говорила и весело смеялась. Она была высокая, такая стройная. Дерюшетта!

И восторгом переполнилось сердце Витьки. Вот она, вот! Он влюбленными глазами следил за ней, за ее каждым шагом. Подошел Ванька Краснов, сунул Витьке кулаком в бок и спросил басом:

— Где твоя-то?

Витьку несказанно, невероятно оскорбил этот вопрос. И он резко сказал, почти крикнул:

— Пошел к черту!

— О, не хочешь сказать? А у меня нет, брат! Вот выпить бы! Наверху семиклассники устроили тайный буфет. Водку будут лить. Пойдем выпьем!

— Не хочу.

И рад был, когда Краснов отвязался.

После антракта опять пел хор, играли балалаечники. И после — танцы.

Витьке было неприятно, что Дерюшетта оживилась, лицо у нее стало таким счастливым...

Убрали стулья. Семиклассник Вехов захлопал в ладоши и закричал:

— Мсье, ангаже во дам!

Музыка заиграла вальс.

Пары закружились. О, если бы уменье и силы — подойти и попросить ее:

— Пожалуйста, можно вас на тур вальса?

Дерюшетта подождала, не пригласит ли ее кто. Витька видел, какими ожидающими глазами она смотрела на каждого кавалера, подходившего к гимназисткам. И ревность колола его сердце. Но не дождалась Дерюшетта, пошла танцевать с подругой. Витька задыхался от восторга. Он поместился в уголке, под часами, и смотрел оттуда не мигая.

Потом падекатр. И вот Витька с ужасом увидел: к Дерюшетте подошел шестиклассник Сафронов и пригласил ее... Она, счастливо улыбаясь, взяла его под руку. Они пошли. Сафронов в танце обнимал Дерюшетту. Свет померк. Угрюмо и зло смотрел Витька на них. Это была измена. Да! Сафронов довел Дерюшетту до места, посадил и, наклонившись, что-то говорил ей. И оба смеялись. Витьке стало душно. А, ты так?.. Все в нем заклокотало. Он готов был подойти к ним и дать Сафронову по уху. Он почуял, как под мундиром у него заходили мускулы. Но подлетел пятиклассник Гаврилов — Витька его считал дурачком — сказал что-то Дерюшетте, и они вдвоем понеслись в танце. А Сафронов, недолго думая, подхватил Дерюшеттину подругу.

«Так вот она какая, Дерюшетта?!»

Витька вспомнил Краснова: «Пойдем выпьем».

Он поспешно, невежливо толкая дам, мужчин, девиц, протолкался к выходу, долго ходил — почти бегал — по коридорам, отыскивая Краснова.

— Ты говорил, выпить можно. Давай!

— Нас не пускают, черти! Пятиклассникам, говорят, не давать.

— Как же? Я выпить хочу. Пожалуйста, Ванька, достань!

— Откуда же я достану?

— Я вот... десять рублей... Вот на, скажи, чтобы дали.

— Да ты что, сбесился? Идем лучше покурим.

— Покурим?

Витька момент подумал. Курить — грех страшнее в тысячу раз. Отец иногда выпивал, но курить — никогда. «Губы оторву, если закуришь».

— Идем!

Реалисты курили в уборной. Витька взял папиросу, весь будто пьяный от возбуждения. Дерюшетта! Дерюшетта! Зажег. Первая папироса в жизни. Он затянулся раз, другой...

— Ты через нос пускай.

Краснов показал, как пускать. Витька закашлялся. Все в нем вихрилось. Сердце ходило ходуном. Он рванул папиросу, бросил, растоптал.

— Давай еще!..

А Краснов рассуждающе:

— Ты зря папиросы не порть, они денег стоят.

Витька вынул кошелек и дал Краснову золотой.

— Купи на все!

Краснов захохотал.

— Дурак ты, Витька!

Чтобы достать кошелек, Витька расстегнул нижнюю пуговицу мундира. И не застегнул теперь. Стоял, курил, высоко задрав голову. А руки — обе — в карманах брюк. На него смотрели, смеялись.

— Что ты шикуешь? Смотри, Барабан придет.

— К черту Барабана! Я сам пойду к Барабану.

И так, с папиросой в зубах, руки в карманах, пошел Витька из уборной коридором... Он видел испуганные лица реалистов, Краснов дергал его за рукав:

— Что ты, дурак! Брось!..

Это только подбадривало Витьку. Он шел, пуская клубы дыма, широко и медленно шагал, руки в карманах. Мелькнули бородатые лица, и в них — удивление, почти ужас. Хорошо!.. Уже зал вот-вот, звуки музыки слышались. Витька видел: шепчутся кругом, ужасаясь. Хорошо!..

И вдруг — Барабан.

— Это что? Андронов! Это что?

И выхватил папиросу из Витькина рта и поспешно спрятал ее в рукав... И подхватил Витьку под руку, поспешно повел по коридору, зашипел прямо в ухо:

— Срамите училище, мальчишка!.. Завтра же вас исключат. А теперь — марш домой! Вон!

Сам провел до раздевальной, подождал, пока Витька надевал шинель, калоши.

«Ударить?»

Витька шел по темным, пустым улицам и горько плакал. И не закрывал лица. Дерюшетта! Дерюшетта! Не страшна была Барабанова угроза, страшна Дерюшеттина измена.

Прошел до Волги, на бульвар, что как раз на яру. Внизу, недалеко от берега, чернела полынья.

«Утопиться?»

Витька спустился на лед.

Полынья была черная, и теперь, когда Витька стал подходить к ней, показалась большой. Лед кругом, снег кругом — бледные во тьме и мертвые, а черная полынья оживала и оживала с каждым Витькиным шагом. Чуялось, там бурлит, идет непобедимая сила. И легкий шум был слышен у закрайков: вода тонкими зубами грызла лед, и лед похрустывал.

«Жильян утонул в море, я утону в Волге».

Завтра его будут искать. Где? Нет. Пропал. Подо льдом он — мертвый — поплывет мимо Змеевых гор, мимо Баронска, Саратова, Камышина, Царицына... в Каспий. Он представил карту над своим столом, Волга — граница пустыни... Отец будет плакать, мать будет плакать, будут искать и не найдут. Жильяна не нашли же в море... «Только чайки с тоскливыми криками носились над тем местом, где в волнах скрылась Жильянова голова». А здесь — тьма и чаек нет, никого нет, никто не узнает...

А если труп найдут? Тогда все училище пойдет за гробом. И, может быть, изменница Дерюшетта. На кресте сделают надпись: «Виктор Андронов, ученик пятого класса реального училища 15 лет от роду».

Пятнадцать?

Витька удивился.

Только пятнадцать? Жильяну, когда утопился, было тридцать. Витька остановился удивленный. Что-то не так! Но сказал вслух:

— Ну, все равно!

Он обошел полынью, выбирая место, откуда бы броситься. «Только пятнадцать лет!» Теперь вода говорила громче, шла черная, как чернила, и лед под Витькиными ногами дрожал, словно палуба парохода. Не больше двух сажен осталось белой полосы — снега и льда — до черного закрайка. Лед дрожал сильнее. Витька оглянулся и увидел: его калоши оставляли черные следы,— уже вода выступает здесь на лед. Эти черные пятна вдруг испугали. Он сделал еще шаг, два. Нет, нет, страшно! Уйти? Он повернулся и провалился по колено; острый холод схватил его за ноги. Витька оперся руками в лед, чтобы вытащить ноги. Лед затрещал и опустился. Черная, страшная вода зашумела, захохотала, кинулась на Витьку. Кто-то в глубине рвал Витьку за ноги, за полы шинели, тянул под лед; все под его руками ползло, трещало, стало ломким. Витька закричал, не сознавая крика:

— А-а-а!..

И судорожно задергал ногами, как пловец, уцепился за край льда. Теперь вода заливала плечи, тянула вниз, жадно трепала шинель. Все тело загорелось, как обожженное. Витька судорожно цеплялся за лед, а вода тащила его вниз, рвала...

— А-а-а!..

Кругом было пусто. Отчаянным усилием он поднялся на лед по пояс, навалился на него грудью. И лед опять медленно стал опускаться. Витька продвинулся на него дальше, вода опять хлынула, все кругом задвигалось, затрещало. За что ни возьмешься, все стремительно плывет. Витька замахал руками, бился изо всех сил. Вот закраек, опять поднялся на него, судорожно расстегивая пуговицы шинели... Хотел расстегнуть крючок у ворота, не успел: опустился, поплыл.

— А-а-а!..

Это был третий крик, и никто его не услышал. Витька опять замахал руками — теперь труднее: тысячи чьих-то рук тащили вниз... Вот закраек, Витька навалился, ужом полез на лед, бултыхая ногами. Вот весь на льду, и ноги; лед трещит. Ужом, опираясь коленями и локтями, пополз он от этой полыньи. Шинель путала, тяжелая как броня. На льду уже снег. Витька хотел подняться, но снова провалился по колено. Лед кругом угрожающе, злобно затрещал. Тогда Витька, как зверь, лег на живот и пополз.

Он не помнил, как добрался до берега, как бегом бежал по пустым, темным улицам и заледенелые полы шинели звенели.

Дома давно спали, встала только Катя-кухарка, открыла дверь, ахнула, увидев Витьку в ледяной одежде. Но Витька схватил ее за руку:

— Молчи! Вот неси, суши. Чтоб мама, папа не видели. Слышишь?

Это был прежний Витька — вспыльчивый и властный: захочет чего, ему вынь-положь. Катя зашептала:

— Да где же это ты? Да, господи, да ведь это же ты простудишься! Да ведь этак умрешь! Ой, калош-то нет! Тебя бы спиртом смазать.

Вдруг он вспомнил: на «иордани» искупаются и — пьют водку.

— Дай мне водки. Выпью — пройдет!

Они стали как заговорщики. Витька в кухне снял шинель, ботинки, блузу.

Катя ужасалась:

— Все, все насквозь! Господи-батюшки!

От Витькиной кожи шел пар.

— И картуз, и картуз-то мокрый!

— Молчи! Давай переодеваться! Давай водку!..

На цыпочках они пошли через комнаты, мимо дверей спальни. Они думали: не услышат.

Но из-за двери мамин голос:

— Пришел, что ли?

— Пришел,— твердо ответил Витька.

— Пришел, пришел,— пропела Катя,— слава богу, теперь спокойно почивайте...

За дверью забормотал что-то отец, но Витька и Катя за ним следом пронырнули в комнату. Над столом карта — Волга вьется... «Где бы я теперь был?»

— Давай вина!

Он весь горел от возбуждения, когда переодевался. Он не узнал своей кожи — она была вся в пупырях. Точно больной сон — растерявшееся лицо Кати, глаза полубезумные, тени на стене, водка, обжегшая горло.

— Молчи! Суши все, чтоб не узнали. Слышишь? Не говори.

Он бормотал, как в бреду, укладываясь под одеяло... А Катя качала головой и тоже что-то говорила, но что — Витька не понимал.

Катя сумела сделать — Витьку разбудили, а блуза и брюки уже висели возле кровати разглаженные. Зеленые пятна ходили перед Витькиными глазами. Его знобило. Мать стонала:

— Ой, какие у тебя красные глаза! Да ты здоров ли? Не надо бы так допоздна сидеть.

Витька ей твердо:

— Со мной ничего. Только я боюсь опоздать.

— Храпона, Храпона надо. Катя, вели Храпону заложить Карька.

Катя не смотрела на Виктора, а Виктор чувствовал: она смотрит на него с ужасом и любопытством — и во все глаза смотрит.

Храпон помчал Витьку на санках.

По коридорам и классу он прошел, как связанный, он остро чувствовал, как на него смотрят с любопытством и почти с ужасом. И не разговаривали почти. А когда Краснов — лениво, вразвалку — подошел и спросил: «Ты что же это вчера?», все подошли сразу, смотрели на пылающее Витькино лицо жадными глазами.

— А ничего. Это так, моя глупость,— спокойно сказал Витька.

Странно: он как будто вырос за эту ночь и почувствовал себя куда-то ушедшим.

— Ведь тебя же исключат.

Краснов говорил, а все другие напряженно молчали. Витька ответил с трудом:

— Авось не исключат. Посмотрим.

Пришел в класс директор. Все вскочили. Этого никогда не было, чтобы директор так рано приходил. Он молча посмотрел на всех, дольше всего на Витьку, ушел. Под его взглядом Витька опустил голову. Когда он скрылся за дверью, все посмотрели на Витьку — так было все необыкновенно. Потом мелькнул за дверью Барабан, вытянул шею, осмотрел класс, тоже скрылся. И кто-то с задней парты сказал возмущенно:

— Торжествует, сволочь!

Подходил к двери даже сторож Михеич и тоже долго искал глазами чего-то, отыскал Витьку, посмотрел пристально, ушел.

Витька начал ужасаться:

«Что я наделал!»

Но держался будто спокойно.

Он чувствовал, что стал центром больного, неприятного внимания.

Начались уроки. Первый, второй. Его не спрашивали. На него не смотрели прямо, а так, мельком, с любопытством. И историк, с которым он любил говорить о заселении края, и математик, который о нем говорил перед всем классом:

— Вот у Андронова точная голова, математическая, золотая. Люблю такие головы. Он мыслит, как математик.

А теперь математик не смотрел на него, только гладил бороду, от шеи, снизу вверх, закрывался ею до самых глаз и мычал что-то.

На третий урок пришел законоучитель о. Григорий. Он на кафедру, а в дверях Михеич.

— Андронов, директор зовет!

О. Григорий поглядел на Виктора строго.

— Ну, ну, иди, детеныш, иди! Не прежние времена, а то бы лупцовку тебе дать хорошую.

Витька вспыхнул от обиды, но смолчал и, униженный, вышел из класса.

Директор сидел за широким, очень широким столом, заваленным книгами и тетрадями. У него большая кудрявая голова, большая с проседью борода, широкие плечи — богатырь. Он — один во всем городе — ходил в щегольском котелке и сюртуке. Пронзительные темные глаза глянут — в самую душу пролезут... Он не кричал, не грозил, был участлив и прост, хотя и строг, и реалисты, ребячьим сердцем чувствуя его справедливость, уважали его и немного боялись. И прозвали — за рост и справедливость — Ильей Муромцем.

Муромец пристально посмотрел на Витьку.

— Ну-с, Андронов, вы это видите?

Он показал пальцем на стол. Там, за горкой тетрадей, лежал исписанный лист бумаги, на нем — недокуренная папироса.

— Вижу.

— Это ваша?

— Кажется, моя, Сергей Федорович.

— Не кажется, а это действительно ваша. С этой папироской в зубах вы шли по коридору, где вас встретил Петр Петрович. Что же это значит, Андронов?

Витька насупился. У него забилось сердце. Но надо быть честным. И главное, не заплакать. «Жильян, выручай!»

— Это моя ошибка, Сергей Федорович, я и сам не знаю, как это вышло.

«Разве скажешь о Дерюшетте?»

— Но скажите, как это случилось? Вы все пять лет были примерным мальчиком. И старательны, и способны, и образцового поведения. Вот я сейчас пересмотрел все кондуиты. И никогда

вы не были записаны. Понимаете? Никогда! А по успехам вы всегда в первой тройке были. И вдруг — этот ни с чем не сообразный случай. Мы же вас принуждены исключить!

Витька разом покраснел. Исключить? Отец будет смотреть на него с презрением. Мать, приживалки, кучер и приказчики на хуторах, даже работники — все узнают: исключен... Как тогда? Нет, слез не удержишь!

— Вы, Андронов, не плачьте! Вы скажите просто, что это было? Вы уже взрослый, вы не могли не понимать своего поступка.

Муромец поднялся из-за стола, подошел к Витьке и все смотрел ему в лицо, словно изучал.

— Как же это случилось? Вы часто курили прежде?

Витька поднял голову и сквозь слезы глянул директору в глаза.

— Никогда.

Директор помолчал.

— Я вам верю, Андронов! Но как же, как же это понять?

Он пожал плечами, поглядел на стол, сделал два шага.

— Дикий поступок! Не понимаю.

Надо быть честным и стойким! Тогда Витька заговорил горячечно:

— Сергей Федорович! Я вам скажу: меня обидели. Я не могу сказать, кто и как меня обидел, но обидел сильно, поверьте. И — я пошел и закурил...

— Но вы же должны были понимать, что вы осрамите училище своим поступком. Вы это понимали?

— Это только теперь я понял. Тогда — нет.

Муромец посмотрел на Витьку, побарабанил пальцами по столу.

— Ступайте пока в класс.

Это прозвучало, как выстрел: «пока». Значит, уже решено? У Виктора прыгнуло сердце, потемнело в глазах. Он с ужасом посмотрел на директора.

— Сергей Федорович, меня исключат?

Директор нахмурился.

— Пока неизвестно. Но не хочу вас обнадеживать: вероятно, исключат.

Тут Жильян умер. Виктор прислонился к стене около двери и зарыдал. У него запрыгали плечи.

Директор подошел к нему. Постоял, помолчал. Потом тронул за плечи:

— Будет, мальчик, будет! Успокойся!..

Что-то у него такое в голосе было... Виктор глянул ему в глаза, заломил руки.

— Сергей... Федорович... не исключайте! Это ошибка была...

— Я верю, Андронов! Пока идите, мы посмотрим.

В большую перемену Витька остался в классе, и все время у дверей мелькали мальчишеские лица, жадно искавшие его

глазами. Стена: по одну сторону он один — Виктор Андронов, по другую все остальные — ученики, учителя, сторожа, весь мир. Он в отчаянии сжимал пылающую голову. Сердце колотилось, и первый раз в жизни он услыхал, как оно колотится.

И на четвертом уроке его не спрашивали. Домой он пришел почти больной, не ел за обедом — мать по этому случаю кудахтала испуганно. А Витька смотрел на нее раздраженно. Он весь вечер лежал и был рад, что никто — ни отец, ни мать — не приходил. За вечерним чаем отец шумно спрашивал:

— Витька, ты не слыхал, кто это у вас вчерась эту штуку выкинул?

— Какую?

И мать вскинулась испуганно:

— Какую?

— Закурил, говорят, реалист один и в залу вышел к гостям с папироской в зубах и плясать вприсядку начал.

У Витьки все рванулось внутри.

«Вот оно!.. Нет, нет, я не плясал...»

— Кто это такой? — допытывал отец.— Ведь это отчаянной жизни кто-то. Аль ты вчера не слыхал?

У Витьки едва повернулся язык:

— Не слыхал, чтоб плясал...

Тут отец заметил:

— Да что с тобой? Какой-то вялый ты! Аль захворал?

— У меня голова что-то.

— Поди ляг, Витенька! Знамо, вчера поздно вернулся.

Вечер он крепился. Катя посоветовала матери напоить его малиной. Но болезнь шла, и уже бред был. Утром он едва встал.

Теперь все уже было зелено, и голоса шли, как из-под воды, глухие.

Он был в училище, сидел за партой, слушать не мог ничего, в перемены клал голову на руки на парту, дремал, почти спал, а мальчишки лезли к нему, он ненавидел их...

Опять на третьем уроке пришел Михеич, позвал Витьку к директору. Он шел тупой, директор что-то говорил ему, что — не разобрать. Потом подошел близко, глянул Витьке пристально в глаза, приложил к Витькину лбу большую мягкую руку и вдруг вскрикнул:

— Да вы больны, Андронов! Вы как в огне...

Через десять минут Михеич вез на извозчике Витьку домой, закутанного в чью-то шубу, пахнущую табаком.

И не понимал уже Витька ничего. Сонно слышал он материн вой, бурные крики отцовы... «Дерюшетта, Дерюшетта...» — дискантом кричали верблюды, и Витька крикнул: «Тону, спасите!» Стены качались и пели смешными, пьяными голосами.

---

Перед самым роспуском на рождественские каникулы в реальном училище говорили:

— Виктор Андронов умер.

Но это было неверно. Как раз в этот день Витька впервые за две недели пришел в сознание, и доктор сказал, что кризис миновал. На Новый год Витька впервые сел в кровати, а перед крещением кое-как, по стенке, двигался. Мать ходила за ним, растопырив руки, боялась: упадет, разобьется. И на крещение же к нему пришел Краснов.

— Мама, уйди, нам поговорить надо.

Мать покорно вышла.

— Меня исключили?

Краснов захохотал.

— Обошлось, брат! Тройку по поведению поставили. Решили, что ты уже больной был, вроде как с ума сошел.

И опять захохотал. Витька опустил голову.

— Пожалуй, это верно. Я с ума сошел.

И Витька вдруг заплакал.

— Ишь, это в тебе еще болезнь ходит,— угрюмо усмехнулся Краснов,— бросай плакать, теперь что же?

— Знаешь, я боялся, что меня исключат.

— И исключили бы, да директор заступился. Вот как заступился — всех удивил. Знамо, ты богатей. И учишься хорошо. А помнишь, как Ваньку Скакалова? Раз, два — готово! Барабан застал его за куревом в уборной... «А, кухаркин сын!» Не то что ты. Тебе прошло. Выздоравливай скорее!

Когда — час спустя — Краснов ушел, Витька упал на кровать и плакал долго и сладко. Через две недели он, обвязанный, как куль, ехал в училище. Мать вопила: подождать. Доктор говорил: подождать. Отец бурчал: подождать. Но Витька настоял на своем:

— Еду!..

В классе его встретили криками «ура»: его любили. Витька будто вырос за эти полтора месяца, похудел, глаза стали большими. Все смотрели на него с любопытством и лаской. И ученики, и учителя. И странно — товарищи не называли его Витькой: звали его Виктором или Андроновым. Директор на большой перемене встретил его в коридоре.

— А, выздоровели, Андронов? Ну, вот хорошо! Доктор вам уже разрешил выходить?

Витька посмотрел на него преданными глазами и не ответил ничего.

В перемену Барабан принес Витьке четвертную ведомость, шнырял глазами, будто смущенный. Там в первой графе «поведение» стояла тройка.

Вот все, что во внешнем мире произошло после Витькиного выздоровления. Если еще прибавить короткий разговор с отцом, то это будет действительно все. А разговор был такой:

— Ты, Виктор, теперь выздоровел. Так вот я напрямки говорю тебе: ежели бы не болезнь твоя, я бы тебя выдрал за твое курево. А? На что похоже?

— Не говори, папа!

— Гляди, малый, при случае я припомню и это.

Больше не сказал ни слова.

И никто не узнал, что в эти немногие недели, в болезни, Витька постарел на годы... Уже не Витька теперь — Виктор. И чуяли, должно, другие — так и звали его: Виктор.

Ладья переплыла большие пороги.

## VIII. Ладья переплыла пороги

Медленно потянулись дни — одинокие. Дома: отец не приходил, как бывало, в расстегнутой рубахе, в туфлях, к Виктору, уже не говорил, как прежде:

— Ну, почитай!

В его глазах Виктор замечал отчужденность и недоверие. И понимал, откуда они.

Мать кудахтала, но и у ней жалость проглядывала к Виктору, будто он юродивый или, во всяком разе, глупенький.

В училище учителя и директор смотрели на него испытующе: «А ты еще не устроишь скандала?» Барабан явно шпионил. Батюшка звал Виктора трубокуром. «А ну, трубокур, отвечай урок». Краснов как-то вскоре по выздоровлении сказал Виктору на большой перемене:

— Пойдем курнем, что ли?

— Не пойду.

— Не бойся, не заметят.

— Не хочу.

— Боишься?

Виктор ничего не ответил. Краснов подошел к другим, что-то сказал. Виктор услышал сдержанный смех и слово «трусит». Он возмутился, но промолчал.

«Пусть!»

Так родилась у него отчужденность — от всех. И странно, Виктор рад был ей. Мало кто лез — не мешали думать. Он налег на уроки — опять замелькали пятерки: он догнал. Опять появилось время для мечты, для дум одиноких, он им предался необузданно. Проснуться рано, вскочить с кровати, пустить морозный воздух форточкой и — в одном белье — приседать, выбрасывать машиной руки, ноги, сгибаться, прыгать, сгибать руки так, что затрещат мускулы, пока сердце не забьется тугим боем. Собраться быстро и, пока в столовой ни отца, ни матери, пройти к бурливому самовару, пить в одиночку, только кое-когда ответить на вопрос Фимки или она что ответит шепотом. Потом — опять в комнату, уже убранную Грушей — новой горничной, освеженную, и в полчаса просмотреть уроки, дочитать страницы, не дочитанные вчера.

Потом, под звон великопостный, тягучий, идти по улицам долго и чуять пробуждение весны — жизни новой, чуять щеками,

всей грудью. «Жильян, Жильян, Жильян». Уроки медленно — это работа, а работа была святым делом для Жильяна. К ней Виктор относился по-взрослому. И, может быть, только поэтому опять теплота прежняя на момент обволакивала его сердце, когда математик с довольной улыбкой бросал:

— Вер-рно, Андронов! Вот золотая голова!

Или француз:

— Се бьен, мон брав анфан!

И даже немец, сухой-пресухой, кривил губы в улыбке:

— Гут, гут, гут!

В перемены он ходил один — по протоптанным узким дорожкам уходил в сад, чтобы не быть на шумном дворе. Но скоро Барабан отравил:

— Напрасно уединяетесь, Андронов! Я знаю, что вы курите, но не могу уследить...

— А вы не следите, Петр Петрович! Я не курю.

— Зачем же ходить вам так далеко по саду?

— Мне так нравится.

— Смотрите, Андронов, я вас поймаю.

— Не поймаете, Петр Петрович! Я не курю и не буду курить, вероятно, никогда. Так что ваше драгоценное внимание лучше направить на что-нибудь более полезное.

Барабан ушел, но с того дня Виктор заметил: за ним ходили Барабановы глаза. Это злило. Но два часа — улица, полная света, домой. Опять книги, одинокие думы, одинокие прогулки по пустым окраинным улицам и работа до полуночи.

Так проходил день. Виктор думал: он взрослый, он боец, вот его крепкое тело, вот его сильная воля, вот его острый ум. Придет время — он двинет на борьбу с пустыней. Тогда к нему придут богатство, слава, и тогда — Дерюшетта, настоящая.

«Победит тот, кто умеет ждать терпеливо». О, Жильян!

О своем поступке Виктор думал с отвращением, ругал себя:

«Фанфаронишка несчастный! Разве же такое мог сделать Жильян?»

На пасху пришло примирение с отцом.

— Вижу, ты исправился. Ну, быль молодцу не в укор.

В этот вечер говорили долго-долго, как после большой разлуки.

— Вот еду, новый хутор завожу, аж под самым Деркулем. Десять тысяч десятин у казны купил. Целина, ковыль — вот. После экзаменов туда тебя.

Виктор угрюмо сказал:

— Ты как-то говорил маме, что Зеленов скупил всю землю под Уралом.

— Верно, брат! Такие палестины захватил — уму помраченье. Хапуга мужик!

— Значит, мы отстали?

— Ничего не сделаешь. Он оборотистей. Вот подрастешь, тогда мы вдвоем с тобой ему покажем кузькину мать. А впрочем, нам он, кажись, не опасен.

— Почему не опасен?

— Да дело-то такое...

Отец хитренько засмеялся. Виктор вспыхнул, поняв.

— Я тебя прошу, папа, без глупостей!

— Ого? Это ты отцу? Здóрово!

— Ты меня извини, папа, но я уже не маленький.

Отец опять засмеялся. И вдруг стал серьезный, погладил бороду.

— Да, но ведь это же дедов завет.

Дерюшетта и голенастая Лизка... разве можно? Есть ради чего бороться!

Витька скривил презрительно губы. Отец посмотрел на его губы и забрюзжал:

— Э, глуп ты еще, Витька! Лизка — первая невеста в Цветогорье. И баба из нее выйдет за первый сорт, а ты морду воротишь. Ну, да что там толковать! Дурак ты, и больше ничего.

Отец окончательно рассердился.

— Все же, папа, хоть я и дурак, а я думать не хочу о Зеленовых!

— О, ай лучше найдешь?

Виктор ответил твердо:

— Найду лучше.

Отец захохотал:

— Это вот по-нашему! Это вот верно! Лучше? Валяй, сынок! Ж-жарь!

Здоровенной лапой он похлопал Виктора по плечу. И опять серьезный:

— Так, все же хорошо объединиться: сила к силе, а простору, брат, многое множество. Не надо поодиночке, гурьбами надо, гурьбами! Это самое лучшее. Я думаю, в последствии времени все капиталы объединятся и вместе заработают. И-и, каких делов наделают! Главное, брат, просторов много, и зачем капитал капиталу на ногу будет наступать? Вместе их надо, сукиных детей. А? Как ты думаешь? Хо-хо-хо!

И опять от серьезного тона он пошел в хохот и от хохота — в серьезность.

— А то ты фордыбачишь. Знамо, ум-то у тебя еще молодой, вроде теленка, бегает, загня хвост, а что оно и к чему оно — не может обмозговать. Тут, брат, все надо на прицел брать. Взял — и пли!

Когда он — шумный, размашистый — ушел, Виктор сказал вслух, обращаясь к двери:

— Все-таки Лизка — не Дерюшетта, и никаких разговоров!

И засмеялся.

После экзаменов, не отдыхая, Виктор кинулся в работу. Верхом на Галчонке, в тонкой парусиновой рубашке, в белой фуражке, скакал он по степным дорогам, один, через Синие горы, и казалось — не будет конца дороге. Степь была бесконечной, небо над ней и Виктор на Галчонке маленький; он сам сознавал, будто со стороны видел: он букашка, потерявшаяся в просторах. А воздух — весь чистый, дыханием трав напоенный. Хотелось петь, кричать:

— Мы поборемся!

Уже были приятели у него в селах и хуторах, его встречали ласково и кланялись низко.

— Вот он, хозяин-то молодой!

Он чуть смущался, но сознание, что он — сила, бодрило; он приучался смотреть на себя по-особенному — на богатыря сильного, которому все можно, все дозволено. И на своих хуторах он разговаривал властно с приказчиками, ходил по полям, расспрашивал. Откуда-то у него появился такт — не переступить меру. А было ему лет только шестнадцать. Должно быть, отцовское брюзжание в зимние вечера где-то, как-то укладывалось.

Отец возился с новым хутором — на Деркуле. Виктор ездил туда раз, вначале только, видел, как могучие лемеха вздымали целину, мяли ковыль, цветы и травы, во веки веков колыхавшиеся здесь под ветром пустыни. Степь кругом была бескрайней. И было чуть жутко смотреть на кучку людей, быков, лошадей, копошившихся в этой бескрайности. Среди необозримых зеленых трав — вдруг черная развороченная земля, будто рана на молодом, пышущем здоровьем теле.

А уже мужики с корявыми руками копали в стороне над долиной ямы — ставили столбы: здесь должен вырасти дом, сараи, амбары. Здесь встанет забор. Забор...

Это и чуть страшно и вместе интересно. «Культура начинается от забора». Виктор видел: отец приходил в раж. Он кричал, бранился, понукал, кипел. Или брал Витьку за руку, вел на пашню, говорил приглушенным голосом:

— Ты погляди, какая земля. Это же золото черное. Понял? Золото! Ты понюхай. Да тут такая белотурка взойдет, ахнешь! Или переродом засеем. В один год все расходы окупим. Вот увидишь!

Виктор ходил вокруг пахарей, плотников, смотрел, примерял — тогда, впрочем, редко,— покрикивал, подбадривал. И, намаявшись за целый день, засыпал в палатке сном пружины, на время отложенной в сторону. А вставал с зарей, когда на степь летели предутренние тени и ветерок, кричали птицы; видел, как на стану просыпались продрогшие за ночь люди с синими лицами, скрюченные; с тяжкими вздохами поднимались волы, отдохнувшие, но отяжелевшие за ночь. А в стороне уже дымился костер — дым тянул низом,— и кипели на нем три котла с жидкой кашицей. Отец уже кричал:

— Живо, живо, ребята!

Он уже успел сходить куда-то, и сапоги у него были мокры от росы.

Потом ветер стихал, дым выпрямлялся, птицы орали оглушительно, из-за темного далекого края поднималось солнце — сперва огромный красный эллипсис («вроде утиного яйца»), будто стоял момент неподвижно, потом расправлялось, круглело, уменьшалось, из красного золотело, ярчело и, оторвавшись от черной земли, начинало сиять ослепительно.

Тут отец приходил в исступление:

— Живо, ребята, кончай завтрак! Солнце столбунцом пошло.

И первый садился верхом на Серка — здоровенного сытого жеребца. Новый приказчик Суров — плут, как все приказчики,— скакал за ним на пегой кобыле Машке. За ними тянулись быки к оставленным далеко в степи плугам.

Когда обогревало, отец возвращался на стан, и Виктор видел, как плотники и землекопы начинали быстрей поворачиваться на работе.

— Видишь? Во-о-он маячит бугорок — это все наше. За бугорком еще версты две. Здесь вот построим амбары, а здесь вырою колодезь. Как ты думаешь, будет вода?

Тут подрядчик вмешался:

— Обязательно должна быть, Иван Михайлович! Самое водяное место.

— Так вот. Эти места под пшеницу, а эти вот,— он поворачивал лицо и руку, протянутую в другую сторону,— подсолнухом. Чтоб, брат, ни клока не пропадало. Всей земле дело дадим: пусть не барствует.

И подмигивал самодовольно.

— Ты как об этом понимаешь? Гляди вот. Мы — делатели хлеба. Народ, можно сказать, самый нужный. Кто без хлеба обойдется? Никто. Хлеба нет — жизни нет. Значит, мы даем жизнь всему краю.

Говорил шумно и долго. А Виктор восхищался молча. Ему казалось: отец — царь, вот показывает на свои владения, а он, Виктор, он царевич.

Иногда отец орал на рабочих, десятника, приказчика, орал оглушительно, грозил нагайкой, раз даже ударил работника, у которого сдох вол; Виктор сцеплял зубы, злился на крики.

Через неделю отец уехал и взял с собою Виктора. Опять — хутора, степи, просторы. Отец в одну сторону, Виктор — в другую.

Отец:

— Посматривай там... Ты хозяин.

Виктор:

— Хорошо. Посмотрю.

И скакал. И смотрел. И какой уж ему был отдых! Весь в деле...

И вот он не понимал, как этим летом в его сердце появилась зависть. Зависть к Зеленовым. Сперва стыд — из-за Лизки. Теперь зависть. Он мимо, за версту, объезжал их хутора, вид которых будил в нем злость, чтобы только не встретиться с кем-нибудь. А когда на Карамане Зеленовы затеяли — еще год назад — паровую мельницу,— дорога мимо Караманского хутора стала просто тяжела Виктору. Он злился на обозы, которые везли на мельницу кирпичи, железо, доски. Он очень обрадовался, когда какой-то котел провалился на мосту и упал в речку.

«Может быть, не достроят».

Но видел: мельница росла. Кирпичные стены поднимались выше, выше...

Как-то уже в августе, вечером, Виктор возвращался с хутора в город в тарантасе. Галчонок был привязан сзади. Давно смерклось, ехали в мягкой, теплой темноте. Когда спускались в лощины, влажная свежесть ласкала лицо, и спине под тонкой рубашкой на момент становилось холодно.

Вдруг светлое зарево показалось впереди. Сперва неясное, оно росло.

— Это не пожар, Григорий?

— Никак нет, это у Зеленовых.

— А не пожар, спрашиваю?

— Нет.

Григорий ответил неохотно, потому что знал, знал о зависти Виктора. И вот со взлобка Виктор вдруг увидел волшебную стену из огней. Четыре ряда маленьких огней, а внизу — белые блестящие шары...

— Это что же, мельница?

Виктор спросил с трудом.

— Мельница.

— Работает?

— Работает. Пятый день сегодня. Прошедчее воскресенье освященье было. И гостей съехалось — масция. Ваш папаша были с мамашей вместе.

Виктор сердито нахмурился. Были? Вот у них никакого самолюбия. Ему казалось: его, Виктора Андронова, грабят. Он должен быть в степи первым. А тут — мельница в четыре этажа. «Чья?» — «Зеленовых». И досадно — Андроновы к ним в гости...

— Заедем? — спросил Григорий, когда поравнялись с зеленовским хутором и мягкий свет осветил дорогу.

— Ты с ума сошел? — сердито закричал Виктор.— Погоняй скорее!..

Григорий хлестнул по лошади...

«Ну что я завидую? Мало места? Работай только. Разве Жильян позавидовал бы? Фу, глупость какая!»

Он оглянулся назад уже дружелюбно: мельница торжествующе светила всеми четырьмя этажами, и ровный шум — тоже торжествующий — несся от нее. Опять стало неприятно.

«Нет, далеко мне до Жильяна! — усмехнулся Виктор.— Однако, вот тебе и Зеленов!»

Он вспомнил старика Зеленова — длиннополый кулугурский кафтан его, рыжеватую широкую бороду, маленькие глазки.

Слыхал ли он про Жильяна? Не слыхал, конечно! А вот — воюет. Вот как по пустыне-то трахнул! Какая там пустыня?!

В шестом классе и потом в седьмом было много работы. Виктор хотел быть первым и сделался первым, но это первенство досталось не даром: долгие вечера он сидел в своей комнате, согнутый над столом, а когда поднимал глаза от книги, перед ним мелькали золотые искры — от утомления. Давно пропала отчужденность товарищей, учителей, отца — все забыли его выходку, но помнил крепче всех о ней сам Виктор.

Не-ет, теперь он не позволит ничего подобного. Он уже не мальчик!

Правда, он стал внешне сдержанней, чуть отрастил волосы и причесывал их на прямой пробор, следил за чистотой своей шинели и блузы, пытался говорить басом. Товарищи относились к нему с уважением, но не очень любили его. На переменах они вполголоса распевали неприличные песенки: «У Фонтанки, где был мост» и «Углей, углей, углей». Эти две были их самые любимые, и случалось, что припев «Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом» они пели во все горло, оглушительно и стучали кулаками по крышкам парт и каблуками в пол. Виктор не пел с ними, только снисходительно посмеивался, словно был старше их на десять лет. По средам пятый — последний — урок был французский, и целых два месяца вместо молитвы после учения «Благодарим тебе, создателю» дежурный читал скабрезные стишки «Купались бабы во пруде», весь класс усердно крестился и низко кланялся, сдерживая хохот, а учитель, мсье Коппе, всегда улыбающийся, делал на этот раз очень серьезное лицо и пристально и благочестиво смотрел на икону. Коппе не понимал по-русски.

Когда дошла очередь до Виктора, он прочитал молитву, и при выходе, в коридоре и в раздевалке, полкласса накинулось на него за то, что он лишил их приятного развлечения. Виктор спокойно сказал им:

— Дураки вы. Я и разговаривать с вами не хочу об этом.

Те сжались, обозлились, упрекать не стали, но почуялось и Виктору, и им: они опять разошлись, и теперь еще дальше разошлись, чем в те дни, когда он был накануне изгнания.

Так замкнуто, один прожил Виктор эти два года. Не много оставалось свободного времени от школьных работ. Его Виктор отдавал книгам, и странно, его не влекли романы, стихи — его влекла история, те места, где говорилось о людях сильных, кипучих, людях единой воли. А Жильян немеркнущими глазами

смотрел на Виктора. И еще кое-когда — герои Жюля Верна, Купера, Густава Эмара, Стивенсона, эти смелые люди, которым все дозволено.

Тихими вечерами он предавался мечтам необузданным: он смелый завоеватель, он ученый, он богач, его любит Дерюшетта — настоящая. По улицам он украдкой смотрел на лица девушек, искал в них черты Дерюшетты. Он был чуть угрюм, серьезен, и ни одна гимназисточка не смотрела на него с улыбкой. Ни одна! А между тем Виктор знал, что веселый, глупый балагур Гаврилов получает по три любовных записки в день. Это уязвляло Виктора и еще сильнее отодвигало в одиночество.

На училищных балах он не показывался: помнил случай, о котором забыли, вероятно, все.

И только летом, в бескрайних заволжских просторах, он развертывался. Да, это был отважный флибустьер. Верхом на лошади он мерил бесконечные проселки, распоряжался, требовал, кричал, и само собой случалось: его губы привыкли складываться властно и твердо. И уже не нужно было сдвигать брови, чтобы получалась вертикальная морщинка, как у Жильяна. Морщинка держалась сама собой.

Товарищи мечтали стать инженерами, профессорами, говорили о дорогах широких. Даже самые последние ученики — тупицы, полуидиоты — говорили об офицерском мундире и Суворове (потому что так завелось уже, что самые тупые из реалистов уходили в офицеры),— они все мечтали. Лишь Виктор был внешне суров и молчалив.

— А ты куда идешь, Андронов?

— Вероятно, в Петровскую академию. А возможно — никуда. У нас свое дело.

Для них — мечтателей вслух — слова «свое дело» были глухими, бледными, принижающими мечты. Да, конечно, Виктор богач, но в этом что-то купецкое, от Тит Титыча, о котором так красноречиво и с таким презрением говорил на уроках литературы учитель Никольский. И пожимали в недоумении плечами.

— Первый ученик записывается в купцы.

Виктор сердился:

— А что же, по-вашему, инженером сделаться и пойти служить на железную дорогу?

И, не получив ответа, добавлял презрительно:

— Ослы!

Что ж, на золотой доске в актовом зале имя Виктора Андронова было первым, а Николая Смирнова — вторым. Они двое стояли впереди всех учеников в торжественный день молебна «по случаю окончания учебного года». В первый день выпили с учителями очень умеренно. Во второй и третий пили уже только ученики — и очень неумеренно. На этот раз Виктор

не отставал. Пьяные ездили по улице, этот первый ученик, Виктор Андронов, рявкал во всю глотку, пел песни, порывался бить фонари, и Рыжов (чистоплюй) укорял его:

— Перестань, Виктор, перестань! Это в тебе купец говорит. Смири его.

Но и попойка эта, и нежное прощание с товарищами — семилетними сострадальцами — все же не сблизили. Виктор ушел из училища холодно, без всякого сожаления.

В августе собрался в Москву.

Отец говорил:

— Погляди там, понюхай, что тебе для нашего дела подойдет. Едут оттуда умники разные — агрономишки эти, только все дрянь: будто знают довольно, а чуть до дела — из рук вон плохие. Ты помнишь Агапьева? Вот, и умница, и знает массу такого, что и знать-то будто лишнее. А в прошедшем году приезжаю к нему на хутор, идем на пашню, стал он мужикам на огрехи показывать: «Так, товарищи, невозможно. Вы, товарищ Павел, будьте внимательней». А мужичишка, вижу, ухмыляется. Да и как не ухмыляться? Тут им «вы» говорят и «товарищ». Я этому Агапьеву и говорю: «Да вы что, батенька, в бирюльки играете? А?» И кричу мужикам: «Эй вы, хамье, счас чтоб ни одного огреха! А то я вам, сукины дети!» И нагайкой погрозил. Так они у меня как встрепанные побежали. С мужиком как надо? Нагайкой, кулаком, матерным словом — вот это его до корня пронимает. А то — «вы», «товарищ». Уж эти ученые: в голове-то знают, как надо, а чуть до дела — целоваться с мужичишками. Ты, брат, науки там набирайся, а плеть в руке держи. Сам видел, сколь нужна она здесь.

Виктор засмеялся.

— Наука, значит, для степи, а плеть для людей?

И отец засмеялся.

— А что ты думаешь? Это верно. Бери, глуши, тащи, а про плеть не забывай. Степь-матушка — она тихая, ее наукой можно смирить, а мужик что же? Мужик и пьян, и ленив, и груб — его погонять надо! Работай, мерзавец, кипи! И тебе хорошо, и нам. А то что же? Вот ты про Жильяна мне читал. «Стихия»... Ты думаешь, мужик что? Сознает? И ни боже мой! Мужик — стихия. Я так понимаю: степь работай! Лошадь, верблюд работай! Плуг работай! Мужик работай! Вот! Всех под один загон. Чтоб кипело, горело... А то «вы», «товарищи»! Прямо не люди, а верхогляды божьи. Нынешним ученым людям только в попы идти, а не в дело. Вот в попах они на своем месте были бы. «Православные христиане, милостивые благодетели».

Отец скорчил сиротливое лицо.

Ну, тут мать вмешалась — она всегда вмешивалась непрошено:

— Уж ты бы не богохульствовал.

Отец вдруг стал серьезен и покачал головой с укором:

— А-а, и чердак же у тебя, мать!

— На чужой стороне будет он. Вот ты посмеешься здесь над попами, а он там и совратится.

— Не совратится. Чтобы Андроновы совратились? Никогда! Голову на отсечение даю.

Виктор глянул на отца с улыбкой, а тот его по плечу лапой — бух!

— Верно, что ли, сынок?

— Верно, папа!

— Тащи эту самую стервецкую науку, в степь тащи. Наука что пушка, мы пробьем стены каменные. Воюй только.

И вдруг шепотом:

— Ты думаешь, я не видал, как ты Зеленовым завидовал? Видал, брат, и все знаю. Пускай сейчас Зеленов впереди нас, а все же сила за нами. У Зеленова кто на подмогу идет? Только приказчики да девка, а девка — гибель капиталу. Девки — не люди, козы — не скотина. Девке только приданое готовь. Она — негодящий товар, сбывай с рук. У Андроновых и капитал есть, а главнее всего — молодая голова идет. Верно?..

— Уж больно ты, Иван Михалыч, шумный! — укоризненно сказала мать.

— Вот,— отец показал пальцем прямо в лицо матери, а глазами уперся в лицо Виктора,— вот они, бабы! Ну, что они могут понимать? У ее отца два миллиона было, когда я ее брал за себя. Прокудин богатей был, по всей Волге гремел. А теперь где Прокудин? И не слыхать. На нет сходит. А почему? Потому: было пять дочерей и ни одного сына. Дочь что? Это вроде язвы. Не-ет, мы не таковские...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I. За наукой

Андронов и Краснов приехали в Москву в хороший вечер, когда весь огромный город был переполнен предпраздничным звоном в канун второго спаса. А Виктору казалось: Москва радуется его приезду. Какие улицы и сколько в них народа! И какие дома! И какая суета! Мысль моментами невольно улетала назад домой, в Цветогорье. Там — глушь, непобедимая лень, лишь в мечтах и работе избывалась скука длинных уездных вечеров и дней, а в Заволжье — бескрайняя пустыня, тишь, перелеты диких птиц...

Зачарованные Андронов и Краснов ехали от вокзала до гостиницы, что на Бронной (туда им был дан адрес), и поминутно оглядывались по сторонам. Краснов восхищался вслух:

— Вот это здорово! Куда нашему Цветогорью! Го-го-го! Извозчик, это чей дом? Не знаешь? Что ж ты, братец! Или в Москве недавно? Дом такой замечательный, а ты не потрудился узнать, чей.

А Виктор упорно молчал, подавленный и восхищенный.

В тот вечер, едва умывшись, они побежали на улицу, сперва в Кремль, в старинные соборы. История и романы, прочитанные дома, в Цветогорье, прежде мертво говорили об этом Кремле, об этой Красной площади и Лобном месте. И Кремль, и Красную площадь, и Лобное место можно было только представить. Теперь вот они, вот здесь, вот она, настоящая тысячелетняя Россия! Кремлевские кровавые бунты, и торжественные шествия, и ненависти, и любви, и все тени прошлого, что бродят в полумраке соборов.

Краснов все одобрял, похлопал одобрительно Царь-пушку по боку, сказал:

— Вот она, матушка! «Кто Царь-пушку повернет?» Ку-да! Не повернешь!

Бродили до поздней ночи. Утром — рано, при звонах тысяч гулких колоколов — вскочили оба и, как были, в белье, неумытые, растрепанные, отворили окно, слушали, сраженные незабываемой, единственной в мире музыкой. Опять улицы, народ, невероятные дома, причудливые церкви, купола, похожие на луковицы, с крестами на цепях...

И днем, глянув на Москву с колокольни Ивана Великого, на это море куполов — золотых и синих, на зеленые, красные, темные крыши, белые и пестрые стены, на зелень деревьев, на причудливые кремлевские стены и башни, на голубую реку, на мосты, они переглядывались молча и восторженно, два волжских дикаря.

— Одобряешь? — засмеялся Виктор.

— Ого, даже очень одобряю! Вот оно наше — Россия. Да, братец мой, это та-ак! Но ты заметил? Сколько ни ходили — никого знакомого. Людей много, а своих нет. Или все свои?

Виктор подумал: «В самом деле, ни одного знакомого лица. А народу — тьма». И почувствовал холод в сердце: «Вот она, пустыня!»

Но Краснов сказал:

— Я полагаю, все свои. Россия.

— А если и не свои, мы их...

Виктор не договорил.

— Что — их? — спросил Краснов удивленно.

— Победим.

— Ну, это само собой,— важно согласился Краснов.— Недаром же мы сюда приехали! Одни билеты по десять целковых обошлись. Обязательно завоюем. Берегись, Москва!

Завоевывать начали с другого же дня. И месяца не прошло, раз, в воскресенье перед вечером, два студента, петровец Андронов и техник Краснов,— оба в новеньких тужурках

с самыми блестящими пуговицами и погонами, в новеньких фуражках — ходили по двору Петровской академии.

— Здесь у нас музей зоологический. Здесь...

— А пивная где? — нетерпеливо перебил Краснов.

— Какая?

— Ну, какая! Обыкновенная. Где ваши пьют, петровцы. Что ты мне музеями в нос тычешь? Ты скорей пивную показывай да угощай. У нас тоже, брат, музеи есть. Теперь везде музеи. Ими пьян не будешь.

— Кажется, пивная за прудами. Но я там не был.

— Не был? Эх, ты, сразу видать кулугура! Ты, Витька, надо полагать, в святые метишь. Придется самому узнавать. Псс-с, постойте, коллега! Где у вас тут студенческая пивная?

Краснов остановил высокого, бородатого студента в расстегнутой тужурке поверх ситцевой рубахи.

— Пивная? Вам, коллеги, надо направиться за пруды — к Вавилону Антропычу. У него же есть сосиски и раки.

— Может быть, и вы, коллега, с нами? А то мы впервой. Вот я к вашему новоиспеченному петровцу пришел, к моему земляку, а он в этих делах, то есть, ни бельмеса не смыслит.

— Что ж, я готов, если вы угощаете.

— Ну, это само собой!

— Тогда давайте знакомиться: Перевозчиков.

— Краснов.

— Андронов.

— Добавь еще: кулугур. Две недели уже здесь живет, а не знает, где пивная.

И в этот вечер, очень поздно, из-за прудов по мосту большая толпа студентов, в расстегнутых тужурках, с фуражками на затылке, шла к академии и оглушительно орала: «Назови мне такую обитель». Шли обнявшись, стеной, и, хоть пьяны были, держали друг друга крепко, не качались. В первом ряду шли Краснов и Виктор, орали оглушительнее всех срывающимися петушиными голосами. Их новые тужурки были облиты пивом — в честь посвящения.

Когда прощались, пьяные студенты обнимали Виктора так, что у него трещали кости, влажными губами целовали его в щеки, в губы, говорили:

— А ты, коллега, видать, человек компанейский. Наш! Люблю!

Когда Виктор и Краснов остались одни в пустой аллее, пьяненькие и возбужденные, Краснов спросил:

— Послушай, а кто такой Лихов?

— Не знаю. Он только послезавтра начнет читать.

— Эх, ничего ты не знаешь!

— Ну, ты ладно, все узнаю.

— А слыхал, как про Россию говорили? А? То-то, брат! Это тебе не Цветогорье.

Виктор не ответил. Да, это не Цветогорье. Вот она — дорога широкая. Краснов бормотал:

— А, Виктор, какой народ? Замечательный народ! Ничего не боятся... Послушаешь Лихова, приходи, расскажешь, по какому случаю шум. У нас тоже, надо быть, есть замечательные профессора. Не без этого. А гляди, уже светает. К утру домой доберусь. Обязательно доберусь!

В аудитории, большой, но полутемной, битком набились студенты, и не первокурсники только в их новеньких, блестящих тужурках, но и с других курсов, тужурках потрепанных. Непринужденный говор и молодой смех шумели, как мукомольная мельница. Потом разом шум упал: к кафедре, пробираясь бочком между студентами, кланяясь и улыбаясь, шел седоватый профессор, уже не молодой — годов под пятьдесят. Это и был знаменитый Лихов. Студенты задвигались сдержанно, приветствовали его, когда он взошел на кафедру. У Виктора забилось сердце. Он не вник, не понял первых фраз. Лишь ловил отрывки, почему-то страшно знакомые:

— ...Величайшие возможности перед нами. По количеству естественных богатств наша Россия на первом месте. Если мы бедны, даже больше — если мы нищи, то нищи благодаря нашей неорганизованности. Отсутствие правильного труда, систематического и углубленного...

Виктор внутренне ахнул:

«То же говорил папа!»

— ...Нагнуться и взять. Всюду лежат наши богатства,— продолжал Лихов.— Поле требует работников. Такими работниками будете вы. Вы — организаторы труда. Вы — будители. Вы поведете страну к ее законному богатству. Будите же! Заставьте все силы — и свои, и другие, и силы земли — работать на создание богатства нашей страны.

Виктор вспомнил:

«Всему дело дадим. Земля работай! Лошадь работай! Мужик работай!»

— У нас мало в настоящем. Почти все в будущем. А будущее — это вы, молодые работники, потому что, если не ваша работа, мы так и останемся в потенции. Россия — пустынное поле, заросшее бурьяном. А на поле — полудикий крестьянин, ковыряющий землю допотопной сохой. Если наши западные соседи, и особенно американцы, в области промышленности и земледелия стоят на высоте нашего времени, то мы, Россия, живем еще в веке царя Гороха. Россия — еще пустыня.

Мелькнули: бескрайние заволжские степи, ветряк за селом на пригорке, по мягкой дороге лениво идет мужик...

«Пустыня Россия, пустыня!» — откликнулся сердцем Виктор.

Профессор заговорил цифрами. Он подошел к доске и быстро набросал несколько чисел столбиками.

— Вот у них, вот у нас.

И по аудитории пронесся вздох, как подавленный стон: «У-ух!»

«Пустыня Россия».

И вдруг новая картина — возможностей.

— ...Если бы мы приложили минимум организованного труда, мы были бы первой страной в мире. Мы ленивы, потому что нам все дается легко. У нас легко создаются богатства, богатства честные и крепкие, но до сих пор почему-то обман, кража и грабеж считаются у нас преимущественными путями к богатству.

— ...Но уже идет новый организатор труда. Он сделает Россию действительно самой богатой и самой сильной.

«Это я!» — возбужденно и задорно откликнулся мысленно Виктор.

Он слушал теперь с восторгом об этом новом человеке — великом организаторе. Придет, все построит, все победит. И отец говорил:

«Всему дело дадим! О-о-о!»

— ...Вы — надежда России. Россия зовет вас к великому труду.

Профессор поклонился и вдруг стал маленьким, будто с последним словом уменьшился. Все вокруг завыли, захлопали в ладоши, стеной двинулись к нему.

Виктор, выкрикивая что-то, а что — и сам не разбирал, толкаясь, лез через толпу. Профессор шел к двери, шел еле-еле и улыбался, студенты восторженно орали, хлопали в ладоши, глядя ему в лицо.

Дверь закрылась. «Ф-фу-у-у!..» Сконфуженно и радостно смотрели студенты друг на друга. Виктору не снилась даже возможность такого торжества.

Весь день потом он уже не мог сосредоточиться, будто без вина был пьян.

«Это я — строитель!»

Дни пошли полные крепкого возбуждения. Академия была точно гора высокая, а видать с горы и вдаль и вширь бесконечно. Пошел Виктор на эту гору походкой деловой, упорной, с тихим восторгом заглядывая в дали. И вот тут пришло время удивлений необычайных. Разве одно Заволжье пустыня? О-го-го-го! Пустыня — это еще вся Россия. Какие просторы! Только работай! Все перед тобой. Но на этих просторах живет ленивое, неповоротливое существо — русский человек. Надо завоевать его, впрячь в колесницу великой культуры. Воюй же!

Не только Лихов на лекциях по сельскохозяйственной экономике, но и другие профессора, седые старички, познавшие вековую мудрость, а с ними молодые ассистенты и лаборанты, все они так и говорили о России в одно слово:

— Россия еще ждет своих делателей.

Лежит страна великая, силы непомерной — Россия.

— Поля, леса, горы, реки — если бы все отдать в работу,

мир ходил бы в золотых одеждах,— так говорил Лихов,— но пока страна спит.

И, внутренне загораясь, Виктор готов был крикнуть, здесь вот, на лекции, стукнуть кулаком по парте:

— Я разбужу!

И все мускулы невольно напрягались, играла сила во всем теле.

Он ходил чуть нахмуренный, потому что в девятнадцать лет думают: дело — это хмурь. Он стучал ногами громко, шагал широко, и руки вздымались высоко при походке. В молодом задоре хотел показать: идет не просто студент, а Виктор Андронов — завоеватель России. Придет время, он скажет: «Встань!» И страна встанет.

И Лихов — седоголовый, неукротимый сказочник — своими лекциями подливал масла в этот молодой обжигающий огонь.

— Вы — будущие командиры великой армии земледельцев, единственной армии, что несет человечеству ничем не омраченную радость, потому что только работа земледельца создает крепкую первооснову человеческой жизни. Нет труда земледельца — и в наших условиях все общество опрокинуто.

И затаенный вздох проносился по студенческим рядам. И было видно: не один Виктор Андронов мечтал разбудить Россию.

На лекциях Лихова он впервые услышал об опытных полях, о селекционных семенах, о засухостойных растениях и тотчас в уме живо и энергично прикидывал, подойдет ли все это к Заволжью. Все подойдет! И сознание новой силы и возможностей тряхнуло его. Он писал отцу письма на восьми листах: «Вот как, папа, надо делать. Вот что надо завести». Ему казалось, что отец с восторгом примет его советы: в самом деле, работать так работать. Но отец отвечал пока холодно: «Учись, учись. Это ты заведешь. Мне, пожалуй, не надо. Мы и без того богатеем. Вот нешто насчет засухостойных растений обдумать надо бы. Засуха нас мучает. Из сорока годов двадцать два было неурожайных. Поговорить бы с Лиховым».

В упорной работе пошли месяц за месяцем однообразной лентой.

Виктор носил высокие сапоги на толстой подошве, всегда застегивал тужурку, хотя считалось у петровцев шиком показать сатиновую цветную (чаще красную) рубаху из-под расстегнутой тужурки. И волосы стриг коротко, как в реальном,— пусть у многих волосы по плечам. И весь он был четкий, подобранный, как пружина. Общежитие ему не нравилось. Было обычно: студенты шумной толпой ходили из комнаты в комнату, пели, спорили, курили. Кто-то пиликал на скверной скрипчонке, кто-то играл октавой гамму. От табака и крика стучало в висках, и трудно было сосредоточиться. Однажды утром Виктор не нашел своих сапог у двери комнаты. Кто-то в коридоре кричал:

— Егор! Где мои сапоги? Какого черта!..

Виктор в туфлях вышел в коридор. Изо всех комнат глядели лохматые головы, орали: «Где сапоги?» Растерявшийся Егор метался от двери к двери и исступленным тенорком дребезжал:

— Так невозможно, господа! Сами поглядите. Кто-то отнес все сапоги в залу. Кучей лежат.

Толпой — кто босиком, кто в туфлях — пошли в залу. Сапоги лежали огромной пирамидой, а на самой вершине пирамиды стояла изящная женская туфелька. Студенты громоносно хохотали, заплясали вокруг пирамиды. Но когда принялись разбирать сапоги, никто не мог найти свою пару. Веселье перешло в злость. Два часа шла кутерьма. Виктор нашел скоро свои сапоги по толстым подошвам, но за шумом и ругней прошло утро, и рабочий день был испорчен. А вся академия весь этот год щеголяла в разномастных сапогах.

Виктор хотел уйти на частную квартиру и не решился: боялся осуды товарищей. Однако уйти пришлось, и вот по какому случаю: раз ночью в дверь к нему постучали. Виктор открыл. Через порог в комнату шмыгнула поспешно девица, совсем голая. Она схватила одеяло с постели Виктора и закрылась им.

— Спасите меня, студентик! Спасите! — зашептала она.— Закройте скорее дверь, а то сторож увидит.

Виктор машинально закрыл дверь.

— Негодяй ваш сосед выгнал меня совсем без одежи. Все у него — и белье, и платье. Пожалуйста, сходите, добудьте. Да где у вас спички? Я огонь зажгу.

Она сама зажгла огонь. Виктор стоял перед ней олухом, длинный, в одном белье, не понимая, что случилось. Зажигая свет, девица спустила одеяло с плеч, потом одеяло упало на пол, и девица стояла перед Виктором нагая.

Товарищ Виктора по комнате, Ануфриев, проснулся, смотрел на девицу вытаращенными глазами. Девица опять подняла одеяло и закуталась им до пояса.

— Ну, идите же, выручайте мою одежу. Ой, свиньи какие!

Виктор шагнул в коридор.

— Вы наденьте шинель,— посоветовала девица.— Неудобно в одном белье ходить по коридору.

«Ага, она знает наши порядки!» — подумал Виктор. Он сердито постучал в соседнюю комнату, сердито потребовал одежду. Два пьяных студента — Визгалов и Шайкевич — связали все узлом и отдали ему. Когда Виктор вернулся в комнату, девица, уже без одеяла, сидела на стуле, положив ногу на ногу, и мирно разговаривала с Ануфриевым. Она живо подхватила узел, защебетала:

— Мерси, душончик! Ты спас меня. Какие подлецы твои товарищи!

Щебеча, она принялась одеваться. Виктор и Ануфриев сидели на своих кроватях, смотрели на нее не мигаючи. Виктор впервые видел, как одеваются женщины. Ему было и стыдно, и приятно, и во рту вдруг все пересохло, сладко заныли руки.

— Я бы тебя поблагодарила, конечно,— сказала девица Виктору,— но при твоем товарище неудобно. Вы не пьяные. Не чета тем пьяницам. Я как-нибудь после.

Она достала из кармана пальто папиросу, хотела закурить. Виктор вдруг поднялся:

— Ну, матушка, оделась, обулась — иди к дьяволам и не мешай нам спать.

Девица посмотрела на него с испугом:

— Ты это серьезно?

— Да уж чего серьезнее!

— Гонишь?

— Не гоню, но прошу убраться.

Девица закричала:

— Все студенты сволочи!

Виктор взял ее за плечо и толкнул к двери.

— Иди-ка, матушка, иди!

— Ну, зачем ты ее так? — хохотал Ануфриев.— Оставь ее!

Но Виктор сердито захлопнул за девицей дверь и запер.

А через неделю он ушел на квартиру на улице Соломенной Сторожки, нашел комнату в зеленом деревянном домике у старика, казначейского чиновника, и старик, прежде чем взять деньги, долго выспрашивал, кто у Виктора родители и носит ли он крест.

— Навидались мы за это время разных студентов. Есть такие, что государя императора ни во что ставят. А про бога говорят, как про портного Кузьму.

Виктор удивился:

— Неужели и такие есть?

— Есть, есть. Увидите еще. Поберегитесь только. Зараза это.

Просторная комната, чистенькие старички, тишина, лампады в кануны праздников, простота напоминали дом. Опять утром, до света, вскочить с постели, пустить морозный воздух форточкой, приседать, сгибаться, чувствуя, как наливается кровь в упругие мускулы. А на кухне гремит уже самоварная труба — Дуняша готовит для него самовар. Потом в утреннем рассвете бежать через сугробы, смотреть в неясные лица встречных. Хорошо! Чем изменилась жизнь? А ничем! Старые привычки работать точно, много, аккуратно только пригодились здесь. По воскресеньям он ездил в город к Краснову, и вместе они бродили по Москве. Иногда Краснов приезжал к Виктору. Тогда бродили вдвоем по заснеженному парку, говорили, мечтали. Однажды Краснов, чуть смущаясь, сказал:

— А я, брат, обжект себе завел.

— Какой обжект?

— Ну, обжект для сердца. Чтоб не пустовало оно. Обжект с руками, ногами, в меховой шапочке.

Виктор поморщился.

— Зря это.

— Ничего. Не мешает. А без обжекта скучно. Кровь-то, батенька, сила: зовет. Хочешь, я и тебе найду?

Виктор покраснел.

— Ну тебя к черту!

— Нет, в самом деле? Я тебе найду. Мой обжект в таком деле поможет.

И через неделю в воскресенье прибежал к Виктору возбужденный, заторопил:

— Идем! Привел! Ну, ну, не брыкайся. Ты погляди, фигурато какая у ней! Грудь — во! И жаждет с тобой познакомиться.

Мучительно краснея, сердясь на Краснова, Виктор пошел. В пустой улице никого не было. Краснов забеспокоился.

— Черт! С тобой и свою-то потеряешь.

Он побежал к углу и оттуда замахал руками Виктору:

— Иди скорее! Здесь!

Из-за угла вышли две девицы. Это и были обжекты. Знакомясь, Виктор заметил их остренькие лица, посиневшие на холоде губы, и ему стало холодно и захотелось поскорее убежать. Разделились парами, пошли. Виктора охватила тоска.

«Вот тебе и Дерюшетта!»

— Вы давно в студентах?

«Она и говорить-то не умеет!» — с мукой подумал Виктор.

Он отвечал односложно, не знал, о чем говорить, скованный холодом. И вдруг встрепенулся, крикнул:

— Эй, Краснов, стой!

Краснов и его обжект остановились.

— До свидания! Мне нужно по делу.

И властно сунул руку сперва одной девице, потом другой.

— Подожди! Куда ты? Э, не-ет, брат, стой!

Виктор повернулся и упрямо и быстро пошел прочь.

— Свинья ты, Виктор, больше не товарищ ты!

Виктор не оглянулся.

Эта неудача с обжектом ничуть не огорчила его.

«Какая это Дерюшетта!»

Только дня через три он осознал грубость своего поступка, и мучительно холодело у него под ложечкой, когда он вспоминал удивленные и испуганные глаза девицы с остреньким лицом.

— К дьяволам, к дьяволам все!

А в Цветогорье, в андроновском доме, с отъездом Виктора дни потянулись совсем опечаленные. Иван Михайлович ходил по дому неприкаянный. Он нехотя брал замусленную книжку, в которую вносил всякие записи, брал счеты, толстыми пальцами зацеплял костяшку, перебрасывал еще и еще и басом гудел:

— Ито-го.

И вдруг зевал скучливо:

— Ох, господи, Сусе Христе!

И тотчас отодвигал счеты в сторону, захлопывал книжку, кричал громоносно:

— Ксена!

Приходила Ксения Григорьевна. Глаза у ней были наплаканы по кулаку.

— Ты что?

— Чайку бы, што ль, попить?

— Сейчас только пили ведь.

— Ну, еще попьем. Ты что, аль опять плакала?

— Что мне плакать?

А сама бросала глаза в пол, и оба подбородка у ней судорожно подергивались.

— Э, будет тебе! Не навек же уехал!

— Знаю, не навек, а все чужая сторона — не свой брат.

И уходила, колыхаясь, вся раздавленная заглушенными рыданиями. И за чаем опять говорила робко:

— Не зря ли послали? Свое дело, такие капиталы — и вдруг учиться до двадцати пяти годов.

Иван Михайлович говорил ей равнодушно:

— Молчи-ка ты в тряпочку. Чего не понимаешь, значит, не понимаешь. «Зря послали»!

— Вот ты неученый, и отец твой неученый, а капитал нажили.

— Наше дело другое: мы целину брали, а ему до глуботы надо лезть. И вширь... Да что там говорить! Может, это ученье и ни к чему, а только пусть на умных людей поглядит, потрется там.

— И совратится.

Иван Михайлович сердито, через блюдце, посмотрел на жену.

— Фу-у, батюшки, уморила! Вот воронья голова! Только и разговору: совратится. А по-моему, уж пусть совратится, чем с такой головой ходить, как у его мамаши.

И тяжесть в дому становилась тяжелее. И на кухне, и во дворе умолкали в такие дни люди, всем было не по себе: «Сам с самой поссорились». В такие дни боялись все попасть Ивану Михайловичу на глаза: чуть что — и ругня, и голос, грому подобный:

— Выгоню прочь подлецов!

Оттого пролетки, лошади блестели, на широком дворе — ни соринки, даже тротуар подметен и песочком посыпан — ровно бы перед троицей.

А сам Иван Михайлович от тоски метался по городу: и в амбары, и в гостиницу «Биржа», где собирались цветогорские толстосумы,— места себе не находил.

Раз в эти дни Иван Михайлович встретил в гостинице Зеленова. Зеленов сидел у окошка за столиком, гладил рыжую бороду, и его маленькие глазки утонули в морщинках смеха. Он умильно запел навстречу:

— А-а, Иван Михайлович, жив-здоров? Присядь-ка, выпей черепушечку.

Иван Михайлович, отдуваясь, размашисто уселся против него.

— Отправил, слышь, сынка-то?

— Отправил.

— Не зря?

Иван Михайлович вместо ответа трубно вздохнул, крикнул:

— Эй, малый!..

Половой поспешно, угодливо подсеменил к столу.

— Ну-ка, с белой головкой полбанки!..

Зеленов хитренько улыбнулся.

— Ого! Аль какая заноза у тебя?

— А что?

— Да ты сперва бы чайку попил. До белой головки потом бы добрался.

— Ну, чаю и дома много... Ты сейчас спросил: «Не зря ли?» А я вот все это время хожу сам не свой. Отправил — и не по себе. Черный ее знает, что она там такое, Москва-то. Может, действительно омут. Идут оттуда умники, и вижу я — размах у них есть. Знамо, верхолеты они, не по нашему делу им идти, и вот все сомнение берет: не испортился бы.

— Ты ведь пускал уж его в дело?

— Пускал. Как же! Два лета почти сам орудовал. И на деле очень хорош. Вот и боюсь.

— Испортится, думаешь?

— Не то... Боюсь: вдруг за этими паршивыми книгами жизнь забудет. Видал, каковы книжные-то люди? Знать много знают, а жизни не чуют. Верхогляды!

— Видал. Знаю. Верхогляды.

— Эх, да что говорить! Иль будет такой малый, что пальцы оближешь, или ни богу свечка, ни дьяволу кочерга. Поглядим.

Иван Михайлович замолчал, и лицо у него стало сокрушенное, и забота глянула из каждой морщинки.

— Э-хе-хе... Значит, игра пошла на большую? — спросил Зеленов и, постукивая толстыми пальцами по столу, заговорил вполголоса: — Так вот, брат ты мой, дела-то какие: моя Лизка и то норовит дальше учиться. «Кончу, говорит, гимназию, я, говорит, на курсы поеду». Ей-богу! Вот оно куда кинуло!

Иван Михайлович испуганно посмотрел на Зеленова.

— Пустишь?

— Не знаю уж, как и быть. Не водилось у нас, чтобы баба так далеко по науке шла.

— И не моги, Василь Севастьяныч, один только соврат.

Зеленов хитро подмигнул:

— Ты думаешь?

— Ей-богу! Видал дочку-то Ивана Горохова? Стриженая ведь.

Зеленов вдруг стал как туча.

— Н-да, это надо обмозговать.

— Прямо тебе говорю: не моги. Вот я и свово-то пустил, а сердце теребком теребит.

И вдруг что-то спохватился, замолчал.

— Дети, дети, сколь много заботы с ними! — сказал задумчиво Зеленов.— Вырасти, да выучи, да в жизнь пусти, а что оно будет — бог один ведает. Тебе-то вот хорошо: сын у тебя. Чего ни сделается с ним, все большой срам на родительскую голову не упадет. А вот мне — с одной-то девкой — прямо иной раз с женой ночь не спим, думаем: пускать аль не пускать учиться. Вдруг подцепит там какого прощелыгу?

— Я же тебе вот и говорю: не пускай! — решительно сказал Иван Михайлович.— На кой дьявол девке наука? Ну, гимназию кончила, это я понимаю. Книжку почитать, в доме порядок наблюсти — и не такая уже, как наши бабы: лучше. Не знаю как ты, а я тебе прямо, Василь Севастьяныч, как на духу: скушно с нашими бабами. Поговорил бы иной раз, ан подумаешь: не поймет тебя! Ну, прямо тоска! Гимназию кончила — тут уж баба будет с разговором, не такая тулпега, как наши. А дальше-то зачем? На службу, что ль, поступать?

— Так-то так. А вот хочет. Знамо, набаловали ее, одна-единственная, пальцем ее не трогали — вот и воротит нос. И то надо сказать, Михалыч: какая-то пружина жизни раскручивается, все дальше да дальше забрать хочет. Мы вот с тобой за капиталами гнались, а детям-то капиталы наши — дело малое. Им что-то другое подавай. Ищут чего-то. Всем недовольны.

— Верхолеты.

— Не в том сок, Михалыч! Ты гляди, жизнь-то как движется! Дети становятся умнее нас. Лизку я свою сравниваю и жену свою богоданную... Эх! — Зеленов смешливо махнул рукой.

И оба засмеялись.

— А ты, слышь, девчонку в дом принял?

— Принял, заместо второй дочери нам будет.

— Чья такая?

— Жениной племянницы дочь, Симка, круглой сиротой осталась. Пусть живет. А твой-то пишет, что ли?

— В том-то и беда, что нет. Вторая неделя на исходе — ни слуху ни духу. Хотел депешу послать, да боюсь: отвернусь куда из дому, придет ответ без меня, так моя Ксения Григорьевна без памяти упадет. Народ-то какой? Депеши от Виктора больше дьявола испугается.

— Да... Чудной народ эти бабы. Ты, слышь, контору-то перевел из лабаза к базару ближе?

— Тесно стало. Пришлось у Мурылева нанять.

И заговорили про дело.

Какое же торжество было у Андроновых, когда пришло первое письмо от Виктора: «Приняли, заказал форму». Служили благодарственный молебен, и сама Ксения Григорьевна отвезла воз калачей в сиротские кельи старицам, чтобы помолились

о здравии раба божия Виктора, и в тюрьму арестантам кренделей две двурушных корзины отвез Храпон.

А потом письма зачастили. Видать было: Виктор пишет с радостью, с гордостью, и уже пишет, как большой. Вот и отцу советы дает: про Лихова, про профессора в каждом письме поминает. Это слово «профессор», никогда прежде не слыханное в доме андроновском, произносили с трепетом, будто профессор — сосед самому господу богу: все знает и все может.

И в гостинице «Биржа», вынимая из необъятного кармана бумажник с Викторовыми письмами, Иван Михайлович сдержанно-гордо говорил Зеленову:

— Погляди-ка, что мой-то пишет.

И читали оба, посмеивались над молодыми советами и чем-то оба гордились.

Мать в каждом письме наказывала сыну слезно, с заклинаниями: «Отпиши поскорее, какого числа выедешь на рождественские каникулы». И когда наконец пришел ответ: «Выеду двадцатого декабря», мать с восемнадцатого числа заставляла Храпона каждый день выезжать на вокзал. Иван Михайлович заговорил было:

— Рано посылаешь, прежде двадцать второго не приедет.

Но мать здесь настояла:

— Может случиться, и раньше приедет.

А в снах она видела, как Виктор садится в поезд, поезд поднимается птицей и через леса и поля и почему-то через море летит из Москвы в Цветогорье.

Приехал Виктор утром двадцать второго, как высчитал заранее отец. Когда санки въехали во двор, остановились у парадного крыльца, отец и мать выкатились во двор на холод, оба огромные, воющие. И весь день дом был полон улыбок, радостной суетливости... Виктор, провожаемый отцом и матерью, ходил из комнаты в комнату, смотрел на все, улыбаясь. Комнаты будто уменьшились, но этот уют и тишина и покой в них трогали по-новому. И много вещей будто впервые заметил Виктор.

— Папа, вот такой диван я видел в музее. И картину почти такую.

— Да ты что, или не помнишь? Эти же вещи всегда у нас были. От барина достались.

— Да... но... прежде я как-то проходил мимо.

Два дня сплошь прошли в беседах. Отец цепко расспрашивал про Лихова, про опытные поля, засухостойные растения. Виктор говорил с гордостью, с гордым новым сознанием своего достоинства, развивал перед отцом огромные планы, как захватить и победить заволжскую пустыню. Кое-чему отец ухмылялся, ворчал:

— Какой ты верхолет стал, Витька!

Но чаще напряженно слушал, вдруг громко подтверждал:

— Ага, верно, это нам подойдет.

Маленькая размолвка произошла на третий день рождества.

Цветогорское студенчество каждый год устраивало на рождество бал «в пользу нуждающихся студентов». Это бывал самый торжественный бал в городе. Собиралась вся учащаяся молодежь города, вся интеллигенция и все богачи. Ксения Григорьевна заранее мечтала, как она поедет с сыном на бал. Но перед самыми сборами на бал, счастливо улыбаясь, сказала Виктору:

— Ну, вот и невестушку свою там увидишь. Красавица-то она какая стала, прямо заглядишься до упаду! Брови-то соболиные, а сама белая да крупитчатая...

Виктор вспыхнул:

— Это кто?

— Ну, да будет тебе стыдиться-то. Сам знаешь кто: Лизочка Зеленова.

Виктор протянул безразличное «а-а-а!», ничего не сказал, ушел к себе. И когда Ксения Григорьевна прислала Фимку спросить, не пора ли одеваться, он ответил:

— У меня голова болит. На бал не поеду.

Какое разочарование отцу и матери! Отец, не слыхавший разговора, о чем-то догадывался, заворчал. А Виктор, чтобы скорее победить отца и мать, нахмурился, сказал, что у него заболело горло; Ксения Григорьевна перепугалась и разом забыла о бале. Позвали доктора. Доктор серьезно осмотрел больного, написал два рецепта, получил пять рублей и уехал. Виктор про себя смеялся:

— Вот тебе и невестушка!

На Новый год приходил с визитом Зеленов. Мать с значительным видом вызвала Виктора из его комнаты. Виктор вышел нехотя, весь будто связанный, на расспросы Зеленова отвечал односложно, и разговору не получалось к великой досаде отца и матери.

Так и прожил он эти две недели только с глазу на глаз с матерью и отцом.

## II. Кровь зовет

Летом — практика на полях и фермах академии, осенью — короткий недельный отдых дома, даже не отдых, а так, полумечта, полусон,— и опять Москва.

На целый год вперед Виктор знал, как пойдет дело. Только уже в конце этого второго года можно будет поехать домой на все лето. Домой! Опять Волга, степь, пустыня. Опять долгие переезды по мягким степным дорогам. И перелеты дроф. И буйство травяного моря. И теплый ветер... И марево... О Заволжье, о пустыне он думал в Москве больше, чем о Цветогорье, о матери. Думая об отце, он в думах крепко связывал его с Заволжьем, с хуторами, но не с Цветогорьем, не с домом и не с матерью.

Еще быстрее — быстрее первого — покатился год второй.

Как-то в субботу, поздно вечером, Виктор возвращался из академии к Соломенной Сторожке. Это было уже в конце

февраля, и уже по-весеннему буйная метель плясала над полями и лесом. Тепловатый влажный ветер гладил щеки. Деревья глухо и воинственно шумели. Фонари слабо мигали, и было видно, как мимо них, заслоняя огонь, пролетали струи снега, будто вуаль,— Виктор вспомнил метели на Волге. Все хорошо в родном краю, хороши и метели!

Он крикнул:

— А-а-га-а!..

И запел, заорал во всю глотку, бессознательно стараясь заглушить шум метели.

Прохожих уже не было. Он шел один, орал, махал руками, а ветер яростно рвал его фуражку, его шинель, бросал горстями снег ему в лицо. Только он — один, метель — одна.

— А-а-га-а!

Опять настойчиво и любовно стукнула мысль о доме. Он замолчал. Дом!

В эту ночь он не мог заснуть до света, слушал, как за окном выл ветер. Было неловко лежать, кровать неприятно скрипела, казалась холодной. Он заснул только под утро, и когда в обычный час его разбудили, он встал с туманной головой, раздраженный. Делать ничего не хотелось.

«К Краснову, что ли, съездить?»

Он любовно вспомнил лохматую голову приятеля, медлительную речь.

«Съезжу!»

На улицах было полно народа. Вчерашняя метель нанесла массу снега. Все было залеплено им — стены, окна, крыши. Дворники везде чистили тротуары и мостовые. Шла веселая суета.

А в глазах у прохожих, в улыбках, в громком девичьем смехе уже чуялось: идет весна.

Горничная сказала:

— Краснов дома.

Виктор постучал. Он услышал, как за дверью что-то сейчас же упало, и через момент кто-то легкими шагами пробежал по комнате.

«Опять обжект?» — подумал Виктор и крикнул:

— Краснов, к тебе можно?

— Это кто? Ты, Виктор?

Голос был смущенный.

— Я. Отопри!

— Сейчас!

Виктор слышал: кто-то другой, очень легкий, бегал торопливо по комнате. А дверь все не отпирали. Виктор весь напрягся.

Наконец дверь отворилась. Краснов со всклокоченной головой стоял на пороге.

— А-а, это ты? Ну, входи!

Виктор вошел. У стола в темном углу сидела девушка, застенчиво и виновато улыбалась навстречу Виктору, но не та

и не такая, как прежний обжект. Эта была большеглазая, с пылающими щеками.

Виктор хотел спросить:

— Почему ты так долго у меня не был?

«Но зачем же спрашивать? Ясно!»

Брезгливость и вместе зависть полоснули его по сердцу.

«Однако она хорошенькая!»

Виктор смутился сам.

— Что ж, знакомься,— сказал Краснов.

Виктор подошел к девушке, пожал ей руку, а сам жадно, с любопытством небывалым смотрел на ее пылающие щеки, на опущенные ресницы. Он заметил, как ходенём ходила ее грудь.

— Сейчас чай будем пить. Я скажу, чтобы еще самовар согрели.

Виктор посмотрел на самовар, стоящий на столе, на недопитые чашки и подумал жадно:

«Сначала чай пили».

А вслух сказал:

— Не надо. Я к тебе на минутку... по пути.

Он заторопился, попрощался — его не удерживали,— вышел на улицу.

— Фу, какая нелепость!

Но чувство зависти все росло. Он привык считать Краснова ниже себя. О, гораздо ниже! Ленив, способности средние, говорит, будто мочалу жует, угловатый, уродливый. А девушка хорошенькая, и грудь у ней... очень хорошая грудь. Он представил, как Краснов держит девушку на коленях...

Уже вечерело. Улицы еще полюднели. И сколько девушек! Розовощекие, с задорными кудряшками, розовыми губами. И у каждой как будто есть тайна. Каждую можно обнять. Девушки, девушки! Что-то бесшабашное бурно заклокотало под ложечкой. Вот броситься бы на какую-нибудь и целовать, целовать, здесь же, в уголке, что потемнее. Вдруг пропала вся его застенчивость. Он шел теперь навстречу девушкам, смотрел вызывающе, дерзко. От его взгляда многие отвертывались, но были и такие, что улыбались, удивленные.

Смущенный и вместе возбужденный до наглости, дерзкий, готовый к драке, Виктор шел по улице и новыми наглыми глазами смотрел на женщин. Вот какая-то одна, одна из таких же, может быть, вот с такой грудью, как у той, что сидит теперь у Краснова. И Краснов делает с ней, что хочет. Лохматый, ленивый Краснов, угрюмый, а вот завоевал. А Виктор всегда бурлит, воюет, однако двадцатый год ему — и не было с ним никогда похожего. И женщина для него по-прежнему тайна.

И впервые он заметил: сколько пар! На всех улицах, везде — пары. Иногда идут, крепко взявшись под руку, иногда просто рядом, но любовно глядят друг на друга. Значит, каждая имеет своего Краснова? И те, что идут одни, тоже где-то имеют по

одному Краснову? А он, Виктор, один. Эта мысль его стегнула кнутом. Один. О, дьявол! А не поискать ли? Ищущими глазами он оглядывает всех молодых женщин, девушек. На момент дольше, чем надо, он задерживался взглядом на их лицах. Одна, другая ему улыбнулись. Это подбодрило. Вот идет высокая, очень полная, уже немолодая. Виктор посмотрел ей в лицо выразительно.

Она оглянулась через левое плечо, морщинки побежали от ее глаз, она улыбнулась. Виктор оторопел на момент. И шагнул раз, два — прямо к ней. Он чувствовал, как весь напрягся, и сердце у него стучало, будто пароходное колесо.

Дама приостановилась. Один момент так они смотрели друг на друга: она — улыбаясь, он — весь взбаламученный, с бурным смятением в голове.

Тогда он сказал бессознательно, хриплым голосом:

— Здравствуйте!

И снял фуражку.

— Здравствуйте! — певуче откликнулась дама.— Мы, кажется, знакомы?

— Мы не знакомы. Но будем знакомы. Я студент Андронов.

— Вы пойдете ко мне?

— Да,— прохрипел Виктор.

Они пошли рядом. Виктор не чувствовал себя. Его ноги стали будто из соломы. Казалось чудом, что он идет. Ему было до невыносимости стыдно. Ему хотелось надвинуть на лицо фуражку, потому что казалось: все смотрят на него мельком, с улыбкой: «Попался, студентик?» Но она — женщина. Женщина — тайна, вот-вот можно разгадать... И все внутри у него напряглось до звона, до истомы.

— Вы студент? — спросила дама, чтобы заговорить. И в этом вопросе Виктор услышал нотки сожаления и нежности, будто дама хотела сказать: «Я тебя понимаю. Но ничего. Не смущайся!»

— Да.

И через момент сам спросил:

— Далеко?

— О нет! Вот сейчас, номер двенадцатый.

Они пошли быстрее. Волнение Виктора передавалось ей. Она вдруг перестала улыбаться фальшиво, раз и два посмотрела пристально и сказала тихо и значительно:

— Возьмите меня под руку.

Смущаясь, очень неумело Виктор просунул свою руку под ее. Прикосновение мягкой, гладкой материи, а главное, что рука была большая, мягкая,— или так показалось? — судорожными и плавными волнами покатилось по всем мускулам — от головы до ног.

Недалеко над воротами сверкал номер двенадцатый. Белые лучи фонаря отозвались судорогой в коленях Виктора.

«Сейчас!»

Она подошла к большой парадной двери, коричневой, протянула руку. Виктор с готовностью открыл дверь. За дверью стоял швейцар. Он снял фуражку, поклонился даме, мельком глянул на Виктора. Они молча пошли по лестнице. Виктор чуть отстал. Опять запах духов коснулся его лица и его сердца...

Поднялись на третий этаж.

— Здесь,— сказала она, останавливаясь у двери, на которой белела эмалированная доска: «Вильгельмина Мадер. Корсеты».

Свет фонаря падал сверху, и Виктор, весь трепетавший, увидел вблизи, вот совсем вблизи, ее тугие, полные щеки. Она молчала. Она позвонила второй раз. Виктор ничего не видел, кроме щек, ее рук, высокой груди.

Им отворила девочка. Она большими пристальными глазами взглянула на Виктора. Они поспешно прошли по коридору, где пахло духами и кофе.

— Анюта, лампу! — крикнула дама и ввела Виктора в темную комнату.

Запах духов, уже знакомых, здесь был сильнее. Виктор протянул руку в тьму, туда, где стояла она. Но в светлом четырехугольнике двери позади них мелькнула фигура девочки. Она куда-то скользнула здесь же, куда-то в темноту, зашуршала спичками. Загорелся огонь, и Виктор увидел тоненькие руки, державшие стекло, потом увидел очень серьезное лицо девочки с большими черными глазами. Стыдом и холодом повеяло на него: «Что я делаю?» Мысли поскакали вихрем. «Дерюшетта!»

Лампа засветилась. Виктор смущенно оглянулся. Дама смотрела строго.

— Раздевайтесь! — приказала она.

Девочка скользнула мимо, к двери, и опять посмотрела на него пристально.

— Раздевайтесь же! Вешайте ваше пальто сюда на вешалка.

Это «на вешалка» резануло Виктора. Он подумал: «Она не русская».

И в том, что она не русская, он увидел оправдание. «Никто не узнает».

Дама сняла уже шубу и теперь стояла возле, поправляя прическу. Она стояла боком к Виктору. Тугое платье стального цвета обтягивало ее — большую, как море. Она подняла руки, чтобы поправить волосы на затылке. Виктор увидел ее остро вздыбившуюся грудь, и судороги прошли по его телу.

— Мы будем пить чай? — тихо спросила она.

Он дерзко подошел к ней и сказал шепотом, требовательно:

— Пожалуйста, не надо!

— Но почему?

— Пожалуйста, не надо чая! — опять настойчивым шепотом проговорил он. Он побледнел. Глаза стали круглыми, как в испуге.

— О, какой нетерпеливый! — засмеялась дама и покачала головой укоризненно.

Он протянул к ней руки, дерзко обнял. Она отодвинулась.

— Нет, подождите! Я желала бы знать, есть у вас деньги.

Он вынул из кармана кошелек и отдал ей. Она подошла к лампе, открыла кошелек.

— О-о, какой вы щедрый!

...Полчаса спустя швейцар, стоявший все там же, у парадной двери, с удивлением посмотрел на студента, пробежавшего мимо него в полузастегнутой шинели, с глазами, дико блуждавшими.

Улица показалась Виктору новой, люди — новые, конки, фонари, дома — все новое. Зимнее небо наседало на землю. Фонари на мосту возле вокзала мрачно качались, и спусковые проволоки на них напоминали веревки.

«Не повеситься ли? Что я наделал! Вот тебе и Дерюшетта!»

Он вспомнил полузакрытые глаза дамы, ее рыхлое, как тесто, тело, ее словечки, которыми она его осыпала в то самое тайное, самое восхитительное и вместе страшное мгновение. Его душил стыд, гнев на себя, хотелось плакать от отчаяния, хотелось остановить любого прохожего и сказать ему обо всем:

— Вот смотрите, какой я подлец!

Виктор остановился на мосту, тоскливо смотрел вниз, на рельсы.

«Не броситься ли?»

Паровичок уже не ходил. Все кругом было пусто. Дул ветер. Фонари качались на столбах. Городовые тоскливо чернели на перекрестках. Всегда Виктор ходил: грудь бомбой, вся фигура — вызов. Теперь — поднял воротник, голову в плечи, словно испуганная черепаха, а глаза сонные, и лень в походке, и душа точно опрокинутый стакан, и ощущение нечистоты во всем теле.

«Вот тебе и Дерюшетта! Мечтать о прекраснейшей, а сам — к первой встречной, очертя голову. Тьфу! Толстая!»

Он сейчас видел, какими жирными отвратительными складками набегает у ней тело на боках, и этот запах он обонял, и эти словечки слышал — тьфу! — насквозь пропитанные странной нечистотой.

«Дерюшетта! Ха-ха!»

Отсюда, из этого вечера, из этого маленького приключения, родилось странное недовольство собой, Красновым, всей окружающей жизнью. Дня три он был как в тумане или не в тумане даже, а вот: будто попал он во что-то грязное, и совестно было и неприятно. Работа повалилась из рук. Но прошло три дня, четыре — и он стал уже спокойнее вспоминать. Опять появилось любопытство и опять что-то зовущее.

Тогда, в первый раз, провожая его до двери, она сказала:

— Приходите ко мне в субботу. Вы сможете остаться у меня до утра.

Тогда эти слова ему показались жесточайшим оскорблением. Неужели он когда-нибудь вернется в эту проклятую комнату?

И вот в субботу, весь дрожа от смущения, Виктор сказал квартирной хозяйке:

— Глафира Петровна, сегодня я, вероятно, не ночую дома. Пожалуйста, не ждите меня. Я пойду в город к товарищу.

И еще десяти часов не было, он отправился к Вильгельмине и всю дорогу вспоминал ее руки и грудь, ее горячее, мягкое тело, и почему-то сладко ныли ноги, набегала обильная слюна.

Утром — опять и содрогание и отвращение.

«Дерюшетта!»

Так разбилась жизнь на два пути: мечты о прекрасной девушке, которая придет когда-то, и жизнь — вот эта женщина, очень немолодая... С проклятиями уходил Виктор от Вильгельмины. Клялся не ходить. Но еще накануне дня, на который она звала, он думал о ней смущенно, уже с улыбкой, уже с напряжением во всем теле. И думал радостно.

А весна шла. Уже переломился март, дни ширились, теплели, загорались солнцем. Парк зашумел новым шумом. Студенты пировали чаще и шумнее. Куда-то ездили большими компаниями и об этих поездках говорили потом намеками, с полуулыбками. И в эти дни наступающей весны Виктор чаще думал о Дерюшетте. Поздними вечерами, когда он возвращался из академии домой — к Соломенной Сторожке (это были его самые свободные и беззаботные минуты), он мечтал сладко и пьяно.

Как-то вечером он шел по Долгоруковской и уже собирался повернуть в переулок, где жила Вильгельмина. И на углу он увидел: через дорогу прямо к нему идет девушка — в серой шапочке, с серой муфтой в руках. Она шла легко, быстро, и во всей ее фигуре и в походке была радость и задор.

Виктор остановился и на момент забыл себя.

— Дерюшетта!

Девушка оглянулась на него, улыбнулась задорно и пошла дальше по тротуару. Виктор был ошеломлен. «Дерюшетта! Живая!» Девушка шла, не оглядываясь. Он пошел за ней. Он издали видел в толпе только ее серую шапочку и старался не потерять ее из виду. Она повернула за угол, и здесь толпа была гуще. Виктор подошел ближе к девушке и успел рассмотреть ее светлые обильные волосы, ее бледно-розовое лицо. Он даже ощутил ее запах, едва уловимый. Она раз и два оглянулась на него доверчиво и весело, но Виктор оробел, боялся встретиться с ее глазами, нахмурился, отвернулся, и сердце у него колотилось, как барабан. Он ускорил шаг и перегнал ее и так шел минуту или две. А когда оглянулся, девушки уже не было. Он испуганно побежал назад, заботливо всматриваясь в толпу. Девушки не было. Он перебежал на другую сторону, осмотрел ближние подъезды домов.

«Постой! Да была ли она? А может быть, ее не было?»— подумал он.

Он расхохотался вслух над собой, сказал:

— Ну, брось! Иди, куда шел.

И странно, девушка шла с ним. Ее розовое лицо, ее волосы, вся фигура ее — легкая, задорная, хмельная,— даже запах Виктор помнил,— неотступно шли.

Он дошел до знакомого дома, где жила «Вильгельмина Мадер. Корсеты».

«Может быть, не стоит идти? А, все равно. Зайду!»

В этот вечер он почувствовал мучительно: жизнь — одно, думы — другое. О, не нужно бы этих пошлых разговоров и этой особы, не нужно бы ее тела, толстого и мягкого, алчного тела отцветающей женщины! Он просил:

— Помолчи!

Она смеялась.

— Ты сегодня странный. Почему ты закрываешь глаза, когда целуешь меня?

Он просил потушить свет, помолчать. Он закрывал глаза, воображал... воображал, что это Дерюшетта. Вильгельмина потушила свет, почти не говорила. «О Дерюшетта!» Но минута — дама становилась прежней, профессионально-деловитой, и пропадало все очарование.

Уже на рассвете побрел Виктор домой, по снегу таявшему, весь полный истомы и сладчайших дум о Дерюшетте. И этот вечер, и эта ночь были гранью. Дерюшетта приблизилась. Он ее знал, потому что видел ее лицо, всю ее фигуру, знал ее запах, а в моменты объятий, закрыв глаза, он и целовал, обнимал... Дерюшетту.

— Помолчите! Потушите лампу!

И не все ли равно, из какого кубка пить хмельное вино? Эта любовь странная,— и ее странность сознавал сам Виктор, потому что даже в самые дикие минуты страсти его ум был трезв,— эта любовь отвлекала его от работы. Подходили экзамены, ничего не было сделано. Подходила пасха,— значит, домой, где нельзя было работать: это Виктор знал по опыту. И Виктор решил: домой не ездить, а в эти две-три недели посидеть, поработать здесь. И еще — и, пожалуй, это было главное — не хотелось надолго расставаться с Вильгельминой. Он чувствовал, как привыкает к ней, как она ему нужна. Теперь он ходил к ней через день...

«Приехать не могу, готовлюсь к экзаменам»,— телеграфировал он домой. Он представил, как перепугается отец, заплачет мать. Мать только и живет ожиданием. Но что делать?

## III. Мы — Андроновы

На четвертый день пасхи Виктор вернулся из столовой поздно. Глафира Петровна встретила его сладкой улыбкой.

— А к вам, Виктор Иванович, кто-то приехал. В комнате сидят, дожидаются. И с чемоданчиками.

Виктор удивился.

— Кто?

— Не знаю. Не сказался.

Виктор поспешно пошел по коридору к своей комнате, как был, в калошах, в фуражке, в перчатках. А в комнате, у стола, заваленного книгами, сидел тучный, красный, тяжелый, как глыба, мужчина, борода черная — лопатой, волосы в кружок подстрижены, зачесаны рядком — редко таких встретишь в Москве. Глянул Виктор, рявкнул:

— Папа! Ты?

Мужчина поднялся поспешно, облапил Виктора, будто медведь, сжал, целуя, тряхнул так, что с Виктора слетела фуражка, и смеялся, и всхлипывал. Потом отодвинул от себя Виктора, держал рычаженными руками, поглядел пристально, а в уголках глаз у него дрожали слезы. Потом крякнул, поцеловал еще три раза — уже спокойно, как надо по обычаю,— и сказал голосом сердечным:

— Запаршивел ты, Витька! Совсем, брат, запаршивел!

— Ничего не поделаешь! — засмеялся Виктор.— Чужая сторона — не родная матушка. А ты вот, слава богу, все такой же. Ишь плечи-то! В Москве таких не увидишь.

Он тронул отца за плечо.

— Да чего мне делается? Я все такой же. А ты вот что? Не болен? Вывеска-то у тебя сменилась больно.

И долго стояли они друг против друга, смеясь радостно. Оба рослые, широкоплечие, и, если ближе присмотреться, увидишь: здесь яблонька с яблочком. У обоих широкие брови сходились почти над переносьем, оба лобатые, с острыми смелыми глазами, и сбоку посмотреть: одной меркой скроены. Только старый порасплывчатей в лице, и морщинки есть, и борода вот лопатой.

— А сыновья-то ныне стали совсем непочетчики. «Приехать не могу, потому что экзамены». Это как? Ты думаешь, нам не обида? Мать так заюжала, будто ее каленым железом прижгли.

— Но, папа, нельзя же мне: работы по горло.

— Знаю я эту работу. За бабами, поди, ухлыстываешь?

Виктор — будто кипятком ему в лицо. Он засмеялся смущенно и разом нахмурился.

— Ну, что за глупости?

Отец вздохнул.

— Обидно это мне, Витька! Всю зиму тебя только и ждем. Один ты у нас. А тут вдруг: «Не приеду».

Он заговорил басисто, бубнил густо, точно турецкий барабан за стеной.

— Нехорошо вышло.

— Что же делать? Поехать домой,— значит, потерять три недели. А для меня теперь это невозможно. Вот ты приехал — хорошо.

— Хорошо, да не дюже. Дело-то я бросил или нет? Об этом ты как понимаешь? Что тебе это, игрушки?

— Ну, папа, перестань ворчать. Дело сделано, не воротишь. Скоро кончу, вместе будем работать.

Отец погладил бороду, усмехнулся.

— Это я, чтоб тебе не повадно было. Ты должен страх перед отцом иметь.

Оба засмеялись. Виктор охватил отца за шею, поцеловал в лоб.

— Вот страха-то я к тебе не имею.

Иван Михайлович сокрушенно и вместе лукаво покачал головой:

— Плохо это, брат! Плохо!

— Зато люблю.

— Любить ты должен по обязанности. А страх тебе придется внушить. Я внушу. Погоди!

Опять засмеялись. Счастливые, как два играющих зверя.

— Ну, что у нас? Что мама?

— Живем помаленьку. Скрипим.

По отцову лицу мелькнула тень. Но справился он, пропала.

Пока хозяйка накрывала стол и подавала самовар, оба молчали. Иван Михайлович сел в уголке, отдувался, улыбаясь смотрел на Виктора, на груды книг, разложенных и на полу, и на стульях, и на этажерках, потом принялся за чемоданы: отпер, вытаскивал из них печенья, балыки, икру.

— Мать прислала. Всплакнула, когда провожала. Хотела сама ехать, да дороги боится, и дом не на кого оставить.

И после, потягивая с блюдца горячий чай, Иван Михайлович не спеша рассказывал, как живут дома — в городе и на хуторах, какие он новые дела затевает — и в Бирске, и в Уфе, и в Уральске.

— Конторы открываю для скупки хлеба. Мурыгина в Уфу отправил, Севастьяныча — в Бирск. А вот в Уральск — не знаю кого. Ищу пока.

— Ты вон как! — удивился Виктор.— А не рискуешь, что так далеко забираешься?

— Хо! — усмехнулся Иван Михайлович.— «Рискуешь»! А ты как думал? Без риска ничего не сделаешь. На то, брат, и коммерция. Да нет, впрочем, риска особого нет. Все идет, как трава растет. Русская пшеница за границу пошла. Заказа я набрал на полмиллиона пудов почти.

И сразу запылал, понизив голос, заговорил возбужденно:

— В гору, брат, лезем! Ух как в гору! Оборот растет неоглядно. Кредит, какой хочу, дают. Вот бы теперь твово деда сюда да в это бы дело, в самое пекло! Доволен был бы старик!

И, хвастаясь немного, начал рассказывать, что сделал, что захватил.

— Сам Евстигней Осипович в гости приезжал. Намедни гляжу в окно, парой катит вороных. «Домой, надо быть,

катит»,— думаю. Вдруг у нашего крыльца — стоп. Бежит, бежит вверх. «А, Иван Михайлович, дружище!» Вот, брат, как пошло! Это что, по-твоему? Сам городской голова, богач, знавал ты в городу у нас такого?

Он опять замахал руками. Виктор знал эту слабость отца: шумно похвастаться.

— Скоро на всю Волгу загремим. Дед в лаптях ходил, а вот внук-то высшие науки кончает. Хе-хе! Да работяга-то какой — в деда весь: домой не захотел ехать, чтобы не отстать от ученья. И мало того — высшие науки, еще миллионер будет. Сам себе голова. А то иного смотришь — высшие науки у него, инженер там, агроном, а за полтораста целковых продается. Мы не таковские!

Виктор смотрел на отца, улыбаючись. А тот бурлил шумно, смеялся одними глазами, плутовски подмигивал и самодовольно, широкой лапищей поглаживал смоляную бороду, сам губастый, тяжелый, похожий на мельничный жернов.

— Нас голой рукой не бери. Намедни Василий Севастьяныч — тоже в гости.

— Какой Василий Севастьяныч?

— Аль забыл? Зеленов.

Виктор вспыхнул, нахмурился.

— Ну?

— Ну и вот, приехал. Гордец был. Держался со мной на манер царя. А теперь в дружки-приятели лезет. Каждый день в «Бирже» чай с ним пьем. Все об тебе расспрашивает: как ты да что жа ты. Про свою Лизавету намекает. Тоже по высшим наукам пошла. В Питер поехала. «Мы, говорит, с дьячками учились, а детям профессоров подавай!» Это Василий-то Севастьянович! И все чего-то намекает... Ой, метит куда-то, мошенник! Ты, Витька, не знаешь, куда он метит?

Спросил наивно, сделал простоватое лицо и открыл рот на манер буквы «о». В глазах бегали бесенята. Виктор сердито подумал:

«Сам ты метишь!»

— А, Витя, не знаешь, куда метит?

Виктор стал малиновым.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю,— наивно сказал Иван Михайлович,— а только говорит: «Хорошо, говорит, капитал прибавить к капиталу, одну умную голову к другой». Ведь он свою Лизутку умницей считает. Чудак такой!.. Да ты что краснеешь? Не красней, дело житейское. Мало ли что люди болтают по глупости? А впрочем, поглядел я намедни на эту Лизутку. Она не как ты: приехала на праздники домой. Ну, я тебе скажу: не девка — малина. Тушная такая...

Иван Михайлович сделал руки крыльями и помахал ими вокруг своих бедер.

— Дородной бабой будет. За первый сорт.

— Ну, будет, папа! Нашел о чем говорить!

— Ай еще не люба? Ну, это, знамо, дело твое. А може, другую подсмотрел? Ты мне скажи, если такой случай. Мы не чужие. Поговорить можем.

— Дело еще впереди.

— Ну-ну-ну, уж и сердишься! Экой ты, Витька, репей! Чуть что — сразу брови насупишь! Я ведь так только говорю. Зеленовы, брат, тоже в миллионах ходят. Тут, брат, пахнет такой просторной дорогой, что по всей России ее прокладывай. Маленький капитал — и прибыль маленькая. А большой капитал — прибыль большая. Больше денег, больше работы. Нечего бога гневить: у нас жить еще можно. У нас вот какая страна: работай — и будешь богат, деньги хоть лопатой греби. Как ваши профессора про это говорят?

— Они тоже этого мнения. Россия — страна величайших возможностей.

— Что? Что? Как ты сказал? Величайших возможностей? Вот это самое. Намедни я с Эдуардушкой разговорился, с пивником-то нашим. «Как,— спрашиваю,— у вас в Европах?» Куда, брат, до нас! Там капиталу тесно, как курице в клетушке. А у нас — пустыня. Куда хошь, едешь. Куда хошь, идешь. Ломи, бери, работай!

Он поднял волосатый кулак, стукнул им по столу, так, что вскрикнула посуда и качнулся самовар.

— Р-работай!

Виктор захохотал, откинулся на спинку кресла. Отец поглядел на него с удивлением, потом и сам улыбнулся конфузливо.

— Эк я, будто дома, расходился! Ну ничего. Мы, Андроновы, шумный народ. Сами себе головы.

Положительно, отец нравился Виктору своим отрывистым говором, каким говорят энергичные люди... вот будто рубил непобедимой уверенностью.

— А нельзя ли мне с твоим Лиховым увидеться? Смутил он тебя: слова громкие выпускает, и ты за ним тоже громко заговорил, а настоящего дела я еще не чувствую. Надо бы мне самому с ним поговорить.

— Отчего же? Это, я думаю, можно,— сказал Виктор и сразу спохватился: ему представилось, как шумный, грубовато-фамильярный отец будет говорить с изысканным, вежливым профессором. Это будет очень несуразно.

— Хотя, папа, профессор очень занят. У него нет и часа свободного.

— Ну, занят! Не всегда же он занят. А потом — заплатить можно. Я к нему иду за советом, как к доктору. За совет всегда платят.

— Нет. Это невозможно! — решительно сказал Виктор.— Повидаться — это еще туда-сюда, а платить за советы будет просто оскорблением.

— Ну, верхолет! Много ты понимаешь! Ну-ка, где он живет? Как его зовут-то? Давай-ка чернил, бумаги, я сам напишу ему записку.

— Да что ты напишешь?

— Это дело мое. Аль контролировать отца хочешь? Давай бумагу-то. Как его надо именовать: «ваше превосходительство»?

— Папа, ведь это будет неудобно.

— Почему неудобно? Я уж знаю: тебе стыдно за отца. А я все-таки пойду к нему. Не бойся, я не скажу ему, что у меня сын студент, который стыдится отца.

— Ну, папа!..

— Не скажу. Я с ним с глазу на глаз. Я думаю: он умный человек. А умный умного всегда поймет. Церемонятся да важничают только дураки.

Отец писал долго, с трудом. Виктору очень хотелось посмотреть, что он написал, поправить, но он боялся обидеть отца. Позвали горничную, отправили письмо с ней, и, к удивлению Виктора, ответ пришел быстро: профессор приглашал Ивана Михайловича на завтра, в три часа.

В назначенный час Иван Михайлович отправился к Лихову. Он оделся со всей парадностью, как ее понимал. Кафтан-сорокосборка ниже колен, сапоги бутылками, насветленные до блеска, мощный суконный картуз с блестящим козырьком, волосы причесал рядком, в руках палка с серебряным набалдашником. И рядом Виктор — щеголеватый студент, подтянутый, стройный. Виктор проводил отца до парадной двери и остался ждать. Он думал: отец вернется минут через двадцать. О чем говорить? Но прошло полчаса, час, полтора. Виктору надоело шагать взад-вперед по аллее, откуда был виден вход в профессорскую квартиру, он удивлялся, откуда мог вырасти такой долгий разговор у профессора с Иваном Михайловичем, совсем необразованным человеком? Конечно, Виктор знал, что его отец умен. Но умен по-особенному, как-то практически, он не умеет говорить связно: все у него буря и крик. Неужели он кричит в профессорском кабинете?

Виктор вынул часы, посмотрел. Ого, уже шестой час! Виктор устал, продрог, а отца все нет. «Может быть, он как-нибудь прошел мимо? Не через заднее ли крыльцо ушел? А-а, наконец-то!» Он торопливо зашагал к отцу. Отец снял фуражку и красным платком вытер лоб. Виктор смотрел на него с напряженным любопытством.

— Ну, что?

В первый момент ему показалось, что отец полупьян: так блестели у него глаза и такая пьяная улыбка застыла на лице.

— Ну, брат, человек! Это вот человек! — сказал отец с полным восторгом.

— О чем говорили-то?

— Обо всем говорили. То есть он меня, как мешок, вытряс и каждое семечко перебрал. После до передней провожал.

«Спасибо, говорит, что пришли. Еще заходите, когда в Москву наведаетесь». Велел письма писать. «Вы, говорит, подтверждаете мою теорию...»

— Какую теорию?

— Видишь ли, он думает, что Россия перемещается в наши края. «Идет, говорит, Россия к Аральскому морю, в Туркестан. Ваше Поволжье — ближайший этап». И пошел, и пошел. Все расспрашивал, как мужики селятся у нас, какие, из каких губерний, да как мы устраиваем свои хутора. Про дедушку расспрашивал, про Зеленова. «Вы, говорит, пи...» Какое-то слово...

— Пионеры?

— Вот-вот! Пионеры. «Вы первые застрельщики, которых Россия посылает на борьбу с пустыней». А? Застрельщики! Это мы-то! Вот, брат! «Вы, говорит, первые насадители культуры. За вашими краями блестящее будущее...» На-са-ди-тели! Такое говорил, аж у меня голова кругом пошла! Правда ли, нет ли, будто возле Аральского моря земля больно плодородна? Будто в десять лет дерева там вырастают такие, что в других местах и в сорок лет не вырастишь? А я ему и говорю: «Воды там нет».— «Воду, говорит, легко добыть. Можно из земли взять или из реки Оби каналом пропрудить».

Отец вдруг остановился и спросил шепотом:

— А он, по-твоему, не того... не сумасшедший?

Виктор расхохотался.

— Что ты, папа!

— Да чудно очень. Из Сибири воду к нам в степь. Кто такое скажет? Велел овраги перепружать. В каждом овраге по плотине велел устроить. «Вы, говорит, обогатите и край, и себя».

И опять остановился.

— Ну, Витька, ежели ты не будешь царем в наших краях, так это уж что будет? Вот видишь, мы тебе путь подготовили, профессора тебя выучат глядеть подальше да поглубже. Ха-ха!.. «Не гонитесь, говорит, за рублем: рубль сам придет, а гонитесь за строительством». Чудно как-то! И будто верхолет, сказки рассказывает, и будто большого ума человек. Очень обрадовался, когда узнал, что ты у них в академии учишься. Велел тебе к нему прийти. «Хорошие, говорит, корни у вас, хороши и ветви». Хо-хо! Так-то вот, наследничек! А я, брат, после такой беседы вроде святым себя почуял. Все думал, что я не без греха дело делаю. Стараешься побольше захватить да побольше выручить. Ан дело-то две стороны имеет. И хватаешь себе в карман, и культуру за собой тащишь. Видал бы ты, как он обрадовался, когда я сказал про наши сеялки, косилки и веялки... Велел каждый год отчет ему присылать. И, гляди, тебя заставит. В книжечку записал твою фамилию. Так он будто по башке меня шибанул.

— Ну, ты, конечно, уж никакой платы не предложил?

— А как же? Обязательно предложил! За такой разговор любые деньги заплатишь. Он, брат, подстегнул меня так, что с его словами, как с молитвой, можно всю жизнь жить. Я прямо его спрашиваю: «Скажите, господин профессор, не могу ли я отблагодарить вас за разговор?» — «А вот будете письма мне писать о своих делах, отчеты пришлете. У нас кабинет такой есть, мы все материалы собираем».— «Может, книги какие нужны или мебель в кабинет? Я бы пожертвовал».— «Что ж, говорит, это дело доброе». Я тут сразу две радужных. «Как мой сын, говорю, у вас обучается и я вижу, сколь нужный вы народ...» Он засмеялся, взял деньги. Вот расписку дал. Это мне на память.

Виктор прочел: «На оборудование кабинета сельскохозяйственной экономики принято двести рублей. Профессор *Лихов*».

Еще четыре дня Иван Михайлович прожил у сына, ходили оба по залам академии, по дворам, хлевам, где скот, склады, хранилища. Отец пристально во все вглядывался, расспрашивал, иногда расспрашивал дико, но в общем умно, и Виктор увидел: он теперь знает против отца больше.

— Вот как надо. С будущего лета это я вот как у нас поставлю.

— Ну, это, пожалуй, лишнее. Это все про тощую землю говорится. У нас — другое дело. Мы — только хватай.

— И у нас будет тощая земля, если...

— У нас? Да ты очумел? Сто лет паши, подсолнух сей — ничего не будет. Я и Лихову так сказал. И он соглашается, что работать можно долго без удобрения...

В субботу ездили на Рогожское кладбище,— кладезь древлего благочестия.

Иван Михайлович еще дома вдруг перестал шуметь, завздыхал, благочестиво нахмурился, точно мысль о кладбище навеяла на него мысли значительные, как жизнь и смерть. Виктору это напомнило детство: так же вот дома, перед большими молебнами, отец вдруг становился новым — сдержанным и странным. Ехали на извозчике почти через весь город, переполненный пасхальным звоном. Отец говорил мало, отдувался, молча посматривал по сторонам. И значительно сказал два раза Виктору:

— У меня письмецо есть к дьякону, отцу Ивану Власову. Михайло Григорьевич Мельников дал, дружок и приятель его.

— А что за дьякон?

— Говорят, наш. Настоящий. Умница. Знаток старины. И то сказать: простого человека на Рогожское не определят...

Извозчика остановили у «Святых ворот» — Иван Михайлович не решался въехать на кладбище. С картузом в руках,

крестясь уставно, он прошел ворота и дальше шел по дорожкам до храмов с непокрытой головой. Виктор старательно подражал ему во всем, шел позади отца на шаг. Лохматые старики и старухи — богаделки и нищие — сидели и стояли у стен и на паперти у летнего Покровского храма. Этот широкий двор и сад, овеянные весной, приглушенный говор, пение молитв нищими у дорожки, что ведет к могилам, сдержанная тишина, бессуетность, мягкий звон дальних колоколов московских церквей и солнце, весеннее солнце — они настраивали на высокий лад. Виктор почувствовал: странное чувство легкости поднимает его. Он двигался за отцом неслышными шагами. Иван Михайлович сходил в кельи, что сбоку сада, вернулся скоро, с отцом дьяконом, высоким, пышноволосым, молодым. Молодая бородка росла у дьякона из шеи, кудрявилась по щекам. Дьякон, здороваясь, сказал с улыбкой:

— Ого, какой молодец сын-то у вас!

Это было житейски просто и чуть понизило настроение. Виктор смутился. Дьякон пригласил:

— Что ж, пожалуйте поклониться нашим святыням. До службы еще далеко.

Поминутно крестясь и кланяясь низко, уставно, вошли в летний Покровский храм — просторный, двусветный, величавый по-особенному. Или так показалось Виктору? — именно об этом храме он слыхал говор в далеком детстве. Дьякон, тихонько гудя, все наклонялся над ухом Ивана Михайловича и изредка заглядывал в лицо Виктору.

— Алтарь запечатан. Видите?

На северных и южных дверях алтаря, как краснеющие раны, зияли красные сургучные печати. Шнур от печатей проходил позади местных икон.

— Сорок лет уже никто в алтарь не заходил. Лишь взглядываем изредка вон с того места. Не угодно ли?

Дьякон самолично принес легкую лесенку, приставил к прясту иконостаса.

— Пожалуйте взглянуть.

Иван Михайлович передал картуз Виктору, перекрестился, влез на лестницу, минуту смотрел через иконостас. Дьякон и Виктор, подняв головы, смотрели на него. Иван Михайлович странно двинулся, стал спускаться. Виктор увидел: по лицу отца и бороде катятся слезы.

— Какое запустение! — тихонько, дрожащим голосом сказал Иван Михайлович.

Виктор поспешно полез вверх: ему было совестно слез отца. Он увидел через иконостас: мохнатую пыль, толстую паутину, похожую на веревки, иконы, упавшие на пол,— время сокрушало благолепие. Он спустился молча, сцепив зубы. Он понял, почему заплакал отец.

Издали помолившись на престол, поставленный на солее перед царскими вратами, неслышно переступая, пошли трое

от иконы к иконе, грудились вместе, словно связанные одной веревкой. Иконы огромные, темные: Спас Грозное Око, Смоленская божья матерь письма Рублева, Благовещение у кладезя. Виктору казалось: многовековая скорбь, как копоть, покрыла их — человечья скорбь, излившаяся в тягучих староверских песнопениях и вздохах и мольбах. Спас Грозное Око вот этими грозными глазами уже семь веков смотрит на людей, что приходили к нему со своими скорбями. Семь веков! И прекрасные ангелы письма Рублева, и божья матерь у кладезя с благовестящим ангелом в небе — целые века они умиляли людей.

Растроганные, они вышли из летнего храма. Опять солнце, опять птицы. И звон нескольких колоколов за кладбищенской оградой. Дьякон сказал:

— Придет время: зазвонят когда-то и наши колокола.

Сердитое чувство протеста торкнулось в сердце Виктора.

Прошли на кладбище. Стариной веяло от крестов и памятников. У черных надгробий в средине кладбища дьякон остановился, взглянул значительно на Андроновых, сказал:

— Епископ Аркадий — двадцать семь лет провел в заключении в Суздальской монастырской тюрьме, и епископ Конон — там же провел двадцать четыре года.

Иван Михайлович и за ним Виктор встали на колени перед черными мраморными надгробиями — на колени на усыпанную песком дорожку.

Вернулись с кладбища, говорили уже по-новому: тепло и откровенно. Дьякон провел Андроновых в зимний храм. Опять печати, опять престол на солее.

Иван Михайлович растроганно и хмуро глянул вокруг — нет ли кого поблизости — и спросил вполголоса:

— Когда же отпечатают?

— Когда царей не будет,— так же вполголоса ответил дьякон и, повернувшись к Виктору, вдруг добавил сурово: — Вот гляди, молодец, гляди: эти печати — не просто печати. Это знаки величайшего насилия царей над совестью своих подданных.

Виктор насторожился.

— Просили ли нового царя, чтоб отпечатали? — спросил Иван Михайлович.

— А как же? Каждый год во все двери стучимся.

— И ничего?

— Пока ничего.

Виктор почувствовал себя грубо, несправедливо, глубоко обиженным. Как странно: вот отец — богатый, уважаемый человек, и другие старообрядцы — самые крупные люди на Волге, может быть, самые крупные в целой России, и все-таки их считают врагами. Он вспомнил скорбные рассказы бабушки о том, как разрушали скиты на Иргизе,— рассказы, политые слезами,— и уж весь вечер чувство обиды и возмущения его не оставляло.

Перед вечером множество народа пришло к летнему храму — мужчины все в черных кафтанах, женщины повязаны белыми платками, будто особое племя собралось сюда из тайных углов Москвы. Уставно — мужчины справа, женщины слева — встали все плотными массами, и запестрели подручники у ног. И эта странная тишина, переполненная биением людских сердец, приподнимала и захватывала. Строго, в унисон, с потрясающей силой запел огромный хор — человек в пятьдесят. От пения дрожали стены, и в низких поклонах качалась покорная громада молящихся.

Поздно вечером поехали с кладбища. Отец говорил теплым голосом, умилялся. Но Виктор спросил о запечатанных алтарях — и отец разом замолк, завздыхал, точно ощетинился, и заругался сквозь зубы:

— Собаки! Этот Никон, Петр Великий всю жизнь замутили! Дьяволы! Сколько годов терпим! Негодяи! Немцу продались! Все цари у нас из немцев.

Виктор усмехнулся:

— А нас-то учили: Петр Великий облагодетельствовал народ.

— Облагодетельствовал он, дьяволов сын! Послушал бы ты, как он измывался над нами. Эх, что там!..

В воскресенье вечером Виктор повел отца в Большой театр. Отец смотрел удивленно, с восторгом на этот чудовищно прекрасный зал, сверкающий золотом и пурпуром.

— Вот это здание! Это я понимаю! Большой капитал вложен!

Но в антрактах в фойе, глядя на сверкающую толпу женщин, Иван Михайлович остолбенел, спросил сына тихо, с негодованием:

— Да ты, брат, куда это меня завел?

— Как куда? В Большой театр.

Иван Михайлович кивнул на женщин.

— Это кто? Девки гулящие?

Виктор смутился.

— Ну, что ты, папа! Это мужние жены, вполне порядочные дамы.

— Да зачем же они обголились так? Ты погляди, вот у той... все как есть наружу.

— Мода такая. Разве ты не видал прежде?

Теперь смутился отец, забормотал:

— Видал ли? Знамо, видал. Да не в таком месте. В Саратове сад есть... певички... ну, у тех вот так же.

Он говорил и... глотал слюни. Виктор отвернулся: ему было неприятно, что отец такими загоревшимися глазами смотрел на женщин.

И странность была на следующий день: отец не хотел, чтобы Виктор провожал его на вокзал.

— Куда ты поедешь за десять верст киселя хлебать? Один дорогу найду.

Но когда отец уехал, спустя полчаса Виктор увидел: отец забыл маленький чемоданчик, и помчался на вокзал. Поезд уже стоял, полный суетящихся пассажиров. Виктор обошел все вагоны, отца не было. Он обошел еще раз, дождался, пока поезд ушел. Виктор недоумевал, встревожился.

А четыре дня спустя от матери пришла телеграмма: «Скажи отцу — важные дела. Пусть выезжает немедленно». Виктор испугался: отец уже два дня должен быть дома.

Что-нибудь случилось!

Он не знал, что предпринять. Дал домой отчаянную телеграмму: «Папа выехал в понедельник, не могу понять, где он». Он ходил в полицию, в больницы, справлялся, не поднят ли на улице купец Андронов, не случилось ли вообще что с купцом Андроновым. Только через день пришла телеграмма из Цветогорья: «Доехал, не беспокойся. Дорогой задержали дела».

«Какие же дела?» — удивился Виктор. И смутное подозрение закралось в душу. И было боязно и совестно думать о делах.

Этой весной Виктор чаще бегал в город.

— Вы что-то зачастили к товарищам, Виктор Иванович! — с понимающей, чуть ехидной улыбкой говорила Глафира Петровна Виктору.— Не влюбились ли?

— Есть такой грех, Глафира Петровна!

Хозяйка рассыпалась мелким смешком.

— Ах, вот как? В кого же? И взаимностью пользуетесь?

— Насчет взаимности не могу сказать, а влюбился крепко: это правда. Подождите, может быть, на свадьбу приглашу.

А про себя думал:

«Какая нелепость говорить о любви, о свадьбе, когда Дерюшетта... нет Дерюшетты!»

Весна уже грянула, надвинулись экзамены. Виктор плотнее сел за книги. Работал дня по три неотрывно, вечерами сидел в лабораториях, но случалось, прямо из лаборатории бежал на паровичок и потом в знакомый переулок — к сырой, стареющей женщине, чтобы... обнять Дерюшетту. Эта двойная жизнь высасывала силы, утомляла.

В конце мая, когда перелетными птицами полетело студенчество из Москвы, Виктора потянуло домой: вдруг сразу надоели и академия, и Вильгельмина. Он представил, как зелены теперь просторы за Волгой, какой там опьяняющий воздух, и белые храмы вдали, будто корабли с парусами среди необъятного зеленого моря, и шелковые дороги от хутора к хутору. Хорошо сесть теперь верхом на лошадь и скакать, скакать

просторами. Он заторопился. Он едва дождался, когда в канцелярии ему выписали отпуск. Не выписали бы скоро, уехал бы без отпуска: так запылало сердце нетерпением.

## IV. Суженую конем не объедешь

Академия, книги, Вильгельмина — будни сразу исчезли, едва Виктор сел в вагон, словно он запер их в свой не по-студенчески обширный чемодан. Весна была уже всюду: в вечернем солнце, в вечернем звоне, в походках женщин, в лаковых клейких листьях берез, в новых запахах. Когда на маленьких станциях, ночью, останавливался поезд, было слышно, как пели соловьи. Виктор засыпал — соловьи пели. Просыпался среди ночи — пели. И на рассвете пели, когда вместе с солнцем Виктор вставал. И казалось: вся Россия полна поющими соловьями.

Что? Соловьи или просторы, быстрое ли движение вольным ветром дунуло в сердце и смело усталость и скуку? Он опять почуял себя привычно сильным. И уже с улыбкой оглядывался на эти вот дни: неделю, две назад, когда в истоме хотелось заломить руки. И уже новое, чуть привычное вино возбуждения поднялось, позвало. Дерюшетта! Пить бы, не напиться!

На станциях, где долго стоял поезд, Виктор выходил на платформу, искоса смотрел на девушек и женщин, трогал чуть пробивающиеся усики, смотрел победителем, потому что двадцать один год — и сила, и богатство, и все пути открыты,— он это сознавал.

Во всю дорогу было радостное ожидание, праздничная возбужденность без причины, и в Саратове, бродя по улицам, и в Липках он смотрел на девушек пристально, задорно — он искал.

Пароход уходил поздно ночью. За Саратовом, над дальними горами, догорала заря. Из приволжского сада доносилась музыка, и временами слышно было, как в саду пел хор, как публика громко аплодировала, кричала «браво». Где-то далеко на баржах бурлаки пели «Эх, ухнем»: должно быть, поднимали якорь. Пароходы шумно пускали пары, протяжно взвывали. Но увереннее шла ночь, замирал шум на реке, тысячи разноцветных огоньков остановились в просторах и замерли. И город тушил свои огни и голоса — там темнело, становилось тише,— и уже слышно было, как звонили хрупкие звонки запоздавшей конки. Матросы на пристани переговаривались грубыми голосами.

Виктор медленно бродил по балкону парохода. Он поднял воротник шинели, надвинул фуражку: густая прохлада поднималась от воды. Пахло тальником, водой, разморенной землей и горячей нефтью.

Пароход протяжно провыл дважды, и суета на пристани усилилась. Голоса закричали торопливо:

— Давай скорей!

Ожидание счастья и чего-то необыкновенного, похожего на сказку, захватило Виктора. У него заломило в коленях. Вот эта суета, как развертывающаяся человеческая сила, всегда его захватывала. Он пристально и напряженно смотрел в толпу, что переливалась на пристани. Матросы в кожаных фуражках тащили огромные тюки. Лица их нельзя было разобрать: лица мелькали, как желтые пятна на черном текучем фоне. Мелькнула неясная женская фигура. Виктор успел заметить соломенную шляпу и белую развевающуюся вуальку.

Опять завыл призывно пароход. Боцман кричал у мостков:

— Готово, что ли? Шевелись живее, дьяволы!

Под колесами зашипел пар. Пароход дрогнул, сдвинулся. Виктор оглянулся влево. Рядом с ним на балконе парохода стояла Дерюшетта. Да, Дерюшетта! От дум — дум многолетних — образ Дерюшетты был ему ясен до самой маленькой черточки. Она стояла рядом, сияющая, с прекрасным лицом, чуть продолговатым, с темными в неверном ночном свете глазами, большая и вместе легкая. Виктор минуту смотрел на нее оцепенело.

Да, это она — в шляпе с белой вуалькой. Она положила на барьер маленькую руку в темной перчатке, смотрела с улыбкой вниз на суету. Свет падал сбоку, лицо менялось. Виктор едва не крикнул. Она почувствовала его обжигающий безумный взгляд. Она медленно повернулась к нему, посмотрела на него пристально, чуть удивилась — или так показалось Виктору? — еще раз посмотрела и, улыбаясь, пошла по балкону к корме и скрылась в раскрытой двери, что вела в коридор, к каютам. Виктор опомнился, когда она уже скрылась. Он бросился за нею, вбежал в коридор. Но двери все были закрыты — однообразные белые двери пароходных кают, черта в черту, точка в точку,-- только темный номер над ними глядел, как чужой глаз. Виктор пробежал весь коридор, потом направо, налево. Две двери были открыты, он заглянул в них. Дерюшетты не было. Он выбежал опять на балкон. Пароход уже отошел, на балконе толпились люди, махали платками пристани. Саратов уплывал вдаль, мелькая редкими огнями. Дерюшетты не было.

«Не может быть, чтобы она ушла назад, на пристань!»

Еще никогда не билось так и не замирало сердце: Дерюшетта где-то здесь, едет вместе с ним, за какими-то дверями с суровым номером.

Нетерпеливо, задыхаясь, он еще раз обежал весь пароход, заглянул во все окна, куда можно было заглянуть. Нигде нет! Уже скрывался город за темным островом, только легкое зарево стояло над ним. Опять в кустах на островах запели соловьи, и ночь стояла тихая. Слышно сквозь шум парохода: поют соловьи, зовут. Дерюшетта где-то здесь. По балкону ходило двое

мужчин, их шаги тяжко отдавались в тишине. И больше никого. Виктор прошел по балкону к носу парохода, откуда через окна было видно зал первого класса. Зал был пустой, хрустальные подвески на люстрах дрожали, сверкая, белые скатерти на столах были без единой складки — подчеркивали пустоту зала. Вдруг горячий ветер дунул в сердце: в углу, у пианино, сидела Дерюшетта. Она играла. Сквозь широкое окно было видно, как быстро бегали ее пальцы по клавишам. Она сняла шляпу. Ее волосы слегка растрепались. Она чуть наклоняла голову в такт музыке. Виктор не дышал. А зал совсем пустой. Она одна... Что ж, пойти, стать на колени перед ней, сказать?

Дерюшетта поднялась, взяла ноты с крышки пианино, полистала, опять положила на место.

Потом приколола шляпу, мельком глянула на себя в зеркало, пошла. Виктор метнулся. Он хотел знать, куда она пойдет. Он метнулся в коридор и лицом к лицу столкнулся с ней. Она глянула на него опять удивленно и, когда прошла, улыбнулась: Виктор не видел, только почувствовал ее улыбку. Но остановиться он не посмел, он, дикий Виктор Андронов.

Дрожа, он побежал по балкону кругом парохода, по балкону пустынному,— только темная фигура прикорнула в углу, прячась от ветра. Дерюшетта тихо шла навстречу. Вот, вот!.. Что-то надо сказать. В один момент он перебрал груды слов и не выбрал, задохнулся: тут нужны были какие-то особенные слова. «Нет, сейчас не надо, потом». Тонкий запах дохнул в лицо и в сердце. О, это она!

Еще прошел кругом парохода по балкону, приготовился: вот сейчас встретится, скажет. Но Дерюшетты не было. Он прибавил шагу, почти бежал — нигде никого. Еще и еще раз он обошел весь балкон кругом. Нет! Тут только увидел он: пароход шел мимо гор. Тонкий месяц задевал за утесы. Шум колес, отраженный горами, несся будто с берега. А соловьи все пели.

Всю ночь он сидел на балконе, ждал. Завтра он скажет ей о своей любви. Решено! Разум боялся: как можно так сразу? Не осмеет ли его Дерюшетта? Но сейчас же закипало неукротимое — вынь да положь.

Он был в лихорадке.

«Завтра. А как же дом? Цветогорье будет на рассвете. Домой дал телеграмму: «Встречайте». Отец выедет, мать выедет встречать, будут ждать. Пусть подождут».

В залах, в коридоре, на балконе — везде было пусто. Бритый, толстый, с большим носом мужчина спал, сидя возле буфета. Виктор все ходил, думал. И еще на берегу не спали соловьи. Да в будке штурвальные не спали: сердито и коротко взывал пароход, когда видел вдали светлые надвигающиеся глаза: зеленые, красные, золотые. Только эхо в горах отвечало сердито и разноголосо отвечали встречные пароходы. Там вспы-

хивали и умирали сигнальные огни. Волга, родная! За какой-то дверью — Дерюшетта.

Перед утром вода покрылась легким туманом. Восток побледнел, закраснел, зазолотился. Облака налились румянцем. От бессонной ночи все лицо у Виктора горело. Вот и солнце встало из-за горы. Скоро Цветогорье. Как быть? Ну, что там мать и отец,— они не уйдут. А Дерюшетта раз в жизни встретилась. Как искать ее потом, если пропустишь сейчас? Виктор ушел в каюту, чтобы отец и мать не заметили его, если они в самом деле приедут встречать. Он поедет дальше, за Дерюшеттой. Вот Разбитнов сад с белыми беседками, вот мельница на речке, а за ними, по горе,— Нагибовка... А может быть, это глупость: проехать мимо родного города?

Пароход дал протяжный привальный свисток.

По берегу скакали во всю прыть извозчики, торопились женщины с корзинами на коромыслах, у пристани чернела толпа, а на самом яру виднелась знакомая блестящая пролетка и толстый кучер в красной рубахе и плисовой безрукавке. Слепому видно: это Храпон на Соколике. Значит, и отец и мать на пристани. Виктор закрыл окно, занавесил его, лег на диван и притаился.

Но в дверь постучали.

— Кто?

— Вам до Цветогорья? Подъезжаем.

Виктор открыл дверь, зашептал таинственно:

— Слушайте. Я поеду дальше. Если спросят меня — не говорите.

Брови у лакея полезли на лоб.

— Слушаю.

С грохотом упали чалки на крышу пристани.

— Трави кормовую!.. Куда, дьявол, бросаешь? Вперед!

Пар сердито зашипел.

— Стоп! Выбирай носовую! Крепи!..

Загремел топот на пароходе и на пристани. По коридору за дверями и по балкону за окном шмыгало множество ног. Голоса разговаривали торопливо. Виктор представил, как напряженно ищут его глазами в толпе отец и мать.

Пароход взревел — первый свисток. И вот, замерев, Виктор слышал: за дверью отец, да, да, отец! Он громко и властно спрашивал кого-то:

— Да, может быть, он спит где? Да ты припомни, братец!

И голос лакея:

— Никак нет. Таких до Цветогорья не садилось.

Виктор поднял штору, когда пароход уже отчалил. Он вышел на балкон. Везде было пусто, пассажиры еще спали, только на корме три женщины и мужчины махали платками удаляющейся пристани.

Он стал ждать. Ударили склянки: десять часов. Пассажиры стали просыпаться, выходили на балкон, на солнышко, пили

чай. Их становилось все больше, больше. Дерюшетты не было. Виктор спустился к кассе, взял билет до Самары... Он так волновался, что не пил, не ел. Прошли Хвалынск. Виктор ждал. Уже надвинулся полдень. Неужели еще спит? Спит, не знает, как томится, как ждет ее Жильян, навеки влюбленный.

Лакеи принесли глубокие тарелки на столы. Скоро обед.

Виктор прошел в зал, глянул на часы и ужаснулся: два! Не может быть, чтобы она спала. Он позвал к себе в каюту лакея, того, что будил его перед Цветогорьем, заказал обед. Но не обед нужен был — расспрос:

— Вы не знаете, куда едет девица одна, в соломенной шляпе с белой вуалеткой? Видали?

Глаза лакея замаслились.

— Черненькая?

— Нет, волосы светлые.

— А, знаю-с! До Симбирска.

— Что ж, она еще не выходила?

— Никак нет. Позвали к себе горничную. Надо быть, сейчас выйдут.

— А какая каюта?

— Двенадцатый номер.

«Номер двенадцатый. Сейчас выйдет!» Это немного глупо, но он скажет: люблю. До Симбирска еще будет ночь, долгий срок — скажет.

Около трех часов особа из номера двенадцатого вышла. Это была высокая, здоровенная женщина в пестром капоте... Виктор холодно скользнул по ней глазами, заглянул в ее номер: там больше не было никого. В Сызрани он сошел с парохода злой.

— Как глупо! Ух, черт, как глупо!

Домой Виктор приехал смущенный, пристыженный, в душе смеясь над собой. Он наскоро соврал: «Вместо Саратова проехал на Сызрань. В Москве в этот день не было билетов на пассажирский поезд». Отец не поверил — это было видно по его плутовскому взгляду. И Виктор видел: отец в эти дни присматривался к нему как-то по-особенному пристально, словно ощупывал его, выпытывал, и по его лицу бродила тень. Но тень тенью, а три дня был у Андроновых сплошной праздник. Отец и мать ходили за Виктором неотстанно. Мать курлыкала:

— Похудел ты, Витенька, красавчик ты мой! Покушай вот этого. Отведай вот этого.

Она была все такая же: с доброй, недалекой тревогой в глазах, тучная, ходила вперевалку, носила все ту же старенькую обширнейшую шелковую шаль на плечах и шелковый круглый волосник на голове, все так же благочестиво вздыхала и в первый же день рассказала Виктору, как одной старице в сиротских кельях было видение насчет второго пришествия. И странно: у Виктора впервые появилась к матери нежная жалость. В самом деле, если отнять у матери вот его, Виктора,

отнять разговоры о втором пришествии, о еде, о старицах, ей жить будет нечем. И Виктор терпеливо, как никогда прежде, слушал мать, терпеливо выносил ее поцелуи, сам целовал, поцелуями приводил мать в неописуемый восторг.

И понравилось еще матери, что Виктор обошел, осмотрел каждый закоулочек их обширного дома и сада.

Сад цвел пышно, весь подобранный, вычищенный, переполненный цветами.

— Садовник из Сапожникова сада наблюдает,— сказал отец.— Три раза в неделю приходит. И работник есть постоянный.

В самом деле, красивый молодой работник в белом фартуке и в ситцевой пестрой рубахе ходил по усыпанным песком дорожкам с граблями в руках. В прудах плавала рыба. Кустарники были подстрижены, выглажены.

— Ты на барский манер сад ставишь,— усмехнулся Виктор.

— Что ж, не вредно. Теперь мы можем позволить себе. Да потом и дело требует.

— Какое дело?

— Такое...— Отец замялся.— Что ж там пока говорить!..

Виктор вопросительно посмотрел на него. Мать с обычной недалекой простотой выдала отцов секрет:

— Чай, скоро ты, Витенька, жену молодую приведешь в дом. Надо в порядок все произвести, по-хорошему встретить новую хозяйку.

Виктор сразу потемнел.

— Ну-ну! — закричал отец.— Нечего тучи напускать: мать правду говорит. Какого ты дьявола фордыбачишь? Не теперь, так через год. Не через год, так через два,— жениться надо. Ну?

— Уж очень часто вы мне про это говорите! — с кислой миной возразил Виктор.

— Часто, потому что наболело. Ты думаешь, нам легко в пустом доме жить? А были бы внуки...

— Ну, папа, перестань же! — строго перебил Виктор.

Отец подавленно замолчал. Мать платочком утирала глаза. Виктору было неприятно: он чувствовал себя виноватым. Он вспомнил о Дерюшетте, о ее темных глазах, и сердце сжалось от холода, погасла наигранная бодрость. Но вовремя он поймал себя, внешне остался вежливым сыном, крепко заинтересованным тем, что сделал отец. А отец в самом деле сделал много. Уже были у него приказчики-доверенные в Балакове, Баронске и во всех крупных селах Заволжья. Словно сетью отец опутывал край: уже не только был делатель хлеба, владелец хуторов и участков земли,— был и скупщик.

— Гляди, через год одной Москве буду поставлять миллион пудов,— сказал он сыну.

Он получал телеграммы — по нескольку в день — из Уфы, Бирска, Самары, корявым почерком сам писал ответы, коро-

тенько и энергично разговаривал с какими-то людьми, что приходили утрами к нему в дом «за приказом», ездил по два, по три раза в контору, в амбар, весь пышущий здоровьем, энергией.

И его энергия, деловая бодрость мало-помалу захватывала Виктора.

«Вот это богатырь!»

Отец даже застыдился, когда Виктор высказал свое удивление. А мать только кудахтала:

— Что вы мечетесь, ей-богу? Про какой-то Бирск стали вот толковать. Где это? Сколько лет прожила, такого города не слыхала. А теперь вот слушай.

— Ну и что же? И слушай.

— Да ведь страшно! Господи ты боже... Зачем вы связались с таким городом? Бирск! И название-то вроде не по-русски. Жили бы в спокое. Хватит уж, на наш век всего довольно.

— Ого, хватит! Знаем, что хватит.

— Ну, так что же?

— А что попусту людям да степям лежать? Всем дело дадим, чтоб ничто не пропадало.

— Жадничаете.

— Мы-то? Эка сказала!

Отец безнадежно махнул рукой.

И по этому жесту Виктор вдруг увидел, какая пропасть между отцом и матерью! И какие же они разные! Отец — весь в жизни: крепкий, умный, практический, чуткий до всего, что касается дела. А мать — вся в суевериях, страхе, молитве и вот еще в любви к нему.

В эти вечера, первые по возвращении домой, оставаясь один в своей комнате, он долго думал о том, почему и отец, и мать такие разные. Он вспоминал, что слышал от бабушки, от Фимки, от самой мамы о молодости отца и матери, о том, как они женились. Дед Михайло выбрал жену Ивану Михайловичу сам, как невесту очень богатую... И вот два чужих человека живут вместе всю жизнь. И теперь так же выбрали ему, Виктору, в жены Лизку Зеленову и всячески строят мины, чтоб женить его.

И так же пойдет (пошла бы) его жизнь. Купеческий быт, конечно, страшен своей дикой расчетливостью. Все во имя денег!

Виктор понимал, что ему придется выдержать большую бурю, когда он женится. И какое это счастье, что он вовремя понял и людей, и смысл их расчетов и вовремя сможет раскрепостить себя!

Но вот праздничные дни кончились. Отец опять ушел весь в дело. Мать уже не ходила за Виктором шаг за шагом. Виктор с наслаждением отдыхал, пробовал читать, вечерами изредка ходил в городской сад, чтобы повидать приятелей. Студенты — эти уездные герои — сплошь утопали в романах с купеческими и чиновничьими дочками, даже Краснов примостился возле

дочки казначея. Девицы были все такие свеженькие, кругленькие, но так безвкусно одеты и (Виктор полагал) так глупы, что от одной мысли о них становилось скучно.

Раз днем — уже июнь переломился — Иван Михайлович, рассолодевший от жары, в парусиновой длинной рубахе, перехваченной скитским поясом по толстому животу, в парусиновых брюках, в мелких кожаных туфлях на босу ногу, сидел в беседке в саду. Перед ним лежали на столе книги, счета, бумаги. А рядом с книгами — огромный хрустальный кувшин с квасом, в котором плавали кусочки льда. Иван Михайлович наливал квас из кувшина в большой хрустальный бокал, пил, крякал, обтирал усы, опять писал слово или два в счетах, справлялся в книгах. Он уже устал, откидывался на спинку плетеного кресла, о чем-то думал и мурлыкал про себя.

— Отверзу-у уста моя...

Значит, в счетах хорошо, в книгах хорошо...

— Эй, кто там есть?! — заорал он вдруг к дому.

За кустами шевельнулось.

— Я здесь, Иван Михайлович!

— Гриша? А ну сбегай, покличь Виктора, пусть идет сюда.

Он слышал, как стукнула калитка из сада, сидел спокойно-самодовольный, толстый, квас шибал ему в нос. Иван Михайлович икал с большим удовольствием. Опять хлопнула калитка, и из-за кустов показался Виктор. Весь в белом, с непокрытой, коротко остриженной, похожей на тяжелый шар головой, с маленькими, едва пробивающимися усиками, чуть улыбающийся, он в самом деле был хорош. Отец смотрел ему навстречу с улыбкой.

— Ты звал?

Виктор говорил теперь ядреным молодым баском. В свободных движениях, в свободной позе, как он уселся против отца, проглядывал человек сильный. Отец глянул на него любовно. Виктор грубовато-насмешливо сказал:

— Все считаешь?

Отец пропустил вопрос мимо ушей.

— Хотел я посоветоваться с тобой. Бездельных денег много оказалось. Лежат ни к чему. Процент на них самый малый идет.

Виктор сразу насторожился. Деньги? Это сила, он уже сознавал, будь серьезен.

— Много?

— Много, брат, по две сотельных.

— Двести?.. Ого! За двести пятьдесят можно поставить мельницу вдвое лучше меркульевской.

Но Виктор вспомнил:

— Ты бы заплатил Жеребцову за баржи. Сколько там у тебя? Пятьдесят.

Отец сразу нахмурился.

— Вот! Вот учи тебя, а дураком, должно, все-таки останешься.

Виктор улыбнулся.

— Что ты сердишься?

— Да как же не сердиться? Значит, будь эти деньги у тебя, ты бы их сейчас бух этому мошеннику? «Нате, господин Жеребцов, пользуйтесь!» Эх, растяпа!

— Да ведь платить-то все равно надо.

Отец побагровел от негодования.

— Надо. Кто говорит про то, что не надо? Да вся закорючка — когда. Сейчас мы платим ему пять процентов, и более никаких. А разве в деле капитал пять процентов даст? Эх ты, голова! Ты прежде всего на оборот гляди, а не на процент. Капитал в обороте в год может вдвое возрасти. А ты: «Отдай». Это из-за пяти-то процентов?!

— Сам же ты говоришь: две сотни гуляют.

— Вот то-то, что они тем и гуляют: дают только пять процентов. Так пусть они у нас побудут поелику возможно дольше, а не у другого кого.

— Ну, оставь до осени, в хлєб пустим.

— На это отложено. А больше откладывать — ерунда будет. Думаю я... вот про какое дело...

Иван Михайлович понизил голос. Виктор насторожился: кошка за добычей — котенок учится. Вдруг калитка торопливо стукнула, и из-за кустов выбежала Ксюта — горничная.

— Иван Михайлович, пожалуйте, гость приехал!

— Кто?

— Василий Севастьянович Зеленов.

Отец искоса глянул на Виктора. Виктор побледнел. Он понял, что сейчас настала самая решительная минута. Отец встал.

— Ну, Витя, пойдем!

— Я, папа, не пойду.

Оба они смотрели друг на друга с улыбкой. И оба они чувствовали, как внутри у них катится жестокое, страшное. Отец заговорил прерывистым голосом:

— Ты... понимаешь? Ради тебя приехал! Хочет посмотреть.

— Чего же меня смотреть? Я не картина.

— Поговорить хочет.

— О чем говорить?

Виктор глянул отцу в глаза и увидел страшное.

— Папа, ты перестань! — Виктор встал из-за стола.— Будем откровенны. Женить меня на Лизе Зеленовой тебе не удастся. Я сам себе выберу жену. Ну и... к дьяволу Зеленовых!

— А-а, ты так?

— Да, я так. Что это, в самом деле! Нас, как скотов, собираются свести.

— Как скотов?

— Да, как скотов! Ни она меня, ни я ее и видеть не желаем.

— Она желает тебя видеть.

— Ты уже справился об этом? Ага! Так я не желаю ее видеть.

— Виктор, это ты говоришь?

— Да, это я говорю. Ну, папа, довольно! Ты хочешь со мной навеки поссориться? Ссорься. Но знай: в этом пункте я никогда не уступлю. Не нужны мне ваши деньги. Мне с женой жить, а не с деньгами.

Иван Михайлович шумно задышал, лицо у него стало как свекла. Он захрипел приглушенно:

— А ты... знаешь? Я могу выгнать тебя... как бешеную собаку... на улицу?

— Ого!.. Выгонять? Что ж, выгоняй!.. Я могу уйти. Если хочешь, сейчас уйду.

Виктор повернулся и пошел по тропинке к дому, мимо оторопевшей, перепуганной Ксюты. Отец сделал два шага вслед ему, протянул руку, крикнул:

— Витька!

Виктор глянул на него через плечо, приостановился.

— Что, папа?

— Смотри. Прокляну!

Виктор повернулся к отцу весь, заговорил твердо:

— Папа, опомнись! Ты потом сам будешь раскаиваться. Смотри, папа! Ты, конечно, можешь меня проклинать. Это дело твое. А я все равно не уступлю тебе. Я не позволю себя женить. Я женюсь сам...

Иван Михайлович скрипнул зубами, застонал.

— У, подлец! Научился говорить-то?..

И грузно хлопнулся на скамью, у стола, сжимая руками голову, и разом встрепенулся, заорал Ксюте:

— А ты, сволочь, чего здесь стоишь? Ступай скажи, что меня дома нет. Пусть убирается к...

Ксюта бросилась бежать. Иван Михайлович упал головой на стол, вцепился руками в волосы. Виктор минуту стоял молча над ним. Потом заговорил:

— Ну, папа, перестань! Нашел из-за чего ссориться! Ты же подумай обо мне. Я же один у тебя, как и ты у меня один. И вдруг ссора из-за каких-то Зеленовых.

Отец дрыгнул плечами раз, другой, всхлипнул. Виктор беспомощно стоял над ним.

— Ну, папа, ну, милый!..

— Э, пропало дело! — Отец махнул рукой.

Из-за кустов поспешно вышла Ксения Григорьевна.

— Чтой-то у вас тут?

Увидев плачущего Ивана Михайловича, она вся затряслась, всплеснула толстыми руками.

— Ой, батюшки! Ой, господи! Да чтой-то у вас? Витюшка, милый! Чтой-то ты?

— Вот, воспитали сынка! Не сын, а камень.

— Папа, перестань!

— Что перестань? Ну? Да ты знаешь, что ты сейчас сделал?

— Что сделал? А ничего. Ну их к дьяволу, твоих Зеленовых!

— А-а, батюшки! — простонала мать.

— Видала? — повернувшись к ней, спросил отец.— Видала, что сынок-то выкамаривает? — Он сердито рассмеялся.— Воспитали дитятко! Образование дали!

Мать жалостливо посмотрела на сына:

— Вот говорила бабушка-покойница: не пускать далеко в науку. Ты сам виноват, Иван Михайлович! Сам настоял.

Виктор, словно его щекотнул кто, неудержимо захохотал. Отец хмуро глянул на него.

— Брось-ка ты смеяться-то!

— Папа! Ну, папа, ты же пойми!

— Да, сынок! Я понял: миллиона полтора из нашего кармана сейчас вылетело...

Пудовая тяжесть легла на дом Андроновых после этого дня. Отец замкнулся, не говорил с Виктором. Мать вздыхала, стонала. Виктор не знал, куда деться от тоски. Он был рад, когда пришло время объехать хутора, посмотреть посевы, узнать, как идет подготовка к жнитву. Отец холодно, как приказчику, рассказал ему, что и где надо сделать, и холодно простился. Мать плакала. Никогда Виктору не казался таким постылым родной дом.

Но опять просторы, опять непыленые дороги, крик степных птиц, и ветер, и тихие ночи, и эти удивительные восходы, когда солнце небывало огромным золотым шаром поднимается над дальним горизонтом. Как вольно дышит грудь!

Объезжая хутора, Виктор видел, что отец шире и шире ведет работу. На хуторах везде новые постройки, везде новые запашки. И гордился, и радовался. Он верил, что ссора пройдет. Вот месяц побыть здесь, и все забудется.

В парусиновой рубахе, в легких сапогах, с фуражкой, чуть сдвинутой на затылок, загорелый, с молодой бородкой, сразу пробившейся по щекам, вдоль ушей и по краю нижней челюсти, он носился от хутора к хутору, стараясь в работе забыть тревогу.

Уже давно переломилось лето, и вся даль кругом по ночам горела кострами и песнями жнецов, и днем видать было, как по полям вздымались крестцы снопов, будто пупыры на гусиной коже,— стройными рядами выстраивались они, захватывая даль. Приказчики и рабочие на хуторах метались, как загнанные. Жнецы партиями двигались по степям. Все шумело, орало, кликало, горело в работе. На хуторе Красная Балка Виктора ждало письмо из Цветогорья, присланное с нарочным. Мать звала к спасам домой: «Скоро уедешь в Москву, и не увидимся».

Виктор решил съездить. Он чувствовал, что ссора изжита.

Однажды перед вечером, когда уже свалил жар, Виктор верхом на Корольке поехал домой прямиком через Синие горы, к Иргизу, к Волге. В этой стороне жатва уже была кончена. Ограб-

ленные поля посерели, и лишь кое-где в них виднелись неубранные крестцы. У хуторов и сел всюду поднимались золотые города, сделанные из высоко сложенных скирд и ометов новой соломы. Смех и песни слышались сквозь стук молотилок. Возы со снопами еще тащились по дорогам — последние, тяжело нагруженные возы,— и лошади перед ними казались малыми букашками.

Королек бежал споро, мягко покачивая седока. Виктор опять почувствовал, как просторы входят в него — бесконечные, благословенные просторы,— родят беспричинную радость простой жизни: жить, жить, как трава, как птицы!

Солнце уже покатилось к зеленому краю. Вдруг на западе выплыла белая пушистая тучка и начала расти горой. Получаса не прошло — тучка закрыла солнце, из-за края земли уже мрачно волоклась синяя сплошная громада: взглянуть на нее — станет холодно. Громада шла стеной, поднималась по небу. Степь сразу запечалилась и потускнела, птицы полетели торопливо. В полусвете Виктор увидел: по дороге скачет мужик в рыдване, подхлестывая лошадь кнутом, и рубаха у него пузырится на спине. Подул ветер. Скирды ощетинились, жнивье сухо и сердито зашумело. Виктор погнал Королька.

С перевала, с Синих гор, он любил, бывало, смотреть на просторы, по самому краю которых еле виднелись волжские Змеевы горы. Теперь ничего не было видно. Серый дождь столбами двигался навстречу. А с боков — справа и слева — он уже шел сплошными темными стенами. Полыхнула молния, и оглушающим треском рассыпался гром впереди. Виктор размотал плащ, накинул на плечи. Ровный густой шум увеличивался, надвигаясь. С треском упали первые капли дождя на дорогу и через минуту зашумели изо всей силы. Королек зафыркал.

— Ну, попадет теперь нам,— сказал вслух Виктор.

Дождь встал стенами со всех сторон, и ничего не было видно за двадцать шагов. Белые пенистые ручейки потекли по колеям дороги. Королек скользнул раз, другой и пошел шагом. Скоро дорога размякла, на копыта Королька наматывались комья грязи. Виктору не раз приходилось попадать под дождь и грозу, но никогда не было у него такого странного беспокойства, как сейчас. Беспокойство звало куда-то, торопило. Он попробовал погнать Королька, но Королек спотыкался, ноги у него расползались по грязи. Виктор ниже надвинул на лицо капюшон: он чувствовал, как ручьи льются по спине, плечам, и сырость уже пробиралась под рубашку.

Он вдруг вспомнил, как часто в степи молния убивает путников, едущих верхом, и затревожился, бессознательно втягивал голову в плечи, когда впереди или над ним сверкала молния. Тьма надвинулась злая...

По дороге теперь уже мчались потоки, их было видно при свете молнии: они шевелились, будто белые змеи. В лывинах валили мутные, покрытые пеной валы. Королек испуганно

фыркал, когда приходилось ему переходить через лывину. И опять память подсказала: как часто гибнут люди во время дождей в бурных потоках по оврагам!

— Вот неудача!

Один в степи, в пустых просторах. Погибнет — кто узнает? Никто! Кричи — никто не услышит. Пустыня!

Он почувствовал себя одиноким, жалким, былинкой под ветром. Человек и пустыня! Кто победит? И засмеялся вдруг — над собой, над своей робостью. И выпрямился вызывающе.

Дождь все не утихал. Теперь уже нельзя было различить, где дорога: все кругом плыло, неслось. Королек дышал хрипло, и от него поднимался пар. Виктор чувствовал, как этот пар бьет ему в лицо — запах крепкого лошадиного пота. Переправляясь через ручей, Королек вдруг остановился, зафыркал тревожно. С трудом удалось сдвинуть его с места. Сверкнула молния. Виктор заметил: справа и слева по пригорку лежит жнива. Где же дорога? Королек остановился. Виктор дождался новой молнии. Да, всюду жнива. Дорога была потеряна. Виктор слез и, увязая в грязи, пошел отыскивать дорогу, ведя за узду тяжело дышавшую лошадь. Он прошел вперед, вернулся. Долго шел влево: дорога была потеряна безнадежно. Он сел на Королька — седло было неприятно холодное,— опустил поводья, погнал. Дождь теперь шел ровный, спорый, и все кругом было по-прежнему полно ровным, сильным шумом.

Где-то вправо шум воды стал усиливаться. Виктор прислушался. Там шумел водопад.

И там же брезжил неясный серый свет. Королек сам повернул на свет и шум, пошел быстрее. Сразу надвинулось черное, огромное. Виктор различил высокую крышу. Королек повернул вдоль стены, свет ударил из-за угла, и Виктор увидел двор с огромными весами, похожими на виселицу. Свет глядел сквозь сетку дождя из маленького окна. Две собаки бросились под ноги лошади, залаяли истерично.

Через минуту голос спросил из темноты:

— Эй, кто там?

— Ночевать пустите. Заблудился.

— Кто такой? Откуда?

Виктор назвал себя. Из темноты вынырнула фигура — странная, похожая на конус.

— Виктор Иванович?

— Я.

— Пожалуйте, пожалуйте! Милости просим! В какую погоду попали. Ай-ай-ай!

Виктор слез с Королька. Ноги у него задеревенели. Все тело было охвачено сыростью.

— Куда же я попал?

— На зеленовский хутор.

Виктор испугался: «Вот дьявол занес!» Но делать было нечего.

— Пожалуйте! Заходите в избу! Сейчас все справим. И лошадку уберем.

Виктор, нашаривая руками, прошел сенями к щели, светившейся в темноте. Мужик шел за ним. Отворилась дверь. Яркий свет ударил в глаза. Большая комната, на столе — лампа. Мужик шагнул вслед за Виктором, снял с головы мешок, надетый конусом, сказал:

— Пожалуйте, сейчас побегу, скажу про вас.

— Кому скажешь?

— Барыня здесь. Доложусь.

— Не надо. Ты дай мне твою сухую рубаху, я переоденусь, и постели мне сена.

— Как можно? Доложиться надо.

Он поспешно ушел. Виктор снял мокрый плащ, с которого на пол уже успела натечь лужа, снял тужурку. Серые мокрые пятна сплошь заполнили суровую рубашку. Сердце колотилось сильно.

Мужик вернулся скоро.

— Пожалуйте! Приказано вас в другую помещению вести.

— Кто приказал?

— Сама барыня. Велела самовар вам изготовить, одежу припасают сухую.

— Я же тебе сказал, чтобы ты никому ничего не говорил.

— Нельзя, Виктор Иванович! Наше дело такое. Доложиться надо. Вы не простой гость у нас. Как можно?

Темным двором прошли куда-то. Мужик все кричал:

— Здесь не оступитесь! Ямка здесь!

Слева блеснули окна, перед ними — кусты. На мокрых листьях играл свет.

Вошли в сени, сенями дальше. И Виктор попал в высокую комнату с вязаными половиками, с картинками по стенам, широкой кроватью. Пахло чем-то приятным, городским, чистым, культурным. Старушка в очках кланялась ему в пояс.

— Пожалуйте, гость дорогой! Пробило насквозь, поди? Самовар готовим, чайком попоим. Барыня приказали вам переодеться, вот здесь все лежит.

Старуха указала на постель, где горкой лежало белье.

— Переодевайтесь. А потом чайку попьете. Я малинки заварю, а то простудитесь.

Виктор поблагодарил, улыбаясь. А про себя ругался крепко: «Дьявол занес!»

Рубашка была огромной. Кальсоны — широченные: два Виктора поместятся. Виктор усмехнулся:

«Самого Василия Севастьяновича лохмоты...»

Старуха принесла самовар, заговорила умильно:

— Господи, батюшка, а как барыня-то беспокоится: не простудились бы вы! Пейте, кушайте! Медку вот. Свежий. Пот хорошо гонит. Покушайте обязательно.

— Спасибо, спасибо! Вы не беспокойтесь. Только, пожалуйста, распорядитесь, чтобы мне высушили одежду. Я весь промок.

— Высушим. Ну как можно, чтоб мокрое?

Согретый горячим чаем и медом, Виктор лег в широкую постель и задохнулся от удовольствия, чистоты, удобства. На хуторе, где он постоянно спал на сене, он уже забыл, что такое хорошая кровать.

«Вот она — культура!»

Торопливо он подумал о Лизе Зеленовой. Где она? Он вспомнил тот жест, что сделал отец, рассказывая о Лизе: «Тушная она такая!» И стало противно. Он понимал, что ухаживают здесь за ним недаром. И сердито усмехнулся: «Ну что ж, пусть поухаживают! Завтра уеду пораньше».

Проснулся Виктор поздно — солнце уже высоко было. Его тужурка, белье — все выглаженное аккуратной стопкой лежало на стуле возле кровати. Сапоги были начищены ваксой, а не чистились почти все лето. Он быстро оделся, вышел из комнаты. Та же старуха в очках встретила его в коридоре.

— Барыня встали, скоро чай будут пить. Пойдите погуляйте в саду пока. Сроду ведь не были. Папаша с мамашей бывали, а вы нет! Хорошо у нас!

Виктор, досадуя, вышел.

Сад весь был полон солнца, птичьих криков. Стая скворцов кричала в кустарнике. Грачи возились на старых осокорях. В стороне поднимались красные, чисто вымытые вчерашним дождем стены мельницы, столь ненавистной Виктору. По протоpенной дорожке он прошел до пруда, сел на скамейку. Пар тонкой вуалью поднимался с пруда. Рыбешки выскакивали порой из воды, и тогда легкие круги лениво расходились по дымящейся поверхности.

— Здравствуйте, Виктор Иванович! — сказал молодой женский голос позади.

Виктор поднялся поспешно, оглянулся. И онемел: возле него стояла Дерюшетта... Она, улыбаясь, смотрела ему прямо в лицо, и глаза были полны непобедимого любопытства. Виктор машинально подал руку, но не мог сказать ни слова.

— Давно же мы не видались! — сказала Дерюшетта.— Если бы не случайность, вероятно, еще долго не увиделись бы.

Виктор пробормотал:

— Дерюшетта!

— Что? — спросила она.— Вы что-то сказали? Почему вы на меня так пристально смотрите? Не узнаете?

Виктор сказал, еле разжимая челюсти:

— Уз-наю... Елизавета Васильевна!

— Однако какой вы стали большой! Даже бородой обросли. Мне уши прожужжали вами. Я думала: вы другой. Послушайте, почему у вас такая борода?

— Я все на хуторе живу и зеркала не видел полтора месяца.

Он был смущен, потерялся. Она засмеялась. Виктор, сам не зная почему, засмеялся тоже. Позади, за кустом, что-то хрустнуло. Девушка, все еще смеясь, оглянулась и воскликнула:

— Мама, посмотри, какая у него борода!

Толстая, высокая женщина в розовом капоте, обшитом белыми кружевами, шла к ним. Она весело закричала:

— Ага! Вот и он, сокол-лебедь! Ну, здравствуй, здравствуй, молодчик! Гляди, гляди, у него в самом деле борода растет! Батюшки, как года-то бегут!

Она поцеловала Виктора в лоб.

— Ты всегда от нас бегал. Я тебя сколько времени не видела. Ну, вот теперь попался.

Виктор, улыбаясь, опустил голову.

— Ну, ребятушки, чай пить пойдем. Ты домой едешь?

— Домой.

— И мы ныне поедем домой. К спасу надо. Вот вместе.

Они пошли к дому. Дерюшетта шла впереди. С неиспытанной жадностью смотрел Виктор на нее. Он не мог опомниться.

Когда садились за стол, Виктор спросил:

— Вы ехали, Елизавета Васильевна, в начале мая из Саратова на пароходе?

— Ехала. А почему вы об этом спрашиваете?

— Это еще что за «вы»? — вмешалась Ольга Петровна.— Вот что, Витя... И ты, Лиза, у меня чтобы не было этого. Вместе маленькими играли, целовались, а выросли — и церемонии.

Виктор и Лиза засмеялись смущенно.

— Образованные стали.

— Чудачка ты, мама!

— Ну, не чуднее вас... Человеческий язык не коверкайте. Ты, Витенька, у меня не смей говорить ей «вы». Мне можешь, потому что я старенькая, а с ней — чтобы я не слышала.

Виктор посмотрел на Ольгу Петровну преданно.

— Я повинуюсь, Ольга Петровна, если это, конечно, не будет Елизавете Вас...

— Ну, пошел величать!

За чаем смущение прошло. Сперва робко, потом уже смелее Виктор говорил Дерюшетте «ты» и «Лиза». Вспомнили, как играли в детстве. Посмеялись. После, пока готовили тарантас, Виктор и Лиза опять пошли в сад. Оба почти не говорили. Виктор заметил: Лиза смотрит на него изучающими глазами. Он не утерпел:

— Ты почему так пристально смотришь на меня?

— Мне всю жизнь так много о тебе говорили, что... я проверяю, тот ли ты.

— И что же?

— Кажется...

Она запнулась. Виктор весь напрягся, дожидаясь ответа, как удара.

— Что кажется?

— Кажется, тот.

Смятение началось у него в сердце. Он смеялся, глаза светились. Он взял руку Лизы, пожал.

— И ты боялась меня?

— Да, порой.

— А порой?

Она засмеялась.

— Какой ты любопытный!

Их позвали. У крыльца уже стоял запряженный парой тарантас. Народ толпился во дворе. Все издали смотрели на Виктора. Ему показалось: все улыбаются радостно. Бородатый мужик подошел к нему:

— Вашу лошадку я изготовил, Виктор Иванович!

Виктор посмотрел в лицо мужику, узнал: это он первый встретил его вчера. Он дал ему десять рублей.

Лиза вышла, одетая в серое дорожное платье, в соломенной шляпе, бросавшей тень на ее розовые щеки. Серые глаза чуть потемнели.

Ехали весь день. Через поля, потом заливными лугами, уже скошенными. Тарантас ехал впереди. Виктор за ним, верхом на Корольке. Иногда Лиза оборачивалась к нему, улыбалась. На Иргизе попоили лошадей. Отдохнули. Виктор и кучер Иван развели костер. Эта природа и простота сблизили. Уже не стыдясь, Виктор смотрел на Лизу восторженно. Она усмехалась понимающе.

К вечеру — Волга, перевоз. С грохотом вкатывались на паром телеги. Ольга Петровна заохала, когда тарантас поехал с кручи по мосткам. Виктор помог Лизе выйти из тарантаса. До отхода еще было полчаса. Они прошли по песчаному берегу. Ребятишки, засучив штаны, ловили мальков. Лодки с арбузами и дынями лениво и грузно стояли у берега. Мужики и бабы спешили на перевоз.

— Так ты меня боялась? — спросил Виктор.

— А ты?

— Я тебя боялся. Очень!

— А теперь?

Виктор не отвечал. Молча они вернулись на паром, прошли на корму. Ленивая вода двигалась медленно, светилась от солнца. За Волгой, в городе, ударили к вечерне. Звон донесся нежный, протяжный,— звон в родном городе. Виктор и Лиза стояли рядом, положив руки на перила. Бабы издали — с возов — смотрели на них. Виктор сказал вполголоса:

— Я тебя боялся, Лиза! А теперь я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты была моей женой.

Лиза все смотрела вдаль. Казалось, она не слышит.

Он еще подвинулся к ней.

— Скажи, ты согласна?

Вдруг он заметил: по ее лицу текут слезы. Он позвал:

— Лиза, да?

Она посмотрела на него счастливыми глазами, полными слез, опять отвернулась, положила свою руку поверх его руки и пожала крепко.

В этот же вечер Виктор сказал отцу, суровостью скрывая смущение:

— Папа, мне поговорить с тобой надо серьезно.

Отец забеспокоился.

— Об чем это? Опять что-нибудь?

— Пойдем к тебе.

— Ну? — спросил отец, когда они вошли в его просторный кабинет.

— Я вот...— Виктор запнулся.

— Ну?

— Я хочу жениться.

В лицо отца ударил испуг.

— На ко...ком? — прохрипел он.

— На Елизавете Васильевне Зеленовой.

Отец целую минуту сидел неподвижно. Рот у него был раскрыт, глаза выпучились. Потом он вздохнул шумно, рявкнул:

— Витька, милый!..

## V. Завоеватель

Хоть стену каменную поставь, стену до небес между Виктором и Елизаветой Васильевной, пробьет стену Виктор, лбом пробьет, руками разворотит, такое буйство сил почуял он в себе в эти первые дни. И поглупел будто, ошалел от счастья, сразу потерял чутье жизни. На спас медовый люди пошли в церковь (папа с мамой на лошадях в моленную поехали), а Виктор тайком убежал в Нагибовку, к зеленовскому старому дому, и все утро ходил сторонкой, будто вор поглядывая, когда Зеленовы тоже поедут в моленную. Вот отворились ворота, пара белых коней вынесла пролетку, едва Виктор успел за угол нырнуть. Уже издали видел: в пролетке сидел сам Зеленов с женой. Веселыми, трепетными ногами Виктор опять пошел к зеленовскому дому, позвонил. Встретила его старушка в беленьком платочке, в темном сарафане, поглядела удивленно:

— Вам кого, батюшка?

— Ольгу Петровну.

— Сейчас уехали в церкву. Никого дома нет.

— А Елизавета Васильевна?

Старуха строго поджала губы: пришел молодец ни свет ни заря, барышню спрашивает. Негоже так, не по обычаю. Виктор и сам знал: не по обычаю, да что ж там, если горит-пылает?

— Мне Елизавету Васильевну повидать надо,— настойчиво сказал он.

— Не знаю, батюшка, пойду спрошусь. Кажись, еще спит она.

Вдруг веселый смех зазвенел сверху. Глянули оба — старуха и Виктор — вверх по лестнице, а там, держась за перила, стояла, как белое видение, сама Елизавета Васильевна.

— О, какой гость ранний! — пропела она.

Махом одним Виктор взлетел по лестнице наверх, шагая через три ступени, позабыл про строгую старуху, уцепил руку Елизаветы Васильевны, поцеловал. Он видел: мелькнули лица — старухи, потом молодой горничной. Испуг в них. Отроду такого не было видно в строгом зеленовском доме. Девочка показалась в дверях лет четырнадцати, тоже вся в белом, темные глаза, как копейки, смотрели испуганно. Елизавета Васильевна сказала ей и потом Виктору:

— Вот познакомьтесь. Сестра моя богоданная.

И, смеясь, спросила:

— Знаешь, кто это, Сима?

И, спрашивая, взяла Виктора за рукав тужурки, взяла вольно, фамильярным, словно уже привычным жестом. У Виктора зазвенело в ушах от волнения.

— Жених мой.

— Жених?! — воскликнула девочка и всплеснула руками.

А позади где-то зашептали:

— Жених! Жених! Жених!

— Пойдем на улицу,— попросил Виктор. Ему было и сладко, и до муки стыдно этого слова: жених.

Когда они уже пошли по улице, Виктор мельком оглянулся: из всех окон зеленовского дома на него смотрели глаза, изучали. Это было чуть неприятно, но забылось сразу.

— Два года назад, в такой же день, я бродил по Москве в первый раз и думал о тебе.

— Ты же говоришь, что ненавидел меня.

— Да, ненавидел Лизку Зеленову. Задразнили меня ею. А любил Дерюшетту. Разве я знал, что моя Дерюшетта и Лиза Зеленова — одно?

— Слушай... А ты не боишься?

— Чего?

— Вдруг ты ошибаешься? И вовсе я не Дерюшетта? Кстати, я и не знала, что ты романтик. Я Елизавета Зеленова, которую ты...

— Любил всегда.

Они засмеялись.

— А ты не боишься меня? — спросил Виктор.

— Нет. Я тебя знаю давно. Тобой мне прожужжали все уши. Сначала я сердилась, потом привыкла, потом ты мне стал нравиться. Я издали следила за тобой. Ты думаешь, я не узнала тебя на пароходе в мае? Узнала. Я видела, как ты побежал за мной. Но я испугалась: думала, ты бегаешь за всеми так.

— И что же?

— И узнала, что ты очень скромен.

Виктор покраснел: Вильгельмина мгновенно мелькнула перед глазами.

— Скажи, ты никого не любил?

— Клянусь, только тебя.

Она незаметно очень быстро пожала его руку.

Все утро они ходили по городу, забирались на горы, почти молчали. Расстались, когда в церквах давно оттрезвонили,— расстались, чтобы вечером встретиться опять по уговору.

Виктор удивился, что дома не было ни отца, ни матери.

— Где?

— Прямо от обедни поехали к Зеленовым,— сказала Фима.

За праздничный спасов стол Виктор сел один, но вдруг зеленовская пролетка въехала во двор.

— Просят пожаловать,— сказала горничная,— чтобы беспременно ехали сейчас.

В первый миг у Виктора мелькнула мысль не ехать.

Ему показалось, что его тянут на торжище, и весь он запылал от смущения. И тотчас подумал: как быть? Никто в тишине не женится. Надо покориться. Надо перетерпеть.

Торопливо он оделся в парадную тужурку, и когда вышел на крыльцо, вся прислуга — раздобревшая Катя, Фима с мужем Храпоном, Гриша, новый кучер Степан и пять старух-приживалок — стояла во дворе у пролетки. Катя и Фима закрестились, когда Виктор садился в пролетку. И все закрестились.

— Дай, господи, час добрый, мать пресвятая богородица!

Виктор сказал:

— Трогай!

Но Фима остановила его:

— А ты, Витенька, перекрестись! В какой путь-то едешь! Перекрестись трижды.

Виктор снял фуражку, перекрестился. Он был скован смущением и раздраженно подумал:

«Ну, начались теперь муки!»

Зеленовский кучер Кирюша был одет в плисовую безрукавку и малиновую рубаху, круглая плоская шляпа с павлиньими перьями была как-то торжественно надвинута на лоб, и сидел Кирюша величавым истуканом, далеко протянул вперед руки в белых перчатках и лошадьми командовал строго:

— Вперед! Пшел!

По улицам неслись торжественно, и народ останавливался и смотрел на парадный зеленовский выезд, на белых лошадей с пышными гривами и хвостами, и Виктору сперва хотелось спрятаться за борта пролетки. Но эта быстрая езда, эта радость толкнули, подожгли: «Что я смущаюсь? В сущности, тут мое самое большое торжество». Он выпрямился и посмотрел по сторонам с гордостью.

Множество старушек, женщин и девушек стояли у ворот зеленовского дома. Тротуар и улица возле дома были посыпаны песком, а не были посыпаны вот час, полтора назад, когда

Виктор провожал Лизу. Сам Василий Севастьянович — в праздничном кафтане, в сапогах бутылками — стоял на парадном крыльце, ждал, чтобы встретить Виктора. Он был серьезен, торжествен. Он сказал глухим от волнения голосом:

— Милости просим. В ожидании тебя находимся.

Они на крыльце поликовались троекратно, крест-накрест. Зеленов взял Виктора под руку, повел по лестнице вверх. Виктор в смущении едва различал желтые пятна лиц. Ему показалось, что везде полно народа. Зеленов, держа Виктора под руку, ввел в зал. Парадно одетые гости сидели вдоль стен и у стола. Отец и мать Виктора — в переднем углу, под иконами, а рядом с ними — Лиза, вся как белое облако. Никто не поздоровался. Все поднялись молча. Виктора и Лизу поставили рядом, на коврик, лицом к иконам. Лохматый поп с беспорядочной седой бородищей начал облачаться в золотую ризу. Старушка в черном сарафане с белыми рукавами разводила ладанницу. Душистый дым росного ладана заклубился, поднялся к потолку. Поп торжественно взмахнул рукой, перекрестился, возгласил:

— Благословен бог наш всегда и ныне, и присно, и во веки веков...

Служба началась. Виктор стоял внешне покорный и спокойный. А все в нем вихрилось. Поп кланялся в землю, а за ним — точно по команде — кланялись все. Позади себя Виктор слышал шарканье. Лицо у Лизы было строгое и важное. Щеки побледнели. Она ни разу не взглянула на Виктора. Только мельком глянув на нее, Виктор понял всю важность минуты... Наконец поп кончил читать и дал молодым приложиться ко кресту. Василий Севастьянович первый подошел поздравить молодых. Он попытался что-то сказать, но от волнения только всхлипывал. По его бороде катились слезы. Иван Михайлович, целуясь с Виктором и Лизой, тоже дышал шумно. Матери жениха и невесты откровенно плакали. У Лизы на глазах стояли слезы. Виктор стиснул зубы: так невыносимо было это общее волнение. Успокоившись немного и вытирая платком рыжую широкую бороду, Василий Севастьянович сказал хорошим теплым голосом:

— Пятнадцать годов мы готовились к этому дню. А вот пришел он — и все мы удивляемся, как скоро случилось! Будто недуманно-негаданно.

— Верно, сват! — закричал Иван Михайлович.— Уж кому-кому, а мне совсем негаданно. Знал бы ты, как он отбивался! «Ни за что, говорит, никогда, говорит, не женюсь, говорит, на Елизавете Зеленовой!» А потом сразу: «Папа, я хочу жениться». У меня ножом полыснуло по сердцу: «На ком?» — «На Елизавете Зеленовой». Ах ты!..

Гости придвинулись стеной, поздравляли шумно, жали руки жениху и невесте — все толстые, крупные, выросшие на цветогорских жирных купеческих хлебах. И между ними Иван Иваныч Кульев — ростом сажень без вершка, молодой красавец

с темной мягкой бородкой, со смеющимися глазами, весь такой огромный, сильный, и рот у него открывался, будто западок.

— Поздравляю! Поздравляю! — пророкотал он октавой, точно прогремел гром за горой.

А Василий Севастьянович, с растопыренными руками, уже носился среди гостей, точно ловил кур, лапая каждого, звал:

— Гости дорогие, в сад пожалуйте! Хоша и нежданно все свалилось, а обмыть такое наше торжество надо.

Виктор и Лиза, держась под руку, пошли впереди гостей в сад. Яблони, все унизанные румяными, полновесными, крепкими яблоками, стояли словно молодые, щедрые купчихи. И между яблонями толпились столы, накрытые сверкающими скатертями, столы, переполненные яркими бутылками, блюдами, тарелками. По усыпанной желтым песком дорожке нареченные прошли к столу, а гости — за ними. Василий Севастьянович и Ольга Петровна усаживали гостей. Виктор наклонился к невесте и сказал вполголоса:

— Моя Дерюшетта!

Лиза улыбнулась. Сам Василий Севастьянович на подносе подал нареченным по бокалу шампанского...

С того дня и повелось: как утро — Виктора уже нет дома. Где? У Зеленовых. Вдвоем уходили на горы, на лодке уезжали за Волгу. И в эти немногие дни оба они расцвели, развернулись: счастье всегда красит и дает силу. Когда они вдвоем проходили по улицам — оба красивые и сильные,— народ останавливался, смотрел им вслед, и по самым суровым лицам бродила улыбка. Виктор сердился, что идет пост и приходилось отложить свадьбу...

Ксения Григорьевна приходила к Зеленовым.

— Свашенька, матушка, где сынок-то мой? У вас, что ли? Уедет скоро в Москву, и не увижу его.

— Ушли, милая свашенька! По горам ходят, обувь бьют. Приданое надо примерять, а ее нет.

— Что же это они? Будто и негоже так до свадьбы. Люди бы не осудили.

— Уж говорила я своей-то. Не слушает. Смеется только.

— Беда с нынешними. Вот как скоро! Ровно вихрем подняло их.

— Истинно — вихрем. Что ж, от судьбы не уйдешь. Пойдем-ка, погляди, какое приданое шьем. Пусть они там по горам ходят...

Да, по горам. Тропинками — чуть отстать — жадно глядеть, как идет она, большая, вся трепещет под тончайшей белой преградой, вдыхать ее аромат, от которого кружится голова и поет сердце. Поцелуи украдкой, торопливые объятия, затуманенные глаза. И вздох — шепотом:

— Мы сумасшедшие. Оставь! Не надо! Подожди!

А вечером отец смеялся над Виктором:

— Ты, брат, сперва с тестем о приданом поговорил бы. Смотри, прогадаешь.

А Виктор, смеясь, отвечал:

— Не прогадаю!

Свадьбу справили через два дня после успения, справили по-старинному. Елизавета Васильевна была в белом платье, в белом шелковом платке, а в руке — голубая лестовка. А Виктор — в черном старообрядческом кафтане-сорокосборке, в высоких сапогах,— этакий мужчина молодой да здоровенный! И могуче пели дьячки в унисон старинным знаменным распевом, голосами задорными, высокими. И шумен был пир свадебный в андроновском и зеленовском домах — все цветогорское купечество было на пиру. Об этом пире весь город говорил потом целые полгода. И в первую ночь, когда свахи и дружка со смехом и старинными прибаутками проводили Виктора в спальню, где, укрывшись одеялом до подбородка, уже лежала на кровати невеста, стыдливо прикрывая глаза, Виктор встал перед постелью на колени, она обвила его голову руками. И, только увидев и ощутив ее всю — прекрасную, большую, он понял, что иногда можно захлебнуться от счастья.

На третий день отец сказал Виктору:

— Поезжай, отслужи панихиду на могиле дедушки. Я послал за священниками.

Молодые поехали в пролетке вдвоем. Виктор правил сам. Когда попы и дьячки запели «Вечную память», Виктор поклонился в землю, прислонился лбом к могиле, и ему разом представился сад, Волга, Змеевы горы, дедушка с белой бородой и — пустыня.

«Дедушка, ты видишь?»

Возвращались тихо, молчаливые. Виктор сказал:

— Ты знаешь, мой дедушка завещал, чтобы я женился на тебе.

Елизавета Васильевна улыбнулась:

— Я знаю об этом.

Дома их встретили новым торжеством. Иван Михайлович поцеловал сноху и подарил ей дорогое жемчужное ожерелье.

— Двадцать годов я хранил вместе с моим отцом это ожерелье, готовились подарить жене моего сынка. Вот теперь дождались. Носи, сношенька, на здоровье!

Через неделю молодые уехали на карамановский хутор Зеленовых.

Сентябрь стоял яркий, теплый. Просторы, покой кругом, паутина, птицы — все было полно жизни, крепкой и неубывной.

Обозы с зерном тянулись к зеленовской мельнице. В саду дозревали последние яблоки.

Молодые не разлучались ни на час. С утра они ходили далеко в степь, часами сидели на курганах, порой молчали, переполненные взаимным любованием, порой говорили неудержимо, и не разговоры были — огненные реки. Страстные, утомительные бури, так ошеломившие его в первые дни, уже начали утихать. Все время одни, все время с глазу на глаз,— они уже с некоторым покоем смотрели один на другого. Чего желать? Он теперь знал ее всю, до последней самой сокровенной родинки. Она теперь была для него до конца прочитанной книгой — прочитанной враз, залпом, оставившей один восторг в душе, и можно и нужно читать теперь покойно — страницу за страницей, любуясь и наслаждаясь каждой строчкой. Но уже звал город, нужно было ехать в Москву, в академию, теперь почему-то вдруг потускневшую. Они вернулись в Цветогорье. На семейном совете (теперь целым табором совещались — двое Зеленовых и все Андроновы) решено было: Виктор доучится, кончит академию и уже тогда возьмет дело на себя.

— Надо быть, царем ты будешь,— сказал ему, смеясь, тесть.— Похоже. Потолковать бы вот нам, объединить капиталы. Теперь все объединяются. Сила к силе — не две силы, а три. Ты как думаешь?

Но не хотелось Виктору говорить ни о деньгах, ни о делах: еще стоял туман в голове. И только уже в Москве, в тихой квартире на Лесной улице, уже в начале зимы он немного опомнился и посмотрел на все трезвыми глазами. Да, это правильно: он кончит академию и тогда возьмет дело в руки. Что ж, цель ясна.

Труднее было взяться за науки; сухими и серыми показались теперь они, но взялся, впрягся. Свеча загоралась светом сильным и ровным. Дерюшетта здесь. Утром, до света, вскочив с постели, он видел ее полусонную улыбку, чуть сбившиеся волосы, она обнимала его теплыми, круглыми, голыми до плеч руками, говорила сонно:

— Уже встаешь? А я еще полежу.

Он завтракал один, собирался торопливо, бежал в академию. Утро только-только начиналось. Теперь ему совсем неинтересны были товарищи — их попойки, интрижки, песни... С отвращением он вспоминал Вильгельмину, словно на новую очень высокую ступень он поднялся. Он стал деловит, держался ближе к профессорам, читал много. А вечером, возвращаясь, он ждал радостную улыбку Дерюшетты — жены самой законной. Месяц и два она неизменно встречала его одним и тем же известием:

— Посмотри, что я сегодня купила.

И показывала картину, вазу, кружево. Она создала сразу уют, бодрость и радость... Вечерами — поздно, к полночи — лечь в постель и ждать. Жена подошла к зеркалу, чуть усталой

походкой, лениво глянула пристально на свое лицо, наклонившись к самому стеклу, и быстро отодвинулась, выпрямилась. Она подняла руки к прическе — и на момент сверкнуло богатство ее груди, схваченной тонким платьем. И волной упали золотые волосы на плечи, закрыли, одели. Лицо стало проще. Она села перед зеркалом на стул, медленно перебирая тонкими пальцами пряди волос. В золоте волос порой сверкало золото обручального кольца. Все — все струной,— неизведанное вино — ждать, томиться.

А коса уже заплетена, змеей на плечо, с плеча — на спину и ниже. Еще раз жена глянула в зеркало, подняла руки к застежке у ворота. И вот рабынями покорными падают у ног ее и возле на кресло одна за другой одежды, словно опустошенные меха, в которых нет больше сладчайшего ароматного вина. Стыдливая, смущенная усмешка:

— Что ты так смотришь? Закройся!

Покорно одеялом закрылся, а щелочка есть, и — видение еще прекраснее. Упали последние преграды. Сусанна библейская встала, и... разом тьма. И через миг чьи-то руки тронули одеяло, аромат ударил в лицо. О, будь благословенна жизнь!

И еще вот много раз Виктор удивлялся: иногда его жена говорила о литературе, музыке, живописи и называла имена, о которых он никогда не слыхал. Он чувствовал: жена говорила умно, и ему немножко было совестно признаться:

— Я их не знаю.

Она смотрела на него снисходительно:

— Узнаешь.

«Узнаю. Когда узнаю?»

Ему казалось: времени у него мало, а работы над собой и вообще много,— скорей надо, скорей.

В академии в этот год шли глухие брожения. Студенты собирались тайно, были возбуждены, но держались молчаливо, как заговорщики. Виктор, как и прежде, ни с кем из них не сходился, держался далеко и от их сходок, и от разговоров с ними. Иногда кто-нибудь из них — лохматый, в красной рубахе — совал ему в руки подписной лист, говорил почти приказывающе:

— А ну-ка, коллега, черкните что-нибудь на самые настоятельные нужды.

И Виктор полуснисходительно писал:

«NN — три рубля».

И эта сумма — три рубля — была оглушающей, потому что кругом были только студенческие гривенники и пятиалтынные. А куда шли эти сборы, Виктору было совсем безразлично, как и вся студенческая жизнь с ее сходками и тайнами, он думал — такими же маленькими и дешевыми, как эти гривенники и эта красная рубаха и длинные волосы.

Бывали дни: дома он заставал письмо в широком белом конверте, надписанном размашистым почерком. Это Лихов вызывал к себе. Он был прост — Лихов (дома он носил фланелевую

рубаху с отложным воротником), настоятельно расспрашивал о всех мелочах андроновского хозяйства, нервно крутил пальцами бородку, нервно посмеивался, если ему были приятны Викторовы вести, или хмурился и отрицательно качал головой, если ему не нравились вести.

— Ай-ай-ай! Какое хищничество! — укоризненно восклицал он.— Вот варварская страна!

И, спохватившись, говорил, будто оправдывал:

— Впрочем, иных путей и нет. Что хорошо в теории, на практике не всегда осуществимо. Ваш отец поднимает целину, первым входит в пустыню. По-настоящему ставить хозяйство будете вы. Он завоеватель-хищник. Вы уже и завоеватель, и культурный строитель. Для меня вы — интересный хозяин. Я думаю, вы будете большим работником для всего края. Вам следует осознать свою роль. В Америку бы вам съездить, там посмотреть и поучиться.

С отуманенной головой возвращался в такие вечера Виктор домой от Лихова. И ему казалось, что он в самом деле необыкновенный человек — завоеватель, герой.

Этот год пролетел незаметно. Весной тотчас после экзаменов Андроновы уехали домой.

Раз перед вечером — с неделю уже прошло по приезде и уже сгладилась острота встречи — Виктор с отцом и тестем долго сидели на балконе, беседовали. В двое рук — отец и тесть — расспрашивали Виктора о Лихове, об учебе. Оба здоровенные, пышущие энергией, они наседали взапуски, и Виктор невольно поддавался их жадным расспросам, сам заговорил, вкладывая в слова тайное, что накопилось у него. Он говорил о мировом хлебном рынке, о конкуренции с Америкой, о возможностях поднять на ноги весь край... Тесть рассмеялся:

— Ну, ты, брат, почище американца у нас.

И похлопал широкой ладонью Виктора по плечу — весь такой круглый, подвижной Василий Севастьянович Зеленов,— и любовно посмотрел на его голову, на плечи, в глаза.

— Эх-хе-хе, продвинулась жизня, пошла, не стоит середь двора, а на улицу да на площади прет. Идут люди, которым все надо захватить, чтобы теплее было да сытнее.

— Не только мне. Я буду сыт и обогрет, и другим тепло и сытно будет.

— Правильно, это еще Евстигней Осипович говаривал покойный: «Мы, купцы, первые строители русской земли». Из пустыни мы делаем богатую страну. Твой дед с отцом, мой отец — все там работали. Кто дорог-то настроил? Мы. Хутора-то чьи? Наши. Так-то, зятек любезный! Сперва друг к другу с ножами подступали, а теперь, гляди, вся сила в одно русло сливается. Не дрейфь, малый!

— Ну, будет вам возноситься! Глядите, бог рога не сбил бы,— засмеялся Иван Михайлович.

— А что, сват, бога-то мы не обижаем...

Трое они сидели на балконе, а внизу, по скату от балкона — сад, дальше — Волга необъятная. В саду Ксения Григорьевна ходила с Елизаветой Васильевной. Одна толстая, будто кубышка. Другая — в белом платье, высокая и гибкая. Они ходили медленно, и не слыхать было, о чем они говорили. По золотым дорожкам ходили, будто плавали. Волга была вся синяя, и лес за Волгой уже потемнел в надвигающемся вечере. Далеко в лугах — в Маяньге — виднелась белая церковь. Василий Севастьянович замолчал, долго задумчиво глядел на дочь, потом наклонился к Виктору, оглянулся воровски: не слышит ли кто? — и обжигающим шепотом зашептал:

— Ты вот что, зятек, мечты мечтами, а дело делом,— прошу тебя: не плошай, готовь нам смену поскорее. А то порасспросил я намедни Лизу — театры там у вас, музыки,— баба за каждой тряпкой пестрой бежать готова. А ты в корень лупи, чтоб нам смена скорее. Мне внука надо. Это без разговоров. Не отвиливай, брат!

Виктор заполыхал полымем, даже шея загорелась. Иван Михайлович искоса насмешливо посмотрел на сына:

— Что? Съел?

Виктор насупился, не зная, куда глаза девать.

— Музыка-то музыкой, а дело делом,— сказал серьезно Иван Михайлович.— Ну, не стыдись, дело житейское.

Лето и вся почти зима прошли точно в тумане — в работе. Некогда было остановиться и задуматься. Отец с Василием Севастьяновичем стакнулись, купили участок казенной земли в пятнадцать тысяч десятин: это был первый шаг объединенного капитала.

«А еще сообщаю тебе, сынок,— писал Иван Михайлович уже в Москву,— порешили мы строить хутор на самой речке Деркули. Земля там пустующая, и мы с твоим тестем тот хутор назвать хотим Новыми Землями. Похоже, толк будет».

Елизавета Васильевна засмеялась, прочитав письмо.

— Послушай, мы, кажется, скоро будем первыми богачами в Цветогорье.

Виктор улыбнулся, сказал:

— Скорее бы развязаться с Москвой — и туда бы!

А жена вдруг задумалась:

— Ну хорошо. Богаты. А дальше что?

Виктор удивился:

— То есть как дальше?

— Что с этими богатствами делать? Что нам делать с нашей жизнью?

— Вот тебе раз! Это странно!

— Почему странно? Прежде я много думала — зачем я живу? Думала и не могла решить. Ждала. Вот придет ко мне муж, придет любовь — тогда он скажет, и все будет ясно.

— Что же теперь?

— Вот ты смеешься, радуешься богатству, хочешь скорее бросить Москву, ехать туда дело делать. А я не знаю, я боюсь чего-то.

— Чего?

— Как будем жить?

— Да, конечно, цель должна быть ясна. Для меня она ясна. Я хочу строить. И буду строить. Знаешь, когда я был маленький, я вообразил себя Жильяном из «Тружеников моря» — с такой твердой волей, с большой настойчивостью. И годы целые воображал, готовился сражаться с каким-то страшным врагом, хотя и сам хорошенько не знал, с каким. Отец мне говорил: враг — это заволжская пустыня. А я верил и не верил. Приехал сюда. Лихов говорит: «Россия спит. Вы должны разбудить ее. Вы строители. Перед вами самые широкие благородные задачи». И — молнией передо мной: спит Россия, я ее разбужу. Ты меня понимаешь?

— Я не знаю... Я не знаю, как ты можешь разбудить. Строить хутора, пахать землю — разве это разбудить? Вот если бы ты был писатель, как Пушкин или Белинский, например. Вот у них и жизнь интересная, и на самом деле... будили.

— Ну, не всем быть Пушкиными! Пушкин сам по себе, я сам по себе. Каждый в России может работать: будить, жить красивой жизнью, бороться. Только бы воля твердая была.

— Но Пушкин... и хутора.

— А чем же мои хутора хуже пушкинской поэмы?

У ней широко открылись глаза.

— Разве можно сравнить?

— Почему же нельзя? Разве твой отец не творил дело побольше, пожалуй, поэм пушкинских? Пустыню он превращал в благоустроенные поля и сады. Это разве не творчество? Творчество настоящее, прямо как в священном писании: земля была безвидна и бесплодна. Все наше Заволжье безвидно и бесплодно. Пришли наши отцы...

— И стали разорять киргизов и башкир.

— Ну, это, положим, не совсем так. Киргизы и башкиры — дикари. Они должны были сменить образ жизни. Из земли надо извлекать максимум пользы. А они что делали? На тысяче десятин они пасли тысячу овец. Впрочем, мы не обижали никого. Русское правительство отняло у башкир землю или купило за бесценок, давало русским мужикам и русским помещикам.

— И нашим отцам.

— Мой дед и отец и твой отец покупали на чистые деньги.

— Да, по гривеннику за десятину.

— Что ж из этого? Эти десятины были брошены. Кроме типчака, на них ничего не росло. Вся земля впусте лежала. А мы теперь ей дело даем. Мы хлеб на ней делаем, и хлеб не только сами едим, а кормим половину России, и Европу кормим...

— Может быть, ты и прав, а вот я... ждала чего-то большего.

— Чего же большего?

— Не знаю, а чего-то ждала.

Виктор вспыхнул, сказал раздраженно:

— Да, конечно, если бы я был доктором, ходил по больным и получал за это полтинники и рублевки, ты была бы довольна.

— Что ты?

— Или инженером — за полтораста целковых...

— Перестань!

Она посмотрела на него пристально, темными, вдруг глубоко запавшими глазами, повторила:

— Перестань!

— Разве ты не понимаешь, какая путина перед нами? Мы пустыню сделаем цветущим садом. Строить, творить — разве это не дело? Не знаю, как ты, а я... Кажется, я знаю свои пути. В чем цель жизни? По-моему, в творчестве, в борьбе с хаосом. Вот этой дорогой я и пойду.

— А я?

— А ты...

Виктор будто на стену наткнулся, не зная, куда метнуться.

— А ты... мой оруженосец. Мы — двое.

Она опустила голову, обняла руками колено, большая, в синем — в своем любимом — платье.

— Знаешь, я тебе верю. А чего-то хочется. Я думала, жизнь у нас будет необыкновенная.

— Да, у нас жизнь будет необыкновенной.

— Да, да, я верю. Ты прав. Так что-то я в последнее время нервничаю.

— Но что с тобой?

— Знаешь... У меня, кажется, будет ребенок...

В июне в андроновском доме было торжество: крестины. Опять полон дом был гостей, опять был молебен с лохматыми попами, опять в большой зале столы стояли покоем — и за столами шумело все цветогорское именитое купечество. Пили за молодых родителей, пили за стариков — Андроновых и Зеленовых, пили за новорожденного внука Ваню.

Мучник Иван Федорович Волков — балагур и балясник — закричал на всю залу:

— Ну-ну-ну, одному деду есть теперь внучек, есть смена. Только которому деду? Ивану или Василью?

— Ивану, это как пить дать,— засмеялся Иван Михайлович.

Но вмешался Василий Севастьянович:

— А похоже, Василью. Гляди, весь в наш род идет, в зеле-

новский. Ты нос-то, нос прими во внимание. Нос у него — курнофлястый, как у нас.

Василий Севастьянович говорил серьезно и убедительно.

— Нет, сват, ты не спорь. Внук мой. Я этого внука сколько годов ждал.

— А я не ждал? Га, чудак ты, Иван Михайлович! Будто ты один ждал.

— Да будет вам, сватья, спорить-то,— пропела пьяно сама Зелениха,— жребий лучше метните.

— Не дозволительно метать жребий о живом человеке, а паче о младенце,— забасил поп Кирилла, уже достаточно пьяный, со свеклеющим лицом,— не дозволительно. Но, братие и сестры, будем молить и будем просить молодого мужа, а также молодую жену молить будем: «Не прекращайте сего великого дела, не останавливайтесь на половине пути».

— Верно-о! Го-го-го!

И рев, и хохот, и веселые, прозрачные, солоноватые шутки прервали попову речь. Уже пьяненькие мужчины стеной поднялись вокруг стола с бокалами в руках, а за ними поднимались, смеясь смущенно, женщины, тоже с бокалами.

— Виктор Иванович и Елизавета Васильевна! Просим продолжить! Ур-ра-а!

Попы запели:

— Многая лета! Многая лета!

И весь сонм подхватил, заорал, заревел:

— Многая лета! Ура!

И лезли чокаться со смущенной Елизаветой Васильевной, говорили грубоватые шутки:

— Дорожка теперь проторена — только катайся.

— Почин дороже денег.

— Не забудь, молодая, до двенадцати еще далеко.

— Старайся, Лиза, на пользу отечества! Баба только этим делом и сможет послужить Расее!

Старики и женщины целовали ее в губы, а кто помоложе — влажными губами присасывались к ее руке. Кто-то облил ей платье вином. Поп Кирилла бубнил над ее ухом:

— Ты смоковница, давшая плод. Господь благословит тебя, а мы за твое здоровье хорошенько выпьем.

И, отойдя, уже качаясь, запел, помахивая левой рукой, а в правой высоко держа бокал:

— Многая лета! Многая лета!

И притопнул, как будто собирался пуститься в пляс, и чуть расплескал вино. Гости опять запели, заорали. У дальнего стола оглушительно кричали «ура»: там поймали Виктора, пили за его здоровье.

— Да не погибнет род андроновский! Ур-ра-а!

А через день после пира Виктор уже скакал верхом по заволжской дороге — на Красную Балку. А еще через неделю уехал в Москву, где надо было сдавать летние зачеты.

Лето целое он жил в пустой квартире, работал все дни напролет, не давая воли ни страсти, ни скуке. Он стал серьезнее, словно мысль, что теперь он отец, подстегивала его, состарила. В августе Елизавета Васильевна приехала в Москву с ребенком, нянькой и матерью. И дом ожил, наполнился бодрящим шумом. Тихим светом теперь светились ласки, совсем неутомительные. Виктор видел, что жена его переживает пору безбурного счастья, по-настоящему крепкого, и сам был спокоен и счастлив и работал бодро и упорно. Чаще он теперь думал о своей будущей жизни самостоятельной, о России, о богатстве и бедности народной, и мысли были у него какие-то новые — крепкие и трезвые, какие-то мускулистые, не то что прежде — все розовый туман и расплывчатость.

Однажды вечером — уже зимой это было — Елизавета Васильевна пришла к нему в кабинет. Ему не хотелось отрываться от книги, но он встретил ее обычной улыбкой. Елизавета Васильевна цвела теперь, пышнела, была вся уютная, и тепло было около нее хорошим человеческим теплом. У нее были мягкие движения, чуть ленивые.

— Я тебе не помешала? Ты что делал?

Они поговорили о книге, которую он читал. Она спросила:

— Скажи, почему купца так осмеивают? Читала я сейчас вот и, знаешь, удивилась как-то. Умнейшие люди ведь пишут.

Виктор подумал.

— Я думаю, над нами смеются, не понимая нас. Конечно, были такие — и грабители, и самодуры, и дураки. И есть еще. Но уже отошли и отходят. Над этим я и сам много думал. Купец стоит между двух вражьих сил: бедняком, который завидует, и аристократом, который купца боится.

— Ну, а писатель, интеллигенты вообще?

— Ну, ты опять о том же? — Он чуть-чуть покривился.— «Писатели, интеллигенты...» Что ж, это — люди мечты. Или, если хочешь,— собаки, лающие на ветер. Дьявол их знает. Вот не сообразили, что купец — представитель народа: в третьем, четвертом восходящем поколении это обязательно мужик. А только народ строит жизнь и государство, а не интеллигенты и не аристократы.

— Ну, ты, кажется, неправ. Инженеры, например...

— Что ж, инженеры? Они все сплошь у купца в работниках служат и делают, что им прикажет купец. А доктора там, адвокаты — это так, шантрапа, дешевка.

— Ого, как ты смотришь!

— А ты как думаешь? Ну-ка скажи, что создали адвокаты или доктора? Ничего! Даже господа писатели немного стоят. А купец — целые страны создал. Америка, например, страна, выросшая только благодаря купцу. А Россия?

Он повернулся к ней лицом, заговорил, волнуясь:

— Посмотри-ка на Россию. Пустыня везде была. Пришел сперва мужик, этот неорганизованный землероб, а потом мужики

на своих плечах подняли трактирщика — купца. Завистники говорят про грабежи, убийства, эксплуатацию. Врут! Знаешь, я хочу поехать в Америку.

Елизавета Васильевна посмотрела на него испуганно, спросила:

— Когда? Зачем?

— Весной поеду, хочу посмотреть, как там с пустыней воюют. Там ведь тоже некоторые штаты вроде нашего Заволжья были.

— Я не согласна. Я не пущу тебя.

— Почему?

— Да мало ли что дорогой может случиться.

— Ну, что за дикость? Ничего не случится. Лихов мне настоятельно советует съездить.

Она ответила с трудом:

— Что ж Лихов! Я не могу отпустить!.. У меня, кажется, опять будет ребенок.

Не ошиблась Елизавета Васильевна: в середине лета в андроновском доме опять были крестины — не такие пышные, как первые, но такие же шумные.

Сватья теперь не спорили.

— Иван Михайлович! Ты теперь не вступайся! Мы мирно поделим теперь. Тот твой, этот мой.

— Идет, сваток! В таком разе по рукам!

Василий Севастьянович поднялся торжественно и сказал:

— Вот перед всеми дарю моему внуку новорожденному на зубок сто тысяч. Завтра же перевожу на его имя.

И гости грянули:

— Ур-р-ра!

— Стараются, сваха, наши ребята! — сказал насмешливо Иван Михайлович Зеленихе.

— Не сглазь, сват! Пусть сперва нам со сватьюшкой по внучке изготовят, а там уж и перерыв можно сделать.

Тут вмешалась Ксения Григорьевна:

— Зря вы его отпустили. Эх, не глядели бы на вас мои глазоньки.

Иван Михайлович нахмурился.

— Молчи, жена, это не во вред. Пусть поглядит, поучится.

— Не во вред, сваха! — кричал через стол Василий Севастьянович.— Я его давно, шельму, заметил! Голова! Мы вот, ничего не видя, сидим, а он в Америку. Ты мать. Ты гордись. Из нашего купеческого звания и до самых высоких наук доходит, и капитал есть. Королем будет.

— Да ведь это... воды там одной на две недели езды. Утонет — и телес не найдем...

— А кому на роду что написано... Подожди, вот к осени вернется.

— Тогда и до новой внучки будет недалеко.

— Ха-ха-ха! Ур-р-ра!..

## VI. Жнитво

В Покровске, на самом берегу Волги, стояли и стоят столетние осокори, высоко протянув в небо зеленеющие руки, вот под ними в Покровске каждое лето к петрову дню собирались тысячи жнецов и жниц. Их привозили сверху купеческие дешевые пароходы, привозили перевозы из Саратова, привозили тысячеголовыми стадами, жадными и упорными. На пароходах жнецы ехали на палубах, вперемежку с тюками шерсти и крепко пахнущих кож, бочками масла, с кулями крупы или ящиками щепного товара, ехали, набиваясь на нары, спали вратяжку на корме, прямо под свежим волжским ветром. И матросы на привалах будили их ногами, хлопая баб по бедрам, а мужики при этом смотрели испуганно и серьезно, не решаясь заступиться.

Так съезжались на жнитво — пышные именины земли — русские крестьяне, покорные, молчаливые, все выносящие, чья жизнь похожа на траву в поле — бесшумно цветущую, бесшумно увядающую. Она — эта жизнь — как дым на ветру. День, два, три, неделю сидели жнецы здесь, в Покровске, под осокорями, разморенные бездельем и зноем, ждали нанимателя. Здесь бывали саратовцы, симбирцы, рязанцы, даже владимирцы, где «через версту — деревня». Раз в году их выбрасывали тесные, голодающие внутренние губернии, выбрасывали сюда, на ловлю заработков, для мужика умопомрачительных. Пестрой оглушающей толпой толклись они на берегу: бабы — в белых поневах, рогатых кичках, в рубахах с красными прошивками, мужики — в посконных рубахах и посконных портках, все — в лаптях или босиком. В эти дни они ели чуть-чуть — корочку черного хлеба. Вечерами по всему берегу горели костры, над кострами чернели котелки, в них кипела вода с горсточкой пшенца, привезенного из дома, сбереженного в дни крутого голода, там, дома, чтобы вот здесь, перед тяжкой рабочей страдой, не потерять богатырского вида, не показать, что бесхлебная зима вытрясла силы.

Утром на базаре появлялись наниматели: немцы-колонисты, хохлы-хуторяне, приказчики с хуторов и имений,— народ важный и важничающий, потому что за ними сила — деньги. Все они, в сапогах, в картузах, пиджаках, с кнутами,— обязательно с кнутами в руках, а немцы с длинными трубками в зубах,— ходили, высматривали. Их тотчас венцом окружали эти холщовые лапотники.

— Нас бери, хозяин, нас! Мы — дешевые.

Наниматель важно оглядывал их, иногда бросал:

— Сколько?

— Шесть целковых с десятины.

Наниматель презрительно осматривал их и шел дальше. Но на него крепче наседали.

— Ну, ты по-божески. Сколь даешь? Говори свою цену.

Наниматель молча поднимал руку вверх с тремя растопыренными пальцами. Буря криков взметывалась до неба.

— Что ты, дьявол толсторылый, аль на тебе креста нет? Живоглот! Разбойник!

— Убить его мало!

А тот шел, чуть усмехаясь, поглядывая презрительно.

Но кто-то рваный, изъеденный нуждой до собачьих морщин, пробирался к нему, хватал за руку:

— Даешь пять?

— Даешь четыре с половиной?

— Даешь четыре?

— Не даешь? Ну, дьявол с тобой, иди!..

Тогда наниматель оглядывался, искоса осматривал крикуна, говорил:

— Три с четвертью.

Крикун бросался к нему:

— Четыре без четвертака.

— Ты подумай, сто десятин.

— А-а-а, за три с полтиной.

В толпе вскипало негодование.

— У-у, дьявол, цену сбивает! Дать бы ему выволочку!

Но наем уже шел вовсю и по три с полтиной за десятину. И уже, только нанявшись, продавшись, спохватывались: не поговорили о харчах.

— Смотри только: чтобы харчи хорошие, по-божески...

Нанимались охотнее к немцам и к хохлам-хуторянам: «Те хоть пищей не обидят», и только по необходимости шли в имения и хутора к купцам, где «приказчики — сплошь живоглоты».

А звонкие, повелительные голоса кричали тут, там — в разных местах:

— Ну, кто к Зеленову? Кто к Андронову? Отходи сюда!

И толпа густо шла за повелительным криком.

— Вы?.. Сколько вас? Двести семьдесят? Вы на Караман пойдете.

— А нас куда?

— Вы к Красной Балке.

— Так к кому же это? К Зеленову или к Андронову?

— Ныне все едино: хоть к тому, хоть к другому — цена одна.

И рваная толпа на берегу редела, чтобы к вечеру, с приходом купеческих пароходов и перевозных паромов, снова загустеть, до завтра, до утра.

И от Покровска во все стороны тянулись обозы — к Рукополю, на Иргиз, на Узеня и дальше к Уралу-реке, в казачьи степи. Уходили скотские поезда, битком набитые людьми.

И тогда пустыня между Волгой и Уралом загоралась кострами и песнями. Просоленный пот мужиков и баб саратовских, тамбовских, пензенских и рязанских капал в тучную землю.

Сверкали серпы и косы, и, словно пупыры на коже, вставали миллионы суслонов и скирд по бескрайним степям.

Со стана уходили ранними утрами — едва-едва поднималась роса (хлеб по росе не жнут) — и, согнутые, полуголые, резали серпами стебли ржи и пшеницы.

Спешили, гнали, рвали, не жалея жизни, лишь бы вышибить лишний четвертак. Уже к полудню у жниц не разгибалась спина и затекали руки. Когда они — в одних рубахах — поднимались и шли к ближнему суслону, чтобы выпить глоток тепловатой воды, они шли разбито, как старухи, и стонали. Но где-то раздавалась подмывающая песня — вот на соседних полосах: у кого-то сил много — и как ее не подхватишь? Пусть зной палит, пусть пот льет, песня звенит.

В полдень на дальнем хозяйском стане на высокой жерди поднималась темная тряпка. Это был сигнал:

— Обед готов!

Тогда ветер радости проносился по всем полям. Песни звенели сильнее, и отовсюду шли жнецы и жницы — к стану, а дальние присылали подростков верхами с котлами для щей и каши и с мешками для хлеба.

Кругами садились на жнивье на ватолах, десять жадных ртов ели из одной деревянной чашки, выдолбленной из самой толстой липы, из чашки в два охвата, ели ложками, одна на три рта хватит, и нужно было пять раз подливать щей и подкладывать каши. А вокруг чашки, прямо на ватоле, горами лежали ломти черного хлеба. В эти дни у едоков был аппетит, побеждающий и червивую солонину, и гнилую капусту, и хлеб с куколем и соломой, и кашу с охвостьем.

Наевшись, чуть отползали, стоная от сытости, и укладывались врастяжку отдыхать, только закрывали лицо подолом рубахи или платком, чтобы мухи не лезли в раскрытый храпящий рот.

Спали мертвецки полчаса и час. И в это недолгое время, случалось, озорники молодые приказчики ходили между спящими, палками поднимали у баб и девок подолы на голову. Но никто не видел, не слышал, не чуял: все лежали, сраженные сном.

Через час на стане звонили косой о косу, и властно пробуждалась воля:

— Э-эй, вставай!

Вскакивали артельные, торопливо будили своих, и вот в один момент толпы людей, отупевших от короткого сна, поднимались, шли на свои полосы. И снова под солнцем — теперь более жгучим — сверкали серпами и косами. Но в эти послеобеденные тяжкие часы жницы молчали.

Солнце огненными руками держало всю степь крепко, и у людей не было сил дышать полной грудью.

Так проходили час, два, три.

Вдруг кто-то почуял: злое солнце на момент ослабило свою

огневую руку. Можно выпрямиться, вздохнуть глубоко. И человеческий голос — песня — мчался над просторами.

— Чу, поют!

И с песней будто свежий ветер — мысль, что скоро конец работе.

На песню откликнулись, и — пусть зной! — жницы запели птицами, перекликаясь.

И степь сама вздохнула — почуяла перелом: сейчас будет спадать жара.

Пошло, пошло солнце наутек, за самые дальние поля. Тут полдник бывал: усаживались там, где жали, на свежесжатых снопах, пили воду, наскоро жевали зачерствевший хлеб, уже пропахший землей и солнцем. Потом опять принимались за работу, уже с могучей песней, разливной,— за работу до заката. По полям уже пробежали розовые тени. А там, на востоке, затуманилось,— оттуда идет ночь. Закраснело на западе. Красного все больше: веселым красным пожаром загорелась бескрайность. От скирд, от стен несжатой пшеницы побежали длинные лиловые тени, из долины потянуло мягкой прохладой.

А солнце бегом, что есть духу, бежало к земному дальнему краю. Вот оно зацепило за край, и разом все густо залиловело, глянуть на солнце — глянуть теперь можно,— в глазах будет мелькать крутящийся заслон, и после глянешь в стороны — заслон всюду закрутится.

И задорная песня. В ней радость:

— У-ух, отработались!

Вот только краешек солнца виден, вот и краешка нет. Весь запад закрылся пылающим кумачом. В степи быстро стемнело, и блеснули костры у стана ближнего и у всех дальних, словно звездное небо упало на землю. Вечерние песни поднялись в тихое темнеющее небо. Задорней стал смех и веселей голоса. Где-то далеко,— может, за две версты,— ударила гармоника. В травах по межам и в несжатом поле закричали коростели и перепела.

Тут жнецы баловались чайком (страда, можно!), а уже за скирдами девки прихорашивались: сейчас побегут в дальний стан, где пилит-зовет гармоника и крепким плясом гремит земля. А отяжелевшая от работы и еды баба кричит вслед убегающей семнадцатилетней дочери:

— Ната-шка-а-а-а! Ты у меня гляди, стерва, не забудь, што я тебе вчерась баила!

И Наташка смешливо откликалась:

— Ладно!

Сама знает Наташка. Не только вчерась, вот уже три года толкует про это мамынька. Где же забыть?

И пока старость с больной поясницей спит под телегами, молодое крепкое вино бурлит, и ночные песни летят по степи, и смех сыплется, а за скирдами шепот чей-то, а чей — не разобрать в темноте. Сон-угомон неслышно летит над полями. Темное небо льет прохладу. Перед утром становится холодно,

обильно падает роса, мочит лица, руки, ноги. Жмутся усталые люди, дрожат под ватолами. На небе забелело, и чьи-то бледные руки протянулись в вышине из-за дальнего края. Предутренне, яростно закричал дергун. В небе и в степи загорелись тихие огни восхода...

Так проходили две недели, три. И уже степь — во всей бескрайности — серела жнивьем, и по всем дорогам и межникам, как жуки, ползли возы со снопами. И тут для жнецов наступал момент самый важный и самый страшный: начинали обмерять сжатые поля. Всегда, испокон веков, сколь старики помнят, приказчики и хуторяне, немцы и русские — все старательно облапошивали жнецов. Артельные из сил выбивались, чтоб «все было по-божьи». Приказчики из сил выбивались, чтоб облапошить. Крики — всегда, драки — порой. А у Зеленовых и Андроновых драки чаще, чем где-либо. Зеленовские и андроновские приказчики ходили в народе под Малюту Скуратова. Куда пойдешь? Кому пожалуешься? Хозяева им все дозволяли, а полиция у них сплошь была куплена, вплоть до Николаевска и Новоузенска. Это у них сажени больше и шаг длиннее. Это у них солонина с червями и хлеб с песком...

— И чтоб вам на том свете углями господь отплатил! — ругали их бабы.

А мужики поливали их крепко и свирепо.

А когда после долгих криков сходились наконец, артельный, крестясь, говорил своим:

— Слава богу, только на три сажени ноне обмерили. В прошедшем годе на восемь...

И добавлял словцо круглое. А жнецы еще угрюмели, жницы шипели злобно, и тут пропадала радость труда.

Опять — в телеги или пешком, скорее в ближнее село, колонку или город, чтобы наняться на новое место, за цену, уже меньше прежней. Второе жнитво плохо кормит. И опять непыленые дороги, опять жара, истома, костры, песни и усталость...

А в года удач, после всех расчетов и ругательств с приказчиками и хозяевами, жнецкая рать поднималась довольная, зубоскально веселая, поднималась со сжатых и убранных полей и пешком или лошадьми ехала теперь по просторным дорогам опять к Покровску, к Волге, на перевозы — и домой. Тогда веселый смех и песни и крики хороводились по дорогам, на пристанях. Опять на пароходах и перевозных паромах царил крепкий (еще более крепкий) мужичий запах, но и сытый говор, и острая шутка царили.

— Жнецы едут с работы!

И вот им навстречу города выбрасывали стаи хищников — воров, гадателей, мелких торговцев, фортунщиков — людей ловких и пронырливых. Воры наряжались жнецами. Они говорили, как люди бывалые. Они — увлекательные краснобаи. Они — шутники. Они — ухажеры. Лопоухая деревня, доверчивая, как шестимесячный теленок, слушала их с восторгом и не

замечала их острых ищущих глаз. А через час ловкачи знали, у кого семейные деньги, где спрятаны: в штанах, в сапогах, под юбкой или за пазухой. И действовали наверняка, что кому надо... Если деньги у старика, у старухи — говорили с ними о боге, о загробье, о писании. С середняками — о землице и наделах. С девками и молодыми бабами — о любви, но не словами больше, а так — рывком, щипком, воровским ощупыванием.

И часто в неверном утреннем свете на берегу среди спящих вдруг раздавался пронзительный крик:

— Ой, батюшки, украли!

И каждый мгновенно хватался за свой кисет: «Слава богу, цел!»

Тогда подозрительно смотрели на соседей, соболезнуя, смотрели на корчащуюся на земле бабу или плачущего мужика и по-звериному скалили зубы: «Попадись только!» И правда, если вор попадался, били жестоко, до смерти, случалось, избитого бросали в Волгу. А раз вот Семен Резаев с женой, снохой и тремя девками-дочерьми приехали на перевоз радостные: больше сотни у снохи за пазухой лежало в тряпице. У снохи потому, что грудь у нее была обильна и никто не заметил бы маленькую тряпочку с деньгами. Вечером на перевозе толпа ловких зубоскалов хохотала с девками, со снохой и шутя теребила сноху за грудь... Утром сноха в голос:

— Батюшки, обокрали!

И тогда вся семья, Семен, жена, девки, плача и стоная, били остервенело сноху. А она вскочила на паром и с парома — в воду: только круги пошли по широкой мутной воде.

Бывало и так: из Заволжья возвращались богатыми, примеривали свою жизнь, свою землю, свои избы на то, что видали, и мечтали о богатствах, о просторах. Мечтали год, два, три. И по глухим деревням ходил говор:

— На нову бы землю! На простор бы!

Собирались семьями — пять, десять, пятнадцать — и ехали в далекие заволжские пустыни. Сколько там сел и деревень с именами: Калуга, Тамбовка, Пензенка, Рязанка... Это отголосок тоски о покинутой родине-мачехе. Но неугомонные шли годы, вырастало новое племя, и уже на вопрос: «Откуда вы?» — слышался ответ: «Мы с Узеней, там наша родина».

И уже меньше становилось «пустых земель» — жадные мужики саранчой накидывались на каждый свободный клок, изо всех сил тянулись запахать больше, больше, больше: плох мужик, бедняк мужик, если у него была полусотня десятин запашки и три лошади. А были мужики — тысяча десятин, две, три. Жирная земля наливала амбары хлебом. И пройди по селу — везде вздымают руки сеялки и косилки и сверкают высеребренными лемехами хмурые плуги.

И уже метались по Заволжью доверенные «Торгового дома Андроновы и Зеленов», отыскивали вольные земли, скупали, строили новые хутора.

## VII. О богатстве праведном

Зиму по приезде из Америки — всю — Виктор Иванович прожил безвыездно в Цветогорье. Никуда ехать уже не нужно было — все проселками, все проселками шел до сих пор, дожидаясь большой дороги. Вот и большая дорога, можно вздохнуть вольно, всей грудью.

Большое дело делалось твердо, точно неудержимая река текла. Капиталы оборачивались быстро, как только могли быстро оборачиваться в хлебной торговле, торговле вообще самой медлительной, хотя и всегда устойчивой, потому что хлеб везде и всегда нужен.

Виктор Иванович опасался одного: засухи и неурожаев. Они бывали в Поволжье часто. Уже дедом выработан был план, а отцом углублен и расширен,— план, как надо поступить в засушливые годы: часть урожая не продавалась, и в неурожайные годы, когда цены на хлеб невероятно поднимались, эта часть окупала все убытки от засухи. В Цветогорье, Баронске и Балакове в амбарах самых обширных запасной хлеб лежал годами.

Теперь кроме этих мер еще пущено было в ход: скупка по всему Поволжью, Заволжью и Приуралью. Если в одном месте не будет урожая, будет в другом. А главное, широко ставилась борьба с засухой.

На андроновском дворе, в каменном флигеле, где прежде в одной половине жили кучера, а другая, запустевшая еще со времени барина — прежнего владельца андроновского дома, была набита старой мебелью и разным хламом, теперь была устроена контора «Торгового дома Андроновы и Зеленов».

Флигель был хорошо отделан, его парадная дверь выходила прямо на Миллионную улицу, и никто из посетителей не проходил андроновским двором, что придавало двору некоторую таинственность. Приказчики и доверенные, мелкие купцы-скупщики из ближних сел, обычно с темного утра толкались в конторе, где сторож Агап топил печь, подметал пол, конторщик Яков Семенович при лампе уже что-то вписывал в толстые книги. В конторе, разделенной прилавком пополам, над четырьмя большими окнами, выходившими во двор, на стене красовались слова, писанные старинной вязью: «Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет». Эту надпись приказал сделать Иван Михайлович: в этих словах он видел залог успеха. Посетители тихо и почтительно разговаривали, сидя на желтых полированных жестких диванах. Здесь, именно в этой конторе, устанавливалась теперь цена на знаменитую цветогорскую пшеницу.

В то утро конторщик Яков Семенович — широкобородый, как Кузьма Минин,— глянул в окно и басом прогудел:

— Идет!

И в тот момент говор в конторе смолк, и все торопливо поднялись, даже седой Захар Захарыч — скупщик из Курдюма,— поднялись и оправились. Видать было, как мимо окон — дво-

ром — неторопливо шел Иван Михайлович. Он шел без шапки, большой, как столб, кудлатый. Черный теплый кафтан, черные чесанки на белом снегу, на фоне белых стен дома и строек делали его крупным и резким.

Войдя в контору, Иван Михайлович прежде всего перекрестился трижды широким староверским крестом и только потом сказал:

— Здравствуйте!

Конторщик Яков Семенович, низко кланяясь, коснулся широкой бородой стола. А все, кто стоял за прилавком, прогудели хором:

— Здравствуйте, Иван Михайлович!

Гремя ключами, Иван Михайлович отпер денежный шкаф, вделанный в заднюю стену в углу.

— Ну, что у вас новенького? — заговорил он бодрым, веселым голосом.— Никак, Захар Захарыч тут? Доброго здоровья! По какому случаю пожаловал? Аль что неблагополучно?

Седобородый Захар Захарович заулыбался, закланялся, заговорил почтительно:

— Да вот дело-то какое...

Иван Михайлович, слушая, тащил из шкафа шкатулочку с деньгами, книги, бумагу.

Все другие слушали молча. И будто их не было здесь,— Иван Михайлович разговаривал только с Захаром Захаровичем, расспросил о деле подробно, шутил, довольный ответами, и все это делал неторопливо, но как-то веско, основательно, и все, кто был в конторе, понимали, что это говорит и шутит миллионер — существо в их глазах высшее.

Пришел в контору и Виктор Иванович, в шубе и в шапке. Он быстро и ловко разделся, сам повесил шубу у двери, хотя Агап и бросился со всех ног помогать ему, и не перекрестился, как отец, на иконы, сказал просто:

— Здравствуйте! — и сел за стол, что против отцова стола.

Отец, мусля палец, отсчитывал деньги. Он передал их тут же приказчику и записал карандашом в книжке. Виктор Иванович, увидав, как отец муслит палец, брезгливо поморщился и сказал:

— Сегодня наконец придет кассир.

Иван Михайлович покачал головою недовольно:

— Напрасно это. Троих новых служащих сразу. К чему? Сами бы справились.

Виктор Иванович улыбнулся.

— Ты, папа, очень дорогой кассир. Нельзя так расходовать капиталы. Твой труд надо ценить на вес золота, а ты вот занимаешься выдачей денег. Это сделает человек за тридцать рублей в месяц...

Иван Михайлович подмигнул Захару Захаровичу, все еще стоявшему у прилавка:

— Вот как ныне. По-заграничному хочет ставить.

На улице затопала лошадь. Агап бросился к двери: по лошадиному топоту узнал, кто едет. Утираясь красным платком, в контору вошел Зеленов. За ним — высокий, худощавый человек в сапогах бутылками: новый кассир. У него в лице была та сухость, которую накладывает постоянное общение с деньгами.

Виктор Иванович распаковал пачку бланков и принялся объяснять конторщику Якову Семеновичу и новому кассиру, как ставится дело в хлебных конторах Америки и Германии и как должно быть поставлено здесь. Часов в десять пришла барышня — в меховой шапочке, с муфтой — дочь прогоревшего помещика Бекетова. Виктор Иванович указал ей на маленький столик в самом дальнем углу у окна. На столике уже лежали немецкие и английские газеты и пачка писем с заграничными марками. Виктор Иванович сам опросил троих приказчиков.

— Михайло Семенович, ты зачем?

И, узнав, что Михайло Семенович пришел еще до свету, чтобы расплатиться за привезенное зерно, что мужики у амбаров ждут и сердятся, Виктор Иванович нахмурился.

— Столько времени ждешь! Почему же не сказал?

Михайло почтительно молчал, посматривая то на Ивана Михайловича, то на Виктора Ивановича.

— Вот, папа, видишь пользу кассира? Мы могли бы давно выдать деньги, отпустить.

Иван Михайлович посмотрел на сына, прищурив глаза.

— А куда спешить? Все равно мужики успеют деньги пропить. Пусть подождут.

А Зеленов сидел за столом, ничего не делал, смотрел, как распоряжается Виктор Иванович. И улыбнулся довольный. В улыбке тонули его глаза, и вид у него был: «Слава богу, нашел я себе смену».

В полдень из дома прибежала горничная Наташа, через двор по морозцу, бодро, в одном платье, лишь накинув на голову и плечи теплый платок.

— Пожалуйте обедать...

И трое пошли — кряжистые, могучие.

В столовой — и Елизавета Васильевна, и Ксения Григорьевна, и Ольга Петровна — уже сидели вокруг накрытого стола.

Молитва была короткой — не то что прежде. Лишь Иван Михайлович еще крестился, хотя все уже двигали стульями. И за обедом говорили. Расспрашивали Виктора Ивановича об Америке: все не могли надивоваться. Говорили о Цветогорье, о том, что Варенька Синькова пьяная ездила с молодыми купцами на тройке в Балаково: «Срам-то какой отцу-матери!» Виктор Иванович посматривал на всех, посмеивался. Как изменилась жизнь! Вот еще недавно — пять, шесть лет назад — за обедом никогда не говорили — «грех говорить»,— молчали тягостно, и обед был тяжелой повинностью. Ныне обед — встреча всех со всеми. Вон как возбуждены радостью и смехом лица у матери,

у тещи, у жены, у тестя! Мать сначала ужасалась, говорила за обедом нехотя, ныне привыкла и говорит больше всех.

— Стали такие дочки — смотри да смотри,— брезгливо поморщился Василий Севастьянович.— Гляжу я на нашу Симку: вертится, будто ее бесы шилом тычут в какое-то место. Беда!

Ольга Петровна махнула на мужа рукой:

— Ну, уж ты и скажешь! Девка как девка. И никакие бесы ее шилом не тычут. Знамо, молода, повеселиться хочется...

Из-за обеда встали отяжелевшие. Василий Севастьянович сказал жене:

— Ты поезжай домой — Сима скоро придет,— а я здесь посплю, потом мне с зятьком надо поговорить о деле.

Он зевнул и перекрестил рот, пошел в диванную — здесь он обычно спал, когда оставался у Андроновых, и не успели уйти из столовой женщины — уже густой басистый храп пополз из-за двери. Ольга Петровна сказала:

— Вот счастливый-то: как ляжет, сейчас уснет. А я иной раз ворочаюсь, ворочаюсь, думаю, думаю,— чистая беда!

Смеркалось уже — Василий Севастьянович, расчесывая бороду и позевывая, пришел в кабинет к Виктору Ивановичу.

Кабинет еще был полупустынен, похож на обширную студенческую комнату, но уже хозяйственно протянулись книжные шкафы вдоль стен, и обширен был письменный стол между двумя окнами, выходившими на Волгу. Передний угол закрылся темными иконами, и в половину стены протянулась карта Нижнего и Среднего Поволжья. Блестящие приборы — рычаги, колеса и стаканы — стояли на столике в другом углу, и там же, на окне, белело множество маленьких мешочков с пробами пшеницы и ржи. И на каждом мешочке — записка, привязанная ниткою. Виктор Иванович сидел в глубоком кожаном кресле, читал книгу, когда пришли к нему тесть и отец. Он отложил книгу и костяной разрезальный нож.

— Вы как заговорщики. Смотрю на вас — все шепчетесь.

Василий Севастьянович усмехнулся:

— Хе-хе, это ты, пожалуй, правильно: заговорщики. И знаешь, против кого заговор? Против тебя. Что ни толкуй, зятек, а как я говорил, так и надо сделать.

— Вы о чем?

— Надо теперь же расширить скупку.

Виктор Иванович нахмурился.

— Не понимаю, какой смысл.

— А смысл один: сейчас купим по рублю, весной продадим по полтора.

— Да, продадим. Продадим и осрамим себя. Сейчас наше зерно стоит на первом месте, потому что мы сами производители. Наша пшеница так и известна за границей под именем цветогорской. А купим неизвестно что.

— Мы не без глаз. Будем смотреть.

— С нашими приказчиками усмотришь!

— Ничего, усмотрим. Ежели на чем и нарвемся, можно будет у нас в России спустить. И смотри, еще прибыль получим не меньше заграничной.

— Верно, верно, Витя! — шумно заговорил Иван Михайлович.— Сват правду говорит. Надо скупку поставить шире. Гляди, везде стали появляться чужие люди. Зачем им ходу давать? Мы все сможем к своим рукам прибрать.

— Я все-таки думаю, что мы прежде всего должны быть производителями хлеба, а не скупщиками.

— Да пойми, что скупать пшеницу и легче, и риску меньше. Чем ты рискуешь, когда сеешь? Можно сказать — всем. Не уродилось — вот ты и сел на кукан. А купленная пшеница у тебя всегда в амбаре...

— Может быть, это и правильно, а все же нам надо настоящее дело ставить — посевы.

— Кто говорит против? При урожае посев даст прибыль — куда там скупке! Ну, только посев скупке не помеха.

Они заговорили неторопливо, не споря, спокойно перебирая, что выгоднее расширить — скупку или посев. Виктор Иванович понимал их: оба старика шли по пути старому, сто раз испытанному — купить, продать, нажить.

— На наших землях мы будем собирать такое зерно, что у нас в Европе с руками оторвут. А чужое зерно — дело неверное.

— А ты так делай: за границу свое, а в Москву чужое.

Виктор улыбнулся.

— К Европе лицом, а к России спиной?

— Ничего. Наши все съедят. Ежели почище дело поведем, так все рады будут. Ты гляди, вот нынешний год посев дал полмиллиона, а скупим больше.

— Скупите — заплатите миллион, а на посев вы и двухсот тысяч не истратили. И притом зерно не в пример лучше.

— А я так полагаю: и там и здесь дело вширь пустить,— сказал Василий Севастьянович и плутовски прищурил левый глаз.— Пропадай моя телега, все четыре колеса.

Оба Андроновы засмеялись.

— Известно, ты хапуга мужик! — покачал головой Иван Михайлович.— Свово не упустишь.

— А чего глядеть? Деньги сами в руки лезут, а мы собираемся их отталкивать. К чему это? Аль у нас детей и внуков нет? Надо глядеть дальше.

Он передернул плечами.

— Вы вот что возьмите во внимание: кому предпочтение отдать — крупному купцу аль мелкому скупщику? У крупного — большой оборот. Он и малым про́центом будет доволен. А у скупщика оборот аховый. Он норовит захватить побольше, поэтому назначает непомерный про́цент. Мы, богачи, нужнее для жизни,— жить с нами честнее.

— Ну, насчет честности ты бы помолчал, сват!

— Нет, сват, ты не говори. Я нашего Виктора так понимаю, что он хочет дело честно поставить. Ну и ставь! И слава богу!

— Честно! Честно! — улыбнулся Виктор Иванович.— А все-таки вы мне мешаете ставить дело на хуторах, как я хочу.

— Ну, ну, будет зря говорить! Кто тебе мешает? Ты там нагляделся, в Америке, думаешь — и у нас так же? Ведь у нас целина. У нас только бери. В Америке ухаживают за землей, потому что там продают пшеницу по два да по три рубля пуд. Сам же ты говорил. А у нас в урожайный год по шестьдесят копеек купить можно. Где же тебе выручить твои затраты?

— Выручу, тестюшка! Вот посмотрите...

Он пространно заговорил об орошении полей на хуторах. До постройки запруд в оврагах и каналов десятина давала в среднем пятьдесят пудов, а в неурожайные годы — совсем ничего. А теперь даже в неурожайные годы с десятины собирают пудов сорок.

— А главное, хлеб наш — верный.

Все трое — большие, мясистые — заговорили задорно. Старики противились, но уже так больше, из упрямства, слабо.

— Гляди, тебе виднее! — воскликнул наконец Василий Севастьянович.— Учился ты. Тебе дольше нашего жить, тебе и денежку копить.

Зимние сумерки уже надвинулись. Белые просторы перед окнами — Волга под льдом и снегом, бесконечное Заволжье,— все подернулось синими тенями. Иван Михайлович подошел к окну, смотрел туда, в просторы, о чем-то думал, уже о своем, лишь вполуха слушая спор сына с Василием Севастьяновичем. Через Волгу, по еле заметной новой дороге, тянулся недлинный обоз. Он казался маленьким, точно черный червячок полз по белому полю.

— Надо бы поставить опыты шире,— сказал Виктор Иванович.— Вы не слыхали, тестюшка, про пласты, что еланский поп выдумал?

— Как же, слыхал. Идет дело. Но ведь это в засушливые годы. А если пойдут дожди — одна цена: родится столько же, как и без пластов.

— Однако вы же сами записывали: из сорока лет — двадцать два засушливых. Надо будет мне съездить, поговорить с этим попом, посмотреть. Вы его знаете?

— Как же, знаю! — Василий Севастьянович рассмеялся.— Не поп, а наш брат купец. Пятьсот десятин засевает. И аллилуйя поет, и деньги наживает. И мужикам говорит без стеснения: молиться молитесь, а сами не ленитесь.

— Нам надо и чужой опыт использовать, и свой ставить,— сказал Виктор Иванович.

Иван Михайлович все смотрел в окно. Потом обернулся, прошел по кабинету:

— А нуте-ка, будет вам о делах разговаривать! Не пора ли нам, сват, с тобой о душе подумать? Что дела? Дела, сам видишь,— лучше быть не надо!

Виктор Иванович удивленно посмотрел на отца.

— Что ты, папа?

— Я ничего. Я вот сейчас слушал вас и подумал: деньги да деньги, а умрешь, чем тебя помянут? Надо бы нам... для людей чего-нибудь сделать.

Эти слова он сказал с трудом.

— Это ты правильно, сват! Я и сам про это думаю. Намедни у меня был Макшанов. Знаешь? Из Воскресенска. «Вот, говорит, школу строю на помин души». А я про себя подумал: «Что же я-то сделаю?» Надо, надо подумать! Нам пора в дальнюю дорогу собираться.

— Ехали, ехали по степи — ан остановка недалеко...

И в эту ночь, ложась спать, Виктор Иванович, взволнованный разговорами, за множество лет впервые подумал: правильно ли он живет? Разговор со стариками его расстроил. Он прикинул, что видел в Америке, в Германии: эта исключительная погоня за деньгами — именно эта погоня — создает фабрики, заводы, дороги, города. Чем больше погони, тем больше размаха и житейских удобств. Этот путь выходил правильным. «Россия нуждается в нас: мы побеждаем пустыню».

С открытыми глазами он лежал в темноте.

«Созидание капитала созидает культуру. Вычитал, что ли, я где?»

Рядом на другой кровати спала жена, дышала глубоко и ровно, и от ее дыхания веяло спокойствием.

«Ну, что там? Что это я?» — тревожно подумал Виктор Иванович. Он хотел успокоиться. А сердце что-то усиленно билось...

Скупка потребовала новых людей — доверенных, которых можно было бы послать на места: в Чардым, Уфу, Новоузенск, Николаевск, Бугульму, Уральск и другие города и села, где еще не было отделений «Торгового дома Андроновы и Зеленов». Старики — Зеленов и Андронов — тайком долго совещались, кого выбрать и послать. Обычно совещались дома, без лишних ушей, а не в конторе, где толкалось много народа. Виктор Иванович понимал, что в вопросах такого выбора он беспомощен: он еще мало знал местных людей и поэтому только слушал, не вмешивался. Однажды старики долго совещались при Викторе Ивановиче. Иван Михайлович сказал:

— Вот, сват, Федьку Птицына надо послать.

Зеленов подумал, зажал бороду в кулак, покрутил головой.

— Жулик большой! Как бы чего не вышло...

— Жулик-то жулик, но подходящий. Может действовать.

— Что ж, пошлем его в Новоузенск.

— А в Бирске я думаю передать дело Кашину.

— Кашину? Семену Ивановичу? Пожалуй, объегорит сильно.

— Ну, посматривать будем. Кого ни пошли — за всеми нужен глаз.

Они называли имена — все новые, Виктору Ивановичу неизвестные — и к каждому прибавляли слова: жулик, объего-

рит, обойдет, следить за ним надо. Виктор Иванович рассмеялся.

— Да вы кого же выбираете? Все жулики да жулики!

— А выбираем самых нужных людей для дела,— сказал серьезно Зеленов.

— Жулики для дела не годятся.

— Нет, зятек, ты зря не говори. Скупку-то жулики как раз и ведут хорошо!

— Как же так? Я не понимаю.

— А очень просто. Вот мы выбираем какого-нибудь Кашина. Заранее знаем: он будет нас обманывать. Ему надо обязательно нажиться на нас. И мы миримся — наживай, сделай милость! Но не забывай о хозяйском деле. Девяносто пróцентов — в хозяйский карман, а десять в свой...

— Но ведь ему вы платите жалованье!

— Что там жалованье! Кто́ из торговых людей живет на жалованье? Конторщики, работники вот. А живому человеку в торговле, кроме жалованья, нужны доходы. Без доходов он не так будет шевелиться. Жалованье — это могила. У нас в деле не чиновники, а живые люди.

— Как же будут наживать эти живые люди? Вы уже заранее знаете?

— Конечно, знаю! — гордо воскликнул Зеленов.— Знаю, чем каждый из них дышит.

«Сам прошел ту же школу»,— насмешливо подумал Виктор Иванович.

— Мы выбираем таких, которые сами желают быть купцами,— пояснил Иван Михайлович.

— Вот, вот! — подтвердил Зеленов.— Нам давай такого, который сам мечтает стать богатеем. Он вертится, крутится, ночи не спит, все выдумывает, как бы оборот побольше сделать, потому что знает: при обороте и сам сильно наживется. Ему надо скопить первую тысячу — сделать дело самое трудное.

— Разве первая тысяча — самое трудное?

— Самое трудное. Потом уж десять тысяч наживаешь — труда столько же. Три ступеньки ровных, тысяча, десять тысяч, сто тысяч... Вот мы и выбираем: кто на первой ступеньке стоит — эти самые ярые наживатели.

— А они у нас целиком тысячу-то и сбреют.

— Ни в каком разе! Им надо так нажить, чтоб честь не уронить, чтоб все было шито-крыто. Если возьмут нахрапом, мы их со службы прогоним. Кто им тогда будет верить?

— Вы все-таки мне объясните, в чем тут сок. Где и на чем они наживаются?

— А наживаются так: мужик привез ему на двор двадцать два пуда... У Кашина весы свои — гляди, у мужика полпуда не оказалось. У одного, другого, третьего. В базарный день двадцать тысяч пудов ссыпят — вот тебе пятьсот пудов. А мужик

нешто из-за полпуда поднимет крик? Да его сейчас же со двора в шею! И ни фунта у него не купят, ежели что!..

Виктор Иванович нахмурился.

— Одним словом, наживают на мужичьей шее.

— Это главный доход,— спокойно сказал Зеленов, как будто говорил о самом обычном деле.— Ну потом с нас четверть копейки на пуде присчитывает. Курочка по зернышку клюет, а сыта бывает. Мужики так и зовут наших скупщиков: «зерноклюй». Нешто не слыхал?

— Да-а, дела! — поморщился Виктор Иванович.

— Что же дела? Так во веки веков ведутся. А нешто в Америках по-другому?

— Конечно, по-другому! Без обману. Доверенный там только жалованье получает да проценты.

— То Америка. У нас пока мало честных людей. Доверенный что? Дай доверенному жалованье, дай проценты — все равно он будет наживаться.

— А не будет наживать — будет спать,— сказал Иван Михайлович.

— Значит, правильно говорит поговорка: «нет богатств праведных».

— Что же, может, и правильно! — с вызовом сказал Зеленов.— Да нешто в этом суть? Мы свое дело ведем честно. Кто от нас плачет?

— А плачут мужики, которых обманывают ваши приказчики.

— Это не наш грех. Это грех приказчика. Нас не касается, кто там плачет, кто кается. Не было бы наших скупок, что получилось бы? Мужик вдвое дешевле продал бы свое зерно. Мы даем самую хорошую цену...

Зеленов заговорил задорно, и его лысоватый лоб зарозовел.

— Ну, ну, Витя, что там! — сказал примиряюще Иван Михайлович.— Ты об этом не думай. Мы ставили дело без обмана.

...Зеленов сам вызвал телеграммами в Цветогорье доверенных. Приходили бородатые, стриженные в кружок, молодые и пожилые, бойкие и медлительные — все с лукавинкой в глазах, все заискивающие, почтительные. Виктор Иванович всматривался в них, беседовал часами. Ему хотелось знать, что это за люди, какие у них планы. Доверенные смотрели на него с изумлением.

— Планы? Что ж, особых планов у нас будто нет,— откровенно говорили те.— Амбары пока возьмем в аренду. Потом зерно будем скупать...

— А потом?

Доверенные удивлялись еще больше, шевелили бровями, чтобы только не показывать свое непочтительное удивление.

— Потом нагрузим и отправим, куда прикажете.

Виктор Иванович говорил им о сортировке, отборках. Доверенные качали головой — соглашались, а сами искоса посматривали на стариков — Зеленова и Андронова, словно удивлялись, к чему такие новшества.

— Понимаете, нам нужно первосортное зерно. Чтобы никакой засоренности,— строго приказывал Виктор Иванович.

И когда доверенные уходили, он говорил отцу и тестю, расстановисто, с угрозой:

— Ну, смотрите, как бы нас не посадил этот...

А к нему, к самому Виктору Ивановичу, в эту зиму раза два приезжал бритый, очень тощий инженер Рублев — специалист по мелиоративным работам. Он торопливо, точно бил в барабан, докладывал о своих проектах, где и как построить плотины на оврагах, где перекопать едва заметные долины, чтобы удержать воду. Иван Михайлович и Зеленов на этих совещаниях больше слушали молча и вздыхая, потому что им непонятно было, зачем бросать на ветер деньги, когда, если истощилась земля, можно взять другой участок, а истощенный бросить.

Во второй раз, когда после долгих разговоров Рублев ушел, Иван Михайлович и Зеленов заговорили длинно и тягуче и почему-то скучно о ненужности всех этих расходов.

— К чему? Зря все. Добро бы — тесно было. А то ведь просторы несусветные. Бери только!

Виктор Иванович нахмурился: это недоверие к его работам ему наконец надоело. Он заговорил решительно:

— Ну-ка, давайте поговорим начистоту. Вы меня, похоже, не понимаете... Вот вы, дорогой тестюшка, и ты, папа,— оба вы согласились, что пословица верна: «Не бывает богатства праведного». А я вот со студенческой скамьи именно мечтаю о богатстве праведном. Папа, ты помнишь, как говорил с тобой профессор Лихов?

Иван Михайлович кивнул головой: «Помню!»

— Ты тогда явился ко мне сияющий и обновленный. Ты почувствовал себя человеком честным.

— Помню, помню.

— Да... но вот со скупкой, я думаю, ваша честность должна поуменьшиться. Сами сознаетесь: ваши приказчики обманывают народ...

— Но не мы же обманываем, обманывают приказчики! — упрямился вполголоса Зеленов.

— А не будь вас — не было бы и приказчиков.

— Ну, так ты... Как же ты честно ставить хочешь? — сердито крякнул Зеленов.

— Я хочу идти по другому пути. Понимаете? Главный и единственный враг у человека — слепая природа. Я должен стать ее волей и разумом, должен заставить ее работать и на меня, и на людей. Я не могу жить так, как жили вы. У каждого должно быть оправдание своей жизни.

— Ну-ка, ну-ка! — оживился вдруг Зеленов и поправил обеими руками свою рыжую бороду.— Это интересно, в чем твое оправдание!

— А мое оправдание в том, что я чувствую себя настоящим работником цивилизации. Вот! — воскликнул Виктор Иванович и стукнул ладонью по столу.

— Это... это как же? — спросил Зеленов, и по его напряженному лицу было видно, что он не совсем понимал Виктора.

— Пути цивилизации — борьба человека с природой. Ну вот. Вот и мы, «Торговый дом Андроновы и Зеленов», мы боремся с пустыней, мы даем обществу хлеб, мы возделываем по-новому поля, мы, никого не обижая, создаем новые ценности...

— А до тебя-то что же, мы не создавали ценностей? — задорно спросил Зеленов.

— Конечно, создавали, но больше вы все-таки держались на скупке, распоряжались хлебом, собранным чужими руками. А я хочу сам создавать ценности. Я пашу, сею, дешево продаю хлеб,— облегчаю народу жизнь...

— Какому народу? Немцам.

— Пусть немцам. Это все равно. И немцы везут свои товары к нам — облегчают нашу жизнь. Они тоже борются с природой — борются за удобную жизнь. Вот в этой общей борьбе с природой я и вижу свое место и в этом нахожу оправдание своей жизни. И вы мне не мешайте, я вас прошу!

— Кто тебе теперь будет мешать? Валяй! Ты теперь голова.

— Какая сейчас моя задача? Моя задача — поднять все природные силы, что попали к нам, чтобы вся земля работала на наше благо и на благо всех людей.

— Это что же? Ты вроде социалистом становишься? — спросил насмешливо Зеленов.— Социалисты тоже про общее благо толкуют.

— Ну, какой там социалист! В России это не в коня корм. Наше дело — работать.

— Это, конечно, хорошо — работать. А не вылетишь ты в трубу? — осторожно спросил Зеленов.

Но тут вмешался Иван Михайлович:

— Что ты, сват! Чтобы Виктор вылетел в трубу? Да ты погляди, как у него дело-то пойдет...

— Да-с... поглядеть надо,— забормотал Зеленов.— Я чую, что здесь неплохо... Да вот, по-моему, лишнее это, лишнее как есть. Поглядеть надо. Ты меня возьми, Витя, когда будешь объезжать хутора. Ей-богу! Я хочу поглядеть, как у вас.

— Это правильно! — вдруг твердо воскликнул Иван Михайлович.— Надо не только о кармане думать, но и о душе. Пусть и убыток иной раз потерпим сколько-нибудь,— господь зачтет.

Виктор Иванович улыбнулся.

— Ну, наши убытки вряд ли интересны богу. Да вы не беспокойтесь — убытков не будет. Дело стоит на обеих ногах.

В кабинет вошла Елизавета Васильевна. Она улыбнулась, увидя, что Виктор Иванович разговаривает и, по привычке, размахивает рукой.

— Что, опять споры?

— Какие споры! Что ты? — строго сказал Зеленов.— Никаких споров нет. Нам уже поздно спорить. Только вот чудит муженек-то твой.

— Как чудит?

— Мечтает все о богатстве праведном.

Все засмеялись, и Зеленов веселее всех.

— Что же, мечта неплохая,— сказала Елизавета Васильевна уже серьезно, с гордостью и любовью посмотрела на мужа.

Зеленов, заметив ее взгляд, ухмыльнулся, выразительно поглядел на Ивана Михайловича и плутовски мигнул:

— Гляди, сватюк, пара-то какая: один за одного, как репей за овцой.

За дверью затопали детские ножки. Вбежал Ваня, обнял деда Ивана Михайловича. Дед поднял его с пола,— он тотчас вцепился в его бороду. Белые пальчики запутались в седеющих волосах. Виктор Иванович отошел в сторону, к шкафу.

— Ну, будет, будет шалить! — притворно строго сказала Елизавета Васильевна и опять поглядела с улыбкой на мужа.

Со смехом Ваня потащил за руки обоих дедов из кабинета в столовую, где за накрытым столом уже сидели обе бабушки.

Елизавета Васильевна взяла мужа за руку, возле локтя, пожала.

— Ты, кажется, очень устаешь от этих споров?

Он не ответил ей. Он взял ее руку, поцеловал молча. Елизавета Васильевна вдруг вся прижалась к мужу, обняла за шею, поцеловала в щеку и как-то по-особенному серьезно взглянула ему в глаза — прямо и откровенно.

— Ты что? — тихонько спросил Виктор Иванович и погладил ее плечо.

— Знаешь, мне даже не верится, что ты наконец дома и надолго, что тебе не надо никуда ехать.

Она приникла к его груди. Он поцеловал ее в голову. Когда они вошли в столовую, вся семья уже сидела за самоваром. Большая яркая лампа освещала блестящую посуду, снежную скатерть и лица стариков и Вани — лица довольные, смеющиеся. Виктор Иванович на момент приостановился в дверях и почему-то невольно подумал о том евангельском купце, который однажды, рассматривая свои нивы, сказал: «О, душа, пей, ешь, веселись, ибо у тебя есть все!»

В этот день поздно вечером, когда старики Зеленовы уже уехали к себе домой, дети уснули и весь дом отходил ко сну, Виктор Иванович заперся в своем кабинете, достал из стола — из самой глубины ящика — альбом, переплетенный в зеленую кожу и запертый замочком, и рачительно, убористым почерком написал: «Сегодня понял, что уже достиг многого, что другим

людям кажется счастьем. А счастлив ли я? Еще не совсем, потому что какое-то недовольство и беспокойство, самому мне мало понятное, живет в моей душе. Или это у нас в роду — беспокойство? Мой дед под старость ушел в сад спасать душу. Мой отец уже сейчас начинает задумываться и все говорит, что надо потрудиться для души. А оба они достигли всех житейских благ, и, казалось бы, им не надо ни о чем беспокоиться».

Он задумался и так много минут просидел над раскрытой страницей с пером в руке. О чем, собственно, ему беспокоиться? Пути и цели жизни ясны. Он опять принялся писать: «Пусть мои старики посмеиваются, когда идет разговор о богатстве праведном. Но я-то знаю, что богатство праведное возможно: человек будит природу и заставляет ее работать и на себя и на человека. Если бы не было богатства праведного, в конце концов мир бы не выходил из нищеты. А сейчас в мире множество богатств, и... что же, разве все они неправедные? Я не хочу, не могу думать даже об этом. Богатство есть дело необходимое для жизни не только отдельного человека, но и целой страны, потому что только создание богатств способствует прогрессу. Если я, спасая свою душу, уйду в сад и все дела заброшу, я буду похож на того ленивого раба, который зарыл в землю свой талант. Я работаю и буду работать на благо России и благо свое — я верю, что мое благо и благо России совпадают. Я не расточитель и не барин. Я — работник...»

Он откинулся на спинку.

«Что это? Я ищу оправдания? — подумал он.— В самом деле, как будто ищу. Но перед кем оправдываться?»

Криво усмехаясь, он закрыл альбом, запер, спрятал в стол, поднялся, прошел из угла в угол. Углы обширного кабинета тонули во тьме. Неясные пятна картин, икон, книжные шкафы, казалось, отошли далеко.

«Никаких оправданий не надо. Живи, как живешь. Труд все освящает».

## VIII. Удар по пустыне

Из-за Волги приехал верховой, сказал, что степные дороги уже подсохли, овраги усмирились — проехать можно. Рублев звал посмотреть новые оросительные сооружения. В двух экипажах — в просторном тарантасе и легкой коляске — Виктор Иванович и Василий Севастьянович выехали из дому до свету, чтобы переправиться за Волгу с первым перевозом. Подпрыгивая по камням, экипажи съезжали с яра. От Волги понесло холодом. Виктор Иванович шел рядом с тарантасом по тропинке. Одетый в шведскую кожаную куртку, в высоких сапогах, в теплой французской шляпе, он весь был подтянут,

подобран, молодой и бодрый, и легко и молодо перепрыгивал через светлые ручейки, что бежали по камням от родников, бивших из белой горы. Мужики и бабы все на него оглядывались. И эти оглядки напомнили Виктору Ивановичу то время, когда он впервые ехал за Волгу — с дедом и отцом... Он тогда верил, что пустыня — это старая старуха с сумрачным лицом.

Тарантас и коляска въехали на паром. Кучера остались возле лошадей, а Виктор Иванович и Василий Севастьянович вошли на пароход. Пароход посвистел и тронулся. Василий Севастьянович снял широкий картуз, перекрестился. И почти все закрестились — и на пароходе и на пароме. Виктор Иванович неподвижно сидел у борта, смотрел на берег. И то, что он не перекрестился, его резко выделило из толпы, на мгновение ему стало не по себе.

Но суета на пароходе, пароме, крики на берегу сразу сгладили эту неприятную особенность. Город — еще сонный — потянулся мимо. На пустых улицах лишь кое-где шагали черные букашки — люди. У пристаней дремали извозчики и торговки с корзинками. Из-за гор вставало солнце. А Волга неслась неукротимо. Василий Севастьянович сказал:

— Вода ныне высокая. Хорошо это. К урожаю.

Он благодушно оглядывал Волгу, оглядывал горы. У него был такой вид, точно он все одобряет. Обеими руками он расправил бороду, чему-то улыбнулся.

— Да, хорошо! К урожаю. Дай бог! — повторил он.

«Ко всему с одной меркой подходит»,— подумал Виктор Иванович о нем и усмехнулся.

— К урожаю? — переспросил он.

— Обязательно к урожаю.

— А вы, папаша, все про хлеб да про урожай думаете,— смеясь, сказал Виктор Иванович.— Вы бы просто посмотрели! Хорошо здесь!

— Я и смотрю просто. Урожай — первое дело. Лучше урожая ничего не придумаешь. И потом, ежели думать о разных разностях, головы не хватит. Надо думать об чем-нибудь одном.

Рыжий, упористый, какой-то кряжистый, он казался настойчивым и непобедимым, как... как... вот эта Волга, несущаяся непобедимо и бурно.

Пароход обогнул залитый остров, от которого на поверхности воды виднелись только верхушки деревьев, вошел в Иргиз, повернул в сторону и пошел лесом — там, где летом, в межень, пролегает дорога. Верхушки деревьев обступили пароход и справа и слева. Пароход и за ним паром шли по широкой аллее. Зеленая вода колыхалась зелеными ленивыми волнами. Утки с шумом взлетели с воды рядом с пароходом.

— Ну что, за границей есть такое? — спросил Василий Севастьянович, кивая головой на леса, залитые водой.

По его виду и по его вопросу понятно было: он не верил, что где-то, кроме Волги, есть еще такая красота,— спрашивал от гордости.

— Нет, я не видал.

— То-то!.. Хоть там и заграница, а Волги у них нет.

В Плеханах — за широкой поляной, где летом бывает море цветов,— выгрузились, мягкой дорогой поехали в степь.

Много лет назад Виктор Иванович с дедом и отцом ехали по этой же дороге. Тогда не было столько посевов. Вот уже и сады на пригорке, в них — дома. Прежде их тоже не было.

Ехали вместе — в легкой коляске. Тарантас тянулся за ними. Ехали не спеша. Так хорошо было дышать этими непобедимыми просторами!

— Воздух здесь как сливочное масло. Ей-богу! Так в горле и ласкает,— сказал Василий Севастьянович, опять сказал с гордостью, словно он сам был творец этих просторов.

Дорога едва заметно поднималась — из долины Волги к Синим заволжским горам. Ехали весь день, а Змеевы горы и Маяк над Цветогорьем все были видны. Долина Волги будто опускалась перед горами — вся зеленая, с синими просветами озер. В полях уже отпахались,— нигде никого. Изумрудные карты озимей были разбросаны по всему простору. По долинам буйно дыбилась трава.

— Какое богатство! — довольно вздохнул Василий Севастьянович.— Когда сюда попадешь, будто тридцать лет с костей. Это мы, наш брат достиг. Бывало, здесь пусто, бурьян один. А теперя... Вот подожди, наши хутора пойдут.

Виктор Иванович все смотрел в небо, где парили беркуты — едва заметные.

— А птиц стало меньше,— сказал он.

— Да, птицы меньше,— откликнулся Василий Севастьянович.— Что же, человек прошел — главный враг.

Близ полудня остановились у Рудакова колодца, где над срубом в маленькой долине росли вербы. Кучера собрали сухой бурьян, зажгли костер. Стреноженных лошадей пустили в траву. Виктор Иванович растянулся на разостланном ковре. У него было такое чувство, что больше в жизни не нужно ничего.

Василий Севастьянович снял с себя пиджак, жилетку, картуз, остался в белой рубахе. Засучив рукава, сам хлопотал у костра и чайника. Огонь хлестал на целую сажень.

— Люблю! — восхищенно воскликнул Василий Севастьянович.— Люблю костер в степи! Только б вот... бороду не опалить...

Он прыгал вокруг костра, пританцовывал, и по лицу было видно, что костер в самом деле ему доставляет радость.

Чайник пустил пар. Василий Севастьянович, как мальчик, крикнул весело:

— Готов! Ура!

Расстелили еще ковер, поставили чашки, положили еду. Василий Севастьянович истово помолился на восток — лицо на момент стало серьезным,— потом сел, откупорил бутылку с красным вином, налил стаканчики.

— А ну, господи, благослови! Бери, Виктор! Будьте уверены!

Он выпил не спеша, с наслаждением, крякнул и, ухватив бутерброд, стал жевать, и борода у него пошла волнами.

— Хорошо! — пробурчал он с набитым ртом.

И Виктор Иванович откликнулся молча, откликнулся всем существом:

«Хорошо!»

Кучерам дали по стакану водки и гору хлеба с вареным мясом.

— В городу все вертишься. Все дела. А вот как выедешь сюда — господи, твоя воля! — прямо умирать не надо. Под шестьдесят мне, а я будто и не жил: каждая жилка играет...

Позавтракав, оба легли на одном ковре, спинами друг к другу. А в небе летали беркуты, лошади паслись в траве, кучера спали у тарантаса.

Перед вечером, недалеко от Бобовых хуторов видели волка: он сидел у самой дороги в бурьяне. Он смотрел пристально и серьезно. И его умная морда напоминала человеческое лицо. Виктор Иванович вытащил из чехла ружье, слез с коляски, приготовился выстрелить. Волк увидел ружье, сразу отпрянул в бурьян и скачками понесся прочь.

— Аля-ля-ля! — заорал Василий Севастьянович ему вслед.

А солнце уже передвинулось к горизонту, на степи показались голубые тени... На закате доехали до зеленовского хутора. Множество грачей гнездилось на старых ветлах и орало немолчно. Пруд, разбухший от весенних вод, светился красным светом.

С зеленовского хутора уехали рано утром на следующий день в Красную Балку. Здесь уже работал Рублев. Два ближних оврага, прежде пустые, с обрывистыми берегами, где жили совы, теперь были на две версты залиты водой. В поле виднелись канавы и валы. Дом и постройки были закрыты высоченными вязами. Красный кирпичный амбар стоял у самой дороги. Множество собак с лаем бросилось навстречу экипажам. Из дома вышел Рублев. Он ждал — все такой же худой и высокий. Только лицо изменилось, отшлифованное загаром. Чуть поздоровались и прямо пошли в поле. Рублев сначала повел к прудам, потом на поля.

Он широко шагал около Виктора Ивановича, рокотал скороговоркой:

— Весь грунт мы исследовали, определили количество воды, уклон. И местность всю нивелировали. Вы сами понимаете, без подготовительных работ ничего не сделаешь. Очень много пришлось говорить со старожилами.

Он обращался только к Виктору Ивановичу, а Зеленов шел сзади, молча — толстый, пыхтящий, заложив руки за спину.

Вода в прудах серебрилась.

— Вот откроем ту дамбу, спустим, если понадобится.

— А что это даст нам? — спросил наконец Василий Севастьянович.

— То есть как? — удивился Рублев.

— Какую же прибыль получим? — нетерпеливо пояснил Василий Севастьянович.

— Прибыль очень большую. Обыкновенно орошение дает прибыль до тридцати процентов на затраченный капитал. Это помимо ренты на землю.

— Прибыль даст большую, если наши работы сделаны правильно,— сказал Виктор Иванович.— Я видел в Америке имения, где прибыль благодаря орошению поднималась до шестидесяти процентов.

— И лиманная система? — спросил Рублев.

— И лиманная и поливная.

Они заговорили о системах орошения. Василий Севастьянович смотрел на них и насмешливо и почтительно. Но видно было: он слушает внимательно, что-то думает, прикидывает.

— А ну, как же у вас тут будет действовать? — наконец спросил он.

Только тогда Рублев повернулся к нему, стал объяснять, что такое лиманная система орошения.

— По всему полю пускали воду — вот весь уклон использован для этого. Весенняя вода не скатывается в овраги, как прежде, а вон теми валами удерживается на поле.

Василий Севастьянович посветлел, погладил бороду.

— А ведь, пожалуй, ничего... Дай бог в час молвить.— И посмотрел вопросительно на Виктора Ивановича.

— Что там ничего! Отлично должно выйти. Вот сколько воды удержали в степи! Пусть теперь засуха — все равно не страшно.

— Теперь и сад можно, и стада можно держать — при воде.

— Конечно, вся жизнь хутора повернута к лучшему.

— Что ж, пожалуй, американцы не дураки!..— усмехнулся Василий Севастьянович.

Дошли до верхней запруды. Здесь уже зеленели коротенькими ветвями молодые ветлы.

— Вот смотрите,— сказал Рублев,— вот только сырые колья вбили в землю — и уже ветви пошли. Не земля здесь — золото. При такой жаре и такой почве дайте везде воду — и будете загребать золото лопатой.

— Ну как? — спросил Виктор Иванович тестя, когда кончили обход полей.

— Что ж, дело за себя говорит.

И вечером, сидя под вязами за чаем, они трое — Андронов, Зеленов, Рублев — прикидывали, как поставить лучше все дело. И Василий Севастьянович теперь решительно настаивал: здесь надо завести стада скота на выгул — и вода есть, и луга, и просторы. Зачем пропадать им зря?

Он говорил возбужденно, и во всей его фигуре, даже в рыжей бороде, трепетно проглядывала алчность.

— Хоть и затраты большие, а пользу сейчас видать,— сказал он.

Рублев слабо улыбнулся.

— Засуха теперь не страшна.

— На всех хуторах придется пруды строить. Весной воды много. А летом курице пить нечего. Вот заведем стада,— пожалуй, больше хлеба дадут доход.

— Помните, как киргизы говорят: стада скота — гордость рода.

— Ну там гордость не гордость, а деньгу даст.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I. Беспокойный человек

Сентябрь, сентябрь! Звонкий, точно серебряная монета, упавшая на каменный пол. Он звенел криками перелетных птиц, звенел золотыми и пурпурными красками сада, звенел этой далью, такой прозрачной, что церковь на Яланских хуторах за Волгой — сорок верст отсюда — была видна, точно звездочка в синем море заволжских степей.

Виктор Иванович долго стоял на балконе. Эти бесконечные просторы всегда его успокаивали. Сад внизу весь пестрел яркими красками. Яблони стояли красные, березы и тополя золотели. За садом Волга — ее синева по-осеннему бледнела.

— Ты здесь, Витя? Я тебя по всему дому ищу. Ну-ка, вот познакомься, это наш вятский доверенный — Андрей Митрич.

Отец в своем неизменном староверском кафтане-сорокосборке казался еще крупнее и толще перед этим вьюнистым молодцом, хоть и был одет молодец в такой же староверский кафтан.

— Люби и жалуй. Самый усердный наш помощник,— бубнил отец, и борода у него ходила волнами от спрятанных улыбок.— Наш по-настоящему. Мы его зовем Токо-токо.

Молодец поклонился и заговорил быстрым вятским говорком:

— Достаточно наслышаны о вас, Виктор Иванович! Как же! Хорошая слава далеко прошла. Куда ни пойдешь, везде говорят, по всему нашему миру: «У Ивана Михайловича Андронова сын что министр!»

И еще поклонился головой и плечами — средним староверским поклоном.

Виктор Иванович всегда относился недоверчиво ко всем отцовским ставленникам и теперь смотрел на гостя испытующе. Рыжеватый, кудрявый, как барашек к концу лета, с блестящими карими глазами.

— Садитесь, пожалуйста! Прошу!

Токо-токо опять поклонился: «Благодарю вас», но не сел, выжидая, когда сядут хозяева.

— Да ты садись, садись, Андрей Митрич! У нас просто. Чего там? — приказал Иван Михайлович и размашисто сел в плетеное широченное кресло.

Сел и Виктор Иванович, и только тогда, совсем почтительно, на краешек стула, сел Токо-токо.

— Витя, ты послушай, у Макария-то что было! Хе-хе-хе! Волосы дыбом!

Иван Михайлович понизил голос, подмигнул:

— Панихиду служили наши купцы об убиенном Стефане.

— О каком Стефане?

— О Стефане Балмашеве — о нашем, саратовском, который прикончил министра Сипягина. Уму помраченье!

Виктор Иванович откачнулся на спинку кресла, поднял левую руку, будто хотел защититься.

— Не может быть!

— Совершенно справедливо,— поклонился Токо-токо.

— Да как же так?

— Да уж так. Сколько купечества нашего было — не сочтешь. Миллионщиков человека три было. Прошла по всем рядам весть: «Собраться в моленной у старого Никиты». Само собой, втихомолку передавали, с глазу на глаз, верный человек верному. Собрались и отслужили. И вот заметьте, Виктор Иванович, в этом годе и пьянствовали меньше. Ей-ей! Будто серьезней народ стал.

— Балмашев вовсе не ради нас, староверов, шел. Мы ему что?

— Вполне верно, Виктор Иванович! Каждое ваше слово на месте. Сознаю: не ради нас. Но, как это говорится, они дерутся, а нам прибыль. Вот ведь где зарубка! — Токо-токо хитро усмехнулся.— Польза уже есть: в этом годе даже никого из наших не тронули. Начальству стало некогда за нами следить.

— А все-таки рано, пожалуй, радуются! — вздохнул Иван Михайлович.— Новый-то министр злее убитого.

— Правильно, Иван Михайлович! — опять с величайшей готовностью согласился Токо-токо.— Все знают: новый злее убитого. Ну и пусть! Он злее, а нам лучше. Поглядите, что студенты делают! У нас в Саратове, в Казани, в Москве — везде тюрьмы полны студентами. Это как? Пошла схватка не на жизнь, а на смерть. Что это, в самом деле? Мы — люди старой веры, мы — первая сила в государстве, а нас под ноготь да под ноготь! Ни тебе молиться, ни тебе правов настоящих! Почему такое! Нешто мы враги своей родине? Обида кругом. Намедни у Башкирова сын: «Хочу офицером быть». А выяснилось: не принимают людей старой веры офицерами: царь запретил. Всем можно: лютеранцам, католикам, татарам. А нам, исконно рус-

ским, нельзя. Конечно, нам плевать на господ офицеров, а все же обидно!

Он сдержанно поводил руками, потряхивая головой, весь был как огромная пружина: вот-вот развернется, ударит. Глаза у него потемнели, брови сошлись. Это уже был упрямый фанатик, готовый на все.

— Этот министр не даст леформы — и его убьют! Помяните мое слово! — как-то упрямо, с судорогой проговорил Токо-токо.— Царь у нас... Везде говорят: неблагополучно с царем.

Он постучал себя по лбу.

— Что? Ай какие вести? — шепотом спросил Иван Михайлович и весь подался к Токо-токо.

— Вестей особых нет. А все в один голос: царь вроде как дурачок. Ничего не понимает. И вот...— Токо-токо поднял левую руку, заговорил торжественно: — Седьмой фиал изливается на Россию. Похоже, конец скоро придет неметчине на святой Руси. С Петра мучаемся — все немцы и немцы в царях ходят... И ни капельки не понимают нашей жизни.

Эти слова — неслыханно дерзкие — были пьяняще новы для Виктора Ивановича. Он во все глаза глядел на Токо.

— Что ж, по-вашему, надо делать? — стремительно спросил Виктор Иванович.

— Что? А вот поглядим.

— Нет, вы скажите прямо...

Токо-токо глянул исподлобья. Показалось: ответ будет сейчас, ответ страшный. Но шумно дернулась дверь — даже стекла звякнули,— и на балкон выплыл Василий Севастьянович — красный, вспотевший, без картуза. Платком, похожим на скатерть, он вытирал лоб и шею. Токо-токо почтительно поднялся.

— Ага, вот вы где! Беседуете? — Он смешливо взглянул на Токо-токо.— Ты рассказал Виктору про панихиду? А, Витя? Дела-то какие! Миллионщики молятся не за убиенного, а за убийцу. Это как?

— Переметузились все карты,— сказал Иван Михайлович,— ну, пока суд да дело, раз сват прибыл, пойдемте-ка обедать! Соловья баснями не кормят. Пойдем и ты, Токо, с нами!

Но Токо уже опять был почтительным приказчиком: стоял навытяжку, кланялся.

— Покорнейше благодарю! Не смею обеспокоить!

Виктор Иванович молча взял его под руку, повел в комнаты.

Стол уже был накрыт. Елизавета Васильевна — в белом домашнем платье — и Ксения Григорьевна — с пестрой шалью на плечах — дожидались.

Елизавета Васильевна подала Токо-токо руку. Ксения Григорьевна лишь издали кивнула головой.

— Что ж, приступим! — пробасил Иван Михайлович.

Все повернулись к иконе, лица у всех сразу стали строгие,

все закланялись, крестясь, зашептали. Горничная Наташа вошла с тарелками в руках и остановилась у двери, дожидаясь, когда кончат молиться. Поклонившись особенно низко, Иван Михайлович шумно вздохнул, поправил волосы, и все повернулись к столу, заговорили шумно.

— А ну, господи, благослови! — воскликнул Василий Севастьянович и протянул руку к графинчику с водкой. Выражение у него было жадное, сладострастное. Слегка дрожащей рукой он налил всем, кроме женщин. Токо-токо что-то замычал, когда Василий Севастьянович поднял графинчик над его рюмкой — дескать, не надо бы грешить, но Василий Севастьянович сказал строго: — Перед обедом одну выпить бог велел. И к тому же, видишь? Малосольные огурцы и соленые боровики. Не выпил бы, да под них выпьешь. А ты, сваха, все отказываешься? Для здоровья оно бы ничего. Люди свои. Ну, будьте уверены!

Он выпил, крякнул, поспешно стал закусывать.

— Ну, что же нам делать надо? — спросил Виктор Иванович у Токо.

Токо-токо, по какому-то ему известному такту, заговорил мягко, без возбуждения, будто присутствие женщин заставило его перемениться,— заговорил о царе. Главное, корень у нас неблагонадежен. Отсюда и вся беда, от корня. Он вынул из кармана картинку,— это было приложение ко «Всеобщему календарю»: царь был снят с семейством,— показал картинку сперва Виктору Ивановичу, потом Василию Севастьяновичу. От него по рукам картинка пошла вокруг стола.

— Поглядите на срам сей: у царя-то в руке папироса!

Недоверчиво, ужасаясь, все по очереди смотрели на картинку. Да, у царя в руке была папироса. Это всех ошеломило, все перестали есть.

— Вот видите, до чего царь дошел! — торжествующе сказал Токо-токо.— Уж если курить, так кури втихомолку. А он нет: «Гляди, весь мир, на мои грехи!»

— Ведь вроде бог земной. Мы-то, дураки, почитали его наравне со святым! — приглушенным голосом прогудел Василий Севастьянович.

— Не социалисты ли подстроили? — поморщилась Ксения Григорьевна.— Правильная ли картинка-то? Ведь это что? Срам на нашу голову!

— Картинка верная,— подтвердил Виктор Иванович,— я уж раньше ее видел, да как-то не обращал внимания на папиросу.

Токо-токо сидел молча. Довольная усмешка дрожала на его губах, и во всей его фигуре было теперь новое — независимое и властное: будто он стал выше своих хозяев.

— Похоже, один только и был царь, достойный уважения — Александр Освободитель,— пробубнил горестно Василий Севастьянович.— Никак до сей поры не пойму, за что его убили.

— Ну, папа, еще были хорошие цари,— вмешалась Елизавета Васильевна.— Петр Великий, например...

Токо-токо дернулся, точно его кольнуло в живот. Стул под ним скрипнул. Все поглядели на него. Глаза у Токо-токо заблестели пуще. Он заговорил строго, как учитель.

— Вот именно Петр Великий и был самый страшный царь. На нас, людей исконной веры, он воздвиг огненное гонение. Он стриг бороды, он нагнал на нас неметчину, он развел табашников, измывался над религией, мучил весь народ мукой мученической. Доводилось ли вам слышать, как он о великом посту со своими пьяными приспешниками ездил по домам бояр! Вместо евангелия возили поставец с водкой, а крест был сделан... простите, Христа ради, и сказать не могу, из чего был сделан крест... А называл всю эту свору всешутейшим собором... Подумать страшно! Как земля под ним не провалилась?

Когда после обеда, затянувшегося дольше, чем обычно, Токо-токо ушел, все заговорили горячо:

— Ну-ну, вот это парень!

— Видать, стоит за древлее благочестие. А тебе, Витя, он будто не понравился.

— Нет, наоборот. Я только удивлен: и хлебом торгует, и вот агитацию ведет. И очень ловко. Кто он такой?

— Кто? Приказчик наш.

— Я не о том. Вообще-то кто он? Женат? Холост?

— Холостой. Хорошие люди за него дочерей отдают, а он не женится. Он ведь чудной. Надо быть, он по обету.

— По обету?

— Да. Есть у нас люди — вроде монахи, а живут в миру. Живут приказчиками, торгуют, а сами божье дело делают.

— Здесь-то, положим, не божье дело. Здесь политика.

— А если божье дело в политику упирается?

Вечером, оставшись один, Виктор Иванович долго ходил по кабинету из угла в угол, думая об этом странном агитаторе.

Уже давно он замечал: каждую осень по всему староверскому миру начиналось оживление. На Нижегородской ярмарке — у Макария — собиралось самое сильное русское купечество — староверы, и, торгуя, наживаясь, они неизменно возвращались все к одному, к одному: к необходимости хлопотать о послаблении в церковных делах для староверов. Эти упрямые думы — об одном — объединяли всех: и волжан, и сибиряков, и москвичей, и уральцев. Алтари на Рогожском кладбище все еще были запечатаны, и разговоры всякий раз возвращались к ним. В этом была обида: исконным русским людям в России не дают молиться, как требовало древлее русское благочестие. В Нижний на ярмарку, вместе с купцами, приезжало множество начетчиков и уставщиков — людей почтенных и уважаемых в староверском миру. Они будто между делом указывали на преследование («Там закрыли моленную, здесь разорили скит»),

возбуждали, сеяли недовольство. Старики все говорили про старую дорожку: надо отправить своих людей в столицу, хлопотать. Авось... Но молодые уже говорили сердито:

— Хлопотали. Хлопоты не помогут.

«Может быть, в самом деле виновата неметчина? Мы — коренные русские, а нас под ноготь!»

Эта встреча разбудила у Виктора Ивановича новые чувства, новые мысли. Они были и раньше — чувства и мысли, но без формы, без определенности, и некогда было останавливаться на них, осознать. Теперь они властно захватили. Он думал о словах Токо-токо, о том, что сам видел в Европе и Америке, о прочитанных книгах, и странно: почти все — и виденное, и прочитанное — осветилось теперь новым светом.

Ксения Григорьевна все следующее утро спорила с невесткой:

— Не верю я. Не верю я этому вятскому дъяволу. Пришел — и намутил, и намутил. Вчера до вторых петухов лежала и не могла спать. И молитва на ум не идет. Как это — царь... курит? Видано ли это дело? Должно, социалисты сочинили такую картинку, чтоб народ смущать.

Елизавета Васильевна усмехнулась:

— Ну, мамаша, я же могу принести вам из книжного магазина такую картинку. Я видела, там продают.

— Продают? Пожалуйста, купи! Господи, помилуй... Ты знаешь, Лизанька, мочи моей нет. Думы, как блохи, одолели. Может, у царя карандаш в руке-то...

Она заторопила невестку. Та съездила в книжный магазин. На картинке было совершенно отчетливо: у царя в руке папироса.

— А-а-а! — протянула с ядовитым ужасом Ксения Григорьевна.— А я-то, грешница, за него молилась!.. Ах, батюшки мои! — Она закудахтала сокрушенно и все качала головой.— Ах, родимые мои!

Ночью, в спальне, перед сном, Елизавета Васильевна рассказала мужу о разговорах с Ксенией Григорьевной. Виктор Иванович рассмеялся.

— Этот Токо всех смутил.

— А ты знаешь? Я тоже думаю о его словах. Будто гвоздик он мне вбил в сердце,— призналась Елизавета Васильевна.

— Вот они какие бывают, агитаторы. Я уже начинаю злорадствовать над неудачами правительства. В Уфе убили губернатора — я радуюсь. Сам не узнаю себя.

— Насолили эти правители всем. Но... только ты уж, пожалуйста, не ставь себя рядом с Токо-токо! Не хватало, чтобы ты еще занялся агитацией.

Они рассмеялись.

— Кстати, ты слыхала? В тюрьму привели из Саратова пять бунтовщиков. Их видят — они работают в тюремном саду. Одеты великолепно, в свое.

— Как странно: одеты великолепно, а бунтуют.

— Ничего странного. Я и то... как подумаю о том, что с нами проделывают...

Он замолчал: не нашел нужных слов. Елизавета Васильевна поднялась на локте, повернулась к нему, посмотрела с удивлением.

— Что ты?

Виктор Иванович ответил, раздумывая:

— Знаешь, мне тоже... что-то хочется делать, говорить, кричать, спорить. У меня обида, которую хочется снять.

— Как снять? Отомстить?

— Не то что отомстить, а устранить. На днях я говорил с твоей Серафимой. Острая девица. Так все будто на ладонь и выложила: конституцию требует.

— Жениха ей надо, а не конституцию.

— Женихи есть, а она требует конституцию.

Они говорили долго, в темноте. Крик петухов донесся — они еще не спали, гадали, чем все кончится. И обоим было тревожно, и... еще какое-то чувство волновало их... вроде бы радость.

Токо-токо прожил в Цветогорье два дня — пароходом ему надо было торопиться в Симбирск захватить первый осенний привоз хлеба. В последний вечер его опять позвали из конторы в дом пить чай. Он пришел — все тот же почтительный, с поклонами, с круглыми, мягкими словами.

В него всматривались все. Глаза у Ксении Григорьевны округлели, будто проснулись. Она с прямотой стареющей женщины, которой все дозволено, спросила:

— А ты, дружок, не боишься, что тебя в тюрьму посадят?

Токо ответил почтительно, спокойно и мягко:

— Не боюсь, Ксения Григорьевна, ибо готов пострадать за веру и родной народ. Что тюрьма, ежели вся жизнь наша — тюрьма?

— Это как сказать! — задребезжал Василий Севастьянович.— Вот мы всю жизнь прожили — для нас тюрьма была тюрьмой, а свобода свободой. А вот вы, молодые, уж перестаете отличать тюрьму от свободы.

— Свободы нет, Василий Севастьянович! Свободы в России нет ни для кого, а для нас в особенности. Был я на Урале, на Каме был, Ветлуге, в «верхах»,— везде прижим и прижим. Нам, людям исконно русским, прижим чинят несказанный. У нас все: умы, капиталы, а воли у нас меньше, чем у татарина. Глядите: наши люди строят города целые... Иваново-Вознесенск, возьмем, Шую, Орехово-Зуево — все нашими староверами обстроено. А наши же священники и епископы по двадцать пять лет в монастырских тюрьмах в Суздале да в Соловках мучаются. Это как?

— Ну да, да, это верно ты говоришь! А все-таки свободу надо понимать. Мы, старики, понимали. Верно, что ли, Иван Михайлович?

— Не знаю, сват! Знамо, капитал мы могли наживать свободно. А вот насчет совести... тут наша свобода на откупе была. Ежели помолиться, надо полицейскому дать взятку.

Токо-токо почтительно наклонил голову.

— Разрешите доложиться... Наше старое купечество еще помнит крепостное право, и куцая свобода ему казалась раем. А вот уже новое купечество, оно уже недовольно. Вот, к примеру, Виктор Иванович... Образование, богатство, ум, весь мир, можно сказать, объехали, а ежели полицеймейстер захочет — ни с того ни с сего может в тюрьму посадить как старовера. С ними разговор короткий. Крест-то на вашей церкви, что у водокачки, по-прежнему спилен. Скиты-то на Иргизе разрушены. Это как?

Он говорил торжествующе и властно.

После чая Виктор Иванович, все время молчавший, позвал Токо к себе в кабинет. И едва за ними затворилась дверь, он, не садясь, стремительно спросил:

— Андрей Дмитрич, вы мне скажите: что же делать нам?

В словах, в лице, в жестах у него было горячее нетерпение.

— То есть вы насчет чего же?

— Ну вот... как все изменить? Чтобы не было такого безобразия.

— Надо бороться, кто как может. Господа студенты вот прямо бунтуют. Есть писатели, которые пишут против правительства...

— Да, но я не студент и не писатель.

— Вы, Виктор Иванович, вы могли бы капиталом в этом деле участвовать. Кто борется, того и поддержать.

Он поглядел в глаза Виктору Ивановичу. И Виктор Иванович смутился.

— Капиталом?

Ему рисовалось нечто прекрасное, большое, борьба, а тут деньги!

— По силе возможности говорите о свободе, где можно. Это будет иметь тоже свое дело. А еще как вы могли бы?

— Капитал? Если понадобится... Вы напишите мне, кому и сколько надо дать.

— Сейчас нужды в деньгах нет. Ежели будет нужда, не откажите.

— Хорошо, хорошо, всегда располагайте.

Почему-то Виктору Ивановичу вдруг стал тягостен разговор. Он торопливо оборвал его, пожал руку Токо, повел его назад в залу. Токо стал прощаться со всеми.

— Пиши нам больше! — наказал ему Иван Михайлович.— И про политику пиши. Не напрямки только, а так — вроде

как про горох. «С горохом тихо», «с горохом устойчиво». Мы уже будем знать, про какой горох идет говор.

Токо ушел. Виктор Иванович сам проводил его до дверей. И когда вернулся в залу, Василий Севастьянович сердито поглядел на Ивана Михайловича.

— Не надо нам политика в дело пускать. Разве так можно?

— Будет, будет тебе, сват! Дело сделано. Доверенность дана. А теперь кто без политики? Твоя приемная дочь гляди-ка что говорит! Намедни я послушал — прямо волосы дыбом. Девчонка ведь, а гляди, о больших делах думает...

Василий Севастьянович поморщился, махнул рукой.

— Э, что там! Ну, старуха, пора ко дворам. Послушали умных людей — и будя.

— А ты, никак, обиделся? Будет тебе, сват!

Вбежали внучата — Ваня, Вася, Соня — прощаться. Сразу стало шумно. Василий Севастьянович схватил своего любимца, Васю, на руки, поднял кверху.

— А ты, Васюк, будешь у меня политиком?

— Буду! — запел Вася.— Буду!

Урожай в Поволжье в этом году был пестрый: местами вовсе плохо, местами изобилие. И надо было нащупать эти изобильные места, скупить хлеб. Иван Михайлович и Василий Севастьянович совещались от утра до вечера, кого куда послать, куда перевести деньги. Виктор Иванович помогал. На стене повесили карту — красными кругами отмечали уездные города и крупные села, где был урожай. Синим карандашом на кругах ставили крест,— значит, здесь есть агент «Торгового дома Андроновы и Зеленов», скупает.

А из Петербурга и Москвы уже шли заказы: «Просим сто тысяч пшеницы хорошей натуры. Телеграфируйте цену».

Заказы подстегивали. Агенты заметались по всему Поволжью, «Торговый дом» пустил три четверти капиталов на скупку. Первый привоз был взят хорошо. И Симбирская губерния не отстала, хотя и боялся Василий Севастьянович, что Токо-токо, занятый политикой, упустит нужный момент.

А на всех хуторах — зеленовских и андроновских — шла молотьба. Молотили где как — всеми урядами. Там говорливо стучали молотилки и веялки, здесь вереницы лошадей бегали по кругу, а там ленивые волы таскали выграненные молотильные камни. Высокие хуторские амбары всклень наливались тучным хлебом, точно кадки в дождь водой. Бунты полнокровных мешков, переполненных пшеницей, складывались под сараями и на мостах — уже не хватало места в амбарах.

Осень надвигалась. День и ночь над степью — под низким серым небом — тянулись к югу стаи перелетной птицы, кричали тоскливо. И степь, прощаясь с ними, хмурилась, и лицо у ней становилось серым-серым.

Овраги и лиманы наливались водою, отрезали дорогу, не давали ни прохода, ни проезда, и в степи людская жизнь замирала. Лишь буйно пели ночами села и хутора, где теперь были сыть и отдых. Ночи были черные как сажа.

По черным непролазным дорогам черными ночами и серыми днями подходил батюшка Покров. Его ждали с радостью и нетерпением: «Батюшка Покров землю снегом покроет...»

И правда, вечерами уже замораживало, ветер дул с посвистом, облака неслись быстрее, и срывался первый снег. И ночью однажды взвыла метель, крутягом закрутился снег, укрывал холодную, сырую землю. Снег лег не сразу. Он таял, степь опять чернела, но неделя какая — и все кругом побелело.

По селам и хуторам еще ждали. Ждали, когда «придет Егорий с мостом», а за ним «Никола с гвоздем». Тогда вся белая степь будет как дорога — куда хочешь поезжай.

И тогда отовсюду — из сел и хуторов, деревень и колоний — по всем дорогам длинными-длинными лентами шли обозы к Балакову, к Покровску, к Баронску: везли новый хлеб.

На зимнего Николу в андроновском доме в Цветогорье служили торжественный молебен — в благодарность Николе за урожай и прибытки. Так уже велось из года в год.

К николину дню выяснилось, сколько где чего собрано: не только на своих землях, в своих краях, но и в целой стране и, гляди дальше, в целом мире. В конторе среди пачек писем и газет, что приходили каждый день, попадались письма на имя Виктора Андронова с пестрыми нерусскими марками.

Никольский молебен был всегда только свой, и никого посторонних на него не приглашали. Ныне — вот уже семь годов — прибавились Зеленовы.

Иван Михайлович в черном кафтане-сорокосборке стоял, как черный высокий столб — толще всех, крупней всех, с черной бородищей, тронутой сединой. И рядом с ним, на голову ниже, Василий Севастьянович — круглый, рыжебородый, подвижной. Оба они старательно подпевали дьячку: Иван Михайлович — густым бубукающим баском, Василий Севастьянович — сладким тенором. Оба размашисто крестились и кланялись в землю уставно, на подручники. Впереди сватьев стояли мальчуганы: одному пять лет — Иванушке, другому четыре — Васеньке. Оба тоже в черных кафтанчиках. А позади сватьев, тоже в кафтане и тоже с подручником у ног,— сам Виктор Иванович Андронов, ростом с отца, но тоньше, стройнее. У него красивая небольшая бородка, прическа лежала модной скобкой, и по тому, как он крестился и кланялся, было видно, что Америка и академия не даром прошли для него: что-то неуставное глядело в нем, вольное.

А на женской стороне — обе свахи: Андрониха и Зелениха, и с ними Елизавета Васильевна. Все они сверкали белизной

шелковых платков и негнущихся тяжелых парадных платьев, все три породистые, большие, точно баржи. И с ними девочка лет двух — Соня.

У дверей и вдоль стен полным-полно набилось своего народа — домашние, приказчики, приживалки, прислуга, кучера, караульщики...

— Отче священноначальниче Николае, яко мы усердно к тебе прибегаем...

Голоса пели строго, уставно. Виктор Иванович полузакрыл глаза, и ему казалось, что все, все как в детстве. Сколько раз так же вот, как теперь Ваню или Васю, держал его перед собой дедушка во время домашних молебнов. Он прикинул, как изменилась жизнь, и усмехнулся. И тотчас погасил улыбку и перекрестился торопливо.

Кадильный дым, медленно поворачиваясь, поднимался к потолку, синел в лучах скупого солнца, бившего сквозь двойные стекла. Виктор Иванович пристально посмотрел на дым.

И выпрямился. Он привык в такие дни — маячные, чем-нибудь отмеченные,— привык учитывать, что сделано им за месяц и за год. И сколь много сделано!

Кидком бросила его жизнь вверх. Ему только тридцать лет, а о нем говор идет по всей Волге, его знают в Москве, Петербурге, Берлине, Лондоне, Стокгольме.

— Многая лета! Многая лета!

Это ему поют так торжественно, сильно, прославляюще — ему, Виктору Ивановичу Андронову.

После молебна все пошли в столовую — угощать духовенство. И поп — старый, уважаемый — больше говорил с Виктором, чем с его отцом и тестем, и в глазах у него глядела наивность, любопытство и почтение, как будто Виктор Иванович для него был необычайным человеком. А дьячок и причетники только глядели на Виктора Ивановича и не решались заговорить.

За длинный стол, обильный яствами и (по-постному) скупой бутылками, уселись все. На дальнем конце, под присмотром бабушек, сели внучата.

Угощал Иван Михайлович:

— Отведайте, батюшка, пирога с рыбой. Нам новый повар пек. Сынок из Москвы нового повара привез. Я было сперва рассердился — все расходы да расходы, а теперь вижу: дело не плохое.

Поп почтительно улыбнулся.

— По прибытку и расходы. Греха тут нет.

— Я тоже полагаю, отец Ларивон, что греха тут нет! — воскликнул Василий Севастьянович.— А спасение явное. Бывало, хорошо поешь — сразу подобреешь. А добрый человек разве согрешит?

Отец Ларивон закивал головой:

— Что верно, то верно. А вот я хочу спросить тебя, Виктор Иванович, какие пироги в заграницах едят? Сладкие, поди, больше?

— Совсем пирогов не едят, батюшка! И знать о них не знают.

— Ого! Да как же так?

— Все больше печеньями да сухариками пробавляются.

И пока Виктор Иванович рассказывал, как едят и пьют в «заграницах», все почтительно слушали. Поп покачал головой, сказал:

— Время-то что оказывает. Гляди тебе — Америка, гляди тебе — Англия. А я вот дальше Самары во всю жизнь нигде не был.

— Нам чего унывать, отец Ларивон! — воскликнул Иван Михайлович.— Мы свое взяли. У него вся жизнь впереди. Я и то вот только благодаря сынку в Москву-то попал. А то никогда бы и слухом ничего не слыхивал.

— Куда теперь сынков-то определишь, Виктор Иванович? Сам все науки произошел, всю землю оглядел. Им мало что и останется!

— Ничего, батюшка, лишь бы задались — хватит и им работы.

— Зададутся. У хорошего отца хорошие дети.

Иван Михайлович махнул рукой.

— Ну, не скажи, отец Ларивон! Вот у Северьяна Михайловича, слыхал, что сынок-то делает? Бунты затевает. В тюрьму его посадили.

— Кому что на роду написано.

Виктор Иванович вмешался:

— А я так полагаю, батюшка, что нам нет нужды осуждать тех, кто за политику да за веру сидит в тюрьме. Вспомним прошлое. Преподобного отца Аввакума, например, боярыню Морозову. Не всегда будешь радоваться, если тебя жмут.

— Что правда, то правда.

— Чем мы не русские люди? А гляди, как нас, староверов, притесняют! Однажды в Америке я встретился с одним господином. Такой же, как все: бритый, толстый, заговорили по-английски. Он спрашивает: «Откуда?» — «Из России».— «Русский?» — «Да». Он вдруг по-русски и заговорил, да как! На «о», по-нашему, по-волжски. Я и рот раскрыл. Оказалось — старовер. Их целая колония там — убежали из Нижегородской губернии от наших мытарств.

— Что говорить! Достаточно известно,— поспешно согласился поп.

— Ну, что там! Нашли об чем говорить! — забеспокоился Василий Севастьянович.— Ну, посадили и посадили... Нас это не касаемо. Ты про политику, Виктор, брось. Который раз я от тебя слышу. Аль ты тоже стал политикой ушибаться? Студенты бунтуют невесть чего.

— Они знают, из-за чего бунтуют.

— Одначе ты не вмешался, когда у вас академия бунтовала.

— Я и сейчас не вмешиваюсь. А только что ж, не надо забывать: у бунтарей есть своя правда.

Василий Севастьянович настойчиво замахал руками и оборвал разговор. И на его толстом лице мелькнуло столько плутовства и насмешки, что все невольно улыбнулись.

Когда поп и причт ушли, Виктор Иванович повел отца и тестя к себе в кабинет. Василий Севастьянович обнял Виктора за талию, сказал:

— Осторожность никогда не мешает. Разве ты знаешь, перед кем сейчас говорил? За нами — староверами — во все глаза глядят. Глазом не моргнешь, как могут слопать. «А ну,— скажут,— отправить Виктора Андронова на церковное покаяние в Соловки лет на десять». Что тогда? И богатства тебя не спасут.

— А, папаша, что говорить! Меня раздражает эта полицейская глупость. Чем староверы хуже церковников?

— А ты, брат, терпи. Знаешь? «Претерпевый до конца спасется».

— Ну, брось, сват! — вмешался Иван Михайлович.— Не спорь ради праздника, не маленький у нас Витька-то! Сам знает.

— Намедни приезжал из Москвы человек. Говорит, что на Рогожском опять подписи и деньги собрали — хотят опять царя просить, чтоб отпечатали алтари,— сказал Василий Севастьянович.

Иван Михайлович безнадежно махнул рукой:

— От просьб толку нет. Вот поглядим, может, Токо-токо со студентами что сделает. А так просили, просили, ждали, ждали — ничего.

Василий Севастьянович озабоченно сморщился:

— Студенты эти... Вот от Серафимы нет писем... Как бы она не втяпалась в какую историю!

## II. Сима

Большая работа «Торгового дома» пришла со снегом, с морозами — с зимним путем. Ежедневно в контору рассыльный приносил десятка четыре телеграмм — из всего края, от Перми до Царицына. И кучи писем и пакетов — иногда в серых самодельных конвертах. Василий Севастьянович и Иван Михайлович вдвоем разбирали, отвечали. Когда они совещались, лица у обоих были как у заговорщиков. Василий Севастьянович сам писал ответы — почерком, похожим на музыкальные ноты. Виктор Иванович в скупку не вмешивался. Он был занят заволжскими хуторами: проектировал засевы селекционным зерном, новые запашки «на пласты», новые оросительные пруды. С агрономом

Рублевым вдвоем они составляли проекты. Всю пшеницу с хуторских земель собирали теперь балаковские и воскресенские амбары, чтобы с весной баржами двинуть к Петербургу и дальше за границу.

Банки открыли «Торговому дому» неограниченный кредит. И порой, слушая разговор отца и тестя, Виктор Иванович думал, что теперь у них в руках в самом деле весь край.

Семья слаживалась все крепче. Старики Зеленовы после отъезда Симы на курсы в Петербург целыми днями были у Андроновых.

— Скучновато стало у нас,— бубнил Василий Севастьянович.— Хотя бы внуков, что ли, поделить! А то дом у нас как казарма стал, пустой.

— Нет уж, сватушка, делить нельзя, а вот вы к нам переселяйтесь.

— И то верно. Галчата эти — с ними будто веселей.

Виктор Иванович, прислушиваясь из своего кабинета, как шумел дом, посмеивался про себя. Шумел, шумел, точно река весной,— множество воды и множество силы.

Комнаты в левой половине дома, где прежде в двух жила прислуга, а в других трех лежала старая мебель и сундуки, похожие на баржи,— эти комнаты открыли, отремонтировали. Сам Иван Михайлович и Ксения Григорьевна переселились сюда, и Зеленовы тоже сюда. Всеми одиннадцатью комнатами жил теперь дом, и в мезонине еще дети с нянькой и гувернанткой.

Елизавета Васильевна сама теперь вела дом по своему вкусу. В зале появились картины хороших художников, старинная мебель, цветы, рояль, две старинные небольшие люстры, света в залу лилось масса — во все восемь окон. Дверь на балкон не была замазана всю зиму. Днем, вечером, ночью Виктор Иванович выходил, одетый в шубу, гулял по балкону мимо окон, а белая Волга и белые заволжские дали простирались внизу, и дым маленьких деревянных домиков поднимался к студеному небу. По ночам в домиках светились робкие огни и стояла тишина оглушающая. Лишь когда-когда пролает собака.

С весной обе семьи — Андроновы и Зеленовы — перебрались на дачу, в дедов сад на речку Саргу. Старый дом, построенный еще помещиком, был оправлен, выкрашен в голубой цвет, загремел детскими голосами.

Сарга текла самой серединой сада. На ней были устроены новые запруды, выложенные по берегам белым камнем. По углам запруд — голубые клетки для лебедей. Зарями, когда только-только всходило солнце, лебеди выплывали на пруд, кричали громко и призывно. Их крик далеко разносился по саду и по Волге.

Одетый в просторный костюм из белой фланели, с лохматым купальным полотенцем на плече, Виктор Иванович вышел на террасу. Песчаный берег вдали за Волгой светился золо-

том... Золото под солнцем! Весь сад был полон росы. Голубые тени протянулись от гор.

Виктор Иванович прошел по дорожке сада к Волге: там возле высокого мелового берега стояла на канатах белая купальня. Он разделся в купальне, отворил дверь, что на стрежень, бросился в воду. Рыбаки вдали плыли в лодке, распустив сети. Волга вся светилась ослепляющим светом. Течение подхватило его, понесло. Он плыл бодро, широко махая руками, крупный и сильный. Саженях в двадцати от берега он остановился, положив руки на воду, раз за разом окунаясь с головой, фыркал, и сердце у него крепко стучало. На берегу он заметил белую фигуру: от дома к берегу шла гувернантка — тоже с полотенцем на плече. Он поплыл к купальне, не спеша вылез. Тело, взбодренное холодной водой, все зарозовело, от него пошел тонкий пар. Он проделал гимнастику: приседал, выбрасывая руки, ноги. Мускулы ходили вольно под напряженной тонкой кожей, и, еще раз окунувшись в воду, он оделся и пошел из купальни. Француженка сидела на скамейке на берегу.

Виктор Иванович раскланялся:

— Бон матен, мад-зель!

— Бон матен, мсье! — ответила гувернантка. Все лицо у ней осветилось белым светом ее зубов, и по ее походке было видно, что она чуть-чуть смущена этой встречей — мужчина из купальни, она в купальню.

Закрывая за собой дверь, француженка быстрым взглядом посмотрела на него, как он — большой и белый — поднимался вверх по тропинке.

А вдали, между деревьями, мелькнуло белое. Это шла Елизавета Васильевна, улыбающаяся, розовая, большая и тоже с простыней на плече.

— Ты уже искупался?

Розовые тени играли на ее лице и на груди. Он осмотрел ее быстрым и жадным взглядом.

— Я сейчас приду, я быстро.

Она пошла. Он долго смотрел ей вслед.

А на террасе Василий Севастьянович и Иван Михайлович уже пили чай и тихо разговаривали. В саду звонко пели птицы.

Виктор Иванович ловко придвинул стул, сел.

— Ты едешь сегодня в контору? — спросил Иван Михайлович.

— Сегодня не поеду: незачем.

Старики оба украдкой осмотрели его, его белый костюм... Под террасой затопала лошадь. Старики неторопливо пошли вниз.

На террасу вошла Соня. Щеки у ней были розовые, в непроснувшихся, будто насильно раскрытых глазах глядело любопытство.

— Папа! — воскликнула она и хлопнула в ладоши.

Виктор Иванович усадил ее на колени. Тотчас явились Ваня и Вася — оба с деревянными ружьями, в плисовых коротких

штанах. Они еще на лестнице о чем-то поспорили и, войдя на террасу, подрались. Бабушки обе сразу — Ксения Григорьевна и Ольга Петровна — закричали на них, принялись разнимать. Внизу хлопали дверями, в саду пели поденщицы — пронзительными голосами.

К обеду приехал Василий Севастьянович и с ним Сима, только что вернувшаяся из Петербурга.

— Сима приехала! Сима! — зашумели в доме.

Высокая, с гладкой прической рядком, большеглазая, свободная в движениях, энергичная, она вся была как задор. Ксения Григорьевна всплеснула руками:

— Батюшки мои! Красавица-то какая из тебя вышла! Симка! Детушка моя!

Сима ответила, смеясь:

— Ну, какая красавица? Вы, тетя Ксена, не видали настоящих красавиц.

— Ну-ну, матушка, Лиза до замужества была хороша, а ты еще лучше. Теперь хоть на улицу не выходи,— женихи стадом за тобой побегут...

Захохотали все, и Сима громче всех. Племянники висли у Симы на руках, Соня все хотела уцепиться за черную ленту, что была в косе. Обедали шумно, небывало шумно.

Иван Михайлович спросил:

— Ну, что слышно в политике?

И Сима — смеющаяся, беспечная — сразу стала серьезной:

— На Казанской площади собрались студенты. Красный флаг. Полиция. Казаки. Бить! А студенты и курсистки: «Долой правительство!»

Она говорила громко, глаза у ней потемнели, и лицо стало задорным. И было видать: эти случаи — петербургские — доставляли ей и большое удовольствие, и какую-то горечь.

Все слушали ее тревожно.

— Вон они какие дела. А, батюшки! Чем все это кончится?

— Ну, девка, смотри! — остерегающе сказала Ольга Петровна.— Походит нагайка и по твоим плечам.

Сима глянула на нее через плечо, задорно:

— И пусть походит! Но такой подлости терпеть нельзя. Все министры у нас канальи.

— Тсс! — замахал испуганно Василий Севастьянович.— Тсс! Опомнись! Что ты? В тюрьму захотела?

А Виктор Иванович и Елизавета Васильевна улыбались сдержанно — от слов Симы дуло весенним буйным ветром.

— Все равно невозможно так править страной,— важно и вместе с мальчишеским задором сказала Сима.

— Вот тебя не спросили, как править! — раздраженно пробурчал Василий Севастьянович, и лицо у него стало свекольным, точно понахмурилась туча перед грозой.

Елизавета Васильевна испугалась тучи — отец сейчас закричит, поспешно спросила, чтобы переменить разговор:

— Сколько раз ты была в Мариинке?

— Только два раза и была. «Вий» видела...

— А говорят в Петербурге о новом святом — Серафиме? — спросил Виктор Иванович.

Сима, смеясь, вытерла рот салфеткой:

— Как же не говорят? Даже песенки поют.

И она пропела тонким голоском:

По России прошел слух:
Новый наш святой протух...

Все захохотали.

— Да уж, откроют мощи! — укоризненно покачал головой Иван Михайлович.

— Святой, с полочки снятой,— оживленно заговорила Ксения Григорьевна.— Намедни к нам приходила богомолка, в Сарове была. «Все, говорит, есть: и келейка, и сенцы, и у-бор-на-я». Ей-богу! Это у святого-то! У-бор-на-я!

— Мама, ты против церкви говоришь,— строго-шутливо сказал Виктор Иванович.— Смотри, не посадили бы тебя в тюрьму, как агитаторшу.

— Будете сидеть вместе с Симой,— подхватил Василий Севастьянович.

— И пусть посадят! Пусть! Только я никогда не признаю Серафима святым. Как это у святого — уборная?

— Ой, последние времена приходят,— вздохнула Ольга Петровна,— последние!

— Ну, до последних времен еще далеко,— с вызовом ответила Сима.— А что действительно для нашего правительства последние времена приходят — это верно.

— Да замолчишь ты? — опять нахмурился Василий Севастьянович.

— Чего молчать? Зачем молчать? Я убеждена, что наше правительство пляшет на вулкане.

— И пусть пляшет, а тебя это не касается. Ты знай молчи!

Он бы поверил, Виктор Иванович, поверил Симе: «Правительство пляшет на вулкане», но у Симы все было задор, мальчишество, именно мальчишество, а не молодость,— вся она была неосновательная. Однако ее слова странно тревожили, как тревожили когда-то слова Токо-токо. Основательны слова Симы? Неосновательны: Симе некуда девать силы, она и шебаршит. Но и свой опыт надо сюда же... проверить надо. Со старообрядцами, конечно, поступают дико и глупо, здесь и говорить нечего. Печать? Печать задушена. Не печатай, не говори... Но социалисты? Сима через два слова в третье говорит о социалистах. Виктор Иванович расспрашивал настойчиво, думал, примерял к жизни, как он знал жизнь. И морщился, недоумевая: как можно быть социалистом?

Республика? Понятно. Свобóды? Понятно. Неизвестно, нужна ли республика, но свобода нужна. Ясно.

Через неделю по приезде Симы, утром, Виктор Иванович с отцом поехал в контору. Едва они вошли, Василий Севастьянович таинственно поманил их к себе за стеклянную перегородку.

— Поглядите-ка, господа политики, какую нам конфету ныне поднесли!

Он сердито, тычком подал Виктору Ивановичу телеграмму. Виктор Иванович прочел:

«Вчера вечером арестован Заборский. Телеграфируйте, как быть».

Телеграмма была из Симбирска.

— Кто такой Заборский? — спросил Виктор Иванович.

— Кто?.. Известно кто: ваш любимчик Токо-токо! Все ты виноват, Иван Михайлович! Я говорил: не надо политикана брать.

— Чем же я виноват? Человек Токо-токо — лучше не надо: и разумный и честный.

— Вот сиди теперь с честностью-то! На носу скупка, надо все подытожить, а тут ищи-свищи! Да еще неизвестно, не запутает ли нас в свое дело!..

В этот день за обедом, ибо обед был всегда временем встреч всех со всеми сразу, в этот день за обедом в саду на Сарге все говорили сдержанно, небывало строго, потому что в первый раз так плотно подошла тревога. Ксения Григорьевна все стонала и все допытывала:

— За что же арестовали? Хороший такой человек...

Василий Севастьянович бурчал сердито:

— Известно, за что: за политику. Надо было этого ждать. Язык у него точно хвост овечий: туда-сюда, туда-сюда. Про царя, как про кучера Ермошку, говорил.

— Ну, как сказать! — стремительно вмешалась Сима.— Неизвестно еще, кто выше: кучер Ермошка или царь.

Все поглядели на Симу большими глазами. Виктор Иванович наклонился низко над тарелкой. Сима перестала есть, вызывающе глядела на всех, и во всей ее фигуре была дерзость.

— Что ты, дура? — вполголоса крикнул Василий Севастьянович и почему-то оглянулся по сторонам.— Опомнись!

— Позвольте, папаша, зачем ругаться? — Сима строго поглядела на Василия Севастьяновича.— Разве я неправильно говорю? За что вашего Токо-токо арестовали? За его убеждения. Подождите, и вас арестуют, и вас заставят ходить в господствующую церковь... «А,— скажут,— кулугуры? Вот мы вас!»

Она подняла левую руку и погрозила пальцем:

— Вот мы вас!

— А при чем здесь царь? Царь ни при чем.

— Как ни при чем? Плох хозяин, плохи и приказчики. Если бы вы знали, что говорят про царя в Петербурге...

Василий Севастьянович махнул рукой:

— Ну и пусть говорят, только ты молчи.

— Ой, смотри, девка, обрежут тебе язык! — погрозила Ксения Григорьевна.

— Или на мельнице смелют, вот как Василия Медведева смололи,— подтвердила Ольга Петровна.

— Пусть режут, пусть мелют. Но разве можно терпеть такое издевательство? Вы самая опора государства — староверы, а с вами, как с преступниками, обращаются. На что это похоже?

— Смелют! Смелют тебя на мельнице, Серафима, помяни мое слово! — простонала Ксения Григорьевна.

Сима презрительно усмехнулась, низко наклонилась над тарелкой.

После обеда Виктор Иванович подхватил Симу под руку, повел ее с террасы в сад.

— Ты скажи мне, что с тобой? Почему ты бунтуешь?

— Знаешь, Витя? Надоела мне такая жизнь.

— Да... Но про царя... Ты ведь понимаешь: наши старики пугаются таких слов.

— Один мой папашенька пугается. А остальные сочувствуют. Ты ведь, кажется, меня понимаешь?

— Я, конечно, понимаю. Но надо...

Он замялся.

— Надо помягче стелить? — скривилась Сима.

— Не то. Но кучера Ермошку и царя сравнивать не следует.

— Я и не сравниваю. Зачем обижать кучера Ермолая? Он умнее царя.

— Но, но, но...

— Да, да! Ты не усмехайся.

— Да что, у тебя какие-нибудь факты есть?

— Конечно, есть...

И горячо и запальчиво она рассказала все то, что слышала о царе в столичных студенческих кружках. Князь Тенищев учредил высшее учебное заведение в Петербурге, министры утвердили, а царь написал на докладе: «Такие заведения неудобно устраивать в населенных местах».

— Ты подумай! — воскликнула Сима.— Ты подумай: «Неудобно в населенных местах»! Разве не дурак? Или: смоленское земство постановляет ввести всеобщее обучение, а царь пишет: «Не дело земства обучать народ».

Виктор Иванович шел опустив голову, раздумывая. Сима потрясала руками и головой и говорила, говорила возмущенно и задорно.

— Это надо обдумать,— тихо сказал Виктор Иванович.

— Обдумывать нечего. Все уже обдумано.

— Чего же вы все добиваетесь?

— Как чего? Конечно, конституции.

И опять, как фейерверк, Сима заговорила о конституции: хорошо будет жить, если придут гражданские свободы.

— Тогда необычайно расцветет духовная жизнь народа! — воскликнула она.

Вышли на берег Волги — к самой воде. Оба минутку молча смотрели, как передвигается ее бесконечная сверкающая гладь. Это вечное, непобедимое движение возбудило, как всегда, и подзадорило их. Виктор Иванович выпрямился, повел плечами, будто собрался бороться. Сима забралась на большой камень, и, размахивая руками, принялась читать стихи.

— Пусть сильнее грянет буря! — выкрикнула она.

«Пусть сильнее грянет буря,— про себя повторил Виктор Иванович.— А ведь хорошо! Впрочем... зачем Симе буря?»

Сзади, за загородкой сада, зазвучали голоса. На берег шла Елизавета Васильевна — в белом платье со множеством сборок, точно белое облако. С ней ребята. Увидев отца, Ваня и Вася, запыхавшиеся, розовые, размахивая деревянными ружьями, помчались по тропинке. Вдали за ними изо всех сил поспешала француженка. Оба схватили отца за пиджак, закричали:

— Я первый! Я первый!

Этот задор, и взволнованные лица, и бегущая француженка, и Волга точно толкнули Виктора Ивановича. Он засмеялся:

— Пусть сильнее грянет буря! Сима! Лиза! Верно ведь? Пусть сильнее грянет буря!

Сима звонко засмеялась. Елизавета Васильевна посмотрела на нее с удивлением, не понимая, о какой буре разговор.

— Ей-богу, все вы какие-то странные стали! — сказала она.— Говорите полусловами, непонятно. Не заговорщики ли вы?

— Может быть, заговорщики!

Лето выдалось ядреное — с громами, дождями, большим солнышком. Урожай пришел полновесный, и телеграммы о нем шли в Цветогорье со всего Поволжья. Казалось, сдержанная радость дрожит в самом воздухе, потому что радовались все — мужики, купцы, мещане: урожай-батюшка всему голова. Василий Севастьянович подобрел, сыпал прибаутками. Контора не запиралась круглые сутки. В четыре часа утра Зеленов уже был на месте, распечатывал телеграммы, сам писал ответ тут же, корявым почерком: «Покупай не торопясь, давай, как дают другие». Или энергично: «Перевели пятнадцать тысяч. Покупай скорей». Или хитро: «Давай четь копейки больше других, покупай веселее».

Иван Михайлович и Виктор Иванович приезжали в контору позднее. Они возились с хуторскими приказчиками и доверенными. В это лето Виктор Иванович дважды ездил на хутор Красная Балка, где Рублев соорудил две новые плотины на оврагах. Овраги — прежде сухие, с изъязвленными глинистыми берегами — теперь скрылись под водой. Воды было много — целые озера. Заволжье дохнуло урожаем крупным, какие бывают раз в десять лет. Огромная мощная машина «Торговый дом Андроновы и Зеленов» работала со всем напряжением.

Уже шел август, сытый, яркий, с необыкновенно высоким небом, ослепительным солнцем. Тысячные стаи скворцов осыпали поля, живой мелькающей сетью перелетали Волгу. Вечерами и ночами рев парохода долго изливался в горах. Волга была тихая, ласковая, утомленная жарким летом. Стальная вода тихонько ластилась к желтым просторным пескам. На баржах и пароходах, идущих снизу, ярусами желтели золотые дыни и серебристо-желтые арбузы.

На скамье, что у калитки к Волге, сидели двое: Виктор Иванович и Сима. Они ходили далеко вдоль Змеевых гор, их ботинки запылились белой меловой пылью. Они говорили уже утомленно.

— Осень! Смотри, как потемнела зелень!

Это сказала Сима и крепко и нервно потерла руки.

— Да. Вяз уже потерял половину листьев.

— Скоро Петербург. Опять кружки, сходки, разговоры. Хорошо!

— В Москве, пожалуй, лучше...

— Ну нет! Москва — большая деревня. Там все до смешного напоминает деревню. Там извозчики, дожидаясь седоков, поют: «Отверзу уста моя».

— Нет, Сима, ты напрасно. Извозчики действительно поют молитвы, а все же основное русское — в Москве. Вот увидишь, что скажет Москва в будущем. Самые большие события всегда были и будут в Москве.

Сима подернула плечами, скривила презрительно губы:

— А ты, Витя, все про русское говоришь. Кто же теперь так говорит? Русский — синоним насилия и невежества. Мне порой стыдно за себя за то, что я русская.

— Ну-ну-ну! Может быть, ты посоветуешь в немцы записаться?

Смеясь, они препирались.

— Завтра! Завтра на пароход до Саратова и оттуда — в Питер.

Сима смотрела весело, точно свет от нее исходил.

— А мне вот,— с трудом проговорил Виктор Иванович,— а мне вот как будто некуда ехать.

— Как некуда? Ты куда угодно можешь поехать. Кто тебе запретит?

— Нет, уж я здесь останусь. Только ты, пожалуйста, шли сюда хорошие вести.

— Постараюсь,— усмехнулась Сима,— за мной дело не станет.

Она поднялась.

— Ну, я пойду.

Виктор Иванович посмотрел ей вслед. Сима, вся подобранная, в белом изящном платье, сшитом столичной портнихой, пошла. И как будто зависть к ее увлечению и задору толкнула Виктора Ивановича. Он пошел назад к горам, вдоль Волги, уже

совсем вечереющей — красные пятна горели на песках, а весь берег под горами стал фиолетовым. Эти смены света — от ярких к темным, сразу на огромных просторах — возбудили опять задор.

«А, посмотрим, что будет».

И ему захотелось что-то сделать — покричать, что ли? И неожиданно для себя он запел голосом сильным, диким:

— «Пусть сильнее грянет буря!»

И испуганно оглянулся: не слышит ли кто? Берег был пустынен, тих, темен.

«Зачем мне буря?»

Посмеиваясь над собой, он пошел обратно. Еще издали он услышал громкий говор на террасе.

Ольга Петровна, обычно тихая, кроткая, теперь сердито кричала:

— Что ты, девка? Сладу с тобой нет!

— Мамочка, да перестань же волноваться! Ну, что со мной может случиться?

— Вот не пустить бы тебя — за твои такие слова дерзкие. Воспитывали, воспитывали, холили, холили, а она сама в петлю лезет. На что похоже?

Виктор Иванович неслышными шагами пошел к террасе, встал у густого куста сирени. На террасе, над столом, горела большая лампа под белым абажуром, и в свету мелькали белые женщины. Сима стояла у стола.

— Не пустить бы! — опять настойчиво сказала Ольга Петровна.

— Мамочка, меня нельзя не пустить. Разве можно остановить жизнь?

— Вот-вот, причужай, причужай! Ей говоришь по-людски, а она бес ее знает на что поворачивает?

— Верно, Сима! — крикнул снизу Виктор Иванович и зашагал по лестнице.— Верно! Жизнь не остановишь. Дорогая мамаша,— обратился он к теще,— дорогая мамаша, перестаньте беспокоиться: чему должно быть, то и будет. Что там! Давайте хоть последний вечер проведем весело. Когда еще увидимся? Неизвестно...

И настойчиво сломал воркотню тещи, заговорил весело и бодро.

Приехали старики — Иван Михайлович и Зеленов, и все приглушенно, тихо заговорили все о том же, что всех беспокоило: «Вся жизнь скомкалась, затревожилась».

Сима была уже как равная, ее слушали: она больше всех знала.

На другой день на пристани, провожая, Виктор Иванович взял Симу под руку, провел на корму, заговорил вполголоса:

— Ей-богу, Сима, все это мне очень нравится. Я чувствую подъем, когда разговариваю с тобой. Но прошу тебя: будь осторожна.

— Ты не беспокойся, Витя! Если я попаду, то попаду по серьезному делу. По глупости мне не хочется себя тратить.

Подошла Елизавета Васильевна — большая, прекрасная,— заговорила с улыбкой:

— Можно подумать, что вы влюбленные: уединяетесь и говорите шепотом.

— Ты почти права,— улыбнулся Виктор Иванович,— я как раз и говорил Симе, как она мне нравится своей бесшабашностью.

— Сломит она себе шею.

— Авось не сломлю,— тряхнула Сима головой.

— Каждый раз, когда я прощаюсь с ней, мне все кажется, что я прощаюсь навсегда,— утомленно сказала Елизавета Васильевна.

Сима засмеялась, продекламировала:

— «Прощай, прощай! И если навсегда, то навсегда прощай!»

Подошел пароход. С Симой простились тепло. Ольга Петровна заплакала. Долго махали платками Симе. Она все стояла на палубе, и платок в ее руке мелькал, будто белая птица.

— «Прощай, прощай»,— глядя на взбудораженную воду, проговорил Виктор Иванович.— Как это дальше? «Прощай, прощай! И если навсегда, то навсегда прощай!»

— А ты думаешь, что навсегда? — спросила Елизавета Васильевна.

— Как знать? Посмотрим...

Через неделю Андроновы перебрались из сада в город. Подули сухие заволжские ветры — вестники осени. Горы забурели, леса и сады потухли. Пыль на дорогах взметывалась высоченными столбами. Волга потемнела, засиротелась, и уже не много народа толпилось на пристанях. По ночам ветер выл вокруг дома. А в доме уже топили печи. Виктор Иванович допоздна сидел в кабинете, читал, думал.

Разговор с Симой странно встревожил его. Что ему нужно еще? Цели, поставленные когда-то, достигнуты или достигаются. Богатства растут, семья создалась крепко — любящая жена, здоровые дети... И почет стучит в дверь. «Прощай, прощай! И если навсегда...» Чего не хватает? Странная эта Сима! Впрочем, не единым хлебом жив бывает человек. Не один ли только хлеб моя теперешняя жизнь? Нужна жизнь и для духа. Так, что ли? «И если навсегда, то навсегда прощай...»

Дни шли за днями, похожие один на другой, как равноценные монеты.

Однажды в пачке писем Виктор Иванович нашел письмо с адресом: «Цветогорье, купцу Виктору Ивановичу Андронову». Слово *купцу* было подчеркнуто толстой чертой и резнуло по сердцу обидой. Он сердито разорвал конверт. Выпала бумага, исписанная синими полупечатными буквами:

Ко всем!
Русь не шелохнется.
Русь — как убитая!
А загорелась в ней

Искра сокрытая,
Рать подымается —
Неисчислимая,
Сила в ней скажется
Несокрушимая.

«Широкой неустанной волной выносит жизнь на свои берега новые требования, новые запросы».

Виктор Иванович улыбнулся: прокламацию прислала Сима. Это она проказливо подчеркнула слово *купец*. И прокламация своим стилем была похожа на Симу — такая же порывистая: «Ни полицейские запреты, ни административные потуги в виде арестов и обысков, ни нагайка, ни кулак полицейского, ни штык солдата не в силах сковать железным кольцом могучие ростки зародившейся новой жизни. Люди будут гибнуть, но идея будет жить...»

Виктор Иванович разом напружился, веселый холодок пробежал по его спине. «Ведь сбирается русский народ и учится быть гражданином!..»

Резкие выпады против царя и правительства пугали и в то же время будили странный, почти радостный трепет.

Сунув прокламацию в книгу — на всякий случай, чтобы не видели лишние глаза, Виктор Иванович долго и взволнованно ходил по кабинету из угла в угол. И улыбался хитро в стриженую бородку.

Перед обедом пришли в кабинет тесть и отец — на минутку, вздохнуть. Виктор Иванович вытащил прокламацию, прочитал.

Василий Севастьянович сидел с выпученными глазами, красный. Иван Михайлович гладил бороду, и рука у него дрожала.

— Да ты что это, Витька, ай с ума сошел? У себя держишь такое.

— Получил сегодня по почте. Прямо из Питера.

— От кого?

— Не знаю. Без всякой записки.

— Не иначе как Сима!

— Это не важно, от кого. А важен дух-то... дух-то!

— Дух что и говорить! Дух — прямо не продохнешь. Здорово пущено. Сечь бы тех, кто сочиняет такие бумажки!

— Их и то секут. Разве не слыхали?

— Секут, да мало. Я бы эту Симку...

Тут вмешался Иван Михайлович:

— Ой, сват, хорошо ли будет? Вспомни-ка, сколь мук нам эти цари да министры дали! Двести лет мучаемся. А теперь вот... Как это там? «Загорелась в ней искра сокрытая».

— Нет, до какой дерзости народ дошел!

— Дойдешь, сват, если правители за горло схватили!

Они — оба здоровущие, толстые, как быки,— косо переглядывались, препирались слегка: один — колюче-испуганный

и возмущенный, другой — взволнованный, ждущий. А Виктор Иванович посматривал на них и усмехался. Он плохо понимал, что с ним. Но ему нравилась эта тревога, это новое, что, чувствовалось, идет вот-вот.

## III. Всеобщая обида

Распутица наступила рано. Еще до покрова стал перепадать снег. Волга и серые дали Заволжья закрылись мелкой сетью дождя. Все работы в конторе сразу оборвались до зимы, до первопутка. Октябрь и ноябрь всегда были самые вольные месяцы — нет ни подвоза, ни торговли, ни работы на хуторах.

Целыми днями Виктор Иванович погружался в книги, в газеты или, раздумывая, ходил по дому. Он почуял: он переживает то самое время, когда душа заплуталась на старых путях, ищет пути новые. Это было с ним и прежде, и вот пришло опять, разбуженное и общей тревогой, и задорной Симой, и, главное, новым недовольством — собой и своей жизнью. Чего-то не хватало.

Для чего жить? А ну-ка на поверку! Старая староверская истина, выработанная еще в Выговском скиту два века назад, теперь опять подвернулась под руку: «Надо жить не для себя и не для других, а жить надо со всеми и для всех. Каждый должен стремиться к тому, чтобы землю обратить в прекрасный сад, где людям жилось бы вольготно, как в раю».

Стремится ли он обратить землю в прекрасный сад? Он думал, проверял мысленно. В общем — да. «Земля была безвидна и бесплодна»... пустыня. Он — человек — будил пустыню. Это и есть благодатная работа. Здесь творчество, а в творчестве все и всегда красота. Конечно, хлебные скупки тут... небезгрешны. А если бы не было скупок?

Виктор Иванович представил хищное лицо Василия Севастьяновича, представил его руки, обросшие рыжими волосами. «Охулку на руку не положит». Однако этот грех поправим. Ну, часть вернуть народу, у которого взято.

Так мысли — иголочками — покалывали совесть, родили беспокойство, заставляли искать оправдания.

«Сима! — писал он в Петербург.— Какой-то благодетель прислал мне хорошие бумажки. Я ему очень благодарен. Хорошо, если бы такие бумажки приходили почаще. Я в долгу не останусь».

И однажды пришел по почте толстейший пакет «Торговому дому Андроновы и Зеленов» — пакет с журналом, отпечатанным на тончайшей бумаге.

Всю ночь до рассвета у Виктора Ивановича в кабинете горел огонь. И весь следующий день Виктор Иванович ходил рассеянный, с утомленным, помятым лицом... А старики —

и Василий Севастьянович и Иван Михайлович — в этот день приставали настойчиво:

— Ну-ка, Витя, гляди, дела-то какие!

— Какие?

— Война на носу. Японец зашебутился.

— Так что же?

— Действовать надо. Скорее хлеб скупать побольше. Ежели война начнется — хлеб взлетит птицей.

— Куда же нам воевать, если у нас дома такие непорядки?

— Непорядки непорядками, а война войной. Я полагаю, скупать теперь же надо. Гляди, что пишут...

Виктор Иванович на минутку задумался. «Скупать?» Он понимал: сейчас скупать, когда беда надвигается — война? Скупать, чтобы наживаться на войне?.. Он отвернулся от тестя, и, глядя в угол, сказал:

— Делайте, как хотите.

А зима ложилась все глубже. Все белым-бело было — Волга, Заволжье, горы, сад, двор,— мягкое, как вата, неслышное. Опять через Волгу обозы потянулись ленточкой: подойти к окну — все как на ладони видать.

Верстовыми столбами проходили зимние праздники: никола, рождество, крещение. И дом андроновский жил сильной жизнью, полной, как чаша, налитая с краями.

В эту зиму Ивана Михайловича выбрали гласным городской думы. Он ездил на заседания аккуратно, за обедом и ужином любил поговорить о городских нуждах.

— Не дай бог — война. Пропал город! Уж сейчас во всем нехватки, недостатки.

Василий Севастьянович сердито ворчал:

— С кем война? С Японией? Да она с наш уезд, не больше. Намедни я прочитал стишки: «Япония — вот те на: вся— губерния одна». Мы этих япошек сразу в бараний рог согнем, шапками закидаем.

— Так-то так, а все же.

— Ничего, сват, Россия все видала, все вынесет.

Теперь, в эти дни — декабрь, январь,— все погружались в газетные листы, во все просветы и щели между делами и в самые дела втискивали фразы о войне. Газеты кричали задорно, глумясь над Японией. Так же задорно и так же глумясь говорил Василий Севастьянович:

— Мы им... покажем.

А за два дня до сретения весть о войне наконец пришла, пришла неожиданно страшная: ночью японцы напали на русский флот в Порт-Артуре. Василий Севастьянович забегал шариком, малиновый от гнева.

— Ну, пусть подождут! Мы им!..

Он поймал газетную фразу о Святославе. И везде: в конторе, за обедом, в кабинете у Виктора Ивановича,— везде говорил горячо и громко:

— Вот мы как, русские: Святослав посылал посла к врагам сказать: «Иду на вас». А эти подлецы ночью. Ночью! Ночью напали на наши корабли. Разве допустимо?

— На войне свои законы,— напомнил ему Виктор Иванович.

— Ну, это ты, брат, брось! Чего ты зубы скалишь? Умный человек, а вот не соображаешь. Ночью... Ну ж мы им припомним! Мы им зададим!

В городе, в маленькой типографии Гусева, теперь печатались телеграммы о войне. Василий Севастьянович по пяти раз в день посылал туда сторожа:

— Сходи, не вышла ли телеграмма?

И если приносили телеграмму, на полделе бросал все, читал поспешно, выкрикивал ругательства — страшный в гневе.

Он все грозил:

— Подождите. Мы вам!

Но день за днями — телеграммы несли вести самые обидные:

«Минный транспорт «Енисей» наткнулся на свою мину, затонул».

«Наши войска, после упорного боя, отходят на новые позиции».

Случай с «Варягом» и умилил, и восхитил, и опечалил.

— Вот мы как! Умрем, а не сдадимся.

Шумом своим он заслонил всех, все как будто отошли в сторону, смотрели издали. Иван Михайлович ходил хмурый, все допрашивал сына: «Что будет?» Женщины ахали, ужасаясь. И дом, как и город и, может быть, как вся страна, зажил жизнью тревожной.

В городе ходили манифестации — попы, мещане, воспитанники военной школы, рабочие с цементного завода — с иконами, царскими портретами. И Василий Севастьянович впереди всех, вроде распорядителя — в распахнутой шубе, с шапкой в руке, волосы растрепаны, лицо красное. Когда пели «Спаси, господи, люди твоя», он помахивал шапкой, как регент, и по красному, горячему лицу его катились слезы.

Газеты были полны волнующих вестей о студенческих и рабочих манифестациях в столицах и больших городах.

«Сима, напиши, что происходит у вас. Еще недавно я считал студентов бунтовщиками, а теперь...»

Так писал Виктор Иванович.

И ответ, через неделю, пришел ошеломляющий:

«Они хотят, чтобы мы не думали о них, хотят затуманить наши головы. Это им не удастся. Вот увидите. Пусть дураки ходят по улицам с иконами и нарисованными рожами, умные пока посидят, подождут, чтобы схлынул угар...»

Виктор Иванович возмутился, все внутри холодно сжалось, волосы на затылке — от шеи к маковке — взъерошились, он брезгливо бросил письмо прочь, на дальний угол широкого стола.

«Второй враг! Вместо того, чтобы поддержать Россию в борьбе с внешним врагом, они... они вон что пишут! Угар?»

Как раз в кабинет вошел Василий Севастьянович — шумный и торжественный, с газетой в руках. Виктор Иванович потянулся к письму, хотел показать: «А посмотрите, что пишет ваша приемная дочка...» Но спохватился тотчас.

— Что с вами, папаша?

Василий Севастьянович заговорил особенным, теплым голосом:

— Посмотри, что царь-то батюшка возвещает!

Он нацепил очки на самый конец носа, прочел:

— «Обстановка войны заставляет нас терпеливо ждать известий об успехах нашего оружия, которые могут сказаться не ранее начала решительных действий русской армии. Пусть же русское общество терпеливо ожидает грядущих событий, вполне уверенное, что наша армия заставит сторицею заплатить за брошенный нам вероломный вызов».

И, сбросив очки, поглядел торжествующе:

— Вот видишь? «Терпеливо ждать». А ты уж посмеиваешься!

— До смеха ли здесь? Вести-то какие!..

И, опустив голову, Виктор Иванович прошелся из угла в угол по кабинету. Все стало непонятно, точно обида какая налегла. «Как примирить? Россия и Сима. Царь и Сима». Он не сказал о письме.

Обжигающие вести пошли одна за другой. Гибли корабли, на суше русские везде отступали, а газеты все еще кричали в один голос о мужестве, о терпении, о доблестях русских. Но меньше становилось манифестаций, что-то убывало... И Василий Севастьянович уже не так громко шумел, все отдувался, будто колотили по его бокам, а руки у него связаны.

Новый главнокомандующий Куропаткин двинулся из Петербурга на Дальний Восток и везде говорил речи:

— Терпение, терпение, терпение!

На всех станциях его встречали попы, благословляли иконами.

— Терпение, терпение!

Уже наметилась весна, доходил март. На Волге на дорогах гуляли грачи. И вот именно в такой весенний день, когда хотелось верить только в радость,— в такой день пришла весть:

«Погиб «Петропавловск», утонул адмирал Макаров».

Телеграмму об этом принесли как раз в обед, когда все сидели за столом — Андроновы и Зеленовы. Василий Севастьянович жадно схватил листок и, прочитав, закрестился и, крестясь, обругался грубо, по-базарному, как не ругался никогда в семье. Это было так страшно, что Елизавета Васильевна ахнула, уронила разливательную ложку на скатерть, заплакала и за ней заплакали дети — Ваня, Вася, Соня, не понимая, что случилось. Василий Севастьянович всхлипнул и побежал из столовой. Виктор

Иванович поднял листок, прочитал вслух медленно. Обедать все перестали и разошлись по комнатам.

И с того дня Василий Севастьянович перестал шуметь, приуныл, будто весь его патриотизм смыло рукой. Он ходил испуганный, забыл шуточки, никого уже не спрашивал:

— Ну, как там? Как вы думаете?

Сурово замкнулся. И только изредка бурчал:

— Нет, что ж! Не с нашим носом войну вести. Куда там? Надо бы нашим на печке сидеть и молчать.

И, точно по уговору, в семье все перестали говорить о войне, хотя каждый отдельно жадно читал телеграммы и газеты.

Но пусть война и тревога, а так же, как во времена мирные, подходила весна — волжская, единственная, неповторимая. Высоко по небу летели тонкие белые облака, гонимые буйным теплым ветром. Солнце сияло, лед на Волге уже взбух, и вдоль берегов заголубели закрайки. На белых горах темными заплатами проглянули проталины. Солнечные лучи заливали просторный андроновский дом... Весна!

Ребятишки шумели буйно, их выпускали на долгие часы в сад, они лепили снежных баб, катались на салазках,— гувернантка и няня все с ними, с ними.

Виктор Иванович вышел на балкон, посмотрел на ребят, и ему вспомнилось детство: так же вот он, бывало, с няней Фимкой бегал веснами по саду... Фимка, Фима, Ефимия — теперь зажиревшая, необычайно толстая «кучериха» и помощница экономки.

Он долго смотрел на ребят, на Волгу, на горы,— весна шла буйно. Хотелось расправить грудь широко, выпрямиться. Он тихонько загудел — что-то вроде песни,— довольный.

Из конторы прибежал малец:

— Пожалуйте, Виктор Иванович, вас Василий Севастьянович в контору просят.

В конторе сидело двое военных: один — с погонами интендантского полковника, важный, белокурый, с подстриженной остренькой бородкой, в очках; другой — с погонами военного чиновника, с лицом фельдфебеля: черно-желтые усы, бритый синий подбородок, похожий на пятку. Оба курили, хотя перед глазами на стене был плакат: «Курить нельзя».

— Вот, Витя, господин полковник хочет у нас закупочку сделать,— сказал Василий Севастьянович.

Полковник качнулся, не приподнимаясь со стула, щелкнул каблуками. Чиновник тоже качнулся.

— Хотели бы сделать большую закупку для войск... Двести тысяч пудов.

— Я говорю господину полковнику, что мы можем такую поставку принять.

— Да, да, конечно! Мы навели подробные справки о вашей фирме. Обычно мы сами закупаем на местах. Но ввиду военных событий принуждены прибегнуть к посредничеству. Я прошу, конечно, сделать уступку: мы все должны быть теперь патриотами...

— Это правильно, господин полковник! Что тут говорить? Каждое ваше слово на месте. И мы, само собой, пойдем на уступки.

Виктор Иванович смотрел с некоторым недоумением, не понимая, зачем позвали его, когда обычно старики продавали хлеб, не спрашивая.

— Прошу вас уступку сделать,— сказал полковник и поправил очки.

— Всегда готовы сбросить копейку с рыночной цены.

— А больше?

— Как бог свят, не можем! Сами понимаете, хлеб нужен теперь всем до зарезу.

— Ну хорошо. Остановимся на этом. Теперь дальше. Как вы думаете относительно куртажных?

Виктор Иванович глянул на полковника пристальней: «Куртажных?»

— Это уж как водится по положению, господин полковник! Четь процента даем с полученного,— поспешно сказал Василий Севастьянович.

— Мало! — отрубил полковник.— Четверть мало. Прошу полпроцента.

— Ведь это как сказать, господин полковник... Невыгодная поставка выйдет. Само собой, пока мы договариваемся, цены могут повыситься: на рынке цена очень скачет.

— Ну конечно, мы будем считаться с рынком.

Они говорили откровенно. Виктору Ивановичу показалось: говорили цинично. Этот полковник, взывающий к патриотизму и требующий куртажных,— его под суд бы надо! Не прощаясь, Виктор Иванович ушел из конторы. Его била дрожь, он понимал: сейчас тесть и интендант делят Россию. Взбешенный, он саженными шагами ходил по кабинету. Тесть, а за ним неотступной тенью и отец вошли в кабинет. Виктор Иванович остановился, спросил грубо, небывало грубо, смотря прямо в глаза тестю:

— Порешили?

Тесть хихикнул:

— А ты думал как? На копейку выше рынка поставили: и куртаж, и угощение покроем.

— Еще и угощать будете?

— Как же! В гостиницу ныне нас пригласил. А это понимай, чем пахнет. Сотняги две выскочит.

— И вам не стыдно, дорогой папаша?

— Чего стыдно? Что ты?

— Не стыдно? Сами сейчас вы с этим мерзавцем грабили Россию.

— Ну, ну, ну, ну... Какие слова говоришь? Мы-то при чем здесь? Это их грех. Они у своего места поставлены, они пользуются. А мы только продаем, нашего греха там нет.

— Вы должны от этой поставки отказаться.

— Нисколько не должны. Уйдут они от нас, другие еще больше наживутся. Мы хоть по-божьи сделали...

— По-божьи? Хоть слова этого не говорили бы! Вот где ваш патриотизм! А еще кричали: гибнет Россия, гибнет. Конечно, гибнет, если все только и глядят, как бы ее ограбить.

Василий Севастьянович вдруг побагровел, крикнул:

— Да ты что это, брат? Кто грабит-то?

— Кто? Вы. И я вместе с вами.

— Ты... вот что... не плюй, как говорится, в колодезь... Ежели такие слова говоришь, то какой же ты после этого мне зять? Разве такое говорят тестю?

— Ну, будет, будет вам ерепениться,— вмешался Иван Михайлович,— петухи шпанские! Ты, Витя, взаправду несуразность говоришь. Не нами это установлено, не нами и кончится. Всегда интенданты воровали, и здесь вовсе не наш грех. Мы даже выручаем государство. Где бы оно взяло столько хлеба?

— Ты тоже?

— Я что ж? Я дело говорю. Ты обмозгуй все, прежде чем такие сурьезные слова говорить. А интендантов мы не исправим. Пусть с ними сам царь справляется...

— Да, конечно, не исправим. Мы только поможем им воровать. Вот отсюда и вся беда наша. И бьют нас, как сидоровых коз...

День, два, три Виктор Иванович не ходил в контору, мало говорил с тестем. Тесть и сердился и порой покашливал смущенно, и по его красному, толстому лицу было видать: эта размолвка — первая за все время — его угнетала.

А весна уже встала во весь рост. Пароходы трубно взвывали у пристаней, весь луговой берег был залит до Маяньги, лишь верхушки деревьев зеленели над светлой водой. Сад возле дома, точно огоньками, засветился зелеными листьями и белыми цветами. Целыми ночами в саду у Мельникова и у Строева пели соловьи...

На семейном совете было решено: пригласить учителя — готовить Ваню в реальное, к осенним экзаменам. Елизавета Васильевна сама ездила в гимназию к учительнице Воронкиной — своей прежней подруге, и Воронкина рекомендовала репетитора Панова — очень опытного учителя. И вскоре в доме появился высокий студент, лобатый, с голубыми глазами. За первым же общим обедом Василий Севастьянович наивно спросил его:

— Что так рано из института приехали? И вы бунтуете?

Студент усмехнулся:

— И мы бунтуем.

Василий Севастьянович покачал головой:

— Чем же это кончится?

Он принялся расспрашивать студента о беспорядках, студент отвечал прямо и так резко, что Василий Севастьянович замахал руками:

— Будет, будет... Скажи пожалуйста, как ныне научились говорить!

И когда студент ушел, он накинулся на дочь:

— Да ты кого, матушка, в дом пустила?

Елизавета Васильевна пожала плечами:

— Сам видишь, кого. Сестра у него классная дама. Из старой дворянской семьи.

— Все теперь с ума сходят! — безнадежно махнула рукой Ксения Григорьевна.— Последние времена наступают. Намедни странник говорил...

Ее перебили, не стали слушать: «Не время теперь о странниках!» Василий Севастьянович все поглаживал длинную сивеющую бороду, бормотал:

— Да, времена! Каждый человек что ерш. Ощетинился... Что это будет?

Это ожидание: «Что будет?» — клещами захватило всех. Дни и недели бежали быстрее. И в быстроте чуялось: вся жизнь, не только на Волге, но и во всей стране,— вся жизнь закособочилась. По Волге вверх шли пароходы — от Царицына к Самаре, пароходы с казаками, с казачьими лошадьми, с орудиями. Андроновы иногда вечерами ездили на пристань взглянуть на людей, что идут туда, на Дальний Восток, к смерти. Казаки пели песни грустные, тягучие. И было неожиданно — грусть в казачьих песнях: казак представлялся всегда воинственным, веселым. И, точно в той казачьей песне, пароходные гудки отзывались в горах грустно.

Посевы везде сократились. На хуторах недоставало рабочих. Заводы закрывались... В конторе дела поутихли, Виктор Иванович уже все дни проводил в саду, за книгами и газетами. Агроном Рублев, как прапорщик запаса, был взят на войну и теперь изредка писал ему — из-за Байкала: «Настроение похоронное. В больших городах на вокзалах еще кричали «ура». А везде в остальных местах молчат угрюмо».

Сима не писала всю зиму. Лишь в начале лета пришла от нее открытка из Финляндии, из Выборга:

«Занимаюсь усиленно к осенним экзаменам. Обо мне не беспокойтесь».

Ольга Петровна всплакнула:

— Вот какие дети пошли! Хотя я ей не родная мать, а все же... она могла бы порядок соблюсти, приехать.

Однажды — уже в переломе лета — Иван Михайлович и Василий Севастьянович после чая уехали из сада в город, чтобы пробыть там до вечера. Но не прошло часа — на горе по дороге показался экипаж, скакавший во весь опор к саду.

Елизавета Васильевна крикнула:

— Наши скачут! Смотрите!

На террасе всполошились. Экипаж проскочил ворота и махом подлетел к дому. Три голоса с террасы закричали разом:

— Что случилось?

Василий Севастьянович взглянул вверх на террасу, значительно подняв палец, погрозил. Виктор Иванович сделал два шага по лестнице вниз, навстречу старикам.

— Да что случилось?

Василий Севастьянович глухим голосом сказал:

— Министра Плеве... бомбой... на мелкие части разорвало...

А Иван Михайлович тоном повыше, будто с торжеством в голосе, проговорил:

— Дождался!

Виктор Иванович прочел вслух коротенькую телеграмму об убийстве Плеве. И на террасе на минуту стало так тихо, что было слыхать, как хлопают плицы буксирного парохода, идущего далеко у песков.

— Вот оно, пришло! — наивно сказала Ксения Григорьевна и перекрестилась трижды.— Господи боже! Бомбой! На мелкие частички, сердешного! Каково-то ему было претерпеть?

А под террасой кучер громко, в полный голос, говорил садовнику, повару, горничной — домочадцам:

— Тарарахнули так — куда рука, куда нога!

Панов вышел из детской, где он занимался с Ваней. Ему дали прочитать газету, он, прочитав, выпрямился, улыбнулся гордо:

— Неплохо сделано.

Василий Севастьянович нахмурился, сердито посмотрел на Панова, молча и беспомощно развел руками.

А в тот же вечер приехал в сад заводчик Мальков — черный, как цыган, угрюмый, до глаз обросший волосами. Не здороваясь и не садясь, он проговорил с усмешкой:

— Дела-то, дела-то какие!

Иван Михайлович посмотрел на него с беспокойством: никогда Мальков не приезжал зря. Поговорили об убийстве министра, поудивлялись:

— Как это нынче... ловко! Хлоп! — и на мелкие части!

— Да. Техника. Ничего не поделаешь,— насмешливо пробурчал Василий Севастьянович,— техника у *них* высокая. Да вот мы-то стоим на месте.

— А гляди и мы подымемся.

— Как? Куда?

— Аль не слыхали про Москву-то? Эге! Наш Морозов отчубучил штуку... Генерал-то губернатор — дядя царев, Сергей Александрович — созвал московских купцов, начал укорять: «Мало жертвуете на войну». А Морозов прямо ему в глаза: «Рады бы, ваше высочество, пожертвовать, да не уверены, дойдут ли деньги по назначению». Прямо в глаза, значит, вором его махнул.

— Что ж ему?

— Великий князь заругался было. А Морозов поклонился ему низенько и спрашивает: «Прикажете закрыть наши фабрики и заводы?» Тому и крыть нечем. Закрой теперь фабрики и заводы — сейчас бунт, пропали все князья — великие и малые. Глядите, еще не то будет! Кто теперь правительству сочувствует? Поговори с тем, с другим,— все сплошь ругаются. Разве так можно? Плеве этот... Ну, хоть и покойный, а надо прямо говорить: негодяй был. Чего там!..

— Ты зачем, кум, пришел-то? Ты мне прямо говори, а то у меня сердце не терпит,— сказал Иван Михайлович.

— А затем и пришел: давайте собираться да дело делать. Новый министр будет, новые песни запоет. Они теперь в испуге. С ними и надо сейчас говорить. Они смогут нам послабление сделать. Сейчас от староверов послов к новому министру. «Так и так, мол, кого вы хотите в нас видеть? Врагов или друзей? Если друзей, так позвольте нам молиться богу, как мы хотим...»

До ночи до глубокой сперва на террасе, потом в комнате у Виктора Ивановича светился огонек. Мальков уехал, уже когда белел восток...

В конце августа в один день пришли газета «Русское слово» с подробностями разгрома русской армии под Ляояном и письмо от Симы. И всю ночь на балконе опять горел огонь: оба Андронова — старый и молодой — и Зеленов спорили, бранили Куропаткина, бранили русское офицерство, русские порядки, были бледны и измучены.

— Вот помяните мое слово: отрежут всю русскую армию, заберут в плен,— сказал Иван Михайлович.— Ну-ка, прочти еще, что Серафима-то пишет.

В третий раз Виктор Иванович развернул письмо.

— «Нашего Куропаткина разбил наголову Куроки. Два наших корпуса сдались в плен со всем оружьем и пушками. В Ляояне японцы захватили большие склады снарядов, хлеба и множество пленных. На море уничтожен весь флот. Солдаты стреляют в офицеров. Война кончена. Мы ждем с минуты на минуту всеобщей забастовки». Ну и так далее...— пробормотал Виктор Иванович и швырнул письмо в сторону, с отвращением. Бледный, с зеленым отсветом на лице — он казался больным и раздраженным.

— Теперь я понимаю хохлов, когда они говорят: «Хоть гирше, та инше»,— пробурчал Василий Севастьянович.— Невыносимо так!

Он поднялся, пошел. Пошел, не простившись, сердитый на весь мир. Отец и сын посидели молча.

— Ну что ж, и нам надо поспать. Вот тебе и дело! Дожили до позора. Шестой десяток мне доходит,— такого ужаса не видал и не слыхал.

Кряхтя, по-стариковски шаркая ногами, отец пошел с террасы. Виктор Иванович остался один. Он сидел сгорбившись, положив руки на стол, на смятую газету. Край неба над горами

забелел. Лампа уже не светила. Дверь скрипнула, и на террасу вышла Елизавета Васильевна — в теплом фланелевом капоте, в туфлях, в чепце. Ее глаза смотрели заспанно и вместе тревожно. Лицо постарело со сна.

— Все сидишь? Иди же спать.

— Не хочется.

— Все равно, сиди не сиди, дело не поправишь.

— Я знаю.

— Иди же!

Она говорила ласково, она подошла к нему, грудью коснулась его плеча, положила руку ему на голову, потеребила волосы.

— Не хочется ни спать, ни жить.

— Чего же тебе хочется?

— Хочется... хочется «караул» кричать!

Она засмеялась.

— Что ж, кричи! Только не громко, чтоб ребят не разбудить.

Он хмуро посмотрел на жену.

— Ты понимаешь, что говоришь? Страна гибнет, а ты...

И жестко, в лицо ей, сказал:

— Правильно, должно быть, сказано: прыщ на лице женщины беспокоит ее гораздо больше, чем судьбы родины.

— Ну, ну, ну, ты уж сердишься! Не плакать же всем, в самом деле! Печально, конечно, но выход будет найден. Вот увидишь! Иди же, ляг. Что это, пятую ночь тебя приходится укладывать, будто ты сам сражаешься под Ляояном...

И вот странно,— Виктор Иванович отчетливо заметил эту странность,— ляоянский разгром разбередил рану у всех, все заговорили громче, смелее, дерзостней. Купцы в гостинице «Биржа» собирались теперь во множестве, чтоб побывать на людях, собирались и громко обсуждали и осуждали. Василий Севастьянович и Иван Михайлович покидали контору неурочно рано, шли в «Биржу». Время звало всех вместе собраться. В большом зале, где были голубые обои, множество клеток с канарейками, орган в целую избу, а окна выходили на Волгу — теперь уже пустую, приунывшую,— в голубом зале купцы спорили, кричали, забывая степенность. Открыто ругали Куропаткина и завистливо восхищались японцами:

— Маленькие, да удаленькие! От земли не видать, а как наших-то, больших-то!

Уж все знали, что ответил Морозов великому князю Сергею Александровичу, и смачно, с восторгом говорили об этом.

Кожевник Сидоров, всегда улыбающийся, взял двумя пальцами за рукав Ивана Михайловича, сказал:

— Ай да наши! «Не доверяем. Воры вы все!» Князь-то и так и сяк, грозить. А тот: «Ваше высочество, мы собираемся закрыть наши фабрики и заводы». Что на это скажешь? Вот, к примеру, я прикрою свое дело. Нет кож — нет сапог. Солдат окончательно разутый. А без сапог не повоюешь... Или вот

вы, «Андроновы — Зеленов». Оставите всех без хлеба — и шабаш. «Не продаю!» Куда они денутся? Не-ет, мы — сила.

— Мы-то сила, да у страны силы нет!

— Совершенно верно. И не будет. Не будет, пока нами управляют дураки...

Иван Михайлович испуганно оглянулся: не слушает ли кто? Слушали: за соседними столиками сидело много, повернули головы сюда, улыбались, одобрительно кивали головами Петрушников, Сивов, Созыкин — толстые, бородатые...

— Верно, Карп Спиридоныч! Верно!

И вечером в тот день Иван Михайлович, смеясь, рассказывал сыну:

— Он так на прямы копейки наши правителей-то ругнул! И все только смеются. Не дай бог, что пошло! Везде — на базарах и в трактирах — накриком кричат-ругают.

А с войны — что погребальный колокол — весть за вестью, самые черные:

«На Шахе убито сорок тысяч».

«Потоплен наш крейсер».

«Порт-артурская эскадра гибнет».

И слухи — из Москвы, из Петербурга — горячей рукой за сердце:

«Запасные взбунтовались, разгромили вокзал».

«Столкновение полиции со студентами и рабочими».

Пришли телеграммы о новом министре — Святополк-Мирском. Телеграммы о его словах: «Мы вступили в новую эру доверия и уважения». И странно опять эти слова как-то совпали с вестью о «Нападении японских миноносцев на русскую эскадру около Гулля».

Так все спуталось, взвихрилось.

Осень наступила рано, мокрая, холодная, и будто не было никогда такой мокроты и такой бесприютности.

## IV. Депутат

Уже на исходе октября — день стоял, разукрашенный первым снегом,— Иван Михайлович, вернувшись из «Биржи», сказал сыну:

— К тебе Волков и Мальков ныне прийти собираются. К ним кто-то из Нижнего приехал. Говорят, впятером придут. С попом Ларивоном. Толковать с тобой хотят. Надо будет их попочетней встретить.

И вечером пришли: хлеботорговец Волков, заводчик Мальков, староверский поп Ларивон, начетчик Никита и еще незнакомый седоголовый старик с темными блестящими глазами,— все в староверских кафтанах, в сапогах бутылками. Виктор Иванович вышел их встретить в переднюю, он был в сюртуке

с шелковыми блестящими отворотами, в крахмальной рубашке — большой, стройный, важный. Поп Ларивон поликовался сперва с Иваном Михайловичем, потом с Виктором Ивановичем. И за ними все пятеро, по очереди. Ликовались церемонно и кланялись в пояс, по-старинному.

Волков наклонился к седоголовому старику, пальцем показал на Виктора Ивановича, пробасил льстиво:

— Вот он, надежа-то наша!

Старик закивал головой:

— Уж по обличью догадался. Как же, как же, знамо — надежа наша.

Церемонно кланяясь и уступая дорогу друг другу, обильно рассыпая слова, политые лестью, они прошли в залу. Здесь их встретили женщины — три хозяйки: парадно одетые, большие.

— Гости дорогие, милости просим!

И Василий Севастьянович шариком прикатился откуда-то из дальних комнат.

— Ба, дорогого народу-то сколько! Бог милости шлет.

Справились о здравии, о детушках, о делах. Дружно повздыхали все:

— События-то, события-то какие!

— Да, уж и не говорите. Отворотись да плюнь.

— Пропала Расея!

— Пропасть-то, положим, не пропала, а трудно ей. Это что и говорить: трудно.

— А ведь мы к тебе больше пришли, Виктор Иванович!

— Что ж, я очень рад, пожалуйте ко мне, чтоб удобнее было толковать.

Виктор Иванович провел всех в кабинет. Поп Ларивон, помолившись на Спас Ярое Око, заговорил неторопливо, бубукающим баском:

— К тебе с докукой, Виктор Иванович! Порадей миру.

Виктор Иванович поклонился:

— Миру всегда готов радеть.

— Вот отец-то...— Поп показал на незнакомого старика.— Это Евтихий Степанович из Нижнего. Ездит, стало быть, по всему нашему миру, путный народ собирает, чтоб к министру новому ходателями пошли. Про тебя везде говор. Ну, вот и решили мы просить.

— Уж ты, сынок, не откажись,— поклонился, вставая, Евтихий Степанович,— добрая молва про тебя идет. Нам только таких и надо теперь.

Виктор Иванович — точно его варом обдало — вспыхнул и, чтобы скрыть смущение, наклонил голову.

— Ты сможешь и поговорить, как надо, и ты известный человек — не какой-нибудь с пылу с жару.

Тут и Волков — огромный, горластый — загудел:

— Да, да, Витюша! Ты уж будь другом, не откажи! Когда

все наши туда соберутся да понапрут на правителей, так правителям придется покряхтеть.

— Пора освободить нашу веру из-под немецкого сапога.

Бубнили все пятеро, голосами почтительными и вместе настойчивыми:

— Не откажи!

А Иван Михайлович самодовольно гладил бороду, смотрел на всех, посмеиваясь.

— О чем же будем просить? — проговорил наконец Виктор Иванович изменившимся голосом.

— Перво-наперво просить надо свободу веры,— прогудел поп.

— А я полагаю, и еще дело поважнее надо просить,— блеснув глазами, сказал Евтихий Степанович.-- Надо просить, что все просят: конституцию.

Волков энергично махнул рукой, будто отрубил:

— Верно! Хоша я и не слыхал ничего хорошего про эту конституцию, но раз всем ее желательно, то и нам желательно. Намедни я был в земской управе, с Митрь Степановичем поговорил. «Без конституции, говорит, не обойтись. Только тогда и начнется жизнь».

— Сперва в Москве соберутся все, а потом уж в Петербург пойдут,— сказал Евтихий Степанович.— Большой силой пойдут. От всех городов уже есть. Только вот от вас...

Когда они ушли — после обильного ужина,— Виктор Иванович оделся потеплее и вышел на террасу. Пронзительный ветер дул из-за Волги. Кругом все белело во тьме. Волга шумела глухо, и слышался шорох молодых льдин. Виктор Иванович долго шагал из конца в конец террасы. Этот заиск, эти льстивые слова, что слышал он весь вечер, и, главное, этот выбор его депутатом,— горячей дрожью пронизало его. «Все политические деятели, даже самые большие, начинают вот так же, с маленького».

Все следующие дни он ездил по купцам-староверам, ездил вместе с попом Ларивоном, собирали подписи. И когда караковый андроновский рысак останавливался перед чьим-либо домом, в дому начиналась беготня и хозяева выплывали на крыльцо встретить столь почетного гостя.

На вокзале провожали Виктора Ивановича десятков пять — все тузы города. Ковровые и лакированные сани запрудили всю площадь перед вокзалом. Виктора Ивановича окружили плотной стеной, руки к нему тянулись со всех сторон. Волков — головой выше всех — гудел на всю платформу открыто:

— Гляди там, как лучше. Чтоб без дураков теперь! Довольно! Потерпели — и будет... Вот и от земства вчера из Саратова тоже делегаты поехали. Вы не одни теперь требуете. Все требуют...

А жандарм в белых нитяных перчатках стоял поодаль, тоскливо смотрел на шумевшую толпу.

Взволнованный проводами, Виктор Иванович долго стоял у окна в коридоре вагона. Мимо проносился лес, большая дорога, мужики и лошади на дороге, Родивонычев сад, тот самый сад, который, как ему казалось в детстве, лежит за горами, за долами, потом показалось село вдали, за селом — бесконечная пустая равнина, белая как мел, а на равнине — гора Видим, похожая на голубую шапку.

В соседнем купе, откуда густо тянуло табаком, два голоса разговаривали: один — грубо, хрипло, отрывисто, другой — почтительно, тенорком.

Грубый голос сказал:

— Я уверен, эта толпа недаром на вокзале была. Затеяли что-нибудь, подлецы!

— Совершенно верно. Я такого же мнения.

— Самые наши толстосумы, а смотрите: готовы революцию сделать. Я нюхом чую, чем здесь пахнет.

— Надо полагать.

— Ну что ж, пускай! Пускай делают! Придет момент — галахи разные пощупают их сундучки-то! Дураки, не понимают, что революция, если она случится, их тоже не погладит по головке, как и нас.

Виктор Иванович насторожился, прошел мимо открытой двери. В купе сидели уездный исправник Голоруков и молодой следователь в черной шинели с золотыми пуговицами. Исправник и следователь взглянули на Андронова, замолчали. Виктор Иванович вернулся. Дверь в купе уже была закрыта. Вся равнина за окном стала синей. Лишь гора Видим пылала пожаром.

— А вот мы посмотрим,— с задором, с угрозой вслух сказал Виктор Иванович, обращаясь к запертой двери купе,— посмотрим, кого погладят, а кого не погладят!

Около полуночи он пересел на узловой станции в скорый поезд Москва — Саратов. Постели были разложены, но пассажиры еще не заходили в купе, толпились в коридоре, говорили негромко — двое в форменных черных сюртуках, седоголовый полковник с красными лампасами, две дамы в серых одинаковых платьях.

Виктор Иванович позвал проводника, заставил его устроить постель. В купе никого не было.

— Что за собрание в коридоре?

Проводник почтительно засмеялся.

— Про Саратов все толкуют. Беда!

— А что случилось?

— Делегаты земские вчера уезжали. Ну, провожала их толпа, господа дворяне, чиновники, земцы и, конечно, рабочие и студенты были, и, конечно, запели «Марсельезу»...

— Даже «Марсельезу» пели?

— Так точно. И кричали еще: «Долой войну!»

Проводник еще что-то сказал, ушел, и по его почтительной спине было видно: он доволен. Виктор Иванович покачал головой, усмехнулся, тоже чем-то довольный.

В Москве, на Рогожском кладбище, он впервые увидел староверов, собравшихся со всех концов России. Их было человек пятьдесят. Пожилые, седобородые, все как на подбор крупные, в староверческих кафтанах, они казались непреоборимыми столпами. Служили молебен — в зимней церкви перед запечатанными алтарями. Потемневшие от времени сургучные печати зияли по-прежнему, точно раны на теле. К ним невольно тянулись глаза. Виктор Иванович вспомнил все до мелочей: когда-то, в дни студенчества, он приходил сюда с отцом — так же тогда зияли печати на дверях. Он вспомнил свое негодование, и вздохи отца, и слова дьякона Ивана Власова: «Эти печати не просто печати. Это знаки величайшего насилия над совестью...»

Он чуть пригнулся напряженно — готов был пойти на упорную борьбу.

Служил молебен тот же отец Иван Власов — ныне священник. Он возмужал, оородел, но в голосе и в глазах у него были все та же бодрость, и упорство, и вера.

Из церкви все вышли сдержанно — взволнованные, упорные, строгие. Виктор Иванович — внешне почтительный, потому что он был самый молодой,— дрожал от неистовой силы. Что такое? Их, коренных русских, так угнетают? Заставляют молиться перед запечатанными алтарями. А-а? Сама мощь — вот здесь, эти пятьдесят: Волга, Урал, Сибирь, Кубань — половина русских капиталов в их руках, а они вот молятся перед запечатанными алтарями, как нищие. Он выпрямился. Он готов был в эти минуты пойти на все, вплоть до... до смерти.

К нему подошел сам Иван Саввич Рыкунов, в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке-боярке, в золотых очках — по виду барин, европеец.

— Виктор Иванович Андронов? Очень приятно! Покорнейше прошу пожаловать ко мне. Там потолкуем, как и что...

Он говорил, отчеканивая каждое слово, мягко, с простотой очень хорошо воспитанного человека. Он усадил Виктора Ивановича с собой в широкие лакированные сани. Пара серых лошадей во весь мах понесла их по московским улицам. Необъятный кучер с жирным трехъярусным затылком, подстриженным точно по линейке, сидел истуканом, покрикивал зычно: «Право держи!» Ветер рвал, метал, и от быстрой езды хотелось смеяться. Рыкунов ворковал над ухом:

— Вы, кажется, и в Америке побывали? Очень рад. Слухом земля полнится. Я очень доволен, что наконец и наше провинциальное купечество вступило на путь истинной культуры. Мы теперь близки к новому завоеванию.

«О каком завоевании он говорит? Пустыня? Борьба?»

— Вы сами изволите знать: тридцать, сорок лет назад незабвенной памяти Александр Николаевич Островский осмеивал грубые нравы наших родов. Теперь все насмешки — мимо цели...

Сани остановились у старинного особняка в переулке на Покровке. Швейцар в ливрее открыл зеркальную дверь. Мраморная лестница со статуями, зеленеющие пальмы, ковры, лепные потолки, масса света изумили Виктора Ивановича.

«Вот как надо жить!»

В гостиной возле стен стояли шкафы красного дерева с зеркальными стеклами. В шкафах — старинный фарфор, чашки, статуэтки, группы. Все сверкало, ласкало глаз.

А по лестнице уже поднимались — по двое и по трое — старики и старичищи в черных старомодных сюртуках и в староверских кафтанах.

Они с наивным, провинциальным удивлением смотрели на лепные потолки, на стены, на фарфор, крякали завистливо и говорили приглушенным голосом, как в церкви:

— Эк нагородил!

— Да, будто в царских покоях...

Иван Саввич рокочущим барским голосом возгласил:

— Господа, покорнейше прошу к столу!

Через большой двусветный зал прошли в столовую. Гостей встретила у дверей высокая дама в синем платье самого глубокого тона, белолицая, ослепительно красивая.

— Моя жена,— представил ее Иван Саввич.

— Милости прошу! — необыкновенным, как показалось Виктору Ивановичу, музыкальным голосом говорила дама каждому гостю, здороваясь. Виктор Иванович — один из всех — почтительно поцеловал ей руку.

Стол сверкал хрусталем, серебром, фарфором, скатертями. Священник — отец Иван Власов — прочитал молитву. Все сели, двигая стульями, ослепленные, связанные смущением. Множество лакеев забегало вокруг стола. Виктор Иванович сидел по левую руку от хозяйки. Наклонясь над тарелкой, он быстрым взглядом, искоса глядел, как двигались ее руки, ее грудь. И сознание, что среди всех обедающих он — самый молодой, почему-то задорило. После второго блюда Иван Саввич сказал, посмеиваясь:

— Кажется, мы можем приступить?

Гости загомонили:

— Ну да, хорошая еда хорошему разговору не помешает.

— Уши едой не заняты.

— Чего там время терять?

— Маргарита Семеновна нам разрешит?

— Пожалуйста!

— Я полагаю: нам прежде всего надо выработать адрес,— сказал Иван Саввич.— Мы переживаем такие дни, когда наша просьба наконец будет услышана. Новый министр, как вам известно, заявил, что в основу своей деятельности он кладет

искренне-благожелательное и доверчивое отношение к общественным учреждениям и к населению вообще. Мы должны воспользоваться моментом и добиться, чтобы вековой гнет, тяготеющий над нами, был снят.

Он говорил долго и складно. Он помахивал серебряной вилкой в такт речи, и его слова казались круглыми, похожими на эти сладкие пышки, что лежали на блюдах перед каждым гостем. Все перестали есть, слушали напряженно. Лоб у толстого пароходчика Тюкова покрылся каплями пота. Отец Иван Власов опустил глаза, борода его колыхалась в улыбке. Виктор Иванович заметил: Маргарита Семеновна слушает мужа с восторгом. Потом говорил отец Иван Власов густым басом:

— Пора настала. «Толцыте и отверзится».

Владелец уральского железоделательного завода Харитонов — семидесятилетний старик с зеленой бородой — сказал умильно, с озябшей стариковской робостью:

— Почтительно просить надо. Припадем к стопам его величества, государя императора, и будем плакать и стенать: «Могуты нашей нет, ваше величество! Могуты нет!»

И еще и еще говорили. Маргарита Семеновна замирала, едва начинал говорить новый оратор, слушала, удерживая дыхание, если оратор говорил хорошо. У Виктора Ивановича судорожно билось сердце каждый раз, когда оратор кончал: он хотел бы сам просить слова. Это напряженное общее внимание, выпитое вино, а главное — внимание этой великолепнейшей женщины его волновали, толкали проявить себя.

— Прошу... мне... слово,— хриплым голосом наконец сказал он Ивану Саввичу. Он видел: Маргарита Семеновна посмотрела на него ласково и кивнула головой.

Он встал и, взволнованный до предела, несколько мгновений молчал. Тишина стала жуткой.

— Я, господа, к моему глубокому сожалению, со многим не согласен, что здесь говорилось.— В уме у него вихрем понеслись страницы журналов и прокламаций, что присылала ему Сима.— Достоуважаемый Иван Саввич возлагает много надежд на наше новое министерство. Но я боюсь, что это министерство будет лишь министерством приятных улыбок. И, кроме улыбок, мы от него не дождемся ничего. («Что я говорю? Не резко ли?» Он взглянул на Маргариту Семеновну: она напряженно улыбалась.) Я полагаю, что настала пора действовать решительно. Мы не просить должны, мы не припадать к чьим-то стопам должны, мы должны требовать! Подобно нашему священномученику протопопу Аввакуму, мы должны наконец возвысить свой негодующий голос, должны сказать, что таким путем русская жизнь идти дальше не может. Вот только сейчас мы все видели унижение наше, печати на алтарях наших храмов. Я не говорю о нашем прошлом: вы все знаете его лучше меня. Я не говорю о бесконечном ряде мучеников за нашу истинную веру — протопоп Аввакум и боярыня Морозова начали этот

ряд,— а конец... мы не видим конца, ибо вот сейчас, когда мы сидим с вами за этим столом, наши отцы и братья по вере погибают в тюрьмах Суздальского монастыря.

Он говорил громко, он чувствовал на себе напряженные глаза Маргариты Семеновны,— глаза бодрили.

— Двести лет величайших мук! Мы — истинные строители страны, истинные проводники всечеловеческой культуры,— сколько унижений мы должны были вынести! Наша Выговская пустынь, наши скиты на Иргизе и на Керженце — кто их разрушил? В моем родном городе и сейчас стоит храм со спиленными крестами, заброшенный, осквернённый храм. Не в каждом ли городе такие же вехи на пути наших унижений? Наши прадеды, деды и отцы просили, припадали к стопам — и все осталось по-прежнему. Пора просьб и припаданий кончилась. С полным сознанием своей силы и своего человеческого достоинства мы должны требовать...

То бурное, что временами подступало к сердцу, теперь лилось вольно. Слова являлись откуда-то из самой глубины тела — коренные, кровные.

Когда он кончил, все момент сидели, будто ошарашенные. Иван Саввич быстро встал, широкими шагами подошел к Виктору Ивановичу, обнял.

— Благодарю вас! О, благодарю! — проговорил он, и за стеклами его очков блестели слезы.

Тогда начался круговорот: зашумели, поднялись, жали руки. Только Харитонов сидел неподвижно и покачивал головой. Маргарита Семеновна сказала вполголоса:

— Великолепная речь! Чудесно!

Все опять уселись. Встал Харитонов:

— А я так полагаю: молодой еще он, Андронов-то. А шебаршит. Хорошо ли выйдет? Глядите, отцы! Не попасть бы в яму!

Но все зашумели, замахали руками.

— Ну, что там! Ясное дело! Момент такой — молчать невозможно. Андронов верно говорит.

Без споров, только называя имена, выбрали десять депутатов в Петербург к министру. Рыкунова и Андронова назвали прежде всех.

## V. Бунтари

Этот день был диковинный. Пять лет не приезжал Виктор Иванович в Петербург. Он помнил его чинным, с озабоченно бегущими людьми, с великанами городовыми на перекрестках Невского. А в этот день весь Невский был полон народа, толпа запрудила мостовую и тротуары, что-то ждала, глухо говорила, будто ворчала, как зверь. Там и здесь везде виднелась полиция: конная и пешая — группами. Конные наезжали на толпу, теснили ее на тротуар.

Окна гостиницы, где остановились делегаты, выходили на Невский. Рыкунов и Андронов остановились у окна. Люди, люди, люди, сотни тысяч людей,— яблоку негде упасть. Только перед полицейскими пестрели полоски мостовой: полицейские были точно острова в колыхающемся море.

Рыкунов взял под руку Виктора Ивановича, сказал, посмеиваясь:

— Как будто нам расчищают дорогу.

Виктор Иванович кивнул головой:

— Пожалуй! Это даст нам возможность говорить смелей. Что ж, выйдем на улицу, посмотрим? Надо узнать, в чем дело.

Рыкунов замялся:

— Я, собственно, не большой охотник до таких зрелищ. Стрелять будут.

— Стрелять? Я все-таки схожу. Смотрите, какая масса женщин! Даже они не боятся.

Виктор Иванович оделся и вышел. В каракулевой шапке с откинутыми вверх полями, в шубе, большой, важный, он вышел, опираясь на палку с серебряным набалдашником. На Невский уже не пропускали. Полиция стояла цепью. Кто-то сказал, что можно выйти через Литейный. Виктор Иванович пошел в обход. В подъездах ближних домов он увидел множество полицейских. На дворах цокали подковами полицейские и казачьи лошади. Все это задорило и бодрило, как мороз.

Через Литейный он вышел на Невский. И увидел: конные полицейские с белыми султанами на шапках били толпу. Толпа отбегала и тотчас волной приливала обратно. Раздавались резкие крики, топот, выстрелы. У ближнего тротуара полицейский два раза ударил шашкой женщину в шляпе. Женщина, нелепо махая руками, упала под ноги лошади. Виктор Иванович закричал: «Что вы делаете?» — поднял палку и, подражая полицейскому, замахал, полез через толпу туда, где упала женщина. Усатый толстейший городовой, такого же роста, как Виктор Иванович, схватил его за локоть, крепко сжал и проговорил в самое лицо:

— Не вмешивайтесь, господин! Не ваше дело!

— Женщину! Женщину убили! — закричал Виктор Иванович, вырывая у городового свою руку.

— Не вмешивайтесь, господин! Убили кого надо! — опять настойчиво проговорил городовой.

И Виктор Иванович почувствовал: его взяли уже двое под руки, повели, втиснули в толпу назад, за цепь полицейских.

— Это безобразие! Это возмутительно! — взывал Виктор Иванович и размахивал палкой над головами толпы. А цепь полицейских все настойчивей оттесняла народ дальше от Невского... Лишь издали было видно: по Невскому бегали черные люди взад-вперед, а за ними гонялись конные и пешие полицейские. И крики неслись, и гремели редкие выстрелы.

Упарившийся, как в бане, Виктор Иванович вылез из толпы на тротуар. Ему показалось: он взъерошен, надо оправиться. Он смущенно оглянулся. Здесь возмущения уже не было: стояли просто любопытные. Он прошел с полквартала, остановился. Пожилой чиновник в круглой шапке с кокардой дружелюбно улыбнулся ему.

— Вот они, японские-то деньги, что делают!

Виктор Иванович удивился:

— Какие японские деньги?

— А как же! Пять миллионов японцы прислали рабочим и: «Получайте! Только не работайте, не учитесь, бунтуйте». Они и бунтуют. А фронт гибнет. Польза нашему врагу.

— Что вы говорите? Не может быть!

— У нас самые точные сведения. Знают даже, кто привез деньги. Да вы посмотрите, кто бунтует: голытьба! Вот мы с вами не пойдем бунтовать!

«Что такое он бормочет? Не может быть!»

Он поспешно зашагал по улице. Мысль о японских деньгах уколола его. А если правда? Ему было уж стыдно, что вот он, Виктор Иванович Андронов, купец первой гильдии, миллионер, сейчас кричал во все горло на полицейских и махал палкой, как... как один из тех, кто... получил японские деньги. Он дошел до Невы. Он решил побывать у Симы. Через мост не пускали. Пришлось вернуться назад в гостиницу. Иван Саввич и отец Власов встретили его в зале:

— Ну что? Как?

— Бьют. Сам видел, как убили женщину.

— О-о, этого недоставало!

— Пускай бьют, пускай! — забурчал отец Власов.— «Аще не умерет, не возродится».

Виктору Ивановичу хотелось рассказать о японских деньгах, но... странное чувство мешало: неужели есть такие головы, что за японские деньги идут на смерть?

Вечером, когда на улицах утихло, он поехал на Петербургскую сторону к Симе. Извозчик все озирался.

— В беду не попасть бы! Утром возле самых саней — вот так — убило человека. Прямо в висок пуля. Хныкнул и лег — и готово. Тоже вот извозчика одного...

— А ты скорей поезжай, дядя!

— Гляди, народ-то все кучками, кучками. И полиции везде сколь...

Дом, где жила Сима, был необыкновенно мрачный — длинный, серый, сырой. Подниматься пришлось на шестой этаж, на лестнице пронзительно пахло кошками. Виктор Иванович задохнулся. Сима была дома. Она вышла в коридор. Глаза у ней были круглые и красные пятна рдели на щеках.

— Ты? Это ты? В такое время?

Она судорожно уцепила руку Виктора Ивановича, точно не

верила глазам, и поспешно повела его по коридору, шепча горячечным шепотом:

— У меня гостья. Ранили сегодня. Ты молчи!

На кровати, разметавшись, лежала девушка с растрепанными черными волосами. Она попыталась подняться навстречу.

— Вы доктор? Наконец-то!

— Успокойся, Катя! — сказала Сима.— Доктор сейчас придет.

Девушка опять упала головой на подушку, отвернулась к стене.

— Ранили в плечо,— прошептала Сима.

— Почему же доктора нет?

— Послали за своим. Нельзя первого встречного. Скоро будет. Ты пришел очень кстати. Во-первых, дай денег, а во-вторых, сейчас же увези вот это.

Она пнула ногой в газетный тюк, лежавший на полу.

— Это что?

— Литература. Увези. У нас может быть обыск.

Она говорила властно, нетерпеливо, она торопила.

— Куда же я увезу? Я живу в гостинице.

— Вот и увези в гостиницу. У тебя, во всяком случае, обыска не будет. Миллионеров пока не обыскивают. А нас ты спасешь. Ну же, скорее! Дворник видел, как мы вели раненую. Боюсь, нагрянет полиция. Завтра я к тебе приду. Ты где остановился? А, знаю! Давай же деньги! Бери литературу!

Не решаясь отказаться (а очень хотелось отказаться), Виктор Иванович с тяжелым тюком в руке вышел на улицу. «Вот положение, дьявол возьми». Два дворника стояли у ворот. Они посмотрели на него, переглянулись. «Сейчас остановят». Он шел неторопливо, важно: «Скандал не скандал, а нести надо... Полицейские стоят. А, ничего не поделаешь!»

— Барин, пожалуйте! Прокачу! Куда прикажете?

И, всем телом чувствуя, что наступает спасение, Виктор Иванович голосом барственным, чуть-чуть подражая Ивану Саввичу, приказал извозчику:

— На Невский, угол Литейного.

Дорогой он все старался сделать беззаботное лицо, незаметно полами своей шубы прикрывал тюк, словно боялся, что полицейские заметят тюк даже через полость. Портье гостиницы внес тюк в номер. Виктор Иванович холодно и повелительно приказал поставить тюк у стола. Портье поставил, вышел. Виктор Иванович поспешно перетащил тюк за перегородку, к кровати, потом запер номер и спустился в ресторан, переполненный офицерами, декольтированными дамами, господами в сюртуках и фраках. За соседним столиком толстый генерал хриплым голосом говорил о японских деньгах. «Опять эти деньги. Нет дыма без огня! Неужели Сима тоже? Не на японские ли деньги отпечатана эта литература?»

Подошел Иван Саввич:

— Где вы были? Я уже забеспокоился. Пожалуйте ко мне! Надо будет потолковать.

У Ивана Саввича собрались все десять, писали, слегка спорили и, споря, все оборачивались к Виктору Ивановичу, ждали, что скажет он, столь красноречивый там, в Москве. А Виктор Иванович молчал или отвечал однословно. И все время его гвоздила мысль — о японских деньгах, о литературе, о Симе, о раненой черноволосой девице.

Улица уже была тиха, когда он пришел к себе. Лишь под окнами еще ездили конные — слыхать было, как цокали по торцам копыта.

Прием у министра был неожиданный. К делегации вышел не сам министр, а чиновник в синем сюртуке, с крестом на шее, с баками, похожими на две седые сосульки, с бритым подбородком, гладко причесанный. Скрипучим голосом, едва разжимая тонкие губы, он сказал:

— Господа! Ввиду исключительных событий его высокопревосходительство, господин министр внутренних дел, принять вас сегодня не может, несмотря на его крайнее желание. Господин министр поручил мне передать вам, что ходатайство ваше об отмене стеснений старообрядцам будет рассмотрено в самые ближайшие дни. Господин министр надеется, что вопрос будет разрешен в благоприятном для вас смысле. О том или ином постановлении министерство будет иметь честь вас уведомить. Что касается ваших верноподданнических чувств, то его высокопревосходительство повергнет их к стопам его императорского величества...

Чиновник говорил ровным скрипучим голосом, раз заученным тоном, и лицо у него было бесстрастное, как неживое, глаза уставились в одну точку поверх голов, будто говорила машина, а не человек. Иван Саввич издал носом неопределенный звук, хотел возразить. Кто-то позади крякнул. Чиновник поклонился, повернулся, ушел... Когда депутаты спускались с лестницы,— все с обиженными лицами, потому что не ждали такого приема,— депутат с Урала пробасил:

— Про какие это верноподданнические чувства он толковал?

— А в нашем адресе-то! Там есть... упоминается.

— Ишь ты, сволочь! Ему скажи «здравствуй», а он будет потом говорить, что ты целовал у него сапоги. Вот они, чиновники!

— Нет, господа, позвольте! — заговорил Виктор Иванович.— Это же... я не понимаю даже. Это же оскорбительно! Мы наткнулись на какую-то стену. Так невозможно!

Иван Саввич пожал плечами:

— Признаюсь, я тоже не ожидал. Но что делать?

— Они, вероятно, хотят, чтобы мы присоединились к тем, кто вчера кричал на Невском?

Возмущенно разговаривая, депутаты шли по улице, сани гуськом следовали за ними.

— Что ж, поедемте в гостиницу, обсудим. Теперь во всем городе идут съезды и совещания. Земцам запретили собираться, а они все-таки собираются.

И, спохватившись, Иван Саввич быстро заговорил:

— Я, пожалуй, съезжу в два-три места, понаведаюсь. А вечером, господа, мы опять соберемся у меня.

Он позвал своего извозчика, уехал. Делегаты, покашливая, боясь взглянуть один на другого, поехали в разные стороны. Виктор Иванович пешком вернулся в гостиницу. Его знобило от обиды.

В коридоре его ждала Сима в беличьей шубке с огромной муфтой, в серой шапочке.

— Сима, здравствуй! Рад тебя видеть. Представь, сейчас к министру ходили. Ну, и околпачили же нас! То есть никогда такой обиды я не испытал!

Сима радостно засмеялась:

— А вы что ждали? Вас медом кормить будут?

— Но это же возмутительно! — Он стоял перед ней огромный, говорил громко, во весь коридор.— Кто мы? Социалисты? Революционеры? Мы самые благонадежные люди, и вдруг какой-то безгубый чиновник говорит нам скрипучим голосом: «Его превосходительство принять вас не может...» Мы, представители пятнадцати миллионов русского народа...

— Ха-ха! Как я рада!

— Чему ж ты рада?

— Я рада, что вы, толстосумы, попадаете на одну полочку с нами, революционерами.

Виктор Иванович пристально посмотрел на нее. Задорная, оживленная, Сима все улыбалась, и в глазах у ней — больших, карих, смеющихся — плясали бесята.

— Ну, это вряд ли!.. Чтобы с вами?.. Нет, нет! Кстати, по городу говорят про деньги, полученные студентами и рабочими из Японии.

Сима нахмурилась.

— Ты уже слышал? Вот видишь, какую клевету пускают эти безгубые чиновники!

— А ты уверена: это клевета?

— А ты как думаешь?

— От чиновника я слышал. Потом от генерала...

— Потом от жандармов услышишь. Клевещут как раз люди известного сорта.

— Ну, перестанем об этом. Скажи, как твоя раненая подруга?

— Ничего, рану перевязали, поехала домой. А я к тебе. Ты, конечно, дашь еще мне денег.

— Денег — с удовольствием. Но только, пожалуйста, не заставляй меня возить твою литературу...

Они сошли вниз, в ресторан. Сима — в барежевом платье, подтянутая, ловкая — осмотрела блестящую толпу крашеных дам, офицеров, фраков, передернула плечами. Три офицера, сидевшие за ближним столиком, смотрели на нее пристально, один восхищенно прищурил глаза. Виктор Иванович провел Симу к столику у окна.

— Однако, горе горем, а эти живут, как всегда!

Сима незаметно кивнула головой на дам, на офицеров.

— Ну, будет, будет тебе! Ты лучше расскажи, что слышно.

— Что? Сегодня получено сообщение: порт-артурская эскадра погибла окончательно. Скоро Порт-Артур будет взят. Послезавтра будут судить Сазонова за убийство Плеве...

Она понизила голос, сказала с угрозой:

— Мы собираемся там побывать.

— Но чего вы добиваетесь?

— Мы добиваемся республики.

— Даже не конституции?

— Конституция при наших условиях мало что даст. Ограничить царя? Но у нас и без того царь ограниченный.— Она постучала пальцем себя по лбу.

Она говорила вполголоса, она не махала руками, как обычно, но ее глаза блестели остро, сердито. Виктор Иванович увидел в них фанатичное, что уже однажды видел в глазах Токо-токо.

Полчаса спустя, провожая ее (портье нес тюк с литературой), Виктор Иванович сказал:

— Ты береги себя, Сима! Помни, что у тебя есть мать, хотя и не родная, есть друзья. Не надо тратить себя напрасно.

— Не беспокойся, Витя, напрасно себя я не потрачу. Я тебе уже говорила. Если случится со мной что, знай...

Она махнула рукой, не договорила.

— Не увидимся, может быть. Прощай!

Она крепко, энергично пожала ему руку, пошла по лестнице вниз и на ходу застегивала перчатку.

Виктор Иванович смотрел ей вслед. Он чувствовал, как опять все в душе у него необыкновенно спуталось. В номере он сел в кресло у окна, развалился — точно расслабленный. С одной стороны, этот чиновник,— при мысли о нем у Виктора Ивановича холодело в груди от ненависти,— а с другой — беспокойная, бурная Сима... Он готов был идти на все, чтобы сломить эту силу — чиновника, силу черную, холодную. И в то же время Сима пугала.

Иван Саввич вернулся поздно вечером. Депутаты ждали. Иван Саввич был взволнован. Он рассказал, что земцы собираются в частной квартире, не раз посылали депутатов к министру, но пока все неопределенно.

— Обещают много, не дают ничего.

— Что же нам делать? Нам пока придется уехать до-

мой, выждать, но во всякий день быть готовыми приехать сюда снова.

«И здесь неясно, будто между двух стульев сидишь».

И впервые за все время Виктор Иванович сердито посмотрел на Ивана Саввича.

## VI. Дома

Домой Виктор Иванович приехал в самый обед. Его встретили торжественно: уже было известно, что он в числе десяти ездил из Москвы в Петербург как депутат от всего старообрядческого мира. Все вышли из-за стола, сгрудились в передней. Ваня, Вася и Соня раньше других обцепили отца, орали: «Папа! Папа!» Василий Севастьянович прибежал за ребятишками, жена, мать и теща и потом уже — самый последний — улыбающийся Иван Михайлович. Галдели все разом. И взрослые повторяли на разные лады одну фразу:

— Как ты похудел!

Перед вечером Василий Севастьянович гонял кучера с записками к попу Ларивону, Волкову, к Разорвеннову, сзывал послушать столичные вести. Пришли одиннадцать человек — цветогорские тузы, и Виктор Иванович неторопливо рассказал им: про Москву и Ивана Саввича, про Петербург и тонкогубого бритого чиновника.

— Обещали в ближайшие недели все сделать, полную льготу дать.

Он из гордости не сказал всего: не сказал о скрипучем, равнодушном голосе чиновника (почему-то особенно обидном), ни о своей растерянности. Когда он рассказал про стычки на Невском, все забеспокоились. Волков пристукнул кулаком по столу, воскликнул:

— Обещали! Это вроде как тигр под ногой у слона: отпусти только — все для тебя сделаю. Боится, как бы кишки ему не выпустили! Они теперь всего наобещают, а сделать ничего не сделают.

— Теперь сделают,— твердо сказал Разорвеннов.— Нам ходу нет никакого.

— А вот, братие, что же происходит с Россией-то? — загудел поп Ларивон.— Уж ежели на Невском — в самом сердце — бунтуют и дерутся, что же удивляться, ежели Порт-Артур сдался? Ведь это что же? Погибель наша. Куда там бороться с японцами!

Все тревожно уставились на Виктора Ивановича.

— Признаюсь, меня самого гложет эта мысль. Но что делать? Я не знаю. И никто не знает, с кем я ни говорил. Все обозлились на правительство. За все время я только и слыхал в защиту правительства два слова — от облезлого старого чиновника и еще от генерала. А то все против. Дворяне, земцы, чиновники,

рабочие, купцы, студенты... Всем надоел этот лживый режим. Сплошь ругают. В Москве запасные солдаты устроили бунт.

Он говорил долго, он рассказывал факты, он вплетал в речь свои думы и соображения. И как-то, будто против его воли, выходило: во всем виновато правительство.

— Такое время: надо бы его защищать, а как начинаешь говорить в защиту, на тебя все как на безумца смотрят. Да и сам чувствуешь: не там выход.

— Да-да,— задумчиво протянул Волков,— насолили цари и министры. Ровно о бешеных собаках — и доброго слова о них ни у кого не найдется...

Расходились от Андроновых потревоженные, с сумраком на лицах.

Когда за последним гостем закрылась дверь, Василий Севастьянович сказал Виктору Ивановичу:

— А ты ведь тоже за бунтарей тянешь.

Виктор Иванович передернул плечами:

— Я сам хорошенько не пойму, что со мной. И возмущаюсь бунтарями — не вовремя бунтуют, а как подумаю про нашу жизнь, сам готов на стену лезть.

— Ну, дела! — тихонько воскликнул Василий Севастьянович.— Я тоже... чего-то все не по себе — будто не хозяйственно у нас, будто дураки сидят в правителях.

И все трое расхохотались.

В спальне, раздеваясь, Елизавета Васильевна сказала мужу:

— Сегодня я все смотрела на тебя и не узнавала. Ты какой-то новый. Мне все думалось: я тебя знаю, знаю всего, и вот... какая-то сторона новая появилась у тебя.

Дни пошли по-новому тревожные. Ждали теперь напряженнее: вот-вот придет. И в тревоге и ожидании у всех валилось из рук дело — будничное, обычное, самое нужное. Виктору Ивановичу казалось: все сдвинулось с привычных мест, плывет, плывет, а куда? — не разгадать.

В середине декабря газеты принесли царский указ: крестьянам равенство перед законом, «печать не утеснять излишне», исключительные законы о раскольниках смягчить...

Слова в указе были туманные, будто не по-русски написанные. У Андроновых читали вслух, гадали, что в жизни изменит указ.

И в тот же день в той же газете был напечатан строгий приказ правительства, чтобы думы — городские и земские — не смели касаться общеполитических вопросов.

Василий Севастьянович, по обыкновению, вспыхнул:

— Указ да приказ, дьявол, помилуй нас! В дурачки, что ли, они играют?!

— Только-то? — протянул Иван Михайлович.— А я-то думал: на самом деле льготы дадут.

— Теперь надо ждать беды! — решил Василий Севастьянович.— Никто теперь верить не будет ни царю, ни министрам.

Виктор Иванович живо откликнулся:

— Чего я боялся, то и случилось!

На третий день рождества в общественном собрании был традиционный студенческий вечер. Накануне к Андроновым пришли два лохматых студента — рыжий и черный, и Панов с ними. Принесли билеты. Сбор с этих вечеров всегда шел в пользу бедного студенчества города Цветогорья. Андроновы давали щедро.

Ныне, получив сторублевку, студенты переглянулись, замялись нерешительно.

— Мы бы хотели с вами поговорить,— сказал рыжий студент.

— Тогда пожалуйте ко мне в кабинет,— пригласил их Виктор Иванович.

И в кабинете, усадив всех троих, спросил:

— В чем дело, коллеги?

Рыжий кашлянул в кулак, заговорил:

— Наш сбор в текущем году не будет отдан бедному студенчеству. И мы хотели бы предупредить вас об этом. Вы сами — старый студент, вы даете много, и вот...

— Кому же вы отдадите деньги?

Рыжий пониженным голосом, будто боясь, что его могут услышать посторонние, сказал:

— Сборы мы жертвуем в пользу политических деятелей.

— Ну... меня это... не касается. Я жертвую на бедных студентов, а куда пойдут деньги дальше, я не знаю и знать не хочу. Поняли? Конечно, *ввиду усилившейся нужды студентов* я могу еще прибавить к своей обычной сумме...

Он порылся в ящике письменного стола, достал еще две сторублевки, подал рыжему, всё улыбаясь. Рыжий, тоже улыбаясь, взял деньги. И черный улыбнулся. Панов, сидевший в дальнем углу, молча издали смотрел на них.

— От имени нашей группы позвольте поблагодарить вас,— сказал рыжий.

— От какой группы?

— От имени цветогорских социал-демократов.

— А-а,— удивленно протянул Виктор Иванович,— уже есть в Цветогорье такая группа?

— И также от группы социалистов-революционеров,— поспешно сказал черный.— Мы тоже благодарим.

Когда студенты ушли, Виктор Иванович позвал жену, рассказал.

— Пожалуй, не стоит ходить на такой вечер,— решила Елизавета Васильевна.

— Почему? Наоборот! Идти надо. Это нам создаст некоторую популярность.

— А ты решил гнаться за популярностью?

— Не то чтобы гнаться, а так... пусть и нас знают.

И настоял: оба были на вечере. Их встречали с особенным почетом, и почему-то их особенно старательно благодарил акцизный чиновник Александров.

А дней через пять в контору к Виктору Ивановичу пришел студент Прошкин — в потертой шинельке, улыбаясь кривой, озябшей улыбкой.

— Вы пожертвовали триста рублей в пользу бедных студентов. Я знаю...

Он от смущения задохнулся.

— Ну и что же?

— Ну, эти деньги не попали к бедным студентам. Бывало, я уезжал — увозил рублей шестьдесят отсюда. Мне хватало на три месяца. А ныне мне не дали ничего.

— Почему же не дали?

Лицо у Прошкина вдруг преобразилось: стало ожесточенным. И пропала озябшая улыбка.

— Потому что все деньги пошли на политику. Они занимаются политикой, а мы голодай.

— Да? Но что же вы хотите от меня?

— Я хочу... чтобы вы воздействовали на них. Вы — самый главный жертвователь, они вас послушают. Пусть дадут... по назначению. А то ведь это безобразие: когда делили деньги, то присутствовал зубной врач Беркович и акцизный чиновник Александров. Это даже странно. Беркович никогда не был студентом.

— Почему же Беркович?

— А он главный у социал-демократов. И Александров тоже — главный у эсеров.

Виктор Иванович минуту подумал, барабаня пальцами по столу. Прошкин все жаловался, и жалобы его были похожи на донос.

— Ну, что делать? Я не могу вмешаться. Лучше я вам просто дам денег. Вы говорите, шестьдесят получали? Вот, пожалуйста, получите шестьдесят... А политика... какая может быть политика в Цветогорье?

Прошкин, опять улыбаясь озябшей улыбкой, сказал:

— Нет, знаете, и здесь началось.

Виктор Иванович засмеялся: в самом деле, было похоже — началось.

Отец и тесть каждый день приносили странные новости: в клубе под Новый год собрались чиновники, земцы, доктора, адвокаты. Говорили открыто такие речи, что надо бы всех посадить в тюрьму. Рабочие на цементном заводе грозили забастовкой. На заборах стали появляться прокламации...

А из столиц — точно набат ночью — вести: в царя во время крестного хода на иордань стреляли из пушки. Заводы забастовали. Газеты не выходят.

И все Цветогорье, оторванное от мира, зашевелилось беспокойно. Что такое?

Василий Севастьянович закрякал, заругался, шариком носился по дому. В эти дни он сам ездил к Гусеву в типографию, где печатались агентские телеграммы. Можно бы послать мальчугана.

— Нет, нет, я сам. Гусев-то дружок мне. Он по секрету может сказать. Ему что-нибудь известно...

И раз привез весть: на улицах Петербурга сильная стрельба.

Дни настали почти невыносимые: подперло к горлу — дышать нечем. Даже обыватели, ко всему равнодушные, забыли о делах, опаленные огненными слухами. На улицах при встрече вместо приветствия спрашивали:

— Читали? На самом Невском стрельба. Тысячи убитых.

В эти дни Зеленовы окончательно переселились к Андроновым, свой дом покинули на сторожей. Наконец стали приходить газеты. За ними посылали кучера на почту, чтобы поскорее прочесть, узнать. У почты стояла толпа.

Однажды поезд запоздал. Уже смеркалось — кучер все не ехал. Чьи-то чужие сани остановились у ворот. Нетерпеливый Василий Севастьянович подпрыгнул к окну, от окна побежал в переднюю, сам открыл дверь, по лестнице помчался вниз — без шапки, в одном пиджаке, и все в зале услышали его крик:

— Сима? Ты?! И у вас бастуют?

Он сам ввел торопливо Симу в зал, не дал ей раздеться в передней. Все зашумели. Множество рук — больших и маленьких — протянулось к Симе. Сима сдержанно улыбалась.

— А и похудела ты! Не кормили, что ли, тебя?

Виктор Иванович взял у Симы шляпу, пальто, передал горничной, стоявшей у дверей. Он неотрывно, с удивлением глядел ей в лицо. Лицо было новое. Глаза стали больше и строже. Волосы причесаны рядком, гладко, белый лоб светился белым тихим светом. Такие лица бывают на иконах.

А Василий Севастьянович уже теребил ее:

— Ну, рассказывай! Что за стрельба была? Кто в царя стрелял на иордани?

Сима перецеловала всех подряд, заговорила отрывисто, и щеки у ней разгорелись пожаром:

— Вы сюда переселились? А я приезжаю в старый дом — все заперто...

— Да ты будет про это! Ты расскажи, что у вас! — крикнул Василий Севастьянович.

Все засмеялись.

— Постой, сват! — приказала Ксения Григорьевна.— Дай девке опомниться! Ты гляди, с дороги устала, зазябла. Чаю ей скорее!

Вокруг Симы хлопотали все шумно, со смехом и криками. За чаем Сима неторопливо, со сдержанным негодованием

рассказала, как рабочие пошли к царю с иконами, а в них стреляли.

— А-а-а! — протянул ошеломленно, точно зашипел Василий Севастьянович.— Вот оно что! Вот куда гнет! Что же теперь будет?

— Скоро будет республика,— со скромной уверенностью, как о чем-то своем решенном, сказала Сима.— Разве это царь, если он в свой народ стреляет?

А поздно ночью, уже в кабинете, в присутствии Елизаветы Васильевны Сима сказала Виктору Ивановичу:

— Я приехала только к тебе, Витя! Я не хотела говорить при стариках.

Елизавета Васильевна усмехнулась.

— Почему к нему, а не ко мне и не к старикам?

— К вам я приеду, когда мы добьемся всего. А пока к Виктору за деньгами. Раскошеливайся, Витя!

Виктор Иванович почувствовал: холодок подул в душу.

— Что ж, я дам.

— Да уж на тебя надежда. Я *там* сказала прямо: даст.

— Ну, обо мне *там* ты, пожалуйста, ничего не говори. Бери — и все. Много тебе?

— Давай максимум, что можешь. Время горячее: средства нужны большие.

— А скажи, сама ты тоже участвуешь?

— С головой ушла! — махнула рукой Сима. И по-девичьи откровенно сказала, что она вошла в организацию. И, рассказывая, она вся пылала, как свеча на ветру.

Елизавета Васильевна смотрела на Симу жалостливо:

— Пропала твоя головушка! Ходишь ты над пропастью!

— Что ты, Лиза? Над какой пропастью? Пропасть — это вот ваша жизнь, ваше спокойствие и безразличие ко всему. А моя дорога...

Она засмеялась.

— Что твоя дорога?

— Моя дорога — настоящая.

— Но скажи, чего тебе не хватает?

— Как странно ты, Лиза, говоришь! Чего не хватает? Всего не хватает. Всю жизнь надо в корне изменить. Смотри, шевелятся все — дворяне, чиновники, студенты. Все изъявляют недовольство.

— Да, время. Хоть сейчас всех в сумасшедший дом!

## VII. Победа

Сима прожила только три дня. Она была до крайности нервна, поминутно вздрагивала, говорила мало, задумчиво ходила по всему дому из комнаты в комнату, засматривалась на стены, на картины, всем давно известные и всем давно на-

доевшие, долго стояла на балконе, рассеянно блуждая глазами по заволжским белым просторам. Виктору Ивановичу казалось: Сима навсегда прощается с родными. Ее поспешный отъезд встревожил стариков, не понимавших, к чему такая торопливость.

— Мне надо ехать. Дела.

Она говорила намеками, с видом таинственности, будто знала такое, что не дано знать другим. Иван Михайлович посмеивался над ней:

— Ну, ораторша, скоро ли перемены будут?

И Сима со странной уверенностью ответила:

— Теперь скоро. Народ получит все, что требует.

— А староверы?

— И для староверов мы вырвем права.

Иван Михайлович захохотал.

— Вот они, заступнички-то наши! Ну и бой-девка! А скажи, хорошие барышни по хорошему жениху не получат?

В праздничный день Симу провожали на вокзал всем домом.

В первый раз Виктор Иванович увидел, как Сима, прощаясь, плакала. Она взяла Виктора Ивановича под руку, отвела в сторону, горячечно зашептала ему прямо в лицо:

— Если со мной что случится, смотри же, Витя, я буду обращаться только к тебе. На своих я не рассчитываю.

Виктор Иванович тихонько и серьезно спросил ее:

— А может быть, ты напрасно идешь с *ними?*

Сима сразу стала серьезной и строгой.

— Что ты? Разве не знаешь, что у меня иного пути нет?

— Почему нет? Путей сколько угодно! Конечно, дело твое, а почему-то мне жаль твоей судьбы. Так, значит, ждать?

Сима опять засмеялась:

— Жди, жди!

В этот вечер, оставшись один, Виктор Иванович долго ходил из угла в угол по своему кабинету, думал: «Какая самоуверенность! Мы вырвем права! Откуда такое у двадцатилетней девицы?»

Ольга Петровна плакала... Ее утешали все, как могли: «Что там? Сима не маленькая: понимает, куда, на что идет!» Иван Михайлович утешал с особенным усердием:

— Перестань, сваха, не горюй! Выросла большая, с ней ничего теперь не сделаешь. А может быть, это и к лучшему. Обещает: «Все добудем». Может быть, правда? Мы не добыли, авось наши дети добудут.

И, замолчав, сказал тоном ниже:

— Странный народ пошел. Молодая девка, а гляди, в большие дела вникает. У нас этого не бывало.

А все во всем городе — мещане, чиновники, рабочие, купцы, торговцы на базаре,— все, все ждали чего-то... может быть, ждали чуда.

Не прошло недели с отъезда Симы (все еще много раз-

говаривали о ней), раз утром Василий Севастьянович без шапки прибежал из конторы в дом с газетным листом в руках. Глаза его округлели, рот полуоткрылся, хрипел.

— Что случилось? — испугался Виктор Иванович.

— Смотри! В Москве царева дядю убили!

Вся семья сбежалась в столовую слушать весть об убийстве великого князя Сергея. Ксения Григорьевна по-старушечьи наивно сказала:

— Страх-то какой! Бомбой разнесло на мелкие части. Господи, до чего народ дошел.

Виктор Иванович, потрясенный вестью, приказал Храпону запрячь лошадь, поехал в сад. Он придумал эти поездки, чтобы в часы волнений успокоиться. Когда выехали за город, Храпон повернулся, спросил:

— Говорят, царева дядю вдрызг разнесло?

— Да, разнесло. А тебе-то что?

Храпон ухмыльнулся.

— Мне-то, знамо, ничего, да уж больно занятно!

«Дьявол знает что! — подумал Виктор Иванович.— Все открыто радуются!»

Он сжался и, как всегда в минуту тревог, ушел в себя, замолчал.

День его распределялся теперь так: он вставал рано, жадно читал газеты и журналы, теперь странно дерзкие, с небывалыми, неслыханными словами. После завтрака ходил в контору, где Иван Михайлович и Василий Севастьянович уже спозаранку сидели за своими столами, говорили лениво, потому что дело, как всегда перед весной, замерло. В конторе теперь больше говорили о политике, о том, что делается на войне и в столицах, и каждый чего-то ждал, ждал скоро, и ждал непременно хорошего, и в ожидании нетерпеливо дрожал.

— Скорей бы!

И через полмесяца, не больше, пришел указ: «Государь император приказал министрам привлечь достойнейших, облеченных доверием народа людей к управлению страной».

И странно, у Виктора Ивановича вот этот царев указ связался в уме с убийством царева дяди: убили дядю — царь вынужден дать указ.

В эти весенние дни ему хотелось верить, что — пусть дикими, бурными путями — жизнь идет к какой-то прекрасной цели, что поднимается большая, созидающая сила, похожая на весну. Земцы, купечество, интеллигенция, рабочие, студенты — у всех была одна цель, все идут к этой цели и добьются. Хотелось верить. И не было уже сил сидеть дома: Виктор Иванович уезжал в «Биржу», ездил по знакомым купцам, завел знакомство с председателем земской управы, которого в уезде и в городе считали красным. Ездил к попу Ларивону, у которого всегда были новости самые достоверные. Поп однажды показал письмо:

— Из Москвы с Рогожского пишут: все налажено. Сам Витте обещает хлопотать.

И правда, в переломе апреля в газетах был опубликован царский указ о веротерпимости.

Все цветогорское старообрядчество враз зашевелилось. Поп Ларивон два дня объезжал всех купцов и именитых граждан, сзывал на первое воскресенье на торжественную службу. Приехав к Андроновым, он поцеловал трижды Виктора Ивановича, сказал:

— Христос воскресе!

Виктор Иванович ответил:

— Воистину воскресе! Но, отец Ларивон, кажется, у нас великий пост!

— Пусть великий пост, но такой день ныне, что Христовой пасхе впору. Двести лет нас гнали, а ныне вот, глядите-ка: «Да исповедуют все по совести». Ты, Виктор Иванович, у нас герой, тебе первое место. Смотри же, в воскресенье ждем тебя со всей семьей обязательно.

У старой моленной, в глухом переулке у Легкого колодца, никогда еще не собиралось столько экипажей, как в это воскресенье. Приехали люди из ближних сел и хуторов, съехались купцы балаковские и воскресенские — Ливановы, Карасевы, Плехановы, Храповицкие. Тесная моленная была набита битком. Мужчины сплошь в староверских кафтанах, женщины — в шелковых белых платьях, в белых платках, по-старинному повязанных. Паперть и двор были запружены народом, стоявшим плечо к плечу.

Отец Ларивон в золотой ризе вышел на амвон, и все видели: у него странно трепетала борода, глаза полузакрылись и по лицу бежали слезы. Он долго не мог сказать слова и, плача, опустился на колени, и вся толпа мужчин и женщин — цветогорские тузы,— все эти купцы и наживатели пали наземь и на паперти и во дворе,— и заглушенное рыдание заполнило моленную и двор. И неожиданно громко на правом клиросе мужские и женские голоса — все в унисон — одним трепещущим и звенящим хором с торжеством небывалым запели:

— «Слава тебе, боже наш, слава тебе!»

И рыдающая толпа в моленной, на паперти и во дворе запела вместе:

— «Слава тебе, боже наш, слава тебе!»

После короткого молебна все закружились, ликуясь друг с другом. Отец Ларивон, как был, в золотой ризе, сошел с амвона в толпу. К нему жались плотной стеной, целовали и ризу, и руки, и его бороду и плакали.

Виктор Иванович переходил из одних объятий в другие. Он уже не различал лиц. Кто-то гладил его по щеке, кто-то теребил, кто-то говорил ему: «Вот он, герой наш». А Василий Севастьянович ходил по моленной с огромной тарелкой, говорил каждому:

— Ну-ка, на колокола да на колокольню жертвуй по случаю такой радости.

Тарелка верхом заполнилась бумажками, кое-кто из тузов весело и укоризненно говорил Василию Севастьяновичу:

— Что же ты сейчас собираешь? Здесь с нами и денег настоящих нет. Подожди-ка, вот я записку напишу. Жертвую тысячу. Пусть завтра ко мне на дом придут.

И пошло: одна записка, две, три, пять, десять — набралось тысяч много.

Во дворе моленной, когда стали все выходить, Виктор Иванович и Иван Михайлович подходили от одного к другому, звали:

— Пожалуйте к нам сегодня вечером по случаю такого торжества.

И, кажется, никогда андроновский дом не светился такими яркими огнями, как в этот вечер.

А дней через пять от Симы из Петербурга пришло письмо:

«Витя, ты видишь: все идет, как я говорила. Ты, конечно, понимаешь, что этот манифест вырвали мы, революционеры, вырвали путем самой решительной борьбы. Подожди, не то еще будет!»

Виктор Иванович за обедом передал, посмеиваясь, содержание этого письма, лишь скрыв, что Сима называет себя революционеркой. Смеялись все. Ксения Григорьевна ахала:

— Ну и Сима! Ну и девка! Как это у ней язык-то может повернуться?

— А ты знаешь, мама, она говорит: подождите, не то еще скоро будет!

— Что ж, дай бог здоровья! Только не зря ли она-то вмешивается?

«Вот и мама желает здоровья революционерам»,— про себя усмехнулся Виктор Иванович.

А вести о беспорядках приходили все так же каждый день, тревожные и угнетающие.

С весной опять началось движение на войне, и опять японцы били русских, но война уже никого не тревожила. Все привыкли к военным неудачам, все считали, что не там, на Дальнем Востоке, должна решиться судьба России, а здесь вот, в бурных городах — в Москве, Петербурге, Киеве, Одессе. Везде была стрельба: в Москве и в Севастополе, в Варшаве и в Уфе. Телеграммы то и дело извещали об убийствах губернаторов и больших государственных чиновников, о крупных беспорядках в больших городах. Будничная жизнь не налаживалась, все ждали: вот-вот кончится тревога, тогда можно приняться за дело обычное. Но тревоги не кончались — росли и крепли. В начале мая пришла весть: сгорел город Алатырь. Василий Севастьянович загоревал: Алатырь был родиной его отца.

Потом — не прошло и двух недель — телеграммы принесли

в андроновский дом страшную весть о гибели русской эскадры у Цусимы.

Со слезами читали, как в далеком океане гибли русские корабли и русские люди. Василий Севастьянович вдруг заговорил громко:

— Разве с таким правительством можно что сделать? Разве у нас командиры? Нет, что уж, все пропадает!

Этой вестью все были уязвлены, оскорблены, озлоблены, и уже казалось Виктору Ивановичу, что все, начиная от Василия Севастьяновича и Ивана Михайловича и кончая кучером Храпоном,— все открыто радуются, что в русских городах идут бунты против правительства.

Весна шла дружно. Уже перепадали дожди, майские драгоценные дожди, обещающие большой урожай. Но еще в феврале у Андроновых на домашнем совете решено было, что в такое тревожное время не стоит делать больших засевов на хуторах и в случае урожая держаться только скупками.

И теперь, слушая яркий и ломкий гром в небе над Волгой и над горами, Иван Михайлович и Василий Севастьянович ахали и вздыхали: «Вот когда оно, золото-то, в карманы само просится!» И слегка укоряли друг друга, зачем не рискнули с засевом.

После вешнего Николы Андроновы выехали в сад на речку Саргу. Виктор Иванович совсем перестал ездить в контору, подумывал поехать в Петербург, чтобы самому узнать, что там происходит. Он часто писал Симе, просил и требовал, чтобы она регулярно сообщала ему, что делается в столице. Газеты с каждым днем становились свободнее, говорили новым языком.

В начале июня пришло письмо из Москвы от Ивана Саввича. Иван Саввич спрашивал, можно ли рассчитывать на помощь в случае, если московское купечество потребует у правительства уступок. Виктор Иванович ответил короткой телеграммой: «Безусловно». Стало известно: из Москвы опять выехала депутация в Петербург. Через несколько дней в газетах была напечатана речь князя Трубецкого, речь к царю, речь, которая казалась искренней, смелой и резкой. Князь Трубецкой, до этого никому не известный, сразу стал героем. У Андроновых бурно заговорили о нем, и Виктор Иванович слышал, как на другой день кухарка сказала горничной Глаше:

— Князь-то этот царю-то и говорит: «Неправильно ты, батюшка-царь, правишь и нехорошо с людьми поступаешь». У царя аж язык к гортани прилип.

В Цветогорье стало тише, будто скучнее: меньше дымились заводы, на Волге стало меньше плотов и белян. Пароходы ходили регулярно, но на них везли не товары, а войска. Иногда было слышно, как на пароходах солдаты пели песни. Песни казались грустными, и хотелось пожалеть кого-то,

может быть, этих солдат, может быть, себя, а может быть, всю русскую жизнь, которая пошла набекрень. Иногда вдруг прорывались буйство, пляс, грубые песни. Но и в них чудилось отчаяние.

В середине лета прошел слух: на Черном море взбунтовался броненосец «Потемкин». Потом запылали Кронштадт и Свеаборг.

И в эти дни, когда особенно хотелось знать, что происходит в столице, письма от Симы прекратились. Сима не отвечала на телеграммы. Тогда сообразили: послали телеграмму ее квартирной хозяйке. Ответ был короткий и потрясающий: «Арестована». Ольга Петровна два часа пролежала в обмороке. Еще никогда тревога так близко не подходила к андроновской и зеленовской семье.

К осени беспорядки усилились. В Петербурге, в Москве бастовали рабочие. Потом забастовали железные дороги. Почта не приходила. Всем Цветогорьем завладели чудовищные слухи. Казалось, вся Россия пылает.

## VIII. Либерал

Однажды в октябрьский сумрачный вечер Виктор Иванович в окно увидел: по улице бежит народ. Он послал горничную узнать, что такое. Горничная вернулась в тревоге:

— Народ забастовку делает!

Виктор Иванович поспешно оделся, вышел на улицу. Народ бежал куда-то к Садовой. Вдали, в лиловых сумерках, чернела толпа, переливаясь. Над толпой плыли два темных флага на высоких палках. Немногие голоса пели в первых рядах толпы совсем незнакомую буйную песню. Виктор Иванович увидел студента Панова и, действуя локтями, пробрался к нему, на ходу взял его под руку. Панов пел. У него было какое-то новое, горячее лицо, он закивал Андронову головой, а песни не прервал. Виктор Иванович хотел спросить, что за толпа, куда идут, но не спросил, просто пошел под руку с Пановым неизвестно куда. Толпа с Садовой повернула на Московскую. Со всех ближних улиц к ней бежали люди. У общественного собрания остановились все, на балконе замаячил кто-то. В наступающей темноте уже нельзя было разобрать, кто. Только слышались горячие голоса:

— Ныне радостный день, граждане! В России наконец конституция!

Толпа громоносно заревела «ура». Отдельные голоса выкрикивали:

— Песню! Песню!

И сперва только немногие, потом вся толпа единодушно, артельно запела: «Солнце всходит и заходит».

И раньше в городе пели эту песню: в пьяном виде босяки пели на берегу Волги, пели студенты на своих вечеринках,

пели ребятишки на улицах. А почему-то с особенной силой эта песня зазвучала ныне, в этот вечер, новый и странный.

Панов жужжал над ухом:

— Приходите завтра с утра. Будет большое торжество.

Наутро на Соборную площадь собралась тысячная толпа, одетая по-праздничному. Виктор Иванович пришел вместе с Елизаветой Васильевной, с отцом и тестем. Они стояли на ближнем тротуаре, через головы посматривая туда, в средину толпы, где кто-то что-то кричал. Юркий человек, рыженький, с подстриженными усами, зубной врач Левкин, вырвался из толпы и тоненьким голоском закричал направо и налево: «Поздравляю!» — и замахал кепкой. Иногда он подходил к кому-нибудь, подавал руку, лез целоваться. Торопливо семеня коротенькими ножками, он быстро подошел к Андроновым, закричал: «Поздравляю!», поднялся на цыпочки, кольнул своими колючими усами в губы Виктора Ивановича, потом потянулся к Василию Севастьяновичу и Ивану Михайловичу, торопливо поцеловал их и шариком покатился дальше. Андроновы и Зеленов переглянулись возмущенно. Василий Севастьянович вынул платок, долго вытирал губы и бороду, ворча сердито:

— Кому радость, неизвестно, только вот этому зубодеру уже радость! А нам — поплевывай!

Иван Михайлович тоже вынул платок, утерся:

— Дьявол знает, что такое: скобленое рыло с поцелуями лезет.

Посмеиваясь, стояли долго, чего-то ждали. В толпе все кричали, иногда пели. Пошел дождь. Все стали расходиться.

Дома ждала телеграмма от Симы: «Поздравляю. Меня освободили. Ждите письма». Но это слово «поздравляю» почему-то напомнило зубного врача Левкина, его пронзительный дискант и его поцелуи.

Вечером в общественном собрании оркестр играл «Марсельезу». Адвокат Лунев — прохвост и жулик, что было известно всему городу,— произносил речь о новых задачах русского общества и о тех светлых путях, что теперь пролегали перед Россией. И его речь опять неприятно взволновала Виктора Ивановича: все, все, что происходит сейчас,— слишком велико и свято (так казалось), и нельзя, чтобы такие люди, как Левкин и Лунев прикасались к этому новому. Здесь же в клубе к Виктору Ивановичу подошел чиновник Александров, лохматый, черный верзила, бубукающим голосом проговорил:

— От имени нашей группы позвольте поблагодарить вас за все, что вы сделали для нас. С вашей помощью мы имели возможность распространять литературу. Мы надеемся, что и сейчас, когда так нужны силы и средства, вы не откажете нам помочь. Я знаю вашу родственницу, Серафиму Васильевну, она человек нашего склада. Она горячо рекомендовала обратиться именно к вам.

— Что же, вы думаете, теперь все хорошо пойдет? Все успокоится?

— О нет! Вот именно теперь начнется настоящая борьба! Мы получили свободу слова, и мы скажем народу, что такое царь и правительство.

— Значит, успокоения не будет?

— До успокоения еще очень далеко. А разве вы нуждаетесь в успокоении? — удивился Александров. И в углах его губ мелькнула ехидная улыбка. Виктор Иванович оборвал разговор.

И верно, наутро телеграммы принесли весть: в Москве и Петербурге, в Одессе и Варшаве и по всей России, точно по сигналу, начались погромы. Петербургский градоначальник Трепов щегольнул фразой: «Приказываю патронов не жалеть», и, должно быть подражая ему, цветогорский полицмейстер Пружков расклеил приказ по всему городу: «Запрещаю всякие собрания и шествия, а в случае таковых — приму меры».

В уезде вспыхнули беспорядки. Крестьяне громили помещиков, жгли усадьбы. По ночам небо над дальними горами полыхало красным заревом. Гостиницы во всем городе были забиты помещичьими семьями. В дом Зеленовых приехал Иван Иванович Сенотов, владелец куриловского имения, друг и приятель Василия Севастьяновича. В первый же день по приезде он обедал у Андроновых и, точно набатный колокол ночью, зазвонил мрачно:

— Пропала Россия! Теперь мужичишки не дадут жить никому, всю культуру метлой сметут. Вот помяните мое слово. Если бы нашелся покупатель, я не задумался бы: сейчас бы продал имение.

Василий Севастьянович почему-то многозначительно переглянулся с Иваном Михайловичем, потрогал обеими руками бороду — признак самого сильного волнения — и нерешительно сказал:

— А что же! Если ты продаешь, Иван Иванович, то мы, пожалуй, купим.

Сенотов откинулся на спинку стула, побледнел и решительно, изменившимся голосом сказал:

— Что ж, покупай! Плати сейчас деньги. Брошу все, уеду с женой в Петербург... Пропади все пропадом!

Василий Севастьянович протянул Сенотову руку, хлопнул.

— О подробностях сговоримся завтра. Ладно?

— Ладно. Завтра.

— Так смотри же, не отказывайся от своего слова!

— Не беспокойся. От своего слова не откажусь,— сказал Сенотов.

Большой и важный, он пошел к двери. Василий Севастьянович торопливо провожал его, проводил, вернулся и потом, смеясь, заговорил:

— Как барина-то мужики напугали: места не найдет себе!

Иван Михайлович спросил:

— А ты на самом деле купишь?

— Чего же глядеть? Конечно, куплю! Он теперь за четверть цены отдаст. Человека только испугать, а то он ни перед чем не постоит... А ведь и другие, пожалуй, будут продавать. Что ж, посмотрим! С хлебом заминка, с хуторами заминка — авось здесь пойдет. Не только нам за Волгу лезть — и здесь можно попробовать. Имение хорошее, я его знаю. Хе-хе! Вот бы захватить! Нет, а ты слышал, что он говорит? Будто нам всем беда!

— Это он зря говорит. Беда господам, а до нас не дойдет. Мы, купцы, люди вольные, нас не укусишь.

— Гляди, Василий Севастьянович, вольные ли?

— А ты, Витя, что думаешь? По-твоему как?

— По-моему, не следовало бы с этой землей связываться. Здесь тесно: мужик мужику наступает на ногу. Я думаю, что помещичьи усадьбы доживают последние дни. А наш путь — за Волгу, на борьбу с пустыней. Там и просторы и богатства.

— Ну, ну, тебя тоже, должно быть, испугали мужики.

Василий Севастьянович забегал, заторопился, словно нашел себе новое, очень занятное дело. Он сам решил поехать посмотреть сенотовское имение.

— Я его знаю: четыре года назад я ночевал там, а все же посмотреть надо. Теперь время не такое. Вроде пожара у господ помещиков. Может быть, там одни рожки да ножки остались.

Наутро к крыльцу подали большую кибитку с кожаным верхом, с кожаным запоном. Ольга Петровна и Ксения Григорьевна уговаривали его: «Не зря ли едешь?» Василий Севастьянович настоял на своем. Он обещался прожить в имении два-три дня, чтобы посмотреть все досконально, но вернулся на другой же день к вечеру, бледный, с круглыми от ужаса глазами. Встревоженной толпой его окружила вся семья. В столовой он сел, отдуваясь, так, в шубе, в шапке, на всех смотрел долго, будто не верил, что он наконец среди своих. Его со всех сторон спрашивали: «Что с тобой?» Василий Севастьянович махнул рукой, сказал вполголоса:

— Ну, братцы, не чаял с вами свидеться! Не мужики, а звери. Убили было меня. Узнали, что я приехал смотреть, хочу купить, сразу во всех деревнях зашумели. Гляжу, по всем дорогам со всех сторон бегут... Спасибо, вовремя ускакал. До самой Плетневки за мной гнались. Вот тебе и свобода! Вот тебе и конституция! Нет, тут чего-то не так. Мужичишки прямо с ума сошли.

Иван Михайлович хмуро забубнил:

— Не только мужичишки с ума сходят. Гляди, рабочие-то с ножом к горлу пристают, требуют прибавки и у Залогина, и у Гильдебранда, и у Мальцева, и на цементном, везде как с ума сошли, грозят. Когда это было?

Виктор Иванович, смеясь, смотрел на обоих.

— Вот, папаша, я говорил вам: не стоит связываться с местной землей. Наша земля — за Волгой. Здесь сплошь бунтуют — там тихо.

Василий Севастьянович покорным тоном сказал:

— Да, пожалуй, ты прав: связался я напрасно.

А господа помещики, познав, что Зеленов покупает имение у Сенотова, со всех сторон потянулись к нему. Те, кто помельче, приходили в дом сами или в контору, а богатые да гонористые вызывали его к себе. Даже сам его сиятельство граф Куродавлев приглашал. Василий Севастьянович больше из любопытства, чем из желания купить, ездил к графу, вернулся, весь переполненный веселым смехом:

— Не только меня испугали. И его сиятельство не может опомниться от страха!

И опять, как припев, повторил:

— Вот тебе и свобода! Вот тебе и конституция! Не житье, а малина!

Он теперь уже успокоился и уже со смехом вспоминал о своей неудачной поездке, выкапывая все новые и новые подробности:

— Приезжаю. Мужичишка немудрящий меня встретил. Говорю: «Хочу покупать имение». Мужичишка сразу на дыбы: «Как покупать? А мы собирались взять имение за себя». Ну и не сказал больше ничего. Потом смотрю: забегал, засуетился. Я, конечно, еду к дому, а мужик тем временем в село, и вот, ну прямо как по телеграфу: сразу все узнали. Да в имение! Да со всех сторон! Да с кольями! Вот тебе и свобода! Вот тебе и конституция!

Как-то утром Василий Севастьянович написал целую груду телеграмм — своих обычных — в Бирск, в Уфу, в Бугуруслан, в Кукарку, в Покровск, в Уральск: «Скупайте по таким-то ценам, берите больше, перевел столько-то». С этой грудой конторский мальчишка пошел на почту, вернулся через полчаса, криво усмехаясь, весь переполненный сдержанной радостью:

— Василий Севастьянович, телеграммы не принимают.

Василий Севастьянович повернулся, даже кресло под ним запищало:

— Что такое?

— Не принимают. Чиновники забастовали.

Ругаясь, Василий Севастьянович побежал в дом, быстро оделся, приказал заложить лошадь, сам поскакал на почту. Правда, чиновники забастовали. Они толпой стояли за перегородкой, ничего не делая, сдержанно-молчаливые, с решительными и вместе виноватыми лицами. Василий Севастьянович позвал знакомого помощника начальника почты:

— Что это у вас, батенька? Неужели и вы?

Помощник лукаво усмехнулся в седую бороду:

— Представьте, и мы.

Василий Севастьянович развел руками:

— Вы? Да сколько же вас? Пятнадцать человек? И вы задерживаете жизнь целого города? Вы же подумайте, Николай Афанасьевич, вот я посылаю сегодня тридцать телеграмм, у меня же неотложное дело, а вы бастуете. Ведь это же убытки для меня!

Помощник пожал плечами.

— Что ж делать?

— Как что делать? Работать надо.

— К сожалению, ничем не могу помочь вам.

— Тогда я на вас жаловаться буду! Не бессудная же у нас земля!

Старик помощник сразу стал очень вежливым:

— Воля ваша. Жалуйтесь.

Домой вернулся Василий Севастьянович вне себя от гнева. Он бурно ходил по конторе, кричал:

— Вот оно! Дожили! Дождались! Ежели бы я не был старовером, я бы сейчас же стал черносотенником. Палку на этих хамов надо. Чиновники! Государственные орлы на лбу и на пуговицах носят, а сами дьявол знает что делают.

Виктор Иванович смотрел на тестя насмешливо. Да, начались дела странные! Последний месяц Виктор Иванович все больше уходил в молчаливость, в одиночество, на все смотрел пытливо, не зная, к чему примкнуть. Он теперь уже ни с кем не спорил, будто шел шарящей походкой, как человек, заблудившийся в темноте. Из Москвы от Ивана Саввича он получил письмо: «Записывайтесь в нашу торгово-промышленную партию, мы защищаем промышленность и прогресс». При письме была длинная печатная программа, вся переполненная очень туманными выражениями. Виктор Иванович ответил: «Готов. Скажите, что делать, как приступить к работе?» С ним происходило небывалое: он опять бы хотел, чтобы его, как в дни детства, кто-то взял под свое покровительство и руководство и повел его по этим непонятным, смутным, спутанным временам.

Дома жизнь шла по-будничному, лениво, по порядку, когда-то заведенному раз навсегда. Дом был полон народа, полон детскими криками, женскими хлопотами, обычными, будничными, но тревога уже доходила и сюда. Ксения Григорьевна каждый день во время обеда рассказывала, что говорилось на кухне, куда опять стали заходить странники и юродивые.

— Антихрист появился, ходит из города в город, только пока о себе не говорит, высматривает.

— Японцы наняли белых арапов воевать с Россией.

— В Нагибовке корова отелилась — теленок-то с человечьей головой, говорит: «Пропали все! Пропали!»

Ее слова были нелепы — все знали их нелепость,— и все-таки слова удваивали тревогу. Никому не хотелось ничего делать, опускались руки.

Лишь Иван Михайлович и Василий Севастьянович эту зиму были заняты постройкой колокольни у староверской церкви. Они часто уезжали на постройку, дома иногда спорили между собой, где купить лес, кирпич, кому заказать колокол, и часто жаловались на рабочих: работают из рук вон плохо. Василий Севастьянович со священником Ларивоном ездил в Саратов за колоколом. Приехал возмущенный.

— Натерпелись же мы, когда сдавали колокол на железную дорогу! Невозможно сказать. Одни только смехи. Какой-нибудь стрелочник и тот говорит: «Бога скоро отменим, а вы все с колоколами возитесь». Вот вам и свобода! Вот вам и конституция!

А газеты тревожно звонили: начался бунт во флоте, в Саратове убит генерал-губернатор, приехавший усмирять непокорную губернию. Убила его женщина, и женщина не назвала себя. У Андроновых гадали: «Не Сима ли?» В середине декабря пришли вести о восстании в Москве. Это событие совсем сломило покой. Уже не было сил сидеть дома, ждать, хотелось как можно скорее узнать, что там. Виктор Иванович каждый день ездил сам на станцию, чтобы скорее получить газеты, потому что был не в силах дождаться почты. Раз, подъезжая к вокзалу, он увидел толпу, окруженную жандармами и полицейскими. Он присмотрелся: жандармы и полицейские вели человек десять реалистов в форменных шинелях, в фуражках с гербами. Реалисты все, как на подбор маленькие, важничающие карапузы лет по двенадцати. И было странно видеть, что их ведут усатые жандармы и бородатые полицейские.

— Что такое? Почему арестовали?

Из толпы взрослых, стоявших в стороне, смеясь, кто-то ответил:

— В Москву собрались восстание поддерживать. У всех отобрали револьверы. Должно быть, у папаш украли. Вояки какие нашлись!

Через три дня после этого по городу распространились слухи: какой-то мальчуган вечером стрелял в полицмейстера, ранил его и благополучно скрылся. Полицмейстер Пружков развесил по всему городу объявления и провозгласил, что с преступниками он будет расправляться самым решительным образом.

В эти дни к Виктору Ивановичу еще раз приходил чиновник Александров, туманными фразами сказал, что необходимы деньги для очень большого, важного дела. Виктор Иванович дал две сотни.

Потом приходил рыжий студент (Виктор Иванович так и не узнал его фамилии), а со студентом — зубной врач Левкин, тот самый, что бегал по толпе в дни октябрьского торжества и целовался со всеми. Виктор Иванович дал и этим, но дал со странным, холодным, брезгливым чувством, и уже меньше дал, чем прежде. И через день после этого Виктор Иванович получил письмо от полицмейстера Пружкова: «Прошу явиться

в полицейское управление для переговоров по делу, касающемуся вас лично». Немного удивленный, Виктор Иванович посоветовался с отцом и тестем:

— Что такое? Ехать ли?

Иван Михайлович говорил, что ехать не надо: чего с ним, солдафоном, разговаривать? Но Василий Севастьянович настоял:

— Поезжай. Надо узнать. Может быть, против тебя что-нибудь затеяли.

Виктор Иванович поехал. С брезгливой миной, громко стуча калошами и палкой, он прошел по заплеванным, пропитанным гнусным табачным запахом полицейским помещениям, где было множество полицейских и стражников, прошел в кабинет к Пружкову. Пружков — седоватый старик с прической ежиком — принял его, стоя за широким столом, запруженным бумагами. Он не подал руки, не попросил садиться, и Виктор Иванович, как был, в шубе и с палкой, остановился у другой стороны стола, лицом к лицу с Пружковым. Пружков заговорил скрипучим, отрывистым голосом:

— Я вызвал вас по совершенно конфиденциальному делу. Мне стало известно, что вы даете деньги на революцию.

Виктор Иванович на всякий случай сделал удивленное лицо:

— То есть как?

— Прошу вас не отказываться. Вы дали деньги социал-революционерам. Вы дали деньги социал-демократам. Это мне известно доподлинно. Вы, купцы, с ума сходите. В Москве Морозов дал три миллиона на восстание, а здесь даете вы. Мы вас защищаем, а вы помогаете своим же врагам. Властью, данной мне свыше, я приказываю вам немедленно прекратить ваши выдачи, в противном случае я приму надлежащие меры.

— Какие же это меры? — вызывающе спросил Виктор Иванович.

— Там мы посмотрим, какие!

Виктор Иванович взбесился:

— Пожалуйста, прошу не учить меня! И не грозить! Пользуйтесь вашими шпионскими сведениями, как вам угодно, а ко мне лезть не смейте! Если вы позволите еще раз меня вызвать и говорить со мной таким тоном, я тоже приму свои меры. Вы не с первым встречным разговариваете!

Он повернулся, быстро пошел вон, не слушая, что за его спиной хрипел Пружков.

Весь тот вечер он ходил по дому вне себя от ярости. Из полицейского управления прискакал верховой с запиской к Ивану Михайловичу и к Василию Севастьяновичу. Полицмейстер вызывал их. Старики поехали. Вернулись тоже сердитые.

— Ну, Витя, надо дело улаживать. Оказывается, он все знает, кому сколько ты давал. Хочет жаловаться губернатору. Ведь неприятность может быть.

Виктор Иванович сказал вызывающе:

— Что ж, пускай выходит неприятность, а я еще больше буду давать на революцию, чтобы только не было Пружковых.

И первый раз за много лет старики смотрели на Виктора Ивановича укоризненно, осуждая, не соглашались, уговаривали:

— Ну, ну, ты брось! Надо, чтобы все по-мирному. Ты не забудь, времена-то какие.

На святках, как обычно, был студенческий вечер. Студенческая депутация с особой настойчивостью звала на этот вечер Виктора Ивановича и Елизавету Васильевну. Говорили: они гордятся, что в среде старых цветогорских студентов стоит имя Виктора Ивановича. Андроновы поехали. Виктора Ивановича встретили овациями. Оркестр заиграл «Марсельезу». Вдруг из соседней комнаты вышел Пружков в полной форме, гремя шпорами и шашкой, подошел сбоку к Виктору Ивановичу и прошипел ему на ухо:

— Поздравляю вас!

Виктор Иванович, будто не замечая Пружкова, кланялся аплодирующим студентам. Тогда Пружков поднял руку и закричал оркестру:

— Прошу прекратить и разойтись немедленно!

Из той же двери, из боковой комнаты, заполняя зал, тотчас гужом потянулись полицейские и принялись вытеснять толпу. Елизавета Васильевна крепко взяла мужа под руку, решительно, с необыкновенной твердостью повела назад к двери, к выходу. Она видела: Виктор Иванович весь дрожал от бешенства. Она боялась его выходок. А в зале позади них что-то кричали студенты и полицмейстер. По лестнице вниз и вверх бежали молодые люди с растерянными и озлобленными лицами.

На другой день к Виктору Ивановичу приезжал поп Ларивон, будто поговорить по церковным делам, но о церкви сказал лишь две-три фразы и затем с наивной прямотой указал:

— Что это ты, Виктор Иванович, вяжешься с этими бунтовщиками?

— А вы, отец Ларивон, откуда знаете?

— Слухом земля полнится. Во всем городе о тебе говорят. Будто твоими деньгами вся революция в Цветогорье стоит. Нехорошо! Гляди, как бы беды не было.

Виктор Иванович нахмурился:

— Чего же вы хотите?

— Сторониться бы тебе надо этих смутьянов. Гляди, табашник Левкин целоваться лезет. К кому? К тебе, к именитейшему купцу...

— Не в Левкине, батюшка, дело. Дело в целой России. Нельзя терпеть, чтобы нами управляли Пружковы да безгубый чиновник, о котором я вам говорил. У меня дрожь в пятках появляется, когда я думаю о них.

— Что ж, ты за смутьянов?

— Конечно нет! Эти погромы, выстрелы, кровь,— я против. И в делах застой. А только где выход?

Отец Ларивон все качал лохматой головой, все упрямился:

— Все равно как-нибудь по-божьи бы надо. Тихо, смирно. А от смутьянов подальше.

В феврале началась подготовка к выборам в Государственную думу. В общественном собрании бывали митинги. Адвокат Лунев говорил зажигающие речи, всем все обещал. Оба Андронова и Зеленов два раза ездили на митинги. Василий Севастьянович возмущался:

— Адвокат все может наобещать. У него что? У него совесть купленная, а язык без костей. Обещает, чтобы рабочие работали восемь часов да чтобы всякую одежу да обужу им шили на хозяйский счет... Разве можно? Ему, голоштаннику, все равно, лишь бы в думу пролезть. Дешевый народ эти балаболки с политикой. А нам потом отдувайся. Нет, нам не с руки с ними. Они в наш карман заглядывают.

И Виктор Иванович насторожился: да, не с руки.

Однажды студент Панов, прощаясь после обеда, почему-то таинственно сказал ему:

— Завтра мы собираемся к вам.

— Что такое?

— Там узнаете.

И ушел качающейся походкой, которую особенно не любил у него Виктор Иванович.

На следующий день пришли трое: семинарист, почтовый чиновник и сам Панов, все в форменных фуражках. Здороваясь, семинарист назвал себя Гололобовым, почтовый чиновник — Васильевым. Они важно уселись, и Васильев торопливо заговорил:

— Нам известно, что вы очень энергично поддерживаете революцию. Мы решили обратиться к вам. Не будете ли вы так любезны подписаться?

Он вынул из кармана мелко сложенный лист, развернул, подал Виктору Ивановичу. Внизу листа синела круглая печать «Социалисты-революционеры-максималисты».

— Это что?

— Наш подписной лист.

— Вы хотите, чтобы я расписался на вашем листе?

— Можно и не расписываться, только отметьте, сколько вы жертвуете.

У почтового чиновника было задорное лицо. Он держался независимо, словно он требовал, а не просил. Виктор Иванович неприятно поморщился.

— А какие цели преследует ваша группа?

Семинарист стал разъяснять тоном учителя, разговаривающего с учеником:

— Группа максималистов преследует самые широкие цели: вся земля должна перейти к крестьянам, а фабрики и заводы — к рабочим.

— Ах, вот как? Это дело новое. Что ж, и много вас таких, с такими целями?

— Да, конечно! Наши группы имеются уже во всех городах.

— А куда же денутся хозяева заводов и фабрик?

— Хозяева могут поступить в качестве служащих и рабочих на те же заводы.

Виктор Иванович рассмеялся, посмотрел на Панова.

— Это занимательно, Николай Иванович, и вы разделяете эти взгляды?

Панов пробасил:

— Вполне разделяю.

— Но я, к сожалению, ваших взглядов не разделяю. Я несколько иначе смотрю и на прогресс и на задачи революции и помочь вам ни материально, ни морально, конечно, не могу. Я думаю, что вы идете по ложному пути. Вы люди молодые, а лезете разбираться в таких вопросах, которые вам, по-моему, не по плечу.

Семинарист нахмурился:

— То есть как не по плечу? Вы уж будьте любезны держаться в границах. Вы нам просто скажите: жертвуете вы или нет?

— Я вам просто и говорю: не жертвую.

— Ага! Не жертвуете? Ну что ж, тогда до свиданья! Мы посмотрим!

Они ушли, не прощаясь, громко стуча ногами, хлопнули дверью. А дня через два Виктор Иванович получил по почте письмо: «Мы требуем, чтобы вы положили в городском саду, в дупле старого дуба, что у фонтана, пятьсот рублей. В случае вашего отказа предупреждаем: последствия для вас могут быть очень печальны». Виктор Иванович пожал плечами, бросил письмо в корзину под стол. А через неделю еще письмо: «Вторично требуем от вас. Теперь уже тысячу рублей. Деньги переслать до востребования на имя Николая Ивановича Каргина в местную почтовую контору».

Панов в эти дни не показывался — сказался больным. Виктор Иванович послал кучера Храпона за ним. Панов пришел. Виктор Иванович запер в кабинете дверь и спросил:

— Николай Иванович, что значат ваши письма с угрозой?

Панов уклончиво ответил:

— Я не уполномочен вести переговоры.

— Да, но вы-то участвуете в этом?

— Это неизвестно, участвую ли?

— Смотрите, Николай Иванович, как бы нам с вами не пришлось поссориться.

Панов поднялся и с угрозой сказал:

— Смотрите, как бы вам, Виктор Иванович, не пришлось раскаиваться.

— Что вы предполагаете сделать?

— Там увидите.

Через неделю Виктор Иванович получил еще письмо и еще. Уже переселились на дачу. Виктор Иванович ежедневно ездил в город, иногда возвращался поздно. Как-то в конторе ему подали письмо в черной рамке.

В конверте был смертный приговор, череп с двумя скрещивающимися костями. Письмо отравило весь рабочий день: «Эти дураки могут выкинуть какую-нибудь глупость». С тяжелым чувством Виктор Иванович возвращался вечером из конторы домой в сад.

За городом, как раз у мостика через речку Малыковку, дорога огибала глинистую скалу, изрезанную оврагами. Под скалой был молодой лесок. Проезжая мимо этого моста, Храпон всегда настороженно правил лошадьми, будто готовился скакать. Виктор Иванович спрашивал:

— Ты что, Храпон?

И Храпон вполголоса бормотал:

— Не люблю я этого места. Самое воровское. Здесь четыре раза нападали на проезжих.

И в этот вечер, проезжая возле леска, Виктор Иванович насторожился, сам точно ждал, что из оврага или из-за деревьев выскочат грабители и нападут. Но проехали благополучно. И в следующий вечер опять ждал, и опять ничего не случилось.

А в субботу вечером,— это уже было на шестой день,— Виктор Иванович издали заметил, что возле деревьев стоят какие-то люди, что-то ждут. Храпон пустил лошадь во весь мах, и тотчас резкие голоса закричали: «Стой, стой, будем стрелять!» Виктор Иванович толкнул Храпона в спину: «Гони!» Все кругом взметнулось в беге. Сзади ахнул выстрел, и Виктор Иванович услышал: что-то тяжело грохнуло в задок пролетки. Он весь сжался, втянул голову в плечи, колотил Храпона в спину, кричал: «Гони! Гони!» Когда прискакали в сад на Саргу, Храпон соскочил с пролетки, посмотрел. Задок весь был изрешечен, измят зарядом крупной дроби. Весь дом заахал, закричал. Храпона послали в ближние сады собирать народ. Виктор Иванович сам на лошади во главе толпы пустился к мостику на Малыковке ловить грабителей. У моста уже никого не было. Виктор Иванович поскакал в город в полицмейстеру. Он был взбешен и в бешенстве ничего не соображал. И, лишь подъехав к воротам полицейского управления, он сообразил, как будет смешон, если предстанет перед Пружковым в таком растрепанном и озлобленном виде и будет жаловаться и просить помощи, как будет торжествовать Пружков и будет издеваться. И, хлопнув кулаком Храпона по спине, Виктор Иванович закричал:

«Назад домой!» Храпон, не расспрашивая, повернул лошадь, погнал вскачь назад, скакал до самого сада, где Виктора Ивановича ждали и отец и тесть, перепуганные до полусмерти. Виктор Иванович рассказал всем, кто стрелял, и вся семья решила: виноват Панов, на Панова надо пожаловаться, надо посадить его немедленно в тюрьму. В крике, в ненависти крутились все — кажется, сами бы повесили Панова. Василий Севастьянович собрался к полицмейстеру.

Елизавета Васильевна нерешительно сказала:

— И ведь нынче за такие дела вешают. Неужели и Панова повесят?

Василий Севастьянович сердито закричал:

— Повесят, повесят обязательно! И как не повесить за такое дело? Туда ему и дорога!

Его слова — такая уверенность — испугали женщин. Они сразу примолкли. Ольга Петровна забормотала:

— Да как же так? Вот он обедал с нами, и жил у нас, и Ванечку учил, и хороший такой человек был, а то вдруг повесят! И через нас же. Хорошо ли будет?

Она бормотала, как в бреду. Ксения Григорьевна покачала головой.

— Ой, нельзя ли не поднимать этого дела? Как бы его кровь на нас не пала. Просто надо ему погрозить: дескать, ежели и в другой раз, так мы пожалуемся. Пусть бережет свою голову.

И тут Иван Михайлович заговорил, раздумчиво растягивая слова:

— Ты ведь и сам виноват, Витя! Не нужно было связываться. Ты, гляди, больше двух тысяч рублей отдал. Кому? Зачем? Знамо, у людей аппетиты разыгрались: одним даешь, а другим отказываешь. Этим завидно. Уж не давать, так всем бы не давать. Такой ерунды не было бы.

Он еще понизил голос, говоря сдержанно:

— Ты вот подумай: начнутся суды, допросы, сразу выяснят, что ты и другим давал, а этим отказал, что они приходили к тебе, грозили тебе, а ты раньше об этом не говорил полиции. Нынче как? Нынче требуют: как только заметил, что человек неблагонадежный, так и донеси о нем. А у тебя вон куда свернуло дело! К тебе приходят с бумажками и присылают тебе письма, а ты об этом никому ничего, а вот уж когда с ножом к горлу, стрелять стали, тут ты и закричал «караул». Их-то будут судить... Знамо, их, может быть, и повесят, но и тебе-то придется туго.

— Не связывайся-ка ты,— простонала Ксения Григорьевна,— наденешь такую петлю на шею, что не дай бог!

— Что ж, по-твоему, простить? — сердито спросил Василий Севастьянович.

— Прощать не надо. Но только наказать не через полицию, а по-домашнему. Да чего, я сама с этим Пановым поговорю.

Я завтра к нему поеду и поговорю,— сказала Елизавета Васильевна.

— А тебе бы, Витенька, на это время уехать куда-нибудь,— сказал Иван Михайлович.— Ты уедешь, успокоишься, и здесь все утихнет, и эти дураки опомнятся. А мы со всеми поговорим, и с Пановым с этим, и с семинаристом. Не послушают, так я сам съезжу к Пружкову, я уж найду, какие слова сказать.

Виктор Иванович молчал. У него как-то сразу осунулось лицо. Он скрипуче засмеялся, и его смех встревожил всех.

— Ты что?

— Да так. Я, пожалуй, готов кричать, как вы, папаша: «Вот она — свобода! Вот она — конституция!» Пожалуй, нам с революцией совсем не по пути.

— Ну да, ну да, я же говорил! Я же старый воробей! Я кое-что испытал, я знаю, чем пахнут люди. А ты что? Ты все по книжкам больше людей-то знаешь. Книжки не много скажут. Так как же, едешь завтра в Москву?

Виктор Иванович махнул рукой и улыбнулся:

— А, пропади они все с их революцией! Придется поехать.

## IX. Почет стучит в дверь

Это невольное бегство в такие тревожные дни из родного дома куда-то в неизвестность было так оскорбительно Виктору Ивановичу, что он почувствовал себя до крайности угнетенным и озлобленным. Он готов был пойти на открытый бой с революцией и революционерами. Но как? Какими средствами? Прибегнуть к полиции? Жаловаться? Доносить? Нет, нет!

В Москве он остановился в тихой гостинице в одном из переулков на Никольской. Гостиница была переполнена. Переполнена так же, как и в Цветогорье, испуганными помещиками, бежавшими из своих родных имений, из насиженных мест, бежавшими от озлобленных мужиков — погромщиков. В столовой, в читальне, в коридорах, везде, где собирались два-три человека, сейчас же начинался разговор о революции — и увы! — уже не такой восторженный, как вот недавно. Революцию ругали и опять ругали правительство, которое не принимает решительных мер против бунтующего народа. Государственная дума у этих людей вызывала возмущение: «Собралось в думе отребье человеческое, без родины и бога. Что им? У них никаких традиций, трудовики какие-то, социал-демократы! Дожили! В государственном учреждении и вдруг — социал-демократы!»

И, как бывает с озлобленными людьми, эти возмущающиеся не знали границ, клеветали и на Россию, и на народ, и на человека вообще, и их злобные речи опять внутренне оттолкнули Виктора Ивановича. Да, он соглашался: революция — это что-то страшное. Вот в него, Виктора Ивановича Андронова,

который всячески готов был помогать, веря, что революция несет освобождение человеку, в него стреляют. Кто? Какие-то три мальчишки, недоучившиеся, недоросшие, несомненно, глупые. «Но, подожди, что ж ты, за этими тремя не видишь ничего хорошего? Революция — только разрушение? Как понять?» В думах Виктор Иванович иногда проводил целые часы, сидя неподвижно в кресле один.

Из Цветогорья Елизавета Васильевна писала ему каждый день: «Папа все улаживает. Панов к нам больше не является. Отчасти и тебя ругают, зачем вмешивался в политику и в политике связался бог знает с кем. В городе об этом случае говорят глухо, но ты не беспокойся: никто ничего не знает достоверно. Вчера я была на почте, видела этого чиновника Васильева. Необыкновенно глупое лицо. Когда я думаю о политике, она у меня связывается в уме с этим чиновником, даже больше — с его глупым лицом, связывается с зубным врачом Левкиным, который тогда вас целовал и поздравлял, а вы потом три дня отплевывались. Связывается, наконец, с нашим злосчастненьким репетитором Пановым. Вот уж подлинно нашел применение своим богатейшим силам!»

И от этих писем — немного смеющихся и вместе заботливых — на Виктора Ивановича веяло крепким покоем, довольством. В каждой строчке и в каждом слове он чувствовал родную, любящую душу и... опять думал о политике. Что такое политика? Французы говорят: политика — дело гадкое. Французы — нация самая политическая, где бывают периоды, когда политика возводится в культ. Политика — дело гадкое? Да, вот теперь собралась Государственная дума, и все-таки успокоения нет: по всей России идут возмущения и свищет нагайка.

В эти дни Виктор Иванович побывал на Рогожском. Там шла постройка новой колокольни, такой невиданно прекрасной архитектуры, о которой говорят лишь сказки. На Рогожском Виктор Иванович узнал, что постройкой больше всего занимается Иван Саввич. Вечером он поехал к Ивану Саввичу. Тот встретил его с кривой, немного смущенной улыбкой:

— Я рад, очень рад вас видеть. Как поживает ваше революционное сердце?

Виктор Иванович засмеялся:

— Болит мое революционное сердце.

— А мы с женой все вспоминаем, как тогда у нас речь-то произнесли блестяще. Вот, думаем, миллионщик, а ему впору быть революционером!

— Да, пожалуй, совсем впору. Теперь вспомнить смешно. Будто угар какой отуманил голову.

У Ивана Саввича округлели глаза:

— Что так?

— Представьте, в меня стреляли революционеры.

Иван Саввич ахнул:

— Как стреляли?

— Очень просто: еду по дороге вечером, а в меня из ружья.

— Но позвольте, за что?

— А за то, что я одним давал денег на революцию, а другим нет.

Иван Саввич захохотал. Пропала вся его важность.

— Вот так отблагодарили вас за ваши прекрасные речи!

Он сразу изменился, опять перешел на товарищескую ногу, позвал горничную, приказал сказать жене, что приехал дорогой гость, Виктор Иванович Андронов. Маргарита Семеновна пришла тотчас, все такая же важная и прекрасная.

— Ты послушай, ты послушай, Маргоша! — воскликнул Иван Саввич, едва Маргарита Семеновна поздоровалась с гостем.— Ты послушай, какие события: ведь в него *стреляли*.

Разговор вышел теплый, дружеский. Иван Саввич признался, что революция ему стоит дорого. На его фабриках рабочие бастуют, работа идет плохо, год сведен почти с убытком.

— Кажется, еще немного — и мы вылетим в трубу.

За чаем Маргарита Семеновна спросила Виктора Ивановича:

— Как же вы с политикой?

— С политикой я кончил. Я думаю, что политика — не мое дело.

— Конечно, вы совершенно правы. То же самое я говорю моему Ивану Саввичу. Вот он, посмотрите на него. По его инициативе главным образом организовалась торгово-промышленная партия. Я в первый же день засмеялась. Кого ваша партия объединяет? Торговцев и промышленников. Торговцев из Зарядья, фабрикантов и купцов. Сколько вас? Допустим, вас двадцать тысяч на Москву. Так? Что же вы сделаете? Кого привлечете? Рабочих? Никогда! Мещан? Никогда! Чиновники и всякие адвокаты имеют свои партии. Нет, не в политике ваше дело. Ваше дело в культуре. Вы строите культуру, вы строите настоящую жизнь на тысячелетия, а политика что? Сегодня одно, завтра другое.

«А ведь она умная баба!» — подумал Виктор Иванович и, чтобы не уронить своего достоинства, сказал:

— Вы совершенно правы. Смотрите, самый политический народ — французы — и те говорят, политика — дело гадкое.

— Вот именно, вот именно! Революции делают, бунтуют, это ужасно! — согласилась Маргарита Семеновна.— Я думаю, мы с вами теперь можем найти общий язык. Признаюсь, я вспоминала вашу прошлую речь, она мне показалась очень революционной. Теперь-то, конечно, дело прошлое. Речь тогда мне понравилась, но вы подумайте, до чего может иногда увлечься человек. Вы произносили, я слушала, и обоим нам очень нравилось.

С этого вечера Виктор Иванович стал частенько бывать в доме Рыкуновых. Ему по-прежнему нравились и эти комнаты, переполненные великолепной мебелью и предметами искусства, и сама Маргарита Семеновна, по-русски прекрасная, большая, белая, сдержанная, с умными прекрасными глазами. Думая

о жизни Рыкуновых, Виктор Иванович говорил себе: вот именно так надо жить, со смаком. А политика — это, в самом деле, студент Панов, семинарист Гололобов, почтовый чиновник Васильев, адвокат Лунев и несчастная сломанная Сима.

В доме Рыкуновых Виктор Иванович познакомился с сестрой Маргариты Семеновны — Ольгой Семеновной, актрисой. Нельзя было поверить, что Маргарита Семеновна и Ольга Семеновна родные сестры. У Ольги Семеновны были большие зеленые глаза, очень холодные, пристальные. Вся тоненькая, извивающаяся, с рыжими богатыми волосами, она говорила усиленно, как актриса, открытым голосом. Знакомясь, она спросила Виктора Ивановича:

— Скажите, вы всегда такой большой?

И посмотрела ему прямо в глаза серьезно своими зелеными глазами.

— Виноват, всегда — такой,— тоже серьезно сказал Виктор Иванович и покорно поклонился.

— Очень приятно! Такие большие мужчины мне нравятся,— растягивая слова, проговорила Ольга Семеновна.

Она смотрела ему прямо в лицо, и Виктор Иванович чувствовал себя связанным и немного смущенным. Для него Ольга Семеновна была невиданная, новая женщина. Он еще не встречал подобных. Они заговорили. Она чуть кокетничала, говорила шутливо. Все время она старалась поддержать разговор о предметах высоких: литературе, живописи, искусстве вообще. Точно орехи из мешка, она высыпала множество имен: Метерлинк, Гамсун, Пшибышевский,— имен, которых Виктор Иванович не знал.

Он, слушая, краснел, вздыхал. Ольга Семеновна наконец поняла его беспомощность, заговорила о заграница — об Америке. Странный этот вечер вышел. Виктор Иванович всегда был убежден, что женщина, как бы она ни была образованна, она бесконечно ниже мужчины. А вот эта — яркая, полыхающая — сразу смутила: он сам показался перед собой маленьким и глупеньким.

Он сидел перед нею (Иван Саввич и Маргарита Семеновна ушли), слушал, смотрел в ее зеленые глаза, и ему казалось: он плывет куда-то в огненное.

Поехали в театр — опять сотни новых имен, опять беспомощность.

— Вы меня простите, я невежественный провинциал.

Она сверкнула зеленым огнем глаз и розовой улыбкой.

— Так позвольте мне заняться вами. Мне нравятся такие мужчины, как вы.

Теперь почему-то эта фраза подняла его на дыбы. Он взял Ольгу Семеновну покрепче под руку, шутливо воскликнул:

— Жажду просвещения!

Из театра поехали в литературно-художественный кружок. Пили вино, чокались «за счастье, за радость жизни». Она

смотрела на него долгим, серьезным взглядом. Виктору Ивановичу хотелось убежать или броситься на нее, целовать, обнимать вот здесь, при всех.

У парадной двери дома, где она жила, он долго целовал ее руку — взасос. Она сказала вполголоса:

— До завтра, до завтра! Пока не следует ускорять событий.

Виктор Иванович ушел от нее с отуманенной головой: «Вот женщина!»

Они стали встречаться каждый день. Они ездили в картинные галереи, в театры, ужинали в ресторане. Она говорила обещающими фразами, и странно — в первые вечера эти фразы вздыбливали его: вот кинуться бы головой в омут,— а потом точно пройден был какой-то предел, и фразы холодили, почти пугали.

Как-то в художественном кружке они пробыли до рассвета. Виктор Иванович увидел здесь двух знаменитых писателей и знаменитого актера. О них, об этих писателях и актере, часто писали газеты, а в этот вечер все трое — и писатели и актер — были пьяны, сидели за столом с красными лицами, растрепанные, с осоловелыми глазами. Это было очень противно и почему-то напоминало попойки мещан родного Цветогорья. Так же вот там сидят за столом с осоловелыми глазами, красные и растрепанные. И почему-то захотелось домой, где все сдержанно, строго, порядочно. Ольга Семеновна спросила:

— Скажите, вам нравится здесь?

Он сказал:

— Нравится!

Но это было очень неискренне.

Из дома уже приходили письма: «Приезжай, теперь все тихо». Но ему не хотелось ехать. Ольга Семеновна занимала его мысли и ночью и днем. «Что за женщина!» Ему казалось, он начинает увлекаться ею, он не боялся увлечься. От Ольги Семеновны веяло чем-то вольным, и казалось: увлечение не может быть глубоким, будет как в песенке: «Поиграть и перестать!»

Раз ночью,— это было уже в конце второй недели их знакомства,— возвращаясь из театра, Виктор Иванович пригласил Ольгу Семеновну поужинать в ресторане. Они пили какое-то необыкновенное вино, заказанное самой Ольгой Семеновной. Они смеялись, и страсть, как легкий морозец, пробегала по спине от пяток к затылку. Виктору Ивановичу казалось, что сейчас, вот сейчас он что-то скажет, может быть, непоправимое. Ольга Семеновна явно ждала его слов, смеялась каким-то новым смехом. Когда лакей вышел за дверь кабинета, она вдруг придвинула свое лицо к лицу Виктора Ивановича, круглыми зелеными глазами поглядела в его глаза, сказала:

— Ну, что же вы молчите?

Виктор Иванович отодвинулся.

— Вы о чем?

— Почему же вы не говорите мне о своей любви?

— А вам это интересно?

— Да, интересно. Я знаю: вы хотите и не решаетесь,— так будьте решительнее.

Холодок охватил Виктора Ивановича, и страсть погасла.

— А вы думаете, что я непременно хочу сказать?

— Конечно! Все мужчины похожи друг на друга. Я знаю, чем вы дышите.

Теперь засмеялся Виктор Иванович, деревянным смехом. От ее слов на него повеяло таким развратом, что ему стало не по себе.

— А вы так хорошо изучили мужчин?

— Да, конечно!

— Ну и поздравляю вас! Выпьемте!

Они еще пили, еще смеялись, но страсть уже больше не возвращалась. Он проводил Ольгу Семеновну и, возвращаясь пешком, посмеивался над собой, раздумывал. Ему теперь было странно, что вот за всю жизнь он только знал одну женщину: свою жену. Почему так случилось? Разве он не видел других женщин? Видел и думал о них. Думал невольно, как всегда здоровый мужчина думает о женщинах, но дальше дум он не шел. Почему? Потому что ни одна женщина не могла сравниться с его женой, Елизаветой Васильевной. Так он думал о ней. Путь его недолгой, но странной любви и женитьбы какой-то романтикой осветил всю его жизнь. Елизавета Васильевна заслонила собой всех женщин. Ни на кого ее не променяешь, ни с кем не сравнишь. А вот эта волнующая женщина с зелеными глазами вдруг оттолкнула своей развратностью, может быть, мнимой. Виктор Иванович решил: если мужья изменяют женам, в этом виноваты жены.

Его потянуло домой, потянуло неудержимо, и на другой же день, не простившись с Ольгой Семеновной, он уехал в Цветогорье.

Когда он ехал к вокзалу, газетчики на улицах кричали: «Разгон Государственной думы!» Но уже теперь Виктора Ивановича мало интересовали и дума, и все, что ждет его в связи с этими разгонами, думами, революциями.

Родной город за эти месяцы будто замер. В городе стояли две сотни казаков, множество стражников и солдат. По вечерам солдатские песни слышались отовсюду, и казалось, что это уже не город, а военный лагерь. В уезде еще продолжались бунты. Казаки и стражники уезжали туда на усмирение. Василий Севастьянович и Иван Михайлович приносили новости: то убили столько-то крестьян, то арестовали столько-то. Цветогорская тюрьма переполнилась до краев арестованными. Василий Севастьянович окончательно отказался от сенотовского имения и, когда узнал, что усадьбу сожгли, заговорил довольно:

— Слава богу, что не связался: убытки-то какие!

Широкой волной по России разлились казни, экспроприации. Каждый день газеты стали приносить вести: «Сегодня казнено пятьдесят».

Как-то вечером Елизавета Васильевна вошла в кабинет мужа с газетным листом в руке, взволнованная.

— Посмотри, во что вылилась революция. «Казнено шестьдесят четыре». А помнишь? Мы-то думали: революция — сплошь радость. Ждали-то как! Вот тебе и радость! Тупик какой-то.

Виктор Иванович отодвинулся от стола, посмотрел на жену долгим взглядом.

— Тупик? Пожалуй! Социалисты эти... подальше от них надо. И вообще теперь довольно политики — на всю жизнь я напитался. Политику с чистыми руками не делают. Ну и пес с ней! А вот о себе я думаю, как нам жить? Ты думаешь об этом?

Он замолчал, дожидаясь ответа. Елизавета Васильевна ничего не ответила.

— А я думаю. И знаешь, мучительно думаю. Вот последний месяц в Москве многому меня научил. В конце концов сперва надо решить: какова цель жизни? Цель жизни — наслаждение.

— Ой, так ли?

— Ну, а какая же иная цель?

— Как-то это странно звучит: наслаждение. В самом слове мне чудится что-то пошловатое. Спроси-ка свою мать, она скажет: цель жизни — богу молиться.

— Знаешь, что я думаю? Жить надо со вкусом. (Он представил себе дом Рыкунова.) Надо стремиться к высоким наслаждениям. Чем выше наслаждение, тем прекраснее жизнь. Послушай, почему бы нам время от времени не ездить в Москву? Театры, музеи, культура настоящая. Снять бы квартиру или даже купить свой дом: это не так дорого.

— А ведь это, пожалуй, было бы хорошо! — согласилась Елизавета Васильевна.— А то заперлись мы в четырех стенах. В конце концов, что такое Цветогорье, как не четыре стены? Правда, у нас дети...

— Что ж дети? Дети растут, ими сыт не будешь. Им тоже полезно побывать в столице. Смотри, Иван совсем у нас волчонком стал. О чем-то думает, угрюмый, нелюдимый.

— Зато Вася — веселый парень. «Я, говорит, генералом буду!..»

И в этот вечер Виктор Иванович сказал отцу и тестю о своих планах: хорошо бы иметь дом в Москве. Василий Севастьянович сначала запротестовал:

— Куда вы с детьми поедете? Разбивать семью — дело невозможное. Да и дорого, да и к чему это?

— Слушайте, тестюшка! Вы подумайте: мы выходим на широкую дорогу, мы встречаемся часто с именитыми купцами. Дом нужен нам просто для представительства. Вы не забывайте,

что наша фирма становится всероссийской, своей работой, наконец, мы можем охватить больше.

Василий Севастьянович погладил обеими руками бороду, сказал:

— Ну что ж, ты, пожалуй, и прав, зятек дорогой! Валяйте!

В эту осень у Андроновых и Зеленовых было большое торжество по случаю поступления Вани в реальное училище. Опять, как в далеком детстве самого Виктора Ивановича, в андроновском доме был торжественный молебен, и на молебен съехалось все цветогорское купечество. Дедушка Иван Михайлович сам водил своего внучка Ваню от гостя к гостю, представлял:

— Вот наша веточка. Уже по-настоящему вырастает.

Виктор Иванович сам отвез в первый раз Ваню в реальное училище. Картуз с гербом крепко сидел на стриженой голове мальчугана. У Вани оттопырились уши, и эти оттопыренные уши почему-то напомнили Виктору Ивановичу тот день, когда он сам с замирающим сердцем ехал первый раз в реальное.

К осени наметилось: революция сломлена. Всюду стало тише. Будничная деловая жизнь стала входить в свое русло, и в андроновский дом пришел покой. Виктор Иванович скупил у помещиков множество старинной мебели, картин, украсил дом. На хутора были отправлены новые приказчики, и на семейном совете решено было: с весны следующего года снова начать работы по орошению степей, по проведению дорог, работы, оборванные войной и революцией.

Елизавета Васильевна приняла на себя председательство в обществе помощи учащимся, много возилась с учителями, начальницей женской гимназии, благотворительствовала.

Жизнь в доме посерела: будни, будни. Какие теперь тревоги? Тревог не было. Лишь дети порой беспокоили шумом, драками, болезнями. У Сони эту зиму болели зубы — она часто ходила перевязанная, с заячьими ушками на макушке, серьезная, с глазами, полными слез. В дни болезней, когда приходила учительница, Соня капризничала, кричала, бабушки — обе без ума ее любившие — стонали вместе с нею. Реалист Ваня важничал, задавал тон перед братом и сестрой. Вася чаще, чем прежде, вступал с братом в драку: ему досадно было, что Ваню перевели жить в отдельную комнату вниз, а его оставили «с этой несчастной девчонкой» все еще в антресолях.

Бабушки вечерами рассказывали о страшном суде, о святых и грешниках. Дети слушали не мигаючи, Елизавета Васильевна — чуть улыбалась, и ей самой нравились рассказы... Часто говорили о Симе. Говорили вполголоса, с печалью: уже год Сима сидела в тюрьме.

У мужчин — с утра до обеда — контора, дела. После обеда Иван Михайлович и Василий Севастьянович ездили на постройку колокольни, раз в неделю — Иван Михайлович — в думу. Гостей бывало много.

Будни, будни!..

Вечером однажды Иван Михайлович сказал:

— Вчера обсуждали в думе вопрос о школе. У города средств нет, а школа нужна до зарезу. Давайте-ка мы построим! Расход небольшой. Думаю я, думаю: все себе и себе. Надо бы и людям!

Василий Севастьянович забеспокоился (он всегда беспокоился, когда дело шло о деньгах).

— А сколько надо?

— Тысяч за двадцать построить можно хорошую школу.

Василий Севастьянович погладил бороду.

— Что ж, это деньги не пропащие, только пусть наше имя поместят на вывеске: «Школа имени Андроновых и Зеленова». В Саратове один купец построил школу, потом пропился, галахом ходил, а на вывеске все-таки его имя. Вот и мы умрем, а наше имя будет известно.

— Конечно, построить следует,— сказала Елизавета Васильевна.

— Да, да,— поддержал ее Виктор Иванович.— Мы должны насаждать культуру. Вообще, я думаю, наша цель — борьба с пустыней, а наше бескультурье — разве не пустыня?

— Верно, верно! — закричал Василий Севастьянович.— Чего там? Согласны! А расходы невелики. Можно будет по полкопейки на пуд пшеницы надбавить, на ту, что мы отправляем в Германию. А то говорят, что дешево отдаем...

Дни были будто просторней. Опять пришли раздумья. Виктор Иванович словно после болезни оправился и теперь старался наверстать то, что он упустил в эти годы. Он много раздумывал о хозяйстве, читал и опять проверял свои наблюдения, советовался с отцом и тестем. В конце концов он выработал свои «золотые правила хозяйства». Он несколько раз их переписывал, исправлял. Ему показалось: он нашел правильную форму хозяйствования, и в своей потайной маленькой книжечке с золотым обрезом он вписал эту формулу: «При организации хозяйства тщательно присмотрись к тем работникам, которым поручаешь работу. Твои работники — это солдаты, унтер-офицеры и офицеры в войске. Ты, как командир, должен знать, что кому можно поручить. Если у тебя только рота — знай досконально каждого солдата. Если полк — знай досконально всех унтер-офицеров и офицеров, а солдат тоже знай, но настолько, насколько надо знать действия масс. Что можно поручить этому офицеру? Что этому унтеру? Пусть для тебя работники будут не безликой массой, а каждый в отдельности человек и работник пусть будет известен, со всеми его наклонностями. Чаще испытывай работников, давай им поручения, узнавай, нельзя ли большую пользу извлечь из них. Может быть, в каком-нибудь незаметном Иване таится гениальный хозяйственник, который сразу поставит хозяйство на замечательную высоту. Но, давая поручения, сам не спускай глаз, непрерывно наблюдай, проверяй работу, давай указания, руководи, контро-

лируй. В хозяйстве лови случай, потому что случай играет немаловажную роль. Пользуйся случаем, чтобы расширить свое дело. Что такое, в самом деле, война? Борьба за рынок в Москве, Петербурге, Берлине, Стокгольме, Лондоне. И борись с пустыней. Я должен поставить дело, должен победить. Солдаты и офицеры моей армии — это мои рабочие и приказчики».

Он расспрашивал настойчиво отца и тестя о каждом приказчике в отдельности, кто работает в Бирске, кто в Уфе, в Кукарке. Он вспоминал дедушку. Дедушка смотрел даже, как спят и как едят приказчики. «Не верю я тем, кто много спит и сладко ест, следить за такими людьми надо». Значит, у него тоже были свои золотые правила.

«Труд — залог самоуважения, счастья, здоровья. Отдавай труду все свое время. Ты работодатель, организатор, ты должен быть работником лучше всех, вместе взятых работников, что трудятся на твоих хуторах, в твоих конторах».

«Деньги — очень большая сила. Но смотри на них только как на средство для исполнения твоих высоких целей, но никогда не смотри как на самоцель. И никогда не будь скуп...»

«Ты поденщик общественного блага. Добывая себе, добывай всем».

В начале зимы, едва установился санный путь, замерзла Волга и озера, он сам объехал хутора — Маяньгу, Красную Балку, побывал на заволжской мельнице, ознакомился с постановкой хозяйства, вникал в каждую мелочь. Вернулся освеженный, удовлетворенный, как будто нашел наконец твердый и единственный путь.

Дома Иван Михайлович и Василий Севастьянович работали еще усиленней. Груды телеграмм получались в конторе каждое утро. Все Поволжье снова было захвачено в колесо этой огромной машины «Торговый дом Андроновы и Зеленов».

Василий Севастьянович наконец доводил постройку колокольни до конца. На рождество освящали ее.

На освящение опять съехалось все старообрядчество из ближних сел и деревень, и когда впервые зазвонил староверский колокол, молчавший века, зазвонил по-старинному, по-уставному, как в Керженских и Черемшанских скитах звонят в било,— тысячная толпа, крестясь и плача, опустилась на колени на снег...

...Прошел еще год. Уже была в Москве квартира у молодых Андроновых. Они прожили с осени два месяца, посещая театры, музеи, но это выходило как-то по-студенчески, почему-то не создавало уюта, и обоих тянуло в Цветогорье, домой, к детям и к старикам, к покою.

В этот год цветогорское купечество затеяло построить в городе клуб, и председателем строительного комитета был выбран Виктор Иванович. Он увидел в этом деле какой-то новый шаг к объединению капитала, к борьбе за культуру. Он охотно взялся за дело. Он сам ездил в Москву к известным

архитекторам, заказал проект, сам наблюдал за постройкой и не жалел денег. К осени следующего года в центре города выросло великолепное серое здание с колоннами, с зеркальными окнами.

На зимнего Николу — на купеческий поволжский праздник — было назначено торжество открытия. Виктор Иванович волновался, как перед экзаменом. Он понимал: на торжестве ему будет первая песня и, может быть, первый удар. Он занимался по вечерам у себя в кабинете, что-то писал, говорил вслух. И, зараженные его тревогой, все в доме волновались, как-то приутихли.

На торжество были приглашены представители купечества Саратова, Хвалынска, Балакова.

Днем был молебен — освящение нового здания, торжество официальное. Народа было немного — мало кому хотелось слушать попов господствующей церкви. Когда пропели многолетие, полицмейстер Пружков долго жал руку Виктора Ивановича, смотрел ему в глаза заискивающе:

— Честь имею поздравить!

Главное торжество было назначено на вечер... За час до назначенного времени Виктор Иванович поехал из дома в клуб. Ему было не по себе, он не мог сидеть дома. Что-то внутри холодело, дрожало.

Он походил по залам клуба, где уже шли последние приготовления. Длинные столы сверкали убранством. Виктор Иванович, как хозяин, отдавал последние распоряжения. Гости начали съезжаться. Приехали отец и тесть. Василий Севастьянович, словно обнюхивая, обошел стол, посмотрел, все ли в порядке. Побежал на кухню — торопливо и озабоченно. Иван Михайлович сел в кресло у белой стены, молча смотрел на сына. Он дрожащей рукой гладил бороду.

Приехал Волков, соляник Соловьев, масленщик Буров, заговорили густыми вольными голосами, как говорят люди власть имущие, везде чувствующие себя как дома.

У подъезда — было видать из окон — то и дело останавливались купеческие тройки и пары. Жирные и могучие, низенькие и высокие, входили в зал купцы — все в сюртуках или в староверских парадных кафтанах. Молодежь — с модными прическами, кто постарше — с прическами в кружало, по-старинному, по-волжски, по-староверски.

Их становилось больше и больше. Все — и старые и молодые — неизменно здоровались с Виктором Ивановичем с первым, он приглашал, он встречал как хозяин. Виктор Иванович впервые увидел вместе всех тех, кто, по его мнению, двигает культуру местного края, строит, кто борется с пустыней. Он знал: этот народ не безгрешен: выжиги и жулики, обманщики и наживатели. О многих из них ходят разговоры такие, что надо удивляться, почему вот этот купец Гаврилов не в тюрьме или этот фабрикант Сахаров не на каторге. Но в этот день почему-то не хотелось думать ни о слухах, ни о разговорах, ни о преступ-

лениях, просто так открыто идти всем им навстречу. Музыка на хорах заиграла марш. Купцы зашумели, задвигались. Василий Севастьянович забегал, сзывая:

— Господа, пожалуйте к столу! Начнем с божьей помощью!

Виктор Иванович, внутренне взволнованный до крайности, стоял у колонны, всматривался в каждого, словно искал поддержки вот у этих, кто идет мимо, ласково улыбаясь ему. Он изо всех сил старался побороть внутреннюю дрожь, Василий Севастьянович потянул его за рукав.

— Садись! Чего стоишь?

Виктор Иванович натянуто улыбнулся, подошел к столу, сел.

Возле его уха крякнул Василий Севастьянович:

— А ну, господи, благослови...

И, нагнувшись над ухом Виктора Ивановича, шепнул:

— Проси! Ты хозяин!

«Хозяин? А-а, так?»

Виктор Иванович сразу овладел собой.

— Господа! Приступим! Прошу вас! — громко сказал он.

Лакеи суетились вокруг стола. Музыка играла меланхолический вальс. Гости стучали тарелками, рюмками. Соседи неловко чокались. Кто-то протянул бокал к Виктору Ивановичу, а кто — в волнении он не разобрал.

Виктор Иванович, наклонясь к соседу — саратовскому мануфактуристу Бритвину, сказал:

— Впервые на таком торжестве. Купечество — одной семьей.

Василий Севастьянович опять вмешался:

— Витя, сказать бы надо! А ну, ты хозяин, тебя ждут.

Со всех сторон стола на Виктора Ивановича смотрели, улыбались. Он понял: ждать больше нельзя. Он наполнил свой бокал и поднялся. И тотчас там и здесь застучали вилками и ножами о графины. И кто-то приказал:

— Музыка! Стой! Довольно!

Тишина разливалась по залу, стала напряженной. Лакей, звеня бутылками на подносе, вошел в дверь. На него замахали. Он так и остановился стоять у двери.

— Господа! — проговорил чуть трепетным голосом Виктор Иванович.— Господа! Прежде всего позвольте поздравить вас с великим торжеством нашего единения. Мы впервые собираемся здесь дружной семьей, мы — цветогорское купечество. И на этом нашем торжестве мне хочется сказать несколько слов о значении купечества в жизни нашей дорогой родины. Что такое в представлении множества интеллигентных русских людей купец? Купец — это самодур, наживатель, эгоист. Одним словом, купец — это исчадие ада. Один современный писатель даже выразился о купце так: купец — это животное, временно исполняющее обязанности человека. Я не боюсь сейчас повторить перед вами эту рискованную фразу. Мне хочется указать, как далеко простирается клевета... Но посмотрим, что ж такое купец? Во все времена и во всех странах купечество, несомненно,

было и будет проводником цивилизации. В России же купечество является, по-моему, тем сословием, которое выводит нашу страну на путь прогресса. Я много думал, смотрел и проверял. Мне хотелось узнать и увериться, что такое, наконец, купечество. И я увидел, что это мы, купцы, первые прокладывали дорогу в пустыни, первые открывали неизвестные страны, первые строили города. Записи самые древние, книги самые древние, как библия, например, говорят нам, что культурная жизнь страны как раз начинается с того момента, когда появляется торговля и промышленность. Без них пустыня торжествует. Без торговли и промышленности нет жизни не только культурной, но и никакой. Лишь торговля и промышленность создают движение, и уже с ними идут и искусство, и право, и, наконец, государство с его войсками и благоустройством.

Купец первый обошел и обследовал земной шар. Колумб пришел уже после. Взгляните на прошлые пути нашей страны. Кто устроил ее? В значительной мере купцы. Это они в былые времена содержали вооруженные отряды, они уничтожали разбойников, они прокладывали дороги, шли в неизвестные края и присоединяли их к России. Купец Строганов присоединил Сибирь,— это памятно всем. Я не буду говорить, что во всех городах необъятной России именно купцы были главными устроителями. Они строили лучшие дома, водопроводы, школы, магазины. Это они несли свет и удобства, это они, наконец, по всему лицу земли русской понастроили необъятное количество божьих храмов, украшающих не только наши пейзажи, но и нашу жизнь. Теперь выяснено, что в глухие века — в пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый — русское купечество поддерживало больше всех сословий русскую культуру и искусство. Но мы, купцы, нашими родовыми корнями были крепконакрепко связаны с крестьянским сословием России. В этом наша былая слабость, но в этом и наша гордость теперь. Кто из нас не помнит, как его дед или прадед, а у некоторых и отцы были крепостными у помещиков? Мы, русское новое купечество, живем только один век, даже меньше, а смотрите, что мы сделали со страной. Это мы подняли на дыбы русскую промышленность и торговлю. Мы построили фабрики и заводы, на наши капиталы построены железные дороги, это наши пароходы ходят по морям и рекам. Без лишней скромности я скажу: мы — первые проводники цивилизации. Наживая капиталы, мы не забывали о душе. Это мы, воистину мы, поддерживали науки и искусства. Сейчас в столице говорят: «У нас расцвет живописи, расцвет небывалый». Да, это верно. Русское искусство живет, растет и укрепляется необычайно. У нас появились художники и музыканты, которые удивляют мир. Это мы создаем им почву, мы даем возможность работать. Русские купцы поддерживают даже иностранных художников. Сейчас у нас в России больше картин иностранных художников, чем на их родине. Да, это верно: поколение или два назад русское купе-

чество было переполнено тит титычами, дикими и некультурными, которые полагали всю свою образованность в том, что заставляли лакеев носить нитяные перчатки, а сами дули шампанское. Но у этого поколения пошли дети, которые начали строить картинные галереи, музеи, больницы, школы, университеты. Имена Третьяковых, Солдатенковых, Щукиных, Цветковых никогда не умрут. Я не хочу, конечно, порочить русскую аристократию, но если мы сравним ее деятельность с деятельностью русского купечества, перевес будет явно на нашей стороне. Русская аристократия замыкалась в своих собственных имениях, она жила для себя. За очень малым исключением, аристократы не знали, что такое патриотизм и любовь к народу: где музеи, больницы, университеты, построенные аристократами? Где города, построенные ими? Их нет или почти нет. А мы, купцы, можем с гордостью перечислить не только десятки, но и тысячи культурнейших завоеваний, добытых нашими средствами. Посмотрите на наш город. Кто построил у нас водопровод, школы, мостовые? Купец Бычков. Кто дал обществу сад, здание реального училища? Купец Сапожников. Кто выстроил старинейший гостиный двор, здание городской думы? Купец Злобин. Честь им и слава!

— Ур-ра! — заревело сразу несколько голосов.

Виктор Иванович поднял руку, сделал знак, чтобы не мешали говорить. У него было такое чувство, будто он летел на больших крыльях — кругом просторно, далеко видно.

— Чш-ш! — зашипели на крикунов со всех сторон.

— Мы, купцы, давали царям деньги на все их благие начинания! — воскликнул Виктор Иванович с особенной торжественностью.— Мы на помин своей души устраивали храмы, теперь мы с любовью храним старое русское искусство, только в наших родах сохранились и иконы, и древние книги. Мы гибли на дорогах глухими ночами ради завоевания культуры. Вы знаете, как много ходит грабительских легенд, и каждая легенда обязательно строится по одному шаблону: купец идет по дороге ночью, на него нападает грабитель, убивает. Но этот купец,— добавляю я от себя,— ехал не только ради своего богатства, но и ради культуры, носителем которой он был сам. А куда же пойдут деньги, отобранные грабителем или, как его называют в песнях, «лихим добрым молодцем»? Куда пойдут эти деньги? Они пойдут на пропой, на распутство. Из этого сравнения вы видите, кто прав и где должна быть любовь народная. Русское купечество пережило крепостное право, пережило взяточничество чиновников, иногда буквально грабивших его. Оно пережило всякие преграды и запрещения, оно завоевало жизнь, и теперь перед ним самая широкая дорога.

У России небывалые возможности. У России больше сил, чем у Америки, этой воистину купеческой страны. И мы, купечество, из нашей дорогой родины сделаем первую страну мира.

Я поднимаю бокал за нашу родину и за русское купечество, этого истинного и верного ее сына!

Громоносное «ура», от которого зашевелились новые шелковые шторы на окнах, потрясло воздух. Все потянулись с бокалами к Виктору Ивановичу, чокались с ним, обливая один другого шампанским, красные от возбуждения. В середине стола началось замешательство — там сидел Иван Михайлович и всхлипывал, и слезы неудержимо лились у него по бороде. Он хотел вслед за другими пойти к сыну, уже взял было бокал, но дрогнувшей рукой расплескал вино. Он опять сел, захлипал. Счастливыми, полными слез глазами он смотрел на кучку, толпившуюся вокруг сына. От сына шли к нему, целовали его, обнимали, а он все всхлипывал, мокрой седой бородой прислонился к чьему-то лицу, целовал, но не замечал кого.

Толстый, черный Залогин хлопал его по плечу, орал:

— Исполать тебе, Иван Михайлович! Взрастил сына! Ура!

И, обернувшись ко всем, воззвал:

— Братцы! Господа! Вот где корень-то! Корень-то не забывайте, вот откуда пошло!

И пальцем показал на Ивана Михайловича и заорал подьяконски:

— Ивану Михайловичу многая лета!

Пьяные от возбуждения, купцы орали оглушительно, носились, будто окрыленные, а Иван Михайлович все не мог успокоиться. Когда Виктор Иванович подошел к отцу, отец судорожно и цепко обнял его, поцеловал в голову.

Вся чинность пира сломалась. Все орали оглушительно, кто-то крикнул: «Музыка, валяй!» — и в гул голосов ворвался торжествующий звук музыки.

## X. Один в поле — воин

Сарга, ее вечернее журчание успокаивало Виктора Ивановича, словно колыбельная песня в детстве. Недалеко от калиток, выходящих на самый берег Волги, Виктор Иванович выстроил беседку в виде большого гриба. Здесь он любил проводить вечера. Сбоку, возле беседки, Сарга журчала по камням, из беседки было видать, как она вот здесь, белая и пенистая, впадала в Волгу, точно маленькая девочка шла к матери.

При закате горы были красные, Волга текла утихомиренная и ласковая. Пароходы розовели в последних лучах солнца. Они проходили вверх под луговым берегом, там, где вода была тиха и легче было идти. Лишь пароходы вниз шли быстро, самым стрежнем, могуче рассекая спокойную воду.

Вечерами здесь, в беседке, Виктор Иванович отдыхал.

И вот в этот вечер больше часа он сидел один, неподвижно, посматривая на просторную, величавую реку. Солнечные пятна

закраснели, стали угасать. Вдалеке под белыми горами Виктор Иванович заметил людей, трое шли сюда: двое маленьких, один взрослый. Он узнал: это Иван Михайлович с внучатами Ваней и Васей. Они шли медленно. Ваня тащил удочки, Вася — ведро. Иван Михайлович тяжело опирался на палку. С зимы он стал прихварывать. Перед пасхой тяжко заболел, целый месяц не выходил из дома и теперь вот все не мог оправиться, скрипывал, жаловался на ломоту в ногах, носил плисовые мягкие сапоги.

Дедушка и внуки подходили мёдленно. Иван Михайлович что-то говорил. Иногда он останавливался, палкой показывал на Волгу, на дальние розовые горы. Они дошли до калитки, сели на лавку. Теперь Виктор Иванович слышал, о чем они говорили. Ваня спросил:

— Какой же змей, дедушка?

— А такой большой змей лежал вот здесь вдоль Волги, на сорок верст длиной, лежал врастяжку. Вот отсюда начинался, здесь была голова. А у села Воскресенского был хвост.

— Что он делал?

— Пустыня сюда прислала его свой покой стеречь, чтобы никто не смел прийти. Совсем пустая Волга была. И все-таки не убереглась пустыня, пришел человек с запада...

Ваня нетерпеливо перебил дедушку:

— Какой человек с запада?

— А такой... Пустыне было предсказано, что победит ее человек с запада. Вот такой, который придет оттуда.

Иван Михайлович палкой показал на тот край неба, где в красном полыме закатывалось солнышко.

— Так вот, пришел человек с запада и рассек змея на части, и змей окаменел, стал горой. Теперь у нас и зовут: Змеевы горы. Голова-то змеиная вот отскочила сюда. Видишь? Возле нашего сада начинается.

Виктор Иванович усмехнулся. Ему разом представилось, как много лет назад он сам, маленький, ходил здесь же со своим дедушкой Михайлом и впервые услышал эту легенду о Змеевых горах.

— Дедушка, дедушка,— закричал Ваня,— я буду человеком с запада!

— И я, и я! — заторопился Вася.

Иван Михайлович снисходительно засмеялся:

— Ну, ну, будете, будете — хорошее дело. Тут вот приходили люди с запада, говорят: «Продайте нам сад, мы возле вашей горы, на месте вашего сада цементный завод построим».— «Ну, говорю, нет, до этого мы еще не дойдем! Пока я жив, сад так и останется садом». Райский уголок такой, тишина такая, птиц сколько, а здесь завод хотят строить! Дым будет, пыль, шум, суета. Нет уж, бог с ними, с такими людьми с запада.

— Дедушка, расскажи про пароход. Я сам читал, а ты рассказываешь лучше.

— Идемте, я дома расскажу. Сыро становится, что-то ноги ломит.

Он грузно поднялся. Внучата пошли за ним. Иван Михайлович тяжело переставлял ноги, тяжело вез их по песку. Они прошли, не замечая Виктора Ивановича.

«А ведь начинает сдавать старик!» — подумал Виктор Иванович об отце. Эти плисовые сапоги, эта одышка, постоянная усталость, бледное лицо, на котором морщины вдруг странно углубились. «Как изменяется время, и как изменяются люди!» Виктор Иванович вспомнил шумливость, постоянную энергию отца, и теплое чувство тронуло сердце, захотелось поскорей увидеть отца, поговорить с ним. Он поспешно пошел к дому. Иван Михайлович один сидел на балконе. Тьма уже здесь сгустилась, нельзя было различить лица, так белело оно чуть-чуть. А в доме светились окна, там слышались детские голоса.

— Ты что, папа? — спросил Виктор Иванович.

— Фу! — дохнул Иван Михайлович.— Вот поднялся на лестницу, и уже сердце так бьется, как будто хочет выскочить. Старость пришла. Уже и силы стали убывать совсем.

— Ну, старость! Только шестьдесят пять лет, а ты про старость говоришь! Вспомни-ка, дед-то наш сколько прожил...

— Это верно, деду под восемьдесят было, когда помер. Да мы-то вот хуже. Бог ее знает, вот бы теперь и пожить на спокое, о душе подумать, а что-то устаю.

Он замолчал, опустил голову, и во всей его фигуре в самом деле было что-то усталое, надломленное. Потом он заговорил, раздумывая, вполголоса, вспоминал:

— А бывало-то, будто уема мне нет! Эх-хе, где силы делись?

Он еще помолчал и заговорил еще тише:

— Ну, мне помереть можно: корень хороший в жизни у нас. Бывало, когда ты мальчишкой был, я все беспокоился, чего из тебя выйдет? Да поведешь ли ты наше дело, как нужно? А ныне и беспокойства уже нет. Про сына-то про мово,— он вдруг повысил голос до торжества, до радости,— про сына-то про мово слава по всей Волге идет! Да чего по всей Волге,— по всей Расее, гляди, рукой до него не достанешь!

И опять понизил голос:

— Ну и внучата герои-соколы. Слава богу, наладилась жизнь, мне и умереть можно.

Виктор Иванович слушал, весь сжавшись, напряженно, как бред слушал.

— Папа, ты меня прости, но это, право, неприятно слушать, будто ты в самом деле умирать собрался.

— А что ты думаешь, Витя? Чудное что-то со мной происходит. Вот вечером иногда думаю: «Ну, батюшки, смерть!» Теперь я только одного хочу, чтобы господь избавил от наглой смерти, не помереть бы мне без покаяния, а то что ж,— покориться надо.

В дверях мелькнул свет. Груша вынесла лампу. За Грушей выбежали Ваня и Соня, бросились обнимать дедушку, стало шум-

но. Дедушка трепал Соню по плечу, смеялся, а Виктор Иванович взволнованно смотрел на отца, и сердце у него сжалось.

«Неужели идет смерть?»

На другой же день Виктор Иванович сам привез к отцу доктора Воронцова — толстого, бурливого человека. Воронцов шумно поздоровался со всеми, кто был на террасе, закричал Ивану Михайловичу:

— Ты что это заскрипел, старик? Мы, кажется, с тобой ровесники? А ты гляди-ка, я одной рукой два пуда вытягиваю.

— Было время, я тянул три пуда, а теперь вот боюсь, как бы самому не протянуться,— угрюмо усмехнулся Иван Михайлович.

— Ну, ну, ну, зачем такие мрачные мысли? Пойдем-ка к тебе, поговорим по секрету. Теперь самое время нам с тобой поработать для общества,— для себя уж мы поработали. Ты — гласный, я — гласный, мы с тобой таких делов наворочаем,— город до новых веников не забудет!

Спустя полчаса Виктор Иванович провожал Воронцова до ворот сада. Коляска ехала за ними.

— Очень утомлено сердце,— сказал Воронцов,— и, кажется, диабет. Это мы завтра исследуем. Похоже — он сдавать стал.

И еще через несколько дней выяснилось: Иван Михайлович болен безнадежно. Воронцов зачастил, привозил с собой других докторов. Ивана Михайловича выстукивали, выслушивали. Сперва он относился к этому покорно. Потом доктора ему надоели. Он заворчал, закапризничал, потребовал у сына, чтобы Воронцов ездил как можно меньше. И это лето вышло грустное, будто все кругом грустило вместе с андроновской и зеленовской семьями. Часто шли дожди. Волга постоянно была за завесой, небо нависало серое, низкое. У Ивана Михайловича болела спина, иногда по два и по три дня он не выходил из комнаты, тихо стонал, и гнетущий камень лег на весь дом. В солнечные же дни Ивана Михайловича выводили на балкон, он сидел в плетеном кресле, укутанный, смотрел вдаль и порой грустно улыбался.

— Волга, вот она, Волга!

А Виктор Иванович присматривался к отцу, все думал: «Как может измениться человек! Где его сила? Где его шум?» Он, сам того не сознавая, стал необычно нежен и внимателен к отцу, старался чаще быть возле него, по вечерам сидел долго-долго у его постели, говорили они тихонько о делах, о прошлом, и видать было: Иван Михайлович очень доволен такой переменой — и этими долгими тихими разговорами, и нежной заботливостью. Старик пытался шутить, но уже и шутки выходили печальными:

— Бывало, когда ты был помоложе, вот иной раз подумаю о смерти: «Батюшки, ничего не сделано до конца! Батюшки, все стоит на полпути! Умру — не справится Витька, все пойдет у него шиворот-навыворот». А ныне вот хотел бы, хотел бы что тебе наказать, да вижу: нечего наказывать — все-то ты сам лучше меня знаешь.

— Ну, папа, перестань,— перебил Виктор Иванович,— я не люблю, когда ты намекаешь на *это*.

Отец, улыбаясь, покачал головой:

— Чудак ты, Витя! Как же не намекать, когда *это уже подошло*?

Он понизил голос, сказал полушепотом:

— Разве я не вижу, как ты обо мне беспокоишься? Уедешь в город и всякий час звонишь сюда по телефону, спрашиваешь обо мне. Я понимаю — боишься: без тебя помру. Спа... спасет... Христос.— Он заговорил дрожащим голосом: — Мне это радость. Беспокоишься — значит, любишь.

И поднял голос, заговорил громко, хорошо, насмешливо:

— Эк я расчувствовался! Ну-ка, поговорим об другом о чем. Вот ты намедни про народ заговорил: «Народу надо меньше, машин больше». А я и подумал: куда же народ-то денется, если все машины и машины? Трудно народу без работы будет.

— Народ работу найдет. Тут закон экономического развития. Со временем совсем будет мало рабочих, все дело будут делать машины.

— Да-а... Я вот про себя думаю: с народом я обращался не так, как ты. Иной раз и в зубы ткнешь, иной раз и палкой ошарашишь. Как это говорится: «Бей, но выучи». Дураков надо учить. Ну и того... ткнешь иной раз. А ты вот с народом обращаешься лучше, чем я. Видать, ни разу никого не ткнул даже. А вот в шею его туришь от себя: вместо народа машины ставишь. Что оно лучше-то? Иногда побить, но работу дать иль совсем не бить, но и работы не давать?..

— Знаешь, папа, в Америке...

— Америка, Америка! — вдруг забрюзжал Иван Михайлович.— Я вот теперь, в болезни-то, думаю: где правда и где ложь? И Америка твоя мне кажется какой-то маслобойной машиной. Вот будто давят там народ, из него масло течет... И ладно об этом! Жить бы сначала — я бы не так с народом. А то я на дело больше глядел, чем на людей. С чем пойдешь в царство небесное? Не с деньгами, с добрыми делами. А их немного...

Он опустил голову, глаза заслезились, тяжело задышал, с хрипотцой. Что от прошлого от него осталось? Да, он такой же крупный, как большая машина, ныне расшатанная. Но грусть, беспомощность в лице и хрип...

В эту ночь впервые с ним случился припадок. Иван Михайлович задыхался, шумно хрипел, точно отбивался от кого-то страшного, кто навалился на него всей тяжестью. Приехал Воронцов, все такой же шумный, с забавными прибаутками. Он возился два часа, прежде чем Ивана Михайловича отудобил. Эти часы Виктор Иванович не отходил от постели отца: все внутри у него оцепенело от страха.

— Как? Что? — тревожным шепотом зашептал он доктору, когда тот вышел из комнаты на террасу.

Доктор пожал плечами.

— Ничего не сделаешь. Организм стар. Будьте готовы ко всему.

Доктор сошел вниз. Пролетка зашуршала по дорожке. Виктор Иванович вцепился пальцами, как хищник когтями, в перила террасы, смотрел, как в предутреннем свете черная пролетка ехала между стенами черных кустов. И бессилие его душило.

Он заметался, звал доктора за доктором. Все они приходили суровые, важные и важничающие, со скучной речью говорили одно:

— Надо быть готовым ко всему.

Тогда Виктор Иванович понял: смерть в самом деле близко, и уже не противился, когда мать решила пособоровать Ивана Михайловича. Соборовать? Это — христианская дверь в близкую смерть,— вот она, смерть, встала уже рядом, дверь можно открыть. На каждого, кого соборуют, люди смотрят, как на полумертвого: он приготовился в путь последний. И уже возврата нет. Если бы соборованный победил болезнь, все одно: он не должен ходить в баню, не должен брать в руки деньги, не должен любить жену...

Отец Ларивон, начетчики и певчие приехали утром. В зале накрыли стол, зажгли лампады перед всеми иконами. Ивана Михайловича, одетого в белую рубаху, вынесли в кресле. Он полулежал, полусидел, задыхаясь. Все стояли с зажженными свечами, и сам Иван Михайлович полулежал с зажженной свечой в руке. Эти свечи, эти угрюмые лица, переполненные скорбью, это монотонное протяжное пение напоминало панихиду. Панихиду по живом. Семь раз отец Ларивон читал евангелие, семь раз помазал маслом лоб, и грудь, и руки Ивана Михайловича. Начетчики и певчие тянули монотонно молитвы... Виктор Иванович стоял, сцепив зубы. В груди леденело, потом вдруг вспыхивало пожаром. Он боялся глянуть на отца. Его, живого, отпевали, отпевали!...

Умер Иван Михайлович через трое суток. Умер ночью. День перед этим был очень жаркий и очень душный. Сад, и Волга, и Заволжье после такого дня были пронизаны сыростью. Виктора Ивановича разбудила Глаша. Из-за двери она крикнула страшным голосом:

— Идите, с Иваном Михайловичем что-то!

Виктор Иванович накинул халат, побежал в спальню к отцу. Отец сидел в белой рубашке, подпертый со всех сторон подушками. Он судорожно комкал пальцами одеяло. Перед ним в ужасе метались Ксения Григорьевна и Ольга Петровна. Иван Михайлович шумно хрипел.

— Скорей доктора! — закричал Виктор Иванович.

— Не надо доктора,— сказал Иван Михайлович,— зовите отца Ларивона. Умираю!

Внизу уже запрягали лошадей, по всему дому, слыхать,

бегали люди, и вскоре два экипажа один за другим поскакали в город.

Василий Севастьянович прибежал снизу, Елизавета Васильевна — все, все, встревоженные, собрались в комнате у Ивана Михайловича. Открыли окна, двери. Иван Михайлович задыхался, ему клали на голову и на грудь лед. Когда приехал доктор, Иван Михайлович уже не мог сидеть, он большими круглыми глазами глядел на всех, хрипел иногда:

— Отца Ларивона! Скорей отца Ларивона!

Приехал и отец Ларивон. Все ушли из комнаты. Остались только поп и Иван Михайлович. Через четверть часа отец Ларивон отворил дверь, позвал. Иван Михайлович все так же сидел в белой рубашке, обложенный подушками, с полузакрытыми глазами. Он был странно спокоен. Когда все вошли в комнату, он точно проснулся, как просыпался когда-то: сразу вздрогнул, открыл глаза, зашевелился. Он позвал сына:

— Витя, подойди!

Виктор Иванович наклонился над ним. Иван Михайлович очень твердым голосом ясно сказал:

— Дай нашего Спаса.

Виктор Иванович подал Спаса.

— Встань на колени,— тихо и опять твердо и ясно сказал Иван Михайлович.

— Во имя отца и сына и святого духа. Благослови тебя, господи, как я благословляю. Всю жизнь будь таким, каким ты был и есть сейчас.

И, крестясь, тихо, едва слышно сказал:

— Ныне отпущаеши...

А в комнату уже шли все. Внучата окружили кровать, плакали, протягивали к дедушке руки. Соня ручонками уцепила его за бороду. Иван Михайлович поднял руку, положил ее Соне на голову, задышал часто. Грудь вздымалась, как мехи. Маленький пузырек, окрашенный кровью, точно живой, зашевелился в левом углу губ, переполз на бороду, замер. Иван Михайлович широко открыл глаза, смотрел неподвижно вверх, зрачки у него были неподвижные, черные, будто он смотрел на что-то, чего не дано никогда видеть смертным. Его дыхание становилось все напряженнее. И вдруг оборвалось на момент. Он вздохнул еще, уже с трудом, легким стоном. И задышал реже, тише. Еще реже, еще тише. Виктор Иванович взял руку отца в свои пылающие руки. Умирающий вздохнул еще раз и смолк. Комната сразу до краев наполнилась рыданиями. Виктор Иванович, плача, закрывал отцу его уже мертвые глаза и, рыдая, спотыкаясь о гладкий пол, ничего не видя, пошел из комнаты... на террасу, вниз по лестнице, аллеей к Волге... Утро уже светилось ярко, в саду пели птицы. По Волге, отчетливо хлопая плицами, шел пароход. Огни на его мачте еще были видны — они не светились, только тлели, как догорающие угли.

Тысячная толпа запрудила Миллионную улицу в день похорон Ивана Михайловича Андронова. Духовенство в золотых ризах — староверское духовенство, съехавшееся из Балакова, Саратова, Хвалынска, провожало Ивана Михайловича до моленной и из моленной до могилы. Городской голова всю дорогу шел пешком за гробом. В толпе маячил полицмейстер Пружков. За густой толпой, растянувшись на три квартала, ехали извозчики, все извозчики Цветогорья. Когда поднялись на гору к староверскому кладбищу, Волга и город завиднелись как на ладони. Пароходы и баржи плыли по реке, точно козявки ползли по зеркалу. В пустых улицах кое-где виднелись редкие прохожие. Вот здесь, в этом городе, возле этой Волги, прошла вся жизнь покойного.

Виктор Иванович подумал, что именно с этими местами крепко-накрепко был связан его отец, именно здесь он воевал с пустыней, вон там, за Синими горами, он строил хутора, проводил дороги, а в самом городе построил школу. Вот он будет здесь лежать на горе, над городом, над Волгой. И ему вспомнилось завещание поэта, пожелавшего, чтобы его похоронили в степи над рекой, на кургане.

Смерть отца сразила Виктора Ивановича. Он как-то не мог поверить в эту смерть. Что ему был отец в последние годы? Уже старый обломок, чуть ворчун, добряк, потерявший решительность. А вот тепло было, уют был, была какая-то крепость. И ныне его нет.

Когда отошли очень шумные и очень богатые поминки и дом умолк, лишь в комнатах матери беспрерывно слышалось монотонное чтение сорокоуста, да где-то по углам возле кухни — в дому и во дворе — ютились старики и старухи в черных одеждах, очень заискивающие, поспешно сторонившиеся, едва Виктор Иванович показывался во дворе или в коридорах, в эти дни Виктор Иванович с особенной остротой почувствовал потерю. Все дело валилось у него из рук.

Василий Севастьянович попросил, чтобы Виктор Иванович разобрал все бумаги покойного: надо проверить, нет ли там векселей или каких записей. Виктор Иванович отпер отцов стол, опустошил все ящики и весь день от утра до вечера перебирал бумажку за бумажкой. Было множество счетов, записок: видать по ним, Иван Михайлович своего не упускал. И среди них тетрадка с заголовком: «Именины и семейные праздники». Первая запись в тетрадке была такая: «Сегодня мне милость божья. Господь послал сына. Мы уже зараньше решили назвать Виктором, сиречь Победитель».

Листов через пять опять о нем, Викторе: «Сын растет. Ныне нанял ему учителя. Кажись, удался умный».

И еще дальше:

«Служили молебен по случаю поступления сына моего в реальное училище».

Вот Виктор Иванович не знал, что отец отмечал в своей

тетрадочке его каждые шаги: женитьбу, его поездку в Америку, его новые постройки, следил за ним напряженно. Последняя запись была полна гордости: «Вчера сын мой в купеческом собрании произнес речь. Все купцы плакали от радости, что есть у них такой златоуст, и меня поздравляли наравне с сыном. Теперь можно умереть спокойно».

И в бумагах письма. Вот последнее черновое письмо, написанное уже дрожащим, старческим, слабым почерком на синей бумажке.

«Христос воскрес — произношу, мысленно ликуясь с тобой, любезный друг, Кондратий Артемьевич, и поздравляю с прошедшим праздником. А я перед праздником крепко прихворнул, но теперь слава богу: шестой день хотя в тулупе, но выхожу на воздух.

В феврале я дал в одолжение Горбунову, Никите Артемьевичу, четыреста двадцать рублей, которые он мне обещал непременно в истекшем великом посте заплатить, но, вероятно, за распутицей не прислал. А потому прошу тебя потрудиться получить их от него непременно и из них, бога ради, потрудись лично сам раздай двенадцати человекам погоревшей деревни Никольское, самобеднейшим, поименованным в прилагаемом при сем тобою мне присланном реестре, каждому по двадцать пять рублей. Но, бога ради, раздавай без огласки, тихонько, скромненько, и они чтобы никому не говорили. А из оставшихся ста двадцати рублей частицу можете употребить на покупку семян пшеницы для раздачи тем из крестьян, кому давали прошлый год, но только тем давай, которые действительно нуждаются в семенах и живут скромно, а кто в семенах не нуждается,— не давай, дабы не приучить их к лени. Да прошлый год был урожай, полагаю, у которых есть семена, тем не давай, а которые нуждаются и смирные, работающие,— тем сколько нужно на семена, дай, а пьянчугам и ленивцам не давай, разве у них смирные семейные, и посеют, а не пропьют,— таковым семейным дай. Убедительно прошу тебя, бога ради, потрудиться исполнить эту мою просьбу. Доброжелатель твой усердный — Иван Андронов».

Почему-то это письмо особенно взволновало Виктора Ивановича. Вот в нем весь Иван Михайлович последних лет.

В самом деле, он так мало говорил о себе, мало шумел, все старался остаться в тени, в тишине, не показать себя.

Виктор Иванович оставил бумаги на столе, взял в карман только это письмо, вышел в сад, а сад был прежний — на клумбах пышно цвели георгины, астры — цветы наступающей осени. По пруду плавали лебеди, кричали пронзительно, природа правила свою жизнь, обычную, прекрасную, а Ивана Михайловича нет. Он уже не пройдет по этим дорожкам, не будет хозяйственно говорить о саде, о лебедях, о цветнике. Как странно: вещи живут, природа живет, а человек умирает. И ни вещи, ни природа, может быть, не замечают его смерти. Виктор

Иванович ходил по дорожкам, выбирая самые глухие, чтобы никто не видел, как по его лицу катятся тихие слезы.

Было девять дней. Опять поминки, опять множество народа. Все это новой болью наполнило сердце.

Василий Севастьянович уговаривал:

— Ты брось, зятек, так печалиться! Ну, что там? Все ведь помрем, только не в одно время. Ты поезжай за Волгу, посмотри на хутора. Надо тебе успокоиться.

И Виктор Иванович про себя подумал:

«Да, поехать надо».

Жнитво уже кончилось. Возле заволжских сел и хуторов, как золотые города, выстроились ометы и скирды хлеба и соломы. Там и здесь стучали молотилки. На андроновских и зеленовских хуторах гудели локомобили, десятки работников работали от зари до зари. Виктора Ивановича встречали с почетом, говорили с ним заискивающе, выражали ему сочувствие, но он как-то не замечал ни людей, ни работы. Люди быстро ему надоедали и своим низкопоклонством, и своими бескрылыми фразами о смерти и печали. И он бежал от хутора к хутору. Лишь хорошо было в пустой степи — только перед этим небом, перед птицами, перед бесконечным простором. Ехали тихо. Храпон, понимая, что творится с Виктором Ивановичем, несмело с ним заговаривал.

Иногда останавливались в степи у какого-нибудь озера и жили здесь день, больше — и здесь опять, как много лет назад, перед ним вставали эти проклятые вопросы о боге, о смерти, об извечных человеческих путях. И жизнь теперь ему казалась пустой, малоосмысленной. Да вот: бороться, строить, торговать, а дальше что? Где же смысл? Вот прожил отец положенное число лет и умер. Он воевал, волновался. Неужели только для того, чтобы скопить денег, построить эти хутора? Да, смысл был этот, но можно ли таким смыслом наполнить жизнь? Теперь все это казалось лишним — хутора, поля, скирды... А может быть, и смерть есть закон высшего порядка? Но жить-то надо. Допустим, скажешь, что смысла в жизни нет. Что же тогда? Самоубийство или пьянство. Тогда уже полная бессмыслица. Жить надо, чтобы строить,— в этом смысл. Хоть один теперь... что ж, и один в поле — воин.

Он думал о тесте. Тестя он уже давно разгадал: хищный, жадный,— это был чистый делец, для которого деньги и вообще материальное богатство было основным двигателем жизни. С тестем у Виктора Ивановича были какие-то странные, только деловые отношения. Отец тоже был деляга, но еще что-то объединяло его с сыном.. Теплота какая-то. Надо продолжать отцов путь, да, да, жить и работать и строить культуру и, если можно, помогать людям, вот как отец помогал, «скромненько, без огласки».

К сороковому дню Виктор Иванович вернулся домой. Опять были поминки, множество гостей, но уже теперь с налетом

привычной холодности. Кое-кто не остался на поминальный обед, просто будто приезжал с визитом.

Городской голова долго тряс руку Виктора Ивановича:

— Еще раз выражаю мое сердечное сочувствие по случаю смерти вашего батюшки. Все умрем, только не в одно время.

Дома распоряжался Василий Севастьянович, очень деловито, с низкими поклонами, и все считал, кто был и кто не был.

А во дворе стояли длинные столы. За столами — сотни нищих со всего города и из ближних деревень. Для них обед варили в необъятных чугунах. Храпон распоряжался кухарками и людскими поварами.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I. Встречный ветер

Пароход сверху пришел утром. Храпон выехал к пристани на паре караковых лошадей — любимых лошадей Виктора Ивановича. Виктор Иванович подошел улыбающийся, с маленьким желтым чемоданом в руке.

— Ну, как у нас дома? Благополучно?

Голос у него был барский, круглый, выхоленный.

Храпон весь расплылся в фамильярной улыбке:

— Слава богу, все в добром здоровье!

Помощник Храпона — молодой кучер Иван — поспешно укладывал принесенные матросами вслед за Виктором Ивановичем узлы и чемоданы в бричку, стоявшую позади коляски. Виктор Иванович удобно уселся в коляску, лошади понесли его по знакомым улицам.

После нарядных и шумных улиц Москвы улицы Цветогорья казались запыленными, дома — серыми, маленькими. Лишь андроновский дом — весь белый, закрытый золотыми кленами и темными липами, с голубым палисадником, полным цветов,— казался большим и богатым. Его белые колонны и белые стены едва проглядывали сквозь листву. Ворота, службы, высокий каменный забор, протянувшийся на целый квартал,— все было прочно, красиво, вкусно. Все говорило о довольстве и богатстве: каждое окно и каждый столб забора.

Во весь мах, не останавливая лошадей, Храпон влетел в ворота, на широком чистом дворе сделал поворот, разом остановился перед парадным крыльцом. В доме громко захлопали двери. Но уже никто не выбежал с писком и визгом на крыльцо, как вот случалось недавно — три, четыре года назад, когда дети были маленькими. Вышла Елизавета Васильевна — вся в голубом, еще

больше располневшая, дородная, за ней — Вася, уже не мальчик — молодой человек с наметившимися усиками, и Соня вышла — костлявая, длинная, немного сутулая, с черными бровями вразлет. Живой толпой, но чинно, без шума пошли в дом. В передней встретила мать. Она шла, тяжело шаркая ногами, морщинистая, грузная.

Эти ковры на лестнице, дорожки в зале, ковер в столовой, множество картин в дорогих рамах на стенах, замысловатые люстры с золотыми обручами, золотыми цепями и хрустальными подвесками — было барственно и богато. В столовой готовился чай. Посуда на столе и сверкающая скатерть играли отсветами. Фима — уже пожилая, одетая во все черное — ходила вокруг стола, чуть поскрипывая козловыми башмаками. Толпой вошли в столовую, Виктор Иванович впереди всех. Он улыбался, оглядываясь кругом. И по его лицу — важному, энергичному — было видно: родной дом его радует. Он положил палку и шляпу на стул, снял перчатки, перекрестился на темную икону, занявшую весь передний угол, сказал:

— Еще раз здравствуйте!

И перецеловался опять со всеми: с женой, матерью, детьми, Фимой.

— Отвез? Где поместил? — озабоченно спросила Елизавета Васильевна.

— Все устроил. Но ты подожди. Я умоюсь — поговорим потом.

— Пожалуйте, я уже сготовила ванну,— сказала Фима и пошла вслед за Виктором Ивановичем.

В передней топали ноги, грузно стучало тяжелое — там кучера вносили дорожные сундуки и чемоданы.

Полчаса спустя Виктор Иванович вернулся в столовую, его мокрая борода стала еще темнее, он был проще, уютнее — в сером домашнем пиджаке, в рубашке с отложным воротником, румяный, здоровущий, он на все и на всех смотрел с улыбкой. На столе серебряный самовар, похожий на большую вазу, уже столбом пускал пар.

— Так как же Ваня? — опять нетерпеливо спросила Елизавета Васильевна.

Виктор Иванович сел к столу, взял чашку из рук жены.

— Пришлось нанять квартиру ближе к академии. «Далеко, говорит, ездить. Не стану напрасно терять время».

— Кого из знакомых видел?

— Всех видел, кого надо. Больше всего меня поразил Лихов. Умный человек, а по-прежнему сказочками питается. Я рассказал ему о наших делах. «Вот к вам уже сына привез».— «Ну что ж, говорит, я всегда рад помогать хорошим завоевателям».

Полчаса назад дали знать в Нагибовку Зеленовым. (Зеленовы опять жили в своем доме.) Они приехали, когда Андроновы только что сели за чай. Василий Севастьянович подсох за эти

годы, морщины стали у него строже, больше полысела голова, но все так же он был суетлив и шумен.

— Ишь какой внук-то у меня! Золотой! — с восторгом закричал он, услыхав, что Ваня принят, устроился.— В академию захотел! К земле его тянет!

И вдруг спохватился, сделал круглые глаза, понизил голос:

— А без тебя тут от Симы письмо пришло. Ее в сентябре выпустят на поселение.

— Что ж, каждому свое,— вздохнула Ксения Григорьевна,— один в академию, другой — на каторгу.

Ольга Петровна покачала головой:

— А ведь сердце мое чуяло: не сносить ей головы. Бедовая была девчонка.

— Молодость... Взять теперь бы... кому теперь нужно революциями заниматься? И в голову никому не придет. Будто угар какой был тогда.

— Ну, будет, будет об этом. Вот выпустят на поселение, а там и совсем освободят. Дурь-то у ней, надо быть, прошла теперь совсем.

Виктор Иванович спросил тестя:

— А у нас как?

— Что ж, в конторе все хорошо. Мурыгин работает — лучше не надо.

— Да, работает. Проехал я по Волге. Был в Нижнем, в Симбирске, в Самаре, во всех конторах пока хорошо. Подобрался народ подходящий.

Василий Севастьянович самодовольно усмехнулся:

— А ты как думал? Не без головы подбирали. Вот сейчас к тебе Мурыгин придет, доложит обо всех делах.

— Ну, а у тебя, Вася, как дела?

— У меня неплохо,— молодым ломающимся баском загудел Вася.— Я написал сочинение о своей заграничной поездке, вчера читал перед всем классом. Никольский очень хвалил слог.

Соня, неловко передергивая костлявыми плечами, сказала капризно:

— Мне дали такую же тему. Прошу Васю помочь, он отказывается...

Виктор Иванович усмехнулся:

— И правильно делает. Ты должна сама написать.

Василий Севастьянович заворчал:

— Уж эти ваши заграницы! Конечно, вреда большого нет в них, а только не рано ли ты, зятек, таскаешь моих внуков туда?

— Почему же рано? Разве вы забыли, папаша, поговорку: чужая сторона прибавит ума? Вот видите, Вася отличился — написал хорошее сочинение.

— Так-то так, а только ездить-то надо с умом. Вот Митя Спицын все страны объехал, а чего набрался? Где как едят да как пьют. И все тут. Дурак дураком остался. Только нос дерет зазря.

В передней кто-то кашлянул. Василий Севастьянович обернулся:

— Вот и Мурыгин идет. Петр Никанорович, здравствуйте! Пожалуйте, пожалуйте! Вот он, наш главный-то, приехал.

Мурыгин входил в столовую, кланяясь и улыбаясь. Расчесанная шелковая борода закрывала всю его грудь. Белый лысый лоб — очень высокий — сиял, глаза наметились как щелочки.

— Доброго здоровьица! Как изволили путешествовать? Очень приятно видеть вас, Виктор Иванович! Заждались. Соскучились.

Он по-кошачьи мягко обошел весь стол, здороваясь с каждым, каждого называя по имени и отчеству, и Соню даже — Софья Викторовна.

После чая трое — Виктор Иванович, Мурыгин и Василий Севастьянович — прошли в кабинет.

Мурыгин положил на стол широкий лист, испещренный цифрами,— баланс. Виктор Иванович мельком взглянул на последнюю цифру: там стояли миллионы. Неторопливо, особенным — вкрадчивым и важным — голосом и особенным цветогорским языком, грубо на «о», вставляя славянские слова, Мурыгин рассказал о делах. Виктор Иванович задал несколько коротких вопросов, так, в полусловах, в полунамеках, и по этим очень коротким вопросам было видно: он знает каждый винтик в своем хозяйстве.

Василий Севастьянович слушал его восхищенно, как музыку, полновесно вздохнул:

— Волга-то, Волга что делает! Гляди, в последние пять годов такие дела, что ни сном ни духом не услышали бы прежде. Эх, уходит мое время! — Он хлопнул обеими ладонями себя по коленям.— Годков бы двадцать с костей — пустился бы я теперь в пляс!

Мурыгин почтительно улыбнулся:

— И теперь, Василий Севастьянович, вам нельзя бога гневить. Куда еще лучше?

— Да я не гневлю, а так — все кипит, горит, и самому мне хочется... подраться. Как бывало-то... встрянешь в какое дело, так игра такая, аж волосы дыбом!

Виктор Иванович усмехнулся, потом сразу стал серьезен, заговорил, раздумывая:

— Как это ни странно, а революция подбодрила не только нашу Волгу, но и всю Россию. В самом деле, папаша, вся Россия заработала. Сибирь, Урал, Кавказ, Туркестан — везде строят, везде делаются совершенно небывалые дела. И капиталисты у нас появились совсем американского типа, с каким-то необычайным размахом. Узнать нельзя: русские ли?

— Я там про другую Россию не знаю,— горячо перебил Василий Севастьянович,— я вот только на Волгу дивлюсь. Пароходы-то какие! Баржи-то какие! Батюшки!

— И нет ничего мудреного. Волга — дело сильное. Поволж-

ские города растут небывало. Россия передвигается на юго-восток. Скоро наши места будут самыми центральными.

Василий Севастьянович посмотрел на зятя прищуренным глазом.

— Да, да. Всяк кулик свое болото хвалит. Ну, будет об этом! Ты показывай, что привез из Москвы. Привез ведь?

— Как же! Рукописи привез, икон несколько хороших, книжки кое-какие. Пойдемте в залу, там будет удобнее.

Он позвонил, велел перенести в залу чемоданы и дорожные сундуки, распаковать и вещь за вещью развертывал сам. Пришли Вася и Соня. Соня оживилась, побежала назад в столовую.

— Бабушка! Мама! Идите, папа много интересного привез.

Виктор Иванович вынул черную икону.

— Вот Благовещение строгановского письма.

Он подал икону Василию Севастьяновичу. Тот, крестясь, взял, посмотрел, передал Мурыгину.

— Вот это московских писем Неопалимая Купина, а это шитье пятнадцатого века — совсем редкое дело, у Силина достал. А вот книжка интересная: «Трубы на дни». Почаевская печать семнадцатого века, всего только пять экземпляров осталось этой книжки.

— Пять? Почему мало?

— Эта книжка была объявлена еретической и тогда же, в семнадцатом веке, сожжена. Посмотрите на эту гравюру. Иисус Христос в итальянской шляпе. Единственная гравюра в мире, когда Иисуса Христа изобразили с покрытой головой.

— А ты псалтырь какой-то обещал достать.

— Тоже достал.

Мурыгин насторожился:

— Какой псалтырь?

— Псалтырь, напечатанный в Александровской слободе при Иване Грозном. Иван Грозный уехал из Москвы в слободу, устроил там свою опричнину, казнил да мучил всех, а между тем и типографию там же открыл, псалтыри печатал. Вот она — Россия: и кровь, и казни, и... псалтыри. Сто псалтырей было отпечатано. Вот один из этой сотни.

Все наклонились над небольшой книжкой в кожаном переплете.

Васю и Соню мало интересовали книги и иконы, больше куски шелка, вышивки, картины. Фима почтительно посматривала из-за плеч, умиляясь. Ей передавали вышивки, шелк, она рассматривала с особенным, повышенным старанием и восхищенно покачивала головой. И горничная Груша вертелась тут же, и повариха Марфа, вытирая руки о фартук, остановилась у двери, и в глубине коридора, за дверью, мелькали чьи-то лица — много, мужские и женские,— лица тех, кто не решался войти в комнату.

Виктор Иванович посматривал на всех и чуть-чуть улыбался, слушая восхищенный говор. Елизавета Васильевна возилась

с картинами — одну за другой перебирала их и оглядывала стены, где какую можно повесить. И невольно он тянулся глазами за ее взорами, так же осматривал стены, примерял, куда, как, которую повесить. Чувство уверенного довольства: картины будут повешены правильно, на месте, дом — родной дом — еще украсится и еще станет уютней,— чувство собирателя и созидателя наполняло все тело довольством, покоем, ленью. Будто долго-долго он ездил где-то (сильно работал, готовился). Этапами были и реальное училище, и академия, и Америка, и беспокойные поездки по Заволжью, и заграница. Ныне — пристань, ныне — покой.

Василий Севастьянович развалился на кресле — никогда прежде и не видел его никто в такой позе: всегда он был энергичен, подвижен, сух; теперь самодовольно поглаживал бороду, лицо задрал к потолку так, что зачернелись круглые ноздри, сказал важно:

— Да-а, игрушки ничего себе, барские!

Елизавета Васильевна посмотрела на него через плечо, засмеялась.

— Что ты, папа, называешь игрушками? Иконы, может быть?

Василий Севастьянович встрепенулся.

— Ну, ну, что это ты? Разве можно так про иконы? Я про эти вот бирюльки-то говорю, гляди, что держишь... голую барыню... Знамо, время теперь не то. А бывало, за такую картинку прямо в участок отводили: не соблазняй народ. Эх, грехи, грехи!..

Виктор Иванович пристально смотрел на сына, на дочь: как они? что они?

Вася снисходительно улыбался, слушая дедушку. И в этой улыбке было что-то наигранное. «Барина валяет!» — вдруг вспомнил Виктор Иванович слова Вани. Сколько раз при нем Ваня ругал Васю «барином»...

«Откуда у него?»

Соня вся погружалась в шелка, расстилала их по креслам.

Дом, родной дом!..

А годы... а годы, словно волжская вода, текли неудержимо: один за другим.. Еще год прошел и еще. Уже и Вася окончил реальное и этой осенью собирался поехать в Москву, но не в академию, как его брат, а в Техническое училище, чтобы быть инженером, строить. Он бунтовал: требовал, чтобы его пустили в кавалерийское училище («Хочу быть Суворовым!»); в доме целый месяц была гроза, склока — и дедушка, и обе бабушки, и мать уговаривали, чтобы Вася не блажил... И только уже отец в конце концов вмешался твердо:

— Извини, не дам тебе ни копейки. Ты еще глуп. Кончишь инженерное, тогда — куда хочешь, хоть в околоточные иди...

Старый андроновский дом опять приумолк, как приумолкают дома, когда вырастают дети. Солидным баском ворковал Вася, зубрил, готовился к экзамену. Тихо и чинно по аллеям за-

росшего сада бродила барышня в белом платье — Соня — с книжкой в руках. Елизавета Васильевна два раза в день гуляла по саду: час утром и час вечером. Так предписал доктор Воронцов. Боролась с толщиной. Беззаботная, вседовольная, спокойная жизнь угрожающе прибавляла ей весу.

Ваня летами приезжал ненадолго: академия гоняла его на практику. А когда приезжал, держался странно: недовольно усмехался, оглядывая прекрасно убранные комнаты, спорил с отцом и дедом — задорно и по-мальчишески глупо спорил о хлебном хозяйстве страны. После споров скрывался на пчельник — в лес на Ясыриху, жил там дней по пять, по неделе в шалаше у пасечника Потапа. Дома удивлялись: как? что? почему? Елизавета Васильевна с приездом сына теряла обычный покой и величавость, на ее лице, уже тронутом расплывчатостью, появлялась тревога. Она пристально всматривалась в сына.

И ночью однажды сказала мужу:

— Какой странный мальчик! Ты замечаешь?

— Дурь в голове. Пройдет!

— Я не могу понять, чего он хочет.

— Вероятно, он этого и сам не знает.

— Всех задирает, всем недоволен. Мне кажется, он никого из нашей семьи не любит. Мне кажется, что он и меня не любит.

— Он любит Симу... От нее каждую неделю получает письма.

— Странная дружба. Что Сима может ему дать?

— Что-то дает. Я не понимаю...

Волга была полнокровна, точно росла год за годом. Огромная машина «Торговый дом Андроновы и Зеленов» работала по-прежнему бесперебойно, со строгой размеренностью. Дело стояло крепко, ширилось, врастало в самую жизнь, и казалось уже: вынь это дело — затрещит, закачается вся жизнь во всем краю. Даже Василий Севастьянович — хищный и жадный — стал успокаиваться, говорил теперь самодовольно: «Мы завладели всем», и лишь однажды, в лирическую минуту, вечером, в своем кругу, он, достигший того, о чем и не мечтал никогда, вдруг спохватился, сказал:

— Да, вознеслись мы! И не только мы, и Россия вся вознеслась. Гляди, как растет все! Боюсь, как бы не уподобились мы жителям Содома и не забыли бога от счастья. Бывает...

## II. Тревога

Как-то летним вечером — июль был за переломом — после чая в беседке, в саду, долго разговаривали Василий Севастьянович и Виктор Иванович о прошлом: вот совсем недавно к Волге подходила пустыня, по пустым дорогам еще недавно киргизы пригоняли сюда, в Цветогорье, косяки лошадей, а ныне за Волгой на сотни верст уже нет десятины пустой: все распахано и засеяно.

Виктор Иванович сказал:

— Вы знаете, папаша, мне немного жаль Цветогорья: город изменился к худшему. В былые времена на улицах везде цвел тополь, по всем горам — ближним и дальним — шумел лес. Бывало, пройдет дождик, особенно весной,— во всем городе стоит какой-то особенный запах, будто не город это, а сад. А ныне цементные заводы его задавили: везде пыль, смрад, дым.

— Не люблю заводы! — живо откликнулся Василий Севастьянович.— То ли наше дело — земляное, хлебное! Самое нужное дело, можно сказать. А заводы — ну их ко псам! Невдомек и горько мне, что из нашей семьи к ним народ потянулся. Вот Вася, зачем ему в инженеры? Чего ради? Служить, что ль, он собирается?

— Пусть его. Быть инженером неплохо.

— Неплохо-то неплохо... А все же надо бы к земле ближе держаться!

— Не знаю, как сказать. Пошел народ непонятный. Мой Иван пишет и говорит такие вещи,— я тревожусь.

— А что? — испугался Василий Севастьянович.

— Да что-то много говорит о земельной справедливости. Не связался ли он там с кем в академии? Опять социалисты стали голову поднимать.

— Ты приметил что за ним?

— Науки будто забросил. И что-то слишком часто с тетей Симой переписывается.

— Ух эта Сима! Прямо язва в нашей семье. Вот уж подлинно: отогрели змею.

— Ну, ну, папаша! Зачем так говорить?

— Да, я знаю, ты тоже ее руку тянешь. Подожди еще, она покажет себя!

— Чем покажет? Она человек сломанный.

— Ну, будет! Я и разговаривать о ней не хочу. Ты вот мне скажи что: война-то будет или нет? Что этому немцу надо? Газеты затрезвонили.

— Вряд ли будет. Германия в очень большой зависимости от соседей. Не думаю, чтобы она решилась воевать. Впрочем, посмотрим.

Они заговорили об урожае, о предстоящем, совсем недалеком жнитве. Это лето вышло небывало урожайным, дожди перепадали впору, пустыня не посылала мглы, как обычно, и уже весь край готовился к пышным именинам земли — жнитву.

— Вряд ли будет,— опять повторил Виктор Иванович.— Кому теперь выгодно воевать?

— А и будет — нам не убыток. Будет война — хлеб в цене повысится.

— Ну, положим, здесь-то вы неправы, папаша! Война всегда несет только убытки хозяйству...

Они говорили все ленивей, будто погружались в свои думы. Уже надвинулись сумерки. Цветы пахли сильней. Горничная Груша принесла лампу с белым абажуром, и тотчас две толсто-

головых бабочки застучали крылышками по стеклу. На Волге четко стучал пароход. Надвигалась теплая, благодатная волжская ночь, с непроглядной тьмой и непотревоженной тишью.

— На дачу поедешь завтра? — уже сонным голосом спросил Василий Севастьянович.

— Поеду. Три дня не был. Хотел сегодня поехать, да газету ждал.

— Ага! Ты тоже ждешь?

— Жду. Ничего не поделаешь! Война меня тревожит...

И недели не прошло после этого вечера — точно набат в ясное утро: красные афиши запестрели по всему городу — мобилизация. Крестьянство в Цветогорском уезде уже выехало было в поля. И прямо с недожатых полей — с серпами, в лаптях, в просоленных потом рубахах — мужики и бабы в телеги и в город. В утро первого мобилизационного дня Виктор Иванович пешком (а уже давно не ходил по Цветогорью пешком) пошел к воинскому присутствию. Все дороги к городу пылили: через поля, леса и горы — через Терсу, Чернавку, Ключи, Тепловку, Рыбное,— со всех сторон, со всего уезда ехали тысячи. Из-за Волги с хуторов плыли на лодках. В городе на всех дворах уже виднелись лошади, поднятые оглобли телег. Церковные площади от края до края запрудились людьми, телегами, лошадьми. Улицы сразу замусорились сеном и навозом, возбужденная толпа толкалась на базаре. До воинского присутствия нельзя было пробраться за два квартала. Черная, жужжащая толпа стояла там стеной. Бородатые распустившиеся мужики, когда-то бывшие аккуратными солдатами, теперь говорили сумрачно, сердито:

— Куда нас теперь? Мы уже забыли, как ружье держать.

А другие — тоже сумрачно и свирепо — утешали их:

— Научат! Подождите!

Бабы вопили пронзительным вопом. В церквах печально и торжественно звонили колокола: там шел молебен за молебном.

К вечеру от города во все стороны потянулись обозы: это уезжали мужики, мобилизованные, уезжали, чтобы проститься в последний раз с родными полями, деревнями. А по улицам на станцию уже проходил запасный батальон, и печально пели трубы военного оркестра. Весь город провожал этих серых, вышколенных солдат и франтоватых офицеров. До этого никто о солдатах и не думал, смотрели на них, как на какое-то необходимое неудобство,— ныне их провожали со слезами. Еще через день стали уходить запасные. И перед каждым поездом вся площадь возле станции запружалась народом. Женщины и дети вопили, как вопят только по покойникам. Мужчины крепились, суетливо бегали с чайниками, с мешками, а труба солдатская уже звала садиться, и вот последний свисток, и, превозмогая его, к небу взвивался общий вопль, человечий вопль, голой рукой хватающий за сердце. Поезд за поездом уходил, увозил людей куда-то в неизвестные страшные края.

В эти первые дни в городе говорили:

— Войны не будет. Россия объявила мобилизацию, чтобы постращать немца. Где же немцам справиться с целым миром!

Василий Севастьянович, замученный, бегал из думы домой, из дома — в контору, из конторы — на станцию, с кем-то целовался, плакал, кому-то совал мелкие бумажки, кричал «ура» и опять плакал и всем силился доказать:

— Ну, вы подумайте: как это немец может против мира справиться? Вот мы ему теперь не дадим хлеба, другие державы не дадут кож, не дадут сала,— куда ему деться? Родименькие, не плачьте! Это одна только фальшивая тревога!

И ему верили, потому что в эти дни, когда было столько слез, хотелось верить, что в самом-то деле вот-вот тревога кончится. Лишь Виктор Иванович качал головой с сомнением:

— Вряд ли дело кончится скоро. Не такие немцы работники, чтобы пойти в войну шатай-валяй. И хлеба они найдут, и кож найдут, и металла. Война будет.

И правда, двух дней не прошло — громом грянула весть: война началась.

Город с первых же дней зажил тревожной, хлопотливой жизнью, как, может быть, не жил никогда прежде. Из каждой семьи кто-нибудь уже пошел на войну, каждая семья плакала и тревожилась. На улицах появились щеголеватые офицеры в новых шинелях с желтыми ремешками, с новенькими желтыми сумками и револьверными кобурами у пояса. Здание реального училища взяли под казарму. И вечерами по главной улице и по площадям ходили серые плотные ряды солдат, пели громко вызывающие песни, но почему-то всем казалось, что солдаты поют, скрывая слезы. И никого будто не радовала в этот год сытая волжская осень — ни арбузы, ни дыни, ни горы хлеба...

В ноябре над городской думой уже развевался белый флаг с красным крестом: все парадные думские комнаты были отведены под лазарет. Елизавета Васильевна теперь целыми днями работала в думе или к себе сзывала городских дам. В зале андроновского дома было установлено множество столов. Дамы шили кисеты, солдатское белье из грубого холста, в кисетах посылали на фронт солдатам табак, конверты, бумагу, карандаши.

Соня, сразу притихшая, будто выросшая в эти немногие месяцы, помогала матери, суетилась, деловито вела какие-то записи. Она ходила в черной наколке с белым бордюрчиком и красным крестом, строгая, как молодая послушница.

Вася еще в августе уехал в Москву, поступил в Высшее техническое, а в ноябре от него пришло письмо: «Поступаю в военную школу. Все равно нас в ближайшее время мобилизуют, я хочу немного опередить».

Это письмо поразило всех в доме. Впервые за всю совместную жизнь Елизавета Васильевна плакала на глазах Виктора Ивановича по-бабьи протяжно, некрасиво, волосы у ней растрепались.

— Зачем, зачем это он сделал? — шептала она.— Уж если бы мобилизовали, тогда можно примириться, а то сам пошел. Зачем?

Виктор Иванович — донельзя смущенный, сам готовый заплакать — утешал ее, как мог:

— Ты должна гордиться. Видишь, какой храбрый! Хорошо иметь сына-героя!

— Да, но ты посмотри, какие вести с фронта идут. Нас всюду теснят.

— Где же теснят? Во многих местах и мы тесним.

— Что его ждет теперь? Ты видел сына городского головы? Приехал без руки: отрезали по локоть. А другого... помнишь Колю Смирнова? Он еще когда-то к Васе приходил. Отец его в земской управе.

— Ну?

— Его убили...

Виктор Иванович нахмурился: он помнил Колю Смирнова — веселого, белозубого, широкоплечего паренька.

— Что же делать? — сказал он чуть угрюмо.— Значит, судьба. Не плачь! Кому-нибудь надо идти. Что мы за исключение? Не забудь: Вася пробудет полгода в военной школе, может быть, к тому времени война кончится.

Он гладил ее щеки, волосы, целовал заплаканные глаза. Он был с ней нежен, как первые дни после их свадьбы, дни давным-давно забытые. А она плакала, плакала...

Эту зиму город жил странной жизнью. Все обычное сразу сдвинулось с места. От утра до вечера маршировали солдаты. В ясные морозные дни солдат уводили на горы, и снизу, с улиц, видно было, как там, по белым маковкам гор, перебегают, передвигаются цепочки темных фигур.

На улицах появились тучи прапорщиков тоже в ремнях, в серых шапках, лихо заломленных на затылке. Они ходили важные, как индюки. Гимназистки до поздней ночи гуляли с ними по Московской улице. Даже Соня, угрюмая, серьезная Соня, говорила, что у нее теперь есть знакомые офицеры, и гордилась этим.

А мобилизации в эту зиму — одна, другая, третья, пятая — хлестали край железными кнутами, впивающимися в самую душу. По мобилизации из уезда и из Заволжья уходили люди, лошади, скот. Точно кто-то огромный-огромный высасывал кровь из родной земли.

К весне уже наметилось: пустыня опять надвигается. Множество полей остались незасеянными: у людей не хватало сил справиться с работой. С лета поля стали зарастать цепкой черной полынью, очень остро пахнущей, по межам вырос буйный татарник и хрустящий сухой типчак.

Но все ждали, каждый день ждали: вот-вот скоро кончится война, и тогда стряхнется кошмар. В конторе «Торгового дома Андроновы и Зеленов» дела сократились. Часть служащих

ушла по мобилизации. Вечерами Мурыгин в кабинете Виктора Ивановича, вздыхая, говорил:

— Вот еще хорошего работника лишились!

И показывал телеграммы с хуторов, из городов.

— Нет рабочих, нет скота, дело замирает.

Но еще была некоторая радость: накинуть пятачок и гривенник на заготовленный раньше хлеб. И эта радость, радость наживы, казалось, жила у всех, кого еще не захватила железная цепь войны. Рабочих было немного, заработки выросли большие, хозяйственные мужики не успевали ездить в сберегательные кассы вносить деньги. Но и большие деньги уже перестали радовать, потому что тревога усиливалась. На фронте дела шли плохо. Всю весну и все лето русская армия отступала. Ходили слухи: русские сдаются целыми корпусами в плен. В Цветогорье приползли слухи об изменах, о неурядицах. Хозяйским глазом Виктор Иванович и Василий Севастьянович видели, как беда тихим, но верным шагом надвигалась на край.

На второй год осенью по Заволжью пошел тиф. Работники с хуторов разбегались. С Красной Балки убежал даже приказчик Семенов. Без спроса он заявился в Цветогорье, прямо в контору. Василий Севастьянович после первых же слов обругал его свирепыми словами. Приказчик — почтительный, извивающийся — сразу обнаглел, заговорил громче, тверже. В этот момент в контору вошел Виктор Иванович. Приказчик опять закланялся почтительно, развел руками:

— Сами посудите, Виктор Иванович, как теперь нам жить? Невозможно жить. Даже доктора нашего взяли на войну. Тиф везде, смерть ходит.

— А как же амбары? Кто же теперь там будет заведовать?

— Там я сторожа Платона поставил. Он пока и позаведует.

Виктор Иванович ворчливо поговорил с приказчиком, но уволить его совсем не решился: понял, что на его бы месте он сам, вероятно, сбежал.

Когда установился санный путь — это было уже в декабре,— он поехал на Красную Балку, чтобы самому посмотреть, как там. Он едва узнал знакомые места. Дороги, прежде торные и укатанные, ныне были заметены — совсем как поле. По селам и деревням, через которые он проезжал, где вот еще недавно было довольство, были песни, где жизнь била ключом, теперь глядело уныние. Мужчин почти не было: только женщины, дети и старики. Верст за десять до хутора Красная Балка нужно было проезжать через долину. Здесь, при долине, уже лет восемь жил переселенец с большой семьей. Пока у него была только избушка, а скотину он держал в землянках. Этот переселенец (все в округе звали его Кукушкой) еще по первой мобилизации ушел на войну. Об этом Виктору Ивановичу еще в Цветогорье сказал приказчик. Виктор Иванович велел кучеру остановиться у избы. Знакомая собака выскочила из

сеней, но не залаяла злобно, как лаяла прежде, а вдруг завизжала слезливо и жалобно, будто обрадовалась людям. Ничье лицо не мелькнуло в окне, дверь в сени была закрыта. Виктор Иванович приказал кучеру слезть, посмотреть в окно. Иван, закутанный в тулуп, неповоротливо двигаясь, подошел к окну, прислонился лицом к стеклу, руками сделав над головой крышку.

— Ничего не видать... Будто лежит человек на кровати, а не поймешь.

Иван постучал в окно, потом пошел к двери. Дверь была не заперта. Иван полез в избу, крича:

— Эй, хозяева, где вы там?

И тотчас выскочил, как ошарашенный, назад, к саням.

— Беда, Виктор Иванович! — крикнул он.

— Что такое?

— Лежат там трое мертвых: баба и две девочки.

Виктор Иванович вышел из саней, заглянул в открытую дверь: женщина и одна девочка лежали на кровати, с зелеными страшными лицами, а другая девочка — валялась на полу, возле стола, лицом вниз. Собачонка, повизгивая, бегала около ног Виктора Ивановича, заглядывала в глаза, а Иван уже осматривал сарай и хлев. Ни лошади, ни коровы в них не было.

Когда приехали на хутор Красная Балка и рассказали сторожу Платону о том, что видели, Платон махнул рукой:

— Теперь везде тиф ходит. Помощи никакой. Вымрет семья — никто и не узнает. Намедни урядник приезжал, сказывал, что переселенцы под Чалыклой сплошь вымерли.

Угнетенный Виктор Иванович вернулся из Заволжья домой. Елизавета Васильевна встретила его, тревожно заглядывая в глаза:

— Что ты?

Он наедине, чтобы не тревожить других, рассказал ей, как умирают дороги, умирают хутора, умирают люди и весь край умирает, как опять проснулась и подымается пустыня.

— Строили мы, строили, и все теперь идет прахом. Ездил я по этим пустым дорогам и все думал: строит вот человечество, добивается чего-то, стремится к тому, чтобы пустыня превратилась в цветущий сад, а вдруг какой-то хвастливый Хлестаков, вроде Вильгельма, устраивает войну — и все погибает.

Елизавета Васильевна откликнулась тихо:

— Тут не только Вильгельм виноват. И про наших говорят: на фронте измена, в столице измена, кругом взяточники. Получила я вчера письмо от Вани. Ругательски ругает царицына любовника Распутина. Мне читать было стыдно. Наш мальчик, я его еще считаю маленьким, а ныне он пишет такие откровенные письма, лезет в политику...

— Да, измена,— раздумчиво сказал Виктор Иванович.— Эти интенданты у всех на глазах опять стали грабить. Ну, поглядим, что будет.

В эту зиму в феврале в городе случилось убийство: убили

купца Тохова со всей семьей. И самое страшное: прежде чем убить, пытали, добивались, где Тохов спрятал деньги.

Тохова все знали, все ему были дружки-приятели в городе, и это убийство — первое от века веков в тихом, благочестивом Цветогорье — смутило всех несказанно. И днем и ночью все стали запирать и двери и ставни на множество запоров, пугливо осматривали каждого прохожего и, отыскивая убийцу, грешили на солдат:

— Вот солдаты как озлоблены! Им все равно помирать: они на все пойдут.

И правда, солдаты были озлоблены. В городе уже говорили, что офицеры боятся ходить ночами по улицам: солдаты нападали на них, били. Солдаты открыто грозили: вот скоро («Пусть подождут!») они покажут себя. Но пока сидели на цепях крепких.

На третье лето войны отобрали под казармы женскую гимназию, купеческий клуб, солдат в городе стало больше, чем жителей, на горах белели длинные ряды палаток: там были лагеря. Все выгоны вокруг города были изрыты окопами: это солдаты учились, как они будут действовать там, на далеком фронте. Вася приезжал на два дня — прощаться: ехал в Закавказье, на турецкий фронт. Это уже был усатый прапорщик, говоривший круглым наигранным барственным баском, франтоватый, с непомерными шпорами. Он держал себя гордо (с Фимой поздоровался только кивком головы), много говорил о своих новых друзьях — князе Селецком и графе Охлопьеве — и очень понравился бабушкам. Его кавалерийский ментик с преувеличенно яркой цифровкой и замысловатыми кутасами напоминал и маскарад, и диковинные костюмы польских гусар на лубочной картине «Смерть Ивана Сусанина». Лакированные сапоги с кокардами, фуражка невиданной формы делали его каким-то ненастоящим.

— Что-то форсу в тебе переложено много! — криво усмехнулся Виктор Иванович, рассматривая костюм сына.

— А знаешь старую военную пословицу? «Умницы — в артиллерии, франты — в кавалерии, пьяницы — во флоте, дураки — в пехоте». Мы должны поддерживать честь своей части.

— Ты это серьезно?

— То есть как?

— Говоришь-то серьезно? Тебе все это нравится?

— Если бы не нравилось, я бы не говорил...

— Да? Очень жаль. Нарвешься ты, малый, на неприятности! Теперь ни войско, ни война уже не те, что были раньше. Теперь ментики не нужны.

— Как не те? Солдаты те же, что были, и мы, офицеры, должны быть теми же... Дисциплина и строгость прежде всего.

Виктор Иванович не нашел, что сказать.

Осенью и зимой положение еще больше запуталось. Дела в городе остановились окончательно, и тяжкое томление

захватило всех. Вот будто перед грозой — уже туча надвинулась, вот-вот ударит молния, и всяк молит, просит: скорей бы!

В середине декабря пришла в Цветогорье весть: Распутин убит. Опять будто прогремел гром за горой. В андроновском доме, как и в целом городе, много говорили об этом. Василий Севастьянович злорадствовал:

— Ишь время какое: на престоле жуpжи завелись... Все мы грехам доступны, а все же, ежели ты царица, веди себя в аккурате.

— Быть беде! Быть беде! — каркали старухи — Ольга Петровна, Ксения Григорьевна.

За столом — в обед, за чаем — взрослые говорили намеками: боялись пристальных, испытующих глаз Сони; ее пока считали девочкой, при ней не говорили о зазорном поведении царицы.

Уже отзвонило рождество. Святки прошли томительные, как будни. На крещение, во время водосвятия, протопоп упустил в прорубь серебряный крест («Быть беде! Быть беде!»). Караул кричи, так было тоскливо...

Уже подходила из-за гор весна — забушевали февральские метели: свету божьего не видно,— все было завалено снегами, обильными, как перед урожайным годом.

В день мученика Севастьяна, двадцать шестого февраля, стояли утреню всем домом Андроновы и Зеленовы: этот день, день ангела покойного отца Василия Севастьяновича, из года в год отмечали большой службой и большим обедом.

На обед собралось гостей два десятка — Волковы, Рыжовы, Иван Егорыч Воскобойников. Поминали «на сухую», без выпивки, но языки развязались, как в дни самые пьяные.

— О чем они думают? Дела все остановились, а им хоть бы что!

— Своей *бабой* управлять не может, где же *ему* царством править?

— Я ноне получил из Петрограда чудную телеграмму: «Дела задержались, рабочие не работают». Чевой-то не пойму! Не бунт ли опять?

— Пусть бунт,— дела хуже не будут. Слыхали, как ныне министры-то? Хотели всю хлебную торговлю в свои руки взять,— монополию объявить... Это как? Куда мы-то денемся?

— Да... Какому угодно бунту обрадуешься!

— Быть беде! Быть беде!

— Не каркай, Ольга Петровна, еще неизвестно, для кого беда. Нам хуже не будет.

Гости разошлись рано, вздыхали сердито.

Через пять дней гром наконец грянул. Пришла весть: «Царь свергнут». От петербургского доверенного пришла об этом длинная телеграмма.

Василий Севастьянович прочитал первый, перекрестился, побежал из конторы в дом.

— Витенька! Вот она, радость-то... прогнали царя-то!

Март в этом году был светлый и теплый. Вся Соборная площадь была запружена солдатами, офицерами, народом. Солдаты пришли в строю с ружьями, как на парад, офицеры впереди. Красный флаг высоко развевался над толпой.

На балконе городской думы показались люди, один что-то крикнул, и вся многотысячная толпа заревела «ура». Оркестр заиграл «Марсельезу». Потом ораторы поговорили, толпа покричала «ура» и под музыку, с песнями пошла по улицам к тюрьме в конец города, там еще попели, покричали и разбрелись.

Вечером было торжественное заседание городской думы. Битком набилось народа,— лестницы, коридоры, проходы между стульями — все, все было полно. Рабочие с цементных заводов пришли, реалисты пришли, солдаты пришли, гимназистки. Море речей было. Василий Севастьянович попросил слова:

— По случаю такого торжества «Торговый дом Андроновы и Зеленов» жертвует на бедняющих пятьсот пудов ржаной муки...

Кто-то на скамьях гласных крикнул:

— Верно! Благодарить!

А солдаты и рабочие почему-то молчали, и Василий Севастьянович вдруг смутился, нырнул к гласным, на свое место.

Возвращаясь из думы, он сказал зятю:

— Это чевой-то с ними? Я думал: они меня благодарить будут, а они промолчали. Ты заметил?

— Да... революция — это тоже... впрочем, посмотрим...— нерешительно ответил Виктор Иванович.— Посмотрим...

С первых дней пришло напряженное ожидание: теперь наконец война прекратится, все вернутся домой, опять будет труд обычный, повседневный, опять каждая семья заживет своей жизнью.

Василий Севастьянович еще ходил в городскую думу. Но как-то — это было уже в апреле — пришли в думу рабочие заводов и потребовали, чтобы дума была сменена. Три дня Василий Севастьянович ходил ошеломленный:

— Вот они, новые губернаторы-то! Бывало, только губернатор мог разогнать, а теперь и заводская шантрапа вмешалась.

С первых недель революции в городе начались кражи, убийства пошли одно за другим. Там муж-солдат убил зашалившую жену, здесь солдаты ограбили кузнеца, шедшего из города на станцию. И напряженная радость стала погасать. Все ждали конца войны, а конца не было. Все ждали покоя, а покой не приходил.

В апреле был арестован полицмейстер Пружков, уж давно отстраненный от должности. Дума решила его отправить в Саратов на суд. Рано утром Пружкова повезли из квартиры на станцию под конвоем двух милиционеров. На дороге у станции повстречался босяк Золотарев, тот самый, которого Пружков изо дня в день сажал в каталажку. С ругательствами Золотарев

бросился на Пружкова, ударил его по голове поленом, убил на месте.

Этот случай еще больше напугал обывателей. Андроновы и Зеленовы решили не переезжать на дачу, остались на лето в городе.

В мае Виктор Иванович получил из Москвы от Ивана Саввича письмо: «Приезжайте, необходимо посоветоваться. Организуем торгово-промышленную группу, чтобы поддержать своих представителей в министерстве».

Виктор Иванович поехал. Москва в это лето жила так же, как и Цветогорье. Так же на улицах бродило множество солдат без дела, на бульваре собирались толпы, кричали и спорили, лущили семечки — все праздные, все ленивые, не понимающие, что надо делать.

В особняке Ивана Саввича собиралось московское купечество, кричали и спорили, как люди на бульварах, и тоже, как люди на бульварах, не могли ничего решить. Иван Саввич настаивал:

— Нам нужен диктатор. Нужна твердая власть, иначе мы погибли.

Перебирал всех политических деятелей и генералов, отыскивая, кто может создать эту твердую власть, и не знал, на кого опереться.

Однажды Виктор Иванович попросил слова. Это было первый раз за все четыре дня собраний.

— Нам нужно теперь же кончить войну,— решительно сказал он.— Надо признаться честно перед нашими союзниками, что мы, захваченные революцией, теперь совершенно обессилели. Наши запасы истощаются, народ устал, народ хочет мира.

Иван Саввич резко оборвал Виктора Ивановича:

— Вопрос о прекращении войны у нас обсуждаться не может. Мы не можем быть изменниками перед нашими дорогими союзниками.

И все, кто был в зале (здесь когда-то Виктор Иванович выступал с таким геройством), теперь все смотрели на него, как на изменника, подозрительно, со злобой.

Виктор Иванович сказал:

— Если мы не добьемся сейчас прекращения войны, помните, не только страна, но и все мы, каждый в отдельности, все мы погибли!

На него зацукали, зашипели, кто-то из-за угла крикнул: «Это большевик!» — и Виктор Иванович должен был оборвать свою речь.

В этот вечер он поехал в Петровско-Разумовское, чтобы отыскать сына. Он вызывал его уже множество раз телеграммами к себе в «Славянский Базар». Иван не шел, не отвечал.

В тихой зеленой улице, у Соломенной Сторожки, Виктор Иванович остановился перед маленьким белым домиком, позвонил. Вышла старушка в очках.

— Вам кого, батюшка?

— Студент Иван Андронов здесь живет?

— Здесь, батюшка! Только его уже несколько дней нет. Он куда-то уехал.

— Куда, по какому делу?

— Не знаю, по какому, только уж мы очень довольны, что уехал.

— Довольны?

— Да, очень довольны. Совсем большевиком стал. Какие-то люди к нему ходят да все против правительства нынешнего говорят. Мы все боялись, как бы его не арестовали.

«Уж не стал ли он в самом деле большевиком?» — подумал Виктор Иванович и усмехнулся, вспомнив, как ему в зале Ивана Саввича крикнули: «Большевик!»

Он оставил на всякий случай сыну записку: «Приезжай домой, раз нет дела здесь». И уехал назад в Цветогорье.

## III. Камень дал трещину

А в Цветогорье все было по-прежнему: и томленье, и безделье, и неприкаянность. И все же одна весть взволновала и поразила Виктора Ивановича. Эту весть передала ему Елизавета Васильевна.

С пчельника приходил Потап, говорил Храпону, будто хозяйский сын Иван приехал в Цветогорье, живет у него в сторожке, ходит по цветогорским цементным заводам, а домой не является, и будто бы Иван приказал Потапу не говорить об этом никому.

— Ну, вряд ли! — усомнился Виктор Иванович.— Мне хозяйка квартиры сказала, что он только на днях уехал из Москвы.

Но на всякий случай утром на другой день он послал на лошади Храпона узнать правду. Храпон ездил на ключ, на пчельник, и Потап признался: Иван Викторович здесь, только не велел сказывать. «Утром уходит, ночью вертается».

Недоумевая и пугаясь, Виктор Иванович сам решил съездить на пчельник. Чем свет он выехал один на бегунках. Караковый жеребец, косясь черным глазом на длинный хлыст, вразмах понес бегунки за город по Татарской улице, еще не совсем проснувшейся: везде еще были закрыты ставни, а женщины, выходя из калиток, широко крестились — по цветогорскому обычаю креститься при выходе на улицу в первый раз утром. Высокие колеса мирно шуршали по немощеной дороге. Женщины долго смотрели вслед, и Виктору Ивановичу было неприятно это любопытство. Он гнал шибко, и за последними домами повернул в сады, мимо Красновой рощи. Сады уже давно отцвели, зелень потемнела, яблоки мирно глядели сквозь темную листву большими глазами. Пахло полынью, прохладной, просыпающейся землей. На мосту через речку сидели

солдат и женщина. Женщина, заслышав мягкий стук копыт, перекрылась платком — спрятала лицо.

За садами пошла дорога Мокрой Балкой — долиной с пологими склонами, на которых стлалась яшмовая зелень бахчей. На бахчах маячили серые соломенные шалаши, у шалашей ходили люди, горели костры. Все было полно покоя и тишины. Виктор Иванович, волновавшийся сердито, теперь успокоился. Это утро, эти просторы, этот ленивый дым утренних костров навевали покой.

Въехал в лес, и колеса дробно застучали по обнаженным корням дубов. Солнечные пятна лениво играли по лесной дороге. «Есть ли о чем волноваться?»

Пчельник был у Ясырихи, в пяти верстах от лесной опушки. За маленькой полянкой мелькнул плетень. Виктор Иванович повернул лошадь с дороги к большому, похожему на огромный шатер, дубу, привязал вожжи к стволу и, сбивая хлыстом головки высоких лесных трав, пошел к пчельнику. Он увидал плетень и опять сердито сдвинул брови.

За решетчатыми воротами развернулась поляна с низкими яблоньками, и между яблонь стояли ульи: белые, голубые, зеленые — множество. Слева от ворот маячила небольшая сторожка с одним окошком. Виктор Иванович остановился у сторожки, хлыстом стукнул в окно. Потап тотчас появился на крылечке — всклокоченный, с большими святительскими волосами, Виктор Иванович заметил: Потап сразу испугался.

— Ну-ка, где он? Позови его.

Потап закланялся, заметался.

— Сию минуту.

И побежал в сторону, мимо ульев, к шалашу, что виднелся в дальнем углу у плетня. Виктор Иванович сделал несколько шагов вслед за ним, остановился у верстака, на котором Потап делал ульи и рамки. Он услышал, как Потап испуганным шепотом зашипел во тьму шалаша:

— Иван Викторович! Вставайте! Папаша приехали!

Сонный голос громко спросил:

— Кто приехал?

— Папаша. Идите скорей: зовет.

— Ты сказал, что я здесь?

— Да как же не сказать, коли они уже все знают? Требовают, чтобы вы шли к нему. Зашел бы он ко мне в избушку, а там ваши книжки эти самые, тужурка лежит — тут и не сказал бы, да не скроешь. Идите скорее!

Иван, ворча, вылез из шалаша и, как был, лохматый, без пояса, пошел между ульев навстречу отцу. Весь пчельник был залит солнцем, на траве блестела роса. На липах и кленах кричали зяблики, пчелы мелькающей сеткой реяли в воздухе, жужжали сильно, словно трубили, радуясь погожему дню. Пахло мокрой травой и медом. Отец стоял у верстака, нетерпеливо левой рукой пощипывал конец бородки, правой взмахи-

вал хлыстом, колотил по верстаку. Он был одет в чесучовый пиджак, в белой фуражке, весь как высокий белый столб. Он хмуро, с любопытством смотрел на сына. Иван шел к нему медленно, шаг за шагом, так же хмурился, как отец. Шагов за десять Иван остановился, сказал просто:

— Здравствуй, отец!

Виктор Иванович чуть дрогнул. Это обращение «отец», а не обычное «папа» его кольнуло. Он спросил глухо:

— Что это значит?

Иван невинно спросил:

— Что именно?

— А вот это: на пчельнике живешь, домой глаз не показываешь. Говорят, ты по заводам ходишь, связался тут с кем-то.

Иван нахмурился:

— Мне так нравится.

— Нравится? То есть что нравится?

— Нравится жить на пчельнике одному. Что я не видел дома?

— Послушай, Иван, да ты с ума сходишь? Ты подумай, что ты говоришь!

— Что думаю, то и говорю.

Виктор Иванович сердито рассмеялся:

— Ну что ж? Мы Потапа прогоним, а тебя сторожем на пчельник возьмем. Сколько ты жалованья хочешь?

Иван ответил опять просто, без задора:

— Ты, отец, эти насмешки оставь. Не такое время теперь, чтобы смеяться. Ни к чему это.

— Что-о? — придавленным голосом протянул Виктор Иванович.

— Да то. Если я не хочу к вам идти, значит, у меня есть на это свои причины.

У Виктора Ивановича от удивления открылся рот. Так с вытаращенными глазами он минуту стоял перед сыном, смотрел на него, как на диковинного зверя. И вдруг весь напрягся, лицо стало наливаться багровой краской.

— Ты это кому же говоришь?

Иван презрительно усмехнулся, поднял голову:

— Кому? Тебе, моему отцу, Виктору Ивановичу Андронову.

— Так, так, сынок!

Они оба, как петухи, насторожившись, стояли один перед другим. Виктор Иванович стоял багровый, злой. Потап издали, от крыльца избушки, смотрел на них. Он вдруг забеспокоился. Виктор Иванович крикнул:

— Домой иди! Сейчас собирайся, поедем!

Иван повернулся боком к нему.

— Мне дома нечего делать. Я пока здесь побуду.

— А я тебе говорю: иди домой! Срам на весь город! Родной сын приехал сюда, а домой не показывается. Ты должен идти.

— А я тебе говорю: не пойду. Из Москвы я уехал потому, что меня хотели арестовать ваши прихвостни. А я желаю здесь жить так, как хочу именно я.

Он стукнул кулаком правой руки по ладони левой, будто припечатал: не пойду. Виктор Иванович передернул плечами, лицо у него стало свекольным, борода затряслась. Он молча осмотрел сына с головы до ног, будто мерял его четвертями и вершками, как незнакомого и злого врага.

— Не пойдешь?

— Не пойду.

— Не пойдешь?

— Я тебе сказал: не пойду.

— Ванька, смотри!

— Нечего мне смотреть.

— Не пришлось бы плакать! Смотри, прокляну. Из дома выгоню!

— Проклинай, пожалуйста, выгоняй. Я сам больше от тебя ни копейки не желаю брать.

— Ах, не желаешь?

— Да, не желаю. С грабителями я не желаю иметь никакого дела.

— С грабителями?!

Виктор Иванович сделал два шага к сыну, резко и быстро взмахнул хлыстом, обжег сына по спине через голову. Иван скакнул к верстаку, не глядя, схватил первое, что ему попалось под руку, и взмахнул над своей головой, готовый ударить отца. Виктор Иванович разом стал белым, как его фуражка. Вдруг сзади, от крыльца избушки, послышался заячий перепуганный крик Потапа:

— Ай, батюшки! Топор схватил! Батюшки!.. Что вы делаете? Господи, царица небесная! Ванюша! Ведь это же папаша ваш! Батюшки мои!.. Топор! Топор!

Иван опустил руку, глянул на топор и швырнул его под верстак. Весь сжавшись, он пошел в сторону. Виктор Иванович стоял бледный, с перекошенным лицом, молча, и, когда Иван отошел шагов десять, он только тогда забормотал:

— Так, так, так. Отца? Убить отца? Доучился! А я-то... Родил! Воспитал! Обучил! Ха-ха! Отца-то топориком!

И повернулся сразу, пошел подпрыгивающей походкой прочь и уже у ворот, повернувшись к сторожке, крикнул:

— Потап! Чтобы этой нечисти на пчельнике сегодня же не было! — Он хлыстом показал на сына.— Слышишь? Если к вечеру он еще будет здесь, то знай, что ты завтра же у меня не служишь. Понял? Все ульи твои повалю, избу сожгу, все дочиста сровняю! Я вам покажу! Я не посмотрю, что вы с топориками!

Потап сбежал с крыльца и, как побитая собачонка, торопливо шел за хозяином.

— Да мне что ж? Как прикажете, Виктор Иванович! Вам

ведь хотел угодить, вашего сына берег. Я разве знал, что дела такие будут?

— Ну так вот, теперь знай!

Виктор Иванович сердито отодвинул ворота, вышел, и слыхать было, как за деревьями стукнули колеса и фыркнула лошадь.

Иван все так же неподвижно, с опущенной головой, глядя исподлобья, стоял между ульев. Он будто устал. Когда за деревьями замолкли колеса, он повернулся, пошел к шалашу, пролез в его черную пасть и, судорожно сцепив руки, лег на сено.

А за шалашом гудели пчелы, в лесу кричали зяблики, и весь воздух был полон запахом меда. Потом за шалашом зашаркали чьи-то ноги, и робкий голос забормотал:

— Негоже так, Иван Викторович, папаша ведь ваш, родитель! «Чти отца твоего и матерь твою». А вы топором! Господи-батюшка, папашу топором!

Иван сказал тихонько:

— Уйди, Потап!

— Мне что ж, я уйду. Но только и вы с пчельника уходите уж, пожалуйста! Я тоже не желаю с неблагочестивым сыном дело иметь. Виктор Иванович первый человек и в нашем городе, и в нашем краю, а вы его так обидели, господи-батюшка! Кругом смута, последние дни доживаем: сын на отца с топором идет...

— Уйди, Потап, прошу тебя,— опять тихо сказал Иван.

— Мне уходить некуда, я у своего места стою. Мне поручено дело, и я его исполняю, а вот вам надо уходить.

— Да ты уйдешь?! — сразу заревел Иван и быстро вылез из шалаша: — Убью подлеца!

Потап ахнул и побежал рысью от шалаша к сторожке.

— Что ж это будет, господи? То отец притесняет, то сын убить обещает. Куда же мне деться? Это не люди, а деймоны, прости господи!

В голосе было слезливое.

Иван поспешно собрал свои вещи, молча прошел в сторожку и через минуту вышел уже одетый в тужурку, в фуражке. Он запихал в корзинку книги и белье, взвалил корзинку на спину и пошел с пчельника той самой дорогой, по которой уехал отец.

## IV. Смута

Птицей понесся караковый жеребец по лесной дороге.

Колеса бегунков сверкали точно круглые щиты. Виктор Иванович на самые глаза надвинул фуражку, весь подался вперед, стегал жеребца хлыстом по крутым бедрам. На корнях и выбоинах бегунки подпрыгивали, жалобно звякали. До средины Мокрой Балки жеребец не уменьшал ход. Желтоватая пена

кусками падала с его губ, взмылилась вокруг шлеи и седелки. Голубая подпруга стала серой. Жеребец дышал, всхрапывая. На бахчах виднелся народ. По дороге навстречу шла толпа женщин — в лес за сучками. Они с испугом и удивлением смотрели на взмыленную лошадь, несущуюся из леса. Женщина в белом платочке подняла вверх руку, крикнула пронзительно:

— Ай что случилось? Зачем скачешь?

Виктор Иванович не оглянулся, не ответил. Но мысль: «Увидят, узнают!» — уколола его. Он торопливо сдержал лошадь, заставил идти шагом.

«Как быть?»

Ему разом представился тот ужас, что поселится сейчас в семье, когда он вот приедет, расскажет («Сын с топором на отца!»), и тот позор, что рекой разольется по всему городу. Все, все засмеются: бесчестье сына черным пятном ляжет и на отца, и на всю семью.

«Как быть?» — в десятый раз спросил себя Виктор Иванович.

Он медленно выехал из Мокрой Балки.

Справа протянулась Соколова гора с меловыми склонами, укрытыми голубоватой богородской травой, на горе кладбище, дальше — монастырь, сады, Макшанова мельница. Везде народ, переклики... Мокрые бока жеребца стали отходить. Виктор Иванович пустил его в проводку — живыми улицами к дому. Он надвинул фуражку на самые брови. Лицо будто окаменело. Василий Севастьянович выбежал-выкатился на крыльцо, тенорком закричал издали:

— Ну что? Правда, что ли?

«Рассказать? — Виктор Иванович остро глянул в лицо тестя.— Вот будет дело!»

— Да, живет. Только я... его... не встретил. Чем свет он ушел с пчельника.

— А-а, ушел? Куда же ушел? Неужто на завод рабочих бунтовать?

Виктор Иванович не ответил, тяжело — в первый раз в жизни,— тяжело поднялся на крыльцо, пошел в дом. Елизавета Васильевна пристально глянула в глаза мужа и... ни о чем не спросила. Она молча следила, как муж беспокойно прошел по зале, в угол, постоял, вернулся к столу, пошел было к двери, что на террасу, опять вернулся, будто не знал, куда идти и что делать. И по этим неуверенным движениям его, всегда уверенного, она поняла: с ним произошло необычное. Она поспешно пошла к двери, позвала:

— Поди-ка сюда, Витя, у меня к тебе дело есть.

Она сама затворила и заперла дверь в кабинете, подошла торопливо вплотную к мужу, спросила вполголоса:

— Что случилось?

Виктор Иванович посмотрел на нее отчаянными глазами, оглянулся на дверь (хотел увериться, заперта ли), опять глянул в глаза жены.

— Что с тобой? Что случилось? — тревожным шепотом спросила Елизавета Васильевна.

— Что? Что? — забормотал Виктор Иванович, пряча свои глаза от глаз жены, и вдруг всхлипнул.

— Говори же! — выкрикнула в голос Елизавета Васильевна и сцепила из всей силы плечо мужа.— Он умер?

— Если бы он... умер... было бы лучше. Он... хотел убить меня. Он замахнулся на меня *топором*...

Виктор Иванович произнес эти слова раздельно, отчетливо, опять оглянулся на жену косо. И не узнал той женщины, что стояла рядом с ним: так ужасно было ее лицо и так трагичны глаза.

— Ну-ну, ты еще... будет! Давай вдвоем обсудим, как быть,— забормотал он, испугавшись.

Он обнял жену, подвел к дивану, усадил.

— Ну будет же! Опомнись!

— Постой! Что ты сказал? На тебя замахнулся топором?

— Ну да. Убить, видимо, хотел. Правда, и я погорячился, ударил его хлыстом...

— Тебя убить хотел? Тебя? Отца? Наш мальчик?

— Гм... мальчик! Был мальчик, а мы и не заметили, как он ушел от нас в разбойники.

Елизавета Васильевна будто расплылась вся по дивану — опустилась, прилегла, дышала тяжело, шумно.

— Приезжаю я, привязываю лошадь, иду на пчельник...

Виктор Иванович, рассказывая, бегал по кабинету, махал руками.

— Дай... мне воды! — попросила Елизавета Васильевна, с трудом выжимая слова.

— Я не знаю, что теперь делать. Позор! Позор на мою голову! И на всю на семью на нашу!

— Не говори. Никому никогда не говори об этом. Слышишь?

— Я уж и то думаю.

— Да, да. Никогда! Потап слышал? Я сейчас поеду сама. Я поговорю...

— Я не могу тебя пустить. Этот мерзавец может и тебя оскорбить.

— За меня не беспокойся. Не оскорбит. Я ему... я ему все скажу.

Она заторопилась, вышла поспешно из кабинета и через немного минут уже садилась в пролетку, где на козлах сидел Храпон.

— Куда это она? — забеспокоился Василий Севастьянович.— Даже не хочет говорить...

Вернулась она часа через четыре, строгая, суровая.

— Ну? — спросил Виктор Иванович, когда они остались вдвоем.

— Он уже ушел. Вслед за тобой. Я приказала Потапу молчать.

И больше они не говорили...

Виктор Иванович дня три ходил сам не свой. Забросил дела, книги, чутко прислушивался, что говорят в доме. Он боялся: узнают, и тогда — позор. С тревогой ждал приезда тестя — с «низов»: не говорят ли об андроновском позоре в гостиницах? Как знать? Сдержит ли Потап свое слово? И не похвалится ли кому сам Иван?

Нет, нет! Ни слуху ни духу об этом.

А может быть, и не до того было никому: весь город в это лето был полон смуты, вся жизнь взволновалась, сбилась с панталыку. Каждый день приносил событие — убийство или грабеж, в каждый день рождалась тревога, и никому не было дела до того, что происходило у Андроновых.

И было хорошо: в этой смуте незаметно изжить обиду...

Уже надвинулась осень, как всегда на Волге, широкая, с ласковыми просторами, испещренными золотыми и пурпурными красками. Утомленное солнце грело слабо, вода ластилась к песчаным отмелям, в полях уже собрали урожай, сады и бахчи были полны плодами, но никого будто не радовала эта осенняя благодать.

Каждый поезд и каждый пароход привозили с фронта множество солдат-беглецов. Они приезжали с винтовками, с патронами, сумрачные, озлобленные, всеми недовольные, требовательные. Уже слыхать было — на заводах и масленках прекратились работы, а рабочие все-таки требуют платы. Купцы и фабриканты втихомолку собирались, звали на свои собрания Виктора Ивановича, говорили долго: что делать? где выход? Все были убеждены, что на правительство надеяться нечего, нужна сильная власть, пока жизнь не развалилась до конца. А власти сильной не было.

С конца сентября из уезда полезли слухи: мужики громят и делят помещиков. В конторе «Торгового дома Андроновы и Зеленов» все дело остановилось. Ни скупок, ни продаж — ничего. И, как последний решающий удар, пришел закон о хлебной монополии: государство само брало весь хлеб в свои руки.

Василий Севастьянович был сражен этим законом.

— Пришла беда — отворяй ворота! Внизу смута, а наверху безголовье. Что это будет?

Однажды вечером Виктор Иванович вышел на балкон. Над городом стояла такая тишина, что слыхать было, как на дальних улицах скакала телега. За забором шла большая говорливая толпа — от Волги в город. Кто-то крикнул:

— Эй, берегись!

И в крике была угроза. Толпа подошла ближе к андро-

новскому дому, и тот же голос или, может быть, другой, но такой же грубый и резкий закричал:

— Вот они где живут, кровопийцы! Эй, Андронов! Берегись! Сарынь идет!

И через сад на балкон полетел булыжник. Виктор Иванович поспешно встал за колонну. Еще камень ударился в стену, отскочил, зашуршал по кустам. Виктор Иванович ждал: сейчас начнут бить окна. Да, зазвенело с фасада окно, разбитое камнем. Виктор Иванович поспешно вошел в дом, прошел в кабинет, сунул револьвер в карман. По комнате пробежала горничная Груша, в темноте зашипела:

— Окна бьют!

Виктор Иванович широким шагом подошел к тому окну, где были разбиты стекла. Он готов был стрелять. Но толпа уже прошла мимо. Улица была пустая, темная, нигде ни огня — никого. Это было очень страшно. Он повернулся и через залу и столовую прошел в самые дальние комнаты. Там ждали его встревоженные женщины.

— Что ж это будет? Кому жаловаться?

Виктор Иванович успокаивал их, а у самого где-то в сердце был тот же вопрос: «Что это будет? Кому жаловаться?»

Через час приехал Василий Севастьянович: он был у попа Ларивона на совещании. Ему рассказали о разбитых окнах. У Василия Севастьяновича округлел от страха рот.

— Ну, друзья, пришли последние времена. И прежде хорошие у нас были правители, теперь появились еще чище.

Виктор Иванович взял тестя под руку, провел в кабинет.

— Не стоит пугать женщин, папаша! Будем держаться вместе. Скажите, что говорилось у вас на совещании?

— Да что ж говорилось? Ничего не говорилось. Никто ничего не понимает. Бирюков кричал: «Белого генерала надо!» Да чудно так у него выходило — и смех и грех...

Виктор Иванович нервно прошелся из угла в угол.

— Да. Белый генерал... Еще неизвестно, придет ли он, а вот уже по улицам галахи ходят, кричат с гордостью: «Сарынь идет!»

Василий Севастьянович завздыхал:

— Что ж, верно ты сказал — с гордостью кричат: «Сарынь идет!» И в сказках, и в преданиях, да и так все мы слыхали сказы про разбойников, как они нашего брата купца грабили да измывались. Нужно думать, что и теперь будет такое время. Ведь вот несообразный народ какой! Ну, кого хвалят? Разбойников. Ну хорошо. Ну, отнимут у нас деньги. А куда денут? На доброе дело? Господи боже, да на доброе дéло мы сами готовы дать! А ведь эти возьмут только на пропой да на девок — путь один. Ведь вот глупость-то: любит русский человек про господина разбойничка поговорить, похвалить его, а не соображает, что разбойники всю нашу жизнь теперь погубят.

— Ну, папаша, какие же здесь разбойники? Здесь дело политическое. Ты помнишь Панова? Ведь вот сейчас решили проводить как раз то же самое, что Панов тогда проповедовал: земледельцам отдать поля, а рабочим — фабрики и заводы.

— А нас куда? — устало спросил Василий Севастьянович.

— А нас в сторону. Что ж, и жаловаться ни на кого нельзя: мы в родной семье имеем такого выродка.

— Это ты про кого?

— Известно, про кого: про Ивана.

— Да уж и говорить нечего! Осудил бы, да не знаю, как осудить. Сами вырастили, выкормили, в жизнь пустили. А все эта Симка проклятущая...

Всю эту осень город жил совсем странной, небывалой жизнью. Сперва власть была у думы: думу ругали все. Потом власть перешла в руки солдат, вернувшихся с фронта. Они называли себя фронтовиками, расклеивали по городу приказы, собирали дань с купечества и с людей богатых,— обложили всех налогами.

В октябре пришли вести, что Временное правительство свергнуто и власть перешла в руки большевиков. Тревога усилилась: на базаре, на улицах, в думе кричали и спорили до потери голоса. Рабочие, мещане и кое-кто из солдат объявили себя большевиками, требовали, чтобы фронтовики передали им власть. Фронтовики противились, в думе и на базаре были иногда драки, и вечерами стало опасно ходить по улицам: где-то кто-то стрелял, где-то кто-то кричал «караул», но кто и где — неизвестно, и никто никому не шел на помощь. В одну неделю ограбили фабриканта Мартынова, убили мануфактуриста Мельникова, среди бела дня на двор к фабриканту Залогину пришли люди в шинелях, взяли лошадей, экипажи, заявили, что они — власть.

В середине зимы, как-то вечером, после прихода поезда, вдруг весь город наполнился выстрелами, по улицам испуганно забегали люди, в андроновском доме все заперли на семь замков: и ворота, и калитки, и двери, и окна занавесили, закрыли ставнями. Всем казалось, что сарынь в самом деле пришла, уже громит город.

Кучер Храпон с Григорием, закутанные в шубы, с топорами в руках ходили по двору, караулили. К ночи выстрелы смолкли, в городе наступила зловещая тяжелая тишина. Виктор Иванович послал Григория узнать, что случилось. Тот помялся (неохота было идти), потом решительно надвинул шапку, махнул рукой — «была не была!»,— пошел. Вернулся он через час, сказал, что пришел красный отряд, разоружил фронтовиков и теперь в городе власть большевистская.

Женщины заплакали, закрестились от ужаса, и теперь уже откровенно, по-бабьи плакала и крестилась измученная Елизавета Васильевна. И Виктор Иванович за всю жизнь впервые

почувствовал себя бессильным: «Что делать? На кого опереться?» Вот ему казалось, что захоти он, и все будет. Теперь же он увидел, что он только звено в этой большой цепи, которая именуется обществом. Цепь спуталась, рассыпалась. Он, сильный Виктор Иванович, выпадает.

Утром он сам ходил в город посмотреть. Везде — у городских складов, у городской думы — стояли вооруженные люди с красными лентами на шапках. Эти люди были одеты и в черные пальто с барашковыми воротниками, и в шубы, и в солдатские шинели. Они уже заняли дом купца Менькова: здесь были их казармы.

Рабочие с заводов все сплошь встали за новую власть. Виктор Иванович, проходя по улице, чувствовал на себе злорадные взгляды. Ему было не по себе.

Дома его встретила сама Елизавета Васильевна:

— Ну что? Как?

Он ответил коротко и выразительно:

— Беда!

И с того дня перестал выходить из дома. Выходил лишь Василий Севастьянович. Он по очереди навещал купцов, фабрикантов, и день ото дня его новости становились страшнее: Ивана Саввича арестовали, на Павла Сергеевича наложили контрибуцию.

И вскоре, в февральскую ночь, у ворот андроновского дома кто-то властно застучал. Храпон долго переговаривался, не отпирая ворот. Гришка прибежал в дом, в столовую, сказал, задыхаясь:

— Виктор Иванович, пришли!

А в столовой уже собрались женщины, перепуганные стуком до полусмерти.

Виктор Иванович пожал плечами:

— Что ж, впустите!

В дом пришло человек двадцать, молодые и пожилые, все в кожаных куртках или в солдатских шинелях. Виктор Иванович вышел им навстречу.

— Что угодно, товарищи?

Высокий солдат, белокурый, с испитым лицом, с широкой красной повязкой на рукаве, спросил строго:

— Кто здесь купец Виктор Иванович Андронов?

Солдат держал в руках маленькую бумажку.

— Я купец Виктор Иванович Андронов,— резким, строгим голосом ответил Виктор Иванович.

Солдат помахал перед его носом бумажкой:

— Вот мы на вас наложили контрибуцию в триста тысяч рублей. Давайте деньги.

Виктор Иванович развел руками:

— Мои деньги в банке. Если угодно, берите там.

— В банке мы и без вас возьмем. А вот потрудитесь здесь заплатить.

— Таких денег в доме у меня нет. Вряд ли сейчас найдется и десять тысяч.

— Так вы добровольно не хотите платить?

— Я же говорю вам, что денег таких нет.

— Ага, ну, мы тогда поищем сами!

Белокурый солдат сделал знак — и все, все его двадцать товарищей рассыпались по комнатам. А двое — с винтовками в руках, в шапках на затылке — остались в зале. Один закричал громко и повелительно:

— А ну, граждане буржуи, садитесь-ка вон на те диванчики! Мы вас покараулим...

Другой, зубоскаля, добавил:

— Покараулим, чтобы мухи вас не съели...

Пыхтящий, красный Василий Севастьянович уселся на диван прежде всех, расставил ноги и, усевшись, покачался вперед-назад, как всегда, как обычно. Грузно опустились рядом с ним Ольга Петровна и Ксения Григорьевна, обе красные: им было жарко, точно в бане. Важно уселась на конце дивана Елизавета Васильевна. Все ее манеры вдруг приобрели важную медлительность, она сделала вид, что не замечает солдат. Виктор Иванович спокойно сел рядом с ней. Он уже взял себя в руки. Солдаты пододвинули кресла, сели напротив, оба положили винтовки в сгибы левых рук — разученным движением — и закурили. Соня пронзительными ненавидящими глазами смотрела на них. Ксения Григорьевна, увидев цигарки в зубах солдат, вздохнула:

— Господи, господи, что же это будет?

Человек с револьвером, стоявший у двери, сказал строго:

— Гражданка, прошу вас не говорить ни слова.

— Сидите тихо, чтоб... не пикнуть!

Из всех комнат уже слышался шум: что-то трещало и падало, с кем-то громко спорила Груша, на минуту в столовую ворвалась Фима, сердито закричала:

— Виктор Иванович, что это будет? Они даже в погреб полезли.

Человек с револьвером схватил Фиму за руку, приказал:

— Гражданка, прошу вас не шуметь. Кто такая? Экономка? А ну садись вот к ним! Теперь рабы отменены. Садись, садись!

Солдат поспешно встал, взял Фиму за руку и усадил на диван рядом с Елизаветой Васильевной.

Виктор Иванович усиленно прислушивался, что делали в его кабинете. Там что-то бросали с силой на пол,— должно быть, книги. Потом зазвенели стекла,— вероятно, разбили шкаф или уронили картину. И за много, много лет впервые он не только без любви, но уже с ненавистью подумал о вещах: зачем он их собирал? Вот как-то совсем недавно он говорил Елизавете Васильевне:

— Хорошо, Лиза, твою комнату выдержать всю в голубых тонах.

И в самом деле сделали так, что ее будуар был весь голубой с золотом. Теперь... теперь в этом будуаре что-то трещало и падало... Солдат с повязкой на рукаве скрылся, через десять минут опять вошел, держа в руке портфель Виктора Ивановича.

— Гражданин Андронов, скажите откровенно, где вы держите золото?

— Вы же, вероятно, уже видели мое золото в несгораемом шкафу!

— Да, видели. Но там только двадцать монет.

— Это все.

— Ага, все? Так вы не хотите отдать? Ну что ж, посмотрим. Вам придется пойти в тюрьму.

Елизавета Васильевна нахмурилась, задвигалась беспокойно, сказала:

— У меня есть золото,— там, в моем столе. Возьмите. Только, пожалуйста, не трогайте мужа.

— А где ваше золото? Идите, показывайте!

Елизавета Васильевна поднялась, пошла вперед. Белокурый солдат пошел за ней. В зале напряженно слушали, ждали, что будет. Слышно было, как Елизавета Васильевна раздраженно крикнула:

— Вы уже взяли все!

— Где? Кто взял? — вызывающе спросил солдат.

— Ну вот, выдвинуты ящики. Видите. Замки сломаны.

Чей-то голос, третий, торопливо заговорил:

— Да, да, я уже взял, товарищ Самохин. Все теперь у меня. Вот.

Елизавета Васильевна вернулась красная, дрожащая, глаза ее были полны сле., губы и подбородок тряслись.

— Все взяли,— прошептала она.

Обыск продолжался до утра. В зале, возле рояля, кучей складывали одежду, драгоценные вещи, старинные серебряные кубки. Взяли ножи, ложки и вилки, серебряные блюда. Долго гремели, перекладывая их.

Утром — уже рассветало — белокурый солдат приказал Храпону запрячь лошадь. Храпон хотел запрячь Гнедка — старого, изломанного, но солдаты сами пошли в конюшню и вывели оттуда двух караковых лошадей, любимых лошадей Виктора Ивановича, приказали Храпону запрячь их. И Гнедка захватили — сами впрягли в тарантас, а на тарантас навалили узлы, постели, подушки. Когда уезжали, уже благодушно смотрели на хозяев, шутили:

— Эй, тетки, не унывайте! Что носы повесили? Ваши мужья еще награбят!

Фима зашипела:

— Ишь пьяные морды, заглянули в погреб, вино нашли, шутят!

Высокий солдат сказал Виктору Ивановичу:

— Гражданин Андронов, народное достояние, отобранное у вас, перевозится в ревком. За всякими делами вы можете туда обращаться. У нас обиды не будет...

Уехали, увезли, ушли. Ворота и калитка за ними остались широко открытыми. Дом остался холодный, и в каждой комнате царил беспорядок и разгром. Женщины, переходя из комнаты в комнату, плакали в голос, как по покойнику. Плакала Фима, плакала горничная Груша... Повар-француз ходил по комнатам, качал головой и говорил ломано:

— Не карашо. Вор есть. Не карашо.

Ольга Петровна вдруг зарыдала громко, истерично...

Целую неделю после Андроновы приводили дом в порядок. Вещи ставили на места, разбитое выносили. Чего ни хватись, ничего не было или было, но переставлено в другое место, терялось — не отыщешь. Разгромленные парадные комнаты заперли, переселились в заднюю половину дома, в маленькие комнаты, и в голубом будуаре Елизаветы Васильевны устроили столовую.

И с этими же странными днями совпало начало голода. На базарах исчезли хлеб и мясо. Мужики, напуганные реквизициями, перестали возить продукты в город. И нужно было уходить за сады, в лес, отыскивать муку, мясо, масло, овощи,— туда еще — за сады и в лес — мужики решались привозить. Скоро в лесу, на поляне, устроился базар. Торговцы и покупатели, как воры, прятались между деревьями и, завидев красноармейца, поспешно убегали, уезжали.

Храпон и Фима ранними утрами на лошади ездили в лес покупать. Но теперь мужики уже не брали денег, а требовали вещи. И каждый раз Храпон увозил целую вязанку белья, одежды,— менял на хлеб.

Из деревни Рыбное в дом приезжал мужик Квасов — старый знакомый Василия Севастьяновича — и с добродушной, откровенной наглостью говорил:

— Денег за хлеб не беру, а вещи вот у вас хорошие есть,— их бы я взял.

Он, как хозяин, ходил по андроновскому дому, его провожал сам Василий Севастьянович. Квасов важно осматривал картины, мебель, шкафы, зеркала.

— Вот я бы эту трюму взял. Пудик мучки отдал бы за него.

Василий Севастьянович ругательски ругал его в глаза.

— Ты подумай-ка, что говоришь! Это трюмо шестьсот рублей стоит, а ты пуд муки даешь. Креста на тебе нет, на подлеце!

Квасов ухмылялся смущенно, мялся и все-таки в третий приезд положил на воз трюмо, повез к себе в Рыбное.

Но можно было мириться: большевиков ругали и в городе, и по деревням. Богатые мужики ругали за то, что большевики отнимают у них хлеб и скот, мещане ругали за то, что нет работы, ругали купцы и фабриканты, ругали попы и монахи, ругали все. Недовольство росло, а новая власть, точно не замечая этого

недовольства, поворачивала жизнь круто, словно железной уздой усмиряла норовистую лошадь. Только заводские рабочие да солдаты будто были довольны: они хозяева.

Виктор Иванович теперь частенько ходил по улицам — дома нечего было делать и тоскливо было сидеть, глядеть на унылые лица жены, матери, тещи. И хотелось ему понять, что делается — в городе, в мире. По улице ездили красноармейцы — верхами. И сколько, сколько раз Виктор Иванович слышал, как вслед им мещане шипели:

— Вот они, архаровцы-то! Стащить бы их с лошади! Ишь зубы-то показывают!

И это злобное шипение радовало, как хорошая музыка.

Дни шли. А люди налились злобой, как банки ядом,— вот-вот разобьются, разольются, яд потечет. На каждой улице, на каждом перекрестке уже собирались маленькие толпы, говорили вполголоса, оглядывались испытующе и тотчас расходились, едва вдали показывался серый красноармеец или человек в кожаной куртке. В глазах залегла затаенность, и лица у всех были угрюмы, как лес, в котором живут разбойники.

Василий Севастьянович с удовольствием, с дрожащей радостью каждый вечер успокаивал женщин, обещал:

— Подождите, теперь скоро. Скоро этим разбойникам конец придет!

Ксения Григорьевна качала головой:

— Уж придет ли? Чтой-то и не верится.

— Придет. Что посеяли, то и пожнут.

И все тайно радовались, с дрожью ждали конца... Фима, Храпон, Григорий, горничная Груша — все теперь обращались с хозяевами фамильярно, по-свойски, и все в один голос утешали: вот-вот, не нынче завтра.

— Что ж это такое, Виктор Иванович? Жить никому не дают. Мужики ругаются, чиновники ругаются, все ругаются. В самом деле, кому же радость? Никому никакой радости.

Нагибовские парни ходили по улице козырем, с фуражками на затылке, с особенной решительностью поглядывали на красноармейцев, и смех у них у всех был затаенный, злобный:

— Подождите!

Уже шел май. Волга в этом году стояла совсем пустая: ни пароходов, ни барж. Носились слухи, что в Самаре и Саратове идут восстания. В Цветогорье от этих слухов стало еще тревожнее.

Как-то — уже в конце мая — мужики собрались в городской думе утром, чтобы потолковать, как они будут теперь делить сено. Из года в год они собирались, и ни революция, ни войны не изменяли порядка, и, как всегда, разговаривая, спорили и ругались, и можно было подумать: сейчас подерутся. Подошел красноармеец к мужикам, сказал строго:

— Разойдитесь!

Красноармеец был маленький, безусый, почти мальчуган, с торчащими из-под фуражки вихрами. Он держал винтовку наперевес, угрожающе. Мужики заворчали.

— Мы свое дело делаем. Мы об сенокосе. Это политики не касаемо.

Парни нахмурились, в толпе сразу стало тихо-тихо. А красноармеец стоял на своем:

— Расходись!

И тогда все заговорили погромче:

— Это что же? Нам и дело делать мешают?

Красноармеец нервно отскочил шага на два назад и закричал тоненьким голосом:

— Расходись! Стрелять буду!

Павел Ремнев, мужчина в сажень ростом, первый кулачный боец по Цветогорью, поймал рукой винтовку, дернул. Красноармеец кубарем полетел к ногам толпы, и в толпе тотчас сразу вспыхнул рев: «Бей!» Толпа потоком понеслась к гостиному ряду, где (это знал каждый в городе) в запасных магазинах были склады винтовок и патронов. Только немногие покружились минуты две-три там, где упал красноармеец. Часовой выстрелил раз, другой. Толпа сбила его с ног. Часовой закричал жалобным, тоненьким голоском и сразу смолк, задавленный. Перед дверями на момент все смешалось. Кулаками били в дверь, гремели огромным замком. Голоса кричали:

— Камень бери! Бей!

И сразу десятки рук подняли огромный камень, лежавший здесь, у перил, с размаху ударили в двери. Двери с треском вылетели. Толпа ворвалась в темный склад и через момент люди поодиночке начали выскакивать уже с винтовками в руках, набивая в карманы пачки патронов. Человек десять тащили измятого красноармейца на пароходную пристань, там, у перил, раскачали его и бросили в Волгу. В новом соборе зазвонили в набат. Набат отозвался в других церквах. В одну минуту весь город наполнился судорожным звоном и выстрелами.

В доме Андроновых, услышав набат и выстрелы, сразу заметались. Ксения Григорьевна упала перед иконами на колени, крестилась торопливо, взывала:

— Господи, помоги им! Помоги!

У Виктора Ивановича дрожали руки. Он вышел на балкон. Выстрелы были вот рядом, только за этими домами, гремели оглушительно. Василий Севастьянович кричал во дворе:

— Закрывайте ворота! Дело обойдется без нас. Пускай там повоюют!

Виктор Иванович поспешно прошел двором на улицу, на ходу надевая фуражку. Елизавета Васильевна побежала за ним:

— Витя, куда ты? Не ходи! Не ходи! Пусть они сами... пусть они сами, проклятые, расхлебывают!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было перекошено, в глазах — мучительная злоба. С растрепанными волосами, бледная,

с дрожащими губами, она была страшна в злобе: он никогда в жизни не видел ее такой.

— Не ходи! — крикнула она.

Виктор Иванович махнул сердито рукой:

— Пойду! Не могу сидеть. Ты слышишь? Все бегут!

Он сам открыл калитку.

По Миллионной улице к базарной площади бежали саженными шагами мужчины и ребята, бежали раздетые, без шапок, иногда босиком, и у всех лица были серьезны и страшны. В широко открытых, круглых, как пятаки, глазах мелькало безумие: бей!

На углу стояли толпой женщины, о чем-то задорно спорили. Они увидали Виктора Ивановича, и тотчас три из них отделились от других, подбежали к калитке.

— А ты что ж не идешь? — закричали они наперебой прямо в лицо Виктору Ивановичу.— Все мужчины идут, а ты не идешь? Иди, иди!

И Виктор Иванович, не слушая, что сзади кричала Елизавета Васильевна, пошел. По улицам метались женщины... А набат всё звонил.

Выстрелы гремели с разных сторон. Мужчины и мальчишки, прячась за выступами стен, смотрели туда, где идет перепалка. Мелькали колья и вилы. Почтовый чиновник поспешно заряжал охотничью двустволку. Кто-то кричал:

— Забегай низом! На бульваре дают винтовки.

И многие шарахнулись за угол, в сторону, пригибаясь, побежали на берег Волги низом, за винтовками. Виктор Иванович так же, как и другие, из-за угла смотрел на базарную площадь. Она была какая-то новая. Те же лавочки, та же ограда нового собора, тот же круглый бассейн и старая ветла над ним. И в них было сейчас что-то необыкновенное. Может быть, переродило их это напряженное, злое безлюдье? В торговых рядах виднелись темные, крадущиеся фигуры. Согнувшись, как крысы, они толчками подбегали к ограде собора, и видать было: у всех у них мелькали винтовки. Против собора, глазами на площадь, стоял дом купца Менькова — белый, большой, трехэтажный. Именно там помещался Совет, и туда именно стреляли теперь с площади и с улиц.

За оградой собора стрелки залегли рядами, мальчишки подтаскивали к ним патроны в мешках. А с колокольни набат лился все неудержимей.

Вдруг вспыхнуло «ура». Люди с винтовками показались на крыше меньковского дома. Выстрелы взметнулись вихрем. Темные согнувшиеся фигуры побежали прямо через площадь. Они падали. Из окон Совета гремел пулемет. Вот пулемет на момент задохнулся, и безумное «ура» понеслось с площади, с улиц, отовсюду. Сразу из-за всех углов хлынули толпы на площадь. Перед меньковским домом уже кружились сотни народа. С третьего этажа сыпались стекла, по крыше бегали люди с винтовками

и белыми повязками на рукавах. Кого-то ловили, кого-то потащили к краю крыши, бросили вниз. Толпа на момент отхлынула и снова сжалась. Со второго этажа из окна выбросили женщину, ногами вниз. Взвилось ее платье, волосы.

— Ура! Бей! Хо-хо!

Хохот поднялся яростный. Стали выводить из белого дома людей. Одного за другим поднимали на воздух и враз бросали оземь — и опять на воздух. Слышался истеричный визг — как шило, он пронзал ухо. Выводили мужчин и женщин. Толпа разделилась на кучки, кучек много, и над каждой вздымались кулаки и винтовки. Порой в воздухе мелькало над толпой истерзанное тело... И кровь виднелась на лицах, на ситцевых рубахах. А набат всё звонил, и уже нельзя было разобрать криков толпы,— так, только общий звук, страшный, леденящий: «Ура!» На площади народу набивалось всё больше, уже вместе с мужчинами озверело метались женщины, так же выли и скалили зубы, растрепанные как ведьмы, и глаза у них были безумны, рты хрипели страшно, и все ругались страшными словами. Из окон белого дома теперь летели стулья, столы, бумага. Еще выбросили человека, и через минуту над толпой мелькнула оторванная голова.

Виктор Иванович остановился у ограды собора, где толпа была поменьше. Маленькая старушонка, вся в морщинах, как яблоко печеное, нетерпеливо перебирала ногами, стоя на одном месте, и сквозь слезы причитала:

— Мужики! Побейте главного-то! Главного-то побейте, чтобы неповадно ему было народ морить! Господи, да побейте же его!

Вдали, возле городского сада, еще слышались выстрелы. Здесь, на площади, кто-то взывал:

— Братцы, к саду! К саду! Красные там. К саду! Помогайте! Ура!

Выстрелы трещали отчаянно... Набат оборвался, затрезвонили во все колокола, как на пасху, и по всем улицам прокатилось новое, торжествующее «ура!».

И часа не прошло — от сада к тюрьме вели пленных красноармейцев. Толпа баб выла, кидалась на цепи конвоиров, готовая все терзать, рвать. Конвоиры со смехом отгоняли баб. А уже прямо на перекрестках попы служили молебны, все в золотых ризах, как в самый торжественный праздник.

Только поздно ночью Виктор Иванович вернулся домой, но не успел он раздеться, как приехал за ним верховой из думы.

— Пожалуйте! Вас выбирают хлопотать насчет продовольствия.

В белом старинном здании городской думы уже заседало в эту ночь новое правительство, неизвестно кем выбранное. Оно наскоро готовило воззвания и приказы...

Утром чем свет на площади перед думой толпился народ. С балкона почтовый чиновник говорил речь, толпа кричала «ура»,

махала фуражками, высоко поднимала винтовки. Теперь все, даже пятнадцатилетние мальчуганы, ходили с винтовками, очень важные, очень надутые, похожие на весенних петухов.

Отставной полковник Ермолов, чудаковатый старик с длинными седыми баками и бритым подбородком, здесь же, на площади, собрал добровольцев, обучал их строю. Шли к нему охотно: просто подходили, кто хотел, и становились с левого фланга. Шеренга быстро росла, но было странно — люди не по росту: возле бородатого, седого дяди блестела довольная морда мальчишки. Ермолов бодро и важно покрикивал:

— Ряды сдвой!

Шеренга ломалась, винтовка стукала о винтовку, добровольцы смеялись, сердито переговаривались:

— Иди сюда! Сюда вот, чучело!

Ермолов покрикивал:

— В строю не разговаривать!

И говор послушно смолкал, только улыбки оставались.

— В цепь рассыпься! — командовал Ермолов.

И шеренга неловко рассыпалась в цепь. Из толпы выбегали еще люди с винтовками и тоже вкраплялись в цепь. Из думы пришли два офицера. Открылось на площади настоящее учение.

А в думе в эти часы шумно спорили — обсуждали, как надо оборонять город от большевиков. И после целодневного спора перед вечером постановили: по звону в колокол все мужчины обязаны собраться к своей приходской церкви и оттуда идти, куда поведут их офицеры. Мужчинам предписывалось: всегда быть готовыми, припасти оружие и пищу. Отказываться никто не должен. Кто откажется, тот большевик, того в тюрьму.

Виктор Иванович, вернувшись домой, приказал Фиме приготовить на завтра пищу. Елизавета Васильевна рассмеялась:

— Неужели и ты пойдешь?

— Пойду.

Соня захлопала в ладоши.

— Я так и знала! Папа — храбрый. Храбрые все идут. Почему я не мужчина? Я бы тоже пошла с вами!

И вот утром на другой день — свет едва-едва протянулся из-за гор — колокола загудели у Покрова и Троицы. Виктор Иванович, немного смущенный, как бы играя в какую-то игру, ему не свойственную, не по возрасту, поднялся в нерешительности: идти или не идти?

Но за дверью спальни уже зашаркали чьи-то ноги, в дверь просунулась голова, зашептала:

— Виктор Иванович! Звонят. Идти надо!

Это шептала Фима.

Елизавета Васильевна из-под одеяла протянула к мужу руки, сказала:

— Все-таки не стоило бы ходить!

Виктор Иванович нахмурился.

— Сама же понимаешь: нельзя не идти.

Он с чемоданчиком в руке вышел на улицу. Улицы были полны прохладой. Солнце еще не вышло из-за гор, освещало только церкви, гимназию у Покрова и Собачий хутор, что на горе у ярмарки. Голубые тени протянулись от гор. Но пусть ранний час, везде уже виднелся на улицах народ. Мужчины шли с винтовками в одной руке, с узелком — в другой, туго подпоясанные новыми солдатскими ремнями, шли по двое и по трое. Полураздетые женщины провожали уходивших.

На площади у Покрова уже кипела толпа: старики, мужчины, мальчуганы, огородники и писаря — все именитое уездное мещанство — в сапогах, пиджаках, картузах. На паперти и на ступеньках церкви сидели густо и прямо на земле сидели, возле каменной ограды, где пахло прохладой и каменной плесенью.

Пришли два офицера, молодые, с шашками. Пришел глухой старик, отставной полковник, в офицерской шинели, в фуражке с гигантским козырьком, в огромных очках, с палкой. Его в городе насмешливо звали Скобелев. В толпе заговорили вполголоса:

— Смотрите, и Скобелев привалил. Он и до садов не дойдет — рассыплется.

Молодые парни окружили его, смеясь. Старик зашамкал:

— Проводить пришел. Всю ночь не спал, ждал звону. С вами бы, да сил нет!

От думы приехала телега с винтовками и патронами. Виктор Иванович взял винтовку, насыпал в карман патронов. Он хотел быть похожим на всех. Толпа построилась в ряды. Множество унтер-офицеров объявилось командовать. И Виктор Иванович неловко стал в ряд, большой, почти на голову выше других. Пошли шагом, молча. По сухой дороге нестройно застучали сапоги. Один офицер шел впереди, другой — сбоку. Вспыхнула песня: «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать!»

Все странно приободрились, ответили нестройно, но громко и сильно: «То ли дело под шатрами в поле лагерем стоять!»

Бабы у ворот умильно плакали. Они выносили на улицу ведро с водой и с квасом — угощали. Когда дружина вышла за город, ряды смешались, теперь шли и дорогой и тропами. Навстречу попадались телеги. Это мужики ехали на базар с овощами (уже услыхали они, что город прогнал большевиков). Дружинники спрашивали:

— Не видать там чертей-то этих?

Мужики усмехались во весь рот, махали руками:

— Куды! Без оглядки убежали! Не догонишь! Вы-то далеко ли?

— До самой Москвы хотим идти. Мы их!..

— А ну давай бог! Вот от меня жертвую на поход.

Мужик снимал с возу крынку молока или пучок моркови. Дружинники с прибаутками делили подарки между собой, кричали мужику:

— Ты бы сам-то с нами шел! Всем надо идти!

Мужик хитренько посмеивался:

— Я староват.

— Как староват? Ты гляди, какие у нас идут.

— Да вы не сумневайтесь: вояки найдутся.

Вошла в лес дружина уже не стройной толпой. И там, у Волчьего оврага, глубокого, с крутыми скатами, решено было остановиться, вырыть окопы и ждать неприятеля. Офицеры вызвали унтер-офицеров, послали в разведку во все ближние села и деревни. Молодежь принялась за рытье окопов, старики лежали под деревьями, отдыхали. Лес кругом затрещал, задымился кострами, зазвучал перекликами и говором. Этот день — весь — рыли окопы, а к ночи вернулись в город, потому что разведка донесла: большевиков нет нигде в ближних селах.

На следующий день опять спозаранку звонили колокола, опять таким же путем ходили в лес: сидели у вырытых окопов, зевали от скуки, спали, и уже в этот день не пели песен, не перекликались весело.

Дружинники ходили по улицам бодро, с песнями, на базаре появились молоко, хлеб, овощи. У городской думы с самого утра шумела толпа: обсуждала, как защищать город. С думского балкона говорили речи агроном Данилин, товарищ прокурора Синцов, говорили бородачи мещане и какие-то юнцы. Из ближних сел приезжали крестьяне за винтовками и патронами. Им давали обильно: оружия было захвачено много.

В церквах все служили, а по улицам носили иконы, и как-то случилось, что все будто забыли о недавних бурных днях.

Прошло две недели. Раз вечером Василий Севастьянович сказал Виктору Ивановичу:

— А ты слыхал, брат? Все меньше народу по звону-то приходит. Кабы опять беды не было!

Виктор Иванович насторожился. В самом деле, все как будто устали. Около думы теперь спорили яростней, а о чем — сами хорошенько не могли разобрать.

Как-то, прислушавшись к спору, Виктор Иванович услышал:

— Я вот все сапожишки истоптал, а кто мне за них заплатит? Ведь за подметки теперь двадцать рублей надо отдать. Это как? «Идите, говорят, защищайте!» А кого защищать? Купцов защищать?

Говорил бородатый мещанин в пиджаке, в старовер ском картузе. И его слова пронизали Виктора Ивановича холодом. «Вот дьявол, ему сапог жалко!» Он подумал минуту, прикинул:

«А ведь, пожалуй, он и прав! Где взять двадцать рублей? Подметки и... государство. Подметки важней».

Еще неделя миновала, уже во всем городе знали: по звону никто к церквам не приходит: всем надоело. И звон отменили, чтобы не было срама. В городе никто не работал, все чего-то ждали, на что-то надеялись, конца какого-то хотели, а конец почему-то не приходил. На улицах появились прапорщики и поручики в золотых погонах, пьяные. Вечерами они заполняли

городской сад, тротуары Московской улицы, ходили с девицами — наглые, хохочущие.

Мещане поглядывали на них с недоумением, сердито. И в этих взглядах уже чувствовалось: что-то разладилось, трещит, все опять недовольны.

И дни пошли смутные. В такой вот день по всему городу вдруг появились думские приказы: «Красные наступают. Все должны быть готовы к обороне». И все закружилось, как в лихорадке. К вечеру в тот же день уже стало известно: красные идут Волгой и по железной дороге, идут к Цветогорью несметной массой — китайцы, латыши, русские...

Из сел бежали люди, насмерть перепуганные, сеяли в городе панику. Набатно звонил колокол. Опять бабы бегали от двора к двору, кричали:

— Звонят! Идти надо!

Но уже мало кто шел.

Бой с красными был в трех верстах от города. Виктор Иванович вместе с другими лежал в окопе, стрелял в кого-то, в кого — он не видел. Стреляли целый день. А ночью дружинники поспешно отступили к городу, и по отступающим била красная артиллерия.

Уже на рассвете, отступая, Виктор Иванович с горы, от Соловьева сада, увидел город. Через горы, черной лентой, как муравьи, уходили пешком люди с узлами на плечах. Волга была покрыта лодками: это уплывали из города беглецы. Пароходы уводили баржи. Дружинники побежали большой дорогой и по пути бросали винтовки и патроны.

Виктор Иванович прибежал домой: дом был пуст. Его встретила только Фима, плачущая, сразу постаревшая.

— Где наши?

— Все погрузились на пароход, поехали в Самару.

Виктор Иванович зачем-то пробежал по пустым комнатам. В комнате у Ксении Григорьевны перед иконой Спас Ярое Око горела лампада. Дом был гулок и пуст. Он поспешно вошел к себе в кабинет, захватил из письменного стола, из самого нижнего, потайного ящика, пачку денег — все, что у него осталось и что он тайком прятал, и, наскоро простившись с Фимой, выбежал за ворота, потом на берег Волги. С лодок ему кричали: «Скорей, скорей, скорей!» Уже последние лодки уплывали на луговой берег. Виктор Иванович прыгнул в лодку, лодка поплыла. Обезумевшие люди метались по берегу, выли, протягивали руки вслед уплывающим. Переполненные пароходы уже отошли от пристаней. На них было столько народа, что вода залила иллюминаторы.

Через двадцать минут Виктор Иванович вылез на остров, все оглядываясь на город, перешел пески, на другой лодке переплыл Воложку. Здесь, на коренном берегу, сидели мещане с узлами. Над городом столбом поднялся дым: там начался пожар.

## V. Сарынь идет!

Пушечные выстрелы все гремели из города. Бой шел уже на горах. Видать было с этого берега Волги, как по горам, быстро пустеющим, кое-где бегали люди в одиночку и цепями. По большой дороге скакала кавалерия. Маленькие, точно игрушечные, кони четко виднелись на белой меловой дороге.

На окраине города, у острога, поднялся второй высокий столб дыма: там тоже начался пожар. И оба столба, медленно поворачиваясь, тянулись прямо к небу, точно дым кадильниц в тихом храме. На небе дым расстилался облаком — неподвижным, плотным, темно-серым. Облако росло, крышей закрывало город. Здесь, на этом берегу Волги, в толпе заплакали женщины:

— Пропал теперь город, сожгут натло́!

Виктор Иванович отошел в сторону от дороги, от толпы, стоял под столетним осокорем, посматривая то на город, то на мещан, стоявших и бродивших на берегу. В бессилии он сцепил руки, сцепил зубы, весь напрягся, пронзенный одной мыслью: «Что же теперь делать?»

Солнце уже передвинулось к дальним горам. Раскаты выстрелов все удалялись. Пожар в городе стал затихать. Нужно было искать приюта, искать выхода. Народ уходил по луговой дороге от Волги в глубь лугов — к Плеханам, к Бителяку, к дальним селам. Крики на берегу усилились. Уже кто-то кричал:

— Чего там? Вернуться надо! Авось не звери, такие же люди: не съедят. Мы не купцы какие, с нас взятки гладки!

Когда мещане проходили мимо Виктора Ивановича, они смотрели на него подозрительно и будто сердито, и от этих взглядов Виктору Ивановичу было не по себе. Он дождался заката солнца — от Волги потянуло сыростью и мраком — и не торопясь пошел по дороге к Плеханам. Сколько раз он этой дорогой проезжал на своих лошадях! Ныне вот он даже без узелка, будто прогуливаясь, шел между этих знакомых озер, заросших по берегам лозинами и осокой. Он прошел через мостик у луговой караулки. Здесь лагерем расположились беглецы, кипятили чай, жгли костры. В темноте лица казались красными. И опять слыхать было — плакали женщины и дети и грубо ругались мужики. От караулки до села Плеханы дорога шла чистым лугом, в траве били коростели и перепела. Какая-то птица пролетела над темным озером, крикнула пронзительно. Звезды зажглись зеленые, голубые, весь воздух был полон запахом трав. Виктор Иванович один-одинешенек шел по пустой дороге.

В Плеханах знакомый мужик Василий Пантюхин долго опрашивал его через запертые ворота: кто? откуда? И не мог поверить Василий Пантюхин, что здесь, у ворот, стоит и стучится Виктор Иванович Андронов, именитый купец, миллионщик. Поверив, Пантюхин отпер ворота, вышел, стал удивляться вслух:

— Ай, батюшки, до чего довели! Да пожалуйте, Виктор Иванович! Господи, да что это будет?

А за плечами Пантюхина мелькала женская фигура, и тоже послышались вздохи и ахи.

— До чего довели! Батюшки!

Через темные сени они вошли в дом. В большой комнате, чуть освещенной лампочкой-моргасиком, густо пахло овчинами, хлебом, полынью. Полынь была разбросана кустиками по полу — от блох. На полу, на ватоле, спали дети Пантюхина — трое. Часы уныло постукивали. Виктору Ивановичу стало не по себе: вот у мужика Пантюхина есть свой угол, а он, миллионер Андронов, изгнан из своего дома. Он нетерпеливо сказал:

— Ты скажи мне, Василий, можешь ты отвезти меня сейчас в Маяньгу?

Пантюхин почесал нерешительно затылок, передернул плечами: должно быть, не решался отказаться и в то же время боялся ехать. А его жена поспешно прикрепляла занавески к окнам, чтобы не увидели с улицы, что вот у них, у Пантюхиных, сейчас сидит купец Андронов.

— Что ж, перед утрием, пожалуй, можно,— согласился наконец Пантюхин.— Вот как побелеет, так и поедем. А сейчас и не видать ничего. Пожалуй, в трясину залезешь. Да и недоброго человека встретишь...

Жена Пантюхина — бойкая, низенького роста, катавшаяся шариком по избе: от окна к окну, от кровати к двери,— откликнулась тотчас:

— Знамо, поспите. Куда ехать на ночь глядя? Этак в беду попадешь! Вот я разберу вам нашу постель.

Она поспешно стащила подушки, покрывало с парадной постели, подушки взбила горой, перебрасывая их с руки на руку. На полу поднялась девочка — с темными всклокоченными волосами, руки тонкие, как веточки,— большими испуганными глазами смотрела на Виктора Ивановича.

— Пожалуйте! Ложитесь! — сказала жена Пантюхина.

— Пожалуйте! Пожалуйте! — тотчас повторил сам Пантюхин.

Виктор Иванович снял сапоги, лег. Пантюхин тотчас потушил лампочку. В темноте слышался шепот, возня. Виктор Иванович не мог заснуть: лежал, слушал, ждал, не пропустить бы рассвета. По улице, под окном, кто-то прошел три раза. Слышались неясные тревожные голоса. За стеной захлопал крыльями петух и запел оглушающе. Окно забелело. Виктор Иванович повернулся на скрипучей кровати. Тотчас с пола послышался голос Пантюхина:

— Не спите, Виктор Иванович?

— Не сплю. Светает. Надо ехать.

— Что ж, поедемте. Все равно не уснешь! Заботы что блохи: спать не дают.

Скорехонько запряг Пантюхин лошадь в телегу, доверху наложил сена, жена Пантюхина принесла пеструю ватолу, при-

крыли сено, отворили ворота. Рассвет уже протянул голубые руки от востока, точно благословлял землю. Все луга были полны тонкого тумана. Небо серебрилось. Ленивые цапли, протянув назад длинные ноги, летели низко-низко над лугами и кричали пронзительно.

С поднятым воротником, надвинув на лоб фуражку, Виктор Иванович ехал до самой Маяньги — все двенадцать верст. Приехали, когда уже встало солнце. Виктор Иванович расплатился с Пантюхиным и, расплачиваясь, намекнул ему:

— Ты в случае, если кто встретит или спросит обо мне, так ты не видал и не слыхал.

Пантюхин хитро улыбнулся:

— Да что вы! Я, чай, понимаю. Я — стреляный волк.

На хуторе все было цело: и лошади, и дорожный тарантас, и большой запас хлеба в амбаре. Четыре работника-годовика все такие же были почтительные, будто ничего не случилось. И это немного успокаивало, рождало уверенность.

Приказчик Павлушка — жуликоватый (это Виктор Иванович знал), подвижной, почтительный — сейчас же очистил для Виктора Ивановича лучшую комнату, устроил кровать, стол. Все это с прибаутками, весело:

— Хоть не такие хоромы, как у вас в Цветогорье были, а жить неплохо можно. По прошествии времени повернется все назад. Покуда можно потерпеть.

Виктор Иванович послал работника Семена на дорогу, к Волге, разузнать, что и как, не появились ли красные уже на этой стороне. На хуторе он решил прожить, пока будет можно. Здесь легко можно было спрятаться даже в самый последний момент — если бы вот пришли сейчас красноармейцы сюда,— можно уйти в таловые заросли, а в талах ищи-свищи!

Семен оделся, как дальний странник — с холщовым мешком за плечами, с палкой в руках,— ушел на дорогу. Он пробыл до вечера, вернулся уже в сумерки.

На эту сторону Волги красные не переправлялись. Много мещан поехало назад в город и уже увели все лодки.

— Говорят, будто ничего: особой беды красные никому не делают.

Ходил Семен и на другой день, и на третий. На лошади сам Павлушка подвозил его почти к самой Дынной пристани, откуда рукой подать до Цветогорья. Семен выведывал, возвращался. Уже стала ходить до города перевозная лодка. Семен ездил в Цветогорье, узнал: весь город заполнен красными, красных много, горами они идут вверх, к Сызрани. Собираются переправиться сюда, на луговой берег, захватить немецкие колонии, недавно восставшие.

Павлушка, слушая Семеновы слова, хлопал себя руками, говорил фальшивым голосом:

— И откуда столько народа берется? Бьют, бьют, а их все больше и больше прибавляется!

И Виктору Ивановичу казалось, что в самом деле яростные людские потоки били откуда-то из Центральной России — из Рязани, Калуги, Москвы, от Саратова вверх по Волге и в Заволжье били, будто неземная сила где-то развернулась и неудержимо лилась сюда.

Виктор Иванович прожил в Маяньге неделю, выжидая, что будет, присматриваясь. В последние дни Павлушка с ним стал уже не такой почтительный и все уговаривал:

— Вам бы, государь мой, в Самару двинуть, прямо бы степью. За первый бы сорт долетели. А? Правду говорю.

— Нет, это не пойдет. Я здесь останусь. Не могу ни дела своего оставить, ни дома.

— Какие же теперь дела? Дела теперь — только спасай себя. Все разверзлось, все сокрушилось. Видать, шурган по всей по русской земле пошел. Теперь как надо? Затулись в нору какую и жди. Я так полагаю, многим гробовой час спеет, потому что сарынь идет. Глядите! Все галахи, все бездомники, вся дубинщина теперь власть взяла. Сарынь идет — черный люд. Теперь все сокрушит, все взбаламутит.

— А ты думаешь, все взбаламутит?

— А как вы думали? Все до дна взбаламутит. Я думаю, потом муть годами будет отстаиваться, да не знаю, отстоится ли.

И Семен тут заговорил:

— Вот поиграли в разбойничков, побаловались, ан баловство-то нас по загорбку теперь трах да трах!

— Что ты болтаешь? В каких разбойничков? — строго повернулся Павлушка к Семену.

— А вот в Пугача поиграли, в Разина, в Ределю. У нас на Волге разбойники первые люди были. По песням-то ай не помнишь? «Господа разбойнички». Каждый мальчишка про их сколько сказок скажет — в рыдван не повьешь. Ерои наши. Вот теперь и гляди, всыпят эти ерои-то, всыпят и правому и виноватому, и бедному и богатому. Все заплачут.

— Ну, ты, Семен, не каркай! — поморщился Виктор Иванович.

— А чего мне каркать?

Тут опять Павлушка вмешался:

— А и правда, что ему каркать? Он правильно говорит. Вы, Виктор Иванович, все-таки нас послушайте.

— Да, да, — кивал головой Семен.— Ты нас послушай. Я вот в два раза тебя старше,— хоть ты там в академиях обучался да по заграницам ездил, а жизнь знаешь меньше мово. Останешься здесь — несдобровать тебе.

В тот же вечер Семен поймал Виктора Ивановича одного на берегу Иргиза, зашептал:

— Сказать тебе хочу чевой-то.

Он оглянулся, нет ли кого вблизи, еще понизил голос:

— Вчерась под вечер иду, а Мишка со Степкой о чем-то разговаривают. Слышу, Степка говорит: «Сообщить надо. Сообщить,

что сюда приехал». «Ах, думаю, негодники, ведь это про Виктора Ивановича!» А нынче под утро слышу: скачет лошадь к нам степью. Я выхожу: «Кто приехал?» А Степка отвечает: «Никто».— «Лошадь скакала сейчас».— «Иль почудилось тебе? Все лошади дома на месте стоят». Я зашел в конюшню, гляжу — правда: лошади на месте, только одна в мыле вся. «А это,— спрашиваю,— кто же на ней ездил?» — «Никто не ездил, это ее домовой треплет». Так я и не дознался. Но только чует мое сердце: все бросят тебя на вей-ветер. Помяни мое слово: бросят!

Семен, по-старчески шамкая, поднимался на носки — хотел сказать в самое ухо, и Виктор Иванович почувствовал, как от этих слов, точно от лютого мороза, все у него похолодело в груди и в животе, и волчья тоска сжала сердце.

— Ага! Так? Что ж, поглядим! Я подумаю.

Он поспешно ушел один на край хутора, где серыми хоромами еще стояли стога. Запах сухой травы и прели тянул со степи. Горизонт тонул в мышастом тумане. На темнеющем небе зажигались звезды. Костров нигде не было. Степь была пуста и безнадежно уныла. «Сарынь идет. Не нынче завтра загудят все дороги, так загудят, как никогда не гудели! Мне нет здесь места». Плутоватое лицо Павлушки вдруг встало перед глазами, и вспомнились слова: «Кому-то спеет гробовой час». Виктор Иванович нетерпеливо передернул плечами, выпрямился: «Ну нет, до гробового часа далеко!» Он повернул к хутору, широкими шагами прошел прямо в дом, вызвал Павлушку, властно приказал:

— Ну-ка, сейчас же запряги тройку лошадей в тарантас.

Павлушка встрепенулся:

— Уезжаете?

— Уезжаю.

— На Самару?

— На Самару.

И час спустя Семен повез его на тарантасе во тьму, в ночь. К Самаре надо было ехать через село Еланку. Приказчик Павлушка и работники Мишка и Степан вышли провожать. Перед тем, как сесть в тарантас, Виктор Иванович сказал строго:

— Ну, ребята, глядите! Я все на вас оставляю. Вы в ответе. Не всегда же будут хозяевами галахи. Придет и настоящая власть. Если что вы растратите — я вас найду. Поняли? Ну, а теперь до свидания! Трогай, Семен!

Они поскакали еланской дорогой, на Самару, но на второй версте Виктор Иванович приказал Семену остановиться, вылез из тарантаса, прошел в темноте шагов сорок обратно по дороге и долго стоял и слушал, не скачет ли кто за ними от хутора. Степь молчала. Бескровные бледные звезды усеяли все небо. Тишина стояла чуткая от земли до неба. Погони не было. Виктор Иванович пошел назад к тарантасу и властно приказал Семену:

— Поедем на Красную Балку. Ты знаешь дорогу?

Семен ворчнул:

— Ну как не знать? Сколько раз езживал?

— Так вот. Правь туда.

Семен осторожно повернул лошадей, поехал долом прямо через луг. Вода хлюпала у лошадей под ногами, тарантас в канавках подпрыгивал. На взлобке нашли торную дорогу. Семен подобрал вожжи, тихонько свистнул. Лошади понеслись, мягко стуча по степной, непыленой дороге. Мягкий ночной ветер подул в лицо. «Пусть сарынь идет, мы поборемся и с сарынью!»

А степь была все прежняя, вот такая, какой много лет назад знал ее Виктор Иванович. Все так же ширококрылые беркуты плавали под самым небом или темными неподвижными фигурами сидели на курганах. Уже утром попался волк. Он выбежал к самой дороге из оврага, смотрел на проезжих. Семен свистнул. Волк убежал. В бурьянах по сторонам дороги, точно бараны, паслись стада серых дроф, над дальними озерами вились утки. Нужно было проезжать через немецкие хутора и через русское село. У въезда в село толпился народ.

— Стой! Кто такой будешь? Никак, Виктор Иванович Андронов?

— Он самый.

— А-а-а! — удивленно пронеслось по народу.— Куда едете? Что в городу-то?

— В город пришли большевики. Все забрали. Все на свой лад строят...

Его слова встретили кривыми улыбками. Он сердцем чуял, что и здесь начался какой-то сдвиг, что люди, пожалуй, с радостью думают о его несчастье. А-а, так и есть: радуются! Молодой мужик весело сказал:

— Насыпали блох за ворот!

И засмеялся раскатисто.

Красная Балка была в стороне от проезжей дороги. Работников здесь было совсем мало — только старики и приказчик Спиридоныч, присланный из Цветогорья недавно. Встретили его низкими поклонами, забегали, засуетились.

— Пока поживу у вас,— сказал им Виктор Иванович.— Посмотрим, что будет.

В эти дни, особенно вот за эту длинную дорогу, он уже обдумал и уже решил, как будет действовать. Отсюда, с Красной Балки, он будет собирать сведения, где остались белые отряды, воюющие с красными, если можно — соберет их вместе, сорганизует, а если они сорганизованы, он просто примкнет к ним, а там; глядишь, и мужики опомнятся. Большевикам придет конец.

Каждый день из Красной Балки в село Еланку и на Бобовы хутора и назад к Волге, к хуторам, уезжали верхами три старика работника, узнавали, где что делается. Уже по хуторам ходили слухи: цветогорский отряд возвращается назад, идет и горами, и луговым берегом, нынче завтра будет возле Цветогорья. И тогда... Что тогда? Тогда — горе большевикам.

Виктор Иванович оживился. Эти слухи его подбодрили небывало — он опять стал энергичным, деятельным, будто проснулся от тревожного сна, а утро такое ясное-ясное,— работа зовет, во всем теле холодок и бодрость.

Из Красной Балки он съездил на Бобовы хутора к знакомому богатому крестьянину Ивану Ивановичу Липкину — тому самому, что прежде держал на Бобовых хуторах большую ссыпку.

Липкин встретил Андронова низкими поклонами, льстивыми словами. По поклонам и улыбке было видать: приезд миллионера польстил ему. Дом Липкина — самый большой дом на Бобовых хуторах — был весь закрыт зеленью, гулкий, просторный, с ярко выкрашенными желтыми полами, с дорожками через все комнаты. Две черноглазые красивые девушки, круглые, полные, как мешки, всклень насыпанные пшеницей, сидели в комнате, куда Липкин ввел Андронова. Девушки тотчас встали, поздоровались с гостем, выжидательно глянули на отца.

— Что глядите? — шумно закричал Липкин.— Это Виктор Иванович Андронов — царь наших краев. Хе-хе! Идите-ка, прикажите самовар поставить!

Девушки вышли. Виктор Иванович сказал, устало усаживаясь на деревянный желтый диван и оглядывая свои запыленные сапоги и помятый пиджак:

— Хорош царь наших краев!

— А что? — с готовностью, очень поспешно воскликнул Липкин.— Кто здесь сильнее вас?

— Да вот объявились. Видите? Я места не нахожу себе — прячусь по хуторам... царь-то. Сарынь оказалась сильнее.

Лицо Липкина — полное, заросшее черным волосом — сразу потемнело.

— А вы думаете, это надолго? Я тоже ночи не сплю, жду беды.

— Не знаю, надолго ли. По-моему, это от нас зависит. Я и приехал сюда, чтобы сговориться, собрать силы, вместе ударить.

Лицо Липкина перекосилось, дрогнуло. Угодливость сразу исчезла. Липкин вне себя поднялся — огромным, злым столбом.

— У нас тоже появились большевики. У нас, на Бобовых! А? Растерзать бы такую сволочь!

И тут Виктор Иванович увидел: остра ненависть к большевикам у этого столбоподобного мужичища.

— Вчера прискакал из Балакова наш паренек. Ходит там слушок: сын ваш сильно действует.

Виктор Иванович отшатнулся, поднял левую руку, будто защищаясь от удара.

— Сын? Какой?

— Да уж не знаю, какой. Андронов, слышь. А какой — не знаю.

— А ну-ка, нельзя ли позвать этого паренька?

— Почему же нельзя? Можно! Я сейчас.

Липкин поспешно вышел из комнаты. Виктор Иванович нетерпеливо встал. «Сын? Уж не Иван ли опомнился?»

Виктор Иванович нетерпеливо заходил по комнате. Ему хотелось самому побежать вслед за Липкиным — узнать скорее. Но понимал он: нельзя терять достоинства. Липкин вернулся скоро, и с ним — парень лет двадцати, бойкий, вошел и развязно подал руку Виктору Ивановичу, как равному.

— Как же! Андронов там крушит большевиков!

— Да какой Андронов-то?

— А я не знаю, какой! Говорят, офицер Андронов, а какой — неизвестно.

— Да ты сам-то его видел?

— Знамо, видел, как вот вас — рукой протянуть.

— Какой он из себя?

— Черненькие усы...

— А-а, Вася!.. Но как он мог попасть в Самару? Странно!

— Ну, вот видите? Я говорил. Наша берет! — закричал Липкин.— Надо своих сзывать, потолковать надо...

Часа два спустя у Липкина было совещание. Пришли Щипковы — отец и три сына,— все крепкие, огромные, как степные быки, с упрямством и злобой в глазах, пришел поп Колоротин, бывший волостной старшина Зимницын.

— Чевой-то мы здесь? — закричал Зимницын, не здороваясь ни с кем.— Давайте сельский сход собьем. Без сходу невозможно.

Сбил, завихрил всех, шумный и расторопный, и все тотчас пошли к сельскому правлению, приказали звонить в колокол, сбивать народ на сход. И получасу не прошло — густая толпа шумела у сельского правления.

— Которые ежели большевики, убивать на месте.

— Верно! Собаке собачья смерть! Они во Христа не веруют.

— От Уральска казаки идут. Они им насыпят по первое число!

— И чехи в Самаре встали... Гляди, кругом бьют большевиков.

— Слыхать, будто еланские мужики дружину снарядили.

— Верно, снарядили. Помогать надо.

Виктор Иванович стоял на крыльце правления и, как самую приятную музыку, слушал эти хмельные от злобы речи. Утром отряд человек в сто на телегах поехал в Еланку,— все с винтовками. Из Еланки проехали до Волги. Большевиков нигде не было, в Заволжье еще было безвластье. Виктор Иванович из Еланки поспешно проехал на Маяньгу. Странное чувство теперь захватило его, когда он подъезжал к своим хуторам. То и боязнь была: вот выскочат из куста люди с ружьями, заорут: «А-а, вот он! Держи!», и жалость к себе, своей нарушенной жизни,

и злоба была упорная, от которой туго сжималось сердце, хотелось драться, кричать.

Из-за спины кучера он все заглядывал вперед, узнавал знакомые кусты. Вот за этой ветлой поворот. Оттуда будет виден и дом, и красная крыша мельницы. Он привстал, держась за плечо Семена. Да, видно и дом, и крышу. Так, не садясь, он подъехал к хутору. Ставни в дому были закрыты. Никого. Даже собаки не залаяли.

— Никого нет,— сказал Семен.— Гляди, замки везде.

Они вдвоем обошли двор, мельницу. Везде висели замки. Лошадей в конюшнях не было. У Виктора Ивановича сжалось злобно сердце: «Бросили! Никому ничего не нужно».

— Придется замки сломать. Бери-ка, Семен, топор, ломай! Посмотрим, что осталось...

Два дня Виктор Иванович прожил на этом хуторе. Из Еланки к нему наезжали мужики, сообщали: идут цветогорские отряды назад, идут луговой стороной Волги, скоро будут здесь. Немцы в колониях опять восстали. Надо только подождать.

Перед вечером — уже на второй день — за Иргизом послышались голоса. Насторожившийся Виктор Иванович вышел из дома, спрятался в кусты и, прячась, выжидал, когда появятся люди. За рекой зафыркали лошади, на берег выехали всадники: сначала три, потом еще семь. Передний сказал:

— Вот и наш хутор!

Виктор Иванович всмотрелся и разом прыгнул на берег, как молоденький, закричал во весь голос:

— Вася! Ты?

Передний всадник прикрыл ладонью глаза от солнца, всмотрелся, тоже крикнул громко:

— Папа!

И во весь мах погнал лошадь через реку, серебряные брызги полетели во все стороны, у берега он прыгнул на песок прежде, чем лошадь вышла из воды, обнял отца.

Виктор Иванович успел заметить: Вася похудел, лицо стало суровей, усы отросли, в глазах залегло упорство.

— Как ты попал в Самару?

— С Кавказа — на Москву, из Москвы — в Самару. Хотел домой проехать, а в Самаре встретил цветогорских: восстали...

— А мать-то... не встретил?

— Она куда-то уехала. Не мог узнать куда.

Через реку перебирались другие всадники, и торопливый семейный разговор оборвался.

До самой полуночи на хуторе шло совещание, как действовать. Василий Андронов сообщил: цветогорский отряд вернулся, к нему присоединилось немного казаков, присоединились зажиточные крестьяне из заволжских деревень и сел, к ним готовы присоединиться немцы, нужно было собраться и вернуться в Цветогорье — уничтожить красных. Виктору Ивановичу невыносимо теперь было сидеть, раз столько народа собралось

против красных. Он сам вызвался поехать в Цветогорье, разведать, сколько там войск и как надо действовать. И была еще мысль: узнать, как и что теперь дома. Поздно вечером на другой день на лодке он поехал с двумя рыбаками по Иргизу. Иргиз за лето обмелел. На перекатах приходилось вылезать в воду, перетаскивать лодку. Говорили все время шепотом. Рыбаки явно трусили. Они говорили, что по Волге ходит катер, ловит лодки, убивает тех, кто пытается переправиться ночью. Виктор Иванович молчал. Волга в эту ночь на самом деле была пуста, только на баржах, что стояли вдали, у города, под бульваром, горели огни, и оттуда слышалась залихватская песня и звук гармоники: это гуляли красноармейцы. Город простирался темной лентой, нигде не было видно ни одного огня. Сырость и тьма нависли над всей Волгой и над берегами. Уключины тихо поскрипывали, весла падали в воду без всплеска. Часто рыбаки останавливались, слушали долго-долго.

Через час лодка пристала у пустого берега, ниже города, у Разбитного сада. Рыбаки, подъезжая, замолчали совсем. Пустой берег казался зловещим. Виктор Иванович молча вылез из лодки, остановился на пустом каменном берегу. Он едва услышал, как рыбаки оттолкнулись и поехали прочь, чуть поскрипывая уключинами. Он остался один на берегу в темноте. Он, как грабитель, стоял притаившись. Он усмехнулся: «Вот тебе первое лицо в городе!» Он вспомнил, что у него в кармане револьвер. Спотыкаясь о прибрежные камни, он поднялся на обрыв и почти ощупью пошел берегом. Где-то далеко в садах лаяли собаки. Лай радовал: значит, не вся жизнь умерла. Где-то за городом стреляли.

Вдоль плетней, через которые тянулись вишневые ветки, Виктор Иванович пошел к Сарге. Он держал револьвер в руке, всякий момент готовый выстрелить. Он плутал долго, и ему было страшно, что все кругом мертво. А в эту пору, бывало, все переполнялось жизнью, потому что шла пора созреваний и каждый сад дышал густым яблоневым духом.

В каком-то саду пропел петух. Виктор Иванович наконец дошел до своего сада. Из-под горы от Волги тянуло сыростью. Сарга шумела. Он отворил ворота. Ему навстречу бросилась собака, залаяла. От волнения он забыл, как ее зовут. Он чмокал, посвистывал. Собака лаяла сильней. Наконец где-то хлопнула дверь, голос, охрипший со сна, спросил:

— Кто там?

Виктор Иванович негромко окрикнул:

— Это ты, Тимофей?

— Я. Что надо?

— Пойди сюда, уйми собаку!

Тимофей нерешительно подошел. Виктор Иванович только слышал его дрожащее дыхание.

— Кто такой? Что надо? — опять вполголоса спросил Тимофей.

— Это я, Тимофей, Виктор Иванович.

Тимофей задвигался быстро, принялся усмирять собаку. Собака взвизгнула: должно быть, Тимофей ударил ее ногой, и тогда Виктор Иванович схватил Тимофея за руку:

— Ну, говори, что дома?

— Да что ж дома? Дом занятой, никого там нет. И город почти пустой, только одни красные остались.

Тимофей зашептал:

— Вы в дачу не ходите: могут нагрянуть. Позапрошлой ночью уже были, все допрашивали меня, где вы. Я им сказал, что вы уехали в Самару. Пока вас искать не будут, а все же вам нельзя в дом. Я вас в малинник провожу.

Тимофей, невидимый в темноте, говорил почтительно, но говорил не по-старинному: у него было что-то новое, какие-то покровительственные ноты в голосе: дескать, попался, господин хороший? Но суетился Тимофей все так же. Он ходил в караулку. Видно было через окно, как там зажигали свет и метались тени.

— Есть, поди, хотите? Я вам хлеба принесу и молока. Баба велела угощать вас. Пейте, ешьте, а я пойду, выберу место в малиннике посуше, постелю постель.

В полусне, в полубреду Виктор Иванович сел на лавочку возле караулки. Он пробовал есть, но хлеб показался горьким. Он отложил его. Только выпил кружку молока. Кто-то рядом вкрадчивым голосом спросил:

— Може, еще хотите?

— Нет, больше не хочу. Кто это? Тимофеева жена? Воды мне принеси.

Через минуту из темноты протянулась жестяная кружка. Потом зашептал Тимофей:

— Пойдемте, все готово.

— А скажи, что в доме? В доме никого?

— В доме Храпон и Фима. Их тоже хотели выгнать. Все вещи разграбили. Окна которые выбиты. Беда!

Тимофей говорил блеющим голосом — будто радовался. Виктор Иванович вдруг почувствовал, как у него налились усталостью ноги, руки, все тело, стали слипаться глаза.

— Вот... я... сейчас посплю. Утром поговорим. Ты же смотри покарауль. Не спи!

— Ну, знамо, как можно спать? Вы ложитесь. Будьте спокойны. Давайте я вас укрою.

Он укрыл Виктора Ивановича пыльной ватолой и потным тулупом.

— Отдохните. Завтра все объяснится.

И Виктор Иванович сразу упал во тьму.

Он проснулся уже поздно утром. Солнце из-за высоких яблонь валило валом, острые золотые пики впивались в землю. Он встал быстро, решительно, осторожными шагами, высматривая из-за кустов, прошел к караулке. Справа белой громадой

стоял дом с забитыми окнами. Тимофей и его жена ждали у порога, самовар кипел на крыльце. Но опять Виктора Ивановича не повели в избу, а повели в сарай, где был накрыт стол белым столешником: хлеб, молоко и в блюде — вишня.

Виктор Иванович сейчас же отправил Тимофея в дом за Храпоном. Храпон пришел скоро, одетый в потрепанный казинетовый пиджак.

— Что с тобою, Храпон? — воскликнул Виктор Иванович, здороваясь.— Ты сразу так постарел.

Храпон вдруг заплакал:

— Постареешь. Послал господь нечестивцев, весь дом заняли, кладовые обчистили, все пьют и едят, вроде как свое. Посуду тащат, самовары, лампы, одежу. Я было сперва на них: «Что вы, разбойники, делаете?» А они мне: «Молчи, старый хрен, мы тебе башку свернем!» Все пропало, Витенька, все! Елизавета-то Васильевна, когда уезжала, наказывала мне: «Гляди, Храпон, чтобы не было порчи или воровства».— «Ладно, говорю, матушка, ты сама меня знаешь, сыздетства я у Андроновых». Ну, уехали вы. Я притаился, запер все ворота, калитки — никого нет. А я жду. И сразу нагрянули сотней целой. Меня прочь прогнали,— так в углу двора и стоял, смотрел, как они хозяйствовали. Пришли ровно в казарму, в залу сена натащили, соломы, здесь и ночевали. Печки сперва дровами топили, а потом и до икон добрались, милостивого Спаса и то раскололи, в печку сунули.

— А в городе остался народ?

— И ни боже мой! Никого, пустой город: все убежали. Знамо, вот мещане остались, рабочие. Тем чего бояться? Терять нечего, ну, те остались.

Виктор Иванович не поверил. Он послал Тимофея в город с записками отыскивать Воронцовых, Злобиных, Скакаловых. Вот их силы теперь так нужны были в цветогорском отряде! Но Тимофей возвращался от всех с одним ответом: «Никого нет!»

До самого вечера Виктор Иванович оставался в саду, раздумывая, что делать. Неудержимая сила его тянула в город, и в то же время он понимал опасность, какой он подвергался, если бы в самом деле в город пошел.

В сумерках он переоделся в потертый пиджак Храпона, растрепал бороду, волосы, надел старый картуз, стоптанные Тимофеевы сапоги.

— Легко узнать меня? — спросил он Тимофея и Храпона.

— Трудненько, Виктор Иванович! Где же? То вы барин, а то галах.

По пустым улицам он прошел от окраин на Миллионную улицу, прошел мимо своего дома. Окна не светились, только там, где-то в средине, неясно бурчали голоса. Виктор Иванович прошел к берегу, до пристани. На берегу толпился народ. Какие-то темные люди переодевались: снимали свою рваную

одежду, надевали все красноармейское. Белозубые парни, здоровые, задорные, бегали по берегу с винтовками, в зеленых гимнастерках. Возле пристани стоял пароход, с него неслись залихватские звуки гармоники: это красноармейцы собирались в поход. Виктор Иванович ходил по толпе, слушал, он не решался задать вопрос: куда идут, зачем? Он медленно, шаркающей стариковской походкой бродил между суетящихся красноармейцев, слушал напряженно, не подавая вида. Никто не обратил на него внимания. Крикнут:

— Эй, берегись, старик!

И в сторону, в сторону. Для них — белозубых, румянеющих — этот большебородый был стариком...

И услышал он торопливый разговор:

— Давай свинины купим.

— На кой? К немцам едем — там свиней сколько хошь.

— Угонят, убьют — не догонишь.

— Не убегут. Не успеют. Вот лучше вишни возьмем. Эй, тетка, почем вишни?..

Виктор Иванович выбрался из суетливой толпы, поспешно пошел назад к саду, из сада послал Тимофея отыскать рыбачью лодку, чтобы переправиться назад, на луговой берег. Темной ночью перебрались, и к утру уже были в Маяньге.

Цветогорский отряд два дня вел переговоры с немцами: надо объединиться, действовать вместе. Немцы требовали: пусть будет их начальник, пусть русские придут к ним, чтобы здесь, на их полях, дать сражение красным.

Виктор Иванович советовался с сыном: придется идти к ним. На третью ночь выступили в ближнюю колонию. Но колония на глазах отряда загорелась. Немцы на фурах, с семьями, с плачущими детьми, со скотом бежали в степь. Пока цветогорцы раздумывали, красные уже успели напасть, брали колонию за колонией, продвигаясь от Цветогорья луговой стороной вниз по Волге. Цветогорский отряд без боя повернул и пошел вглубь степей.

Как изменилось все! В селах и деревнях цветогорцев встречали недоверчиво, мужики смотрели злобно, боялись реквизиций, отказывались давать скот и хлеб, не брали денег и, когда узнавали, что во главе отряда стоят Андроновы, отец и сын, говорили злорадно: «Ага, купцы записались в воители! Ну, пусть повоюют!»

Цветогорский отряд быстро таял. В каждом селе и в каждой деревне отставал десяток-другой. Все эти мещане, мелкие торгаши, испугавшиеся приближения красных там, в Цветогорье, а теперь, может быть, утомленные дорогой и соскучившиеся по дому, уже решили вернуться назад домой.

Виктор Иванович убеждал, как мог:

— Нам надо держаться крепко. Вы — мещане, я — купец. Ведь могли же мы жить, не мешая друг другу? Вы подумайте. Разве коммуна для вас будет по душе?

С ним будто соглашались, шли. Но день, два — и опять на ночлегах от отряда уходили новые и новые люди.

Уже надвигалась осень. Овраги и долины наливались холодной водой, степь опустела, переходы стали невозможны. Виктор Иванович посоветовался с сыном, решили увести отряд или тех, кто хочет пойти с ним, увести на реку Деркуль и там, на хуторе Новые Земли, перезимовать, переждать. На хутор дошло не более пятидесяти человек. Это были мещане, по большей части люди пожилые, тосковавшие по дому. Когда выпал снег и установилась в степи дорога, андроновцы посылали разведку по всем окрестным селам и деревням. Зима приостановила военные действия. Повстанческие отряды рассеялись, о красных не было слышно.

Сам Виктор Иванович ездил в казачьи станицы на Урал. В станицах еще было тихо. Молодежь вся ушла под Саратов, остались лишь старики, непримиримые, готовые объединиться с цветогорцами. Из-за реки Урал от киргизов приезжали делегаты, говорили, что не принимают коммуны, готовы тоже начать борьбу. Виктор Иванович пытался объединить киргизов. Он в течение двух зимних месяцев не вылезал из кибитки, ездил из станицы в станицу, звал, убеждал. Пронесся по Уралу слух, что по степи от Оренбурга идет легендарный полковник Сыропятов, идет с большим отрядом. Андроновы послали своих людей навстречу ему. Хутор Новые Земли был всю эту зиму многолюден и говорлив. Люди жили и в дому приказчика, и в караулке, и в амбарах, обложенных для тепла землей,— жили густо. От безделья томились все, часто уходили в белую снежную степь, уходили поодиночке, бродили долго-долго, возвращались, точно заказана была им дорога. Откуда-то появились три молодые бабы — хмельные и смешливые.

Подошла весна дружная, степь в одну неделю расцвела, и в эти весенние дни на хутор приехали послы от Сыропятова. В небольшой казачьей станице на Урале Виктор Иванович встретился наконец с самим Сыропятовым. По разговорам, по легендам, которые уже успели окружить имя Сыропятова, Виктор Иванович представлял его пожилым, свирепым и очень удивился, когда увидел перед собой молодого, крепкого человека с бритой головой и смелыми глазами. Он напрямик сказал:

— А ведь я думал, что вы человек пожилой. А вы вон еще какой молодой!

Сыропятов засмеялся:

— А разве молодость — грех?

— Какой грех? Молодость — радость. Я очень рад, у вас много энергии...

Они заговорили, как люди близкие, понимающие друг друга с полуслова. Виктор Иванович сказал: он может поставить хозяйственную часть в отряде. Он знает степь до самого Саратова и Цветогорья и знает все дороги. Сыропятов поджидал, когда к нему придет отряд киргизов из-за Урала. Наконец кир-

гизы пришли. Большескулые, не умеющие улыбаться, с лицами глухими, как стены, как пустыня, они держали себя с медлительной важностью, сознавали свою силу: их было тысячи три. Их черненькие глаза поблескивали сквозь узкие щели. Все они были в теплых полосатых кафтанах, в мягких сапогах. От них остро несло конским и человеческим потом. Вечером степь, где стояли киргизы, загорелась кострами, и у каждого костра слышалось заунывное гортанное пение: «Аля-ля!» В тот, в первый день, когда киргизы пришли, Виктор Иванович обрадованно засуетился: «Наконец-то!» Весь день шло совещание. С отуманенной головой он вышел уже ночью из попова дома, глянул в степь. Степь еще горела кострами. Киргизы пели. И ему вдруг показалось: пустыня прислала своих детей, она опять поднялась. Потому что в его представлении киргизы и пустыня были родные.

Киргизы сердито смотрели на русских, даже на этих русских, что были с ними плечо к плечу, точно киргизы не верили, что есть еще русские мужики не большевики.

Виктору Ивановичу особенно врезался в память такой случай: по всему стану ходили пятеро киргизов в кафтанах почище, чем другие. (Это было в то же утро, когда киргизы только что явились.) Они подходили к мужикам по очереди, окружали их все пятеро и, хлопнув мужика по плечу, спрашивали:

— Казак?

Мужик хмурился:

— Ну, казак. А тебе что?

Киргизы недружелюбно улыбнулись одними глазами:

— Якши.

И шли дальше, к другому мужику.

— Казак?

— Казак.

— Якши.

И теперь, вспомнив об этом, Виктор Иванович подумал: «Вот ночью однажды киргизы кинутся на отряд, всех перережут». Ему стало холодно от этой мысли. «Перережут? Может быть». Он поспешно пошел в степь, откуда слышались гортанные крики и заунывная песня. Он шел осторожно, напряженно, будто хотел подсмотреть, где враг, что надо делать. Весенняя ночь уже покрыла весь мир. Звезды пылали.

Ай-каганям-аллу-у! Э-э-э!..
Ай-салама-та-джя-ры-э-э-э!..

Высокий пронзительный голос пел у ближнего костра. Виктор Иванович остановился. Что такое? В песне слышалось столько скорби, бесконечной горечи, будто певец жаловался на свою тяжелую-тяжелую жизнь.

Ай-салама-та-джя-ры-э-э-э!..

Певец сидел, поджав ноги, один у костра, прямо на земле. Красноватый свет полыхал на его полосатом халате, свет выхватил из тьмы лицо — желтовато-розовое, длинное, с черными чертами бровей, лицо было совсем неподвижно, глаза закрыты, только жил рот, ежесекундно изменяя форму. О чем кричал певец?

Виктор Иванович слушал долго. Странная жуть дрожью прошла по его спине. «Вот она — пустыня. Пустыня поет». Ему разом представилось: целое столетие человек с запада — то есть Андроновы, Зеленовы — шел на бой с пустыней, захватывал все новые и новые земли, отодвигал пустыню в глубь Азии. Киргизы кочевали когда-то между Волгой и Уралом, кочевали на вольных просторах. Ныне все здесь распахано и засеяно, киргизы отодвинуты за Урал — киргизы не имеют права напоить лошадь в Урале (им запрещается пугать рыбу), казаки стреляют в киргизов. Сто лет шла борьба. Не столетняя ли скорбь говорит в этой песне? Пустыня, пустыня!

В степи раздался пронзительный свист. Виктор Иванович оторвал глаза от певца, глянул в тьму. Ничего не видно. Кто свистнул? Зачем? «Разве они будут сражаться за нас, Андроновых, Зеленовых, за казаков? Нет, нет!»

Он опять подумал о ночи, об опасности. Однажды они кинутся, перебьют весь отряд. Он вернулся назад в станицу, к штабу. Сыропятов уже спал. Виктор Иванович разбудил его. Сыропятов, не вставая с кровати, спросил:

— Что у вас?

Виктор Иванович сказал ему вполголоса:

— Слушайте, надо немедленно усилить караулы. Кажется мне: киргизы изменят, нападут на нас, перебьют.

Сыропятов засопел.

— Да, такие случаи были. Что ж, усилим.

Он велел вызвать своего адъютанта. Виктор Иванович вышел, раздумывая о киргизах, о пустыне, об опасности, что несут новые друзья-враги. Когда он подошел к попову дому, где квартировал, кто-то уже говорил в темноте приказывающе:

— Спать всем вполглаза.

— Знаем без вас,— отозвался ленивый голос,— нагнали татарвы-головорезов и сами не рады.

— Ну, ты там! — строго крикнул начальствующий голос.— Много больно разговариваешь. Смотри у меня!

— А что будет?

— Вот увидишь, что будет.

— Со службы, что ль, прогонишь?

Виктор Иванович не стал слушать, чем кончится спор; ему показалось: вот-вот произойдет страшное. Он вошел в дом.

Утром был созван военный совет. Пришли четыре киргиза в полосатых халатах, один киргиз в офицерской форме (все пятеро держались крепко вместе), еще пришли два казачьих офицера, почему-то пришел поп, с десяток молодых офицеров

пришли, и между ними -- Василий Андронов. Сыропятов позвал Виктора Ивановича — «главного интенданта». Сыропятов заговорил властно:

— Мы сегодня же должны выступить, идти не останавливаясь. Нас теперь много. Всякая задержка в пути только внесет разложение в наши ряды. Не стоять ни дня, ни часа. Вперед! С богом на Москву!..

Он говорил долго. Он смотрел куда-то в угол, на потолок, будто видел там пути. Лишь изредка он опускал глаза ниже, бегло, быстро оглядывал всех — беспокойно пробегал по лицам. Все лица замкнулись, все уста молчали. Только киргизы переглядывались.

— Итак, повторяю: с богом на Москву...

Все слушали его молча.

Перед вечером в тот же день пестрыми змеями поползли отряды через степь к Волге. Одной дорогой шли казаки — уральские и оренбургские, другой — киргизы, а третьей дорогой — русские: цветогорцы и с ними мужики из заволжских сел и деревень. Киргизы и казаки — доброконные, горячие — все уходили вперед. Виктор Иванович в тарантасе поскакал в сторону, в села, хутора, скупать хлеб, сено, скот. Он думал, много он думал в эти дни: отряды пройдут до Волги, у Волги ждут немцы, а за Волгой — в нагорной стороне — ждут мужики, уже озлобленные большевистскими поборами, все ждут и присоединятся тотчас, чтобы ударить вместе на коммуну. Только подойти бы, подбодрить.

«С богом на Москву!»

В селе Тягуновке он созвал сход. Мужики, старики, бабы — множество их — пришли охотно. Виктор Иванович встал перед ними огромный, как столбина.

— Мы собрались большой силой. Идем. Все должны помогать. Я приехал, чтобы купить у вас хлеб, скот, фураж.

Голос из задних рядов сердито, смеясь, выкрикнул:

— А чем будешь платить?

— Да, вот это вопрос! — с готовностью откликнулся Виктор Иванович.— Вопрос для нас и для вас острый. Сейчас мы расплатимся с вами квитанциями. Я ручаюсь своей подписью, что со временем, когда будут побеждены большевики, мы по этим квитанциям уплатим вам золотом...

Сход зашумел:

— Золото большевики с собой увезут.

— Держи карман — золотом!.. Чапай идет — вот он вам покажет золото.

— Большевики хороши, да и вы, должно быть, не плохи. Только собрались воевать, а уже мужика грабите.

— Все на мужике едут!

Виктор Иванович махал руками, взывал:

— Стойте, братцы! Поговорим по душам!

Его не слушали, шумели все громче. Он замолчал, смотрел

хмуро, зло. Он понял: каши не сваришь. Садясь опять в тарантас, он сказал с угрозой:

— Ну что ж, пеняйте на себя: не хотели дать мирно, у вас возьмут силой!

Кучер Семен уже в степи по дороге утешал:

— Что с этим анафемским народом поделаешь? Вот надо взять человек пятьдесят казаков, тогда все даром отдадут.

«С богом на Москву!» Виктор Иванович представил: тысячи сел и деревень на пути, такое же жадное мужичье... И вечерняя степь, и кубовое небо с первой золотой звездой показались злыми-злыми. Далеко впереди горели костры, там стояли сыропятовские отряды...

Красные отступали поспешно, накоплялись где-то там, впереди, у самой Волги. По степи ходил слух: навстречу сыропятовскому отряду идет сам Чапаев. Под Покровском уже спешно роют окопы.

Но пока село за селом и хутор за хутором переходили к Сыропятову без боя. Только у села Григорьевки была первая настоящая схватка. За сорок верст в степи виднелась григорьевская церковь. В степи по дорогам скакали конные, шла цепочкой пехота — это было видно в бинокль. Сыропятовские отряды полукругом подходили к селу. На ночь остановились верстах в двенадцати от села. Множество разъездов было отправлено к самому селу. Наступление было назначено перед рассветом. В лагере в эту ночь не горели костры. Виктор Иванович не спал, ходил по обозу. Из лагеря киргизов слышался гортанный говор. В полночь все зашевелились, отряды тихо пошли во тьму. Остались только обозы. Виктор Иванович лежал в тарантасе, ждал. Небо было полно летних бледных звезд. Уже белые полосы протянулись с востока. Круглый звук, похожий на чугунный шар, прокатился по степи. В обозе заговорили:

— Из пушек стреляют.

Виктор Иванович сел на облучок тарантаса. Пушка ударила еще раз, потом посыпался сухой горох винтовочных выстрелов. И будто эти выстрелы разом прогнали тьму. Стало видно: конные далеко скачут — под самым селом. За ними поспешают цепи пехоты. Обозы медленно, точно червяки, поползли за пехотой. А утро вырастало, и белая колокольня четким маяком поднялась совсем недалеко — рукой подать. И странно было ее спокойствие среди выстрелов, гигиканья, криков «ура». Столб огня и дыма поднялся на краю села. В степь, в стороны от села убегали черные букашки — люди.

— Улю-лю! Красные бегут! Лови их!—орали задорно в обозе.

Киргизы догоняли убегающих, убивали, порой накидывали аркан, волочили волоком назад, к обозу. Жарня выстрелов уже кипела в самом селе. Потом сразу перекинулась за церковь и за село.

Когда Виктор Иванович въехал в улицу, уже все село опусте-

ло. Избы глядели глухо. Ворота были заперты. Только на площади у церкви виднелись люди — конные и пешие. День вышел наволочным, с низкими облаками... Обоз медленно ехал по улице. В переулке послышалось гиканье. Четыре конных киргиза вывели на улицу на ременных арканах двоих пленных, молодых белоруких парней. Лица у обоих пленных были залиты кровью. На улице киргизы загикали сильнее, двое задних заработали волкобоями — нагайками со свинчаткой на конце. Пленный упал... Киргиз нагнулся над ним, взмахнул волкобоем.

В обозе кто-то улюлюкнул:

— Наддай! Наддай ему!

Киргиз тронул лошадь. Аркан натянулся, потащил пленного волоком по земле — туда, к площади.

На площади, у церковной ограды, стояла толпа пленных, человек тридцать. Конные киргизы и казаки цепью окружили их. Когда двое новых пленных — один бежал бегом, другого волокли — появились на площади, конные подъехали к ним, задорно и старательно нагибались, чтоб ловчей ударить нагайкой.

Из ближнего двора тащили веревки, связывали пленных — человек по пять-шесть — руки, ноги. Усадили всех вместе. Потом из дворов потащили солому.

— Зачем им солому? — спросил Виктор Иванович Семена.

— Сжечь хотят, не иначе,— со злорадством ответил Семен.

Виктор Иванович отвернулся, проехал дальше. Навстречу ему вели еще пленных — тоже к площади.

Штаб Сыропятова был в школе. Верховые лошади стояли привязанные к палисаднику. Сыропятов сидел в учительской за столом. Фуражка у него была на затылке. Он улыбнулся Андронову.

— Поздравляю!

— Да. Но как с пленными-то? Ведь сжечь хотят!

Сыропятов нахмурился.

— Куда же их? Не с собой же таскать!

— Если на то пошло, убить бы просто. Зачем жечь?

— А чего с этими разбойниками церемониться? Ну их к...— Сыропятов отвратительно выругался.

Виктор Иванович нахмурился — по-андроновски плотно сошлись его брови. Сыропятов сразу заметил хмурь, глянул еще злобней, прямо по-солдатски в глаза Виктору Ивановичу, спросил отрывисто:

— Продовольствие достали?

Виктор Иванович смутился, глаза глянули растерянно.

— Не достал. Не дают. И не продают.

— Ага, не дают? Взять надо!

— Как взять?

— Очень просто. Какой же вы интендант, если не умеете взять? Немедленно снарядите отряд, идите с отрядом...

Виктор Иванович поспешно вышел из комнаты.

«Взять. В самом деле, иного исхода нет. Вот она, война!..»

Из верхнего этажа школы была видна вся площадь. Виктор Иванович остановился у окна. На площади желтела большая куча соломы. Киргизы и казаки стояли вокруг кучи. Один с горящим жгутом поджег солому со всех сторон. Солома загорелась, зашевелилась. Из-под нее раздался вой.

Вечером еще привезли пленных. Их допрашивали в школе. Это были рязанские, калужские, владимирские парни с растерянными лицами, блуждающими глазами. Казаки и киргизы сторожили у дверей школы. После допроса парней выводили из школы, казаки и киргизы здесь же, у дверей, связывали их руки веревкой или цепляли арканом за шею и, подгоняя нагайкой, гнали куда-то прочь.

Бой шел в десяти верстах от села. Трещали винтовки, изредка бухала пушка. День все такой же был наволочный. По степи к селу тянулись телеги — это везли раненых. Конные скакали и в село и от села. Степь вся насторожилась.

Виктор Иванович ходил из двора во двор, покупал хлеб и скот. Теперь его провожали конные казаки и пять добровольцев с винтовками. У каждого двора нужно было стучать. Казаки кричали, грозили выломать раму, только тогда калитка отворялась. У мужиков и баб были ожесточенные лица, казалось: если бы волю им — они в шею бы гнали добровольцев. Под вой и причитания казаки уводили коров и баранов.

К вечеру бой затих. На улице и за селом загорелись костры. Везде трещали плетни, с гумен казаки и киргизы тащили солому. На выгоне кричали, улюлюкали, свистали. Офицеры — и Сыропятов с ними — прошли по селу. Виктор Иванович пошел за ними. Он тронул Сыропятова за руку. Сыропятов оглянулся.

— Слышите? Воют. Там расправляются с пленными.

Сыропятов весь будто ощерился.

— Да что вы, батенька, все об этом говорите? Войны вы не знаете?

Он презрительно оглядел Виктора Ивановича с ног до головы, отвернулся. Вышли за околицу. Толпой стояли там казаки, киргизы, добровольцы. Все были упорно-сосредоточенны, у всех поблескивали глаза. Болезненный крик пронесся из середины толпы:

— Ой-ой, братцы!..

Виктор Иванович попытался пролезть в середину толпы. Он дергал за полы, за рукава, но крепкие, мускулистые тела стояли плотной стеной, не пускали.

— Что вы делаете? — закричал он.

Киргизы оглянулись. Один добродушно оскалил зубы, ломаным языком ответил:

— Кончал большевик!

Казак закричал:

— Верно! Кончал большевик! Всем им конец сделаем. А ты, дядя, не мешай!

Резкий запах гари бил в лицо. Толпа чуть раздвинулась, и Виктор Иванович увидел пленных. Их было десятка два, опять молодые парни — рязанские, московские, смоленские. Они все стояли голые, и руки у всех скручены были на спине. Их по очереди клали на землю лицом вверх, поливали на них горячее кипящее сало на лица, на щеки, на лоб, губы. А чтобы не вертели головами, киргизы и казаки держали пленных за уши и за волосы.

А немного в стороне другая толпа, подвижная, крикливая, возбужденная, кружилась возле двух лошадей, поставленных бок о бок, а между спинами лошадей лежал голый здоровый парень. Правая рука и правая нога у него были прикручены к одной лошади, а левая рука и левая нога — к другой. Парень стонал, принимался кричать. Киргизы и казаки сосредоточенно и молча прикручивали его руки и ноги к лошади. Гортанный, нетерпеливый крик вырвался у кого-то. Пятеро, что возились возле лошадей, опутывая ремнями голые ноги человека, разом заговорили, выпрямились и отскочили. Толпа загикала, расступилась, кто-то ударил лошадей плетьми. Свист и улюлюканье пронизали воздух. Лошади дробно ударили копытами в мягкую землю и понесли. Их гривы вздыбились от испуга. Привязанный пронзительно вскрикнул. Лошади рванулись. Они пугались одна другой, рвались в разные стороны и рвали человека. Киргизы бросились за лошадьми верхом, улюлюкали, хохотали и свистали.

Виктор Иванович поспешно пошел назад в село.

«Вот она — пустыня!»

Всю ночь потом ему чудился вой, вскрик, белое человеческое тело на потных спинах лошадей. И этот случай как-то особенно поразил его. Что происходит? С кем он объединился? День, два, три он прожил, как угоревший. Он по-новому стал присматриваться к тем, кто был в отряде Сыропятова. Эти молодые офицеры, почти всегда пьяные и разгульные,— по пути ли ему с ними? И сын был какой-то новый — непонятный, говоривший отрывисто, кому-то подражавший.

Бои шли частые, и в каждом бою сыропятовцы захватывали пленных. Ночами Виктор Иванович боялся ходить по лагерю, чтобы не наткнуться на такую же картину, как он видел тогда. А утром он ходил по селу из конца в конец. Он видел на выгоне голые трупы с обезображенными ужасными лицами. У некоторых трупов с рук и с ног была содрана кожа и валялась здесь же, как снятый чулок или перчатка. Кожа снималась с ногтями и, высыхая, становилась беловатой, прозрачной, тонкой, как бычий пузырь, и в ней кое-где видны были тоненькие волоски. Он думал о казаках, киргизах, цветогорских мещанах, что были в отряде. Все озлоблены, ожесточены, у всех лица глухие, как пустыня. «Есть ли сердце у пустыни? Есть ли у ней жалость? Нет ни сердца, ни жалости».

Ему казалось, офицеры были похожи на деревянных солдатиков, которыми он играл в детстве. Бросить в них свинцовый шарик — они все попадают, загремят, и звук будет деревянным. Чем дышали они сейчас и дышали ли когда они?

Виктор Иванович присматривался, прислушивался. Отряд теперь наступал, отступал, забирал села и деревни и снова их отдавал красным. Дошли почти до Волги. Уже видны были горы вдали. И опять пошли назад, в степь, в пустыню.

Казаки, киргизы, офицеры казались такими воинственными в степи, но в боях не могли выдержать стремительного удара красных отрядов, отступали и при отступлениях все точно распоясывались: в селах и деревнях они забирали скот, убивали мужиков, насиловали женщин. Чем же дышали эти молодые офицеры? Они дышали славой, женщиной, наживой, самогоном. Говорили слова о родине, но эти слова звучали как ложь: пьяный и родина, женщина и родина, деньги и родина, я и родина. У всех все было «во имя мое». И было ясно: нет у них ни родины, ни бога...

И с этих дней тихое презрение появилось у Виктора Ивановича к молодым, щеголеватым офицерам.

Виктор Иванович видел: пустыня поднялась, идет против человека. Люди дерутся, а пустыня — сила третья — побеждает. Кто же идет сломить деревянных солдатиков? Идет мужик с сумрачными глазами, с корявыми цепкими руками. А разве нет мужика в этих цветогорских отрядах? Есть. Он и здесь такой же крепкий и цепкий, как там, у красных.

Мужики приходили к Сыропятову по двое, по трое, с угрюмыми лицами, раздраженные. Они говорили, туго выжимали слова:

— К тебе, господин начальник! Принимай!

Сыропятов и Андронов расспрашивали: почему пришли, зачем? Мужики рассказывали одну и ту же повесть, как вот вчера рассказал один бойкий, только что пришедший:

— Приехали, значит, к нам. Очень превосходно. Приехали. «Давайте, говорят, нам лошадей и хлеба».— «Сколько?» — «Все давайте. Мы разделим, а вам вернем. Все надо делить по едокам».— «А в прошедшем годе вы нам дали?» — «Не могли, говорят, дать».— «А обещали?» — «Обещали, это верно, но не могли».— «Вот и в этом году обещаете, а не дадите. А нам смерть».— «В этом, говорят, году дадим».— «Врете, не дадите, и мы вам не дадим». Тогда они за ружья, а мы за колья... Ну, вот и весь сказ...

Мужик засмеялся скрипуче и разом спохватился, потемнел, что-то вспомнил, вдруг ахнул шапку оземь и завопил звериным голосом:

— Врозь, расшибу!

И еще приходили мужики — медлительные, с трясущимися губами.

— Ты зачем сюда пришел?

Мужик нехотя ответил:

— А так.

— Зачем же так? Аль девка разлюбила?

Мужик, угрюмо усмехаясь, почесал в затылке:

— Ну, девка! Нужна она больно!

— Нет, все-таки ты зачем пришел?

— Хм... Да здесь больно интересно: тут тебе и воля, тут тебе и доля. Ночью не спи, коноводься, стреляй... Хорошо!

Еще однажды, уже к самому Виктору Ивановичу, из мутных сумерек пришел, будто выплыл бородатый человек, в теплой шубе, в посконной рубахе. На груди через плечо, под мышкой, тянулась веревочка, а на ней за спиной висел мешок. Мужик надвинулся неслышными шагами, будто подходил, не касаясь земли, и, не дойдя шагов пяти, снял шапку, размеренно высоко поднял ее и тряхнул длинными волосами.

— Здравствуйте!

У Виктора Ивановича чуть похолодело сердце: он помнил уже много случаев, что рассказывали в отряде: подошел улыбающийся, кланяющийся человек, весь почтительный и потом ударил ножом в сердце. Вот так был убит полковник Чернов, так был убит партизан Малинычев. Виктор Иванович насторожился:

— Тебе что надо?

Мужик сделал еще шаг.

— Я вот, господин начальник, к тебе с докукой. Я решил пострадать за мир.

Мужик лицом прильнул к лицу Виктора Ивановича, заговорил вполголоса:

— Из книг видать, революция — дело божье. Нельзя к ней с нечистыми руками. А здесь сплошь воры да разбойники.

— Так что ж тебе надо? — крикнул Виктор Иванович.

Он видел горящие глаза и неясную тень — не то судорога, не то улыбка бродили по лицу.

— С чистыми руками, господин начальник, чтобы не было зла. Надо, чтобы не брали добычи. Если будут брать — будет свара. Коли добыча, так у всех и жадность. Тогда прощай святое дело!

Он говорил жарко, и ясно было: он сумасшедший.

— У нас добычи не берут, дед!

— Так, так, тогда твое дело правое. Ты должен победить.

Вот они, ищущие, твердые, можно ли их поставить на одну доску с деревянными офицериками?

Только Сыропятов, он в самом деле был как вершина в горах — энергичный, смелый, он никогда не жалел себя. Было неизвестно, когда он спит. Он кричал, приказывал, грозил. При наступлениях его слушали, при отступлениях его ругали в глаза. При отступлениях киргизы и казаки открыто грабили, насиловали женщин. И какой-то страх появился — не верить людям, с которыми идешь рядом, идешь на смертное дело. Виктор Ива-

нович скрывал этот страх и эту тревогу, но бывало: целыми днями он в тоске метался, не знал, что делать и куда кинуться. Кто же победит? Победит тот, кто имеет в себе силу самоотвержения. Конечно, и силы надо, и оружья надо, но и самоотвержение нужно — первое и всемогущее оружие. А эти могут только пировать и грабить и мнить себя героями.

Виктор Иванович думал, вспоминал: «О-о, какая тайна и какая игра жизнь человеческая! Вот отрок выходит, чтобы искать ослиц своего отца, а слуга божий уже ждет его на дороге, ждет с сосудом мира, чтобы помазать его на царство. Сегодня раб — завтра царь, сегодня царь — завтра раб». Он вспоминал прошлую свою жизнь, как игру и борьбу. Да, он был царем, а теперь? Теперь он привыкал. Случалось, на стоянках он так же, как и все, снимал рубаху и трясом вытрясывал из нее насекомых, и не было ничего в этом удивительного. И после долгих переходов он засыпал на голой сырой земле, завернувшись только в шинель, и был счастлив, если ему удавалось спать в телеге или в зловонной, но теплой киргизской юрте.

И ночами степь загоралась кострами. Утром орда уходила дальше в степь, отступала, а там, где ночевали, там, в сторонке, оставались мертвые люди. С лицами, застывшими навек, они лежали голые на голой земле, стеклянными глазами глядели в небо, и, уходя, никто не глядел на них,— должно быть, всех томила мысль: вот так же будет с тобой! Но кто знает чужие думы? Шарахались лошади от мертвецов, люди кричали на них злобно, били остервенело нагайками, проходили мимо. Мертвые лежали точно изношенные лапти. К полудню стаи хищных птиц уже кружились над мертвыми, прилетали степные коршуны, сперва все кружились, кричали тревожно — осторожные, хитрые птицы. Потом они спускались на трупы, с криком и дракой делили добычу, ели до отвала, не улетали далеко, ночевали здесь же в степи, на курганах. Ночью на смену птицам приходили волки, тоже тяжелые от сытости, и так же дрались из-за добычи, так же кричали злобно до утра. И никто никогда не плакал над умершими: мать, жена, братья, сестры — никого нигде. Кричи и плачь — пустыня глуха.

Опять отступали до Урала. Киргизы ушли за реку. Казаки разъехались в свои станицы. От цветогорского отряда осталось немного. На зимовку остановились в казачьей станице на реке. Это была вторая бездомная зима.

## VI. Последние встречи

Эта зима прошла, как тягучий, гнетущий сон. Загнанным волком метался Виктор Иванович по всему краю. Он ездил в Самару искать жену, дочь, тестя. И не нашел. Ходил слух:

Андроновы и Зеленовы вернулись назад в Цветогорье. Он ездил на хутора. Храпон и Фима, изгнанные из андроновского дома, жили теперь на Красной Балке.

С весны опять начались бои. Уже неохотно шли казаки, и почти не было киргизов. Только заволжские мужики заполняли теперь отряд. Сыропятов был все такой же бодрый, энергичный и лишь однажды тихонько пожаловался Виктору Ивановичу на мужиков:

— Плохая надежда на этих вояк. Дойдут до своего дома и тотчас нас бросят.

По весенним дорогам одним маршем сыропятовцы прошли до самой Волги, но от Волги красные опять погнали в степь, и в тех самых селах, где сыропятовцев встречали колокольным звоном, теперь их провожали выстрелами.

Отряд отступал, наступал, опять отступал. Откуда-то опять приходили к нему казаки и киргизы, отряд сразу вырастал. Потом — обычно после неудачных боев — отряд таял, рассыпался на множество мелких отрядов, и у каждого отряда был свой начальник, свой план, свое честолюбие. Вихрь бывает вот такой же на Волге — разбивается на тысячу мелких вихрей, каждый кружится в отдельности, ходит по степи, будто горит.

Киргизы теперь уже бились отдельно, они только грабили. Казаки не уступали киргизам. Сыропятов — озлобленный, потерявший голову — дрался и с красными и с белыми. Иногда, захватив отряд грабителей, расправлялся с ними так же свирепо, как киргизы и казаки расправлялись с пленными.

Там, где были хутора, теперь уже оставалась куча развалин: сады вырубались, колодцы засыпались, все гибло на глазах. К середине лета бои приняли особенно ожесточенный характер. Из-за Волги прибывали все новые и новые отряды красных войск и со всей энергией и со всем ожесточением бросались на бой с казаками, киргизами и отрядом Сыропятова.

Сыропятов принужден был отступать сперва на Деркуль. Здесь, на андроновском хуторе Новые Земли, отряд опять собрался, переформировался и вышел на берег Урала, чтобы идти к Уральску на соединение с казачьими отрядами.

В казачьей станице присоединился полк Глиноземова — полк, овеянный легендами. Еще недавно в этом полку насчитывалось несколько тысяч людей. Теперь в нем нельзя было насчитать и тысячи.

Обтрепанные, озлобленные казаки с диким ожесточением говорили о большевиках. В их глазах, казалось, кроме ненависти, уже не жило ничто. Оба отряда пошли вдоль реки Урал вниз.

И вот здесь однажды из-за мглы отряд принужден был простоять три дня. Виктор Иванович вспомнил, как мгла приходила в былые времена, как сжигала поля и всю зелень в степях. Ныне мгла кинулась на людей, на поля и степь с особой

силой. Солнце стояло высоко, но казалось только беловатым пятном на сером небе. Кругом все выло, неслось. Ветер из-за реки проносился с такой силой и так много нес песку, что царапал лицо, обжигал глаза, не было ничего видно кругом.

Вечером на третий день сбоку отряда неожиданно послышались гортанные крики, улюлюканье, свист. Во всем стане началось движение.

Послышалась команда: «В ружье! На коня!» Это были киргизы. Лавиной они обрушились на отряд, они скакали по ветру — будто мгла несла их. Казаки построились быстро, ударили навстречу киргизам с пиками наперевес. Киргизы повернули в сторону, успели отбить только три десятка коней.

Наконец ночью буря стихла. Когда встало солнце, степь явилась неузнаваемой. Все кругом завяло. Трава звенела высохшими листьями и бустылами, а на пригорках лежала бурая, полумертвая.

Отряд двинулся дальше. И вот Виктор Иванович заметил особенность: каждый раз, когда отряд подходил к казачьей станице, казаки все выстраивались эскадронами, подтягивались, вступали в станицу с песнями, посвистом, воинственными криками. Все станичное население высыпало им навстречу, больше женщины, потому что уже никого из мужчин почти не осталось. Женщины кричали казакам:

— Где Иван Егоров? Где Фрол Самосов?

Они называли своих, родных, тех, кто пошел с этим отрядом недавно из станицы на войну. И казаки, не прерывая песни, молодцевато отвечали:

— Идет сзади!

И женщины со всем напряжением, широко открытыми глазами всматривались в каждый новый ряд, искали лица знакомые и дорогие. И находили. Но не все находили. Вот и последние ряды идут мимо.

— Где Фрол? Где Федор? — уже отчаянным голосом выкрикивали женщины.

А казаки им неизменно отвечали:

— Сзади!

И женщины понимали, что никогда больше не будет ни Федора, ни Фрола: где-то в бескрайних просторах между Уралом и Волгой Федор и Фрол сложили свои головы, и что ответ «сзади»— это лишь старая казачья традиция никогда не признаваться в несчастье, в печали, всегда держаться бодро. И тогда женщины со стонами и воплями падали на землю, бились судорожно, а мимо них, вопящих, проходили рваные серые мужики из отряда Сыропятова, проезжали верхами офицеры и немногие солдаты. Отряд — с песнями и свистом — входил в станицу. Громко пели... А за околицей вопили женщины. Два лица жизни...

Сыропятовский отряд подошел к Уральску, чтобы помочь казачьим отрядам осаждать город. Как раз это были самые

тревожные недели. Уральск еще не сдавался, и с часу на час ждали, что от Покровска и Саратова, сзади, подойдут еще отряды красных. Сыропятовский отряд был поставлен как заслон против идущего на помощь Уральску красного войска. Казаки и сыропятовцы заняли две ближние станции, на перегонах держали разъезды, красные прошли ночью к северу от линии, ударили ей в тыл и с фланга, и отряд весь панически побежал к югу.

Виктор Иванович со своим обозом (он теперь заведовал хозяйством всего отряда) бежал последним, и лишь через тридцать верст Сыропятов смог опять собрать свой отряд, построить, повести в наступление назад, но от Уральска уже отступали последние казачьи части, озлобленные неудачами.

В маленьком приуральском городке белых отрядов опять собралось множество. Здесь были и киргизы, и казаки, и отдельные отряды офицерства и крестьян. Их выжили красные из степей, прижали к реке Урал, и в этом маленьком городке, до краев переполненном людьми и орудьями, злобой, решено было встретить красных и дать решительный отпор. Поспешно рыли вокруг города окопы в несколько рядов, в штабе беспрерывно шло совещание, частенько это совещание прерывалось ругательством и ссорами, потому что даже здесь, перед лицом последней опасности, игра мелких честолюбий была так же сильна, как вообще она бывает сильна, где хозяевами положения являются люди военные. Виктор Иванович, присутствовавший на совещаниях, все больше убеждался, что все потеряно и что с этими людьми, ставящими свое личное «я» выше блага общественного, ничего не сделаешь. Каждый раз он возвращался к себе в стан расстроенный и сердитый. Своему сыну он говорил:

— Пропало дело, пропало!

Он постарел за эти немногие месяцы на годы. Как-то очень быстро засеребрилась его борода, буйно разросшаяся, засеребрились волосы, пропал весь лоск и вся сытость. Он ходил такой же оборванный, как и другие, в сапогах разбитых, и уже трудно было поверить, что вот этот седой, шершавый старичишка был когда-то миллионером, кончил академию, знает толк в искусстве и в смачной жизни, был в Америке. Только его рост (все так же выше на голову других) отличал его и еще властный голос и постоянная энергия, ключом бившая через край.

Красные подошли как буря.

Однажды ночью весь город словно кольцом был охвачен ружейными залпами, с севера и с юга гремела артиллерия. Молчала лишь зауральская сторона. Во всем городе и за городом на окраинах началось движение. Казаки, дружинники, киргизы мчались по улицам города туда, навстречу врагу, и первый натиск был отражен. Красные отступали, бой перекинулся за несколько верст. Но к вечеру опять приблизились к городу, и снаряды стали падать в огородах и садах.

На третий день утром к Виктору Ивановичу прибежал мужик Архип. Этот Архип вот уже две недели неотступно следовал за Виктором Ивановичем, помогал, исполнял все, что Виктор Иванович приказывал. Сейчас, издали, завидев Виктора Ивановича, он закричал голосом отчаянным:

— Казаки отступают!

— Как отступают? Куда? — оторопел Виктор Иванович.

— Уходят. За реку уходят.

Архип, всегда угрюмый, всегда молчаливый и упорный, вдруг заорал:

— Уходят! Бегут! Им бы только грабить!

И после каждой фразы хлестал самыми страшными словами.

В обозе, справа и слева, везде мелькнули испуганные лица. Кто-то куда-то побежал, кто-то крикнул: «Запрягай!» Виктор Иванович опомнился:

— Стой! Не смей запрягать! Не суетись! Еще ничего не известно, а вы горячку тачаете.

Гром выстрелов теперь подкатился ближе к городу. Это правда, бой шел рядом. Может быть, в самом деле отступают? Но почему же тогда нет от Васи вестей? Он там где-то, на правом фланге. Мужики-возчики толпой собрались на обрыве реки, показывали на что-то, протягивая руки:

— Вон они, вон, глядите!

Виктор Иванович поспешно подошел к ним: с обрыва, прямо в реку растрепанными группами скакали казаки, с маху бросались в воду. Вода серебряными блестками летела из-под копыт, лошади мягко погружались в волны, видны были только головы, а над лошадьми, чуть сзади, виднелись казаки, подняв вверх торока, чтобы не замочить. Их плыло все больше и больше, густой полосой. А с яра скакали все новые в реку...

— А-а, дьяволы! Бегут! — крикнул Виктор Иванович.

Архип скрипнул зубами, метнулся к возам и через момент с винтовкой в руках добежал до воды и, стоя во весь рост и ругаясь, выстрелил в казаков, что уже выезжали на другой — луговой — берег на вымытых, глянцевитых лошадях. Выстрел здесь, в самом безопасном месте, ошеломил всех. Казаки заметались, во весь карьер взмахивали на яр и уносились за ближние холмы.

Архип выстрелил еще, еще. Озлобленный, ругающийся, лохматый, он наводил панику на весь отступающий отряд. Кто-то подбежал к Архипу, тоже стал рядом, тоже с винтовкой и тоже стрелял в казаков. Виктор Иванович заметался.

— Что же вы делаете? Эй, прекратить!

Архип не слушал — стрелял. Виктор Иванович вскочил на лошадь верхом и помчался к городу. Улицы теперь будто вымерли, только слыхать: по соседней улице скачут, скачут и что-то гремит. Виктор Иванович догадался: казаки уходят с обозами и с артиллерией. Он бросился навстречу, сорвал с головы картуз, замахал:

— Братцы! Что вы делаете? Не выдавай!

Казаки с ожесточенными, суровыми лицами скакали мимо. Они видели: сидит на лошади седой, бородатый мужик в шинели, машет черным картузом, рот у него как черный провал в седой бороде... И никто ему не ответил.

Казачий полковник промчался с маленьким отрядом, Виктор Иванович повернул лошадь ему наперерез.

— Полковник! Что вы делаете?

Полковник объехал Андронова, не оглянулся, точно не слышал. И тогда Виктор Иванович вдруг почувствовал необычайную злобу, ему захотелось так же, как и Архипу, схватить винтовку и стрелять в этих предателей. Он, не помня себя, заорал: «Предатели! Предатели!» Он ждал: казаки повернутся, убьют. Он хотел этого: пусть бы какой-нибудь конец. Но никто не повернулся: скакали, спешили, и уже никакая сила, казалось, не остановит их, хоть стреляй из пушек.

Виктор Иванович в карьер помчался к штабу. Слева, на окраине города, сразу раздался визг. Сердце упало. Теперь уже кругом все стучало страхом и паникой. Выстрелы надвигались быстро, как гроза. И Виктору Ивановичу странно было видеть: вот улица — в ней полно бегущих, а рядом другая улица — и в ней ни души.

У белой двухэтажной школы, где был штаб, шла суетня, тащили и грузили на зеленые двуколки узлы, чемоданы. Винтовочные выстрелы уже перекинулись в улицу. Вот за домами, за самыми ближними, бегают пешие с винтовками, из-за угла выбежали нестройной толпой человек сорок, и впереди них бежал Василий Андронов. Виктор Иванович крикнул сыну:

— Стой! Куда?

Василий мельком взглянул на отца, узнал, но не остановился, крикнул на бегу:

— Нас обходят!

И опять скрылся за углом, где тотчас же грянули выстрелы. Виктор Иванович повернул лошадь, поскакал за сыном за угол. Он увидел: солдаты лезли через плетни в сад. Василия между ними уже не было видно. Впереди в улице, шагах в сорока, вдруг поднялся столб пыли, дыма, что-то взвизгнуло и понеслось. Лошадь Виктора Ивановича поднялась на дыбы, скакнула, начала бить копытом, завизжала и закружилась. Виктор Иванович не удержался, грузно упал в пыль и выпустил поводья. Лошадь волчком закружилась на месте, задняя нога у нее, перебитая ниже колена, моталась на лоскутках кожи. Так на трех ногах лошадь домчалась до угла, скрылась. Виктор Иванович трудно поднялся с земли и, прихрамывая, поплелся назад, к обозу. Стреляли уже вот рядом, вот за этими домами.

Держась за ушибленный бок, он побежал. Там, где вот еще недавно стоял обоз, теперь уже не было ни возов, ни лошадей, ни людей. По дороге вдоль реки поднималась пыль. Киргизы на лошадях переправлялись через реку в том самом

месте, где переправлялись казаки. Из города, из садов на поле и на берег вырывались люди — по двое, по трое — с винтовками в руках, бежали, пригибаясь.

— «Конец!» — подумал Виктор Иванович и в безнадежности, чувствуя небывалую слабость, спокойно сел на пригорке. Спокойно же он снял с себя шинель и бросил ее в ямку, остался в черном пиджаке — старик с растрепанной седой головой, измазанный, весь в пыли.

Он смотрел равнодушно на бегущих, смотрел долго. И разом вскочил. Его толкнула мысль: «Где же Вася?» Он побежал назад, к городу, навстречу тем, кто еще выскакивал из садов. «Куда же бежать? Лучше здесь подождать, может быть, встречу его здесь».

Он перелез через ближний плетень в сад, лег в траву, посматривая в щель на дорогу. С десяток верховых проскакали мимо к реке. На фуражках у них были красные звезды. Где-то справа ревели: «Даешь!» И всадники с красными повязками уже массой понеслись мимо сада к реке, где еще переправлялись киргизы и солдаты.

За домами стрельба то утихала, то вспыхивала с новым ожесточением. Двое выскочили из ближнего сада и, пригибаясь, побежали. Конные с маху бросились за ними, бежавшие отстреливались, припадали к земле, опять вскакивали. Один верховой грохнулся на землю. Еще стрелки выскакивали из садов, а верховые азартно ловили их.

Виктор Иванович видел, как взмахивались сверкающие шашки над головами. Уже группа красных с гиканьем скакала по дороге вдоль реки, преследуя бегущих. Виктор Иванович сидел за плетнем в лихорадке. Пот смочил волосы на лбу, на висках, смочил бороду.

В церквах уже не звонили. За домами стрельба смолкла, лишь одинокие выстрелы рвали тишину. За плетнем прошли цепью молодые солдаты в зеленых гимнастерках, с красными звездами на фуражках.

«Кончено!» — опять подумал Виктор Иванович.

В этот момент за домами, как раз там, откуда вот несколько минут назад раздавались выстрелы, вдруг заиграла музыка, заиграла громко и властно, будто ждала вот этого момента, ждала за этими домами и, дождавшись, сразу рванулась, заплясала в воздухе радостно и торжествующе,— музыка яркая, задорная, горячая, как молодая кобылица.

Виктор Иванович встрепенулся. Что такое? Уж сколько лет он не слышал музыки! Пожалуй, с тех дней, когда по улицам Цветогорья в марте семнадцатого года ходили толпы торжествующего народа («Все люди братья»), радовались приходу великой русской революции. Задорная, оглушающая, пьянящая музыка тогда и... теперь!

Он весь опустился наземь. Музыка так его ошеломила, что он заплакал, а не плакал со времени смерти отца. «Вот

сиди, сиди здесь, под этими кусточками, прячься за картофельную ботву, раздавленная человечина, сиди!» А музыка все играла — ближе, ближе. И — чу! — кричат «ура», торжествуют. И уже везде говор, и фырканье лошадей, и веселые голоса. Необычайная тишь — после грома выстрелов — чутко ловила эти голоса. И слыхать: наливается город торжествующими людьми... крики там, здесь крики, крики.

До темноты сидел Виктор Иванович за плетнем. Он слышал, как по двору ходили люди, как скрипели ворота, раз кто-то вышел в сад, подходил вот совсем недалеко, слыхать было, как под ногами шелестела трава, но походил и ушел. И уже во дворе кому-то громко сказал: «Никого там нет».

Ночь погасила музыку и голоса. Только где-то окраиной все еще проходили войска. Ночью во дворе застучал топор, что-то затрещало. Должно быть, рубили забор. Пронзительный женский голос спорил, кричал. Виктор Иванович растянулся между грядами, перевалил мягкую землю по бокам, чтобы лежала ровнее. Ему очень хотелось пить. Только бы пить! И ничего больше не волновало его: равнодушие всей тяжестью навалилось на него.

Он еще повозился, чтобы лечь удобнее, и задремал. Ему казалось: он только-только задремал, как почти над ухом грохнули выстрелы. Виктор Иванович вскочил, не понимая, что такое с ним, где он. Кругом было темно, только белой полосой виднелось небо за плетнем. Роса упала густо,— степная ночь холодна,— он дрожал, не попадал зуб на зуб. Где-то далеко грохотали выстрелы. И Виктор Иванович вспомнил, где он.

Он опять лег на согретую землю и так пролежал с открытыми глазами до рассвета. Потом солнце поднялось — большое, горячее. Город скрипел обозами, гремел криками. За домами пели солдатскую песню. Виктор Иванович сбросил пиджак, жилет, распустил пеструю рубаху, подпоясанную пояском, и через плетень вылез из сада.

Три парня в зеленых гимнастерках, с красными повязками на рукавах и с винтовками за плечами шли из города ему навстречу. Один крикнул:

— Эй, старик, ты куда?

Виктор Иванович ответил равнодушно:

— А в город.

— Зачем? Кто ты такой? Откуда?

— Я-то? — простодушно, подделываясь под мужичий говор, спросил Виктор Иванович.

Красноармейцы подошли к нему.

— Да, ты-то. Откуда ты?

— А я аж из-под Новоузенска. Забрали. Загнали сюда. Спасибо, скоро оставили. А лошадь так и пропала, угнали.

— А не врешь?

— А чего мне врать? Эка сказали!

— Веди его, Коньков, к штабу: там разберут.

Коньков снял с плеча винтовку, сказал:

— Идем!

Они вдвоем пошли по улице. Окна домов были заперты. Нигде не было никого, кроме красноармейцев.

— Так ты откуда?

— Из-под Новоузенска. Знаешь?

— Как же, проходили. Что ж, забрали тебя?

— Забрали, дьяволы! Казачишки. «Вези»,— говорят. А у меня лошадь-то еле-еле душа в теле.

Старик говорил спокойно, рассуждающе, и молодой конвойный поверил ему.

У той же двухэтажной школы, где вчера еще был штаб белых, теперь стояли запыленные автомобили, два орудия, подъезжали и уезжали конные, и во дворе чернела толпа.

Конвойный подвел Виктора Ивановича к воротам. Зубоскальный часовой бойко оглядел старика.

— Откуда?

Конвойный ответил:

— На улице взяли.

— А ну входи!

Часовой показал рукой во двор. Виктор Иванович подошел к толпе. Множество глаз глянуло ему навстречу. У него заколотилось сердце: сейчас узнают, кто-нибудь назовет его... Он, стараясь казаться очень равнодушным, встал в сторонке. Чьи-то глаза все-таки тянулись к нему настойчиво. Но высокий черный человек вышел в это время на школьное крыльцо, закричал:

— Кто был у белых? Выходи!

Толпа всколыхнулась и разом замерла. Никто не выходил.

— Ну? Скоро вы там? — нетерпеливо кричал чернявый.— Все равно от нас не скроетесь.

Тогда из середины пошел один, другой, третий. Женский голос крикнул позади Виктора Ивановича:

— Вот этот тоже был! Что не выходишь?

Виктор Иванович стоял неподвижно: боялся оглянуться, не на него ли посматривают?

Чернявый поднялся на носки, смотрел куда-то дальше, через голову Виктора Ивановича.

— А ну кто там? Выходи!

Молодой офицер из сыропятовского отряда стал протискиваться к крыльцу. Виктор Иванович отвернулся... У крыльца собралось девять человек — их ввели в школу. Чернявый прокричал:

— Кузьмин, бери, сколько надо, веди на кладбище рыть могилы.

Кузьмин — большелобый, бритый красноармеец — подошел к толпе, стал отсчитывать:

— Раз... два... три... пять... десять...

Виктор Иванович едва успел спрятать улыбку, когда Кузьмин взял его за рукав рубашки, отодвинул в сторону.

— Ну, вот вы, сорок, идите за мной...

Он суетливо вывел людей на улицу, попытался построить в ряды. Все неловко затолкались. Большинство — старики. Кузьмин засуетился, махнул рукой: «Сойдет!» — и, крикнув: «Шагом марш!», повел к кладбищу.

Кладбище все заросло высокими тополями и молодыми дубочками. У ограды четверо солдат что-то вымеряли. Кирки и лопаты лежали кучкой. Телеги, нагруженные убитыми, подъезжали с полей и из города.

«Если он не успел убежать, он будет здесь»,— подумал Виктор Иванович. Две телеги подъехали к тому месту, где уже рыли могилу. Виктор Иванович первый подошел к телеге, стараясь казаться равнодушным и спокойным. Он сказал:

— Я помогу сгружать.

На первой телеге было восемь трупов, изуродованных последними смертными судорогами. Кузьмин прокричал:

— С убитых снимать все, чтобы лохмата не осталось!

— Зачем так? Хоть бы рубашку оставить.

— Рубашка живым пригодится. А они и голенькие полежат.

Подошли два красноармейца, стали стаскивать с мертвого сапоги. Один крикнул:

— Что ж ты, старик, не помогаешь? Держи!

Виктор Иванович взял мертвеца под мышки и так держал его, пока красноармеец стаскивал сапог за сапогом с негнущихся мертвых ног... Еще подъехали телеги. Толпа усердно копала землю, яма уже выросла большая. Красноармейцы торопились... На десятой телеге, доверху нагруженной мертвыми, Виктор Иванович увидел Архипа. Пуля попала ему в грудь. Лицо было совсем спокойно. В углу полуоткрытого рта застыла красная струйка. И, встречая и осматривая каждую телегу, Виктор Иванович думал:

«Слава богу, его нет».

Но вот мелькнуло что-то знакомое... чистенькая гимнастерка, мягкие сапоги. Виктор Иванович сразу задрожал, положил обе руки на наклеску и так минуту целую стоял неподвижно, закрыв глаза. Боялся взглянуть.

— Что же ты остановился, старик? Или устал?

Виктор Иванович с трудом сказал:

— Я сейчас.

Да, это был сын, Василий Андронов, Вася. Вот от первого дня его рождения и до этого дня он знал всю его жизнь. Пуля попала ему в левое плечо возле шеи, как раз возле того места, где день и ночь — от рождения до смерти — бьется неугомонная жила. И легка, должно быть, была его смерть, потому что спокойно было побледневшее, строгое лицо, чуть повернутое набок, вызывающее и гордое, как в некоторые минуты поворачивал он лицо живой, задорный, гордый. Кто-то уже успел снять

шинель, расстегнул кто-то рубашку и унес золотой крестик на золотой цепочке, что сам отец привез сыну из Москвы.

Дрожащими, негнущимися руками Виктор Иванович поправил растрепавшиеся волосы... Ни звука, ни слезинки. Он собрал всю силу, один поднял тело — прямое и застывшее,— понес. И когда сыновний мертвый холод почуяла его разгоряченная работой грудь, холод страшный, Виктор Иванович вдруг не справился, хрипнул и опустил тело бережно на землю и на момент скрыл свое лицо у него на груди. Мимо ходили:

— Что, старик, аль тяжело?

Виктор Иванович, с трудом выжимая слова, сказал раздельно:

— Тя-же-ло...

И в этих раздельных словах, и в этом самом слове была страшная правда: тяжело!

— Ты бы позвал кого. Вдвоем сподручней.

Виктор Иванович опять ответил:

— Донесу.

Он встал решительно, поднял, понес. И был только один момент для него страшен: ему показалось — он не утерпит, закричит, выдаст себя. Он отвернулся, отошел прочь. Это момент, когда его мертвого сына раздевали с прибаутками, с разбуженной жадностью.

— Эх, сапожки-то хороши! Самые для меня.

Он вернулся. Сын уже был без одежды, прекрасный даже в смерти. Он сам положил его на дно ямы — клал осторожно, медленно. Он любовно поправил его руки и ноги. Сверху ему крикнули:

— Чего канителишься? Бросай скорей! Ишь, старый пес, канителится, ровно сына родного хоронит!

Трупы складывали рядами, их оказалось много, их еще и еще подвозили, приносили, кидком кидали в ямы, будто уже не трупы, а каменья. Виктор Иванович ходил равнодушно, сдавленный усталостью, и часто садился в сторону на взлохмаченную землю. На него кричали красноармейцы:

— Что, старик, сидишь? Пошел! Пошел! Аль плакать собираешься?

Он поднялся, опять ходил безучастно. Бритый Кузьмин распорядился:

— Стой! Зарывай эту яму!

Тут и старик вместе с другими взял лопату, охотно поднял разрыхленную темноватую землю и бросил в могилу. Зарывали недолго, утаптывали землю с шутками:

— Теперь шабаш! Не вылезут!

Чьи-то прошлые слова вспомнил Виктор Иванович: «Жизнь наша цвет и дым и роса утренняя воистину. Где краса телесная? Где юность? Где очеса и зрак?»

Он отошел от могилы в сторону, оглянулся. Мимо ходили. Кузьмин подошел к нему.

— Ты, старик, откуда? Здешний?

— Нет, я из-под Узеней.

— С лошадью взяли тебя?

— С лошадью.

— Ну, поедешь с нами обозом, отойди вон в сторону.

Виктор Иванович пошел в сторону с другими. Он ночевал на чьем-то дворе, переполненном зелеными повозками с мешками и узлами. Всю ночь он неподвижно лежал, вздыхал тихонько, думал. На рассвете он вышел ко двору. Мимо проходили отдохнувшие за ночь красноармейцы — молодые, почти мальчики. Между ними иногда — бородатые сорокалетние здоровяки, все в зеленых рубахах со скатками за плечами, с позванивающими котелками у пояса, с винтовками на ремне. Они шли в шаг, музыка играла впереди, звала, они пели, и рты у них были задорные, жадные, как западки: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов!»

«Нет, это не сарынь. Это — войско».

За пешими проехала артиллерия. По пыльной дороге с мягким звоном катились орудия, потом потянулись двуколки, с которых тупыми мордами смотрели пулеметы.

Потом, через маленький промежуток, проехали чистенько одетые всадники — старые и молодые, усатые и безусые, в шинелях и кожаных куртках. Это ехал штаб — человек тридцать.

Виктор Иванович смотрел на них, каждому в лицо, по очереди. Вот они — мозг и сердце вражьей армии. Он видел, много было лиц тонких и холеных — это были офицеры старой армии. Сбоку ехал высокий, плотный парень в кожаной куртке. Его русые волосы выбивались волнами из-под кожаной фуражки. У него близко сошлись брови. Что-то знакомое было в этом лице, обросшем молодой бородкой.

Виктор Иванович в испуге поднял левую руку, хрипнул, качнулся назад, прислонился к забору. Его глаза глядели безумно. Всадник беспокойно оглянулся, точно взгляд старика заставил его обернуться, мельком глянул на старика с растрепанной бородой, оборванного, в ситцевой рубахе, и опять отвернулся. Потом, проехав немного, он оглянулся снова. Старик все еще смотрел на него безумно. Но разве мало стариков, которые смотрят безумно?

А впереди настойчиво пели: «И, как один, помрем в борьбе за это!» Штаб проехал. Потом пошли еще и еще отряды, и еще ехали всадники. День становился больше и выше.

Молодой красноармеец, десятский возчиков, кричал во дворе:

— Приготовься, сейчас едем!

Виктор Иванович вошел во двор:

— За ними, что ли?

— Нет, мы за реку. Мы с Вахламовым.

Кто-то спросил:

— А это чей же отряд был?

— Тут два отряда было: один Чапаевский, а другой Андроновский. Видал Андронова?

— Это какой же?

— А слева ехал в кожаной куртке, на карей лошади... Молодой, а башка!

Возчик усмехнулся:

— А у нас болтали: Андронов за белых бьется.

— Так то отец и при нем сын один. А это другой Андронов.

— Тоже сын?

— Сын.

— Ишь ты, времена какие: отец с сыном дерутся.

— Эй, старик! Гляди в оба! Чего дрожишь? Чать, не холодно.

— Ну-ну, товарищи, запрягай!

И возчики зашевелились, застучали дуги об оглобли, зафыркали лошади, зазвенели колечки на узде. Рыжебородый мужик закричал:

— Эй, дед, ты чего же лежишь? Запрягай!

Дед (так теперь все величали Виктора Ивановича) с трудом поднялся и, прихрамывая, подошел к возу.

Рыжий мужик спросил:

— Что, аль неможется? Давай-ка я тебе подмогу.

И, запрягая, тихонько сквозь зубы ругался:

— Заездили нас, дьяволы!

И опять громко старику:

— Ну, лезь, дедушка, на воз, держи вожжи да не плошай! Повоюем — домой вернемся. Ты откеда?

Старик не ответил.

— Ишь ты какой кволый стал! Попритчилось, что ли? Вот утресь ничего был, а сейчас еле-еле. Ну, сиди, вожжи-то держи!

«Ага, сын на отца, брат на брата? Внучек Ванюшенька, любимец дедушки Ивана. Кожаная куртка, кожаная фуражка на русых волосах. Да!»

Ему разом представилось то утро на пчельнике, когда Иван взмахнул топором. Какое искаженное, ненавистно-чужое лицо было тогда! Вынянчили, вырастили помощь себе! «С отцом-матерью не желал иметь дела: грабители мы! Красным атаманом захотел быть? Что ж, грабь, режь, жги, рушь добро отцов, потом, кровью нажитое. Братоубийца! Добивай теперь отца, добивай!»

— Ты куда едешь, старый черт? Держи вожжи. Или нагайки хочешь?

Виктор Иванович равнодушно потянул вожжи.

Забукали копыта лошадей по мосткам парома. Здоровенные, гладкие парни орали:

— Стой, куда прешь?

Лошадь остановили у перил. Мужики пересмеивались.

— Кого теперь бояться? Тех, что ль, кого мы хоронили вчера? Ничего, зарыли глубоко: не вылезут.

И кругом заржали могуче, в сто глоток.

«Это над кем же смеются? Над убитым сыном?»

— Ну, ну, вывози, матушка!..

## VII. Погибель

Около полудня было, отряд переправился за Урал, на «бухарский» берег. Потянулись луга с ериками и озерами, потом зажелтели барханы — песчаные холмы, нанесенные ветрами из далеких пустынь. На барханах гордо качался кияк — степной камыш. Дорога едва намечалась по лугам и между барханами — так мало по ней ездили в эти бунтующие годы. Виктор Иванович все оглядывался: на город, на кладбище, где теперь возле ограды — братская могила. Чаще пошли барханы. Город спрятался за ними. Разъезды — конные красноармейцы — ехали справа, слева, впереди верстах в двух. Нигде во всей степи не было видно ничего живого. Только желтые барханы, кияк на них, и лишь в долинах кое-где глядел голубой глаз маленького озера и густо зеленела трава. Отряд пехоты шел впереди — медленно, без шума, без песен. Обоз развернулся длинной лентой. За обозом шло прикрытие — рота пехоты и десятка три всадников. Колеса вязли в песке.С каждого бархана Виктор Иванович оглядывался — все хотел увидеть город. Уже вечерело, длинные тени побежали от барханов, от всадников, от обоза. Виктор Иванович оглянулся. Солнце стояло совсем низко, вот-вот заденет за край земли. Оно закатывалось как раз за далеким, невидимым городом, позади обоза. Степь закраснела вся, будто на нее брызнули кровью. А кругом было тихо, так тихо, что слыхать было, как вполголоса лениво разговаривали между собой красноармейцы позади обоза. Скрипели телеги, пофыркивали лошади.

Перевалили бугры, стали спускаться в долину. Внезапно сзади где-то далеко грянул выстрел. Весь отряд — вся эта тысяча людей — разом оглянулся. Дорога позади была пуста. Потом из-за большого бархана вдруг выскочил один всадник, другой, третий — во весь опор понеслись к отряду. Солнце осветило их сзади, и всадники на момент казались великанами. Великаны неслись прямо на отряд. Отряд остановился, ждал... Нетерпеливые голоса заорали навстречу:

— Что такое? Что случилось?

И эти дикие голоса в мертвой вечерней степи были ужасны. В напряженной тишине было слыхать, как букают копыта их лошадей по мягкой дороге. Сотней глоток отряд заорал:

— Да что такое, черт вас возьми?!

Два передних всадника промчались мимо молча. У них не было фуражек, их вытаращенные глаза казались безумными. Лишь третий всадник на скаку крикнул:

— Бе-гут!

И разом во всем отряде заговорили, закричали:

— Бегут! Бегут!

— Кто бежит?

Раздались резкие крики команды:

— В цепь стройся! В ружье! Артиллерия, на правый фланг!

Армейцы побежали в хвост отряда, держа винтовки наперевес. Лошади испуганно запрядали ушами. На дальнем бархане показалась вереница голых людей. Голые бежали один за другим, бежали, размахивая руками, будто танцевали чудовищный танец. Солнце освещало их сзади. Они казались огромными, как ветряные мельницы, машущие крыльями. Руки их казались многосаженными, ноги охватывали по целой версте. Один голый великан пробежал через бархан, другой, третий, пятый, десятый... В обозе кто-то пронзительно закричал: «А-а-а!» И весь отряд — будто по сигналу — бросился врассыпную. Затрещали телеги, ахнули выстрелы, взбешенные лошади понеслись в степь... Виктор Иванович дал лошади волю. Она помчалась прочь от дороги, перегоняя другие телеги, перегоняя бегущих людей...

Чтобы облегчить лошадь, он сбросил четыре мешка с телеги. Лошадь ускорила прыть. Позади раздались выстрелы. Кто-то дико кричал. Но вот смолкли сначала крики, потом выстрелы. Виктор Иванович, давая лошади волю, незаметно правил ею за барханы, извилистыми долинами, чтобы скорее скрыться с глаз. Он боялся погони. Погони не было. Ночь выручала. Она надвигалась черная как сажа, степная зауральская ночь. Лошадь храпела, задыхалась и от пены стала сивой. Виктор Иванович, заехав за высокий сырт, наконец остановил ее, огладил, успокоил, распряг, снял хомут и шлею, заговорил ласково. Лошадь все косила круглыми от ужаса глазами, дрожала. Пена кусками падала с ее губ. Далеко позади опять раздался выстрел. Лошадь опять фыркнула, заперебирала ногами, готовая скакать. Виктор Иванович торопливо осмотрел телегу, выбирая, нельзя ли чего захватить с собою. Телега была нагружена овсом и караваями печеного хлеба. Он отсыпал в торбу овса, положил в мешок целый хлеб, из брезентовой покрышки сделал толстый потник, сел верхом и неторопливо поехал степью, стараясь держать к западу. Ночь уже заволокла все небо и всю землю. Степь молчала. Лишь перекликались степные кулики. Переспелая трава пахла в ночи удушливо, и ее знакомый запах успокаивал, как родной. Звезды на черном небе прядали ресницами.

Чутко слушая, время от времени останавливая лошадь, Виктор Иванович шагом продвигался вперед. Порой он въезжал на барханы, спускался в низины. Про себя он высчитывал, сколько отряд мог за день пройти от города. Выходило — немного. К утру нужно бы добраться до реки... Лошадь осторожно фыркала, вынюхивая землю, шла бодро. Вдали завиднелся неясный свет, точно розовая полоска. Виктор Иванович направил лошадь туда. Он стал еще осторожнее. Он ехал долго. Светлая полоска росла медленно, становилась пятном. А огня все еще не было видно. Дорога пошла в низину, потом опять на бархан. Послышались неясные звуки. Перед самым хребтом он слез с лошади, осторожно накинул ей обрывок брезента на морду, чтобы она не фыркнула, не заржала, и в поводу повел за собой. За барханом, на склоне, горел костер. И тени мелькали возле

костра, и слышались гортанные голоса киргизов. «Свои или красные? Киргизы — значит, свои, белые». Кто-то пошел от костра в степь за топливом — сухой травой, запел гортанно киргизскую плясовую «Айда быллым» и оборвал. Стоя возле лошади и держа ее за шею, Виктор Иванович раздумывал: идти к ним или нет? Киргиз, что ходил в степь, подошел к костру, бросил охапку сухой травы в огонь и опять запел что-то... что-то знакомое. Что? Киргиз пел неуверенно, робко, должно быть, для него мотив был еще новым. Виктор Иванович напряженно вслушивался, припоминал. И — точно его толкнул кто — он сразу прянул к лошади, резко повернул ее и поспешно повел от бархана в долину, прочь от костра. Киргиз пел «Интернационал». Тоска, как нож, полоснула по сердцу. Взбираясь на лошадь, Виктор Иванович чувствовал, как у него дрожали руки. Он долго ехал степью, оглядываясь. Огонь опять превратился в пятно, потом в белую черточку, потом исчез совсем. Ночь стала черней, чем прежде. Лишь звезды — горох на черной дороге — сияли, и по ним Виктор Иванович правил путь.

К утру в воздухе повеяло речной тяжелой сыростью. Впереди по долинам белел туман. Там виднелись озера. «Скоро река. Слава богу». Он погнал лошадь скорее, хотел до света пробраться в таловые заросли, что росли по берегам Урала,— там можно будет спрятаться и высмотреть. Вот уже обрывы. Лошадь умерила шаг. Виктор Иванович направил ее под обрыв к кустам. Вдруг справа мелькнуло что-то черное, затопали копыта, в момент кругом запрыгало, зафыркало, дохнуло шумно,— пять всадников окружили Виктора Ивановича. Двое схватили лошадь под уздцы — справа и слева,— а другие за руки, за плечи, пригибали к лошадиному хребту. Грубый голос, от которого несло спиртом, спросил:

— Стой! Чей такой? Откуда?

И по голосу, и еще по манере хватать пленного Виктор Иванович узнал: это казаки-разведчики. Он снял картуз, перекрестился широким староверским крестом. Перекрестился не только от радости, перекрестился, чтобы без лишних слов казаки знали, кто он. Казаки опустили руки. Но двое все еще держали за узду.

— Откуда, дед? Как попал сюда?

— Ведите в штаб, братцы! У меня важные вести для начальства.

Все же — по своей манере — казаки обыскали его, и только после обыска повели в штаб. И опять Виктор Иванович увидел знакомое: казачьи офицеры в штабе были пьяны. И горечь и уныние захватили его. «Разве могут победить пьяницы?» Офицерам он доставил удовольствие, рассказал, как отряд красных бежал от десятка голых людей. Все — и пожилые и молодые — хохотали, радовались, ругались, как будто в этом мелком случае им чудилась победа.

— Это они от нас бежали. Даже штаны бросили.

— Как мы понажали. Они наутек, за реку!..

И среди их шумной радости был только один Виктор Иванович полон безнадежности и отчаяния. Его обнимали, ему предлагали выпить за победу, за единую великую Россию и великого государя. Он пригубливал стакан, чтоб не обидеть, а сам едва сдерживал злобу и был готов вспыхнуть и бить и ругать этих дураков, украшенных золотыми погонами...

Его с торжеством отправили с «бухарского» берега на горный, правый. «Там ваш отряд стоит». Когда его посадили в лодку и повезли и офицеры, провожавшие, закричали «ура», замахали ему фуражками, он улыбался им, а сам думал: «Не утопиться ли?» И эта мысль — о самоубийстве — второй раз за всю жизнь пришла к нему...

Он ее поспешно прогнал. «Терпи!» Но уже одно ее появление точно вскрыло глубокую рану в его душе.

По пустому разгромленному городу он ходил из края в край, отыскивая цветогорский отряд. Встречные казаки и русские смотрели на него подозрительно: «Что за старик?» Киргизы не понимали его вопросов. Случайно он подошел к кладбищу, к могиле, где схоронил сына. Свежий холм уже обсох, земля посерела, и сухая пыль под ветром вилась струйками.

Только к вечеру он нашел палатки цветогорского отряда. В отряде остались только пять офицеров. Было несколько новых лиц, был бобовский богатей Щипков, старичище саженного роста, и его три сына — здоровенные красные парни, был поп Успенский, был учитель Саранцев, когда-то щеголеватый, ныне растрепанный, измученный, похожий на бандита. Опять всю хозяйственную часть передали Виктору Ивановичу: верблюдов, повозки, кошмы, хлеб. Всего было много, можно было радоваться. Но радости у Виктора Ивановича не было. Он чувствовал: что-то в самом деле оборвалось. Но что?

На рассвете следующего дня двинулись вдоль реки, вверх, к Уральску. По дорогам заскрипели обозы. В степи скакали конные. По реке плыли каяки. По бокам дорог валялись человечьи и конские трупы, и трудно было дышать от смрада. Не верилось, что вот эта копошащаяся страшная масса, пахнущая падалью, покрытая обрывками одежды, еще недавно была человеком, сотворенным «по образу и подобию божию». Трупы наводили страх на лошадей и верблюдов и уныние — на людей. Вороны, коршуны и беркуты кружились над трупами. Отряд шел молча. И Виктор Иванович, угнетенный до последней степени, искоса, мельком смотрел на эти трупы. И думы, словно расплавленный свинец, жгли мозг. О-о, есть о чем подумать на этой пустой дороге!

«Россия? Россия потеряна вот на этих дорогах».

«Зрю тебя безгласну и бездыханну, во прах поверженну!»

«По капелькам собиралось богатство, а растрачено рекой, морем».

Сыропятов подъезжал к Виктору Ивановичу, пытался советоваться. Но получал ответы односложные. Он всмотрелся при-

стально в лицо Виктора Ивановича, что-то заметил, отъехал, чтобы больше не возвращаться.

Вечером далеко впереди грохнуло орудие, но никто в отряде не заспешил на помощь туда, вперед, где начинался бой.

«Верит ли кто-нибудь в победу?» — подумал Виктор Иванович и вдруг поднял голову.

«Что такое? Ага, вот оно где!»

Он понял: он больше не верил, и в этом вся его червоточина. Все безнадежно! Да, да, да, да. Он ранен: он не верит в победу. Даже легкораненому кажется, что сражение проиграно. Вот где корень...

«Деньги потерять — ничего не потерять. Время потерять — много потерять. Веру потерять — все потерять».

«Что ж, все потеряно?»

«Но не с большевиками же Россия?!»

«А может быть, с большевиками? Кто это знает?»

— Стой! На-зад!

Эти крики, похожие на стон, зародились впереди, где шло сражение, полились по всему обозу, по всему отряду.

Цветогорские ребята заулюлюкали, возчики заругались, остервенело колотили лошадей и верблюдов. Казалось: вот-вот они прорвутся, с ругательствами бросятся на командиров, на Виктора Ивановича. Киргизы закричали, засвистели насмешливо. Будто все над кем-то злорадствуют. Над кем? Может быть, над собой? Может быть, они тоже ни во что не верят?..

Повернули и, подгоняемые надвигающейся стрельбой, поспешно поскакали назад, в степь, в неизвестность...

Так началась в жизни Виктора Ивановича новая полоса: без веры.

Отряд отступал, наступал, вступал в мелкие стычки, снова отступал. Все жили в постоянной тревоге. Иногда целыми неделями стояли на месте, спали, иногда неделями двигались по степи. Два раза с громадными трудностями переправлялись через реку. По нескольку раз проходили через одни и те же места, через станицы, например, и каждый раз становилось яснее, что смерть крепко захватила край: станицы умирали на глазах, как, впрочем, умирал и отряд. Кто бы ни отступал — белые, красные,— старались все уничтожить на своем пути, все опустошить. И там, где были цветущие хутора, вот на глазах туда приходило запустение...

А осень надвигалась неуклонно. Ночи стали ледяные. Для костров не хватало бурьяна. Каждый вечер к Виктору Ивановичу приставали солдаты и офицеры — требовали кошм. В начале сентября отряд под давлением красных переправился на левый берег реки, в низовья, где еще сохранились лодки и паром.

На рассвете застучали топоры. Топоры долбили дно парома, вода фонтанами забила в пробоины, и паром неторопливо стал погружаться, делался все меньше и ленивее. Виктор Иванович приказал:

— Довольно! Вылезайте!

Четыре дружинника с топорами выпрыгнули на берег. У ближнего Виктор Иванович взял топор и сам — точно не доверял никому,— сам ударил по канату раз и два. Канат свистнул разрубленными концами и, как змея, зашипел, упал в воду.

Дело было сделано, но никто не крикнул радостно. Минуту стояли молча, посматривая, как расходилась волна от упавшего каната и как затонувший паром, медленно повертываясь, стал отплывать от берега.

Виктор Иванович ближе всех стоял к воде. Высокий, седобородый, в расстегнутой серой поддевке, в сером картузе, он казался богатырем перед этими затощавшими дружинниками и казаками. Он все еще держал в руке топор. Дружинники и казаки переглянулись, пошли прочь от реки на яр. Виктор Иванович стоял. Хмурые брови спустились, спрятали глаза. Потом сразу он повернулся, точно толкнул его кто, и широкими энергичными шагами пошел на яр и крикнул уже бодро вслед дружинникам:

— Эй, ребята, чей топор?

Напрасно позвал: никто не оглянулся, все уходили поспешно.

У тарантаса на яру ждали два верховых киргиза, поп Успенский, тоже верхом,— все с синими лицами от бессонной ночи и от этого холодного осеннего утра. Возница накинул шинель на голову, будто гриб врос в передок тарантаса.

— Рубят, а у меня от каждого удара сердце кровью захлебывается,— сказал поп Успенский, пока Виктор Иванович залезал в тарантас.— Ведь теперь что? Куда теперь с этой стороны денемся? Азия! Неизвестность!

«Зачем он это говорит?» — досадливо подумал Виктор Иванович. Он сердито посмотрел на попа, тронул возницу за плечо, приказал:

— Поезжай!

Тарантас покатил. Дорога была мягкая, ровная — дорога в степных просторах, где, куда ни глянь, только бурая равнина, а над равниной, далеко впереди, бледная осенняя заря, полузакрывшаяся разорванными облаками.

Наискось, правее зари, уходила дорога. По ней двигались ржавые пятна — отряды дружинников, киргизов, казаков. А степь была совсем пустая. Лишь мертвые стояли колючки кое-где да бурый типчак торчал мертво. Совсем небольшие барханы грядами поднимались там и здесь, барханы, похожие на желтоватую опухоль.

Поп Успенский скакал рядом с тарантасом и все пытался заговорить. Ему было не по себе.

— Прежде говорили: «Сжег за собой все корабли...» А мы... вот утопили свой паром. Теперь и вернуться бы, но не вернешься.

— Вернемся, бог даст,— тряхнул головой Виктор Иванович,— не навек же идем в эту пустыню.

— А может быть, и навек! Для кого как!

— Это верно. Никто не знает, где ждет его смерть.

Поп открыл рот — хотел еще что-то сказать, но не сказал, не нашел слов, которые были бы так же значительны, как смерть. Так ехали молча.

Задние возы надвинулись. Возчики — молодые неизвестные мужики из неизвестных сел и деревень — сидели, скукожившись, на мешках овса, хлеба, на ящиках патронов, на кипах шинелей и кошм. На иных возах виднелись сундуки — темно-красные и зеленые, обитые полосками белой и желтой жести, те самые сундуки, в которых хранят добро по селам и деревням. Тарантас все обгонял возы. Возчики равнодушно посматривали на Виктора Ивановича, на попа Успенского, и при виде попа, скачущего верхом на лошади, никто теперь не улыбался, как было прежде. По бокам обоза ехали верховые казаки, ссутулившись, будто равнодушные ко всему на свете. Виктор Иванович, проезжая, осматривал всех — возчиков, казаков, возы. Казаки почти сплошь были бородачи, много стариков. И эти бороды — рыжие, темные и седые — напоминали, что разорвалось единое: брат пошел на брата, молодежь вся у красных, а пожилые вот в этом отряде, где по вечерам поют: «Боже, царя храни!»

...Обоз прервался. Большое стадо верблюдов брело по дороге и степью вдоль дороги. Киргизы в остроконечных малахаях и полосатых (очень рваных) халатах ехали справа, слева и сзади — тоже на верблюдах — и криками и кнутами подгоняли стадо.

Верблюды шагали широко, равномерно, и только по тому, как далеко они вытянули длинную шею, можно было знать, что верблюды уже утомлены. Их горбы, точно пустые мешки, склонялись на бок, тощие животы были подтянуты, ноги казались длиннее. Большие печальные глаза их смотрели тревожно.

Жеребец Цыганок (его Андронов выменял у казака недавно), привязанный к задку тарантаса, поднял голову, насторожил уши: он еще не привык к верблюдам.

Тарантас взял влево, обогнал стадо. На фурах и полуфурках ехала пулеметная команда. Зеленые острые морды пулеметов смотрели во все стороны. И два орудия замешались здесь же — по мягкой дороге ползли без грома и лязга. Возле орудий на белой лошади ехал Сыропятов.

Он оглянулся, увидел Андронова, подъехал к нему.

— Все сделали?

— Все.

— Затонул?

— Затонул. Уплыл. Канат обрубили.

— А бударки?

— Лодки и бударки порубили еще с вечера.

Они говорили отрывисто, как люди, понимающие друг друга с полуслова. Но вмешался поп Успенский:

— Я говорил, надо бы с собой бударки взять. Сухие доски для костров пригодились бы.

Ему не ответили — ни Андронов, ни Сыропятов — и даже не посмотрели на него. Поп поднес руку ко рту, смущенно кашлянул. Так ехали: тарантас в средине, справа на белой лошади Сыропятов — в серой шинели, с золотыми погонами, в высокой шапке с кокардой, слева поп Успенский на рыжей лошади — весь встрепанный. Его волосы, как пряди мочалы, трепались по плечам.

— Куда же теперь? — вполголоса спросил Виктор Иванович, повернув лицо к Сыропятову.

Сыропятов тоже вполголоса ответил:

— Будем пробираться в Туркестан.

Виктор Иванович нахмурился. Он прикинул в уме весь долгий путь от реки Урал по безводным и бесплодным степям до Туркестана, прикинул свои запасы и сказал Сыропятову совсем уже тихонько:

— Это — смерть.

Сыропятов оглянулся через плечо. Морщины прошли по его лбу от переносья вверх, глаза сердито потемнели.

— Смерть? — вызывающе спросил он.— А позади не смерть? Может быть, пробьемся, перезимуем, весной опять начнем борьбу. А если вернуться, конец теперь же, вот сейчас.

Он посмотрел на Андронова дерзко, и казалось: он был готов идти на бой даже со своими. Виктор Иванович отвернулся. «Что теперь говорить?» Он поник... он поник весь — седой, замученный, опустил голову, смотрел невидящими глазами на дно тарантаса, где под ногами валялась сенная труха. Сыропятов ударил шпорами лошадь, поскакал прочь вдоль отряда. Поп Успенский забормотал:

— В Туркестан? Далеконько. Найдем ли воды? Впрочем, вода будет, вон она, тучка-то, совсем по-зимнему глядит. Вот-вот снежок грянет. Вода будет. А вот насчет дровец плохо. Пожалуй, померзнем. Говорил я: надо взять бударки — изруби и жги. Всегда тепло.

— Что там говорить, батюшка? На весь путь дров не напасешься! Тысячи верст идти — это вы представляете?

Андронов задвигался энергично, решительно приказал вознице:

— Трогай!

Они поскакали вдоль отряда. Поп Успенский, нелепо подпрыгивая, скакал за тарантасом, стараясь не отстать...

День шел тусклый. Сзади все наплывали облака, погоняемые холодным ветром. Они неслись низко, вдали волочились по самой земле, закрывая дорогу.

Голова отряда пропадала, скрытая ползучими туманами. Здесь — в голове — ехали доброконные казаки и киргизы, а за ними толпой шли пешие — русские и немного казаков, все пестро и грязно одетые, в стоптанных сапогах, с винтовками, беспорядочно торчавшими во все стороны. Там и здесь, точно бугры в поле, поднимались над толпой верблюды и лошади

и телеги, груженные вещами и людьми. Крик верблюдов, отрывистая брань возчиков, пыхтение лошадей рождали шум недобрый. В двух-трех местах маячили офицеры — в серых шинелях с золотыми погонами, в серых папахах. Они ехали верхом или в тарантасах.

Андронов догнал передние ряды. Поп Успенский потрухивал за ним. Широкая фура, запряженная парой, ползла впереди всех телег. Крепкий большой старик правил лошадьми. Андронов поехал рядом с фурой. Старик оглянулся на него и посветлел весь — заулыбался.

— Устроили?

— Устроил.

— Не догонят?

— Посмотрим.

Старик понизил голос:

— Пожалуй, плохо.

— Хорошего мало. Но что делать?

Они долгими взглядами посмотрели друг на друга, как старые заговорщики. Лошади фыркали, позади кричали верблюды, ругались погонщики и возчики.

Андронов разложил карту на коленях, вынул часы, сверился.

— Сейчас бы нужно быть стоянке.

— Поселок, что ли?

— Целая станица. Должно быть, вот за той горой.

Он подозвал киргиза, показал вперед — на дальние барханы, спросил:

— Чуйрак там?

Киргиз помотал головой, осклабился.

— Нет Чуйрак. Феклист там.

— Ага, Феклистовский поселок. Понимаю. Посмотрим.

Казаки и солдаты, шедшие вблизи, заговорили:

— Стоянка, стоянка!

Сыропятов на белой лошади проскакал вперед. Разведчики уже маячили на дальних барханах.

— Стоянка! — пронеслось по всей цепи.

И весь отряд сразу повеселел, оживился. Даже верблюды прибавили шагу.

Старик на фуре погнал лошадей. Поп Успенский крикнул:

— Дедушка Щипков! Вы мне квартирку-то потеплее отведите!

И засмеялся. Старик оглянулся, кивнул головой.

Поскакали казаки — эти всегда впереди — к добыче и к теплу. Поп Успенский тоже поскакал — нелепо запрыгал в седле. Но выехали на бархан — дальше равнина была все такой же пустой: нигде ни домов, ни деревьев. Только серые пятна виднелись справа. Разведчики уже подходили к ним.

Киргиз наклонился к Андронову, говорил оживленно, и его белые зубы хищно мелькали:

— Была станица. Нет станицы. Горел станица.

И по цепи — от передних до задних рядов — прошло, как ропот:

— Станица сгорела.

Эту ночь ночевали на развалинах. В степи еще можно было собрать сухую траву. Жгли траву. Под кучами глины и кирпичей, оставшихся от стен, нашли кое-где деревянные полы. Вытаскивали доски: жгли. С возов сняли все кошмы и всю одежду. Кутались. Дождь пошел с вечера — мелкий, холодный, нудный. К утру он стал мешаться со снегом.

И на рассвете труба играла долго-долго — поднимала отряд. У людей были синие лица, лошади дрожали мелкой дрожью, скрючились, казались лохматыми. Но двигались покорно. Только верблюды упрямо противились. Еще перед светом, когда уже потухали костры, а люди спали, верблюды жадно потянулись к теплу, к любимой золе. Они ложились брюхом в горячую золу, где еще поблескивали огоньки. Они отталкивали один другого, кричали пронзительными тонкими голосами... Их трудно было поднять. Их долго и злобно били.

Проскакал на белой лошади Сыропятов.

— Вставай!

Обошел всю стоянку Виктор Иванович, смотрел, не бросил ли кто кошм, одежды, мешков с провизией. Он приказал все собрать и положить на телеги.

И старик Щипков ему помогал.

Кое-где дымились костры и походные кухни — торопливо пили чай, завтракали. А дождь все моросил... Кошма, повешенная на скрепленных винтовках, плохо защищала от ветра.

Еще заиграла труба:

— Стройся!

Конные киргизы и казаки уже двигались по дороге. Последним со стоянки выехал Виктор Иванович, и рядом с ним — неизменный поп Успенский, покрывшийся поверх черной рясы серой солдатской шинелью.

Ждали: скоро будет киргизское кочевье — мазанки и колодцы. Пришли к кочевью около полудня. Колодцы были засыпаны, а от мазанок остались лишь кучи мокрой серой глины. Здесь уже не нашли ни сухой травы, ни куска дерева, и кто-то сообразил: походные кухни затопили сломанными телегами.

Андронов ехал в хвосте отряда, мокрая дорога уже была разбита — тарантас двигался трудно. Андронов пересел на жеребца Цыганка, поехал верхом рядом с попом Успенским.

Ночь опять провели на развалинах — кирпичи, глина, засыпанные колодцы. Дождя не было. Тучи поредели, проглянули звезды, к утру все небо очистилось, и на полыни, на жухлой траве забелел тощий иней. Мокрые кошмы и мокрые палатки задубели, их трудно было свернуть.

Отряд теперь вели киргизы — от кочевья к кочевью, от развалин к развалинам.

Весь день — это уже на шестой день похода — поп Успенский

был возбужден. Он говорил много, он смеялся, он пытался петь. Раз он запел во весь голос: «Отверзу уста моя...» И оборвал, минуту думал о чем-то, потом повернулся к Андронову,— лицо у него было горячее, взволнованное,— заговорил с необыкновенной радостью:

— Через месяц введение. На утрене запоют катавасию «Христос рождается, славите». Вот всегда жду этого вечера. Запоют, а у меня слезы. Будто опять я мальчишка! Хорошо!

И голосом необычайно высоким — должно быть, подражал мальчишкам — запел: «Христос рождается». Ближние дружинники и казаки оглянулись. Лица у всех хмурые... Андронов слышал — дружинник проворчал:

— Лампадное масло кипятится. Не к добру!

Кто-то в толпе нехотя засмеялся. А поп пел, пел, подняв лицо к небу.

И только вечером, ложась спать, уже укутанный в кошму, он вдруг поднял голову и сказал Андронову:

— А знаете, Виктор Иванович, меня ведь знобит. Боюсь, не заболеть бы.

— Не болейте, батюшка! В пустыне без доктора, без фельдшера и лекарств болеть совсем плохо. У нас даже бинтов нет...

— И бинтов нет? — испуганно спросил Успенский, как будто ему непременно нужны были бинты.

— Нет почти.

Успенский уткнулся лицом в землю, пробормотал глухо:

— Да, это плохо.

Утром он уже с трудом поднялся на лошадь. Он очень долго прилаживал сумку к седлу. Лицо у него было воспаленное. И не проехали двух верст — он запел, засмеялся. Андронов пристально посмотрел на него.

— Батюшка, что с вами?

Поп, будто его толкнул кто, перестал петь, долго и пристально смотрел на Андронова, не узнавая, потом повернул лошадь и поехал в степь, прочь от дороги.

— Стой! Куда? — закричал Виктор Иванович.— Асак, догони, верни!

Киргиз пригнулся к седлу, гикнул, помчался за попом, схватил лошадь за узду, привел. Поп сидел безучастно, опустил руки. Голова у него моталась из стороны в сторону. Его сняли с лошади, положили в рыдван, набитый сеном. Когда его клали, он вырывался, замахал руками, закричал:

— Братцы! За Русь! За Русь!

И добавил гнусное ругательство.

Пока укладывали — отстали. Отряд ушел вперед. Погнали лошадей изо всех сил. Рыдван задергался, закачался. Поп на момент поднялся — страшный, со спутанными волосами, вывалянный в сене,— заорал бессмысленно:

— Вот они! Держи!

В отряде заговорили: «Поп заболел». И на белой лошади прискакал Сыропятов.

— Что с ним?

— Вероятно, тиф,— ответил Андронов.

— Тиф? А, черт! Теперь, пожалуй, начнется!

Он озабоченно посмотрел в рыдван, на закутанного попа.

— Еще есть больные?

— Есть еще двое. Вон их на той телеге везут,— ответил Ваня Щипков — младший сын старика Щипкова, самодельный фельдшер отряда.

— Тиф?

— Тиф! — весело, с готовностью ответил Ваня.— Еще вчера вечером положили.

Сыропятов тронул лошадь, отъехал.

— Ваня! — позвал Андронов.— Как же лечить-то?

— А никак не лечить, Виктор Иванович, положимся на природу. Лечить нечем.

— Ну, а заболел бы твой отец, братья... Что делал бы ты?

— Ничего, Виктор Иванович! Так бы вот положил и вез бы. В болезни сейчас всем честь одна. Будем кутать, будем беречь, авось...

Андронов нахмурился.

«Авось? Не далеко уедешь. Пропал поп!»

И странно: в этот день, проезжая на тарантасе вдоль отряда, он бессознательно все ждал: справа или слева выдвинется голова гнедой лошади и знакомый голос скажет что-нибудь очень знакомое, вроде:

— А погодка-то сегодня неважная, Виктор Иванович!

Нетерпеливо он повертывался, чтобы скорее отделаться от надоевшего ожидания. Никого! Степь влево все такая же пустая, бурая, мокрая. Облака вдали задевают за барханы, спешат, спешат куда-то. Бустылы черной полыни и чагира качаются под ветром. А справа шлепают по размятой дороге лошади, люди, верблюды, мокрые, измученные. Попа нет...

Умер поп через шесть дней, рано утром, когда отряд уже собрался в путь. Ваня Щипков и возчик Ермил отошли в сторону от стана — шагов на полсотню, начали рыть — очень поспешно — яму сбоку песчаного бугра. Песок смерзся и закорел сверху, откалывался кусками, а под корой опять рассыпался. И, осыпаясь с боков, заваливал яму.

А отряд уже пошел. Уже последние возы тронулись. Виктор Иванович нетерпеливо кричал:

— Скорей, ребята!

Втроем они принесли труп, завернутый в рясу, к яме, опустили. Андронов шагнул в яму, натянул рясу на мертвое лицо, укладывал удобнее голову, а Ермил тем уже временем сыпал песок на ноги... И все трое зарывали поспешно, точно убийцы жертву, боясь, что застанут. Поскакали прочь во всю прыть —

Андронов и Ермил на тарантасе, Ваня на рыдване. Когда догнали отряд, Ваня вытащил из сена сумку, крикнул:

— Виктор Иванович, вот сумка осталась! Куда деть?

— Давай поглядим.

В сумке между смятым, ветхим бельем лежала библия маленького походного формата и записная книжка, вся исписанная. Андронов открыл библию наудачу: «По библии гадают». И тотчас же закрыл... «Надо сперва загадать. О чем? Выберемся или нет? Мы победим или красные? А ну...»

От этой мысли все в груди разом напряглось. Он прочитал: «И видеть небо ново и землю нову. Первое бо небо и первая земля приидоша...»

«Верно! Все новое! Вся жизнь по-новому».

«И рече сидящий на престоле: «Вот новое все творю». И глаголя: «Слова сии истина и верна суть».

«Нет, нет! Какая же это истина? Нет, тут что-то...»

Он недодумал.

«Новое? Какое это новое?»

В тот день умерло сразу трое: словно смерть попа Успенского была сигналом. В хвосте отряда тянулось уже больше двадцати рыдванов и повозок, на которых лежали больные. Больные кричали и смеялись. Возницы сидели понуро. И никого не было кругом — будто здоровые боялись подойти близко. Только Ваня Щипков крутился верхом на бойкой серой лошадке, заботливо заглядывал в повозки.

Утром потянул с юга теплый, мягкий ветер, разогнал тучи, глянуло солнышко, и отряд, обласканный теплом, оживился весь. Впереди — в самых передних рядах — даже запели: «Ревела буря, дождь шумел» — любимую песню уральцев. Это было странно всем — запели, это было диковинно. Но к вечеру опять похолодало. Ветер с востока задул резкий, поднял тучи песку — прямо в глаза. На верхушках барханов песок закрутился столбами, летел по дороге, как поземка.

Ветер дул два дня и две ночи, не переставая. Бурые облака все летели навстречу. Но ни дождя, ни снега не было. Только песок поднимался высоко: в глаза людям, лошадям, верблюдам. Два дня не варили горячей пищи. Ночью уже нечем было разжигать костры. Рубили наклески, запасные оглобли, колеса.

Тиф бурно запылал во всем отряде. На стоянках снимали с телег мешки с овсом, тюки сена, бросали, а на телеги клали больных. Утрами и вечерами возницы неизменно подходили к Андронову и Щипкову и говорили:

— У меня помер. Снять бы!

— У меня двое померло.

И мертвых уже не хоронили: просто оттаскивали в сторону, бросали. Уже унывали все: казаки не пели, дружинники шли нога за ногу, озлобленные, шли и бросали патроны, запасную одежду.

Андронов позвал Сыропятова.

— Смотрите. Бросают.

Сыропятов искоса глянул на Андронова.

— А я не знаю? Не беспокойтесь, знаю.

— Ну и что же?

— Что я могу сделать?

— Уговорить, наконец, приказать.

— Теперь поздно приказывать. Ничего не сделаешь. Меня уже в глаза начинают ругать. Разве это войско? Разве это воины? Им не прикажешь!

— Тогда я сам попытаю...

Андронов решительно вылез из тарантаса, сел верхом на Цыганка и поехал вдоль отряда. Сначала потянулся длинный обоз с больными. «Им не прикажешь!» Потом измученные дружинники и казаки — самые отсталые, пешком и на лошадях.

— Эй, ребята! — закричал Андронов.

Никто не оглянулся: так все устали.

«Этим тоже не прикажешь!»

Он обогнал людей и обозы, всматриваясь в лица. Ехали люди и шли еле-еле. У всех были равнодушные глаза, осунувшиеся синеватые лица... И ему показалось: все больны. Трое ехали верхом, выкрикивали дикие слова — бредили, и этот бред был особенно страшен.

Андронов остановил Цыганка, стал дожидаться, когда пройдут.

«Не люди едут — мертвые!» — с суеверным страхом подумал он.

В этот день случилось: двое упали на дорогу — с лошадей, и многие прошли по упавшим. Когда их увидел Андронов, они уже были раздавлены совсем. Их так и бросили на дороге...

Но еще жила чья-то воля. В какой-то час — час определенный, в каком-то месте — месте определенном — отряд останавливался на отдых. Чаще останавливались в долинах, у колодцев. Люди, словно мешки, сваливались на землю. Уже многие инстинктивно, только по привычке спутывали лошадей, чтобы они не ушли далеко, а сами, выбирая ямку в песке, ложились. Одну минуту они шевелились, укладывались удобнее и засыпали, укрывшись шинелью или кошмой. И во сне опять бредили. Спутанные лошади уныло ходили возле, копытами рыли холодный песок, отыскивали траву. А трава здесь была колючая, с шипами и белесыми волосками вместо листьев. Только верблюды пока были спокойны и благодушны. Они лениво бродили между барханами, жевали колючую траву...

Каждая ночь усиливала холод. Вода на редких озерках уже замерзла.

И вот на каком-то переходе,— на каком, Виктор Иванович не помнил,— в лицо каравану ударил снег. Сизая туча низко неслась над землей. Ветер, снег, песок слепили глаза и секли лицо. Дружинники ехали один за другим, гусем, навьючив на головы халаты, обрывки кошм, скукожившись, словно темные

видения один за другим ехали. Телеги ползли лениво: нужно было в каждую впрягать по четыре лошади. Но и четыре — через версту какую — падали обессиленные. Виктор Иванович приказал вьючить больше на верблюдов. Теперь ему было ясно: отряд гибнет. Но была странность: вот перед этой опасностью, перед гибелью он почувствовал себя бодрее. Был переломный момент: утром накануне он увидел: молодой паренек-дружинник ехал верхом на шатающейся лошади и плакал молча. Слезы катились у него по лицу. Виктор Иванович поспешно отвернулся и... засуетился, будто окреп, откуда-то у него появилась энергия.

А кругом все тянулись барханы, барханы, темно-бурые, а с них песок и снег в глаза. Уже нельзя было разобрать дорогу. Только киргизы-проводники указывали. Ветер менялся — то справа, то слева,— и казалось: киргизы путают, чтобы сгубить. Но взглянешь на компас — правильно: идут в одну сторону.

Уже не было никакого признака человеческого жилья. Только колодцы на двадцать, на тридцать верст один от другого. Останавливались у колодца. И каждая стоянка отмечалась множеством трупов.

Однажды на стоянке к отряду присоединились еще киргизы.

Старый киргиз, ехавший с Андроновым от самого Уральска, тихонько сказал ему:

— Это аддаи, разбойники. Их надо бояться.

Андронов отыскал Сыропятова.

— Аддаи. Разбойники. Надо бояться.

Сыропятов проворчал:

— Черт их разберет! Посмотрим. Надо проверить.

На всякий случай он приказал ночью усилить караулы. Всю ночь казаки сторожили, заснули под утро. И на рассвете аддаи закричали, загигикали, погнали прочь лошадей и верблюдов. В лагере начался переполох и стрельба. Больные тифом в бреду орали что-то и стреляли наугад, в своих же...

Это был страшный день.

Сыропятов, растерявшийся, проклинаемый всеми, приказал повернуть влево, к Оренбургу: так ему посоветовал Виктор Иванович, так говорили киргизы, так настаивали офицеры,

— Там мы найдем хоть корм для скота и помощь казаков. А до Туркестана не пробьемся.

Теперь Андронову казалось, что тифом больны все. Едут и бредят. И падают. Киргизы поодиночке и партиями человек в пять — десять куда-то исчезали. И каждый раз отряд недосчитывался десятка лошадей... Впрочем, лошади скоро стали помехой. Голодные, выбившиеся из сил, они падали. Отряд таял быстро, редел: он уже умещался на полуверсте пути.

На какой-то день похода начали падать и верблюды.

Верблюды все время держались стойко. Но была странность: они каждый день проходили только известное — почти всегда

одинаковое — расстояние и ложились. Никакие побои не могли их поднять. Они ревели, но не поднимались. Кто-то придумал способ: огнем жгли верблюдам хвосты. Верблюды от боли поднимались, шли немного и ложились опять. Тогда уже и огонь не помогал. Порой, выбившись из сил, верблюд падал среди дороги. Его били, резали, жгли. Он лежал. Его разгружали и оставляли лежать... А он, отдохнув, догонял отряд и, довольно похныкивая, опять тащился с обожженным хвостом и израненными боками за отрядом по дороге. Андронов берег своего Цыганка, но и Цыганок все-таки изнемог. Его пришлось бросить. Андронов пересел на верблюда. И весь день Цыганок шел позади отряда, шел, выбиваясь из сил, ржал, точно звал вернуться и взять его.

А людей становилось все меньше. На каждой стоянке они оставались — мертвые и умирающие. Оставались на пути бессильные, они отходили в сторону, ложились лицом вниз умирать.

Щипков и его три сына теперь держались вместе. Они заботливо помогали только друг другу, бодрились. Они теперь шли пешком, потому что давно потеряли лошадей...

Раз днем Виктор Иванович, ехавший на верблюде позади отряда, увидел их, стоявших в стороне у дороги. Старик сидел на песке.

Старший сын подошел к Андронову.

— Дайте кошму. Отец не может идти дальше. Остается.

Андронов дал кошму. Братья завернули отца в кошму. Он все крестил их. Братья пошли — все трое. Прошли пять — десять шагов, сто. Вдруг младший решительно повернул назад и сел рядом с отцом. Старшие понуро шли позади последней телеги. Они не оглянулись. Ветер, снег, скоро не видно стало дорогу позади.

И опять — один за другим — люди и верблюды шли навстречу ветру, снегу, песку.

В эти дни пришел страх: Андронов боялся заболеть. Заболеть здесь, на дороге? Это значит: отойти в сторону, сесть на ледяной песок и ждать, когда смерть окостенит. И еще страшно: птицы терзали трупы. Если труп лежал лицом вверх — птицы прежде всего выклевывали глаза, если вниз лицом — птицы вытаскивали кишки и рвали их в воздухе...

Но болезнь пришла. Холод и озноб. Ломота в суставах, горечь во рту.

День и два Андронов крепился. Потом сдал сразу. И сразу пустыня пропала. Он крикнул:

— Дайте чаю!

Груша принесла ему чай.

«Как будто в комнате прохладно».

Он приказал:

— Затопите печь! Внесите в комнату самовар!

И самовар забурлил на столе. Горячим паром ударило прямо в лицо.

Андронов рассердился:

— Груша, что вы не смотрите за самоваром?

Груша наклонилась к его лицу... Нет, это киргиз. Память подсказала: киргиз хочет снять с него шубу. Виктор Иванович крикнул:

— Не подходи!

И вынул револьвер из кобуры.

Пробудившейся волей он прогнал бред. Снег, ветер, песок — пустыня. Длинная, длинная дорога. Он слез с верблюда, ухватился руками за задок фуры, пошел. Шел до изнеможения и, вконец измученный, опять сел на верблюда, чтобы только не свалиться, не заснуть. Он видел: киргизы грабят кого-то умирающего. Кого? Виктор Иванович всмотрелся, узнал: это был Синцов. Киргизы уже раздели его. А раздетый Синцов полежал на снегу, очнулся, встал и голый пошел со стоянки прочь, в пустоту, и ветер рвал его волосы, обдавал снегом его лиловое тело. Широко открытыми глазами смотрел на уходящего Андронов. А тот шагал за ветром, словно подгоняемый. И так исчез из глаз.

«Куда деться? Куда уйти?»

Андронов смотрел кругом. Ветер стих. Пустыня была бела. Снег лежал ровно. Светило солнце. Всадники, как черные точки, тянулись впереди и позади. Теперь он не знал, куда едут, куда он едет, кто вел отряд, куда.

Он на момент подумал, что теперь уже нет воли людской, что отряд ведут верблюды — куда им хочется... Потом опять все на момент смешалось. Тьма и яркие огненные пятна. И близко — прямо в лицо ему — глянула пустыня.

Старуха старая, с сумрачным лицом, вся морщинистая, она глянула, она глянула пронзительными глазами прямо в душу. И засмеялась. Виктор Иванович качнул головой, с усилием открыл глаза. Старуха махала длинными руками над караваном.

— Пустыня побеждает! — пробормотал он и задвигался беспокойно, прыгнул с верблюда — дрожащий и качающийся — и пошел, держась за задок фуры. Странно: уже светило солнце. Он ненавидел солнце. Он пытался кричать... Сил не было.

Он все шел, шел, шел, понимая, что, если остановится, придет смерть.

Кто-то давал ему воду, кто-то чем-то кормил...

И еще самое последнее — он увидел вот что: на берегу озера лежал человеческий труп. Голова была у самой воды, а ноги у обрыва. Что-то очень знакомое было в этом трупе. Эта борода, это пальто, эти сапоги. Виктор Иванович приложил руку ко лбу, закрыл глаза, вспоминая. Где он видел этот труп?..

И вспомнил: это был он сам — Виктор Иванович Андронов... От испуга у него закружилась голова. Он потянулся к задку фуры, чтобы опереться, и с размаху упал наземь.

*1929*

# РАССКАЗЫ

## СМЕРТЬ НИКОЛИНА КАМНЯ

В Кряжиме за околицей — лес,— березы вперемежку с соснами,— а в лесу, возле бережку, на студеном ключе,— Николин камень. Серый он, этакий могутной, будто сила какая лежит среди леса на мягкой обомшелой земле, укрытой хвоями и прошлогодними листьями. Все кругом темно: и угрюмый лес, и сумрак между деревьями, а он светлый — издали его видно.

Большой камень. С боков он обточен — века обточили его,— а сверху на нем выемка, будто след человеческой ступни.

И ходит сказ про этот камень:

Давно это было, когда Никола еще по русской земле странствовал, смотрел, как наши мужики живут-горюют; проходил он через кряжимский лес, остановился у камня отдохнуть; вот на эту старую сосну он вешал свою сумочку с ржаным хлебом, пил воду из студеного ключа и, поднявшись на камень, беседовал с богом.

С той поры камень хранит Николин след; все теперь знают: вот здесь стояли святые Николины ноги.

И сосна еще жива, на которую он свою сумочку вешал,— только совсем старая стала, одной верхушкой зеленеет, а у корней — большое сквозное дупло,— такое большое, через него человек может пролезть.

А где Никола побывал, то место свято. Хранит и почитает народ эти места.

Хранят и почитают кряжимские мужики и камень Николин, и сосну Николину, и лес кругом них — заповедный Николин лес; все берегут пуще глаза: гордятся серяки, что Никола возле их села останавливался и здесь с богом беседовал.

И гадают: не о кряжимских ли мужиках он говорил ему?

Надо полагать, что о них. И доброе что-нибудь говорил: ведь Никола, ежели рассердится, сам накажет, а никогда богу не пожалуется на слабого человека.

Он этакий: сердитый, да милостивый.

Раз говорил — хорошо говорил. Значит, кряжимские мужики на особом счету у бога: сам Никола за них ходатель.

И правда, подает бог милости Кряжиму. Что ни двор на селе — то полная чаша. Что ни мужик — то богатырь, крепыш. Что ни баба — то красавица, могутная да ядреная, на спине хоть рожь молоти. Скот ли там посмотришь, сады ли, пчельники, огороды, нивы... Везде благодать.

А почему? Никола выпросил.

И во всем Кряжиме, почитай, первый двор — Бирюковский двор. Не двор, а вроде курмыш целый. Вдоль порядка четыре избы стоят и не какие-нибудь, пятистенные. Да еще на огородах, вон там, в углу, где купами стоят яблони и груши, темнеет крыша просторной кельи — там холостой Петруха живет, второй сын Василия Бирюкова.

И всем двором, всей обширной семьей управляет сам дед Василий. Работяга старик!

Еще не белел восток — только-только третьи петухи протрубили,— а Василий уже по двору бродит. Побывал у лошадей, посмотрел овец, коров — весь двор обошел. В другой день он крикнул бы зычно:

— Эй, вставайте!

Разбудил бы разом всех, во всех четырех избах. Старик любил, чтобы все вставали на работу до солнышка. Известно ведь: «Рано вставать — много хлеба жевать». И послушно зашевелились бы люди во всех избах.

А нынче нет. Нынче праздник: Никола вешний.

Поговорил Василий дружелюбно с лошадями и через сарай вышел задними воротами на огород.

Восток зарозовел весь. Небо стало бирюзовое, глубокое, просторное, а звезды на нем побледнели, будто веснушки на молодом лице. В ветвях ближней березы призывно пел зяблик. Василий остановился и выпрямился. Навстречу ему, из-за огородов, с речки тянуло сыростью. Кругом пахло проснувшейся землей... Густая роса белела на траве.

«Хорош день будет,— подумал Василий,— упросил Никола Илью для своего праздничка».

Он привычно представил, как святой Николай, опираясь на клюку, прошел по раю к пророку Илье, который испокон веков делает погоду, и попросил его попридержать нынче и тучи, и ветер, и туманы, чтобы народу православному хорошо было править Николины именины.

Дед стоял долго, любовно посматривая, как разгорался восток. Был он высокий, в старом черном чапане, спускавшемся ниже колен, в лаптях. А голова не покрыта. Седые кудлатые космы закрывали уши и шею; борода спускалась лопатой до пояса, и весь он был косматый, гривастый, белый, а в белых космах чернели глаза — словно два угля, воткнутые в снежный ком.

Возле кельи, за деревьями, кто-то шевелился.

— Это ты, Петруха? — крикнул Василий.

— Я,— ответил голос.

— Собирайся, сейчас зазвонют.

— Не рано еще? Да я-то собратой. Мне што? Сейчас приду. Ты бы там будил.

Где-то далеко, на краю села, заиграл пастуший рожок и раздалось хлопанье кнута, похожее на выстрелы. Старик пошел во двор. А во дворе уже ходили бабы с подойниками, здоровые, как глыбы — бирюковские бабы.

— Ишь, и будить не нужно,— усмехнулся дед,— сами дело знают.

И правда, весь двор уже затормошился. Заскрипели двери, послышались сонные голоса, в хлеву нетерпеливо чихали овцы. Дед молча прошел в крайнюю избу — в самую большую, в которой жил сам со старшим сыном. Вошел и застучал кулаком по полатям — благо такой большой вырос.

— Илька, вставай!

На полатях кто-то засопел.

— Илька! — сильнее крикнул дед и опять стукнул кулаком в доски полатей.

— Чево? — недовольно спросил с полатей детский голос.

— Вставай, собирайся живо, Никола ждет.

Илька засопел, повозился,— слышно было, как он почесывался и стал спускаться с полатей. Сперва показались его голые ноги, потом сам он, в широких посконных портках и посконной рубахе, со всклокоченными волосами, белыми, как мытый лен.

— Собирайся скорее, Никола ждет. Проспал ты.

Дед осмотрел Ильку, будто недовольный, но Илька знал, что дед-то любит его: как куда идти, так Ильку с собой.

А солнышко уже вышло и заглянуло в избу. Бабы выгоняли скотину со двора, и по улице мимо окон медленно тянулось стадо, поднимая легкую золотистую пыль.

Еще не звонили, а дед Василий, Илька и Петруха уже шли в церковь. На Ильке — новый картуз, красная рубаха и сапоги, густо смазанные дегтем; он совсем мужиком выглядит — этаким степенным, бойким да крепким,— даром что ему только одиннадцать лет. Дядя Петруха тоже в красной рубахе и в сапогах. И дед в сапогах, а на голове шапка, из-под которой падают на плечи космы.

Село узнать нельзя. На площади, на дворах — везде телеги; народ съехался из соседних сел и деревень Николу чествовать. Голодного да теплого, весеннего, милого Николу.

В ограде вокруг церкви, за оградой — везде нарядный праздничный народ. Сдержанный гул стоит над толпой. Когда раздался благовест, толпа чуть шевелится, но мало кто идет в церковь: не в церкви, а в лесу у камня будут чествовать Николу.

Идут только те, кто из года в год носит по обету святость, да еще старики и старухи и между ними дед Василий. А Илька с дядей остаются в ограде.

— Дядя Петруха, скоро в лес пойдут? — спрашивает Илька.

— Скоро. Вот затрезвонят — и пойдем. Подожди немного.

Все ждут терпеливо: кто живет с землей, тот умеет ждать терпеливо.

Попы-то, видно, торопятся — служат скоропыхом. Вот зазвонили к «достойной», а там — тиль-тили-тили-бом!— желанный трезвон закружился и заплясал в воздухе. Толпа снимает шапки, крестится, шевелится, и у всех светлеют лица. Из церкви выносят хоругви, кресты, иконы, а вслед за ними показывается на желтых деревянных носилках большой образ Николы. Вся тысячная толпа опускается на колени.

Солнце играет на золоте хоругвей, на крестах, на стеклах киотов. Все сверкает. И звон — торжествующий — сверкает в голубом воздухе; и толпа сверкает неисчислимыми разноцветными платками, юбками, рубахами, кофтами... Только старый образ Николы темным пятном высится над толпой.

«Правило веры и образ кротости»,— поют на паперти.

«Воздержания учителю»,— откликаются в толпе.

И вот все, кто видит и кто слышит, все поют вместе с хором Николин тропарь: «Я же вещей истина, нищетою богатая».

А колокола звонят — каждый своим голосом. Взволнованный Илька оглядывается. Дед и дядя Петруха стоят возле. Но что это? Дед пристально смотрит на Николу, крестится, а по щекам и бороде бегут слезы; и лицо у него новое, теплое какое-то... Илька с удивлением оглядывается кругом — все плачут. Вот две бабы плачут. Вон толстый, как колода, мельник Резаев стоит и тоже плачет... Заплакал бы Илька, да не знает, по какому случаю надо плакать.

Толпа под звон закачалась и пошла. Из ограды выходит на площадь, с площади на улицу, туда, к околице, к Николину лесу, к Николину камню.

Колокола захлебываются в радостном говоре.

«Отче священноначальниче Николае, моли Христа бога»,— поет толпа.

Дед хватает Ильку за руку и взволнованно тащит его куда-то в сторону. Дядя Петруха протискивается за ними. И все трое задами бегут вдоль улицы, задыхающиеся от волнения. Ильке нравится: это тревожит. Когда опять вырвались на улицу, шествие осталось позади. Видно, как приближается толпа, как над ней колышутся хоругви; издали долетает слабое пение.

На пыльной дороге вереницей стоит народ — один за другим. И едва Николин образ приближается, все покорно ложатся на землю, чтобы Никола прошел через них. Вот лег дед; за ним лег дядя Петруха.

— Ложись, Илька,— говорит дед внуку.

Илька послушно ложится в пыль, хотя на нем новая рубаха.

«А если задавят?» — со страхом думает он.

Дед странно шевелится, всхлипывает.

А пение ближе, слышнее.

Илька украдкой смотрит по сторонам. Вот пронесли хоругви, потом иконы. Толпа быстро движется по бокам. Как страшно! Страшно лежать в золотой пыли на дороге, между этими темными, движущимися стенами и чувствовать себя беспомощным. Пение становится сильнее. Дьякон поет толстым голосом, будто шмель жужжит. Ноги толпы стучат рядом. Илька крепче прижимается к земле и чувствует, как над ним что-то проносят. Потом дядя поднимает его за руку, и все трое, не отряхиваясь (грех отряхиваться), в толпе идут к лесу. Илька видит, что дедовы глаза опять полны слез.

Илька знает, что теперь можно убежать от деда. Он отстает немного, прет в сторону, толкается в мягкие бабьи бока, чтобы прочистить дорогу, шевелит плечами, кому-то наступает на ноги и выбирается к избам. Ага, вот — фьють! Айда!..

Через плетни, задами, к околице. Как молодой жеребенок, стучит ногами, бежит Илька на край села. А там уже парней полно и девок. Какие платки! Рубахи-то какие!..

Ребятишки тоже здесь. И Санька, и Гришка, и Колька...

— Ребя, айда вперед! К камню! — кричит им на бегу Илька.

— Айда!

Ребята бегут гурьбой по мягкой лесной дороге. А ноги туп-туп-туп.

Вот он, камень, вот сосна. Здесь уже много народа; старушки приплелись, больные, чающие исцеления. Дьячок Михайло мечется — готовит что-то. Возле камня песочком посыпано. В лесу поют птицы. А люди здесь молчат: кричит Михайло на тех, кто заговорит. И правда, хорошо молчать. Вот слышно, как вдали запели. Стали подходить то поодиночке, то толпою мужики и бабы. Идет Никола — идет торжественно. Прежде он сам, живой приходил вот сюда, на этот камень. А теперь вот идет Никола писаный... Толпа подходит с пением и все запружает вокруг камня. Илька забирается на толстый сучок березы, смотрит издали. Вот в зелени берез мелькнули золотые ризы, золотые иконы, и образ Николы ставят на камень... Служат долго, торжественно, святят воду в ручье, потом пьют ее все благоговейно. Илька спускается с березы, тоже пьет — вкусна студеная вода из Николина ручья.

А лес полон радости.

И пока Никола не ушел с камня, толпа теснится у самой сосны: матери просовывают через дупло младенцев, чтобы они росли крепкими да не болели; больные пролезают через дупло, чтобы выздороветь.

И всем помогает Никола.

Так думает Илька.

Домой Илька идет вместе с дедом. Косматый дед-то. Белый. А в глазах ласка.

— Не долго теперь ждать,— говорит он грустно.

— Чего ждать? — спрашивает Илька.

— Конца свету. Видал, сколь веток-то у сосны осталось? Я нынче просчитал — только семь веток зеленеет. А на моей памяти их было больше двадцати. Значит, к концу дело идет. Как засохнет сосна, так и камень треснет. Тут тебе и конец света будет.

Ильке немного страшно. Он слыхал об этом событии. Дед не раз говорил:

— Потекут с востока огненные реки и попалят всех людей, весь скот, всю землю. Только праведные останутся.

— Дедушка, а когда это будет?

— А кто ж ее знает. Може, скоро, може, долго. Никто не знает. Ну, да мы, кряжимские,— на особой дороге. За нас Никола заступится. Мы Николу попросим, а он спасу скажет. Нам бояться нечего.

Илька сразу успокаивается: он ведь тоже кряжимский.

— Дедушка, а ты чего давеча плакал?..

Дед смущенно отвернулся.

— Э, дурачок еще ты, Илька, совсем дурачок...

А дома уже пироги с кашей готовы, щи с убоиной, квас ядреный, игристый, на мартовском топленом снегу замешанный,— пьешь, не напьешься... Эх, хороши Николины именины!.. Недаром же мужики горюют, почему никольщина не целый век тянется!.. Всегда бы пить такой квас и есть такие пироги!..

По пьяному селу до самого вечера ходит Илька, слушает, как оглушительно поют кряжимцы, визжат гармоники, смеются нарядные девки. Старухи на завалинках сидят, благодушно смотрят на прохожих, про Николины чудеса рассказывают и не ворчат, а ворчуньи-то ведь такие — просто сил нет.

Вечером в селе новое торжество.

С каждого двора мальчуганы и парни едут на лошадях в ночное — в первое ночное в этом году.

Дед посадил Ильку на Карька, привязал Чалого.

Едет еще Мишка — двоюродный брательник, и работник Овдонька. Из бирюковского двора одиннадцать лошадей ведут.

Все высыпали на двор, вся бирюковская семья. Дед крестится и говорит:

— Ну, поезжайте. Дай господи, Никола-святитель.

Илька неловко крестится и проезжает в ворота.

Улица уже волнуется. Всюду видны верховые, а возле них — нарядная толпа.

Эх, выезжали молодцы во чисто поле.

И вся толпа нестройно, артельным стоном отозвалась:

На раздольице, на полеваньице.

Верховые сгрудились, едут вместе, а за ними идет нарядная, праздничная, поющая толпа. Бабы, девки, мужики, старухи, старики...

Оглянулся Илька... Дед идет высокий, с головой непокрытой и трясет бородой — поет.

И заливисто, как скворец, Илька тоже поет знакомую с детства песенку:

Э-э, повстречали они силу вражую,
Силу вражую, богатырскую...

До самой околицы идет толпа за верховыми. Влево от дороги лес, вправо — поле. В ночнину ездят на опушку. У околицы толпа как завороженная сразу останавливается: пешим нельзя дальше идти — грех. А верховые гикают и наперегонки несутся по мягкой весенней дороге. Трубой вьются хвосты у лошадей, мелькают руки над головами у верховых...

Толпа расходится, распевая песни, а у околицы остаются только девки. Они метят тоже пробраться на опушку, в ночное... Эта ночка-то веселая, до утра можно прохороводиться — никто не увидит, а если и увидит — не осудит...

На поляне, что клином вдалась в лес, ночевщики разводят костер, а лошадей пускают на молодую траву. Парни шепчутся с девками под деревьями, а ребятишки до утра рассказывают сказки про Николу, про леших, про святую и нечистую силу. Слушает Илька, смотрит на луну, запутавшуюся в ветвях, и жутко и сладко ему. Кажется, что это сам Никола смотрит с таким светлым лицом... Смотрит и радуется на кряжимских ребятишек...

Сколько лет прошло? А не надо считать.

Ждали теперь в Кряжиме Николу зимнего, готовились, в избах суета шла. Суетился дед Василий — только не один теперь суетился: подругу под старость достал — клюку; все клюкой постукивает. Согнулся он, волосы белым-белы стали. А все бодрится.

— Эй, бабы, вари больше, пеки больше! На Николу и друга зови, и недруга зови,— все друзья будут...

Кричит — приказывает.

— Больно ты размашистый,— смеется бабка.

— А как ты думала? Не покорми о Николин день голодного — сам наголодаешься. Никола свой праздничек любит... Почет любит.

И, помолчав, дед задумчиво говорит, будто вспоминает:

— Нет за мужика поборника супротив Николы...

— От бед наших избавитель,— согласилась бабка,— заступник и податель. Попроси его, все даст.

— Вот Ильку-то бы мне вернул. Как праздник какой, так и того... сердце болит.

Бабка опускает голову: знает, что дед крепко тужит по Ильке.

— Шестой год идет теперь, пожалуй,— тихонько говорит бабушка.

— Шестой.

Дед присел на лавку, задумался, клюкой постукивает.

— Вот ведь какой парнишка вышел. Своебышный да непокорливый.

И вспомнилось, как все это было:

Шесть лет тому назад случилась в доме ссора: покричал на Ильку отец, а Илька огрызнулся. Отец за кнут и — раз-раз! — отхлестал сына при всем честном народе, не успел заступиться дед. А малый уж на выросте был — пятнадцать годов. В хороводе за девками бегал. И в ту же ночь пропал Илька. Затревожились все бирюковцы, особенно дед. А потом знать-познать, Илька куда-то на чужую сторону подался. Уходил из села, говорил друзьям-приятелям:

— Не вернусь, пока у отца кнут не сгниет, которым он меня бил.

Узнали Бирюковы, ахнули. Мать в слезы, бабка в слезы, дед ходит насупился, а отец говорит:

— Дьявол с ним. Пусть издыхает с голоду на чужой стороне.

Сказал он это, а дед на него с кулаками:

— Замолчи, басурман! Родное дитя убить хочешь?

И с той поры — вот уже шестой год — дед все просит Николу:

— Верни, Никола, Ильку. Молодой он, пропадает на чужой стороне.

Но месяц за месяцем, год за годом — идет время, а Ильки нет как нет.

В Николин канун оделся дед потеплее, пошел в церковь. Идет по улице этакий большой, гривастый, клюкой подпирается, глаза из-под шапки, как угли, чернеют. Сразу видать: сам Бирюков идет.

И любит же дед Николины службы!..

Под призывный торжественный звон идти по улице, занесенной снегом; смотреть, как по снегу бродят синие сумеречные тени, а потом стоять в церкви перед образом Николы — строгого, да милостивого,— ставить свечу за пятак, зажечь свой огонь в неисчислимой стае других огней и слушать Николины молитвы, те самые, что давно, может, сто лет тому назад, слушал здесь мальчишкой.

Тихими, темными улицами бодро шел дед в молчаливой толпе домой, слушал скрип шагов, смотрел, как тает толпа, и чему-то радовался. Только избяной порог переступил, а навстречу, из-за стола, поднялся молодец — этакий большой, долгорукий, идет и смеется:

— Здравствуй, дедушка!..

Дед так и обомлел, даже клюку уронил на пол.

— Илька! Да неужто это ты?!

А паренек смеется:

— Я, дедушка, я!..

Утром, в Николин день, начался крестный ход.

По расчищенной дороге идет толпа с иконами, хоругвями, под торжественный трезвон в Николину заповедную рощу, к Николиному камню, к Николиной сосне. Темной, длинной вереницей тянется. Поле бело кругом, укрыто плотно снегом; снег хлопьями висит на зеленых лапах сосен, на сизых ветках берез. Солнце играет блестками в морозном воздухе и на снегу.

На кряжимском батюшке белая риза, а из-под ризы виднеются воротник и полы меховой шубы: Николин-то мороз ядреный, крепкий.

Вся толпа тепло одета.

Илька идет возле деда, тоже тепло одет — в валенках и в тулупе; только голова, остриженная по-солдатски наголо, мерзнет. Илька закрывает уши шапкой. Дед посмотрел сбоку на Ильку и подумал: «Новый он какой-то».

И правда, новый Илька. Вчера пришел он домой в худых сапожишках, в картузике — это в Николины морозы-то,— а в карманах только кисет с табаком.

— А где же имущество твое?— спросил дед.

— У меня, как у турецкого святого, табак да трубка,— засмеялся Илька.

Дед с жалостью подумал: «Совсем галахом стал внучек-то!»

И теперь вот — валенки чужие, тулуп чужой, шапка чужая. И сам он чужой.

Идет, криво усмехается, посинел от холода, того и гляди, убежит.

А в лесу так тихо-тихо. Пение молитв и скрип снега под ногами разносятся далеко. Слышно, как с треском ломаются ветви, задетые плечом... Мальчишки, увязая по колено в снегу, бегут вдоль дорожки...

Вот и сосна и камень — разметено вокруг них до промерзшей земли.

Поглядел Илька на все, постоял, поежился от холода и задом-задом сперва за толпу, потом за деревья и тягу домой.

Дед вернулся с молебна умиленный такой, ласковый. Илька уже отогрелся, ходит по избе в новой отцовской рубахе, на разубранный стол посматривает голодными глазами. Помолились все, за стол сели, все это так празднично глядят, улыбчиво.

Захотелось деду поговорить с Илькой по-хорошему.

— Видал?— важно спросил он у внука.— Только шесть веток на Николиной-то сосне осталось. Скоро засохнет. Скоро конец мира.

И замолчал. И все замолчали, задумались, загрустили, думая о скором конце мира.

И вдруг Илька скрипуче рассмеялся. Дед удивленно вскинул на него глазами.

— Ты что?..

— Не верю я в эти сказки,— ответил Илька, улыбаясь как-то криво, одной щекой.

Будто гром трахнул: все замерли. Дед прямо на столешник бросил ложку, а в ложке-то щи были.

— Ка-ак?

— Не верю я этому. Ка-амень ло-опнет, сосна сгниет... Бабьи сказки это. Миру не будет конца!

И посмотрел на всех дерзко.

Если бы в Кряжиме началось светопреставление, не так бы удивился народ, как удивился Илькиным речам. Светопреставление ждали, верили в него. А здесь сразу как-то вдруг появился еретик. Да в семье-то какой! Би-рю-ков-ской. Самой именитой, самой крепкой.

Побежал этак слушок по селу:

— Илька Бирюков в безбожники записался. Дома-то на Николу его убить хотели. Отец прямо топором замахнулся, да, спасибо, дед заступился.

А Ильке хоть бы что. Ходит по селу петух петухом. Бабы глядят на него в окошко, украдкой крестятся.

— Вон он идет, неверяка-то. Ах, пострел бы его расшиб.

— Не иначе как донских коней объезжал. Кто их объезжает, тот отца-мать не почитает, в бога не верит.

Мужики кричали сыновьям:

— Ванька, если я тебя увижу с Илькой — уши обобью.

Сыновья сейчас от Ильки в сторону: в Кряжиме почитали родителей пуще богов.

Илька только смеется, курит трубку, ругается:

— Недотепы. Пеньку в лесу молитесь...

А парням охота с Илькой погуторить: и боязно и лестно.

Так все филипповки, все святки Илька проходил в одиночестве. Хотел из села уйти, да куда пойдешь на зиму глядя?

Придет на вечерушки — этакой задорный, зубоскал, певун, а девки от него жмутся в угол, как овцы от волка. Поиграл бы с какой, щипанул бы ее, да куда тебе дело годно: будто от черта бегут. Плюнет Илька, рассердится, заругается, больше смеяться начнет над Николиной сосной, над Николиным камнем, страшнее говорить станет, просто волосы дыбом станут у тех, кто слышит такие речи.

И шепотом говорили, будто раз на вечеринке Илька спел новую песню:

Николай в Кряжиме был,
Водку пил, селедку ел,
Под сосной в лесу сидел...

А дальше такие слова, что и на ухо не скажешь.

Но вот солнышко опять зажгло весенний огонь. В Николиной роще опять закричали грачи, зазеленел лес, а там и Никола теплый пришел. Опять звонили колокола. Опять стар и млад ложились в золотую пыль под Николин темный образ, опять лес был полон запаха ладана и звуками молитв. И когда толпа молилась, сгрудившись у Николина камня, Илька бродил по опушке Николиной рощи, один, сам с собой разговаривал, смеялся и кому-то грозил кулаком. Пьяным-пьяно было село в этот день. Весело провожали кряжимцы молодежь в ночнину... Николу чтили, радовались. Все по-старому, по-вековому, по-хорошему было в этот день и в этот вечер.

И вдруг средь ночи с колокольни дон-дон-дон-дон...

Выбежали кряжимцы на улицу, глядят — а над Николиной рощей зарево, как высокая красная шапка, до самого неба поднялось.

Пуще всех перепугался дед Василий. Почему? И сам не знал. Просто руки ходенем ходят.

Побежали кряжимцы в лес, с ведрами поехали, с бочками, всю ночь до света тушили. Да где — сушь в сосновом-то лесу была. Тушили —надеялись, что сохранит господь роковую сосну, сохранит и роковой камень. А потушили — ужаснулись: сгорела сосна, а на камне кто-то костер большой сделал, и лопнул камень от жары. Ужаснулось все село. Начали мужики дознавать, кто пожар сделал, и сразу решили:

— Илька Бирюков. Не иначе как он.

Бросились искать Ильку. До утра искали, не нашли, только на дальней опушке баба Лукерья топор подняла.

— Чей?

Дознались:

— Бирюковский топор.

Увидел дед топор, упал на колени, завыл:

— Прости, народ православный. Мой внук это злодейство сделал. Сгубил ведь мир-то...

Кряжимцы, обезумевшие от ужаса, стали ждать конца света. Сев шел, работать вот как надо было,— «день прозеваешь — год потеряешь», а никто на работу не выехал. Стар и млад надели новые рубахи, смазали волосы коровьим маслом; улица запестрела новыми сарафанами. В церкви шла исповедь без перерыва, причащались люди, соборовались, чтоб к богу очищенными явиться. Старики и старухи так и ночевали в ограде на паперти. Все говорили об антихристе и ждали смерти. Бабы и ребята бесперечь вопили: все-таки не очень-то хотелось раньше времени на тот свет отправляться.

Конца света ждали по утрам: в писании сказано, что с восхода, от утреннего солнца, потечет огненная река. И вот со вторых петухов уже все село бывало на ногах. Все грудились к церкви, зажигали свечи, заунывные пели молитвы, плакали, открыто каялись в грехах.

— Агапушка, прости меня, Христа ради, что я тебя в прошлом году в ухо ударил.

— Бог простит. Меня прости, Христа ради, что я тебе восейка нос разбил.

— Православные,— во все горло кричал Ивлий Лычкин,— вот пред всеми, как пред богом, каюсь, я у чужой жены ночевал.

Но всходило солнце, а огненной реки не было.

— Значит, завтра,— решал народ.— Еще на день дал господь отсрочку.

Так прошло три дня, потом четыре, а Кряжим все стоял на месте. Через неделю Фома Куликов поехал сеять пшеницу, и за ним поехали все.

А еще через неделю парни на вечерушке пели во все горло:

Николай в Кряжиме был,
Водку пил, селедку ел,
Под сосной в лесу сидел...

*1919*

## МУЖИК

Начались дни тяжелых переходов. Утром не знали, где будут в обед и где ночь сночуют. Города, люди, небо, полки, роты, перелески, обозы, мосты, пыль, храмы, выстрелы, орудия (или, как говорили солдаты, урудия), костры, крик, кровь, острый запах пота — все тучей изметнулось, давило мозг и казалось сном.

Голодали порой. Порой наедались до дурноты. Пили воду прямо из ручьев: хороши они здесь, ручьи-то,— светлые, как слезочка; с устатку пьешь — не напьешься.

Сражались мало, все больше ходили.

Солдаты к вечеру угрюмели от усталости, искали, на ком бы сорвать злобу.

— Попадись теперь австрияк, зубом бы заел!

Впрочем, это так, больше от истомы походной.

К утру отдохнут, подобреют, и опять шутки, смех — на бронзовых лицах зубы словно огоньки мелькают.

— Пильщиков, а ну, расскажи, какой ты сон нынче видел?

И все, сколько их есть вокруг — вся полурота,— все посмотрели, улыбаючись, на Пильщикова. А тот возился у костра — этакий здоровый, в зеленой рубашке без пояса, ворот расстегнут. Возьмет сук в руку толщиной — р-раз! — и сломает о колено и в огонь: нет ему больше удовольствия, как костры разводить.

— Ныне, братцы, я в Шиханах был. Будто по своему двору с сыном ходил. А он на меня смотрит этак бочком, глаз-то у него синий да большой такой... К чему бы это?

Пильщиков помолчал и, сделав свирепое лицо, дунул в костер — искры столбом полетели.

— Беспременно опять получишь крест,— сказал насмешливо кто-то.

— Не. Такие сны я часто вижу. А когда крест получить, я будто женился...

— Хо-хо-хо! Вот он... От живой-то жены да опять женился?

— Ей-богу. Я и сам удивился. «Я, говорю, женатый уж». А мне говорят: «Не, ты еще раз женись. Одна жена хорошо, а две в беспример лучше».— «Не водится, говорю, у нас так. Мне и одной довольно. Я человек расейский, не татарин какой». Упираюсь так... А они все свое. Так и женили. Утром проснулся — сам смеюсь, думаю, к чему бы это. А потом вдруг ротный бумагу: Пильщикову крест. А, будь ты неладна. Так оно все занятно.

Солдаты зубоскалят. И ни усталости, ни злобы...

А труба уже сбор играет:

— Готовься!

И опять поход, новые места, опять дороги, города, орудия, пыль, крики, выстрелы — усталость.

А Пильщиков... ему что, кряжу, делается. Он этакий ровный всегда, хозяйственный, ходит, пытливо посматривая по сторонам, на рощицы, на сады, на домики и нет-нет да свое любимое словцо протянет:

— Заня-ятно!..

Протянет вслух и ни к кому не обращаясь.

Или вдруг заговорит о том, что на душе у него, и нимало не заботясь, слушают его или нет.

— И вот, братцы, чуда какая. Гляди, и церкви наши, и народ по обличаю наш, только говорят, как в рот каши набрали — не поймешь сразу. Особливо церкви. Намедни я зашел в одну, все крестятся по-нашему, иконы наши, бог Салавоф в куполе нарисован — наш,— этакий же седой да бородатый. «Иже херувима» и та наша. А вот воюем... Чудно!

И умолкал. Серыми пытливыми глазами смотрел кругом, задумывался, круто заквашенный, неповоротливый.

— Заня-ятно!

Раз отряд шел целый день, преследуя уходящего врага.

Враг, или, как говорят солдаты, «он», был где-то рядом. Еще не успевали дотлеть костры, зажженные им, еще четко виднелись в дорожной пыли следы кованых сапог, и чудилось порой, что в воздухе носится запах гари и пота, оставленный австрийцами.

— Вот-вот «он».

К вечеру стало известно, что «он» остановился, может быть, готовый завтра дать бой.

И, как вода в запруде, стали собираться роты и полки и стеною растекаться по фронту.

Рота, где был Пильщиков, расположилась подле леска, огороженного деревянным забором с каменными белыми столбами.

В стороне была чистенькая изба с высоким коньком — там поместился сам ротный. Усталые солдаты, радуясь отдыху, живо притащили соломы, сучьев из леса — на разжигу ломали забор,— зажгли огни. Где-то недалеко, вот будто за этим лесом, слышались выстрелы, но они были привычны, как писк комара для лесника, и никто не думал о них.

Пильщиков разогревал в котелке кашу.

В темнеющем молчаливом воздухе потянуло дымом и четко слышался треск сучьев в рощице, куда солдаты ходили за дровами.

Над дальним лесом догорала зеленоватая заря, и небо было темно-бирюзовое, и на нем уже загорались робкие звезды. Только солдаты поужинали, вдруг из избы толстоусый фельдфебель, тот самый, которого в полку втихомолку звали сазаном:

— Ребята, кто нынче в разведку?

Так и обомлели все.

Вот тебе и отдых. Это после таких-то переходов идти в разведку? Избави, господи! Ноги же у всех подламываются.

Притаились все, съежились, и сразу угас смех.

Но понимают: надо же кому-нибудь идти.

И от этого сознания сердитый мороз побежал по коже.

А фельдфебель уже идет от одного костра к другому и все спрашивает:

— Ребята, кто в разведку?

— Вот Пильщиков, ему надо идти! — сказал кто-то, усмехаясь.

— Пильщиков? — переспросил фельдфебель.— А ну, где ты, Пильщиков?

— Пильщикову, Пильщикову надо идти! — загалдели солдаты.

Обрадовались, что нашлось, на кого свалить.

Ну, что же, теперь хочешь не хочешь, надо идти.

— Пильщиков, где ты?

— Вот я.

— Ты идешь?

— Так точно...

— Ну, собирайся живо.

И часу не прошло, Пильщиков вышел за лесок, прошагал с полверсты полем за сторожевую цепь и попер в тьму, дальше.

Где-то вправо есть бугор, невидимый теперь во тьме, и ротный приказал узнать, занимает ли его неприятель или нет.

Пильщиков не спеша отошел шагов триста от цепи и лег в траву около плетня, от которого пахло гнилью и дневным жаром. Смутно было у него в душе — разобраться надо. Ночь уже поползла настоящая — все закрыла черным мягким одеялом.

Лесок остался позади, и тревожно в нем гугукали незнакомые ночные птицы — не то совы, не то сарычи, перепуганные, должно быть, кострами и многолюдством.

Вправо, где-то далеко, стреляли. Там стояло зарево, красноватое, шапкой — пожар. Пильщиков потянул носом — пахло землей и травою,— знакомый запах: будто в ночное выехал, в родных Шиханах.

А впереди, вон там, за дальними холмами, бродили последние отсветы вечерней зари, там тихо и темно было. Там «они». Может быть, далеко, а может быть, здесь вот, рядом, лежит вот так же, как Пильщиков, ждет встречи, готовый убить, притаившийся, злой.

— Смотри, если встренешься с ним, маху не давай,— наказывал ротный,— дашь маху — и сам пропадешь, и нам плохо придется.

А Никифор Пильщиков и сам знает — маху давать нельзя: или убей, или тебя убьют.

Где-то в стороне гукнула сова. И тьма будто гуще стала. А сердце стучало тяжко: дун, дун, дун...

Почти не дыша, пошел Пильщиков дальше. Вот плетень кончился, началась широкая дорога, и за дорогой хлеб стеной стоял. Помял Пильщиков колос: «Пшеница».

Только в нее шагнул, а она как зашумит сердито, словно живая: «Не топчи меня». Аж страшно стало. Да и жалко: хлеб на корню мять — нет дела злее.

«Межой пойду»,— решил Пильщиков и взял по дороге влево.

Ротный велел считать шаги. Пильщиков попробовал считать, но как дошел до семидесяти, так и сбился. То ли оно дальше восемьдесят, то ли девяносто... Да нельзя зараз и шаги считать, и неприятеля выслеживать, и думать о нем. Шел просто, перегибаясь, слушая. Искал межу. Вдруг дорога пошла скатом в ложок, а по самому краю ложка тут и межа. Снизу потянуло сыростью, и трава здесь была мокрая от росы.

От сырости ли или от какой другой причины, только вдруг дрожь захватила Пильщикова, по спине побежали колючие мурашки, а зубы лязкнули. И сердце сжалось, словно на него положили кусок льда. Пильщиков нутром почувствовал, что он теперь один. В целом мире один.

Один перед этим небом, усеянным звездами, перед этой тьмой. Убьют его, и никто об этом не узнает.

Страх поднял волосы на его затылке.

Тьма сразу стала жуткой, будто она была полна злых врагов, каждую минуту готовых броситься, растерзать.

В один момент Пильщиков обессилел.

С размаха, как подломленный, он сел в траву. А кругом было тихо, и тьма лежала неподвижно. В лесу все кричали птицы, и вдали стояло зарево — пожар. Успокоившись немного, Пильщиков встал на одно колено, снял картуз, начал слушать. Откуда-то издали шел смутный гул.

Пильщиков прилег ухом к земле.

Старая мужичья привычка.

Бывало, едешь один ночью, послушаешь землю — сразу узнаешь, есть ли люди на дороге, далеко ли едут и сколько их...

Теперь земля гудела ровно и глухо.

Он долго слушал ее, и вдруг ему почудилось, что где-то вдалеке раздался вздох, похожий на заглушенный стон:

— У...у...у!..

Пильщиков встрепенулся и сильно прижался к земле.

Болтали солдаты, что земля каждую ночь плачет.

Уже давно ему хотелось послушать ее плач, но все не доводилось. И вот теперь, затаив дыхание, он слушал эти странные стоны. Что это было? Может быть, это был гул далекой канонады... Он не мог решить. Он просто верил, что земля на самом деле плачет. Да и как ей не плакать? Ведь в каждый бой тысячами гибнет крестьянский люд. Земля — всем им родная... Каждого жалко...

— У...у...у!..

— Да, плачет.

Пильщиков привстал.

— Плачет матушка. Плачет землица.

Любовно он глянул в тьму, растроганный. Здесь она, земля-то. Не один он... Чего бояться? Вот кто его пожалеет. Вот кто с ним родной. Земля.

Он посмелел. Показалось — родное все кругом, как в Шиханах. И земля, и запах травы, и звезды на небе.

Сердце так забилось, что Пильщиков захотел придержать его рукой и... наткнулся на серую шинель, на пуговицы и на маленький крестик «георгия», с которым он не расставался никогда с того самого дня, как получил его.

И смяк как-то. Лицо ротного выплыло из тьмы.

— Узнай, есть они на холме или нет.

И опять тьма стала злой, и опять Никифору показалось, что он одинокий и беспомощный. Он затаил дыхание и сжался и, помня приказ ротного, полез дальше. Страх капля за каплей опять начал падать в душу. Сжимая обеими руками винтовку, он пошел по меже, вниз, в лог, чтобы оттуда пробраться к холму. Он теперь знал, где наши и где враги. Пугало только, что тихо кругом. Так тихо, что слышно, как сердце стучит. А сапоги гремят, и трава шумит сердито. От усталости и напряжения в глазах у него порой вспыхивали золотистые искры.

Вдруг странный звук поразил его слух. Будто машина пыхтела где-то далеко. Пильщиков остановился и стал слушать. Звук повторялся через равные промежутки. В нем было что-то знакомое, даже родное для Никифора, а что — он не мог понять. Вслушиваясь, он осторожно полез дальше. Звук становился слышнее. Вот где-то здесь он начинается, будто в этой траве, растущей на склоне холма...

«Что такое?» — думал Пильщиков, напряженно вслушиваясь.

Будто вот-вот знакомое, а не узнаешь...

И вдруг он присел от ужаса:

— Батюшки, да ведь это храпит кто-то!

Все внутри у него метнулось.

Бежать!

Но сдержался. Замер. Весь напрягся, слушая. Да, теперь ясно: храпит кто-то. Здорово так храпит, настоящим мужичьим храпом. Пильщиков, как зверь, весь насторожился, пригнулся и полез туда, откуда слышался храп. Ступнет раз и остановится. Ступнет другой и остановится. Крался и весь дрожал. Всякий момент он готов был и выстрелить, и ударить штыком. Руки клещами вцепились в винтовку.

Неясное забелелось в темноте, и оттуда густо, трубой валил храп. Настоящий такой, вкусный, от которого самому спать хочется.

Пильщиков осмелел. Он уже прямо шел к спящему.

Вот «он». Весь тут. Вот-вот... Руки разбросал, голова запрокинулась. Но кто? Может быть, наш, русский? Пильщиков потянул носом незнакомый запах:

— Австрияк. Наши так не пахнут.

Он присел и стал щупать кругом.

Винтовка и ранец из кожи лежали сбоку. На винтовке штык — нож. Поблескивает в темноте. Пильщиков потянул винтовку к себе. Теперь враг был безоружен.

«Га. Спит. Заня-ятно!..»— подумал Пильщиков и пристально присмотрелся к спящему.

Здоровый австриец. Большемордый. Рот раскрыл, а в горле будто телега едет и тарахтит. И таким родным, страшно близким пахнуло на Пильщикова от этого храпа, что он заулыбался.

— Умаялся. Тоже, поди, достается.

Он минуту посидел возле спящего на корточках, не зная, что делать, послушал, затаив дыхание. Кроме храпа и далеких выстрелов, ничего не было слышно.

Потом, не торопясь, он надел на себя ранец и взял в правую руку винтовку австрийца, а в левую — свою винтовку и осторожно пошел назад довольный, хитренько улыбающийся...

А тот все храпел, храпел...

Ног под собой не чувствовал Никифор, когда шел к ротному. Эге!.. А может, теперь другой крест дадут? Ведь это фокус — обокрасть австрийского часового.

Вот бы и не улыбался, да рот уголками к ушам тянется. И все лицо блестит, как блин скоромный.

— Видел?

— Так точно, ваше бродь. Видел. Тот бугор-то, что вы мне показывали...

— Ну?

— Там на нем австрияк.

А у самого глазки хитренько поблескивают. Рассказал он все по порядку, как крался, как кричала сова, в каком месте встретил врага.

— Вот винтовку и ранец забрал.

Ротный взял винтовку, осмотрел со всех сторон. Исправна, заряжена.

— Молодец. А в ранце-то смотрел, что там есть?

— Никак нет, не спопашился.

Расстегнули ранец — белье, еда, книжка какая-то...

— Та-ак,— протянул ротный.— А самого-то австрийца нельзя было живьем привести?

— Никак нет. Голоса недалеко были слышны. Сумно, а слышно. Ежели бы я его разбудил да повел, он закричал бы.

— Так, это, положим, верно. Ты хорошо сообразил. Молодец.

— Рад стараться, ваше бродь.

— А чем же ты его?

— Ась?

— Опять ты ась говоришь,— поморщился офицер,— я спрашиваю, чем ты его, врага-то, прикончил?

— Вот ранец и винтовку взял у него.

— Ну да, это так. А с самим-то с ним что ты сделал?

— А он там остался.

— Я знаю, что там остался. Но чем ты убил-то его?

Пильщиков широко открытыми, удивленными глазами посмотрел на офицера. Высокий, рябоватый, кряж настоящий. И счастливое сияние на лице померкло. А рот чуть открылся.

— Ты же убил его?

— Никак нет.

— Как так? Ты его не тронул?

— Да он же спал, ваше бродь.

— Ну так что же, что спал, черт тебя побери! — вдруг закричал офицер, поднимаясь со стула.— Ты должен был убить его. Раз нельзя взять в плен, надо убить. Он кто тебе? Брат родной? Или отец твой?..

— Никак нет.

— Кто же он тебе? Враг?

— Так точно.

— Так почему же ты его не убил?

— Да я же говорю... Он же спал, ваше бродь.

Офицер злыми, потемневшими глазами посмотрел на Никифора.

— Ну, видали такого болвана? А? Я тебя под суд, негодяя, отдам.

Офицер протянул со стола бумажку, подержал ее, швырнул. Сам красный весь. И показалось Пильщикову, что офицер не все понял,— объяснить надо.

— Ваше благородие, встрияк-то спал... храпел... умаялся, должно. Ежели б не спал, я б его в полон взял аль бо поранил. А то он спит и храпит. Здорово так храпит. Доведись вот мне. Иной раз так умаешься, ног не чуешь под собой. Бывало, ребята в казармах будят иной раз: «Никишка, не храпи».

Офицер пристально посмотрел на Пильщикова, а тот, знай, ест его глазами.

По уставу, как нужно.

Сероглазый кряж. Такой на вид исполнительный, а на груди белеет «георгий». И вдруг поползла, поползла улыбка по губам офицера. Будто и не хочет, а смеется.

— Ах ты урод этакий! Балда! Какой ты воин? Ты мужик. Пшел вон...

Повернулся Пильщиков налево кругом, вышел, полный недоумения. И, отойдя от избы, сказал вслух, по привычке, ни к кому не обращаясь:

— Главное дело, спал он. И притом же храпел...

*1922*

## ЛЕБЕДИ

### I

Охотники приехали в самую пору. Солнце золотыми тонкими зубами уже догрызало снег в лесу и лед на озере Каясане. Все кругом шумело бегущими ручьями, неуемным теплым ветром, торопливыми криками перелетной птицы.

Охотники приехали уже за полдень. В караулке у деда Василия они свалили ружья, мешки, патронташи, манычи, распрягли и поставили в хлевушке лошадь и пошли к озеру, на яр. Их было трое, охотников,— двое взрослых, бородатых, и с ними мальчуган лет тринадцати с розовым подвижным лицом, нетерпеливый и восторженный. Он убежал вперед с тремя собаками, горячими и нетерпеливыми, как он сам.

На яру уже везде глядели проталины, ярко черневшие среди голубоватого снега, и от проталин, как дым, валил пар. Синий лес за Каясаном виднелся неясно и будто реял в легком, летучем тумане. Лед на озере уже поднялся. Везде у берегов синела вода. В полыньях было полно крикливой птицы. Утки летели в небе треугольниками, гуси — веретенцами и углами, летели поспешно к северу, точно боялись упустить хоть час дорогой весенней жизни...

Володя махом бросился с яра вниз, к озеру, где у самого закрайка лежала на земле лодка и возле нее возился с топором в руке дед Василий.

— Готов карапь! — сказал Василий.— Хоть сейчас на озеро поезжай.

Взрослые охотники сошли с яра к воде и вчетвером, смеясь и покрикивая, спустили лодку на воду. Она плыла легко, и от нее пошли по воде легкие волны — словно лодка засмеялась.

— Ходит как барыня,— сказал Василий,— беда теперь уткам и гусям. Всех Володя перестреляет.

— Это что, утки и гуси,— отозвался Володя,— мы сейчас пару лебедей видали.

— Лебеди и здесь есть, только что ж, лебедя достать трудно. Птица осторожная.

— А где они садятся?

— Да везде садятся. Вот против той речки иной раз покормиться подлетают. А больше — середи озера. Или на лебедей метишь?

По берегу с лаем носились собаки, грязные и мокрые до ушей. Солнце уже зацепило за дальний лес. Все вблизи покраснело, а дальний берег покрылся пепельными и сизыми тенями.

Вдруг где-то высоко в небе звоном прозвонил крик: «Кильви-и!»

Охотники насторожились.

— Тише! Лебеди! — сказал дядя Митя.

Все четверо подняли головы, пристально вглядываясь в небо. Две большие птицы, розовея в лучах вечернего солнца, летели над озером. Они перекликались. Их гармоничный крик слышался далеко.

Охотники напряженно следили за их полетом. Лебеди сделали над озером круг и понеслись куда-то дальше — к северу,— все уменьшаясь, уменьшаясь, и только их крик едва доносился: «Кильви-и!» Сперва дед Василий сказал: «Не видать». Потом папа и дядя Митя: «Уже не видать». А Володя острыми глазами все еще следил за полетом больших розовых птиц. Наконец и он со вздохом сказал:

— И я не вижу.

Володя отошел в сторону и громко, по-охотничьи крикнул:

— Гоп-го-оп!

Из ближней полыньи сорвались стаей утки, полетели к дальнему берегу.

Собаки, махая хвостами, понеслись по яру.

— Ты что кричишь? — спросил папа.

Володя показал на дальнюю полынью.

— Посмотри, сколько уток.

— О-го, в самом деле, охота будет хорошая.

И долго стояли на яру трое — папа, дядя Митя и Володя. Смотрели, как подымались с воды птицы и бродили по озеру тени. А далеко-далеко лаяли собаки.

## II

Потушили лампу, но никому не спалось. И собаки не спали в сенях. Слышно было, как возились они и ворчали.

— Я ни разу не охотился на лебедя,— сказал дядя,— раз нарочно ездил на Каспий в устье Урала — и неудача.

— Да, редкая птица. Я только раз убил пару. Это года четыре тому назад было.

— Папа, я ведь помню, как ты привез их. К нам столько народа приходило смотреть.

— Одного убил, а другой сорвался. Долго кружился, не хотел улететь. Подлетит — зовет убитого. Ну, я выбрал момент и этого срезал.

— А уральские казаки охотятся так: весной, когда лебедь линяет, они садятся на бударки — такие узкие лодки, очень легкие на ходу — и гонят его в море. Лебедь не может подняться на крылья, плывет по морю. Казаки за ним. И вот лебедь выбьется из сил, и здесь его бьют прямо веслом.

— Ну, это уже зверство.

— Почему зверство? Охота как охота.

— А вот, когда я был помоложе,— начал дед Василий,— я ходил на гусеванье в Обскую губу. Вот тоже гусей-то били... Страсть. Горы целые добывали.

Не мигая, полуоткрыв рот, слушал Володя.

— Надо брать самую крупную дробь — картечь лучше всего,— сказал дядя Митя.

— Ну, нам теперь не до лебедей. Лебеди теперь — мечта. Нам бы уток да гусей побольше.

— Папа, где у тебя патроны с картечью лежат? — спросил Володя.

— Зачем тебе?

— Хочу завтра взять у тебя парочку.

— Или за лебедем хочешь пойти?

И все засмеялись: и папа, и дядя Митя, и дед Василий.

— Ишь прыткий какой Володя у вас. Прямо ему подай лебедя! — сказал дед.

Шутили долго. Володя все краснел, и хорошо, что темнота была, не видно. А в сенях возились собаки.

Темно еще было, когда в хлевушке возле избы протрубил третий раз петух. Дед Василий завозился в уголке на соломе. Володя вскочил, метнулся к окошечку, посмотрел и поспешно начал собираться.

— Вставайте, уже заря,— громко сказал он.

— Но рано еще. Куда с эстих пор? — лениво отозвался Василий.

— А сколько времени? — сонно спросил папа.

— Третьи петухи спели.

— Ну, это рано. Беспокойный ты, Володька. Куда в такую рань? Полежи еще с полчаса.

— Нет, я пойду.

Спокойно сказал будто. А сам был полон нетерпеливой дрожи. И в голове слова дяди Мити: «Лебедей бьют по зорям».

В темноте Володя оделся, порылся в папином патронном ящике, где между двухсот патронов, воткнутых рядами в про-

сверленные дощечки, с правой стороны были патроны с картечью и крупной дробью, а с левой — с бекасинником.

Четверти часа не прошло — скрипнула дверь, и собаки в сенях взвыли от радости и нетерпения. Но как же их жестоко обидел Володя! Не взял их ни одной. Вышел и опять закрыл сени. Собаки так горько заплакали, что перебудили в избушке и папу, и дядю Митю, и деда.

— Экий же какой нетерпячка этот Володя,— заворчал дядя Митя,— что захочет, вынь-положь.

— На лебедей пошел,— усмехнулся папа.

И все трое рассмеялись.

— Как бы под лед не нырнул,— сказал дядя.

— Ну, он не дурак.

А Володя, сжимая ружье, бегом побежал по яру к дальней проруби, где, как говорил дед Василий, иногда пролетом останавливаются лебеди. «Редко, но останавливаются».

Года три тому назад, когда папа впервые взял его на охоту, он услышал вот также ночью весной, в этой же избушке, разговор об охоте на лебедей. И с той поры как охота, так и дума у Володи: «Вот бы лебедя убить...»

Снег и проталины за ночь закорели, похрустывали под ногами, как стеклянные. Робкий предутренний ветер тянул от полей. Белая полоса ясно наметилась на востоке, и на ней чернели густые мазки — облака. Утки уже крякали в полыньях на озере. В темном воздухе слышался свист чьих-то крыльев. Вдали переливчато кричали гуси.

Володя на ходу вложил патроны в стволы ружья и спустился под яр, где был уступ, на котором было удобно стоять. Здесь, саженях в пяти от берега, за узкой полоской нерастаявшего льда, начиналась широкая полынья, в ней виднелись черные фигуры — купы прошлогоднего высохшего камыша. Володя сообразил, что на фоне черного яра его, в черной куртке и черной шапке, не будет видно.

Возле шумел ручеек, однотонно, слабо — не вся вода за ночь сбежала,— будто умирал. Ноги чуть вязли в закоревшей глине. Кто-то с неба камнем упал в воду за дальними камышами, круги побежали по проруби. И через минуту: «Кря-кря-кря!» Утки. Забесились, засвистали крыльями в воздухе.

Володя напряженно всматривался. Но было еще темно и плохо видно. Вот-вот будто. Вот свист и какая-то тень неясно несется. А подымешь ружье — и не во что целиться.

А уток много. Со всех сторон неслись и свист и кряканье.

Морозцем тянуло с берега, сыростью от Каясана. Дрожь пробегала по спине.

Недалеко крикнули гуси.

И вдруг где-то далеко-далеко гармонично прозвучало:

— Кильви-и-и!..

Володя весь встрепенулся, будто его позвали.

— Кильви-и-и!..

Руки у него задрожали и судорожно сжали ружье. «Лебеди!»

Да, это перекликались лебеди.

— Кильви-и-и!..

Призывно, как крик в ночи.

— Кильви-и-и! — отозвалось где-то вблизи, будто за яром, с полей.

И через минуту над головой Володи раздался резкий свист широких крыльев.

В неверном свете неясными тенями закружились лебеди над Каясаном.

Одна пара, потом другая. Улетали вдаль, подлетали близко, словно высматривали, нет ли где поблизости единственного врага их — человека. Володя прижался к обрыву — черный на черном,— незаметный, весь горел от возбуждения.

А белая полоса на востоке ширилась. Свист утиных крыльев слышался рядом. Возле ближних камышей плавали утки — стреляй, попадешь. Но Володя не думал о них. Лебеди, только лебеди...

Тяжелый всплеск взбурлил воду где-то недалеко, за камышами. Темные круги на воде змеями поползли на свет. Утки закачались на волнах.

— Кильви-и-и!..— крикнули с неба.

— Кильви-и-и!..— отозвалось из-за ближних камышей. Рядом. Вот здесь.

Володя приложил ружье к плечу.

Вода в полынье стала белой, а камыши — как черные тени.

Лебеди плыли где-то недалеко и нежно переговаривались.

— Ган-ган-ган?..— спросил один.

— Ган-ган-ган,— ответил другой.

И вот, как видение, из-за черных камышей на белую воду выплыла сперва одна большая птица, и за ней, почти рядом, другая. Утки юрко уплывали от них. И казались маленькими-маленькими. А птицы плыли важно, повертывали чутко головы на стройных шеях.

Это были лебеди.

Володя высмотрел прицел, крепко пригнал ружье к плечу и нажал спуск. Сноп огня и гром оглушили его. Все пошло кругом. Будто во сне, он видел, как один лебедь взмахнул крыльями, поднялся и понесся вдаль, а другой метнулся в камыши. Отчаянный плеск раздался по воде. Это бился раненый лебедь.

Володя выскочил на яр, и оттуда видел, как за камышами, крутясь по широкой полынье, бился лебедь. Он вытягивал шею, взмахивал крыльями, пытаясь подняться, но, бессильный, плыл дальше от берега.

Володя выстрелил еще раз, но лебедь был далеко: дробь кучей упала ближе его и взбурлила воду. На озере стон стоял от криков всполошившейся птицы.

В первую минуту Володя хотел раздеться и вплавь пуститься за раненой птицей, но спохватился скоро: ведь лед и снег кругом...

А по берегу шли. Папа, дядя Митя и с ними собаки...

— Скорей! Я лебедя убил! — отчаянно крикнул Володя.

— Не ври! — откликнулся дядя Митя.

— Ей-богу. Скорее идите...

Около Володи закружились собаки... Теперь кругом светло было. Небо горело — ждало солнца. И на розовой воде, уплывая от берега, виднелся раненый лебедь.

Папа и Митя стояли как врытые.

— В самом деле лебедь... О-го! Да ты молодец. Вот не ожида-ал,— протянул папа.

— Раненый. Не уйдет. Все одно полынья небольшая. Достанем,— отрывисто сказал дядя Митя,— надо взять лодку.

По его отрывистым словам Володя сразу понял, что дядя волнуется, может быть, завидует. «На Каспий ездил нарочно — и неудача...»

— Смотрите, он у закрайка и хочет выбраться на лед,— волновался Володя.

В самом деле, раненый лебедь доплыл до закрайка льда и попытался забраться на него. Раз сорвался, другой. Выбрался наконец и с трудом пошел. Потом широко взмахнул крыльями, распустил их так, что каждое перо было видно, вот-вот взлетит в самое небо... И... лег. Было видно, как он судорожно вытянул ноги и шею... Пронзительно крикнул. Потом подвернул голову под крыло и так остался лежать.

— Кильви-и-и! — раздалось с неба.

— Сядьте, сядьте,— испуганно прошептал дядя Митя.

Все трое присели.

— Кильви-и! — повторился крик.

И лебедь — огромный, белый, чуть розовый в лучах нового солнышка — пролетел над головами. Три ружья уставились в него, но промолчали. Лебедь закружился как раз над тем местом, где лежал его мертвый товарищ. Он звал. Раз он совсем близко подлетел к воде, крикнул, наддал и взвился, ушел почти из видов.

— Ну, Володя, ты жди его. Бей влет. Он не улетит долго. Лови его. А мы пойдем. Во будет счастье, если убьешь и другого...

— А вы?

— А мы пойдем. Вот, видишь, Василий манычи расставляет. Мы из камышей будем уток бить.

Вдали по полынье плавал Василий, расставляя манычи — деревянных уток.

— Вот туда бы теперь добраться. К убитому.

— Как доберешься. На лодке? Он увидит — не подлетит.

— Кое-где охотятся так: пристраивают на столбе бочку, садятся в нее и ждут...

— Ну, это все не про нас.

— Однако Володя-то. Я всю жизнь за лебедями гоняюсь — и неудачно. А он пятый раз на охоте — и вот тебе.

Дядя похлопал Володю по плечу и засмеялся.

— Ну, пойдем, пойдем, пусть его сторожит. Ни пера ему, ни пуху.

Папа и дядя пошли, Володя остался. Он следил за лебедем, не спуская с него глаз.

## III

А лебедь удивлялся: «Почему товарищ не летит?»

Раз, два, три, пять, десять, пятнадцать раз он скрывался из видов — за дальний лес улетал и опять возвращался к Каясану, спускался низко-низко, медленными взмахами крыльев, держался почти на одном месте — весь белый, как причудливое облачко,— и кричал призывно:

— Кильви-и-и!..

И опять уносился прочь, словно ждал, что мертвый товарищ поднимется, так же расправит широкие крылья и помчится за ним. Но тот лежал неподвижным, измятым комом, лежал на издырявленном льду и не откликался.

Лебедь опять сделал круг. Володя прицелился и выстрелил.

Лебедь наддал и помчался, как ураган, прочь... И с полчаса не показывался.

Далеко слышалась стрельба. Это папа и дядя били уток.

Володя соскучился. Ему было досадно, что те стреляют. И хотелось скорее достать убитую птицу, чтобы похвалиться.

Он пошел к избушке.

Веста, Каро и Волчок, с выпачканными грязью ногами, бегали по берегу. Дед возился у избушки. Папа и дядя на лодке сидели в камышах... Ехать сейчас за лебедем отказались.

Володя вернулся и только подошел к яру — остановился, удивленный: на льду возле убитого лебедя сидел живой.

Володя, крадучись, спустился под яр и, сжимая ружье, стал ждать.

Лебедь ходил кругом возле мертвого товарища, наклоняя голову, и звал нежно-нежно:

— Ган-ган-ган...

Отойдет немного, что-то забормочет, забормочет, оглянется, крикнет, махнет крыльями. А тот все лежал неподвижно, как камень в степи. Володя замер.

Лебедь замахал крыльями, побежал по льду, мелко семеня ногами, оглянулся. Нет, не бежит за ним мертвый товарищ. Лебедь вернулся к нему, опять закружился, опять стал звать.

Теребил его клювом, поднял его голову, отходил немного и спрашивал:

— Ган-ган-ган?..

А тот молчал.

Наконец лебедь поднялся в воздух и тоскливо крикнул:

— Кильви-и-и!..

И пролетел низко, как раз над тем местом, где сидел Володя. Будто ему было теперь все равно, убьют его или нет.

Володя не выстрелил. Странно: ему было жаль тоскующей птицы. Он положил ружье возле себя и долго сидел неподвижно.

Пришел дед Василий с собаками.

— Сидишь? — улыбнулся он.

— Сижу.

— А где же другой-то лебедь?

— Улетел.

— Ну, жди, жди. Он прилетит. Обязательно. Все равно не отстанет, пока этот лежит там.

Он ткнул кривым пальцем на озеро, где лежал убитый лебедь. Володя промолчал.

Дед потоптался, повздыхал, пошел дальше.

— Кильви-и-и! — крикнуло недалеко.

Опять он. Теперь в его крике слышались слезы.

Он покружился низко над убитым, еще раз позвал и медленно стал подниматься к небу. Время от времени он звал. Он поднимался все выше, выше. Володя следил за ним неотрывно.

Вдруг лебедь остановился в воздухе. Крикнул раз, другой и, сложив крылья, бросился вниз. Белым комом мелькнул он над озером и упал на лед возле убитого. Сверкающие льдинки и куски снега брызнули во все стороны. Резкий свист пронзил воздух. От закрайка льда пошли круги...

Лебедь не шелохнулся и казался смятым комом ваты.

Крича, как безумный, Володя побежал по берегу.

Через час приехали папа и дядя на лодке и достали обоих лебедей. Когда их, окровавленных, окоченелых, положили на берег, Володя отвернулся. А дядя восхищался:

— Вот это птицы. Смотрите, по полпуда каждая. Вот это добыча. Ай да Володя...

Папа подошел к Володе.

— Ну, герой мой, поздравляю. Но ты как будто грустный?

У Володи дрожал подбородок.

— Я ничего,— с трудом сказал он.— Впрочем, знаешь, папа...

— Что?

— Мне жаль...

— Кого? Лебедей?

— Да, лебедей. Мне все вспоминается, как он звал. Будто плакал.

— Конечно, плакал,— подтвердил дед Василий,— как же не плакать? Всем жить хочется. А этот, вишь, как товарища любил, аж сгубил себя... «Раз тебя нет, и я не буду жить». Это надо понимать.

Володя отвернулся.

— А ты брось,— сказал папа,— какой ты охотник после этого будешь? Ты гордиться должен своей удачей... Да ты, никак, плачешь? Вот тебе на. Володя, что ты? Ах, чудак. Ну, перестань же...

*1922*

## В РОДНЫХ МЕСТАХ

В самый канун вознесенья, этак в обед, пришел в Терново чужой старик — высокий, суглобый, худой, в сером картузишке «шесть листов одна заклепка», седая борода во всю грудь.

Идет и палкой важно подпирается.

Ребятишки переставали играть, когда старик проходил мимо, смотрели на него с удивлением: «Чей такой?» Никогда такого старика не видали.

А старик шел неторопливо и будто раздумывал: в какую избу завернуть? Возле избы Перепелкина он остановился и палкой постучал в окно.

Бабушка Груша вышла к калиткам. Старик не видел ее и опять в окно палкой: тук-тук.

— Тебе кого?

Старик оглянулся. Бабушку словно толкнул кто: она замоталась, закланялась, точно ветка осенняя.

— Ваше... ваше сиятельство. А-а, батюшки!

Старик засмеялся.

— Узнала? Ну, и хорошо. Где муж-то твой? В поле? Ну-ка, сбегай за ним.

— Сию минуту, ваше сиятельство. В избу-то пожалуйте. Господи, а мы-то думали, что и на свете вас нету совсем. Говорили у нас, что вас пристрелили как собаку, извините. Да где же кипаж-то ваш?

Старик, подымаясь на крыльцо, забурчал недовольно:

— Ну, экипаж. Было время — были экипажи, а теперь на своем на двоем езжу. Зови мужа скорей.

— Да неужто пешочком? А-я, до чего довели антихристы. Пожалуйте в избу, ваше сиятельство. Не побрезгуйте. Сюда вот, сюда, ваше сиятельство. На крыльце-то куры малость нагадили, а в комнатах у нас, слава богу, чисто. Счас сбегаю в поле.

И, будто молоденькая, Груша торопливо пошла в поле. Событие-то какое!

Увидал Филипп издали старуху, спешившую изо всей мочи, испугался: не пожар ли?

— Что ты? — крикнул ей, останавливая лошадь.

Груша замахала рукой:

— Иди скорея. Граф пришел.

— Какой граф?

— Наш. Петр Семенович.

У Филиппа аж брови на лоб полезли.

— Что ты, рехнулась? Аль с того света вернулся?

— Иди-ка ты, иди. Там увидишь. Бросай скорея все.

— Да ты расскажи толком...

На лице Груши были испуг и вместе радость. Она открытым ртом хлебала воздух, задыхаясь от быстрой ходьбы.

— Ох, скорея. Ждет. Иди. Тебя требоват.

И по ее волнению Филипп понял, что на самом деле приехал граф. Он выпряг из плуга лошадь, сел верхом, поскакал. И правда, зашел в избу, граф — живой и самый настоящий — сидит у стола, бороду рукой гладит, точь-в-точь, как бывало. Только нос будто краснее стал и еще вот: в потертом пиджачишке и сапоги старенькие, а седой-то весь как лунь. Увидал Филиппа:

— Ну, здравствуй.— И руку протянул.— Что ты так смотришь, аль не узнаешь?

И голос такой же, как прежде, бубнит. Филипп негнувшейся рукой притронулся к графской руке, а в голове и в груди началось смятение.

— Ваше сиясь...— только и смог он пробормотать.

А граф этак просто:

— Вот что, Филипп, я уж по старой памяти к тебе прямо. Хочу у тебя на лето поселиться. Дом у тебя большой, семья маленькая, что дому пустовать напрасно? Сдавай его мне под дачу. Я тебе два червонца заплачу.

Филипп ничего не ответил.

— Не могу жить без родных мест,— сказал граф.— Как лето — шабаш,— тянет. Прежде опасался, а теперь, кажется, можно. Уж если к себе домой пока не могу, так хоть издали, с вашего берега, буду смотреть на родной дом.

Тут Филипп пришел в себя.

— Ваше сиясь, да мы жа, да мы так рады будем, коли милость ваша не побрезгуете. Радость-то нам какая.

— Ну, о радости мы помолчим, а вот насчет платы... Заплатил бы я тебе больше, да не могу. А два червонца — это я еще в состоянии...

— Да что же говорить, ваше сиясь? Сколь милость ваша будет, столько и заплатите.

И, радостно посмеиваясь, нерешительно затоптался Филипп перед графом, точно не зная, можно ли ему сесть или нельзя.

А бабка Груша уже гремела самоваром на крыльце. Хоть

он и граф, а все же видать, какой бедный, сапоги-то прямо как у пастуха Никишки. Хоть чайком попотчевать.

— Чайку не покушаете ли, ваше сиятельство? Уж не обессудьте, не побрезгуйте,— закланялась она, накрывая на стол белую, самую лучшую скатерть.

Граф сказал без церемоний:

— Выпью с удовольствием. Далеконько от станции до вас. Устал.

Бабка торопливо принялась чашки ставить на стол. Лестно ей было, что сам граф, точно мужик простой, беседует с ее стариком. Подумала она: вот теперь удивятся во всем Тернове, когда она расскажет про случай этот, да как переселится-то граф — разговоров сколько будет. И, бегая из комнаты в сени и назад, она этак краем уха слушала, о чем говорят. Граф сидел у окна, возле круглого столика, бесперечь гладил бороду, говорил угрюмо:

— Зять служит, одна дочь служит. Ну, кое-кто из старых знакомых помогает. Из-за границы присылают. Живем.

Филипп теперь сидел на кончике стула, как раз против графа, слушал напряженно, не мигаючи, смотрел графу в колыхающуюся бороду, а у самого лицо было красное, в мелких капельках пота,— будто из бани только-только... И вздыхал порой, и укоризненно бормотал:

— У-ух, что наделали. Что наделали, негодяи!

Но во вздохе, в кривой почтительной улыбке было что-то неискреннее — словно где-то далеко под ложечкой жило другое: не то удивление, не то радость. И в самом деле, чудно ему было, что вот у этого самого графа было пятнадцать тысяч десятин, вот имение на самом обрыве на той стороне речки, как раз супротив Тернова, дом белый с колоннами, какие конюшни были, оранжереи какие, даже церковь своя была,— а теперь он сидит седенький да оборванный, и на носу жилки синие, как у самых простых стариков, и просится на квартиру к нему, мужику Перепелкину.

— Что наделали!

И вдруг вспомнил:

— Да что говорить, вот у меня, у мужика, и то двух лошадей и корову взяли. «Ты, говорят, кулак. Ты, говорят, лавку до революции держал». И шабаш. Что говорить. Сплошной грабеж. Дело хоть плюнь.

— А-а, и у тебя взяли? — обрадовался граф.— Да как же это? Ну-ка, расскажи.

Уже вечером, после долгого чая и разговоров, тоже очень долгих, за самое село провожал полем Филипп графа. Рядом шел, как равный с равным. И говорили оба по-стариковски. Когда шли по Тернову, бабы выбегали из изб к калиткам, в окнах мелькали мужичьи бородатые лица, все смотрели на графа молча, большими глазами. И когда граф проходил, шептали удивленно:

— Вот болтали, что всех графьев изничтожили. А он вот он. Бери его хоть голыми руками.

— А-а, дела-то! Живой, как есть живой.

В эту ночь до света до самого не могли заснуть Груша с Филиппом. Все припомнили — и доброе и плохое.

— Ой, мужик, как жить-то будем? Это тебе не дохтор, который в прошлом годе у Савоськиных жил.

— Ну, будет болтать-то. Ежели сам пришел, бояться нечего. Надо быть, за эти годы много перевидал, коли к нам переезжает жить. А видала, какой простой-то стал? Руку мне первый. «Здравствуй, Филипп...» Это как? Не бойся ничего.

И в самом деле — напрасно боялась Груша. Дня через три, уже к вечеру, приехал со станции тощий воз с графскими пожитками. На возу, на коричневом обитом кожей сундуке, сидела сморщенная важная старуха в черной потертой шляпе. Бабы у колодца всмотрелись — узнали старуху, вполголоса заговорили:

— Сама, сама графыня. Гляди, и теперь спесивится: на возу едет.

— А бывало-то — карета ей не карета, лошади — не лошади.

За возом шел сам граф Петр Семенович с дочерью и пятью внучатами. Шли не бойко, три девочки возле матери, а два мальчугана — босые, тощие и длинные, как два молодых жирафа, с плоскими, нескладными ступнями,— далеко позади.

Из дворов выбегали бабы, девки, ребятишки, смотрели молча, бабы постарше кланялись. И когда воз проезжал, говорили торопливо с удивлением:

— А-а, босиком. Графья-то босиком.

И Филипп, как увидал — ребята босиком,— сразу успокоился.

— Не бойсь, старуха,— шепнул он Груше,— видать, голытьбой стали.

И уже весело, как ласковый хозяин, вышел к воротам, пособлять возчику тащить вещи. Старый граф помог жене сойти с телеги. Груша тут сунулась — поддержала почтительно барский локоточек, кланяясь. Графиня сказала важно, в нос:

— Это ты, Аграфена? Здравствуй. Как ты постарела.

И сунула руку к Грушиному лицу. Груша поняла — поцеловала. И запела почтительно-радостно:

— Матушка, ваше сиятельство, честь нам какая, господи!

Груша и Филипп уже тащили в комнаты узлы и корзины. Старый граф внес корзину с посудой.

Старуха важно шла за ним, а за старухой — молодая графиня с девочками. Босые мальчуганы зашли в палисадник и, посвистывая, осматривали сирень, акацию.

Груша носилась, словно под ней горела земля. Когда она с узлом в руках вбежала в избу, старуха графиня сидела у стола, а молодая рассматривала картинки на стенах — «Гора Афон», «Саровский монастырь». Девочки, сидя на полу, снимали ботинки. Во всех было что-то беспомощное,— это почуяла Груша и пожалела.

— Внучки-то у вас, ваше сиятельство, какие, словно ангелочки.

Старуха ничего не сказала.

Молодая спросила:

— Скажите, у вас всегда так много цветов?

— Всегда, ваше сиятельство, люблю цветы, грешница. Как узнала, что в раю фикусы растут, стала фикусы разводить. Ишь какой вот этот. Годов уж тридцать ему. Молодухой я еще была, как посадила.

— Забот много требуют, вероятно?

— Не без этого, ваше сиятельство. Требовают забот, что и говорить. Да ведь и то сказать: что дается без забот?

Вошли мальчики. Они оглядели комнату, цветы, картинки на стенах. Старший спросил:

— Где же мы будем спать?

— Найдем место.

— Да господи, да берите спальню у нас,— горячо заговорила Груша.— Мы ведь и в сенях можем...

— Устроимся как-нибудь.

Вещей было немного. Когда еще раз Груша вышла на улицу, воз уже был пустой. Старый граф расплачивался с возчиком. А у соседних дворов и на другой стороне улицы стояли толпой бабы и ребятишки. И молча, не смигаючи, смотрели на приехавших и на их вещи.

Уже уехал возчик, уже закрыл Филипп калитку, а народ все не расходился; говорили вполголоса, точно улица стала таинственной, как церковь.

— Да-а, растут внучата, идет время неудержимо,— сказал граф Филиппу, когда вошли во двор.— Вот Якову скоро пятнадцать лет будет.

— Учится где, ваша сиясь?

— Да где учиться теперь? Дома только учится понемногу. А то ведь и училищ теперь подходящих нет. Теперь что? Теперь учителя бога не признают, букву ять забыли... Нет, пусть уже дома посидит это время. Выучится потом.

Груша поспешно накрывала на стол и ставила чайные чашки.

— С дороги-то, с устатку, ваше сиятельство. Чайку попить.

Старая графиня — такая суровая — вдруг улыбнулась: ей понравилась Грушина почтительность,— за шесть лет она уже отвыкла от такого обращения — все с поклонами, будто у ней спина резиновая. Вот самовар кипящий поставила. Опять поклонилась.

— Кушайте, пожалуйста. Будто темно. Лампу надо зажечь.

И через минуту принесла зажженную лампу — фарфоровую, с розовыми цветами, самую парадную.

А на улице под окнами задвигалось. Сперва ребятишки робко подошли к палисаднику, заглядывая сквозь ветви деревьев в открытые окна. За ребятишками — бабы. Толпа росла быстро. Все смотрели в окна, слушали. И шептали:

— Ишь ты, чай-то пьют, как и мы, грешные.

— Глядите, глядите, сама-то полосатую юбку надела.

— Рванющая вся.

— Давеча я глянула, на молодой-то графыне туфли стоптаны совсем.

— А-а, дела-то какие. Бывало, в золоте ходили, а теперь — прямо голые локти видать.

— Весь фасон сломался. Хи-хи-хи.

— Ну, дурак, чего смеешься? Тут беда у людей, а ты хихикаешь.

— А ты слышь, как Филипп смеется. Ровно козел блеет.

— Ну, недаром его папаша в лакеях у графьев был. Кровь-то сказывается.

— Да и сам-то Филипп всегда пятки лизал. Сыздетства привык.

— Ну, будет вам, дураки, об чем говорите.

Приходил еще и еще народ. Стояли молча, думали, должно быть, о превратностях судьбы человеческой. Вот были графы — пятнадцать тысяч десятин имения, дом-дворец — сейчас выйди погляди — в ночи белеет за рекой, кареты, лошади, дворовых одних пятьдесят человек было, а тут вот чай пьют у мужика Перепелкина...

Размела Груша уголочек в сарае, где овцы ночуют, позвала соседку Федосью, с ней вместе перенесла кровать, стол поставила.

— Что ж, проживем лето здесь, не велика беда.

Федосья поглядела на соломенную крышу сарая.

— В дождь, пожалуй, протекет.

— Не протекет. Проживем. Летом что? Летом каждый кустик ночевать пустит.

И засмеялась, довольная: гостей-то таких бог послал. Для таких гостей и потесниться можно. Вишь, все село теперь гомом гомонит, на улице бабы проходу не дают, все выспрашивают, как оно да что.

— Устроились, что ли, господа-то?

— Устраиваются. Слышь, как кричат? Да похоже, и устраиваться нечего. Нет у них ничегошеньки. Сковородку какую и ту у меня взяла. Яишницу только и едят.

— А-а, яишницу. А вчерась-то как? Середа ведь.

— Ну, тоже яишницу. Господа... Чего с ними будешь делать?

Эти дни Филипп спозаранку уезжал в поле. Ему тоже хотелось поглядеть, как господа устраиваются, подмочь, ежели что. Но поле звало.

— Пусть сами устроются.

Филипп хоть и суровый мужик, а был доволен: льстило ему, что граф пришел не к кому иному — к нему. Разве мало хороших изб на селе? Да любой бы мужик сдал. Вчера вот сам Дементий Петрович эдак с завистью расспрашивал:

— Переехал граф-то? Ну что же, ежели дело в обрат пойдет, тебе награда от него, надо полагать, будет.

— Кака там награда,— засмеялся Филипп.

— Нет, что же, вон барыня Сычугова говорит крестьянам: «Не бойтесь, мужики, я заступлюсь за вас, ежели что. Только пойте-кормите меня». Три года кормят. Теперь стали самогоном поить, чтобы сдохла поскорее, а то претензии выказывать стала. Теперь всеми днями пьяная лежит.

— Ну, этак у нас не пойдет.

— А что наш-то говорит?

— Да ничего не говорит, а похоже,— надеется.

— Поговорить бы с ним надо.

Вот это и нравилось Филиппу: теперь все к нему вроде заискивают, даже Дементий Петрович.

И работать будто веселее стало.

Туда, в поле, Груша и есть ему носила. Там, на меже, лениво разжевывая хлеб, они беседовали. Обоих их удивило, что у господ ничего не осталось: ни одежи, ни обуви, ни посуды.

Вспоминали, что граф сказал вчера, сегодня, что сказала графиня, что графята. Жалели их.

— И-и, не приведи господи никому так. С этаких-то высот да к нам в избу — это не иначе, как бог за грех низвел.

— Знамо, за грех.

И оба самодовольно говорили про соседей: пускай позавидуют.

Поевши, попивши, Филипп здесь же, на меже, ложился отдохнуть.

— Вот меня, надо быть, не прогонят из моего жительства,— шутливо говорил он,— везде солнышко есть, везде земля есть.

— Ой, не говори, мужик. Захочет наказать бог — накажет.

Домой Филипп приезжал только поздно вечером, вводил лошадь во двор тихонько, чтобы не беспокоить господ, ставил под навес, а сам забирался в сарай на кровать к Груше.

— Ну что, как они?

И долго в темном сарае слышался неясный шепот.

В первые дни Груша в охотку помогала гостям стряпать, чистить, а потом и пошло: каждый день уже с утра к Груше в сарай прибегала старшенькая девочка Зоя — беленькая, с большими серыми глазами.

— Бабушка Груша, мама просит вас прийти к ней.

Молодая графиня взялась вести хозяйство. Пятеро детей, отец, мать — много для одной. Груша носила из колодца воду, помогала. Много воды нужно было. Только наполнит кадушку — к вечеру пусто. «Словно утки полощутся». Но с первых же дней грязь откуда-то полезла в избу. Груша с болью заметила, как сразу затоптался ее крашеный, всегда так светившийся пол.

И половики вязаные стали, как тряпки, грязные. «Ну, ничего, уедут — вымою». Молодая графиня мела, чистила, скребла, но грязь лезла неумолимо. И Зоя маленькими ручонками по три, по четыре раза в день мела. Но другие девочки тащили на башмачках в комнаты пыль и грязь,— комнаты маленькие, все загрязнялось быстро, Жан и Жак — оба длинные, оба всегда вместе, натащили камней, жуков, банок с лягушками, червями, наклали и наставили на все окна — ссорились часто между собой. Груше показалось: эти двое разводят грязь больше, чем все остальные.

Раз Груша увидела: Жак вынес во двор ее бальзамин, росший в стеклянной банке, вытряхнул бальзамин на навоз и принялся палкой выковыривать землю из банки. Груша ахнула.

— Берегла, растила, а он...— Ей стало досадно.— Большой уж. Соображать бы надо.

Но позвала молодая графиня:

— Груша, помогите помыть посуду.

И надо сложить губы в улыбку,— нет места обиде.

Груша чистила, мыла. Сперва в охотку, потом поневоле. Ей говорили:

— Придет время — мы отплатим.

Своя работа захирела. Надо бы картошку прополоть. Надо бы гряды под капусту заготовить. Ну, да что там! Где наше не пропадало? И Филипп не сердился, только вздыхал.

— Пущай. Знамо, в силу войдут — отплатят. За ними дело не пропадет.

— И чудно только живут, Филя. Ну, прямо ничего не могут, ровно ребята малые. Каку там картошку чистить, и то не полюдиному чистят — кожуру прямо вполпальца снимают.

— Вполпа-альца? — удивлялся Филипп.

— А старая графиня ну ничегошеньки не хочет делать. «Пусть, говорит, меня хоть на расстрел ведут. Я как была графиней, так и останусь». Ничего не делает.

— А старик?

— Старик все вздыхает, молчит.

Правда, Филипп и сам заметил: старый граф в белом заплатанном чесучовом пиджаке, как видение или как тень этих мест, бродил по берегу, уходил далеко за Терново, поднимался на Девкину гору, на макушку на самую, сидел часами целыми, издали глядел за реку, на свое имение, о чем-то думал. Мужики и бабы говорили:

— Тоскует.

— Да уж не сладко, поди. Видит, а взять не может.

— А и трудно бывает господам.

— Нет, братва, я не согласен в бары идти.

И Филиппа сколько раз спрашивали: не знает ли, о чем думает барин...

— Что едят-то? — допытывал Филипп у старухи.

— Тощо едят. Молоко, хлеб да чай.
— А мясо?
— Како мясо? Ничегошеньки у них нет.

Неудобно было старикам утрами: овцы просыпались чем свет, подходили к кровати, лизали ноги, руки, лицо, будили Филиппа и Грушу рано. И еще неудобно пить, есть в сарае. Поэтому Груша перенесла стол под вербу, что в у́глу двора,— обедали там. Немного нехорошо было, что графы и графята ходят мимо, смотрят издали. Раз старик граф крикнул издали, проходя:

— Хлеб-соль.

Что же, сразу видать старинного русского человека.

И Филипп ему правильно:

— Просим милости, ваше сиясь!..

— Спасибо,— сказал граф, поднимаясь на крыльцо.

И после этого — вечерком как-то, когда Филипп и Груша пили чай, вот так же: «чай да сахар» — «просим милости»,— граф на самом деле подошел к столу.

— Что же, чашечку выпью.

Засуетилась Груша — юбкой собственной вытерла стул для графа.

— Пожалуйте.

Вот с этого, такого маленького случая и пошло. Словно лед сломался. Садятся наши старики обедать — молодые графята уже здесь вертятся.

— Бабушка Груша, вы сегодня что варили?

— Ныне щи.

— С мясом?

— С мясом.

— Налейте и нам.

— Да господи, да пожалуйте, сделайте милость, кушайте.

И девочки, глядишь, придут. Вертятся, будто и на стол не глядят, а Груша уже и тарелку им:

— Кушайте, вот только ложки у нас деревянные.

Девочки с полной готовностью:

— Мы ложки свои принесем.

Молодая графиня была будто недовольна.

— Балуете вы их, Груша, они вам надоедят.

А голос у самой такой утомленный...

— Что вы, ваше сиятельство, нешто можно, чтобы надоели? Да ни в жизнь. Кушайте, деточки...

И повелось так. Обед — ребята, что голодные кошки, вот уже у стола вертятся. Жак уже кричит:

— Зойка, ты почему на мое место села? Прочь отсюда.

Вечером Груша Филиппу:

— Надо бы мяса, что ли, купить. Чем кормить-то?

— Что ж, купи. Как-нибудь...

— Не объедят поди.

— Може, не объедят. Ну, только поглядел я: не мене хорошего мужика ест кажный. А я-то думал...

— Что ты думал?

— Думал, что они не так едят.

— Во-от. Аль они не люди? А ты будет намекать-то. Ничего, нас не убудет. Ежели им теперь подможем, гляди — отплатят потом. Видал? Все нам завиствуют. Вот, говорят, Перепелкиным счастье завалило: с графьями за одним столом сидят. Вспомника, где это видано было? Эк ты...

Ночью вышел старый граф ко двору, столбом белым встал, маячит в темноте. На краю села орали парни и девушки частушки. Слов не разобрать — только голоса, словно крики, резкие, пронзительные. Жеребячьей грубой силой отзывало от них. Он вспомнил, как бывало, много лет назад, вот в этих же местах водили хороводы, отец возил его на гулянки, как им кланялись тогда пьяные крестьяне, как пели. И будто не так пели, как теперь, а стройно и ласково. Все перевернулось. Вот вместо стройности — прущая грубая сила.

Граф вздохнул.

— Батюшки, ваше сиятельство, милостивец,— зашамкал голос возле.

Граф всмотрелся. В темноте маячил кто-то серый, неясный.

— Кто это? Кто ты?

— Это я, ваше сиятельство, Пахомка Безручкин. Дозвольте подойти к вашей милости.

— Ну... ну, иди. Что тебе?

Теперь ясно: подходит бородатый, кланяется. Из темноты пахнуло на графа теплым резким человеческим запахом.

— Ох-ох, признаться, днем-то опасаюсь прийти к вашему сиятельству. Вот, скажут, Пахомка хочет с графом компанию водить. Срамник народ пошел.

— Да тебе что надо от меня?

— Спросить хочу, ваше сиятельство.

— О чем?

— Скоро ли сменка будет?

— Да тебе это зачем? Или тебя тоже из имения выгнали?

— Невмоготу стало жить. Сыновья обижают. Непочетчики. И управы нет.

— Так и тебе плохо?

— Куда плохо, ваше сиятельство. Житья нет. Бывало, я всему голова, а теперь рта не разинь, и не только мне, всем старикам плохо.

— А я думал, вы теперь сами помещики.

— Что зря баить, ваше сиятельство? Какие помещики? Живем — у бога смерти просим. Что же, скоро ли сменка-то?

Граф помолчал, подумал.

— Сам, старик, жду. Надо бы вернуться всему, но думаю, что не скоро. Вот слышь, как орут ваши ребята? Разве теперь введешь их в оглобли.

Пахом завздыхал, забормотал.

— И девки-то, девки теперь хуже парней стали. Последние времена.

— Ну, насчет последних времен ты, пожалуй, и не прав, а что для нас с тобой последние — это будет правильно.

Старики помолчали, послушали.

— Значит, и ждать нечего?

— Ну, как нечего? Ждать надо. Да дождемся ли?

— Решилась Расея.

Теперь Пахом стоял возле графа, уже не кланялся, всматривался пристально в него.

— Решилась Расея,— повторил он ожесточенно.

— Тебе-то что? Ты же в своей избе живешь?

— Да что толку в избе-то? — сердито сказал Пахом.— В своей избе не хозяин я стал. Мало от сыновьев обиду терплю. Внук Микишка и тот позавчера говорит: «Дурак ты, дедушка». Это как? А разговор-то ведь из-за вашего сиятельства вышел.

— Как из-за меня?

— Говорю им: при графе хорошо жилось — и леску тебе на избу когда дадут, и рента небольшая была. Считать стал — выходит верно, меньше платили всего. Вот, говорю, как хорошо при господах-то было. А они меня дураком... Попомнить бы надо ему, ваше сиятельство.

— Что попомнить?

— Когда сменка-то будет, хоть бы попороть его тогда.

— Ты думаешь, помогло бы?

— Знамо, помогло. Острастка была бы.

— Нет, Пахом, я думаю, не поможет. Новый народ пошел. Похлещи его — он хуже будет.

Пахом пробормотал что-то неясное: должно быть, не соглашался. Как это не поможет? Помогло бы.

Оба стояли, недовольные друг другом, несогласные.

— Горько жить, ваше сиятельство. Бывало, за речкой и огни-то и музыка. А ныне — сокомольцы эти — дерева ломают, в бога не веруют. Беда ведь.

— Э, что там говорить!

Оба стояли старые и сгорбленные. А по улице толпой шли парни и девки. Под резкий визг гармоники орали песню, и чуялось: прет на стариков тяжелая сила.

У мельницы, на речке, мальчишки — целая полдюжина — ловили рыбу.

Вытащил Кузька окунька — этак дернул лесу,— окунек ласточкой взвился вверх, на самый яр, Кузька за ним, глядь, а на самом яру стоят две этакие нескладные фигуры — длинные, тощие мальчуганы, оба босиком, ноги тонкие, ступни как лемеха.

Так удивился Кузька — об окуньке забыл. А тот, что постарше, ястребом на окунька.

— Эге-ге, рыба-то какая,— закричал он.

Нескладной рукой поднял окунька. Оглянулись все мальчишки, глаза вытаращили и так, может быть, минуту целую молча глядели на чужих. А те между собой схватились. Тот, что поменьше, кричит:

— Жак, дай мне. Я желаю рассмотреть.

— Отойди, это будет моя рыба.

— Вовсе не твоя. Это рыба вон того мальчика.

— Он мне подарит. Правда, мальчик, ты мне подаришь ее?

Кузька нахмурился. Хотелось ему вырвать окуня. Но сказал басом:

— Возьми.

— А ты знаешь, кто я?

— Как не знать? Ты — графов внук.

— Я не только внук, я сам граф. А это мой брат.

Кузька ничего не сказал.

— Мальчик, ты хочешь со мной водиться?

— Как?

— Ну, что я у тебя попрошу, ты мне дашь?

Кузька подумал.

— Ежели ты у меня лошадь попросишь?

— А разве у тебя есть лошадь?

— А ежели была бы?

— Чудак. Я у тебя ничего не попрошу. Я сам могу тебе дать. Давай дружиться.

— Давай.

Другие мальчики с завистью слушали, как Кузька бойко с графьями.

Жак попросил Кузьку:

— Дай, я половлю.

Кузька охотно:

— На! — и протянул ему удилище.

Стал Жак червяка насаживать и не может.

— Насади мне.

Ребята засмеялись.

Петька даже свистнул: хоть оно и граф, а червя насадить не может... Шабаш. Кузька насадил. Жак взмахнул удилищем.

Поглядели ребята, как неуклюже граф леску закидывает,— грохнули хохотом.

— Ну, вы, мужланы,— крикнул Жак,— я еще получше вас умею.

Ребята притихли. Может быть, правда умеет? Да и боязно, как бы не попало за графа. Жан подошел к Петьке.

— Дай мне половить.

Петьке неохота отдавать. Но дал.

— Немного ты, а потом опять я. Ладно?

И все опять цепочкой вдоль речки на самом берегу, только Петька с Кузькой позади. У Жака дрогнул поплавок. Жак испуганно дернул. Пустой крючок высоко хлестнул воздух.

— Разве так можно? — задосадовал Кузька.— Сперва дай, чтобы заглотнула, а потом тащи.

— Не учи,— сердито сказал Жак. И опять забросил лесу.

Опять чуть шевельнулся поплавок, Жак дернул. Кузька не решился возмутиться вслух. Только отошел в сторону и, вздохнув, лег на траву.

А когда Жак еще дернул не вовремя, Кузька не утерпел.

— Эх, не умеешь ты.

— Молчи.

— Чего молчать? Видишь, как другие ловят. Не успевают закидывать. А ты не могешь.

— Ну, не твое дело.

— Удочка-то моя.

— А твоя, так бери.

Жак бросил сердито удочку в воду. Кузька оторопел.

— Ты это что же?

— А ничего. Хочу — и бросил. Жан, бросай и ты.

Жан бросил.

Петька и Кузька переглянулись.

— Ты зачем?

Петька крикнул, свирепо глядя Жаку в лицо:

— У, глиста!

— Кто? Я глиста? Ах, ты...

Жак развернулся и трахнул Петьку по плечу.

— Ты драться? На тебе!

— Жан, бей их!

— Ну-ну!

Жан махнул неуклюже руками, но ребятишки уже насели. Жан бросился бежать. Кузька и ещё другой мальчишка с рыжими волосами лупили Жака. Тот закрывал голову длинными неуклюжими руками и корчился. Жан ждал на пригорке, когда отпустят брата.

Пастух Савелий издали с пригорка крикнул:

— Эй, дьяволята, что вы делаете?

Ребята отступили. Жак побежал на пригорок. Ребята улюлюкали.

— Эй, лягавый. Глиста!

— Подождите, попадет вам,— погрозил Жак.

— Смотри, свои бока береги!

Братья пошли к селу.

— Это свинство,— возмущался Жак,— это неблагородно. Я маме скажу. Ты должен был меня защищать. А ты удрал.

— А зачем ты связался? Ты бросил удочку. И мне велел. Я тоже маме скажу.

Перед вечером ребятишки потащили на куканах измученных рыбок домой. А вечером все село знало: Петька с Кузькой поколотили молодых графов.

— Вон он, сыч-то сидит. Пойти покалякать с ним. В богачестве-то был, к нему, бывало, не подступисси. А ныне вроде нашего дедушки Максима — сидит и носом рыбку клюет.

Неверной, пьяной походкой Алешка пошел к графу,— слыхать было, как везли дырявые сапоги по дороге и голос потом:

— Ваша сиятельства, доброго здоровья. Сидишь?

Граф ничего не ответил.

— Сидишь, говорю? Чего молчишь-то? Ну, сиди, молчи, молчи, как дерьмо на дороге. Молчи. Такое твое дело, что молчать теперь надо. Ущемил господь хвост гадюке.

Граф поднялся и молча пошел в калитку.

— Стой! Зачем уходишь, ежели я с тобой говорить желаю? Слышь? А-а.

Алешка принялся поливать ужасной бранью графские окна. Из конца в конец села слыхать было, как ругается мужик. Но никто не пришел, чтобы его отвести. Отворилась калитка, кто-то белый с вилами в руке вышел, подошел к Алешке и ударил его кулаком по шее. Алешка упал и примирительно забормотал из пыли:

— Да, Филипп Карпыч, да что ты, господь с тобой? Зачем нам ссориться? Али ты в лакеи к этому самому графу нанялся?

Филипп ударил Алешку еще раз и сказал:

— Не уйдешь, стервец, вилами спорю. Слышишь?

В Ильин день был престольный праздник и ярмарка. К празднику готовились целую неделю. В каждом дворе варили бражку, гнали самогон. Бабы бегали одна к другой.

— Лукерья, освободился, что ли, у тебя паратик-то? Дала бы мне. А то затируха готова, время в парат класть.

— Подожди, счас свою догоню.

Еще накануне праздника стали съезжаться гости. Были даже из Давыдовки — село за тридцать верст от Тернова. Мужики съезжались к празднику с работ из города и сел.

К Перепелкиным приехали сын с женой.

На площади, у церкви, поспешно строили карусель и палатки.

В праздник рано утром зазвонил торжественно колокол.

Улица запестрела кофтами и платками. Девушки все — в белых платьях, с завитыми кудерьками.

Пьяный Васька Жук шел к церкви вдоль порядка, ударяясь о заборы, ворота, палисадники. Бабы смотрели на него с негодованием.

— У, дьявол, нализался рань такую.

— В церкву иду! — кричал Жук.— В церкву!.. — и добавил грубейшее ругательство.

— Вот так молельщик,— втихомолку ворчали бабы,— срамота.

Против церкви Жук стал переходить дорогу, закрестился, упал в пыль и так остался лежать.

Еще не отошла обедня, в селе раздались песни, на площади завертелась карусель, заиграли гармоники. Девки, парни, ребятишки бросились из церкви на ярмарку — к каруселям, к гармоникам.

Графская семья была в церкви вся. Бабы им дали место у стенки. Впрочем, Жак и Жан убежали с половины обедни на ярмарку. Пьяным-пьяно уже было село, когда отошла обедня. Молодая графиня сказала по-французски старикам, когда вышли из церкви:

— Не пройти ли нам переулком?

Старуха гордо подняла голову.

— Это еще почему?

— Пьяные. Неприятно.

Старики не ответили, молча пошли вперед, молодая графиня с девочками — за ними.

Толпа смотрела на них в упор, молча, точно удивленная. Вдруг откуда-то из середины толпы раздался свист, хохот, крики:

— Вот они... летят.

И ругательства. На лицах у девок и парней будто смущение и дерзость.

— Дырявые господа идут. Сторонись, народ!

С высоко поднятой головой проходили старики, за ними молодая графиня через толпу. Девочки испуганно жались к матери. Кто-то из толпы бросил в спину старой графине коркой арбуза. Из толпы раздались укоризненные голоса.

— Зачем балуешь? Эй, ты!

— Молчи, барский прихвостень.

— Я прихвостень?

В толпе заспорили. Вдруг неподалеку послышались дикие вопли:

— Батюшки, помогите!

Толпа ринулась туда и разом забыла про графскую семью. Там пьяный Мишка Воробьев громил избу солдатки Устиньи — за измену. Уже забор своротил и вытащил на дорогу. Теперь раскачивались воротние столбы.

— Батюшки, помогите! Не дайте разорить! — кричала Устинья. Она протягивала руки к толпе. И дико было: ее праздничный пестрый наряд — и испуганное в отчаянии лицо...

Толпа смеялась:

— Свои люди. Что там? Валяй, Мишка! Таких подлюг учить надо.

Но кто-то высокий подошел к Мишке и ударил его палкой по затылку. Мишка ткнулся в землю носом. Толпа сгрудилась, закричала, замахала руками.

А мимо уже шли с гармоникой парни, орали частушки, и не было им дела до Мишки Воробьева. От ярмарки неслись визгливые звуки шарманки.

У ворот ждала графов Груша, в ярком синем сарафане, с белым шелковым полушалком на голове. Откуда-то она узнала, как провожала графа толпа. Она укоризненно сказала:

— Озорник народ стал. Ой, какой озорник.

Никто не сказал ей ни слова. Молча прошли во двор.

— А я чайку вам приготовила под ивой. Пожалуйте. Ради праздника.

И в ее голосе была этакая жалость — залетели неведомые птицы в воронью стаю, заклюют их вороны...

Только сели пить чай, с улицы — из-за ворот — послышался дикий, пьяный крик:

— Сп-латато-ор! Убью!

Груша, чуть конфузясь, объяснила:

— Это Ванюшка Волчков идет отца бить. Разделились они этой зимой, да, вишь, неправильно. Ванька в обиде. И вот, как праздник, матушки мои, так и идет к отцу. «Ты, слышь, сплататор, убить тебя надобно». Это отца-то родного.

И всем стало почему-то страшно. Все торопливо пили чай, словно боялись: вот пьяная улица ворвется во двор и тысячью глоток крикнет:

— Сплататор.

Но не улица ворвалась — вошли, когда уже самовар потух и все напились,— вошли Жан и Жак, измученные и грязные, и затянули оба:

— Да, мы в церковь иди, а они чай пьют.

— И пирог ели, а нам не оставили.

— Да-а...

— Ну, будет. Без лишних звуков.

Дед рассердился.

— Молчать! Ах вы, негодяи! Забыли, где вы? — закричал он.

И лицо стало у него страшным — красное, как малина, а седая борода дрожала.

Лето выдалось грибное. Повелось: с утра вся семья графская с корзинками отправлялась в лес. Звали и Грушу. Но Груша два первых раза только сходила, чтобы показать места, потом отказалась.

— Неколи, матушка, ваше сиятельство, совсем недосуг. Огород зовет, поле зовет.

И первые-то разы ходила, чтобы дорогу показать: «Авось поменьше во дворе будут толкаться». Правда — поменьше. Жак и Жан отправлялись с утра. Но домой приносили молодых коршунят, горлинку, зайчат. Когда принесли в первый раз зайчат — пришли без корзины и лукошка.

— Где?

— Потеряли. Начали ловить зайчат, и неизвестно куда пропали наши вещи.

— Это сперва Жак потерял,— сказал Жан,— я уже потом потерял свою корзину.

Жак возмутился, крикнул на брата:

— Молчи, сволочь!

Старая графиня едва не упала со стула от испуга.

— Жак! Какие слова?! — закричала она в ужасе.— Боже мой, можно ли так кричать? Ты совсем омужичился. Слова какие!

— Какие, бабушка? Ничего особенного. Здесь все сволочью выражаются.

— Молчи!

— Чего мне молчать? Если я сволочью обругался, так он и есть сволочь, ваш милый Жан. Он украл у меня кусок булки. Благородные люди так не поступают.

— Я тебе приказываю. Молчи!

— Молчите вы, коли вам это нравится.

Старуха застонала.

— О-о, вот оно, современное воспитание. Мой внук и мне же...

— Жак, ты совсем непочтителен к бабушке,— крикнула мать.

Жак ответил:

— А чего она вмешивается не в свои дела? «Какие слова». Сидит себе — и пусть сидит...

Старая графиня крикнула по-французски на молодую, молодая сконфузилась, начала гнать сына из комнаты.

— Жак, выйди вон.

— Не пойду.

— Прошу тебя, ты неприятен бабушке.

— А-а, неприятен! Вот и не пойду.

Быстро вошел старый граф и молча ударил палкой Жака. И еще раз. И зашипел придушенно:

— Вон, негодяй! Убью!

А вечером Груша передавала Филиппу во всех подробностях об этом случае, чуть посмеиваясь радостно:

— Кэ-эк он его шаркнет!

— А пожалуй, и за дело.

— Да как же не за дело? Ведь чистый разбойник. Всю одежду на себе изорвал. Ругается, дерется.

— И братец-то, похоже, такой же.

— Что и говорить. Одинаковые. Ты гляди, у нас с чердака все потаскал: пузырьки, корзины, мои прялки и то вытащил. Прямо страх господень — все тащит.

— Чего ж ты не скажешь?

— Да как же сказать-то?

Стали припоминать: корчагу разбили, три тарелки разбили, четвертную бутыль с маслом разбили, курице ногу сломали...

— Убытков-то сколько, старуха.

— И-и, головушкой не придумаю, как быть.

Филипп помолчал. Долго ворочался на кровати. Потом, накрыв свою и женину головы одеялом, чтобы не услышал случаем кто, зашептал:

— Ты вот что, старуха. Ты не больно их привечай. Ну их ко псам. Они будут громить нас, а мы их корми? Будя.

— Да старика жалко. И молодая-то... измучилась она с ними.

— Ну, что же делать? А ты не сажай их за стол.

— Да ведь как же не посадишь? Они приобыкли. Не прогонишь. Это тебе не Гришка Корнеев.

Правда, приобыкли. В лес уйдут рано. А к обеду непременно — дома. Жак выйдет на крыльцо — орет через весь двор:

— Груша, что варила сегодня?

Прямо как барин на кухарку. Дома и не справляется, знает, что мать, кроме грибов, не варит ничего. Какой мужик Филипп — и тот ест лучше.

Жак и Жан прямо с ложками к столу. И Зоечка — кошечкой:

— Можно мне немножечко поесть с вами?..

Молча и угрюмо смотрел на них Филипп. И думы этакие мужичьи, трезвые: «К чему растут? Ни учатся, ни к делу не приучаются. Неужели же опять на наши шеи сядут?»

Пристально смотрел на Жака, на Жана. Ломают, корежат, дерутся с ребятами...

Ну ясно: от них не отделаешься... И вот двух дней не прошло, Филипп Груше строго:

— Вот что, баба, стол-то пусть здесь стоит, а мы давай обедать в риге. На них, дьяволов, не напасешься.

Заохала, закурлыкала Груша, да ведь что же: мужик правду говорит — не напасешься. Опять же, добро бы, люди хорошие были, а то...

Стали обедать в риге. А горшочек какой — со щами, похлебкой, картошкой,— это варить к соседям в печку ставила.

— Уж помогите. У нас-то стало тесно... И неспособно.

И вот только теперь Филипп увидел: и дров-то много жгут, и грязь-то развели, и посуду побили, и цветы ломают. Точно пелена с глаз спала, или с места сдвинулось и пошло недовольство расти горой...

— Вот дела-то, мать.

— Да уж что там! Терпи, видно.

— Надо быть, и лето-то не кончится.

— Кончится.

— А видела, цветы-то твои?

— А ты не говори. Все видала.

И, помолчав:

— Боюсь, мой фикус-то как бы не повредили. Вчерась Зойка лист таскала по двору. Надо быть, отломила. Один-то ничего. Как бы больше чего не наделали...

— Зря пустили...

— Не зря, старик. Вот и поглядели, как господа живут да как с черным народом обращаются.

Старый граф, должно быть, заметил: неладное творится с хозяевами,— не так быстро кланяется Груша, угрюмо смотрит Филипп. И сам стал сдержаннее и холоднее. Он все так же, как и в первые дни, ходил по берегу реки, издали посматривал на свое бывшее имение. Ходил далеко в поле, садился там — точно белый камень среди зеленых полей,— сидел долго и неподвижно — думал, дремал. Мужики тревожились.

— И куда он ходит? И чего он высматривает?

Потом успокоились.

— Свою жизнь проверяет!

— Пущай ходит.

Но все заметили: старик никогда не переправлялся за речку в свое бывшее имение, откуда целыми днями слышались резкие голоса ребят.

С мужиками он был угрюм, сдержан. Но если вступали с ним в разговор — отвечал охотно. И сам расспрашивал, цепко и пристально, точно вынюхивая. Но мужики с ним боялись откровенничать: «Кто его знает?»

На всякий случай льстили.

Раз у Девкиной горы он остановил Ивана Пантелеева — мужика хитрющего, себе на уме.

— Лучше живете теперь? — спросил граф.

Иван засмеялся.

— Како лучше. Будто хуже.

— Хуже? А я смотрю, будто лучше.

— Теперь, благодаря бога, словно получше стало. В устройку пошло.

— Теперь уж не желают графа?

Пантелеев засмеялся.

— Кто же их знает? Теперь не разберешь, чего хотят.— И добавил эту хитрую фразу, за которую осторожно часто прячет мужик свои мысли: — Больно темный народ-то мы...

Вечером на скамейке у ворот он рассказал соседям про разговор с графом, и все смеялись.

— Ишь цапля тонконогая. Все выискивает да выпытывает, желают его мужики назад аль не желают?

— Как же, свое имущество ищет.

— Ищи, свищи. Вон они, молодые графья-то. Умрет старик, все им досталось бы. А они — хуже хужего. Не токмо Филипп и Груша от них плачут, а и соседи хоть счас молебны служить, чтобы лето скорей кончилось да утекли они отсюда...

— Да старый-то ничего, такой обходительный стал. А молодые, ну, прямо сказать, разбойники. Чтоб им передохнуть, чертям.

— Ежели царь вернется, опять дело к ним перейдет. Вот зададут перцу.

— Да мы их тогда... опять революцию сделаем.

— Не убить ли счас? Собакам собачья смерть.

— Тю, дурак, чего бормочешь?

— А старуха-то... у-у, пика. Как была зверем, так и осталась. Груше-то кричит: «Не смей при мне сидеть. Я графыня». Даром, что Груша их кормит, изо всех сил тянется.

— Чего и говорить, звери.

— Вот только молодая... та будто на человека похожа.

— Опять, слышь, беременна.

— Опя-ять! Это которым же? Шестой, значит, в ходах? Уж и плодущая, ровно попадья.

— Аль свинья.

— Ну, ты. Разве так можно про беременную бабу.

— Она не баба, она графыня.

— А графыня нешто по-иному сделана?

В самом деле, только молодая графиня пользовалась некоторою любовью баб. Узнав, что она беременна, бабы приходили к ней вечерами на лавочку. Сперва стояли почтительно, потом садились на землю, возле лавочки, не решаясь сесть рядом, и, если не было маленьких девочек — дочерей графини,— говорили о беременности, о своем женском, и разговоры у них выходили настоящие, искренние.

И за это, должно быть, бабы любили молодую графиню...

А зато Жак и Жан скоро стали ужасом для всего села. Они пытались ездить на жеребятах («Дядя Андрей еле-еле успел прогнать, а то бы прямо спину переломили Петрову жеребенку»), пугали стадо, забирались на огороды, оббили зеленые яблоки с яблони у Мокея Тихоновича. Деревенские ребята гнали их от себя, гнали с побоями. И братья — длинные и костлявые, как два одра — мотались по селу, огородам, лесу, словно высматривали, где бы что сломать, разбить, разрушить. Однажды, когда ребята избили Жана, Жак крикнул:

— Подождите, я вот все село сожгу.

И в самом деле, стали бояться, как бы братья не устроили поджог.

— Им что? Им все равно, дьяволам...

— Вот накачались на нашу голову.

Отгорел второй спас — в этом году теплый и яркий,— вот-вот успенье накатит — грань мужичьих путей-переходов. А графы будто и не думают об отъезде.

— Господи, когда же? — стонала Груша.

В жнитво, когда вот как нужны и спокой и силушки, она почуяла, как за лето устала с гостями.

— Вот подожди. Теперь скоро.

— Накачались.

Филипп засмеялся.

— А помнишь, как сперва-то ты?.. «Честь-то какая».

— Кто ж их знал, какие они?

— Ныне вот все смеются. Дураками зовут за то, что держим и платы не берем.

— Какая плата. Сама бы, кажись, заплатила, чтобы съехали...

За неделю до успенья Филипп в поле был — озимое сеял,— глядит — бежит по меже Груша, точно девчонка молодая.

— А-а, что ты? Аль что сделалось?

— Иди скорея. Граф зовет. Уезжать хочут...

Филипп поспешно выпряг лошадь из плуга, верхом, и мимо Груши.

— Ныне ж, говорит, к вечеру... Екстренность какая-то у них.

— Ну, ты поспешай, а я верхом поскачу.

— Скачи.

Груша к дому, а на дворе уже телега, и Филипп со старым графом вещи выносят. Старая графиня вышла одетая. Груша вежливо сказала:

— Скорехонько собрались, ваше сиятельство.

Старуха каркнула:

— Дела.

Груша радостно побежала в избу, чтобы помочь вытаскивать вещи. Филипп там был. Увидав Грушу, он молча и мрачно показал на что-то пальцем. Груша глянула и присела: в ее любимый фикус был вбит большой гвоздь, и фикус уже заметно пожелтел...

— А-а, родимые! — не удержалась Груша.

— Что с вами, Груша? — спросила молодая графиня.

— Фикус-то мой сгиб... Господи, да у кого духа хватило?

— Ну, ну, молчи, Груша,— сказал Филипп,— что там фикус.

— Ах, чтобы руки отсохли у того!

— Что же делать? — сказала печально молодая графиня.— Это мой Жак устроил. Просто ума не приложу, не знаю, что делать с ним.

— Что делать? Бить его надо... палкой, кнутом!

— Что ты, дура, очумела? — крикнул Филипп.

— Нечего мне чуметь. Дом весь загадили и фикус испортили. Будто не люди жили, а...

Филипп сердито дернул ее за руку и заставил выйти из избы.

Никто не провожал уезжающих. Только когда воз уже отъехал на пригорок, Груша вышла к воротам, посмотрела вслед. За возом шли Жак, Жан и девочки, еще более оборвавшиеся за лето. Графиня и старый граф шли рядом по одну сторону воза, Филипп — по другую. Старая графиня сидела на возу.

Груша посмотрела им сердито вслед.

— Едут... цыгане.

И чего-то стало жаль... Дома, что ли, своего разгромленного?

*1924*

## ЖГЕЛЬ

### I

За болотами с синим маревом, за лесами за дремучими, в комарином царстве — Жгель.

Как мóрок она, эта Жгель, как пьяный аль похмельный сон. Идти к ней — дороги дальние да топкие; в лесах, что стоят стенами и справа и слева, вековечные мрак и седые мхи. Идет путник да ждет: сейчас в самой дреми будет избушка на курьих ножках, а там и баба-яга. Ан вот лес оборвался, стал стеной, уперся, точно идти дальше не хочет — боится. А прямо перед ним, на неохватной поляне, толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит прямо в небо, и чадно коптит копотью лицо небесное.

Над иными трубами пламя вздымается — так вот богатырской свечой сажени в полторы и стоит полыхает. Красные кирпичные здания покоями да глаголями протянулись по обезображенным закоптелым полям, вздымаются двумя, а иной раз и тремя ярусами. Рядом вот с ними, саженях в ста каких, гляди — расселся широко черный сарай, из крыши дым валит — прямо из щелей. Это горнó. А деревушки там и здесь жалкие, подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали — батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и шум, и гудок басовитый гудит на каркуновском заводе.

И люди здесь под стать этим сумрачным лесам, этому пламени, дыму и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по дороге — закопченный, волосами зарос по самые глаза, полушубок и шапка рваные,— вот брось на дорогу, никто не возьмет, разве ногой брезгливо пошевелит:

— А-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.

И обругается.

А жгеляне гордятся:

— Наша Жгель всем нос утрет. Мы кто? Мужики? Ни в каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравлену посуду царю Алексею Михалычу поставлял? Мы. Чьей посудой держатся трактиры в Москве? Нашей. Теперь и сочти, сколь мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок в дырах. Мы, жгеляне,— проломны головы. Нам новое не к лицу: пропьем в первом кабаке.

Ну, само собой, не все пьяницы да голяки — и степенного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилины, Сахаровы, Ревуновы... Жгель — вроде дно золотое, потому что жгельская глина славна исстари, умей только руку протянуть — и бери богатство полными горстями. И берут, и богатеют. Жгельские купцы не только в округе — в Москве гремят. Или вы не слыхали про жгельских купцов?

И первый-то между ними — Мирон Евстигнеич Каркунов.

Вот гляди, от дороги вправо длинные двухъярусные постройки из красного кирпича глаголем протянулись, это — каркуновская фарфоровая фабрика... Эге-ге-ге! Как не быть первым человеком, ежели вот они какие, корпуса-то! У иного купца жгельского и фабрика есть, да что в ней толку, ежели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется? А у Каркунова на фабрике рабочих до тысячи человек работает, правда, больше бабы, а все-таки тысяча — цифра немалая.

За фабрикой на пригорке, мимо которого прохлынулась дорога, кичливо стоит просторный белый каменный дом с террасой стеклянной — здесь сам Мирон Евстигнеич живет. Фабрика перед домом внизу вся как на ладони. Знают рабочие: подойдет хозяин к окну — ему сразу видать, что делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он из своего окна в одно фабричное окно, в другое — уже знает, как дела во всей фабрике двигаются. Орлом налетит, ежели неуправка какая,— у него не зазеваешься. Накричит и всегда — раз! раз! — затрещину и мастеру, и рабочему, и бабе, и мальчонке,— он не поглядит, в каких ты чинах ходишь: проштрафился — получай по заслугам. Чем дело держится? Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они — главнее всего. Недосмотришь — все может прахом пойти.

Мирон Евстигнеич маху не даст, у него прахом дело не пойдет... Ого-го-го! Не таков Каркунов, чтоб свое упустить.

## II

От Сергеева дня до покрова во всей Жгели переломная неделя: от лета к зиме — смена работ и рабочих, расчеты за старое и новые наймы и сделки.

Еще черти на кулачки не дрались, так темно, а на дворе каркуновской фабрики толпа гудит. Крикливыми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели крыльцо конторы, пронзительно ругаются. Их много: точильщицы, уборщицы, мяльщицы — и кто-то из них ужо пойдет с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают, и каждая теперь думает: не я ли? И уже заранее ненавидит своих счастливых соперниц, и заранее готова сбить цену... Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно и в стороне — эти знают себе цену.

А мужики сгрудились у белого дома, у террасы. Мужики нанимаются не в конторе, а вот здесь. И нанимать их будет сам Мирон Евстигнеич. Они стоят угрюмо, смотрят на освещенные окна хозяйского дома, переговариваются вполголоса.

— Ишь, скажи пожалуйста: со вторыми петухами пришли, а он не спит.

— Евстигнеич-то?

— Да.

— Богатым никогда не спится. Они двужильные.

— Палач-то приехал?

— А как же? Без него дело не обойдется. Где-нигде он, а к этому дню обязательно прискачет.

— Ну, загремят ныне чьи-то ребрышки.

— Уж не без этого.

— Выпить бы. Есть, что ли, у тебя?

— На сотку найдется. Пойдем.

— Для храбрости надо.

Утро все растет и растет. Вот внизу, у конторы, бабы закричали пронзительно, заволновались, наседают на крыльцо. А мужики здесь заговорили сумрачно:

— О-о, никак губахтер пришел?

— Он. Ну, теперь и наш, надо быть, скоро.

— Счас кухарка на двор выходила, говорит, что чай пьет.

— Эх, хорошо быть богатым.

— Чш... идет...

Дверь на террасе отворилась, и сквозь стекла видать, мелькнул там кто-то большой и черный. Невидимый вихрь трепнул толпу — все качнулись, оправились: кто сидел — встали, и все сняли шапки и картузы.

На высоком белом крыльце показался богатырь черный — сам Мирон Евстигнеич. Черный картуз на нем с широким тугим верхом, длинный кафтан староверский — сорокосборка, блестящие сапоги бутылками. Рыжая борода лопатой, из-под козырька широко глядят маленькие, серые жуликоватые глазки. Широким размахом снял картуз Мирон Евстигнеич и три раза перекрестился на золотую полосу над лесом, откуда вот-вот покажется солнце. И, кланяясь, он привычно встряхивал длинными волосами, подстриженными в кружок. В толпе из угодливости закрестились.

— Здорово, братцы!

Голос у Мирона Евстигнеича звонкий, басовитый.

— Доброго здоровьица, Мирон Евстигнеич.

— Здравствуйте, ваше степенство.

И в голосах — заиск, униженность, козлиные блеющие нотки.

— Эге-ге, да вас многонько собралось ноне,— усмехнулся Мирон Евстигнеич,— куда мне столько? Мне столько не понадобится... Что вы, братцы? Да вы адресом ошиблись. Вам бы надо к Гладилину идти. Он ныне много нанимает.

— Да уж сколько вашей милости понадобится. Уж мы готовы послужить.

— Это я знаю, как вы готовы послужить. На второй-то спас выдали меня с руками-ногами.

— Да ведь это, как говорится, против рожна не попрешь. Там Степка Железный Кулак объявился. С ним разве сладишь?

— Так-так. Кто это говорит-то? Никак, это ты, Тимофей?

— Нет, это Петрунька Ручкин.

— А-а, Ручкин? Ну, что ж, Ручкин, по-твоему, так-таки и не сладим?

Ручкин шагнул раз, другой, весь осклабился.

— Да где же сладить-то? Ен вон какой. У него кулаки-то ровно гири. Как меня по горбу смазал, так я ровно в яму пал.

— Ишь ты. А глядеть-то, мужик ты неплохой.

— Это уж как ваша милость.

— Так не сладим?

— Где же?... Ен...

— А ну-ка, братец, иди отсюда к шутам.

Ручкин оторопел.

— Это как же?

— Иди-ка, иди. Нам таких не надо. «Не сладим!» Пр̀оводи-ка его, братцы, чтоб не мешал.

И братцы — их много — угодливо и торопливо берут Ручкина за ворот, за руки, за бока, толкают от крыльца, и минуты нет — Ручкин уже широко шагает вниз, к корпусам, а оттоль по дороге прочь. Мирон Евстигнеич смеется одними глазами, поглаживает бороду, смотрит в толпу. А толпа гудит виноватыми голосами:

— Ну, как не сладить? Сладим.

— Бог даст, сладим. Мы ему бока намнем.

— Зря это Ручкин-то...

Мирон Евстигнеич милостиво улыбнулся.

— Так сладим?

— Знамо, сладим...

— А ну, добре. Это мы поглядим. Только вот, братцы, как же? Много лишних пришло.

Он посмеивается хитренько, гладит белой рукой рыжую бороду,— все видят: рука у Мирона Евстигнеича вся обросла рыжими волосами.

— Не надо столько,— говорит он громко и, будто жалеючи, вздыхает.

Бормочут мужики виновато:

— Уж сколько вашей милости...

— Ну, что ж, кто из вас у меня работал? Отходи вот сюда.

Толпа колется надвое. Большая часть идет в сторону.

— Эге-ге, да вас много.

— Да как же! Мы испокон веков каркуновские...

Десятка полтора осталось, стоят на месте перед крыльцом.

— А вы откуда?

Мужики гомом гомонят, выкрикивают: Лужки да Подсосенки — деревушки жгельские.

— Ну, а драться умеете?

— Да как же, ваше степенство, не уметь? Сызмальства деремся.

— А ну, я посмотрю. Вот ты да вот ты, схватитесь-ка, а я погляжу. Кто побьет, того найму.

Два мужика — рослых, бородатых — снимают полушубки, пятнами яркими закраснели рубахи кумачовые. Толпа с гоготом строит круг перед белым крыльцом, мужики надвинули шапки на глаза, натянули голицы, порасправились... И враз петухами один на другого. Гоготом заревела толпа: «Га-га-га, дай ему, дай!» И минуты нет — у бойцов кровь на бородах и рубахи клочьями. Пятый, седьмой, десятый раз сходятся и расходятся они. Уже пар и кровь изо рта у того, что пониже. А не сдает: страшна, должно быть, голодная зима без работы. А другой бьет его четко и сильно. Мирон Евстигнеич смотрит на них сверху, с крыльца, и борода двигается от удовольствия. Уж видно: большой ломит, у малого кости трещат,— иди, малый в рваной рубахе, на печку домой. Вдруг малый увернулся, изловчился, трахнул большого под самую подложечку, и большой, взмахнув руками, со всего размаху грянул наземь. Взвыла толпа, вскружилась, а глазки Мирона Евстигнеича утонули в улыбке.

— Молодец! Это молодец! Что ж, отходи вон к ним. Да и этого... водой его отлейте, да пусть и он становится на работу. Крепок в кулаке.

Большого на руках тащат в сторону, отливают водой. А счастливчик надевает полушубок и размазывает кровь на лице...

— А теперь вот ты и ты,— говорит Мирон Евстигнеич.

И еще пара становится в бой.

Час и два у террасы идет наем: бьет до полусмерти мужик мужика. Мирон Евстигнеичу стульчик вынесли на крыльцо. Сидит он, посматривает, ряду рядит.

Стоял в толпе мужик, вроде цыгана черный. Показал на него Мирон Евстигнеич.

— Вот ты. Ну-ка вот с этим схватись.

Черный мужик неторопко снял полушубок, поплевал в кулаки и, присев, потер их об землю. Встал, еще потер, понюхал и удало так крикнул:

— Эх, кулаки-то. Смертью пахнут.

И, развернувшись, ударил супротивника. Толпа ахнула: супротивник — высоченный мужичонка — пал как подрезанный. Пал и лежит. Даже Мирон Евстигнеич поднялся удивленный.

— Эге, ты вострый. Теперь вот с этим схватись-ка.

И еще показал на высокого.

Опять разошлись. И с третьего удара — высокий с копыт долой.

Мужики заробели. Жмутся, жмутся, ныряют друг за дружку, чтобы Мирон Евстигнеич их не поставил против этого дьявола черного. И голоса робкие:

— С ём разя сладишь? Это Ленька Пилюгин, он известный.

— А ну, позвать сюда Палача! — крикнул Мирон Евстигнеич.

Рябой мужик вылез к крыльцу.

— Ну-ка, Микишка, покажи этому, а то он что-то больно храбер.

Микишка с развальцем вышел в круг и стал против черного.

Замерла толпа. Поднялся Мирон Евстигнеич на цыпочки, ястребом глядит.

Удары сыпятся гулкие, и ёкает у бойцов в грудях. Глаза у черного выкатились из орбит, страшные. Бьются пять минут, десять. Остервенели оба.

— Будет, будет,— махнул рукой Мирон Евстигнеич.— Ну, молодцы...

И кричит оглушительно:

— Дунька, водку сюда!

Дунька уже тащит прямо в ведре зеленую водку, перегибается. В корзинке хлеб и огурцы малосольные — закуска.

— А, ну братцы-бойцы, подходи.

И белые фарфоровые кружки тянутся к ведру.

Мирон Евстигнеич угощает из своих рук черного.

— Да ты чей такой? Я тебя что-то не знаю.

Час спустя пьяная толпа идет к конторе заключить условие и получить задаток. А на конторском крыльце бабы стоят с лицами, кривыми от злобы.

— Дьяволы. Обдиралы. Двадцать копеек на день. Где это видано? Хлеба одного на гривенник сожрешь.

А другие тут же плачут:

— Хоть бы какую работенку...

Уж после обеда сам Мирон Евстигнеич идет в контору. Бабы ему в пояс, а кто в ноги прямо, так ковром стелются.

— Кормилец, и нас возьми.

— Ну, что ж. Сколь вас осталось? Сто пять. Пятиалтынный на день дать можно. Кто хочет — оставайся...

## III

Покров в Жгели престольный праздничище: три дня пьянство, четыре опохмелья, неделя вся в тумане пьяном идет. Разочлись, нанялись, порядились — опять дело в устой пошло на полгода на целые. И девки с парнями, по старому обыку, по вековечному, норовят свадьбу подогнать к покрову. Пословица не мимо молвится: «Придет батюшка Покров, девку покроет».

На покров последняя копеечка ребром идет. Да не просто идет — еще и в присядку пляшет.

Гляди, обедня не отошла, а пьяных — урево. Федот Пантелеев у самой паперти снял праздничный новый картуз, поклонился в землю, да так и остался лежать — силов уже нет подняться-то. Бабы засудачили:

— Ишь нажрался спозаранку. Оттащить его надо, а то сейчас сам выйдет — рассердится.

— Знамо, оттащить. Задавят, матушки мои, недорого возьмут.

— Мужики, а мужики! Возьмите вот товарища.

А мужики уже сами на взводе, берут Федота, волокут, а у Федота ноги раскорякою.

Все каркуновские — у староверской церкви; есть которые и православные здесь тоже, даже татары-сторожа пришли — стоят кучкою в ограде. Раз у Каркунова работаешь, на покров ходи в староверскую церковь,— закон такой. Химик Карла Карлыч на что уж Лютеру подвержен, а гляди — стоит в обедни, с самого начала.

В ограде говорят вполголоса, не курят (боже сохрани!), и только кое-где украдкой мелькнет полбутылка.

Федота оттащили за боковое крыльцо, положили.

Вот и трезвон грянул, заплясал в звонком воздухе: отошла обедня. Народ повалил из церкви, в ограде все задвигались, двумя стенами стали вдоль дорожки деревянной, что протянулась от церкви до самого крыльца каркуновского белого дома. Вот и сам Мирон Евстигнеич вышел из церкви. На паперти он повернулся к иконе наддверной и три раза поклонился низко-низко, а уже потом, ступив на первую ступеньку, раскланялся с народом:

— С праздником вас.

И вся толпа гулом дружным:

— И вас также, Мирон Евстигнеич!

— С праздником!

Черные картузы, рваные шапки птицами мелькнули над головами, а бабы — в пояс, в пояс, в пояс, точно камыши на болоте под ветром.

За Мироном Евстигнеичем идет супруга его Матрена Герасимовна, не баба, а тулпёга, глядеть на нее — колом не своротишь. Идут они двое — он на шаг на один впереди идет, кланяется направо, налево, картуз в руках держит, а она кубышкой за ним, вперевалку, и тоже румяной улыбкой светит во все стороны. И толпой за ними гости — толстые и тонкие, низкие и высокие, мужчины все в староверских кафтанах, женщины в старомодных шубейках атласных, все в платках белых. Здесь вся знать жгельская — фабрикантики, управители, старшина здесь. Фомины, Еремины, Ревуновы, Сахаровы. Есть и дальние — вон козырем идет щупленький человечек с тощенькой бороденкой, дулевский деляга Лексаша Перегудкин, а рядом с ним Григорь Митрич Храпунов — не человек, столбина каменный. Гостей много, чести много.

Колокола залихватски трезвонят вперебор, словно радуются каркуновскому почету.

От церкви, проводив хозяина, толпа рабочих и работниц идет к фабрике, где в живописной, освобожденной на этот

день от посуды, готов покровский обед от хозяина. Сколько? Тысячи две народа — очередями сотни по четыре — обедают у Каркунова в этот день.

И не обед дорог, не стакан водки дорог,— что обед и водка? — честь дорога: в гостях все были у хозяина, у Мирон Евстигнеича.

За первый стол садятся самые почетные. Мирон Евстигнеич сам приходит пригубить рюмку. Он с шуткой, с прибауткой угощает:

— Пей, ребята, в божью славу, в тук да сало, в буйну голову — вам испить, вам и силушки копить.

— А тебе, Евстигнеич, и силушку и богатство.

— Спасет Христос. Пейте на здоровье.

И пьют, и едят, и славят благодетеля. Выходят после из живописной, лица у всех будто лаком покрыты, и уже издали хозяйским окнам кланяются.

А у хозяина в хоромах просторных пир горой прёт. Уже подрумянились все. Румяные, сдобные купчихи хохотом хохочут. Вот он, Мирон-то Евстигнеич, прямо с ножом к горлу:

— Дарья Тимофеевна! Заморского-то? Настасья Ивановна! Что же ты не пригубила? Покорнейше прошу... У меня чтоб без отказу. Нельзя. Раз в году и выпить не грех... А ты — будет тебе. Э-э, что ты силу-то оставила? Уж пить, так до дна пить. Пейте-кушайте, покорнейше прошу.

— Больше невмоготу, Мирон Евстигнеич! Вдосталь.

— Вдосталь? А пуп трещит?

— Не только трещит — лопнет сейчас...

— А ну, я послушаю, трещит ли.

И ухом лезет слушать под хохот всеобщий да пьяный. Как тут откажешься? Известно, балясник.

А за торфяными кучами, на широкой поляне, уже сходится народ — парни, мужики, мальчишки, на побоище на кулачное. Уже мальчишки ярятся, сучат кулаками, орут звонко: «Давай, давай, давай!» На это побоище — на покровское — сходится народ из десяти ближних деревень. Тулупы, пиджаки, чапаны, рукавицы, сапоги, лапти, бороды, шапки,— столько напёрло, глазом не окинешь. Ребятишки уже схватились. Деревенских больше, но заводские ловчее и бойче — раз! раз! раз! — гляди, деревенские дрогнули, к лесу подрали. «Давай, давай!» Вот выскочил деревенский, чуть побольше — раз! раз! — остановил заводских.

Схватились, заводские драла... Вот и пареньки ввязались. Задорный, дразнящий шум повис в воздухе. Видать, все затомились.

— Эх, схватиться бы.

— Да чаво ж там? Сказать бы надо.

— Где Палач-то? Пошел бы, сказал.

— Чего народ зря томится?

— Эй, Микишка, сходи скажи. Народ ждет.

И все — и деревенские и заводские — кричат:

— Сходи, Микиша!

Микиша, вытулив спину, идет к белому дому — сказать хозяину, что народ ждет его,— без хозяина нет обыка зачинать покровские бои.

А мальчишки да пареньки-заводилы носятся лихо. «Давай, давай, давай!»

Меркнет короткий осенний день, вот-вот тусклое солнышко зацепит за дальний лес,— только тогда выходит Мирон Евстигнеич на поляну. Пьяненькие гости идут с ним — здесь и щупленький Перегудкин, и столбина Храпунов, и два брата Фомины, и Сергей Иваныч Сахаров. А баб нет — непристойно бабам драки смотреть да брань слушать. Каркуновские грудятся вместе. Палач с ними — на целую голову всех выше. Гулом довольным встречают они хозяина. И — чу! — яростнее закричали ребята: «Давай, давай, давай!»

— Что ж, начинать бы надо,— сказал Мирон Евстигнеич, раскланиваясь с толпой.

— Вас ждем, ваше степенство.

— Без вас драка не в драку.

— Э, да ныне деревенских невпрогляд.

— Много пришло.

— Грозят, какую-то закуску для нас привели.

— Какую закуску?

— Не сказывают.

— А ну, посмотрим... Что ж, ребята, валите. Цыганок-то новенький здесь, что ль? А-а, здесь. Ну, что ж, ты и начни. Погляжу я, какой ты в настоящей драке.

Цыганок обеими руками поправил шапку и решительно пошел к дерущимся парням. Каркуновские повалили толпой за ним. Ага, и деревенщина заметила — гляди, задвигались и стеной пошли навстречу Цыганку. «Давай, давай, давай!» Ревут, как быки. И разом — двумя стенками. Мальчишки прочь, парни прочь в стороны. Мелькнула чья-то красная рубаха. Цыганок ястребом — в самую кучу деревенских, над головами мелькнули кулаки, и посыпались удары, только слышно яростное уханье и глухие звуки — бук-бук-бук!.. Мирон Евстигнеич поднялся на кучу торфа, глядит издали, а сам весь ежится, ярится, будто его бьют и он бьет. Вот каркуновские сломили деревенских, и те побежали к лесу. Но вдруг там в посконной рубахе кто-то встал — видать, варом варит каркуновских. Гляди, уже куча лежит. Не выдержали каркуновские — дёру назад.

Отсюда грянули в стенку остальные бойцы, что стояли с хозяином. Гляди, оба брата Фомины тоже грянули. Только Палач еще остался.

Сшиблись, остановили деревенских, вихрем закружились на месте, и за черными пиджаками пропала на момент посконная рубаха. «Давай, давай!» Толпа сжалась, крутится, только кулаки мелькают над головами и пар стоит; вдруг стена сло-

милась, и каркуновские бросились врассыпную... Мирон Евстигнеич в проломе увидел мужика в посконной рубахе — мужик клал каркуновских направо и налево.

Мирон Евстигнеич зубами заскрипел от ярости:

— А-а-а, чей такой? Бейте его! Бей!

А угодливый голос уже гудит ему в ухо:

— Это и есть закуска, которой деревенские хвастались. Это Степка Железный Кулак. Хватовский.

— Бей его! — орет исступленно Мирон Евстигнеич.— Микишка, чего глядишь? Дай ему.

Микишка Палач глянул на хозяина — и по ярости понял: время и ему ввязаться. Он неторопливо снял пиджак и, засучивая рукава, пошел навстречу посконному мужику. И разом кругом замерли. Здесь и там остановились, опустили руки, точно разом у всех погасла ярость. И все только на них — вот Палач идет, вот посконный мужик — Степан Железный Кулак...

— А-а, не выдай, Микишка! — орет Мирон Евстигнеич.

Прямой и твердой поступью грянул Палач на мужика. Вот дошли. Раз... Палач ахнул мужика в плечо. Тот качнулся. Стон пролетел над толпой. Все сгрудились, окружили кругом. Вдруг Степан тяпнул Палача в грудь, и оба сцепились, зарычали яростно. И вот — все видели — как-то наотмашь, с левши Степан ахнул Палача в висок... Палач нелепо взмахнул сжатыми кулаками и, точно пласт, грохнул на мерзлую землю. Каркуновские застонали. Мирон Евстигнеич бросился в круг сам, но уже все в ярости забыли, что надо его пропустить,— круг не разжимался.

— А-а-а! — ревела толпа.

Вдруг рев разом оборвался... И стало тихо. И у всех в испуге разинулись рты. И странное слово мелькнуло:

— Убил!

Круг расступился, и Мирон Евстигнеич увидел: лежит Палач, неловко подвернул под себя ногу, и кровь изо рта у него тянется широкой красной лентой. Деревенские попятились. Посконная рубаха мелькнула среди полушубков и пропала.

## IV

А к утру другого дня уже лежал Никифор Палач в гробу, и медный крест староверский, восьмиконечный, поблескивал поверх его холстинного савана, поблескивал в тех самых руках, что складывались в могучие кулаки, наминавшие бока и деревенским мужикам, и своим же каркуновским, рабочим. Кусок ваты лежал у виска, и синие тени тянулись от виска по всему мертвому лицу. В хибарке набилось баб — не протолчешься, плачут, сморкаются, участливо смотрят на высокую дебелую

бабу с заплаканным покрасневшим лицом, на мальца смотрят, что притулился у окошка возле гроба, жалеют.

— Осталась вдова с малым. Куда пойдет?

— Ну, помогнет хозяин. Любимый слуга был. Как же?

— Гляди, помогнет ли? Хозяин-то урядливый — это правда, да скупой больно...

— Ч-ш-ш... никак, сам идет? Так и есть, сам.

— И-и, зол, бабы. Берегись!

Метнулись туда-сюда, которые к печке, которые в сени, а на крыльце уже топают гулко тяжелые ноги. Вошел Мирон Евстигнеич мрачнее ворона, отбил три поклона поясных перед гробом, подошел ближе, глядит в лицо мертвое. А баба, вдова-то новая, как загалдит, как запричитает:

— А милый ты мой Микишенька! На кого ты меня спокинул? Кто теперь меня поить-кормить будет?

Таким голосом — вот и не слушал бы. Обернулся Мирон Евстигнеич, искоса поглядел на бабу.

— Ну, баба, не горюй. Ничего не сделаешь. На роду написано.

И хвать за карман — рылся, рылся в кошеле, вытащил красную десятирублевку.

— На-ка вот на похороны.

Баба кувырком в ноги. И опять вопить:

— Спокинул на кого, лебедик мой? Убили тебя злодеи злодейские!

Мирон Евстигнеич нахмурился, ушли глазки серые под брови.

— Ну, дура. Про что это ты? Кто убил? Сам убился. Звони больше.

— Да как же мне теперь век жить-тужить?

— Ну, гляди, истужилась в лучинку. Потужишь да забудешь. А это ты выбрось из глупой башки, будто убили.

— Мальчонка вот, куда я с ним денусь?

Метнул косой взгляд Мирон Евстигнеич на Яшку хмурого да зеленого, буркнул:

— После праздников в контору придешь — переговорим. А теперь вот мой приказ — ныне же вечером хорони.

— Да как же это? И трех дней не лежал...

— А, говорить с тобой. Сказано, ныне — значит, надо. Поняла? Да гляди, не больно слова-то распускай: «Убили». Кто убил-то?

Растерялась баба, туда-сюда, а Мирон Евстигнеич одно слово:

— Ныне. Я и работников пришлю. Гляди, баба.

И пошел, громыхая лапищами. И через полчаса наскочили мужики, бабы каркуновские, засновали туда-сюда, враз вынос, в церковь — опомниться никто не успел, уже гроб в церковь тащат, уже отпели,— скоропыхом все. Прощаться сам хозяин опять приходил, и пешком за гробом шел — до кладбища. Пьяным-пьяно было во всей Жгели. Так пьяненькой толпой и шли за гробом. Уже в сумерках зарыли

гроб в землю. Сам Мирон Евстигнеич перекрестился, сел в пролетку и потек куда-то.

— Куда это он? — гадали в толпе.

— Надо быть, к становому, улаживать.

— Становой уже сам был у него. Все улажено.

— Гляди, на хватовску дорогу повернул.

На улицах везде — песни, крики, и опять за торфяными кучами на поляне орут ребятишки: «Давай, давай, давай!» И ежели поминает кто про покойника, поминает восхищенно, но не жалеючи:

— Эх, и жулик был, царство ему небесное!

И еще тишком рассказывали: вчера Мирон-то Евстигнеич всех гостей разогнал.

— Ну,— говорит,— гости дорогие, попили, поели, а теперь домой пожалуйте. Мне не до вас.

И гости турманом от него, хотя приехали по-бывалошному — на три дня.

Через неделю отпраздновали. Опять задымились в Жгели трубы и зашумели горны столбами огненными, опять спозаранку глазасто засветились окна в корпусах, и люди, с прожженными водкой утробами, томились за токарными станками, у горнов, в мяльной, в живописной. И опять за стеклянной перегородкой в углу, в конторе, поглаживая рыжую бороду, сидел сам Мирон Евстигнеич. Сидит, улыбается, довольный. И от хозяйской улыбки довольной будто свет во все стороны. Шепотком говорили:

— Уладил все. И Степку-то Хватовского к себе в кучера нанял — на место Палача.

— Да ну-у?

— Ей-богу. Приезжал сам к нему. «Иди, говорит, ко мне служить, а то засужу».

— А как же? Пойдешь. Кому в каторгу охота?

— Вот. Ждал, чать, тюрьмы, а попал на само перво место.

В сенях конторы маячит Сычиха — Палачева жена — и мальчонка при ней. Хотела с утра идти, как приказал хозяин: «После праздников приходи»,— да бухгалтер отсоветовал:

— Погоди, баба, поглядим, каков он. Ежели зол — и ходить не стоит, а ежели добрый — тогда пойдешь.

Перед обедом объяснилось: добрый.

Бухгалтер Сычихе пальцем кивнул — иди, дескать. Баба вытулила спину, будто от горя, ухватила сына за руку, к стеклянной двери подошла и только через порог — кувырь прямо головой к резной ножке хозяйского письменного стола. Мирон Евстигнеич погладил бороду, сказал:

— Встань. Я не бог, кланяться-то мне. Чего надо?

— Не дай с голоду, батюшка, умереть сиротам.

— Ну, с голоду. Гляди, изголодалась, тумба. Говори толком.

— Вот мальчонку-то возьми, батюшка.

И толкает Яшку вперед. А Яшка сбычился, уперся, нейдет.

— Э-э, мозгляк какой. Куда его суну?

— А ты, батюшка, не смотри, что мозглявый. Умный он у меня, разумный.

— В отца, поди? — насмешливо пробурчал Мирон Евстигнеич.

— Куда в отца. Лучше, батюшка. Он у меня и цифирь произошел.

— А-а, цифирь? Ну, что ж, поглядим.

И темными глазами насмешливо прямо в лицо мальчугану глянул.

— А загадки можешь отгадывать? Ну-ка, угадай: под крыльцом-крыльцом яристым, кубаристым лежит каток некатанный; кто покатает, тот и отгадает.

Яшка вдруг улыбнулся во весь рот:

— Это я знаю. Это книжка.

— Ага. Знаешь. Так. Ну, а вот: один заварил, другой налил — сколь ни хлебай, а на любую артель еще станет.

— Опять книжка.

Темные глаза у Мирона Евстигнеича глянули удивленно.

— Ого, да ты, малый, тямкий. Ну что ж, мать, оставь, поглядим. В контору приспособлю. Только уж очень он у тебя тощой. Плохо кормишь, что ль?

И, не дав время ответить, крикнул:

— Матвеич, подь-ка сюда.

А бухгалтер уже здесь, у двери.

— Куда бы нам этого мальчонку? Гляди, пригодится.

## V

Вразвалочку, неторопко, как купчиха сытая, идет время в Жгели. По зимам поют вьюги над лесами да над полями жгельскими, мечут сугробы. Да где ж? Не затушить горнов бурливых, не загасить труб этих, кадил дьяволовых,— гляди, сколь сажи кругом оседает на белейшем снегу по ближним полям и лесам.

А теперь уж и вовсе: Каркунов новые корпуса воздвиг, трубу-то взгромоздил в сто четыре аршина вышиной — вот самое небо подопрет. Еще растолстел, еще раздобрел — гордится, что каркуновский товар теперь в Персию, в Туркестан пошел, спорит с императорскими фарфорами.

— Мы,— говорит,— его если не качеством, так ценой забьем. Мы,— говорит,— покажем ему. Мы, Жгель, дело старое, мы при царе Алексее Михайловиче еще муравлену посуду делали. У нас,— говорит,— опыт. А эти что же? Глину везут с Урала, топливо — с Дону, рабочим — втридорога. А у нас

все под рукой. И до́ма и замужем. Не-ет, где же. По происшествии времени мы развернемся, а он сгаснет.

И правда, развертывался все шире и шире. Контора теперь — одной конторы сорок семь человек. И Яшка Сычев первый деляга в новой конторе. Ежели Мирону Евстигнеичу ехать куда по делу и подручного верткого взять, он берет Яшку. Слушок ходит: не нахвалится хозяин Яшкой.

— Отец хороший слуга хозяину был, а сын еще лучше.

Гляди, пошутит иной раз Мирон Евстигнеич:

— Жил-был человек Яшка, на нем была серая сермяжка, на затылке пряжка, хороша ли моя сказка?

Где это видно, чтобы такой урядливый хозяин со слугой пошутил? Как надо, по-доброму? Строгость нужна, спрос нужен, а не шутка.

Яшка в пиджаке сером, рубашка с отложным воротом, и галстук веревкою с помпонами на концах. Причесан Яшка с пробором, кудерьки над висками. И все-то знает Яшка, во все вникает.

— В кого ты, Яшка? Отец-то у тебя дурковатый был.

— Не могу знать, Мирон Евстигнеич. Считаюсь Сычевым — значит, отцовский сын.

— Уж больно ты совчивый, во все дыры нос суешь.

— По делу, Мирон Евстигнеич. Дело развязки требует.

И хоть поворчит иной раз Мирон Евстигнеич, а поручение какое — кого? — Яшку.

И уже величают все Яшку по имени-изотчеству.

— Яков Никифорыч, как жив-здоров?

А Яшке и восемнадцати еще нет.

Будто баламутнее стал Мирон Евстигнеич. От богачества ли? От почета ли? И будто никого на земле выше его. Что захочет — вынь да положь. Как прежде, любит кулачные бои. Угостить любит, и гости теперь к нему в показанные дни трубой валят. Но года, надо быть, свое берут: засеребрилась бородища у него, поредела грива на маковке, и — к старости, что ли? — попов полюбил Мирон Евстигнеич. В церкви завел хор уставный; по солям, крюкам поют, вроде как на Рогожском. Старинку скупает — иконы, книги — и частенько в белом дому под окнами над книгой сидит, что в толстом кожаном переплете.

И к службам подвержен стал — ходит строго, и уже все знают: коли хочешь угодить хозяину — ходи к самому началу, молись истово.

А Жгель была прежняя: и чад над полями, и пьянство в лачугах, и драки по зимам, и нищета кругом нищенская. Что ж, это спокон веков ведется — кто изменит?

Только новые корпуса прибавились, новые горны, и тонкой полоской прохлыстнулась через леса узкоколейка с маленькими тонко посвистывающими паровозами. С гордостью говорили жгеляне, что к Каркунову новые машины поставили. Да, ма-

шины новые, но пьянство, нищета — все было старое, испокон веков ведущееся.

Лишь раз случилось чудо, и об этом чуде говорили жгеляне целый год. У Семен Семеныча — конторщика, большого плута — однажды ночью горючими слезами заплакала икона Казанской пресвятой богородицы. Жил Семен Семеныч в дальнем краю во Жгели,— домик маленький, ветхий, от папаши достался.

Набежали соседи, узнав про чудо. В самом деле, плачет. Крупные слезы натекают под глазами и потом вниз — на ризу пречистую... Чистым платочком собирал Семен Семеныч слезы.

— Гляди, православные, как плачет пречистая.

И весть вихрем по всей Жгели. У двора Семен Семеныча чернели толпы. Бабы плотными стенами. Уж к вечеру и духовенство запело в тесных комнатах. Целую ночь народ со свечами в руках стоял перед Семен Семенычевой избой,— молебен за молебном... А к утру попер народ и из окрестных деревень. Мирон Евстигнеич приказал привести к себе Семен Семеныча.

— Что это у тебя?

— Пречистая заплакала.

— Гм... Да это как же?

— Мне еще бабушка говорила: как несчастье какое, так пречистая плачет загодя. И прежде, случалось, плакала. Как умереть отцу — плакала.

Мирон Евстигнеич пристально посмотрел на Семен Семеныча и спросил тихонько:

— А ты... Семка, не врешь?

У Семен Семеныча глаза округлели в испуге.

— Что вы, что вы, Мирон Евстигнеич? Да разве я дозволю? Чудо налицо-с.

И днем Мирон Евстигнеич сам припожаловал, чтобы на чудо поглядеть.

Толпы народа стояли на улице перед избой, стояли на дороге. Слышно было в раскрытые окна, как попы густо пели молитвы в избе. Мужчины сняли шапки, когда Мирон Евстигнеич пробирался через толпу. Женщины отмахивали поклоны в пояс. И в толпе шушукались:

— Сам, сам идет.

В избе народу невпроворот, но Мирон Евстигнеича пропустили к самому переднему углу. Там на иконнике — древняя, почерневшая, уставного письма икона. Да, плачет. Семен Семеныч на платочке чистеньком и слезу подал Мирон Евстигнеичу, только что снял вот, на глазах,— так масляным пятном и расплылась слеза по платку. К самому лицу поднес Мирон Евстигнеич платочек, и пахнуло на него маслом деревянным. Что же, запах благочестивый,— значит, все правильно. И приказал Мирон Евстигнеич отслужить молебен. К вечеру этого

дня уже во всей Жгели остановились работы. Тысячная толпа запрудила улицу возле Семен Семенычева дома. Снопами горели свечи перед иконой.

Умильный и встревоженный вернулся перед полночью к себе в белый дом Мирон Евстигнеич.

— Перед несчастьем плачет. Слышь, мать? Как бы не случилось чего.

А Матрена Герасимовна только стонет.

— Знамо, жди несчастья. Ох, бога забыли. Забыли бога!

Ходит Мирон Евстигнеич по залам, женины вздохи слушает, раздумывает: по какому случаю икона плачет? И как теперь быть с народом? После обеда бабы и на работу не вышли: вроде праздник по всей Жгели устроили.

— А там вас Яков спрашивает.

Это горничная. Удивился Мирон Евстигнеич.

— Чего ему надо? Зови-ка.

Вошел Яшка, с приплясом будто, в глазах бесята бегают. Увидел его улыбку Мирон Евстигнеич, нахмурился.

— Что так поздно?

— К вашей милости. По секрету.

— Ну?

Яшка покосился на Матрену Герасимовну. Хозяин понял.

— Иди сюда.

И увел к себе в кабинет.

— Я насчет чуда этого,— заговорил Яшка.

— Ну?

Яшка улыбнулся хитро и сказал громким шепотом:

— Мошенство это — и более ничего.

У Мирон Евстигнеича глаза по колесу стали. И рот открылся — глянул черным пятном из-под усов.

— Что-о-о-о?

— Так точно, мошенство. Гляжу давеча, а у иконы глазки пропилены... я будто прикладываться — и пощупал. Маслица в ямки наливает Семен Семеныч. В рассуждении того, что в народе волнение может быть, когда объявится, я и пришел вам сказать.

Мирон Евстигнеич стал краснее моркови. И поспешно оделся.

— Идем.

А там — все та же толпа. Правда, чуть меньше. Кое-кто и спать легли здесь. Мирон Евстигнеич в дом. Старушки какие-то по углам сидят, черные, вздыхают. Увидали хозяина, поднялись, всполошились.

— Ну-ка, старые, уйдите на минуту.

Те со вздохом поплелись в сени. А Яшка цап рукой за чудотворную. Семен Семеныч вскипел:

— Ты что, дурак?

— Нисколько я не дурак. Вот глядите, Мирон Евстигнеич,

вот дырочки прорезаны, а отсюда вот маслице Семен Семеныч пускает.

И правда, на обратной стороне иконы вырезаны ямки вроде рюмочек, и в них маслице. Мирон Евстигнеич побагровел.

Кулаком из-под низу прямо в толстый подбородок долбанул он Семен Семеныча. У того аж все лицо перекосилось и из горла вскрик вырвался: «Хеп!» Семен Семеныч кубарем в ноги.

— Простите! Согрешил!

И злым шепотом зашипел Мирон Евстигнеич:

— А-а... Что ж теперь делать? Делать-то что, негодяй ты этакий? Обманул. Всех обманул.

— Я... я все обдумал. Не беспокойтесь... Простите. Я... вознесется на небо...

Толстый Семен Семеныч ужом вился, бормотал, будто в бреду, и кровь из разбитых зубов мазала его подбородок.

— Что ты говоришь? Кто на небо?

— Икона-с... Народу можно сказать, икона вознеслась на небо.

Яшка прыснул в смехе. Мирон Евстигнеич посмотрел на него искоса, а Яшка сказал лукаво:

— Верно-с, самый лучший способ. Скажем, что вознеслась на небо.

Мирон Евстигнеич пальцем в икону:

— Яшка, бери.

Яшка ухватил с лавки тряпку и снял икону. Повернул ее вверх тормашками и насмешливо сказал:

— Эк, масла-то сколько. Куда вылить?

И вылил в цветочный горшок, что сиротливо на окне притулился. Семен Семеныч стоял виновато. И на губах улыбка. Мирон Евстигнеич загремел сапогами.

— Ну, хахаль, ты тут вывертывайся. Да смотри. Потом я поговорю с тобой. Пойдем, Яшка.

Яшка спрятал икону под пиджак, и оба вышли.

Благополучно прошли сквозь благоговейную толпу, пошли в темь. Яшка спросил:

— Куда ее теперь?

— На чердаке зароешь у меня.

— Хи-хи-хи. На небо вознеслась.

Вдруг Мирон Евстигнеич схватил Яшку за плечо.

— Посмейся, богохульник. Пикнешь еще — пальцем пришибу. Понял? Мерзавцы. Ты тоже такой, я знаю. Ты на все руки. А-а, что придумал, подлец.

Наутро во всей Жгели переполох по случаю нового чуда: икона вознеслась на небо. Все только и говорили об этом. Ночью, когда все спали, она вознеслась.

А еще через неделю, когда все улеглось, Мирон Евстигнеич с глазу на глаз поговорил с Яшкой:

— Ты мне скажи, как догадался?

Яшка засмеялся.

— Очень уж человек Семен Семеныч неблагочестивый. У таких чудес не бывает. Что, думаю, такое? Пошел. Смотрю — льется масло. Ну, я туда-сюда. А под кроватью у Семен Семеныча целая четверть с маслом стоит. Я опять к иконе. И догадался.

— Ай да голова!

И после, уже без Яшки, другим этак ворчливо, а вместе и гордо:

— Умен, собака!

## VI

Что же, слезы эти, для кого они фальшивы? Для Яшки-хитреца. Для Мирон Евстигнеича. Во Жгели они только и знали тайну чуда этого, потому что месяц спустя Мирон Евстигнеич услал Семен Семеныча в Москву на службу, в амбар, а там приказал прогнать вон. Был слух — запил Семен Семеныч, сбился с панталыку. А Жгель верила вся: чудо было, богородица плакала и, поплакав, вознеслась на небо. А плакала она перед несчастием.

И что же сказать? Ранней весной было чудо, а в переломе лета грянула весть: война.

И сразу все в крутяге закрутилось.

Под бабий вой — пронзительный и трепетный — пошли сперва запасные со Жгели, а неделю спустя пошли ратники, и во сне не видавшие, что когда-нибудь им придется войну узнать. Мирон Евстигнеич первые дни «ура» кричал, на прощанье целовался с солдатами, но уже через месяц-другой увидал, что мобилизации хлещут по делу железными кнутами. Хоть оно там и три четверти баб на заводе, а для войны баба только помеха, но эту четверть, самую-то нужную,— вот ее, гляди, живо в отделку отделали.

Степан Железный Кулак в первые же дни ушел. Из конторы — человек десять, и бухгалтера Митрь Иваныча тоже взяли — оказался каким-то чином военным.

— Ой, Яшка, гляди, как бы тебя еще не взяли,— пожалел однажды Мирон Евстигнеич Яшку.

— И возьмут, Мирон Евстигнеич, я уже приготовился. Хоть и один я был у мамаши, а ежели так дело дальше, возьмут.

— А не хочется идти?

— Кому хочется, Мирон Евстигнеич? Глядите, сколько народу пошло, а кто без слез?

Поглаживает бороду Мирон Евстигнеич, хмурый да напористый, сказал сурово:

— Ох, не зря ли войну затеяли?

— Пожалуй, что зря, Мирон Евстигнеич. Жили тихо, мирно.

Мирон Евстигнеич косо посмотрел на Яшку, проворчал:

— Вот нас с тобой не спросили, начинать или нет...

К зиме уже дело объяснилось: все на заводе затрещало и закланялось. Главное, товар остановился. Какая уж там Персия, ежели до нашего Кавказа стало труднее трудного добраться?

С двенадцати горнов перешли на четыре, а к лету другого года еще два горна потушили и бросили. Этим летом и Яшку Сычева взяли на войну. Прощаясь с ним на стеклянной террасе, где в это утро пили чай, расцеловался Мирон Евстигнеич, прослезился даже.

— За сына родного мне был ты. Смотри, вертайся скорее. Я знаю, ты к каждой бочке гвоздь, везде притулишься. Ну, только наше дело не бросай. Ты здесь мастак.

— Вернусь, Мирон Евстигнеич. Как не вернуться?

И пошел к заводу. Поглядел ему вслед Мирон Евстигнеич — у Яшки новые сапоги поблескивают. Идет паренек и не гнется.

— Вот бы мне сына такого!

Что же, новый народ — приучай да посматривай. До всего свой глаз нужен. Сколько раз было: потушат горн не вовремя, вся посуда и погибла. Какие теперь обжигалы? По прежним временам гнать бы в шею, а теперь молчи, терпи и делай, что выйдет.

Одно только и было утешение Мирону Евстигнеичу: на товарец накинуть копейку, другую. Накинешь, оно и не так гребтится. Да еще, пожалуй: послушать за всенощной и обедней старинное крюковое пенье. Гости — реже стали. Жгельские купцы и фабриканты — те, что помоложе, под метлу захвачены войной. Двое Фоминых служат стрелочниками на железной дороге, кого-то улестили. Еремин у воинского начальника в писарях. Воинский сам ездит иногда в Жгель на ереминских тройках в гости. Не делом заняты люди. И Мирон Евстигнеич без причала, в томительном ожидании жил эти годы. А драки... Что же драки? Только ребята теперь не дерутся. Как вечер, слышь с поляны крик: «Давай, давай. Бей немца!» Задорный крик, да неуместно именитому миллионеру на ребят дерущихся глядеть. А взрослые — только старики остались да калеки...

Дела во всей Жгели каждый месяц — на убыль. Сколько труб уже стоят, точно мертвые пальцы показывают в небо — теперь уже ясное, незакопченное. И безлюдье наметилось. Уж не свистели тонко паровозики на жгельской дороге — тоже ушли на войну и рельсы с собой захватили. И самая насыпь, где они ходили, стала зарастать бурьяном. Тогда уже настоящая тревога пришла и к Мирону Евстигнеичу.

— Что ж это будет? Когда кончится? — допрашивал он попа староверского.

А поп — весь лохматый, волосом по самые глаза зарос — бубнит:

— За грехи. Гляди, за грехи. Кому теперь хорошо?

И шепотом этак:

— Предают нас немцам. Царица-то... был я намедни в городе... Царица-то немка ведь...

А в марте — ровно гром:

— Царя-то сверзли.

Матрена Герасимовна прямо в постель слегла.

— Последние времена, ежели до царя добрались.

Мирон Евстигнеич ходил хмурый.

— Что-нибудь не так, мать. Ежели сами господа-дворяне да князья помогали свергать — значит, дело с царем совсем было швах. Что-нибудь не так.

И вся весна, все лето прошли в томленьях, в неизвестности. Откуда-то пришел приказ: устроить на заводе комитет. За дело взялся было конторщик Похлебкин, забегал, засуетился, но доложили Мирон Евстигнеичу. Мирон Евстигнеич позвал Похлебкина, расспросил, как и в чем, и узнав, что комитет нужен для помощи в управлении фабрикой и для защиты интересов рабочих, сказал Похлебкину раздельно и просто:

— Я тебе такой комитет дам, до новых веников не забудешь!

И комитет завял. Возмущаясь, Мирон Евстигнеич недели две потом рассказывал знакомым фабрикантам, бухгалтерам:

— А, каков прохвост! Управлять заводом. Моим-то заводом. Да что я, или не хозяин в своем деле?

Служащие угодливо подхихикивали, осмеивали Похлебкина.

— Чего вы его не прогоните?

— По отцу только и держу. А ежели бы не отец, я бы ему...

Но к концу лета с фронта поперли в Жгель солдаты. Крикливые, резкие, требовательные, с пьяными страшными глазами. Приходили в контору, развязные, требовали, чтобы их приняли на старые места. Им говорил бухгалтер:

— Местов нет.

Они шумели, грозили. И раз, когда на шум вышел сам Мирон Евстигнеич, низенький солдатишка, бывший точильщик, закричал:

— Сплататоры! Мы вам теперь покажем. Сами от жиру беситесь, а нам местов нет? Вот мы поглядим.

От злости у Мирон Евстигнеича запрыгала борода. Он рявкнул:

— Вон, вон отсюда. Гоните их в три шеи!

Тут зашумели, загалдели все — и даже смирные, просившие покорно «работки». И так в первый раз от века веков стояли они — Мирон Евстигнеич и его бывшие рабочие, стояли лицом к лицу, злые и упрямые. А конторщики и сам бухгалтер Матвеич — правая рука Каркунова — заметались по конторе и вышли во двор, будто бы позвать рабочих, а больше так, «от греха». Мирон Евстигнеич яростно плюнул и первый вышел из конторы, и все видели: он качался, спускаясь с крыльца.

Он заскакал, заметался, созвал заводчиков, и в его белом доме в этот вечер было сборище и речи:

— Али не мы создавали наши заводы? Али мы теперь не хозяева? С ножом к нашему горлу? Не-ет!

Но чувствовал он: его слушают напуганные люди.

— Не дай бог, что делается на железной дороге,— сказал Фомин,— меня чуть было не убили. Ты, говорят, фабрикант, а сам в стрелочники? Беда!

— Претерпеть надо,— посоветовал толстый Еремин,— помолчать, пережить.

— Ага, терпеть? Это при своем-то добре терпеть?— закричал Каркунов.— Так-так. Нет, вижу, с вами каши не сваришь. В случае, ежели что, закрою завод, и никаких. Издыхайте, собаки. Я... им... пок-кажу!..

Но дни, недели несли новое в Жгель. Больше народа с фронта, больше криков, требований; Мирон Евстигнеич съездил в город, пробыл с неделю, а вернулся мрачнее мрачного и уже не ходил в контору. Все распоряжения через Матвеича. Будто хотел спрятаться в белом доме от жизни непонятной и непокойной.

А осенью поздней, этак уже заморозки ударили и снег падал, из уездного города, из Караванска, приехал отряд целый — на тройках, с винтовками — и прямо к Мирон Евстигнеичу.

— На тебя наложена контрибуция. Подавай полмиллиона.

— А-а-а...

Мирон Евстигнеича сразу схватила трясь. Не денег было жалко. Что там деньги? А вот это бессилие страшнее страшного. По прежним временам крикнул бы:

— А ну, Степка, Микишка, поправьте-ка этим колпаки-то!

И все бы сразу стало ясно.

А теперь: ходят в шапках по всем комнатам, курят, цыркают сквозь зубы на пол, ворошат в комодах, в шкафах. Даже в погреб лазали.

— Тут, гражданин, тысяч на триста, не больше. А ты должен уплатить полмиллиона.

Это начальник-то их — этакий молодой, а лицо зеленое — не иначе из арестантов.

— А где я вам возьму? Мои деньги в банке. Идите да получайте.

— В банке мы без тебя получим. А вот ты здесь еще уплати.

Око за око, зуб за зуб, и этот, испитой-то, и говорит:

— Что же, поедешь с нами в город, там в тюрьме посидишь.

И в самом деле, после обыска вывели перед светом Мирон Евстигнеича из белого дома, посадили в сани, и:

— Прощай, Жгель!

## VII

Этак года через полтора, перед весной, когда в Жгели не только волки, а и люди воем выли от голода, пришел в Жгель старичишка в рваном полушубке, в подшитых валенках, шапчонка рысья, облезлая, с ушами. На седой, всклокоченной бороде у старичишки сосульки замерзли.

И прямо старичишка к каркуновскому белому дому. У дома над белым крыльцом озябший красный флаг висел уныло, и сосновые ветви, прибитые к резным столбикам; по дорожке прямо в снегу натыканы молодые сосенки. Но видать по молодому нападавшему снегу: давно в доме не было никого. И правда, поднялся старик на крыльцо, а на парадной двери большущий замок висит вроде жука черного. Старик неторопливо обошел дом, заглядывая в окна. От кухни навстречу ему выбежала черная собачонка, залаяла. В окне кухни мелькнуло молодое лицо, и только к двери старик — из двери навстречу вышел, ковыляя на костыле, малый в солдатской шинели. Присмотрелся старик — у малого нет левой ноги.

— Тебе кого, дед?

— Да что в доме-то, не живут теперь?

— Не живут. Теперь здесь клуб.

— Кроме тебя, значит, никого?

— Никого. А что? Ты ищешь, что ли, кого?

Старик не ответил. Опустил голову, подумал.

— Та-ак. Значит, никого?

И повернулся, пошел прочь, вниз, к фабрике, занесенной по окна снегом, молчаливой. Фабричные трубы мертво торчали в небо, и на них прилип снег. Сугробы снега лежали у запертых дверей. Маленькая тропка вилась между корпусами. Старик, поскрипывая валенками, пошел по тропке. На крыльце конторы сидел кто-то, закутанный в овчинный нагольный тулуп. Старик подошел к крыльцу, к тулупу. Из тулупа высунулось лицо. Старик присмотрелся и спросил:

— Это ты, Степан?

Тулуп торопливо дернулся, и рукава задвигались быстро, отвернули воротник. Степаново лицо — все такое же рябое, нисколько не постаревшее — глянуло на старика. Вдруг Степан торопливо поднялся.

— Ми... Мирон Евстигнеич!

И оба — старик и Степан — минуту растерянно смотрели один на другого.

— Узнал? Вот и хорошо,— проговорил старик.— В караульщиках служишь? Ну, а мои-то где же? Где Матрена Герасимовна?

И от волнения лицо у старика помертвело, стало желтое, вот упади он сейчас мертвым, ни одна бы черта не изменилась.

— Где Матрена Герасимовна?

Степан смущенно ответил:

— Умерли. Восемь месяцев, как умерли.

Старик опустил голову, смотрел на свои подшитые валенки, похожие на слоновые ноги.

— Завод отобрали. Их выселили. Имущество взяли. Как же? Бедствовали они, беда как. У отца Павла и померли.

Старик стоял внизу, у первой ступени крыльца, молчал, смотрел на свои валенки. А Степан с крыльца, сверху, говорил:

— На заводе новые хозяева. Комитет. Как же. Николай Похлебкин за главного.

Степан замолчал. Старик все стоял, опустив голову. Потом точно проснулся.

— Так у отца Павла?

Он глянул на Степана. Лицо у него было теперь новое, горячее какое-то, а скулы краснели — и это было страшно: красное лицо в седой бороде. Он повернулся и, сутулясь, пошел прочь, и лез прямо через сугробы, когда вот тропка рядом.

А к вечеру по всей Жгели молнией пронеслась весть:

— Мирон Евстигнеич приехал.

И никто не хотел верить Степану, что Мирон Евстигнеич пришел, а не приехал, пришел вот так, пешком, в подшитых валенках. Вечером к дому отца Павла сходились люди, заглядывали в темные окна, чего-то ждали. Бабы стояли кучками, говорили вполголоса. Сумерки были синие, и по бирюзовому небу плыла, как золотой тонкий кораблик, молодая луна. Луна плыла низко и, казалось, задевала за мертвые мрачные трубы, за длинные крыши, занесенные снегом. И черные люди на белом снегу казались маленькими, покинутыми.

— Може, теперь опять завод пустит.

— Где же пустит, ежели теперь он не хозяин?

— Слышь, и ничего-то нет у него. Валенки-то подшиты за́губу. Где это видано, чтобы Мирон Евстигнеич в таких валенках ходил?

— Ну, раз приехал, что-нибудь да будет. Это неспроста.

И Жгель — вся — напряженно ждала, что будет теперь. И за каждым его шагом следила.

— Мирон Евстигнеич панифидку по своей старухе отслужил.

— И-и, постарел. Прямо, можно сказать, хизнул. Борода, бывало, расчесана волосок к волоску, как воротник бобровый, а ныне вроде свалялась.

— Мирон Евстигнеич ходил в контору, а Похлебкин ему сказал: «Если ты, гражданин Каркунов, еще раз придешь, я тебя арестую».

— Мирон Евстигнеич у Панкратьева в гостях был, говорил, что теперь только об душе думает, а не об заводе.

— Мирон Евстигнеич...

И опять тревога капля за каплей упала в душу каждую:

— Как же теперь? Кто же дело пустит? Говорили эти: «Возьмем, пустим». И не пустили. И этот старый-то деймон: «об душе думаю». А нам как же — помирать?

Поселился Мирон Евстигнеич у отца Павла. Ходил с ним в церковь. Или на базар. Или по лесным дорогам ходил один — идет иной раз, старый и мрачный, как изгнанная и неприкаянная совесть.

А Жгель... В Жгели тишь, как на кладбище. Ни одна труба не дымит. Ни один горн не горит. Кому нужна посуда? Ежели есть-то у многих нечего?

Пожалуй, только Похлебкин и храбрился.

— Вот войну с буржуями кончим, тогда и за фабрики примемся.

И Мирон Евстигнеичу про это говорили угодливые люди:

— Собираются пустить.

Мирон Евстигнеич на это мрачно:

— Гляди, пустят. Где же? Не пустят никогда. Чтоб работать, надо любить дело. Бывало, ставишь амбар новый аль стену какую — сердцем вот как болишь, будто о дите родном. А здесь — кому это надобно об деле сердцем болеть? Дело-то не в войне буржуйской. А между прочим, поглядим.

И словно шипенье чье — вопросы:

— Когда же обрат-то пойдет? Когда к вам-то дело вернется?

— А вы подите у Похлебкина узнайте.

И пальцем к конторе. А голоса угодливо, раболепно:

— Что нам Похлебкин? Пустое помело. Два года только обещают. А нам-то надо жрать аль нет?

— А вы бы в клуб сходили. Хе-хе. Там бы музыку послушали.

— Музыка. Вот у нас где музыка,— и ладонью себя по животу.

И Мирон Евстигнеич, шаркая подшитыми, разбитыми валенками, пойдет прочь. Борода седая задвигается от улыбки от радостной. У баб и мужиков лица покривеют от злобы.

— Тоже идол хороший. И говорить не хочет.

— Идол не идол, а все же бывало-то, как суббота, так иди и получай. А теперь...

Говорят шелестящими, злыми голосами: вспоминают, как бывало-то... на полтину-то... можно было купить целые полпуда ржаной муки.

— Полпуда! А теперь за полпуда целый месяц служи и то не получишь.

Мирон Евстигнеич ходил по Жгели — высокий, со всклокоченной бородой, в черном длинном потертом кафтане староверском, низко надвинув картуз на лоб. А глаза — точно угли, раздуваемые ветром.

Порой возле него останавливались бабы, мужики — теперь уже независимые,— слушали. А Мирон Евстигнеич только скажет:

— Разве я бы допустил, чтобы мои рабочие так бедствовали?

И пойдет — черный, высокий, как столб, только седая борода болтается по ветру.

Зима надвинулась страшнее страшного. Запели вьюги, занесли Жгель по самые крыши, закрыли все дыры-прорехи, все стало белым, мягким — только мертво торчали мертвые трубы. А дым, копоть бывалые где? Только из труб избяных тощенькие дымочки ленивые.

Мирон Евстигнеич все ходил и ходил мрачный между корпусами. Подходил к белому дому своему старому. Облетели сосенки, сник и разорвался флаг над парадным крыльцом, так и висит разорванный в ленты. Кто-то высадил все стекла на террасе. В этом году клуб не открывался, даже хромой инвалид исчез куда-то. В конторе заводской три человека — в шубах, валенках и шапках — сидели часа два в день перед толстыми книгами, говорили между собой лениво. А за корпусами — из штабелей — жгеляне безоглядно тащили доски, дрова, торф. Забирались через разбитые окна и в самые корпуса — тащили гайки, ремни.

Вечерами, в определенный час, в тулупе нагольном выходил Степан на тропку и медленно брел вокруг корпусов. По ночам никто не ходил воровать, потому что жгеляне боялись Степановых крепких кулаков. Воровали только днем, открыто. А днем Степан спал.

Как-то февральской очень лунной ночью Степан услыхал: за лесом звонит колокольчик. Степан остановился, сдвинул с уха шапку, чтобы не мешала слушать. Колокольчик ближе, ближе, и из леса выехала по дороге черная лошадь с черным возом. Лошадь подъехала к заводскому крыльцу. Степан строго спросил:

— Кто едет?

С облучка слез ямщик, весь заиндевевший, сказал:

— Сторож, что ли, ты? Начальника вам привез нового. Принимай.

И, обернувшись к саням, сказал:

— Ну, Яков Микифорыч, вылезай.

В возу зашевелилось, и кто-то, закутанный в тулуп, вылез, отвернул ворот, сказал:

— Э-э, все мертво. Что ж свету-то нигде нет?

Степан хмуро:

— У нас, поди, два года света нет.

Человек, закутанный в тулуп, стуча тяжелыми сапогами, поднялся на крыльцо. Скрипнул дверью, отворяя.

— Что, заперто здесь?

— Не заперто. Заходи. Да оно все одно, что здесь, что там — одинакова сласть — волков морозить. Не топят у нас.

И, понизив голос, Степан сказал:

— Поди-ка попляши в сапогах-то.

И засмеялся. Ямщик сказал, тоже смеясь:

— Он и дорогой-то ежился. Все спрашивал, скоро ли доедем?

— А чей такой?

— А пес его... Меня по наряду из Синюшкина взял. Ваш чей-то. Сычевым прозывают, Яков Микифорыч.

Степан встрепенулся.

— Яков Сычев?!

И побежал в дверь.

Через полчаса — на кухне в белом доме топилась плита, а возле нее сидел Яков Сычев и, положив ноги на дверку духовки, грелся, расспрашивал.

Степан неуклюже говорил:

— Умерли. Ушли. Убежали. Только губахтер здесь. И Мирон Евстигнеич.

И подивился Степан: приехал ночью, в мерзлых сапогах, чудной такой... а говорит: «Поставлю завод».

Зашумела, загудела Жгель, когда утром прошла весть из избы в избу:

— Рабочих собирают на завод.

Приходили к конторе толпами. Правда, на дверях записка: «С первого числа будет производиться запись».

А глянешь в окна — там и бухгалтер Матвеич на месте, и два конторщика, и сам Яков Сычев, тот прежний Яшка. Только не такой верткий, и собачьи морщины по сторонам рта, и стрижен по-солдатски.

— Ай да Яков, в тузы полез!

— Это и раньше было видать — до хороших делов дотянется.

Стояли долго, переглядывались удивленно. Хотели зайти в контору спросить, правда ли пойдет завод, но, помня строгие каркуновские времена, стеснялись, посылали один другого. Но Сычев сам вышел. С крыльца заговорил:

— Поставим. Поведем. Спасем...

И после, когда расходились, видели: к конторе шел и сам Каркунов.

Что было в конторе — бухгалтер и конторщики рассказали своим женам, а жены соседкам, и вся Жгель узнала:

— Пришел — и прямо к Сычеву. «Здравствуй, Яков!» — «Здравствуйте, Мирон Евстигнеич. Очень рад, что вы пришли. Хотел к вам пойти. Спецы на заводе нам нужны. Не поможете ли нам в деле?» — «Это как же надо понимать?» — «Завод в ход пускаем. Помогайте. Теперь все заводы в Республике решено пустить». Аж сел Мирон Евстигнеич. «Это я, говорит, хозяин истинный, да пошел помогать вам? Никогда». А Яков ему: «Не хотите помогать — скатертью дорога».

К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знакомый басовитый гудок. Лентой —не очень плотной, не как бывало,— пошел народ к заводу. Дня через два, вечером, над крышами здания загорелся и зашумел белый ровный огненный столб. Два с половиной года таких столбов Жгель не видала...

А через месяц, в воскресенье, в ограде староверской церкви хоронили Мирон Евстигнеича. Небольшая толпа собралась у могилы.

Отец Павел и начетчики пели уныло. Старики в черных кафтанах поставили гроб на веревки и стали спускать в могилу. Толпа усиленно закрестилась.

— Готово?

— Готово. Стоит. Вынай веревки.

Слышно было, как зашуршали веревки о гроб.

— Вечная память. Вечная память.

Отец Павел нагнулся, поднял горсть свежевырытой земли и бросил в могилу. Еще нагнулся и опять бросил. И еще. Тогда вся толпа, толкаясь, заспешила, бросая землю горстями в могилу.

Потом заработали лопаты, и комья стали падать на гроб, гулко стукая.

— А-а, человек-то какой был...

— Ждал, ждал, что вернут,— не дождался. Как пустили завод, так сразу и сломился.

— Заговариваться стал. Ходит один и вот говорит, вот говорит, будто спорит с кем.

— Не по нутру было.

— Знамо, не по нутру. Ты гляди, какой властный был, а тут, гляди, в ничтожность какую произошел. Кому не доведись.

— И поминок-то не будет, говорят.

— Какие поминки?

— Жил, жил и умер...

— И-хи-хи, жисть наша...

— Гляди, молодые-то никто не пришел. Старые только...

— Куды молодым? Все вон в мяч побежали играть. А которые на огороды.

— И никому невдомек, что хозяин помер. Вот народ пошел!

*1925*

## ЦВЕТЕТ ОСОКОРЬ

### I

Вода в этом году поднялась так высоко, что стан пришлось перенести на Гремучую гриву — в полуверсте от сторожки лугового стражника Власа.

Когда выгрузили из лодок сети, переметы, вентеря, верши и все рыбацкое имущество, сварили кашицу и на самом высоком месте гривы под раскидистым, изуродованным ветрами осокорем уселись завтракать, старик Кондрат сказал:

— Четвертый раз в своей жизни станую на этом месте. Гляди, сокорь-то совсем захирел, словно лысый старик стал. А на моей памяте́ — молодой он был, как вот... как вот наш Костя.

Все — и сам Костя — засмеялись. Иван заспорил:

— Ну, папаша, в двадцать два года сокорь совсем еще как кустик.

— Где же кустик? В двадцать два года он уже в самом соку — десятый цвет дает. Гляди, сколько, по-твоему, вон тому сокорю годов?— Кондрат ложкой показал на молодой осокорь, стоявший в воде, где были привязаны лодки.

— Ну, сколько, ну, лет сорок, не менее.

— А я говорю — и двадцати годов не будет. Ты вспомни-ка, в восьмом году, в самую высокую воду, мы здесь же становали. Был он или нет?

Иван нахмурился, вспоминая.

— Ведь верно, пожалуй. Его не было. А ежели был — такой маленький, что я не помню.

— То-то, брат, и оно. А ныне вон погляди, как цветет. Пожалуй, первый вам скажет, когда косяки искать.

— Что ж, раз он ровесник Косте — значит, Костя и косяк найдет.

Посмеиваясь и балагуря, они разбрелись по гриве. Сам Кондрат начал расчищать место под осокорями, где поставить шалаш. Все другие принялись рубить ракитник. Костя принес большую охапку зеленых веток. Кондрат сказал ему:

— Ты бы поглядел, нет ли змей здесь. Наползли, чай, из лугов-то.

Костя выломил от старого осокоря прямую недлинную палку и полез с ней в самую чащугу, осторожно раздвигая ветви и поднимая с земли прошлогоднюю, высохшую траву.

За кустами на воде раздался грубый голос:

— Эй, кто там дерево рубит?

Костя оглянулся на Кондрата, Кондрат криво усмехнулся.

— Не ходи, Костя, искать змея в кусты: вот он сам плывет сюда.

— Вам говорю аль нет? Чего молчите?— опять закричал голос.

— Это ты, Влас?— откликнулся Кондрат.— Подъезжай с этой стороны — увидишь, кто рубит.

За кустами застучали весла, и на зеленой воде замаячила черная просмоленная лодка. Костя нырнул в кусты. Кондрат пошел навстречу лодке. В лодке сидел чернобородый мужик в картузе с бляхой. Он ловко повернул лодку, причалил к берегу, закричал:

— Ага, это ты, старый разбойник, приехал мой лес губить?

Кондрат засмеялся:

— Да уж придется тебе, Влас, проститься с твоим лесом.

Влас выпрыгнул из лодки на траву. И, выпрыгивая, он попридержал ружье, висевшее у него за плечами. Кондрат засмеялся.

— Ты меня все разбойником величаешь. А сам, гляди, с ружьем не расстаешься. Еще неизвестно, кто из нас разбойник.

— Ну, что там. Известно, испокон веков мои луга и озера грабишь.

Шутливо перекоряясь, они поздоровались — пожали друг другу негнущиеся руки.

— Ты что же, со всеми молодцами здесь?— спросил Влас.

— Д-да... как сказать... Да, со всеми.

Кондрат искоса торопливо оглянулся: хотел узнать, кого видно на гриве. (Иван возился возле старого осокоря, оба работника в стороне рубили ракитник. Кости не было видно.)

Влас нахмурился.

— Что ж, и этот... как его... Костька-то... и он здесь?

Кондрат прищурил левый глаз, посмотрел на Власа.

— А тебе что? Аль хочется его повидать?

— Ну, ну, это я так спрашиваю. Больно мне он нужен. Ты куда его девал?

— Спровадил. Два только работника осталось да вот сын — и вся наша армия.

— Спровадил? Аль совсем дурной был?

— Не дурной, а не нужен. Без него обойдусь этот год.

— Та-ак. Ишь босява!

— Ты чего ругаешься? Аль он тебе чем причинен?

— Да как же он причинен? Присылал свах — девку мою брать. Аль он тебе не говорил про это?

— Ну так что ж? Парень неплохой.

— Может, и не плохой, да ведь голытьба! По миру ходить?

Кондрат погладил бороду, помолчал.

— Больно ты начетистый, Влас. Ныне, брат, такими женихами не кидаются. Слыхал, в городу как? Штукатур, двадцати годов ему нет, а он уже пять жен сменил. Ты гляди не на имущество, а гляди на человека. Хоть ты и живешь вроде помещика, да и наше дело не плохое.

— Не плохое? Это у тебя не плохое, ты хозяин. А этот — всегда в работниках. Э, что там зря калякать!

— Ты наше дело не хай. Наше дело — святое, апостолы были рыбаками.

— Ну, вот... твой апостол... все прошедшее лето и всю зиму к моей девке подсмаливался.

— Придет время — и он встанет на ноги. Кузьму-то Пузрова знаешь? Напал на косяк — вот тебе сразу и достаток.

— Ищи их, твои косяки. Я всю жизнь сам слежу, а ни разу не доводилось найти. Сам-то ты сколько раз находил?

— Ну, я не говорю, что он обязательно найдет. Только ты зря парня хаишь.

— Э, что там... Ты скажи, надолго сюда?

— Что ж? До спаду. Вот матушка как поднялась ныне. Весь Приверх залила.

— Ныне, пожалуй, и Кривиль захватит.

— Недели три придется у тебя здесь постоять.

— Поймали чего?

— Ныне нет. К вечеру приезжай, авось и на твою долю будет.

— Что ж, я приеду. Аль девку пришлю...

— Присылай, мы дадим.

Влас грузно влез в лодку, поплыл, сильно работая веслами; когда лодка скрылась, из кустов вышел Костя. Кондрат смешливо махнул рукой:

— Ну, счастлив, что Влас тебя не видал. С ружьем приезжал. Насолил ты ему. Не попадайся теперь...

Костя ничего не ответил и торопливо полез под осокорь отыскивать змей.

## II

Перед вечером Костя ездил на Верхний перекат, где стояли верши и ивовые короба. Вода все еще поднималась, рыба рвалась на мели, и Костя вернулся с перегруженной лодкой. Солнце уже склонилось к дальним заволжским горам, вся вода светилась розовым светом, зеленые верхушки деревьев, еще не залитые водой, казались красными. На стану никого, кроме Кондрата, не было.

— Что так долго?— спросил Кондрат, подходя к берегу.

— *Возни* было много, — нехотя, лениво ответил Костя.

Он не сказал: *рыбы много*, он сказал: *возни*, потому что сказать про рыбу — сглазить.

— Что ж, веди лодку вон в ту заводь. Я садок туда перетащу.

— Пожалуй, надо два, — опять нехотя сказал Костя.

Кондрат мельком глянул на Костю.

— Что ж, дадим и два.

Костя поехал на лодке в заводь за кусты, а Кондрат берегом потащил туда круглый ивовый садок. Он сам, стоя по колено в воде, вбил крепкий кол, к нему привязал толстую веревку и к веревке садок.

— Ну, сгружай, — сурово сказал он, — а я схожу за другим садком.

Костя принялся саком вылавливать из лодки рыбу и сыпать в садок. Когда Кондрат вернулся, садок уже загруз наполовину. Кондрат поднял его за край. Крупная рыба забилась об ивовые стенки.

— Ага, сазан пошел?

— Да, пошел. Я косячки небольшие видел.

— Ну, раз есть небольшие, будут и большие.

Они торопливо разгрузили лодку.

Пять небольших сазанов Кондратий кинул на берег, на траву. Потом, сломив лозину, поднял рыб, нанизал их на прут и сказал Косте:

— Пойдем ужин готовить. Чу... никак, кто-то едет?

В ракитных зарослях плескались весла.

— Наши,— решил Костя.

— Ну, наши. Нешто не слышишь, как веслами хлюпает? Влас, должно быть... Ты вот что, парень, ты пока схоронись. Я наврал ему утром — сказал, тебя нет здесь,— ложь во спасение, а то бы заорал, заругался! Пусть сперва попривыкнет к нам, там уж и откроемся.

— Ау, где вы?— раздался за кустами девичий голос.

Кондрат — за минуту суровый — вдруг осклабился.

— Ишь, сама принчеса приехала.

Он торопливо пошел берегом к стану.

— А-у! В траву!— шутливо закричал он надтреснутым стариковским голосом.

Он отошел к стану, а там у берега уже стояла черная стражникова лодка, и в ней сидела рыжеволосая дебелая девка в белой кофте с короткими рукавами.

— Это ты, Дуняшка?— закричал Кондрат.— Милости просим. Хорошо, что ты приехала, а то я уж собирался к тебе ехать, жить без тебя не могу.

Дунька звонко засмеялась.

— А я тоже, дедушка, тебя ждала-ждала — все глазенки проглядела.

— Ох-хо-хо. Ну что ж, вылезай. Угощу чем бог послал.

Дунька, смеясь, выпрыгнула из лодки в траву — ее босые ноги казались розовыми.

— Тятенька прислал спросить, не дашь ли рыбки.

— У рыбки глаза прытки. А у тебя еще прытче... Как не дать?

— А ты что, один ныне?

— Уехали работники к Приверху. Иван на Иргиз. А тебе кого надо?

— Мне... никого. Это я так спрашиваю.

— Ой ли, так?

Кондрат привычно прищурил левый глаз, скривился. Дунька покраснела. Здоровая, грудастая, она вдруг повернулась резко к лодке, схватила ее за уключину, потащила из воды.

— Да ты не тревожь лодку, не уйдет,— сказал, смеясь, Кондрат.— Здесь течения тихая.

— Дашь, что-ли, рыбы-то?— грубо спросила Дунька.

— Дам, дам. А ты небось не только за рыбой приехала. Что ж не спрашиваешь про Костьку? Ведь я его в три шеи прогнал. Оказался таким негодящим... Как ты могла жалеть такого ленивца?

— Вовсе я его не жалела.

— О?! Ну, любила, значит.

— Прогнал — и хорошо. И дьявол с ним. Давай рыбы.

— Куда торописси? Ты сперва чайку со мной попей. Потом и рыба будет.

Дунька вдруг повернулась резко всем лицом и грудью к Кондрату и спросила:

— Правду, что ли, прогнал?

Кондрат весело задребезжал:

— Хе-хе... а ты как думала? Врать тебе дедушка станет? Будешь, что ли, чай пить?

— Не буду. Некогда мне. Давай рыбу...

Кондрат, все смеясь, повернулся к кустам, крикнул:

— А ну, малый, дай там пяток сазанов.

Дунька, недоумевая, посмотрела на кусты, за которыми кто-то шевелился. Скоро кусты раздвинулись, и к стану вышел Костя. В руке у него — на ракитовом пруту — трепыхались золотистые сазаны. Дунька вся откинулась, сделала шаг назад, подняла левую руку вровень с лицом, как будто ждала, что Костя ее ударит. Так минуту целую они стояли один перед другим молча. Дунька вытаращенными глазами смотрела на Костю, а тот смущенно улыбался. Кондрат, посмеиваясь, поглядывал на них издали.

— Ну, что ж ты рыбу-то не даешь девке?— закричал Кондрат. — Ишь ей некогда. Она домой торопится.

Костя подошел к Дуньке и протянул ей связку. Дунька вдруг засмеялась, заторопилась, взяла рыбу и побежала назад к лодке.

— Эй, эй, стой! Выкуп за рыбу давай! — закричал Кондрат.— Целуй парня!

Дунька, хохоча, оттолкнула лодку и заработала веслами. Костя побежал через кусты куда-то в сторону. Кондрат покачал укоризненно головой. Он принялся ломать сучья для костра. Время от времени он поднимал голову, слушал. Солнце уже тронуло край земли. Зарянка на ракитовом кусту пела печально. Где-то далеко кричали утки. Весла стражниковой лодки все еще плескались недалеко. Кондрату чудились в тишине чьи-то приглушенные голоса.

## III

Работали от зари до зари, а иной день захватывали и зарю. Вода уже остановилась. Ждали: вот-вот она пойдет на убыль, и тогда сразу надо захватить забойками, котцами, вершами, нередами, вентерями большие просторы. Рыба, почуяв, что вода убывает, кинется из заливных лугов и озер опять в Волгу, и, не захвати ее вовремя — она уйдет вся без остатка. Кондрат гнал. Никто не видел, когда он спит. Ежедневно к стану работники привозили по две, по три лодки ракитовых прутьев, а Кондрат, Иван и Костя плели из них верши, короба и забойные плетни. Кондрат заставлял Костю плести только верши — работа тонкая. Он искоса глядел, как быстро справлялись ловкие Костины пальцы с гибкими прутьями. Он улыбался. Но улыбку топил в бороде, чтоб не видели. Лишь порой, отбросив в сторону готовую ванду или плетешок, покрикивал задорно:

— А ну, давай, давай, давай!

Уже зеленой горой лежали в стороне готовые рыболовки.

— Да... вот в те поры... так же вот... думали, остановилась вода... стали расставлять... а вона... как хлынула — все труды прахом пошли...

Кондрат тянул лениво — слово за слово,— руки поворачивались быстрее, чем язык.

— Как же, я помню,— сказал Иван.— Кажись, тот год и Пузров нашел косяк.

— Нет... он через год нашел. Ты про который косяк спрашиваешь?

— Про который... ну, про тот, что много поймал.

— Много поймал — это совсем недавно. Только тут, конечно, работнику пришлось уделить половину.

— Половину?

— А как ты думал? К примеру, Костя найдет, ему половину... В те поры работник-то — Петька Широков — сразу избу поставил, две лодки купил, снасть. Теперь в Терсе сам хозяйствует. На три тысячи продали тогда. Ты что, Костя, остановился? Э, да ты узел запутал, елова голова. Гляди весь дётыш испортил.

Костя спохватился — прыгающими руками потянул ивовый узел назад, чтобы развязать... «Половина?»

Опять замолчали. Плели долго — каждый думал о своем. Слепни и пестряки роем носились вокруг, садились на лицо, на руки, обнаженные по локоть; их гнали подергиванием головы, плеча, спины, потому что руки были бесперечь заняты. Солнце палило жаром, остановившаяся в мелких заводях вода пузырилась, бойкая рыбешка выпрыгивала в воздух, ловила мух. Кондрат поднялся и, вытулив по-стариковски спину, неловко шагая затекшими ногами, кряхтя и бормоча, пошел к воде. Там стояла палочка с зарубками. Он тщательно осмотрел ее, потом позвал:

— А ну-ка, подите сюда, ребята!

Иван и Костя поспешно подошли.

— Глядите-ка, с седьмой, кажись, на шестую слезла. (Он показал пальцем на зарубки.)

Иван решил сразу:

— Слезла.

Костя усомнился:

— А не вверх ли ползет? Где седьмая? Седьмая вот, в воде.

— Тю-тю-тю, ведь правда,— сказал Кондрат.— Только не волной ли захлестнуло? Ну, еще подождем. Раз вода не спешит, и нам спешить некуда. Где ребята-то? Надо бы обедать. Гляди, к полдням близко. Смеряй-ка, Костя.

Костя выпрямился столбом — тень упала до черного корешка. Он заметил, как длинна тень, и смерил, сколько в ней его — Костиных — ступней. Ступней вышло три.

— Ровно!— сказал он.— Ровно двенадцать часов.

— Ну, живо, живо, ребятушки, обед готов.

Костя схватил котелок, побежал к воде. Иван полез в кусты за сухими сучьями. Кондрат собирал опавшие листья на разжигу...

Скоро приехали работники в лодке, горой нагруженной прутьями. Обед — одно-единое блюдо, кашица с мясом,— был готов, все уселись кружком на разостланной ватоле.

— Похоже, завтра вода сбывать будет,— сказал Иван.

— Да, гляди, как у сокоря пучки надулись,— вот-вот лопнут.

Все посмотрели на молодой осокорь, стоявший по колено в воде.

— А мы сейчас луговика Власа встретили,— заговорил рыжий работник,— тебя, дядя Кондрат, обругал почем зря.

— За что же?

— Старый, говорит, дьявол. Прячет, говорит, этого голяка Костьку... Я, говорит, доберусь до них!

Кондрат засмеялся.

— Дался ему этот Костька. Береги не береги, все равно... Девка не камень, под лопух не спрячешь. Ты бы, Костя, не тревожил его зря.

— Я его не тревожу. Я у них не бываю.

— Знаю,что не бываешь. Да девка-то к тебе плавает.

— Не плавает. Отец теперь лодку на замке держит. А ключ с собой.

— Ишь дьявол! Как же вы? Так и не видаетесь?

Костя не ответил.

— Ну, как не видаются,— засмеялся Иван,— она, поди, к нему вплавь приплывает: она — бой-девка, лучше любого рыбака плавать умеет...

## IV

Эти ночи Кондрат совсем не спал: нужно было заметить самое-самое начало спада. Над дальними лугами прозвенела серебряная труба — раз и два. Это крикнули журавли, чуткие вестники идущего утра. Кондрат поспешно вылез из шалаша. Туман — густой до непроглядности — закрыл весь мир. Только прямо вверх что-то белело и шевелилось. Кондрат ощупью пошел к воде. Туман заклубился вокруг него, точно вода возле идущей лодки. У края воды лежало толстое полено, положенное с вечера как раз половиной в воде, половиной на сухом. Кондрат ощупал его — полено было сухо и мокро ровно настолько, насколько сухо и мокро было вчера.

«Стоит!» — подумал Кондрат.

Он вернулся опять ощупью в шалаш, где вповалку храпели Иван и трое работников, лег на ватолу, ворочался, слушал, и голова у него была полна жара от бессонной ночи и беспокойства. А кругом — за шалашом — уже все просыпалось. Недалеко кря-

кали утки, зарянка уже пела третью песню, пролетели сорокопуты и закричали неприятными резкими голосами: «Кэ-кэ-кэ!» По-кошачьи крикнула иволга.

— Ребята, вставай! — крикнул Кондрат.— Убывает!

И крик будто хлестнул всех — полы шалаша разом откинулись, встревоженные, всклокоченные, вылезли Иван, Костя, работники.

Вода уже вся светилась. Туман висел только на дальних ракитах. Иволга пела звонко-звонко...

— Глядите, сокорь зацвел! — крикнул Костя.

На нижних, самых старых ветках осокоря паутинились белые волоски — ресницы семян.

— Скорей грузите лодки! — распоряжался Кондрат.— Ты, Иван, катай на Кривиль, а вы городите Грязнуху.

И получаса не прошло, все четыре лодки, перегруженные плетешками, вершами и вентерями, плыли от Гремучей гривы, чтобы поспеть вовремя перегородить все рыбьи пути.

На самой большой лодке ехали Кондрат и Костя; Костя греб. Он глубоко опускал весла, и лодка от каждого удара плыла саженями. У верхнего ерика они остановились, вытащили из лодки два плетня и, вбивая колья в дно, перегородили весь ерик, и на стыке плетней установили большой короб. Отсюда проехали к среднему ерику, потом к нижнему, везде поставили плетни и короба.

— Шабаш, не уйдет,— сказал Кондрат.— До самого Очарковского озера все будет наше. Теперь поедем к Студеным водам.

Оба они работали с азартом. Кондрат был доволен и по дороге к Студеным водам говорил неторопливо, веско, точно учил:

— Вот теперь ты примечай, где косяки. Не ноне-завтра пойдет большой спад, рыба опять побежит в Волгу, побежит и будет плутать. Вороны да чайки лучше нас знают, где косяки. По ним замечай. Где кружатся, тут и лови — тут косяк.

Только к позднему вечеру, измученные вдребезги, они вернулись на Гремучую гриву.

Два следующие дня были бешеными. Вода убывала. Рыба шла из лугов и озер в Волгу. Ей ставили преграды всюду. Кондрат арендовал берег на десять верст,— пятерым работникам — это много. Управились едва-едва. Лишь к концу четвертого дня начали проверять короба, вентеря и верши. Из города от рыбного кооператива приехал приказчик — верткий, черненький, смешливый. Вечером у костра он угостил всех водкой.

— Опять, как прежде,— засмеялся Кондрат, увидев бутылку,— бывало, скупщики без бутылки к нам не являлись.

Приказчик жил сутки на стану. Рыбы при нем попало немного. Он «наладил дело» (по таким-то и таким-то ценам доставляйте в город), уехал. Прощаясь, подвыпивший Кондрат сказал ему, смеясь:

— Готовьте большие соли, косяк хотим поймать. Завалим вас рыбой.

Приказчик понял шутку.

— За солью дело не станет,— ответил он,— только давайте больше рыбы.

— Что ж, с завтра на всех лодках поедем, будем косяк искать.

## V

Косяки! Косяки! Кто из наших рыбаков не мечтает в зимние ночи о них — многотысячных косяках дельной рыбы? Эти рассказы о рыбаках-удачниках, о тех, кто имеет теперь свои сады, свои лодки, сети, снасть,— эти рассказы связаны с косяками.

— Пузров нашел косяк — три тысячи выручил.

— Вершилов нашел — на две тысячи потянуло.

И тут вот какое дело: интересно всем — хозяин ты или работник. Хозяин нашел — выручка целиком, работник — выручки половина. А бывало, что с такой половины в один день рыбак-работник становится на свои ноги.

Ого, сколько думал про это Костя. Обида подогревала,— луговик Влас так прямо в глаза и сказал: «За босяву не отдам». Убежать бы можно Дуньке, времена не прежние. А боится...

Над спокойной убывающей водой чайки и вороны носились лениво, посматривали вправо, влево. И нигде не кружились стаей. По пути Костя опорожнил три забоя — лодка загрузилась рыбой. У Семи вязов, где — после спада — идет главная луговая дорога, замаячила черная лодка. У Кости стукнуло сердце. Он повернул свою лодку туда. Черная лодка высунулась из-за кустов.

— Тебе чего здесь надо, бродяга? — заорал грубый голос.

Костя молча поехал в сторону — он сцепил зубы, чтобы не ответить на ругню. А Влас орал до хрипоты...

Рыбаки съехались на стан только в сумерки. Никто не спрашивал, никто не говорил об удаче: была бы удача, сказалась. Только Кондрат угрюмо буркнул:

— Влас тоже ездит, ищет.

— И я встретил его,— сказал Иван,— и девку с собой возит: боится одну оставлять.

Кондрат щелкнул языком:

— Ах, и девка! Совсем уже выкунела. Что твоя краля.— И мигнул плутовски.

«Все равно от меня не уйдет,— подумал Костя.— И без косяка возьму».

Еще день и еще другой бесплодно ездили рыбаки по лугам. Вода сбывала быстро. Уже наметились верхние озера и ерики. В заводинах рыба оставалась — можно было ее вычерпывать, но оставалось помалу. К концу третьего дня Костя увидел

версты за три — облаком кружились птицы. Что есть духу, с бьющимся сердцем он помчался туда. Птицы вились над заводиной, переполненной мелкой недельной рыбешкой.

Вечером на стану решили переехать с Гремучей гривы на Линевый мыс. Костя понял: Кондрат уже не надеялся, что косяк найдут. Опять потянутся серые дни...

Теперь уже все говорили о косяках свободно — подшучивая. После ужина Костя захватил чапан, отошел в сторону — к старому осокорю,— завернулся с головой и лег. Он думал о Дуньке. Он вздыхал. Кондрат, Иван и работники угомонились в шалаше. Ночь была светлая — заря целовалась с зарей. Костя не мог уснуть. Кто-то тронул его за руку. Он сбросил пальто. Перед ним стояла Дунька — в одной рубашке, с растрепанными волосами. Рубашка была мокрая, она облипла вокруг Дунькина тела. Костя, ничего не понимая, смотрел на Дуньку молча.

— Вставай! Иди! У Белого родника в заводине косяк! — шептала Дунька.— Скорее!

Костя сидел неподвижно.

— Скорей же, дурной! Что ты? Аль очумел? Не перехватили бы. Бегла я, бегла, вся измокла. Вчерась вечером увидала...

Костя провел левой рукой по лицу.

— Скорей! — опять поторопила Дунька.— Сперва один съезди, потом своих разбудишь... Ну, я побегу. Гляди же, не прозевай.

Она сделала шаг, другой назад, скрылась за кустом, Костя все сидел, ничего не понимая.

«Косяк»,— вдруг вспомнил он.

Он прыжками бросился к лодке. Утро только начиналось. Налегая на весла, что было духу, Костя помчался к Белому роднику... Над родником уже вились чайки и вороны, голодные после долгой ночи...

*1928*

## ВОРОБЬИ

### I

По пути к северу ледокол «Малыгин» зашел в город Александровск — самый северный и самый удивительный город СССР. Черные гранитные горы толпой стоят здесь вокруг гавани, а гавань, как чаша, поблескивает далеко внизу под горами, вечно спокойная, без единой волны, никогда не замерзающая, глубокая, как человеческое сердце.

Ледокол встал у пристани, где возле берега горами лежал каменный уголь, привезенный сюда из Англии. Члены экспедиции и кое-кто из команды пошли на берег в черные холодные горы. О, как бесплодны и суровы эти гигантские камни! Нигде никакой растительности: морозы и ветры, прилетая с океана,

мертвят все живое. Лишь кое-где, в долинах на припеке, робко зеленеет морошка и серыми пятнами пестреет мох. В одном месте зеленел березовый «лес». Этот «лес» был человеку по щиколотку. Капитан, смеясь, сказал, показывая на березки:

— Вот в таком бору перед осенью вырастает много грибов, и тогда грибы бывают вдвое выше леса.

С гор пошли в город. Дома и избы приютились меж огромных камней, суровых, обточенных ледниками, сползавшими здесь когда-то. Тротуары деревянные, неровные, они то поднимаются, то опускаются, следуя изгибам горы. И странно видеть, что во дворах здесь ходят куры, что две козы стоят у стожка и поспешно жуют черное-черное сено. На неуклюжем плетне гирляндой висят рыбьи головы,— так в благодатном черноземном крае вешают иной раз на заборах плетеницы лука и подсолнухи или мелкие дыни-горлянки.

В белесом небе пролетит над городом и горами чайка, тоскливо крикнет, ей нечего взять на этих скалах, она летит к гавани, к морю.

Мы возвращались на ледокол, блуждая глазами по горам, морю, белесому северному небу. Но что это? Маленькие серые птички, чирикая, пролетели стайкой. Воробьи! Совсем такие же, как везде. Они пролетели над дворами, спустились вниз, к гавани, к воде. Здесь, в этом каменном городе, все живет водой, даже воробьи.

Уселись они высоко на вантах. Потом, чирикая, стали спускаться вниз, наконец запрыгали по палубе ледокола и заглянули в двери кухни, где возился белый повар. Они внимательно осматривали каждый закоулок, нет ли чего поесть. Повар, распаренный жаром плиты, на минуту выскочил на палубу с решетом в руке, суровый, красный, заросший до глаз черной щетиной. Он мельком глянул на воробьев, и в углах губ у него мелькнула улыбка. Он опять скрылся в дверях кухни, и через минуту две горсти крупы полетели на палубу. Воробьи, чирикая, наперегонки стали клевать крупу, а повар время от времени, выглядывая из темной двери, что-то бурчал, смеялся.

## II

Целые сутки на корабле стоял грохот. По длинным доскам рабочие в тачках возили уголь и с грохотом сыпали его в угольные ямы ледокола. Черная пыль подымалась столбом. Капитан время от времени принимался ворчать: медленно идет погрузка,— и его ворчание тяжелым облаком накрывало других. Все были недовольны, все торопились, бегали сердито. Лишь воробьям было привольно в этот день на корабле. Горсть за горстью повар выбрасывал им крупу и крошки, сытые воробьи прыгали лениво, мирным поселком расположились на вантах, посматривали вниз на суетящихся сердитых людей.

Перед полночью вдруг страшно загудела сирена. Дремавшие на вантах воробьи испуганно поднялись стаей, полетели прочь к городу, но скоро сирена смолкла, и один за другим воробьи вернулись к кораблю, где их так гостеприимно кормили.

На корабле теперь суетились сильнее, чем прежде. Матросы поспешно убирали мостки, портовые рабочие — черные от угольной пыли — стояли на пристани, готовясь отдать тросы. Корабль медленно поворачивался, отодвигался от пристани. Две женщины махали платочками. С кормы им отвечали матросы, смеющиеся, белозубые.

Корабль вышел на середину гавани, медленно повернулся и стал уходить в узкий проход между горами, туда, к океану. Воробьи перелетели с кормы на нос корабля, громко чирикали, точно о чем-то спорили или совещались.

Опять взвыла сирена, и воробьи, взметнувшись всей стаей, покружились над кораблем и полетели к городу, к каменным горам. Только два вернулись назад, сели на ванты высокой мачты. Корабль медленно шел из гавани в океан. Высокие горы нависли над ним черными, страшными громадами. Корабль шел возле самого берега.

Была полночь, а солнце стояло высоко. Чайки белыми точками виднелись на черных скалах. Они спали, втянув голову между крыльями.

Извилистым проходом корабль вышел в океан, последний раз зазвонил сигнал в машину,— полный ход. Черный столб дыма гуще взвился над кораблем, полногрудый ветер засвистал в мачтах и вантах, корабль быстро стал уходить от берегов в бесконечные океанские просторы. Воробьи еще почирикали, будто последний раз совещались — вернуться или плыть с этим кораблем, и, должно быть, решили плыть. С вант они спустились вниз на бак, попрыгали между канатами и якорями и, выбрав уголок за дверью носового кубрика, уселись здесь рядом. В уголке было тихо, уютно. Воробьям светило солнышко, здесь не было холодно, сюда ветер не попадал. Люди еще долго стояли на палубах, смотрели на удаляющиеся берега. Черные скалы становились синими, будто погружались в воду, и уже нельзя было различить входа в фиорд. Только одна синяя воздушная линия еще долго поднималась над зеленым бурным морем. Потом скрылась и она.

## III

В утренние часы на палубах было пусто. Только на капитанском мостике маячили две человеческие фигуры. Воробьи видели, как из-за брезента, висящего над поручнями мостика, выглядывали две головы.

В четыре часа на полубаке пробили склянки — звонкий колокол четырежды пропел медную песенку. Матрос, стуча

сапогами, пробежал по железному трапу, другой матрос вылез из кубрика, потянулся, и оба они пошли к корме, глухо переговариваясь. Воробьи тревожно слушали звон склянок, слушали человечьи шаги по железному трапу, недалеко от себя они видели людей, но, сморенные сном, они не захотели улететь.

Утром они опять запрыгали по палубам. Людей теперь было больше. Человек в очках смотрел на них с верхней палубы, смеялся и говорил другим:

— Смотрите, с нами едут воробьи!

И еще замелькали люди, бородатые и безбородые, все они, поглядывая на воробьев, улыбались. С верхней палубы полетели на нижнюю крошки. Сердитый ветер разметал их в разные стороны, воробьи прыгали по канатам и якорям, торопливо собирали крошки, тащили их туда, в свой уголок, и там на покое клевали. Еще много крошек оставалось на палубе, а воробьи уже были сыты. Они лениво на все посматривали сверху, лениво нахохлились и лениво разговаривали о чем-то между собой.

К вечеру ветер покрепчал, с севера надвинулись низкие густые облака, мачты и ванты на корабле уныло запели. Океан запестрел белыми гребешками. Волны звонко стучали по бортам, а белая пена, отброшенная кораблем, кипела, как в котле. К полуночи разыгрался шторм. Встречные волны теперь с силой пушечного выстрела били в нос и в железные борта, мелкими брызгами перелетали через бак, дождем падали на палубу, а время от времени какая-то волна — двадцатая или тридцатая — горой обрушивалась на корабль, потоком заливала палубы, брызги летели высоко вверх, через капитанский мостик, солеными пятнами покрывали черную трубу с красной полоской.

Воробьи поглубже забились в угол, круглыми глазами испуганно смотрели на летевшие перед ними брызги. Время от времени поток воды закрывал от них свет. Палубы в эти часы были пусты, лишь на капитанском мостике виднелся штурман, закутанный в зеленый брезентовый плащ с капюшоном. Иногда штурман давал свисток, вахтенный матрос пробегал по палубе, громко стуча сапогами, потом бежал на корму, к лагу, чтобы узнать, сколько километров за последний час прошел корабль. Воробьи притаились, молчали, крепко прижавшись один к другому, точно два серых комочка, сжавшиеся воедино. Корабль то вздымался высоко на волнах, то с шумом и грохотом обрушивался вниз, в пропасть между волнами, а ветер свистал, рвал, и теперь казалось: каждая доска, каждая веревочка на корабле поет своим голосом, неистовым и печальным.

Мачты тяжело махали из стороны в сторону. Черный дым длинным хвостом вырывался из труб и тотчас падал на воду, словно низкие, серые, быстро бегущие облака не позволяли ему подняться вверх, придавливали его к бурливым седым волнам. Ветер рвал дым в мелкие клочья.

Через каждые четыре часа вахтенный матрос поднимался по железному трапу на полубак, отбивал склянки, и всякий

раз воробьи, испуганно настораживаясь, смотрели на проходившего мимо них человека и слушали медную песню колокола. Они уже давно — почти сутки — не спали. Они боялись вылететь из угла, ветер страшил их, и голод начал мучить. Теперь они отодвинулись один от другого, повертывали головы из стороны в сторону, недоумевающие, испуганные.

Вечером в восемь часов, когда с особенной силой налетел шторм, вахтенный матрос поднялся на полубак, зазвонил в колокол. И в этот момент страшная волна обрушилась на корабль. Она брызгами и потоками перекатилась через бак, залила палубу. Дверь из кубрика вдруг отворилась, хлопнула о стену, где в углу сидели воробьи. Матрос вылез из двери кубрика, ветер ударил ему в лицо, и он торопливо схватился за шапку. Воробьям показалось, что идет беда: звон, падение волны, стук дверей, резкое движение матроса. Один воробей испуганно чирикнул, вырвался из уголка, полетел. Ветер мгновенно подхватил его, отнес в сторону от корабля. Другой воробей тоже приблизился к краю полочки, но спохватился, отодвинулся назад, в угол. Он видел, как товарищ его, подхваченный ветром, улетал от корабля дальше и дальше. Ветер свистал, рвал, волны кипели, из трубы черным потоком валил дым.

Воробей, отлетевший от корабля, теперь не видел перед собой ничего, кроме волн. Волны, волны!.. Он испуганно повернул назад, напрягая все силы. Теперь ветер дул ему навстречу. Корабль, качаясь, уходил прочь. Воробей летел низко, у самых волн, потом разом поднялся высоко-высоко, но ветер и в вышине, и внизу над волнами был одинаково силен, рвал, метал. Волны тяжелыми громадами шли одна за другой. Крылья воробья трепетали, ветер теребил каждое перышко. Раза два он попадал в полосу дыма, вырывавшегося из трубы, испуганно сворачивал в сторону и снова летел к кораблю. Вот-вот, еще немного — он догонит корабль и сядет опять в уголок, где сидит его товарищ. Он несся изо всех сил. Вот уже недалеко корабль, скорей, скорей к нему. Но сил становилось все меньше, и уже не так быстро взмахивают крылья...

Штурман с капитанского мостика смотрел на воробья в бинокль. Ему любопытно было, догонит или не догонит воробей корабль. Он видел, как воробей ослабевал, расстояние до корабля становилось больше, больше, он то опускался к волне, то поднимался ввысь, но ветер везде был одинаково силен и одинаково труден был путь. Воробей отставал... Сколько? Полчаса или час сражалась маленькая серая птичка за свою маленькую жизнь? Воробей опустился к волнам,— должно быть, ветер был здесь потише. Но волна белыми брызгами ударила его, воробей испуганно метнулся вверх. Еще ударила волна, воробей упал в воду, на момент вырвался, снова упал и скрылся в белой пене. Большие зеленые волны с белыми гребешками заплясали на том месте, куда упал воробей.

## IV

Через двое суток шторм кончился, корабль дошел до кромки вечных льдов, волны утихли. Множество мелких льдинок, точно большие белые птицы, медленно покачивались на волнах. Стая чаек неслась за кораблем. Чайки попеременно пытались сесть на топ мачты, кричали тоскливо и пронзительно. Порою они хором пели песню. О, какая это была тоскливая песня! Должно быть, у северных бурь подслушали они ее и пели в этот ненастный, неприветный день.

Голодный воробей выпрыгнул из своего угла, пролетел с носа на палубу, заглянул в двери кухни, где возился белый повар. Повар выскочил из двери, что-то выбросил за борт, мельком взглянул на воробья, и теплая улыбка мелькнула в углах его губ. Через минуту он бросил на палубу горсть крупы, воробей жадно начал клевать. Люди толпились на мостике, на спардеке и на нижней палубе, весело разговаривали. Корабль боком ударил по белой льдине. Льдина отшатнулась, поплыла прочь на волне.

Скоро льда стало больше. Легкий ветер унес все облака, солнце засияло, кругом стало широко и радостно. Сытый воробей задорно чирикал, перелетал с кормы на палубу, с палубы на ванты. Люди жадно смотрели вперед, на льды, где черными пятнами виднелись тюлени. Человек в очках усмехнулся, показывая на воробья:

— Смотрите, он все еще с нами! А где же другой?

— Другой утонул,— сказал штурман.

Льда становилось все больше, белого вечного льда. Он сердито шуршал по бортам корабля. Корабль отталкивал его, подминал под себя и, точно гигантский богатырь, быстро двигался к северу.

Лед пошел плотнее, крупнее. Льдины сомкнутой фалангой встречали корабль и уже не скоро уступали дорогу. Час от часу путь становился труднее, льды неподвижнее, тверже, и корабль наконец остановился, обессиленный неравной борьбой. Когда остановили машину, стало сразу тихо-тихо.

Сытый воробей суетливо перелетал с палубы на нос корабля, потом на большую льдину, стеной стоявшую у борта. Льдина ему понравилась, и он попрыгивал, радостно чирикая. Люди, улыбаясь, смотрели на воробья, чириканье напоминало им дом, теперь такой далекий.

Вдруг поморники — большие черные птицы — одна за другой бросились на воробья. Он испуганно метнулся в сторону, подлетел к кораблю, сел на самые нижние ванты, а поморники, носясь высоко над мачтами, издали посматривали, точно грозили воробью. Он сразу понял, что эти птицы могут убить его, и перестал отлетать далеко, садясь только на льдины возле самого корабля.

## V

Дни потянулись за днями, суровые и трудные. Множество раз корабль вступал в борьбу со льдами. Воробей уже привык и к этим пронзительным звонам, что раздавались на капитанском мостике и где-то в глубине трюма, возле машин. Уже привык и к суетне людей, и к черным столбам дыма, вырывающегося из трубы, и к туманам. Воробей знал: вот корабль с разбегу ударит в ледяную перемычку и от удара весь вздрогнет от верхушек мачт до киля, отступит назад, с силой бросится вперед на ледяные горы; так час и два, потом, бессильный, остановится. Иногда приходили туманы, густые, белые, непроглядные,— в двух шагах ничего не было видно. Но этот непроглядный туман сверкал и слепил глаза.

В часы туманов воробей забивался в свой уголок над дверью кубрика, сидел там неподвижно. Потом опять появлялось солнце, опять льды ослепительно сияли. Воробья неудержимо тянуло на простор. Он улетал с корабля, садился на ближнюю льдину, перелетал на другую, на третью, чирикал весело, задорно, торжествующе.

Но поморники бросались к нему, и он, точно пуля, летел назад к кораблю. Он видел, как на палубе метались люди, махали руками, чтобы отпугнуть поморников, и воробей знал: люди стараются спасти его.

Воробей садился на ванты. Сердито и вместе с тем улыбаясь, люди смотрели на него: куда ты, дурак, летаешь? Убьют!..

Однажды туман стоял целых три дня, и все три дня воробей просидел в своем углу. Когда засветило солнышко, он, измученный голодом, бросился к двери на кухню. Здесь было много хлебных крошек и зерен. Он наелся так, что совсем отяжелел, и все-таки с задорными криками полетел на льдину, стеной поднимавшуюся возле левого борта корабля. Попрыгав по ней, перелетел на другую, подальше, потом на третью. Вдруг две черные птицы, мелькнув над кораблем, стрелами бросились прямо к воробью. Он метнулся вниз, попытался скрыться между льдинами. Птицы за ним. Они гнали воробья все дальше от корабля. Люди на палубе исступленно кричали. Но поморники упорно гнались за воробьем.

Воробей метался из стороны в сторону. Вдруг страшный удар клювом оглушил его, и, растопырив крылья, он упал на льдину, затрепетав всеми перышками, а поморники,— теперь их было уже несколько,— отталкивая один другого, бросились на воробья. И минуты не прошло — только голубоватые перышки виднелись кое-где на льдине.

*1928*

## ЛЕГЕНДА

Это было вечером, осенью, на Онеге. Старик с клочкастой сивой бородой наклонил голову, запел. На его широком лбу задрожали морщины, борода пошла волнами.

«Далеко-далеко, за бурливым океаном, за снегами вечными, за льдами, за туманами и морозами, лежит голубой рай. Реки в раю текут шелковые, лебеди по ним плавают белые, дворцы там стоят хрустальные, все алмазами усыпаны...»

Старик закрыл глаза, весь отдался видению и долго-долго водил нас по сказочной стране.

Я видел, как у моего товарища-художника закрывались глаза,— должно быть, он так же, как я, хотел уйти от этих рыжих стен стариковской избушки, уйти в райскую страну.

Около полуночи мы пошли в соседнюю деревню на ночлег. Ощупью мы шли по тропинке над обрывом реки. Онега шумела на камнях. Ущербленная луна поднялась над пиками столетних елей.

Художник задумчиво сказал:

— Много лет я изучаю Север, и меня поражает одна странность: во всех сказаниях и легендах повторяется одно и то же описание рая. Почему это? Поморы и норвежцы, лопари и ненцы — все одинаково говорят о сказочной стране...

И, подражая старику сказателю, художник нараспев прочел:

— Далеко-далеко, за бурливым океаном, за снегами вечными, за льдами...

О, Север, Север! Подумать о нем: все сурово на Севере. Эти вечные льды, непроглядные туманы, ошеломляющая тьма полугодовой ночи — и страшнейшая борьба каждого за свою жизнь. Там все построено на взаимном истреблении: мойва пожирает моллюсков, треска и семга пожирают мойву, тюлень пожирает треску и семгу, белый медведь пожирает тюленя.

Поморы и норвежцы на утлых суденышках плывут через океан туда, к вечным льдам. В океане их треплет свирепый шторм. Темно-зеленые волны бросают суденышки, как скорлупу... И не на северных ли морях создалась поговорка: «Кто на море не бывал, тот богу не маливался».

У кромки вечных льдов смелые зверобои оставляют суда и пешком бродят вокруг по льдам, охотятся на тюленей, моржей, белых медведей.

Что же, разве видят они голубой рай в этой ледяной стране?

Наш ледокол забрался далеко в вечные льды. Никогда ни одно судно не забиралось сюда. И в те часы, когда солнце ярчайшим светом заливало всю ледяную равнину кругом, я невольно вспоминал о приполярном рае. Льды, всюду ослепляющие льды. Кое-где вода чернела в трещинах, молчаливые птицы летали над льдами. Иногда виднелось на льду черное пятно — тюлень. Иногда желтоватое живое пятнышко двигалось вдали — то брел

по льду белый медведь. Над медведем кружились чайки. Холодно кругом, холодно.

Нет рая здесь!

И вот однажды в утренние ранние часы, когда все было полно ледяного сверкания, к нашему кораблю подошел большой белый медведь. Его уже давно заметил штурман с капитанского мостика и сказал о нем охотникам. Охотники торопливо вооружились винтовками, встали вдоль борта, приготовились стрелять. Медведь неторопливо шел к кораблю, не чуя беды. Он подходил все ближе и ближе. У него был такой вид, что вот-вот сейчас он придет на борт и сердито спросит: «Кто вы такие? Откуда прибыли? Какое имели право забираться сюда?»

Охотники ждали его, дрожа от нетерпения. Каждому хотелось выстрелить первому. Каждый надеялся, что именно его пуля убьет страшного зверя.

Медведь был еще далеко, когда грянул нетерпеливый выстрел. Медведь остановился, удивленно поднял голову. Тогда разом грянул десяток выстрелов, и какая-то пуля задела медведя. Он медлительным прыжком качнулся в сторону, повернулся и побежал прочь от корабля, и было видно, как широкая красная полоса потянулась по его следу. Охотники пустили целую тучу пуль вслед медведю, пули подстегивали медведя, но он не падал, бежал еще прытче и скоро скрылся в ропаках и торосах. Охотники — смущенные и опозоренные — принялись ругать друг друга,— это было забавное зрелище для всех, кто не стрелял.

Я вышел на лед, чтобы посмотреть медвежий след. Крови на льду было много, ярко-красной, артериальной крови. Я решил: медведь ранен серьезно. Вероятно, он убежал за ближние ропаки, там лег издыхать. Я вернулся на корабль, взял винтовку, патроны, опять пошел на лед. У штормтрапа меня догнал летчик Сергеев.

— Куда?

— Посмотрю, далеко ли убежал медведь.

— Подождите, я пойду с вами.

Через минуту он с винтовкой в руке уже спускался по штормтрапу на лед. Через поле, возле которого стоял наш корабль, мы прошли быстро. Вот первые ропаки. Мирными бугорками они поднялись справа и слева. Медвежий след все с такими же ярко-красными отпечатками крови шел между ними.

За первыми ропаками мы нашли новое поле. Медведь пересек его из угла в угол. На поле уже были лужицы воды из тающего снега. Мы знали: это вода проедает толстый полярный лед, уходит вниз. В этих лужицах есть промоины, в них легко провалиться, погибнуть. Я вынул из кармана веревку, один конец привязал к левой руке, другой дал Сергееву.

Так, связанные, саженях в пяти друг от друга, мы пошли по следу. Веревка тонкой змейкой ползла между нами. Если провалюсь под лед я, мой товарищ вытащит меня. Если провалится он, я его вытащу.

За полем опять встали ропаки и торосы. Мы шли словно по разрушенному городу с белыми, изломанными стенами. Высокие льдины иногда преграждали путь. Идешь вот прямо, будто выхода нет, все кругом нагромождено, но медвежий след вел переходами самыми удобными. Медведь инстинктом чуял путь. Огромные лапы его оставляли на снегу след, похожий на большие фаянсовые блюда. Крови стало меньше, но все же красной цепочкой она блестела на белейшем снегу.

Солнце сияло. Кругом было тихо. Мы все еще надеялись, что медведь где-то здесь, за ропаками, лежит, дожидается нас. Мы шли настороженно. Сколько шли, час или больше? В охотничьем увлечении мы не замечали ни времени, ни пути. Уже давно наш корабль скрылся из глаз. Вдруг что-то неясное мелькнуло впереди. Это был медведь. Мы с новой силой побежали вперед по его следу. Снег шуршал под нашими ногами, лед кругом был весь взломан, уже не было не только полей, но даже маленьких полянок,— мы прыгали со льдины на льдину. Однажды я прыгнул, поскользнулся и по грудь ушел в воду. Сердце замерло. Ледяные струи побежали по всему телу. Сергеев потянул веревку, привязанную к моей левой руке, я быстро выбрался на льдину.

Я не мог бежать, высокие сапоги полны были воды.

Поспешно сбросил их, вылил воду, снова обулся,— на это пошло, может быть, минуты две, но за эти две минуты Сергеев раз сорок повторил:

— Скорей, скорей!

Мы побежали дальше. Медведь опять мелькнул за ропаками, точно дразнил нас. Он, как крючками, когтями зацеплялся за вершину льдины и легко перелезал через нее. Мы с трудом карабкались за ним. С высокого тороса вдали было видно широкое разводье. Голубой рекой оно протянулось вправо и влево. Медведь подходил к разводью.

Шириной оно было сажен сто. Скоро мы тоже подошли к нему. Медведя уже не было. На том берегу на снегу виднелись синеватые пятна, царапины и дальше следы — медведь переплыл, ушел. Вправо и влево разводье уходило широчайшей рекой — его не обойти. Разочарованные, мы остановились. Я сбросил кожаное пальто на лед, снял шапку, сел, положив винтовку рядом с собой.

Сергеев тоже поднялся на торос, разделся, разостлал пальто.

Мы молча оглядывали разводье, небо, льды кругом... И вот, когда с меня мало-помалу схлынул свирепый охотничий задор, я вдруг увидел перед собой картину, которая мне будет памятна до смерти.

Гладкая, словно отполированная поверхность полярной реки светилась под солнцем нежным светом. Она походила на тончайший голубой шелк. Блестящие льдины тихо плыли по этой голубой реке — льдины самой неожиданной, самой причудливой

формы, точно сказочные райские птицы. Оба берега изрезаны бухтами, заливами, трещинами. Высокие ледяные башни, стены, переходы и арки нависли над водой и справа и слева. В льдинах виднелись пещеры, гроты, окна, пронизанные голубым светом. Вершины льдины светились разноцветными огнями, точно лежали там огромные бриллианты. Все было полно молчания.

Мы сидели неподвижно. Мы будто забыли, что на нас мокрая, оледенелая одежда. Притихшие, очарованные, мы заговорили почему-то шепотом:

— Как хорошо!

Вдруг на том берегу разводья из-за льдины показалась голова. Что такое? Мы всмотрелись. На нас глядел медведь, тот самый, за которым мы гнались. Удивленные, мы поднялись и захохотали — так смешна была эта выглядывающая медвежья голова. Нам уже не хотелось стрелять.

Мы, охотники, бежали за ним сюда, до этой волшебной реки, теперь нам пора вернуться. Мы оделись, взяли винтовки, пошли назад.

Медведь позади поднялся на высокий ропак. Встав на задние лапы, он смотрел нам вслед, ему, должно быть, хотелось знать, что за двуногие звери приходили сюда. Мы оглядывались на медведя, все дальше и дальше уходили назад к кораблю, к обыденному, к жизни. И тут я вспомнил старика сказателя:

«Далеко-далеко, за бурливым океаном, за снегами вечными, за льдинами, за туманами, лежит голубой рай...»

*1930*

## ВОЛЧЬЯ НОЧЬ

### I

Кто-то стукнул в окно. Катерина с ребенком на руках прильнула лбом к самому стеклу. Перед окном стояли четверо — неясных в сумерках и дожде. Двое завернули чапаны подолами на голову, маячили, будто придорожные столбы, под крышей лица белели, как иконы. У переднего, что стоял ближе всех к окну, борода была во весь чапан. Катерина не узнала никого.

— Кто тама? — спросила она, чтобы хоть по голосу узнать.

— Дома, что ли, Лукьян-то?

— Нету его. В сельсовете. Вы туда толкнитесь.

— Да нам сказали, будто сейчас домой он будет. Мы подождем. Отопри, Катерина, мы у тебя перебудем, пока придет. Нам не рука опять по грязи идти версту.

— Никак, Макар Спиридоныч? Что ж, заходите. Дверь не заперта.

Катерина быстро положила ребенка на кровать, выбежала в сенцы неслышными шагами, отодвинула засов и опять неслышными шагами вернулась в избу, взяла ребенка на руки: ей хотелось скрыть от этих людей, что она боится, целый день сидит на запоре.

Уже сумерки надвинулись густые, углы избы и пол потонули во мраке. Лишь окна белели неясными пятнами. Мужики черными медведями влезли в избу,— топоча лаптями и сапогами, покрякивая, шумно отряхивая воду с чапанов.

— Еще здравствуйте! — проговорил Макар.— Никак, одна днюешь?

Катерина спиной прислонилась к кровати с ребенком на руках, прижимала его крепко к груди, словно хотела усмирить сердце, что колотилось, как пойманная синица.

— Одна... с кем же мне? — глухо ответила она.

— Так, так. В такую грязь кому охота по гостям ходить? Мы вот и не пришли бы, да нужно. Когда Лукьян-то придет?

— Да вы сейчас сами сказывали: придет скоро. Аль это неправда?

— А, да, придет, придет. Нам у сельсовета сказали, будто домой он пошел. Завернул, поди, куда-нибудь.

— Кто сказал?

— Я уж и забыл кто. Будто Мокей. А может, и не Мокей.

— Что же, садитесь, в ногах правды нет.

— Это правильно, в ногах правды нет. Да ныне, положим, ее нигде нет, правды-то. А сесть можно.

В словах Макара была очесливость, а в голосе иголки. Катерина затревожилась: «Зачем пришли? Кто такие?» Она силилась разобрать в темноте, что за люди пришли,— и, кроме Макара-кожевника, никого не могла узнать. И по-деревенски прямо она спросила:

— Чтой-то я не разберу, кто с тобой пришел, Макар Спиридоныч.

— Ай не узнала? Это Силантий Ерофеич. Богатым ему быть.

— Да будет тебе, Макар, беду-то на мою голову накликать,— тенорком пропел Силантий,— бо-га-тым! Ныне богатому со свету беги.

— Хе-хе. Перевернулась жизнь. Это я так сказал, по старой памяти. Ныне надо говорить: «Не узнал, бедным быть». Вот будет к месту.

«Зачем пришли?» — опять тревожно подумала Катерина.

— Ишь до каких Лукьяна-то нету. Что ж он, кажний день так?

— Почесть кажний день поздно вертается. Бывает, и перед утром приходит.

— Знамо, дела-а,— опять пропел Силантий.— Ныне у таких, как Лукьян, только и дела. Башка. Первый человек на селе. А мы что? Мы в сторонке, нам знай молчи.

Те двое, что сидели у двери,— черные, не разобрать кто,— задвигались, закашляли, и кашель у них был такой, будто они кашлем хотели что-то сказать.

— Ты говоришь, перед утром приходит иной раз?

— Перед утром. Жду, жду, петухи другой раз пропоют, а его нет.

— И боишься, поди?

— Да ведь как не бояться-то? Все теперь на него лают. Все злобятся. Молю-прошу: «Брось будоражить. Аль тебе больше других надо?» Так нет, одно свое...

— Буеристый он у тебя. Ни свою, ни чужую голову не жалеет.

— Боюсь, как бы беды не случилось. Убьют, как в Литовке Васякина убили.

— Ну, это, положим, ты зря говоришь. Кто решится его убить? Всякому своя жизнь дорога. За Васякина двоих расстреляли. Жена, слышь, опознала, кто убил.

Один из черных кашлянул протяжно, и в его кашле Катерина услышала смех. «Высматривать пришли. Не убить ли собираются?» Она вспомнила: Макар-кожевник и Силантий больше года не разговаривали с ее мужем, после той бучи, когда Лукьян описал их как богатеев и отобрал хлеб...

— Хорошо ли вы... живете-то, Макар Спиридоныч? — спросила она, чувствуя, как слабеют от страха ее руки.

— Да ведь, ежели правду сказать, мы живем, как начальство велит.

— Хе-хе,— дребезжащим смехом засмеялся Силантий,— какая наша жизнь? Работать на других, а спать на себя — вот и весь сказ.

Черный у двери снова кашлянул протяжно.

— Что-то темно. Аль у тебя, Катерина, лампы нету?

Катерина дернулась было — хотела зажечь лампу, но тут же подумала, что при свете эти люди все высмотрят, и опять осталась стоять у кровати, покачивая ребенка.

— Народ-то теперь какой стал? Все лают, все грызутся...

— Да, это ты правильно,— подтвердил Макар,— народ изсвободился. Ныне никто никому не уважит.

Силантий стал закуривать. Закурив, он высоко поднял зажженную спичку, чтобы осветить избу. Но спичка скоро погасла. Черный опять кашлянул.

— Да ты бы зажгла лампу, Катерина. Что в темноте сидеть?

— У меня спиц нету,— с трудом ответила Катерина.

— А у нас-то на что? — с готовностью воскликнул Макар.— Давай-ка я зажгу. Где у тебя лампа-то?

Катерина молча положила ребенка на кровать, протянула руку к стене — там на гвоздике висела лампа.

Макар зажег спичку, встал возле Катерины. Длинный язык огня с копотью на конце поднялся от фитиля. Катерина привернула фитиль, надела стекло. Шорох толкнул ее посмотреть

назад. Она обернулась. Оба черных — молодые незнакомые парни — приподнялись со скамьи и круглыми блестящими глазами осматривали избу. Они быстро, воровски посмотрели на окно и кровать и переглянулись. Задрожавшими руками Катерина повесила на гвоздик лампу. Когда она опять оглянулась, парни сидели, опустив головы, смотрели исподлобья. Ребенок заверещал на кровати. Катерина взяла его на руки.

— Да это чьи же парни-то? — грубо спросила она.— Я их чтой-то не знаю.

— А они тоже по делу к Лукьяну пришли.

— Долгонько что-то его нет,— хрипло сказал парень,— а нам-то недосуг. Может, в Совет сходим, там увидим?

— Что ж, пойдемте в Совет. Чего зря сидеть здесь?

Они поднялись, все четверо, размашисто надели шапки. Катерина опять заметила: парни цепко осматривают избу.

— Ну, прощай, Катерина!

— Прощайте!

— Ночь-то, ночь-то, самая волчья: ветер да темь,— сказал Макар и угрюмо усмехнулся.

— Верно! Самая волчья,— откликнулся парень уже в сенях.

Собака во дворе коротко и злобно пролаяла. Калитка хлопнула. Катерина, заперев сени, вернулась в избу и вслух пробормотала:

— Что ж это будет-то?

## II

Ребенок верещал надоедливо. Катерина положила его в зыбку, надвинула басовики на ноги, накинула чапан на голову, вышла, чтобы закрыть окна. Ветер окреп. Он хлопал доской на крыше, порывисто ломил в ворота и забор, хлестал дождем со всех сторон. Собака выскочила из-под чеченька, повизжала, покружилась, пытаясь облапить; Катерина захватила из сеней два соломенных заслона, вынесла на улицу. Улица была темная, пустая. Сквозь дождь светился маленький огонек у Савоськиных — через двор. Другие избы стояли мертвые.

«Ветер да темь — волчья ночь»,— вспомнила Катерина Макаровы слова. Ей стало жутко. Ветер рвал сзади юбку и чапан — а казалось: кто-то злой хватает холодными руками. Она загородила заслонами оба оконца с улицы, вошла на двор, где под ногами опять завертелась собака; Катерина вытащила из сеней еще соломенный заслон, приставила его к окошку, что глядело на двор. Ветер сердито пошелестел соломой, Катерина двинула заслон глубже в окно — до самого стекла, плотно утыкала солому рукой и, громко хлопнув сенной дверью, вошла в избу. Стуком она хотела прогнать страх.

Ребенок надсаживался в крике, лицо у него стало чугунным.

— А, паралик тебя разбей! — крикнула Катерина и вытащила ребенка из зыбки.— Ну, что ты орешь? Аль режут тебя? Молчи!

Она широкими взмахами (туда-сюда, туда-сюда) принялась укачивать ребенка на руках. Ребенок засопел, замолчал. Сразу стало тихо. Катерина прислушалась. На крыше и за стенами свистело, хлопало. Тонкий голос в трубе пел длинную, нудную песню — то утихал, то усиливался. Катерина глянула на пол — там еще чернели пятна грязи, притащенной мужиками на ногах,— и эти пятна, и плач ветра в трубе будто грозили. Она подумала о вечерах, о днях и ночах, что проводит теперь одна в избе,— и ей стало жутко. Качая ребенка, она прошлась от кровати к двери и назад, сказала вслух:

— Какая это жизнь? По этой жизни мальчишку только жалко, а то бы хоть сейчас помереть.

В окне зашумела солома, по крыше стукнуло. Во дворе залаяла собака,— сначала сердито, потом сразу взвизгнула радостно. И щеколда в сенях забарабанила торопливым стуком.

«Он!» — обрадовалась Катерина и выбежала в сени.

— Ты, Лукьян?

— Я.

Не затворяя дверь, она вернулась в избу. Ее лицо посветлело, но когда вошел вслед за ней Лукьян, она опять нахмурилась, отвернулась недовольно.

Лукьян молча повесил на гвоздь мокрый пиджак и шапку, сел на лавку у двери, стал стаскивать с себя сапоги. Он мельком глянул на жену и тут же заметил, что она недовольна.

— Что, аль на тебе черти ездили, Катерина?

— Еще не знаю, на ком ездили. Не на тебе ли?

— Аль что случилось?

Катерина нагнулась над зыбкой, ничего не ответила. Лукьян в одних чулках подошел к столу, положил кипу бумаг, посмотрел на жену.

— Слышишь, што ль? Тебя спрашиваю.

— Со мной-то ничего не случилось. Да вот как бы с тобой чего не случилось,— запальчиво ответила Катерина,— Макара-то кожевника видел?

— Не видал. А зачем мне его видеть?

— Значит, нужно, ежели он к тебе приходил.

— Зачем?

— Да тебе лучше знать зачем.

Лукьян хмуро глянул в пол. Брови его сошлись над переносьем.

— Один приходил?

— С Силантием Ерофеевым...

— Ага, одного гнезда воры.

— И с ними два парня какие-то. Хотели в Совет пойти, тебя там отыскать. Так и думала: по дороге встренут тебя и пришибут.

— Да парни-то какие? — крикнул Лукьян.

— А я знаю? Никогда не видала их. Чужие чьи-то. Гляди, высматривать приходили. По твою голову.

— Ну, насчет моей головы, пожалуй, обожгутся. А все ж интересно, каки таки парни.

— Вот что я тебе скажу, Лукьян,— зачем ты смерть пытаешь? Всех ты рассердил. А люди с сердцов чего не наделают?

— Это не твое дело.

— Как это не мое? Тебя убьют, а я с кем останусь? Куда я пойду с дитем малым? Приходил поутру батюшка,— всегда шутит, всегда смеется, а ныне говорит: «Две лошади у меня сдохли от теперешней жизни, а я все живу. Пора и мне подыхать». Это как? Всем плохо, только тебе хорошо.

— Потерпеть надо, всем будет хорошо.

— Когда хорошо-то будет? Гляди, ты больше всех шумишь, больше всех кричишь, а у нас хоть бы жисть хорошая была, а то ни во дворе, ни в доме.

— Подожди, не все вдруг.

— Дождешься, пока ноги протянешь. Вот Мокей Семеныч человек-то какой был...

— Мокей был кулак. Он отжил свою жизнь. Да что с тобой говорить? Не хочешь понимать, и не понимай, твое дело.

Катерина обиделась. Она размашисто поклонилась Лукьяну в пояс, сказала насмешливо:

— Виновата, что для вас серовата.

Лукьян равнодушно откликнулся:

— Будет дурака валять. Давай ужинать.

Катерина молча положила на стол ковригу хлеба, порылась в печи, достала горшок, и в избе запахло прокисшей похлебкой. Стало опять слышно, как выл ветер, хлестал дождь в стены. Соломенный заслон в окне шевельнулся. Катерина испуганно остановилась. Лукьян спросил:

— Ты что?

— Будто в окно кто смотрит.

Лукьян пристально посмотрел на окно.

— Кому смотреть? Чудится тебе. Поздно уже — гляди, десятый час.

— Эка ветер какой. Правду Макар сказывал: волчья ночь.

— Макар? Надо будет с ним поговорить завтра, каких он парней приводил. И про волчью ночь эту...

— Эх, Лукьяша, прямо тебе говорю: боюсь я так жить. Ровно на войне какой. Пришли — на окна глядят, на кровать глядят. Не прицеливаются ли?

— Будет зря говорить. Какая война? Ежели Макар сбрехнул — и война? Ему отпор надо дать.

То, что муж говорил равнодушно, не ругался, успокоило Катерину,— она перестала прислушиваться к вою ветра и оглядываться на окна.

Она шариком забегала по избе, а ветер и дождь колотились в стены.

## III

Перед сном, уж раздетый, Лукьян достал из-за печки топор, поставил его возле кровати, лег. Катерина еще говорила ему что-то, оглянулась, а Лукьян уже мирно похрапывал.

«Эк, умаялся! Воитель».

Она дружелюбно, долгим взглядом посмотрела на мужа. Лицо у Лукьяна было бледное, замученное. У ножки кровати поблескивал топор. Катерина нахмурилась, насторожилась. Она опять услыхала, как за стеной дико воет ветер. Поспешно убрав все со стола, она потушила лампу, разделась и легла на кровать. «У-ю! — выло за стеной.— У-ю!» «Хшш!» — шуршал дождь по соломе. Опять страх капля за каплей стал падать на сердце. Катерине представилось: вот они одни с Лукьяном, против них-то сколько? И в завываниях ветра она слышала угрозы, те, что уже слышала не раз от богатых мужиков. Власть бы им, они в мякину бы измололи Лукьяна. На память пришла ссора с Ванькой Косовым: «Ждет тебя, Лукьян, темная ночка. Сделаем мы тебе спину такой мягкой, как твое брюхо!» Выплыло из темноты Ванькино лицо, кривое от злобы. «Ую! ую!» — свистело и выло на крыше. Катерина закрылась с головой, чтобы не слышать воя, и сейчас же услыхала громкий собачий лай. Она отбросила одеяло. Во дворе лаял Бровко, лаял злобно, на чужого, но людских шагов не было слышно. Потом лай оборвался. «Прошли!» — решила Катерина и вздохнула протяжно,— как гора с плеч. Дрема подходила к ней неслышными шагами. Мужики со свистом и улюлюканьем потащили бревно в избу. «Ую! ую!» — кричали они. Бревно было длинное-длинное, уже протянулось через всю избу, а конца еще не было видно. «Батюшки, они окно разобьют!» — забеспокоилась Катерина и — проснулась. «Ую! ую!» — пело за стеной. Соломенный заслон в окне зашелестел. «Пришли!» — с ужасом подумала Катерина и всеми десятью пальцами уцепила Лукьяново плечо, сдавила что было силы.

— Лукьян! Проснись! Пришли! — зашептала она Лукьяну в ухо.

— А? Что? Не пройдет,— пробормотал Лукьян.

— Проснись же, пришли!

— Кто пришел?

— У окна стоят. Сейчас полезут.

Лукьян поднял голову, прислушался. За стеной чавкнула грязь, кто-то переступал с ноги на ногу. Соломенный заслон в окне шевельнулся. Лукьян вскочил с кровати, точно пружина, на полу чуть звякнул топор, зыбка заскрипела в кольцах,— должно быть, Лукьян сильно толкнул ее,— и ребенок пронзительно заплакал. Перепуганная его плачем, Катерина соскочила с кровати, обеими руками схватила зыбку за ремни и принялась качать изо всей силы взад — вперед, взад — вперед... Половица у стены скрипнула — Катерина догадалась: Лукьян стоит между

окнами, ждет. Ребенок заорал сильнее, высоко подбрасываемый в зыбке. И сразу молния осветила избу, ахнул гром, страшная сила рванула зыбку в сторону. И опять сразу тьма. Ребенок зашипел, стал захлебываться. Катерина крикнула протяжно истошным голосом. Лукьян отозвался ревом, затопал босыми ногами у двери, потом в сенях, громко двинул засовом — и промчался двором мимо разбитого окна, крича во всю глотку.

— Держи-и-и!

Ветер прошел по избе — из отворенной двери и разбитого окна.

— Держи-и!

Лукьян мчал вдоль улицы с топором в руке, увязая босыми ногами по колено в грязь. Дождь бил его в лицо, в голову, в грудь.

— Держи-и!

А кругом — ни огонька. Избы стояли черные, небо и земля — черные. И черный ветер ломил, свистел. И ни звука нигде, сколько Лукьян ни прислушивался.

— Держи-и! — в последний раз прокричал он.

Собаки во дворах коротко пролаяли. Бегом Лукьян вернулся назад, промокший до волосинки, дрожащий, измазанный грязью выше колен, в холщовых портах и холщовой рубахе. В избе уже горел огонь. Катерина, со всклоченной головой, в одной посконной рубахе, босая, стояла в углу у печки и прижимала к груди ребенка, покачивала его. Голова ребенка истово болталась, как шар на веревочке. Кровь обильно стекала с его маленьких ножек прямо на посконную рубаху Катерины, а с рубахи на пол. Глаза у Катерины округлели, выросли безумно. Зыбка еще качалась, и кровь капала с нее на пол.

*1930*

## ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Часы на Спасской башне в Кремле играют «Интернационал».

Точно стая перелетных птиц в небе, они перекликаются в полдень и в полночь и перекликом зовут вдаль — к борьбе и будущему. Десять лет назад, в день Первого мая, они заиграли впервые гимн рабочих всего мира. До этого часы молчали пять лет, потеряв голос в октябрьскую ночь, когда в Москве шли уличные бои. Солдат революции Егор Толчков заставил их тогда замолчать, возмущенный их старой песнью...

...Толчков прошел по темной казарме, переполненной спящими, проорал во всю глотку:

— Товарищи! Кто хорошо знает Москву? Иди в канцелярию! Товарищи!

Фонариком он освещал нары. Перепуганные, бледные лица поднимались на крик:

— А? Что? Москву? А-ну, ребята, кто москвичи?

Толчков прошел до конца казармы,— солдаты, уставшие после четырехсуточной борьбы, спали каменно, и надо было многих будить. Через пять минут в канцелярию пришло семеро. Наскоро накинув шинели, они на ходу застегивались. Лампочка светила под потолком. Лица были встревожены: «Что такое?»

— Вы хорошо знаете Москву? Откуда лучше всего видно Кремль? — торопливо приступил Толчков.

Все семеро переглянулись. Откуда? Из многих мест хорошо видно Кремль: с Каменного моста, например, с Воробьевых гор...

— Нет, вы мне укажите такое место, чтоб можно подъехать с орудиями и бить прямым выстрелом. Бить надо в Малый дворец. Там сейчас штаб белых... а на Каменный нельзя. Нас перебьют, как ворон.

Низенький большеголовый фейерверкер спохватился:

— А, вот, лучше всего видно Кремль со Швивой горки. Оттуда как на ладони. Там есть церковь Никиты. Я помню, от нее Малый дворец хорошо видать. И подъехать можно незаметно, переулками.

— И ты знаешь дорогу? Чтобы под обстрел не попасть? А ну, веди.

В темноте под моросящим дождем батарея двинулась по улицам и переулкам. Впереди на зарядном ящике ехал большеголовый солдат-москвич, указывая путь, а Толчков верхом на лошади крутился справа и слева. Обе пушки тяжело ворчали по камням мостовой, зарядные ящики гремели звонко. А впереди и сзади шли цепи пехоты с винтовками наготове, дробно стуча сапогами. Цепи прикрывали батарею. Весь воздух дрожал от пулеметной трескотни, ухал от пушечных выстрелов, что доносились с Воробьевых гор и Ходынки. Полыхающее зарево красной тучей стояло над огромным городом, фасады домов с темными окнами, как лица со слепыми глазами, тревожно менялись. Порой впереди резкий голос орал:

— Кто идет? Стой! Пропуск!

То были заставы восставших. Толчков на лошади скакал к ним, совал бумажку.

— В Кремль! Прямой наводкой!

Улицами и переулками мимо вокзалов и дальше через Яузу батарея к рассвету добралась на Швивую горку. В мутном рассвете красная церковь Никиты с белыми наличниками казалась зловещей громадой. Зарево пожара отражалось в ее окнах и в стеклянной галерее. Егор Толчков верхом въехал в ограду, объехал церковь кругом. Вниз от церкви целой сетью спускались кривые переулки. Кремль на ближнем холме был виден весь. Черные башни вонзались в небо. Храмы и дворцы

стояли безмолвно, притихшие, придавленные. За Кремлем полыхал пожар.

Толчков подал знак, и пушки въехали в ограду. Все делалось очень торопливо: всем хотелось, чтобы до полного рассвета можно было встать незаметно на позиции. Зарядные ящики встали за церковью. Ездовые быстро отпрягли лошадей, увели за церковь, пушки выставили хоботы через ограду. Ограда и липы прекрасно маскировали батарею. В самый разгар установки вдруг из-за церкви вышел бородатый поп в черной шляпе-полукотелке и с ним молодая девушка. Поп, сердито хмурясь, подошел к Толчкову, все еще кружившемуся верхом на лошади, сказал строго:

— Вы начальник здесь? Уберите пушки отсюда! Нельзя стрелять там, где святыни.

Толчков плетью показал на Кремль, спросил запальчиво:

— А там святыни есть? Ага. А ты не видишь, как оттуда стреляют в нас? Что ж, от тех святынь стрелять можно в нас, а от этой в них нельзя?

— Все равно, отсюда стрелять нельзя,— упрямо отрезал поп.

Толчков кинул плеть, резким движением вынул из кобуры револьвер и направил его попу в лицо:

— Уйди, гад, прочь! Застрелю!

Поп в испуге поднял руки, сделал шаг назад и, споткнувшись о камень, грохнулся наземь. Девушка кинулась на него, защищая его от выстрела. Толчков, размахивая револьвером, кричал:

— Убирайтесь прочь сейчас же! Прочь! Прочь!

Девушка судорожно вцепилась в попа, помогла ему подняться, оба торопливо убежали за церковь. Солдаты хохотали.

— Белье пошел менять. В другой раз не придет.

Толчков соскочил с лошади и с биноклем в левой руке поднялся на ограду, правой держась за решетку. Рассвет уже был полный. Внизу правильными громадами лежал воспитательный дом, за ним — серая полоса Москва-реки, перечеркнутая мостами, и Кремль над рекой с игрушечным Царем-колоколом у подножия Ивана Великого. Ни одной человеческой фигуры не было видно ни на площади, ни у дворцов. Только в пролетах памятника Александру Второму мелькал часовой да на стенах между зубцами шевелились серые фигуры.

— Что видно? Что видно? — нетерпеливо спросил большеголовый фейерверкер-москвич, хотя простым глазом было видно, что Кремль пуст.

— Попрятались, дьяволы! — сказал Толчков, слезая с ограды.— А вот мы сейчас их пощупаем.

Прищуренные глаза у него засветились буйством. Он громко скомандовал:

— Первое орудие на пристрелку по Малому дворцу!

Пока он лазил на ограду, солдаты («номера») уже успели зарядить снятые с передков пушки. Фейерверкер проверял панораму.

— Первое орудие!.. Огонь!..— отрывисто выкрикнул Толчков.

Длинная струя огня сверкнула молнией, пушка скакнула, гром грохнул оглушающе, позади с тонким звоном посыпались стекла галереи и церковных окон. С куполов и крыш сорвались стаи голубей и галок и судорожно заметались над городом, над рекой. Толчков смотрел в бинокль. Стена у кремлевской церкви Двенадцати апостолов закрылась пылью.

— Возьми правее! — повернулся Толчков к наводчику.

Орудие снова было заряжено. Толчков сам проверил панораму.

— Огонь!

Стена Малого дворца задымилась, в бинокль было видно, как куски штукатурки и камни плеснулись на тротуар. Красное пятно пробоины завиднелось над окном нижнего этажа. Прицел был найден.

— Беглый огонь из обоих орудий!..

Солдаты забегали — заряжали быстро,— оба орудия били вперегонки. Малый дворец весь закрылся пылью, словно загорелся. Из окон выскакивали люди, бежали вдоль стен. На площади между соборами у подножия Ивана Великого появилась пушка — за ее щитом прятались артиллеристы. Огонь мелькнул там,— Толчков неистово крикнул:

— Ложись! — сам присел за камни ограды.

В воздухе лопнул гром. Над оградой развернулся белый тугой клубок дыма, и по камням щелкнули пули.

— Ах, они так?..— заорал большеголовый солдат-москвич.— Товарищ Толчков, ну-ка их катнем!..

И тут Кремль, дворцы, храмы, старина, «святыни» как-то сразу исчезли, уже никто не думал больше о них,— только остались люди, борющиеся не на жизнь, а на смерть. Белогвардейская шрапнель разрывалась точно над оградой и куполом церкви «великомученика Никиты, что за Яузой»,— белые клубки дыма, похожие на кораблики, плавали в воздухе,— шрапнельные пули дождем осыпали и стены церкви, и камни ограды, сбивали ветки с деревьев, ранили двух лошадей, убили солдата в тот момент, когда он вынимал снаряд из зарядного ящика. И надо было точно следить, прятаться при выстрелах...

Отсюда оба орудия били по Кремлю тоже точно: снаряды рвались на каменных плитах у подножия Ивана Великого, у Грановитой палаты, и какой-то снаряд ударил в орудие,— от него скакнул прочь человек и упал (в бинокль Толчков видел), орудие встало боком, и никто к нему не подходил. Здесь закричали радостно:

— Подбили! Подбили! Ура!

С кремлевских стен работал пулемет, стреляли из винтовок, пули срывали ветви деревьев — вот здесь, прямо над головой,— били в стены церкви, звякали в окнах и в застекленной галерее. И солдаты уже добирались ползком к орудиям, к зарядным ящикам. От выстрелов гудело в ушах, все были сосредоточены, с упрямым выражением в глазах. И деловиты. В этот день вся Москва была полна пушечной и ружейной пальбой — и, кроме пальбы, ни Толчков и никто из солдат не слышали будто ничего. Но вот всё тот же большеголовый фейерверкер-москвич крикнул:

— Толчков! Ты бы распорядился за обедом послать. Пора. Двенадцать часов.

— Откуда ты знаешь, двенадцать?

— А слышь, часы бьют?

Толчков прислушался. Раздельно, точно, неторопливо часы Спасской башни отбивали полдень. Были моменты — ахнет пушечный выстрел, очередной удар часов пропадет в громе, но потом опять точно, неторопливо: «дон, дон, дон». И, отсчитав двенадцать, часы заиграли... Они заиграли что-то Толчкову незнакомое — будто рассыпали звоны, беспорядочные и разноголосые,— так разноголосо и беспорядочно кричат перелетные стаи журавлей в небе осенью.

Они звонили долго, и со странным напряжением Толчков слушал их, прижавшись к каменной ограде у ствола самой толстой липы. Потом он забыл о часах, но этот разноголосый звон все еще звучал у него в ушах.

День пошел туманно и беспокойно,— над Москвой моросил дождь, пелена сизого дыма стояла над Кремлем, над Замоскворечьем, гул все усиливался,— артиллерия била по Кремлю со всех сторон. За церковью, где понуро стояли лошади и лепились под стеной солдаты и мальчишки, уже работал полевой телефон. Толчков кричал кому-то:

— Никого не видать! В Малом дворце выхлестали все окна! А? Не слышу! От них не стреляют. Только из пулемета жарят. Еще нажать? Нажмем! Снарядов хватит!

От телефона, пригибаясь, почти ползком, опять бежал к ограде, к липе — на свой наблюдательный пост,— командовал: «Огонь!». И после грохота его слух невольно ловил бой часов,— может быть, ухо, слушая мирный звон, хотело отдохнуть от пушечной пальбы. «Дон, дон, дон...» Часы отзвонили шесть раз. Толчков повернулся к солдату-москвичу, сказал:

— А в полдень они что-то названивали.

Солдат сердито засмеялся:

— В полдень и в полночь они восхваляют царя.

— Как восхваляют?

— Играют гимн «Боже, царя храни»!

— Гимн? Не может быть! — насторожился Толчков.

— А вот послушай.

Толчков приставил бинокль к глазам, долго смотрел на башню, на часы.

«Не может быть!» Кремль стоял уже заваленный обломками.

С вечера стрельба все усиливалась и только перед полночью вдруг начала стихать. Из темноты к церкви Никиты пришли рабочие с винтовками на веревочках, с ними два солдата, четыре мальчугана лет по шестнадцати, тоже с винтовками, все говорливые, с задором, веселые.

— Наши взяли Думу, выходят на Красную площадь. Гляди, сейчас Кремль заберут. Белые пардону просют!

Один рабочий с широкими, как ворота, плечами безбоязненно подошел к орудиям, к ограде. На него крикнули:

— Куда прешь? Убьют!

Но он, не оборачиваясь, ответил:

— Кто убьет? Юнкеря теперь деру дают. Гляди, вся площадь в Кремле порожняя.

И эти слова для всех будто свет: юнкеров уже нет на стенах. Кремль опустел. Стреляли теперь только где-то на Остоженке. Толчков поднялся на ограду, долго смотрел в бинокль. Вдруг в неясном свете за Малым дворцом он увидел что-то живое — будто уходила толпа.

— Гляди! Уходят! Уходят! Бей их! — заорал он и, соскочив с ограды, показал наводчику, куда бить.

Пушки грохнули. Черное, живое исчезло. Опять стало тихо. И вдруг в наступившей тишине зазвонили часы Спасской башни, Толчков встрепенулся и замер, слушая. Часы торжественно, неторопливо пробили двенадцать. И тотчас заиграли — разноголосый звон рассыпался в тишине. Толчков весь вытянулся, чуть повернул голову, левым ухом вслушиваясь. Да, часы играли «Боже, царя храни». Звуки четко сплетались в знакомый мотив. Казармы и война врезали в сердце этот мотив. Пусть царь уже свергнут и уже сидит в Сибири, а часы над разбитым Кремлем все поют «Боже, царя храни» — гимн насилия и унижений.

Словно подкинутый, Толчков скакнул к орудиям, закричал:

— По часам Спасской башни! Оба орудия!

Наводчик правого орудия тотчас припал к панораме. А другой удивленно сказал:

— Что ж стрелять? Там нет никого!

— А не слышишь «Боже, царя храни»? Наводи!

— Есть часы! — сказал первый наводчик, поднимаясь.

— Огонь! — скомандовал Толчков и отбежал в сторону, чтобы видеть, куда попадет снаряд. Широкоплечий рабочий стоял возле, зажимая уши ладонями. Выстрел ахнул, на Спасской башне заклубилась пыль, но часы, едва видные в полумраке, все еще пели. Из-за церкви прибежал солдат: «Товарищ Толчков, тебя к телефону, скорей, скорей!»

— Снова заряжай! — крикнул Толчков наводчику и побежал за церковь.

Знакомый голос из штаба орал в телефон:

— Толчков! Немедленно прекрати огонь! Белые сдались!

— Ага! Сдались? — торжествующе крикнул Толчков.

— Сдались! Сдались! Больше ни одного выстрела!

«Как ни одного? А часы-то? Они останутся и будут петь царские гимны?» — подумал Толчков и, усмехаясь, крикнул в телефон:

— Еще нажать? Я это могу! Снаряды есть!

В телефоне заорало:

— Пре-кра-ти! Ни одного выстрела!

И так же во всю глотку заорал Толчков:

— Не слы-шу!

— Ты будешь отвечать по всей строгости, если будет еще хоть один выстрел! — орал телефон.

— Не слышу! Пришлите приказ письменно!

Он бросил трубку, побежал назад к орудиям. Он властно отстранил наводчика:

— Ну-ка, я сам!

И припал к панораме. Он высматривал долго, хобот пушки плавно повертывался. И, выпрямившись, сам соединил ударник. Пушка скакнула. Широкоплечий рабочий тотчас закричал из-за дерева:

— Браво! В самый раз!

— Попал! Попал! — заговорили, закричали кругом.

Толчков всмотрелся: на циферблате часов зияло черное пятно. Стрелки показывали двадцать одну минуту первого. Толчков подождал одну минуту, другую, третью, пятую... Стрелки стояли неподвижно.

— Ага. Теперь не запоют царю гимн! — торжествующе сказал он и устало, спокойно крикнул: — Кончай, ребята! Белые сдались!

...Пять лет спустя в день Первого мая часы опять запели. Запели боевую песню трудящихся всего мира...

*1933*

## ГЛУХАРЬ

### I

Глухаренок родился в глухом чапыжнике, под еловыми ветвями, нависшими крышей над гнездом. Он, как темный шарик, откатился на слабых беленьких ножках в сторону, грудкой прилег к земле и впервые глянул кругом. Над головой у него протянулись темные колючие ветви, между ветвями белели пятна света, а сбоку, рядом, что-то ворочалось большое, черное и звало: «Ко-ко». Глухаренок, услышав зов, быстро

поднялся, подбежал к черному, ткнулся клювом в мягкие перья, перья раздвинулись перед ним, он просунул голову и пролез под крыло матери. Там уже кто-то возился, маленький, мягкий, теплый. Глухаренок пискнул: «Пиу-пиу» и опять услышал те же звуки: «Ко-ко». Потом крыло открылось, мать поднялась на ноги, и глухарята торопливо отбежали от нее в стороны. Она, осторожно ступая и при каждом шаге квохча, пошла. Глухарята — их было восемь — побежали за ней, перегоняя друг друга. Они сталкивались, сбивали один другого и пищали жалобно: «Пиу-пиу, пи-пи».

Глухарка с детьми вышла на маленькую полянку, окруженную со всех сторон высокими деревьями. Здесь было так много света, что глухаренок остановился, закрыл глаза и так минуту целую стоял, покачиваясь. Но мать позвала, и глухаренок вместе с другими побежал. Глухарка шла по опушке, наклонив голову к земле, полуоткрыв крылья. Она время от времени останавливалась, поднимала голову высоко вверх, смотрела во все стороны, слушала. А маленькие глухарята, сбившись у ее ног, стояли неподвижно. На опушке, возле старой сломанной сосны, чернела высокая муравьиная куча. Глухарка взмахнула крыльями, взлетела на вершину кучи и начала ногами разбрасывать ее. Мелкие палочки, хвоя, кусочки земли и вместе с ними муравьи и муравьиные яйца полетели во все стороны. Глухарка поспешно слетела с кучи, схватила белое яичко в клюв и позвала: «Ке-ке». Глухаренок вместе с другими глухарятами бросился к матери, к ее клюву, и первый, так как он бегал быстрее других, схватил яйцо и проглотил. А мать уже подняла другое яйцо, опять крикнула, глухарята наперебой, отталкивая один другого, хватали белые сладкие яйца и глотали их. Это была веселая беготня.

Муравьи тащили яйца назад, в муравейник. Глухарка еще два раза взлетала на кучу и разрывала. Глухаренок уже насытился, ленивее бежал на ее зов, ему стало тяжело. Он припадал грудкой к земле, потому что его слабые ножки уже не могли его носить. За матерью еще бегали два, самые слабые глухаренка. Им теперь доставалась вся пища.

Потом глухарка громким и протяжным «ко-ко» позвала детей с собой, пошла вдоль опушки, опять время от времени поднимая высоко голову и слушая, не крадется ли враг.

На поляне торчал большой пень сосны, вывороченный бурей. Тонкие корни поднялись вверх, как пальцы чудовища, и между ними застряла земля. Под корнем виднелся желтый песок, сверху чуть забросанный прошлогодними листьями и хвоей. Мать разрыла листья, грудью припала к теплому песку, растопырила крылья, и птенцы один за другим пролезли к ее теплому телу. Песок ласково грел их нежные ножки. Глухаренок забился далеко в перья к самому боку матери, весь сжался в комочек и задремал. Он слышал, как справа и слева возились другие глухарята, как вздрагивало иногда тело

матери,— было хорошо дремать в тепле. Мать повернулась, толкнула глухаренка, он перестал дремать, потянулся и, наступая на перья, выглянул из-под крыла. Солнце опять ослепило его. Он на миг зажмурил глаза, потом, высунув головку далеко между перьями, долго глядел во все стороны. Мать большими круглыми глазами заботливо смотрела на него.

Глухаренок выпрыгнул из-под крыла, обежал кругом матери. Он старательно смотрел на землю, маленьким желтеньким клювиком перебирал камешки, кусочки дерева и хвои. Он искал муравьиные яйца, как их помнил,— белые, круглые. Из-под крыльев матери вылезали и другие глухарята, потягивались, растопыривали крылышки, качались, падали, поднимались. Они забегали по желтому песку, по листьям. Они попискивали, уже проголодавшиеся. Мать ласково сзывала их, не позволяя далеко отбегать. Потом она поднялась на ноги, три глухаренка еще дремали под ней. Глухарка, высоко поднимая ноги, пошла. И за ней — суетливой толпой глухарята.

Лес уже изменился: верхушки деревьев покраснели. Было прохладно. На другой стороне поляны у корней деревьев ложилась тень. Глухарка подвела детей опять к муравьиной куче, разбросала ее и, сзывая детей, кормила из своего клюва. Глухаренок ждал ее крика. Со всех ног первый бежал к ней, отталкивая других. Потом он что-то понял: он сам отыскал на земле муравьиное яйцо, остановился над ним, не решаясь съесть. Он жалобно запищал: «Пиу-пиу», мать подошла, взяла яйцо, сказала: «Ке-ке». Глухаренок из ее клюва взял яйцо и проглотил его. И потом, отбежав, он отыскал на земле яйцо сам и, уже не дожидаясь матери, съел. Мать сказала беспокойно и коротко: «Ко», и быстро пошла от муравейника. Она привела выводок к гнезду. Здесь она долго стояла неподвижно, высоко подняв голову, слушала, ждала. Кругом было тихо. Глухарка села на гнездо, растопырила крылья. Глухарята пробрались через перья к ее телу, повозились, попищали и утихли, засыпая.

## II

Глухарка просыпалась рано, едва в лесу краснела заря, поднималась на ноги, вытягивала крылья, одеревеневшие за ночь, а голодные глухарята пронзительно пищали. Она быстро выводила птенцов на опушку леса, вела к муравейникам, кормила, от муравейников вела к сечи, где у корней срубленных деревьев в молодой траве возилось множество насекомых. Она сзывала детей, каждому указывала, что можно есть. Пищи было много, глухарята насыщались быстро. Сама глухарка тоже ела много, ела насекомых, прошлогодние иссохшие ягоды, белые корешки трав и, насытившись, шла с птенцами на песок, на солнышко. Птенцы старательно прятались в ее теплых перьях,

дремали, отдыхали и, отдохнув, снова вылезали на свет, бегали вокруг матери, точно веселые подвижные шарики. А лес вокруг поляны стоял все такой же темный. Иногда над поляной пролетали большие птицы, глухарка вся вытягивалась и строго, отрывисто говорила: «Ко»,— и все птенцы рассыпались в траву, плотно прислонялись к пням, и замирали неподвижно, и были похожи в эти минуты на темные кочки. Птица пролетала, глухарка успокоительно говорила: «Ко-ко»,— птенцы снова бежали за ней.

Птенцы росли быстро, и уже на шестую ночь глухарка не повела их к гнезду, а осталась ночевать возле поваленной сосны под корнями. Глухаренок был больше своих братьев и сестер. У него потолстела голова, он был темнее других, бегал быстрее и дальше всех от матери, и мать с особенным беспокойством каждый раз звала его. В полдень, греясь на солнышке, он уже перестал подлезать под крыло матери, а вырывал себе в песке ямку, ложился в нее боком, раскрывал крылья, то одно, то другое, растопыривал перышки, едва наметившиеся, вытягивал ноги с широко растопыренными пальцами. Глядя на него, скоро и другие птенцы стали вырывать себе в песке ямку и сидели в них, а мать, подняв голову, тревожно сторожила.

В начале второй недели глухаренок почувствовал сладкое томленье в плечах и в сгибах своих крылышек. Он замахал ими и так, махая, побежал по песку. Это было ново, это задорило. Он весело попискивал, убегал далеко в траву, спотыкался. Он не понимал, что его зовет и что заставляет вот так бегать и так махать крыльями. Мать испуганно подзывала его протяжным криком, он повертывался, бежал к ней и на бегу опять махал крылышками.

Глухаренок теперь самостоятельно отыскивал пищу, пожирал и червяков, и нежные белые корешки трав, что мать вырывала из земли своими мощными лапами. Ножки у него слегка потемнели, стали шерхнуть. Среди нежного пуха показались перышки, темные, со стальным блеском.

С маленькой полянки глухарка перевела детей через лес на сечь. Переход был трудный и страшный. Семья шла очень осторожно. Глухарка поминутно останавливалась, слушала. В лесу было сумрачно, прохладно, кое-где виднелись болотца, и над ними толклись большие мухи. Глухарята понимали опасность, шли молча. Лес становился все темнее. Нужно было пробраться через валежник. Птенцы разбивались поодиночке и парами, убегали в сторону, теряли из виду мать и вдруг поднимали отчаянный крик: «Пиу-пиу». Испуганная мать возвращалась, забирала их, шла дальше. Вот между деревьями мелькнул свет, и выводок вышел на просторную, большую поляну, на которой кое-где виднелись отдельные деревья.

Но не успели все выйти на поляну, еще у самой опушки, глухарка вдруг крикнула: «Ко»,— и шумно взлетела на воздух. Глухарята врассыпную бросились в траву, в самые укромные

уголки, и замерли. Кто-то большой с треском пролезал через валежник, потом пошел дальше, еще дальше и, наконец, ушел прочь. Шум больших крыльев раздался над головой — это летела мать. Она опустилась в траву, позвала, глухарята собрались вместе, пошли. На сечи еды было еще больше, над маленькой колдобинкой вились мушки. Глухаренок подпрыгивал, ловил их на лету, это его забавляло, и опять, подремав на песке, он расправлял крылышки, бегал, махая ими. Он чувствовал, как все тело его становилось легче,— ноги едва-едва касались земли.

Это было на двенадцатый день, когда глухаренок впервые взлетел. Он оторвался от земли и так, с вытянутыми книзу ногами, пролетел с полметра и упал с размаху в траву. Ему было и больно, и в то же время все его существо переполнилось радостью. Он быстро вскочил, пробежался, тотчас забыл боль, опять полетел и, увлеченный своими маленькими полетами, далеко убежал от матери, потерял ее из виду, испугался, закричал пронзительно. Глухарка прибежала к нему, сердито квохча. Все больше и больше беспокойства было у ней. Птенцы один за другим поднимались на крылья. Они забывали осторожность, вылетали из травы, их было видно издалека. Хищные птицы пролетали над поляной и над лесом. Глухарка теперь боялась каждой тени и часто заставляла птенцов прятаться. Время от времени она сама взлетала на воздух и, призывно квохча, летела через пни, совсем низко над землей, над травами, и птенцы один за другим поднимались за ней, летали, махая часто и усердно крылышками. Лишь двое, пролетев немного, падали в траву, начинали отчаянно кричать. Глухарка делала круг в воздухе, возвращалась к ним.

Ночевать глухарят мать уводила в глухие чащуги, и всю ночь она настороженно слушала, не крадется ли враг. С ночлега уходили, как только занималась заря, и бродили по поляне до тех пор, пока солнце не вставало столбунцом, а зной не смаривал птенцов.

Однажды глухаренок увидал: по опушке ползет желтый зверь с черными большими глазами. Мать сразу насторожилась, крикнула, взлетела. Глухарята взлетели за ней, но желтый зверь — это была лиса — судорожно прыгнула раз-другой, и один глухаренок, тот самый, что отставал от других, жалобно пискнул. Весь выводок в ужасе стремительно пролетел через поляну. Обеспокоенная мать оставила всех в траве и, высоко поднявшись в воздух, полетела назад к тому месту, где была лиса. Она тревожно заквохтала, увидев, как лиса с глухаренком в зубах убегала в лес.

Потом мать быстро летала над поляной, сделала один круг, другой, спустилась к птенцам, каждого обошла кругом, опять сорвалась и улетела в лес, туда, где скрылась лиса. И ночью она просыпалась и беспокойно звала.

Ночи теперь были короткие, теплые,— заря сходилась с за-

рей. Весь лес полон пением птиц. Над болотами носились стрекозы, везде пестрели птицы.

Однажды вечером мать поднялась на дерево, села на самой толстой ветви и позвала детей. Все семь глухарят взлетели к ней и рассыпались по ветвям недалеко от нее. Они ждали: вот-вот мать опять спустится на землю, потому что шли сумерки, шла тьма, они все устали. Но мать не спускалась. Глухаренок цепко схватился за тонкую ветвь и так, в чуткой дреме, продержался всю ночь, вздрагивая и боясь упасть. Это был первый ночлег на дереве. В эту ночь один глухаренок оборвался, упал вниз, в темноте тяжело бился о ветви и кричал. Мать тревожно звала, но с места не тронулась, ослепленная темнотой. Глухаренок так и ночевал под деревом один.

Утрами, наевшись, глухарята любили перелетать с ветки на ветку по опушке. Им сверху была видна вся поляна. На поляне в траве возились птицы. Вон там глухариный выводок, глухарка, совсем похожая на их мать, водит своих детей. Низко над болотцами летят серые большие птицы. Нужно спрятаться в ветвях, чтобы птицы не заметили. Иногда через поляну пробиралась лиса. Она пряталась в траве, приникала к корням и пням, минуту лежала неподвижно, зорко высматривая. Тогда все птицы — и глухарка, и птенцы, и сороки, и маленькие белые птички с черными хвостиками, что живут в ракитнике над болотами,— все поднимали крик, тревожный, как будто предупреждали друг друга: «Берегись, лиса идет». Лиса, злобно оглядываясь, бежала дальше через поляну, скрываясь в лесу.

Раз глухаренок увидел большого бурого медведя. Медведь разрыл кучу муравьев, поставил передние ноги в самую середину муравейника и длинным розовым языком слизывал муравьев, ползших по его ногам. В этот день шел дождь, летать не хотелось. Глухарята сидели на тонких ветвях молодой сосны, недалеко от ствола. Медведь повозился с муравейником, пошел по поляне дальше. Он ворочал лапой листья, сучья, под ними отыскивал улиток, ел их, громко чавкая, вырывал какую-то траву, тоже ел. Он поднял морду, поглядел кругом на лес и увидел глухарят. Он перестал жевать и чавкать, подошел к сосне. Глухарка громко сказала: «Ко». Глухарята замерли. Медведь, подняв высоко морду, долго ходил вокруг сосны! Глухарята и мать беспокойно смотрели на него сверху. Лапами медведь обнял деревцо и сильно тряхнул. Ветви задрожали, глухаренок крепко вцепился пальцами в ветку, раскрыл крылья, готовый взлететь. Медведь тряхнул еще раз, два, глухаренок не удержался, упал и низом, почти над землей, тяжело махая мокрыми от дождя крыльями, полетел прочь. Медведь быстро и ловко, скачками, помчался за ним. Глухарка пронзительно заквохтала, полетела за медведем, настигла его, заметалась над его головой, повернула в сторону, упав в траву. Мед-

ведь побежал за ней, но мать перед самым его носом опять поднялась, тяжело и лениво полетела над травой к болоту. Медведь гнался за нею, вода брызгами полетела из-под его ног. Воды становилось больше, больше, медведь кувыркнулся, упал. Тогда глухарка поднялась высоко вверх, быстро полетела назад, а медведь остался среди болотины.

В середине июня поспели ягоды. Сечи и опушки леса закраснели. Глухарята наедались так, что им тяжело было ходить.

Но пришла тревога: на полянах появились люди, весь день слышались голоса, а по вечерам и ночью то там, то здесь горели костры, и запах дыма заполнял лес. Глухарка уводила детей в глухие заросли, недоступные человеку, а на большие поляны выводила их только по зорям.

В августе у глухаренка уже выпал последний пух. Все тело покрылось черными перьями со стальным отливом. Хвост украсился белой каймой. Мать уже меньше беспокоилась, улетала иногда от детей надолго, а глухарята пока держались вместе.

Ночи стали длиннее. Заморосили дожди. На утренних зорях глухаренок уже один летал над полянами, над лесом, слушал, высматривал — и мир ему казался большим и радостным.

## III

Глухарята еще долго ночевали на одном дереве, разместившись на разных сучьях. Но когда прилетали на поляну, все разбредались в разные стороны. Каждый жил самостоятельной жизнью. Молодой глухарь больше всего держался со своими двумя братьями. Наевшись брусники и клюквы, молодые самцы летели к трем соснам, росшим над оврагом. Сосны были старые, дуплистые, с темными густыми ветвями. Молодой глухарь забирался на ветки к самому стволу, и в дождь сидел неподвижно, втянув голову в крыло. Обычно двое спали, а один слушал. Овраг был глухой, очень глубокий, было видать сверху, как у корней иногда проходил медведь. Недалеко по опушке бегали зайцы, филин кричал откуда-то из дальнего леса. Иногда по утрам долетал звон далекого колокола.

Осень навалила крепкая и беспокойная. Над лесом постоянно развевалась мелкая сетка дождя, небо нависло низко-низко, солнца не было, и в эти дни мокрядь и дождь пронизывали тело, и не хотелось летать, не хотелось двигаться. Потом начало замораживать, холод напитал воздух — молодые глухари сильно зябли.

Однажды — это было после погожей ночи — утром молодой глухарь увидал, что поляна от края до края покрылась белым

инеем. На рассвете иней пропал, к полудню опять пошел дождь, и в дожде, точно белые мухи, замелькали снежинки. В этот день глухари летали только на ближнее болото, чтобы поклевать клюквы. Вернулись скоро и сидели весь день в дреме. К вечеру белых мух стало больше, лес зашумел печально, протяжно. Ночью пошел густой снег и закрыл всю землю.

Утром глухари полетели на знакомое болото. Все кругом изменилось. Они кружили над полянами, не зная, где сесть, и пугаясь этой незнакомой белой земли. Они увидали: два больших белых глухаря ходят по опушке. Молодые спустились недалеко от них. Старые сердито захрюкали, но не тронули молодых. Так все пятеро паслись, разрывая снег крепкими лапами, отыскивая ягоды. В лесу, поднимаясь вершиной, высоко над соснами и елями росла громадная лиственница. Старые глухари сели на нее, принялись собирать опадавшую хвою, уже хваченную морозом. Молодые попробовали хвои — им она очень понравилась. И с того дня они летали к лиственнице кормиться, собирая хвою на земле. Каждое утро, пролетая над лесом и над полянами, они высматривали, где пасутся старые глухари. Заметив их, молодые опускались недалеко, делали то же, что старые. Они научились отыскивать ягоды — рябину и калину. Эти ягоды им нравились больше хвои.

А зима все крепчала, снег лег глубокий. На земле нельзя уже было отыскать пищи. Теперь глухари вели жизнь очень скучную, мало летали, все больше сидели на тех же соснах, дремали, лениво посматривали вниз, не крадется ли враг. В сильные метели лес шумел грозно, деревья ломались, и тогда казалось: кто-то страшный крадется. Толстый сук однажды в метель оборвался рядом с глухарями и с шумом и грохотом полетел вниз. Глухари разом поднялись, долго летали, и ветер рвал их перья. Они измучились. Им казалось, что метели не будет конца и что их ждет гибель. Но вот ветер утих, глухари успокоились, отдохнули, снова полетели к лиственнице, и там увидали старых глухарей. Они кормились вместе и с ними полетели на ночлег, оставив свое насиженное место. Старые глухари тоже жили над оврагом и ночевали в густых ветвях высокой ели. Молодые поселились по соседству, тоже на густой ели, рядом.

Зима установилась крепкая. Завернули сильные морозы. По ночам глухарь промерзал так, что у него болело сердце. Как-то старые глухари перед вечером спустились на снег, походили у корней сосен и стали зарываться. Они скрылись в снегу совсем с головой, и сверху нельзя было различить, где они. Молодые глухари пригляделись, слетели на снег и зарылись. В снегу было теплее, чем наружи, но молодой глухарь все беспокоился, ждал, что вот кто-то в снегу сейчас подойдет, схватит. Он чутко прислушивался. Он знал, что старые вот где-то рядом, здесь, если они полетят — будет слышно. Он ждал, ждал долго и заснул. Старые зашевелились, полетели. Молодой испуганно вылез из

снега. Был уже день, совсем светло. Глухари, все пять, полетели на лиственницу.

Дни были очень короткие. Утром и вечером глухари улетали на кормежку, питались только хвоями. И эта скудная пища делала их вялыми.

## IV

Зима переломилась, солнце стало пригревать сильнее, дни заметно увеличились. Со своих насиженных мест, что были возле стволов елей, глухари выбирались на тонкие ветки, открытые солнцу, и здесь, растопырив крылья, полусидя, полулежа на ветвях, оставались от утра до вечера, грелись. Вечером опять забивались к стволу. Старые летали дольше, странно беспокоились; молодые летали за ними, не понимали, почему старые беспокоятся. Свое насиженное место старые покидали, ночевали не каждую ночь.

Раз молодые полетели за ними. Недалеко над болотом рос мелкий лес, в котором еще белели полянки и кое-где, в молодом лесу, далеко друг от друга подымались большие сосны-семенники. Здесь, на небольшой поляне, старики опустились на снег и так ходили долго один перед другим, распустив крылья, чертили перьями снег. Они ходили молча, важные, пышные, с растопыренными хвостами. Брови у стариков закраснели, налились, стали толстые. Молодые глухари почувствовали, как их охватывает непонятное беспокойство. Еще вот недавно, зимой, они знали, что им нужно только поесть, нужно прятаться от врагов, нужно спать. Они ели, спали, прятались. Больше им ничего не нужно было. Теперь хотелось еще чего-то. Глухарки прилетали к токам, сидели на деревьях, издали смотрели на токующих глухарей, молчали. Но их молчаливый взгляд почему-то теперь беспокоил молодого глухаря. Старики с каждым утром оставались все больше и больше на поляне, напыщенно ходили друг перед другом, торопливо чертили снег крыльями. Молодой глухарь тоже спустился на снег, тоже растопырил крылья, пошел неловко по снегу, вытягивая шею, весь напрягаясь, и какое-то странное чувство, доселе не испытанное, вдруг захватило его. Он сделал несколько шагов, остановился, посмотрел кругом. Другие глухари ходили молча недалеко от него. Молодой опять пошел, сделал круг, шея его невольно вытягивалась, непонятное чувство звало его. Хотелось ему кричать, но горло не издавало ни звука. Брови его набухли, стали толстыми. Так все пятеро — двое старых и трое молодых — каждое утро, прямо с ночлега, летели на поляну, долго-долго ходили друг перед другом.

Просыпались они все раньше и раньше. Небо еще было черное, лишь беловая полоска виднелась на востоке. Над головой светилась яркая звезда — утренница, и в этот ранний

час лес уже пробуждался, высоко над лесом проносились утки, посвистывая крыльями, а где-то в небе звонил небесный колокол: летели журавли. Молодые глухари по-прежнему держались невдалеке от старых: они чувствовали, что старые знают какую-то тайну жизни. Так проходили заря за зарей и день за днем.

Раз утром молодой глухарь проснулся от странного звука. С ближнего дерева кто-то покрикивал: «Чок-чок». Глухарь всмотрелся, он увидел: внизу, по суку, ходил старый глухарь. Он распушил хвост, раскрыл крылья, вытягивал шею, это он кричал: «Чок-чок». Молодой также распустил хвост и крылья, вытягивал шею, хотел крикнуть и не мог. Глухарки тяжело летали около, задорили. А лес кругом и ближняя поляна были полны зовущими звуками. Скрипуче кричали куропатки, урлыкали тетерева, весь воздух был полон страсти, и эта страсть захватила молодого глухаря, он смешно ходил по суку, подражая старому.

Заря все разгоралась. Лес стоял, пронизанный красноватым светом. Теперь легко можно было различить каждое дерево отдельно. Везде на деревьях и под деревьями на поляне возились птицы, возились по-особенному, так, как никогда не видел и не слышал молодой глухарь. Глухуши с томными криками носились вокруг дерева, где шел ток, и, слушая их полет, старый глухарь пел сильнее и задорней. Порой, сорвавшись с сука, как тяжелый ком, он летел за глухушами куда-то в сторону, оставался там недолго, снова возвращался на тот же сук, сидел, прислушиваясь, клювом оправляя перья. А солнце уже всходило, лес золотел. Глухарь еще недолго пел песню, все реже, реже он раскрывал крылья, вытягивал их далеко назад, вытягивал лапы, сперва одну, потом другую, широко раскрывал рот, вздыхал, точно после тяжелого труда.

## V

Раз в такое утро старый глухарь ходил по суку взад и вперед, растопырив крылья, и пел. Молодой услышал: где-то недалеко затрещали сучья. Кто идет? Медведь или лиса? Молодой насторожился. Он тревожно вытянул шею, испуганно хрюкнул, а старый пел, не слушая ни треска сучьев, ни хрюканья молодого. Молодой подумал, что опасности нет, если поет старый, притаился и ждал. Он увидел между темными стволами сосен внизу, на земле, кто-то двигался, черный, двуногий. Молодой глухарь узнал: это человек — зверь самый страшный, от него всегда глухари спасались сломя голову. Почему же теперь не улетает старый глухарь? Человек прыгал: прыгнет раз, другой, остановится и чего-то ждет. Прилетела глухуша, увидала человека, с испуганным криком полетела прочь. Человек уже прыгал недалеко. Прыгая, он заполнял весь лес треском, потом сразу останавливался, треск прекращался, а старый глухарь

пел все задорней и задорней. Когда старый глухарь прекращал песню и слушал тишину леса, человек стоял неподвижно. Потом, когда опять начиналась песня, человек со всей силой бросался вперед, к тому дереву, на котором пел глухарь. Уже все глухуши улетели далеко, уже на дальних деревьях испуганные глухари сначала замолчали, потом тоже улетели. Человек еще раз прыгнул под песню глухаря и замер. Вот старый глухарь опять запел — и сразу гром потряс весь лес, между деревьями блеснул огонь. Молодой глухарь судорожно взметнулся, полетел над лесом. А старый, ломая сучья, с грохотом упал с сосны вниз.

И день, и два, и три молодой глухарь провел в беспокойстве. Он настороженно ждал: вот-вот опять покажется человек, опять блеснет огонь, загремит гром. Он не летал на тока, днем сидел на самой верхушке дерева.

А лес был прежний. Так же шумели птицы, урлюкали тетерева, так же постукивали бекасы на болотах, и так же на других токах токовали глухари. И опять странное чувство толкало глухаря к токам, где, подражая старикам, он ходил по суку, вытягивал шею, робко пытался петь. Сначала у него песня не выходила. Потом, как-то напрягши все силы, он пропел: «Тэ-ке, тэ-ке». И едва он пропел, как на ближний сучок шумно села глухуша, заурлюкала странным голосом, будто звала. Молодой глухарь подлетел к ней. Глухуша сорвалась, слетела вниз на маленькую полянку, глухарь слетел за нею, с растопыренными крыльями. Вдруг старый глухарь — огромный и хищный — бросился на молодого, ударил его лапами и клювом в грудь. Молодой перевернулся и в испуге улетел.

## VI

Весна разгоралась пожаром. Уже сходил снег, оставался он только в глухих зарослях у корней деревьев — лиловый и твердый. На полянах стояли болотца, вечера были сини, в оврагах весь день шумели ручьи, ветер веял теплый и ласковый. Пригорки дымились паром. Уже меньше кричали на токах птицы, перестали плакать в лесах зайцы, старые глухари переселились в чащуги и с ними молодой. Муравьиные кучи ожили. В траве возле пней зашевелились насекомые, жить стало легче, корму было обильно. Молодой глухарь заметил, как истомлены и обессилены были глухари старые. Он ходил между ними гордый и сильный, будто причесанный, он готов с ними был вступить в драку, он был полон задора. Однажды, рассерженный, он бросился на старого глухаря, ударил его, сшиб наземь, и старый глухарь покорно побежал в траву, прочь.

Теперь молодой ростом уже был со старого, у него выровнялись грудь и плечи, перья лоснились, он чуял в себе неукротимую силу. Из чащуги он летал к полянам, где было больше

травы и где на опушках встречались муравьиные кучи. Он теперь знал, как живет лес. Сидя на высоких ветвях, он не раз видел, как в траве пробиралась лисица или, ломая сухие сучья, пролезал медведь. Он не боялся их, потому что знал: он высоко — ни медведь, ни лиса его не достанут. Он боялся только человека, боялся его огня и грома. Завидев человека издали, он улетал поспешно. Множество птиц хлопотало возле своих гнезд и возле птенцов. Уже опять вывелись молодые глухарята, глухарь видел, как пасутся выводки. Уже куропатки ныряли в траве со своими птенцами. На дальних широких полянах зазвенели страшные человеческие голоса, и по вечерам пахло дымом. Это приехали косари из деревень. И, боясь человеческого голоса, глухарь улетел в чащугу и сидел там, скрываясь вместе с другими.

Но вот отзвучали человеческие голоса, потухли костры на полянах, и опять глухарь облетал по зорям большие пространства. На опустошенных полянах он видел стога сена. Берег лесной речки был истоптан человеческими ногами, песок взрыт. Глухарь долго летал над берегом, высматривая, нет ли где человека, потом спустился на песок и здесь, лежа на боку и вытянув ноги, грелся на солнышке.

Поспели ягоды, глухари уже откормились. Теперь нужно было летать долго за кормом. Глухарь выбрал себе поляну недалеко от речки и здесь проводил целый день: кормился, валялся в песке, грелся на солнышке. Но опять заморосили дожди, солнце потускнело, лес зашумел уныло и беспокойно. Меньше стало птиц в лесу, утки вереницами улетали на юг, и случалось, что целую ночь глухарь слушал их тоскливые крики в вышине. Глухое болото в лесу каждый день заселялось новыми путешественниками, иногда это были утки; крикливые и беспокойные, они кормились по берегам, ссорились. Иногда здесь останавливались серые гуси, большие, густо гоготавшие. В вечерние зори они неизменно взмывали к небу и уносились к югу.

Молодой глухарь испытывал странное беспокойство: в одиночестве ему теперь было не по себе. Он нашел других глухарей-самцов, долго обхаживал их и стал жить с ними. С холодами перелеты птиц уменьшились, жизнь в лесу замирала. Скоро ударили морозы, в воздухе закружились белые мухи. Глухари сбились в стаю,— их было восемь,— опять поселились на двух соснах, что росли над глухим оврагом, сплошь заросшим ольшаником, березой и молодой елью.

С зимой пришла дрема, кровь текла ленивее, не хотелось далеко летать. Мороз пробирался под перья, шарил по телу, глухарь втягивал голову в плечи, плотнее сжимал крылья.

В сильные морозы и метели глухари прятались в снег, сидели там сутками, питались они опять только хвоями и молодыми побегами ольшаника. Иногда, в солнечные теплые дни, они улетали к пригоркам, лапами разрывали снег, добывали

ягоды. И зима казалась длинной-длинной, и будто ей не будет конца.

Однажды на берегу оврага послышался лай. Встревоженные глухари подняли головы, присмотрелись — через поляну несся заяц. У самой опушки он сделал огромный прыжок в сторону, скрылся в лесу, и тотчас по его следам из леса выскочила собака, с хриплым лаем помчалась за ним. Заяц закружил возле оврага, собака не отставала. Где-то в стороне раздался треск, и глухарь увидел идущего на лыжах человека. Он не вытерпел, сорвался, полетел прочь. Позади него тотчас грохнул гром, что-то с визгом пролетело над головой, глухарь метнулся к земле и, задевая ветви сосен, полетел в сторону. И с той поры, заслышав лай собаки, он перелетал дальше в чащугу, прятался, скрытый самыми темными ветвями. Успокаивался он и снова вылетал только в сумерках, когда уже лай прекращался и человек уходил из леса.

И еще случай: в полудреме молодой глухарь слышал, кто-то карабкается по стволу дерева, прыгая с ветки на ветку. Он проснулся, смотрел вниз, вытягивая голову. Длинный зверок поднимался вверх по дереву. Глухарь подумал, что это белка. Белок он видел часто, он не боялся. Зверок осторожно пробрался к старому большому глухарю, спавшему на нижних ветвях, и вдруг прыгнул на него. Глухарь крикнул, рванулся, полетел вверх, выше дерева. Зверок крепко держался за него, но что-то случилось, глухарь камнем упал наземь в снег и долго трепыхался. Зверок юрко запрыгал по нем. Глухари всей стаей поднялись и полетели прочь, хотя еще кругом стояла тьма.

А дни уже становились теплее и больше. Уже буйные метели на мягких веющих широких крыльях понеслись над лесом. Опять старые глухари, а за ними и молодой вечерами стали перелетать на токовище, где (это знал молодой глухарь) токовали в прошлом году.

## VII

Четыре зори молодой глухарь вместе со старыми, распустив крылья, чертя перьями по снегу, молча ходил по поляне, кружился, будто танцевал. На пятую зорю старый глухарь взлетел на сук, затоковал, а за ним тотчас взлетел молодой глухарь, уселся поблизости, на сосне, по толстому суку прошелся из конца в конец, и песня сама по себе вырвалась из его горла. Так каждую зорю они прилетали двое, садились недалеко один от другого и токовали. Глухуши с шумными криками носились возле. Старый глухарь улетал за ними. Глухуш было много, они садились на ближние ветви, сидели неподвижно и молча, будто безучастно, смотрели, как токует молодой глухарь. А молодой, пропев песню, весь вытянувшись, замирал, слушал, ждал.

Он видел, как глухуши все ближе и ближе садятся к нему. Иногда глухуша срывалась, летела вниз наземь, кричала зовущим голосом. Молодой глухарь, не понимая, смотрел на нее. Потом какая-то сила сорвала его с сука, он бросился вниз за глухушей, весь сотрясаясь от странного чувства. Глухуша пробежала по земле, и у корней сосны прилегла грудкой на мох, оглянулась, тихонько заквохтала. Глухарь шумно захлопал крыльями, исступленно начал топтать глухушу ногами. Вернувшись на дерево, он запел громче и радостней. Это был гимн жизни, тот самый гимн, что весной поют лес, и птицы, и все живое. Он перестал есть, целый день и ночь думал только об утренних зорях, стал тревожнее, злее. Всеми зорями он пел, звал: глухуши носились возле него, он гонялся за ними... Но вот глухуш все меньше и меньше оставалось на токах, они прилетали деловито, оставаясь с глухарем недолго.

Так прошла эта весна. Измученный и обессиленный, глухарь вместе с другими забрался в лесную чащу и здесь старательно откармливался целое лето. Осенью он опять почувствовал прежние силы и задор и, вспоминая весну, прохладными зорями снова летал на место тока и пел, пел задорно, и звал, и ждал, но ни одна глухуша не прилетала.

Осень накатилась быстро — с дождями, унылым шумом, потом зима — с метелями и морозами. Глухарь жил лишь одной заботой — не умереть с голода, прожить, ни о чем больше не думал. Лишь ночами иногда он вспоминал о зорях, о веснах, и ему чудился крик глухуши.

Но ярче загоралось солнышко, потянуло новым ветром, и прежнее чувство задора разбудило глухаря. Прежде стариков, уже один, он полетел на ток. Три зори ходил по снегу молча, растопырив крылья и чертя перьями, потом поднялся на сук, заходил, запел и в песне забывал обо всем. Его уши закрывались, закрывались глаза, он весь трепетал от напряжения. Когда на соседних соснах он услышал пение старого глухаря, он задорно бросился в бой, прогнал старика прочь, сам вернулся и запел еще с большим торжеством. После каждой песни он замирал, слушал глухуш,— вот они недалеко, он их чувствовал, иногда видел и тогда задорно, с большей страстью, начинал петь снова. К нему слеталось все больше и больше глухуш.

Однажды на заре их собралось сразу пять, они сидели и слушали. Глухарь пел, ничего не видя и не слыша. Кончив песню, он увидел, как глухуши с беспокойным криком полетели прочь. Он не понял, почему полетели. Он запел опять, еще с большей страстью. Он звал их вернуться. Песню за песней пел и после каждой слышал крики. Глухуши уже были где-то вдали, а лес затаился и замер. Глухарь опять запел. Вдруг что-то со страшной силой ударило его в бок, он рванулся, хотел полететь и, ломая ветви, упал вниз к корням деревьев. Безумными глазами, вытянув шею, он оглянулся и тут увидал страшное человеческое лицо. Человек бежал к нему. Глухарь

метнулся, прыгнул раз, другой, изо всей силы побежал прочь, прячась между стволами, но сзади опять грохнул гром, и глухарь грудью ударился оземь. Человек схватил его за шершавые ноги и поднял. Глухарь затрепетал каждым пером, к его горлу подкатился клубок, мешал дышать. Глухарь судорожно дернулся и умер.

*1937*

## СЛАВА СЕМЬИ ОСТРОГОРОВЫХ

Старинную семью грузчиков Острогоровых знает давно вся трудовая Волга от Рыбинска до Астрахани.

Назад тому лет семьдесят вышли из чернораменских лесов братья Степан и Федор — двадцатилетние парни,— оба рослые, силы медвежьей,— и стали бурлачить. Так их на первых порах и прозвали: «Степка-медведь» и «Федька-медведь».

Братья работали сперва у знаменитого на Волге рядчика Дегтярева — того самого, что брался доставить судно с кладью в срок и раньше всех. Волжские купцы знали: если сдать судно Дегтяреву, можно спать спокойно — оно будет доставлено быстро в целости. Дегтярев отбирал в свои артели самых сильных бурлаков, платил им дороже других, а главное, давал награду артели, если она доставляла судно раньше срока,— и тем больше награда, чем скорее доставят. Артель порой в лоск ложилась, а сроки нагоняла.

В старинном бурлачьем судоходстве на Волге была одна особенность: бечевник — то есть тропка вдоль всего берега Волги — была очень узкой,— бурлаки вели суда только в «затылок». Обогнать судно можно было лишь на стоянках или остановив его в пути.

И вот дегтяревские артели усердно «разбойничали»: едва они настигали чужое судно, они просто приказывали ему остановиться. А настигали дегтяревцы постоянно: в их артелях ходили самые быстроногие и самые выносливые.

Едва настигнут, как в два десятка глоток заорут:

— Останови-и-ись, сарынь!

Но и в других артелях были буйные бурлаки. Почему остановиться? Перед Волгой все равны: если догнал, иди в «затылок».

— Останови-и-ись! — опять взревут, бывало, дегтяревцы.

А те идут себе, будто не слышат.

Тогда глава дегтяревской артели приказывал:

— А ну, Степка, расчисти дорогу!

И Степка-медведь шел расчищать дорогу: догонял бурлаков, хватал ручищами их бечеву и тянул назад. Это называлось на языке бурлаков «сделать теленка». Между целой артелью

бурлаков и Степкой-медведем начиналась борьба, бурлаки тянули бечеву вверх, а Степка вниз. Тут Степке и само судно помогало: остановленное, оно начинало сплывать вниз, тянуло бечеву... В конце концов Степка и судно перетягивали, артель сдавалась, ругаясь на чем свет стоит. И тогда дегтяревские перегоняли.

Порой бурлаки пытались вступить в драку. Степка немилосердно бил их пудовыми кулачищами, далеко разгонял по берегу, а бечеву рвал.

Однажды плыл по Волге важный чиновник, дегтяревские догнали его судно, потребовали остановиться. Бурлаки, надеясь на защиту чиновника, не остановились. Дегтяревские избили их и перегнали судно. Чиновник потом пять лет «бумаги писал» против дегтяревских.

Братья Острогоровы работали в дегтяревских артелях до середины шестидесятых годов прошлого века, когда стало строиться множество пароходов, а бурлачий промысел пошел на нет.

Большой тогда был кризис. Бурлаков в шестидесятых годах на Волге ходило полмиллиона человек. А с постройкой пароходов народу потребовалось меньше в десять раз,— огромные толпы безработных бурлаков бродили по всей Волге, нанимались за бесценок — только за хлеб да за саламату на любую работу. Степан остался в Нижнем Новгороде, начал работать грузчиком. А Федор пошел в плотогоны: ежегодно сплывал на плотах из Козьмодемьянска в Астрахань. Из Астрахани он каждый раз возвращался пешком знакомой тропкой — бечевником — по правому берегу, возвращался к себе в деревню, в Черную Рамень, и нес подарочки — воблу или селедку. Один раз он принес восемь пудов сухой воблы, так и пер ее на горбу берегом от Астрахани до Нижнего. Здесь он пудик отделил в подарок брату, а семь пудов отнес дальше, домой в деревню. А сухая вобла легкая, восемь пудов ее были вроде горы целой. «Оно все ничего было нести,— сказал он брату,— только когда ветер подует встречь, так вобла-то парусит — и трудно идти».

В следующие годы он носил уже подарки более подходящие: или бочку селедок, или куль соленого леща.

Необыкновенная его сила сразу создала ему славу, и однажды астраханский купец Волобуев, промышлявший лесом, позвал Федора к себе:

— Федор, можешь ты завозный якорь перенести с берега на мой склад?

— Могу,— отвечал Федор, хотя хорошо знал, что в завозных якорях не меньше двадцати пяти пудов.

Купец повел Федора на берег, где лежал якорь, наполовину увязший в грязи.

Федор пнул якорь ногой, обутой в лапоть, потрогал ржавое кольцо.

— Сколько уплатишь за труд?

Волобуев прикинул в уме: астраханская артель грузчиков за эту работу потребовала сорок рублей. А тут берется один. Значит, можно прижать. Он сразу стал ласковый, сердечный.

— Дам я тебе, человече, три бутылки водки, полмеры огурцов на закуску, пять селедок — залома, хлеба каравай да еще рубль деньгами.

Договорить он не успел всех своих щедрых условий, как Федор взял якорь за кольцо, понатужился, повернул, выволок из грязи, взвалил на спину и потащил на склад. А Волобуев за ним шаг за шагом и все приговаривал:

— Ай да молодец! Ай да работничек!

Мальчишки бежали за ним гурьбой, мужчины и женщины долго глядели вслед.

Притащил Федор якорь на склад, положил, где было указано, ждет расчета.

Тут дьявол жадности ушипнул купца:

«Зря я так наобещал,— гляди, парень часа не возился, а ему почти четыре рубля выкладывай».

И дал только бутылку водки и полтину денег.

Федор очень рассердился, но не сказал купцу ни слова. Выпив водку, он ночью пришел на склад, взял якорь, понес его к дому Волобуева и повесил на крепкие каменные ворота, которыми Волобуев очень гордился.

— Вот теперь подороже дело обойдется тебе,— пробормотал он, довольно усмехаясь.

Утром толпы зевак ринулись к волобуевскому дому смотреть якорь, висящий на воротах. Смех гремел на всю улицу.

Волобуев не знал, куда деваться от стыда. Никаких подъемных кранов тогда не было, все надо было делать руками,— и артель грузчиков потребовала с Волобуева сто рублей, чтобы снять якорь с ворот и отправить на склад...

Об этом случае потом вся Волга говорила года два.

Такая же силища была и у Степана. И Степана тоже знала вся Волга, хотя он никуда из Нижнего не выезжал. А узнала его вот по какому случаю.

Как-то раз на нижегородскую ярмарку прибыл «непобедимый, всемирно известный борец Генрих Каульнах», немец. На ярмарке и в городе Нижнем были выставлены этим немцем дерзновенные афиши: «Вызываю на единоборство любого мужчину». Трое купеческих сыновей один за другим выходили на единоборство, и всех немец легко победил. Обида в городе была всеобщая. Говорили, что городской голова пароходчик Королев целую ночь не спал после третьего поражения. И тут кто-то вспомнил грузчика Острогорова.

— Вот бы его стравить с немцем!

Один из побежденных купцов тотчас поскакал на Сибирскую пристань за Степаном. Это было днем, и Степан был впол-

пьяна. Огромный, лохматый, он стоял каменной глыбой, одетый в красную рубаху, с потником на спине.

— Можешь ты сразиться с этим самым немцем, чтоб ему пусто было? — вдохновенно приступил купеческий сын к Степану и тотчас извлек из кармана бутылку водки с белой головкой.

Увидав белую головку, Степан ухмыльнулся:

— Не доводилось мне с немцами бороться.

— Аль ты его боишься? Не острами Расею! На-ка выпей!

На другой день вечером Степан появился в цирке, готовый схватиться с немцем. Он был почти трезв, так как купец не давал ему водки «до время», помня свой неудачный опыт, когда он сам вышел на арену «в сильных градусах».

— Я тебе, брат, перед самым выходом дам. Коньячку хватишь.

Непобедимый, всемирно известный немец презрительно улыбнулся, когда увидал тяжелую, неповоротливую фигуру нижегородского грузчика с растрепанной рыжеватой бородой и неуклюжими ручищами. Он знал: в таких людях много силы, но совсем нет ловкости, а в борьбе ловкость главное. Перед состязанием купец дал Степану полбутылки коньяку, тот выпил коньяк залпом и теперь стоял перед немцем в самой решительной позе. Степану хотелось дать немцу по-простецки «раза», но ему целый день твердили, что «раза» давать никак нельзя, а надо бороться «по-заграничному». Они сошлись на середине арены. Борьба велась на поясах.

Положив мускулистые руки на талию немца, Степан вдруг вообразил, что у него в руках пятиришный мешок муки,— такие мешки он каждый день перебрасывал сотнями.

Немец, выбрав момент, ловко тряхнул Степана, и тот упал на колени. «А-а!» — разочарованно пронеслось по цирку. «А!» — выдохнул Степан и, вскочив на ноги, сдавил немца руками, поднял над головой и со всей силой поставил опять на песок. Он его не валил, не бросал, а только поднимал над головой и ставил на песок. Так грузчики поднимают мешки и ставят... Тут коньяк сказался: «А-а, задушу!» — сквозь стиснутые зубы захрипел Степан и раз за разом поднимал и ставил немца: хоп, хоп, хоп!.. Цирк примолк, затаив дыхание. Потом послышались смешки, потом смех, хохот, гром. Немец отпустил Степанов пояс, махал руками, выпучил глаза.

— У, задушу! — ревел Степан.

Послышались тревожные крики. Степана схватили за руки, а он все поднимал и опускал немца. Тогда притащили ведро холодной воды и вылили на Степана... Противника быстро унесли с арены.

Две недели потом купцы поили Степана водкой, и лишь одно утро в эти две недели он был трезв — это когда около-

точный надзиратель вытрезвлял его и возил напоказ к губернатору. Тот задавал Степану вопросы, но Степан от смущенья не смог ответить ему.

Губернатор, очень любивший русские пословицы, «милостливо» сказал:

— Велика Федора, да дура.

И приказал увести Степана, пожаловав ему на память о встрече три рубля.

Степан жил и умер в Нижнем в девяностых годах, оставив Волге сына Ивана.

Вот про Ивана и особенно про сына его Семена — тоже грузчиков — пойдет речь в этом рассказе.

Бывало, Степан зарабатывал хорошо, но, как это водилось у грузчиков, почти все пропивал. На семью, само собой, обращал самое малое внимание,— дети росли без призора, и без призора же, незаметно, вырос Иван и тоже стал грузчиком — такой же могучий, как отец.

Невозможно представить Нижний без грузчика. Здешние пристани всегда вели большую погрузочно-разгрузочную работу, здесь миллионы пудов разных товаров сгружались на ярмарку и нагружались после ярмарки. Здесь же шла перевалка грузов с мелких окских и верхневолжских судов на крупные нижневолжские и наоборот.

Летом, случалось, Иван Острогоров зарабатывал иногда до пятнадцати рублей в сутки, а уж пятерка всегда была верная: заработок хороший. Беда только, что судьба грузчика находилась в руках рядчика: рядчик и работу отыскивал, и цены устанавливал, и расчет вел, а большую долю заработка брал себе.

Рядчик спаивал грузчика. Пьяный грузчик работал, не щадя себя,— он поднимал тяжести, которые трезвый никогда бы не поднял, потому что пьяному море по колено. И пьяный за полтину сделает то, что трезвый не согласился бы сделать и за десять рублей.

После получки рядчик из денег, заработанных всей артелью, брал некоторую сумму и на нее покупал ведра два водки,— грузчики пили.

Степан пил еще умеренно, «вполпьяна»,— сказывалась лесная строгая староверская закваска. А его сын Иван уже стал пить «в полную меру».

Жил Иван с семьей в Кунавине, на самом конце улицы, что вела к кладбищу, в доме мещанина Решетова, перенаселенном сапожниками, печниками и всяким другим ремесленным людом. Жильцы пили горькую, в пьяном виде били и заушали жен, калечили детей. Но даже и тут Иван Острогоров считался самым отъявленным пьяницей и драчуном.

Жена ему попалась здоровая, как говорили о ней соседки, «баба осадистая, широкой кости». Такую бабу конем не задавишь. Однако и она постоянно жаловалась:

— Не муж у меня, а злодей. Что ни сгребет, все в мой горб кладет: палка — палкой, кирпич — кирпичом...

Бывало, тихим вечером в будний день выползут все решетовские квартиранты из своих тесных прокуренных углов к воротам на улицу посидеть на скамейке — посумерничать, посудачить,— и Матрена Острогорова тоже выйдет.

Разговоры тут велись самые благочестивые: про купца Бугрова — нижегородского миллионщика,— как он тридцать пятую девку взял к себе из скитов «на временное подержанье». Подержит месяц или два, а потом выдаст замуж за какого-нибудь своего служащего — и хорошее приданое даст. Или расскажут, как другой купец — Брюханов — своего родного сына муравьями до смерти затравил, «заткнул рот тряпицей, руки-ноги связал, зарыл по горло в большую муравьиную кучу, и парень сгиб»...

— Ох-хо, господи, господи! Не одни мы грешны, а вот первые люди в городе тоже с ущербинкой.

Взрослые судачили, а мальчишки и девчонки тут же вертелись, слушали и поучались.

В городе и в Кунавине жизнь постепенно затихала, и лишь гулко раздавались гудки пароходов на Волге и Оке. Слышно было, как на соседней улице прогремела пролетка извозчика. Вечерняя тишина становилась чуткой.

И вот в эту чуткую тишину вдруг ворвался чей-то голос. Кто-то пел далеко. Слов нельзя было разобрать. У решетовского двора насторожились, прислушались и решили:

— Ваня Острогоров идет!

Голос ближе, ближе, из-за угла вылезла медвежья фигура пьяного грузчика. Иван пел всегда одну и ту же песню:

Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобой.

Едва вывернувшись из-за угла, Иван оборвал песню и трубным голосом заорал:

— Матрена-а! Иду-у-у-у! Встречай гостя дорогого!

Сидящие на скамейке заговорили возмущенно:

— Гость дорогой, дьявол тебя задави! Такого бы гостя поганым кнутом отстегать.

Матрена тотчас встала и заговорила дрожащим голосом:

— Мы с голоду дохнем, а он каждый день пьян.

— Все, поди, пропил? — вздохнула соседка.

— А то как же? Неушто домой принесет?

— Матрена! Иду-у! — кричал Иван.— Куда спряталась?

И обругался так, что листья на вязу задрожали.

Семка — единственный Иванов сын,— услышав отцов голос, уже бросил игру, подбежал к матери. У него заблестели глаза

и сами собой сжались кулаки. Он знал, что сейчас будет, и, как рассерженный зверок, смотрел навстречу отцу. Матрена нырнула в калитку, «подальше от греха». Иван враскачку подошел к дому и стащил с себя картуз, здороваясь:

— Мир вашему сиденью!

— Поди-ка, добро пожаловать,— со старинной утонченной вежливостью ответило ему несколько голосов.

Само собой, все знали: через минуту будет бой, крики, плач, но нельзя не ответить добрым словом на уставное доброе слово.

Иван вытаращил пьяные глаза, отыскивая Матрену.

— А где... моя-то?..— прохрипел он и обозвал Матрену позорным словом.

Вдруг петушиный мальчишеский голос раздался от калитки:

— Ну, ты, дурак!..

Все, кто сидел на скамейках, встрепенулись и замерли. Иван повернул пьяное лицо к калитке. Семка стоял там со сжатыми кулаками. Иван минуту смотрел на него, чуть покачиваясь, и... разом рассмеялся самым веселым пьяным смехом:

— Ай да наследничек! Это ты меня? Отца? Законного отца так? Ну-ка, поди сюда! Поди, тебе говорю! Ну?

— Знамо, дурак, коли так ругаешь маманьку! — опять по-петушиному прокричал Семка.

Иван широко шагнул к нему. Семка тотчас исчез во дворе. Через минуту со двора — из квартиры Острогоровых — послышался треск и звон и отчаянно закричала Матрена:

— Что ты делаешь, окаянный?

Толпой решетовцы повалили во двор любоваться Ивановыми подвигами. Иван ломал табуретки, скамьи, стол и выбрасывал в окно, из которого уже успел высадить раму.

— Батюшки! Помогите! Не дайте все сгубить! — вопила Матрена.

А с крыши сарая раздавался голос Семки:

— Дядя Илья! Дядя Андрей! Дайте ему! Дайте ему взбучку!

Доломав и выбросив все, что можно было сломать, Иван деловито вышел во двор. Матрена опять исчезла где-то в темных углах двора. А Семка с крыши вопил:

— Вот подожди, я вырасту. Я тебе намну бока!

Зарычав, Иван схватил отломанную ножку стола и пустил ее в Семку. Сын успел спрятаться за конек крыши.

— Иван Степаныч, брось! Ты же его убьешь! — принялись уговаривать Ивана печник Селиванов и кровельщик Молодцов.

— И убью! И отвечать не буду. Кто я ему? Отец? А он меня какими словами?

Обеспокоенный шумом, на двор пришел сам хозяин дома Решетов — старик в очках, известных среди жильцов под именем «бараньих гляделок».

— Эт-та что? — сухим тенорком закричал он, и реденькая его бородка судорожно задрожала.— Эт-та что? Иван Острогоров опять шумит? Ай-ай, какое беспокойство добрым людям. Придется позвать Кузьмича.

Иван полез на Решетова с кулаками, тот, отмахиваясь суковатой палкой, убежал на улицу. А через полчаса усмирять пьяного буяна пришел постовой Кузьмич — детина такого же роста, как Иван.

— Пойдем, Ваня,— сказал Кузьмич тихим голосом и взял Ивана за руку.— Пойдем ко мне в гости.

Иван отмахнулся, встал в боевую позу.

— Ты что? Ты полтинники пришел зашибать? А? Полтинники? — заорал он.

— Пойдем-ка, пойдем,— цеплялся Кузьмич,— меня не трогай. Ни-ни! Ты знаешь, я — власть. За меня ответ строгий. Я тебя, Ваня, люблю. Ты малый хороший, но в пьяном виде больно шумишь, и я должен тебя наставлять на ум.

Иван орал, махал кулаками. А Кузьмич говорил тихо и в конце концов увел Ивана.

— Ишь, пьян-пьян, а ведь ни разу Кузьмича не ударил. Знает, что ответ будет строгий,— сказал печник Селиванов.

— Известно, пьян-пьян, а об угол головой не ударится,— согласился кровельщик Молодцов,— полтинники, говорит, пришел зашибать. Конечно, Решетов Кузьмичу пожертвует полтинник, а потом накинет на Ивана.

Решетовцы, тихо разговаривая, стали расходиться по своим углам. А Матрена и Семка собирали во дворе изломанную мебелишку и бросали ее назад в разбитое окно. И оба ревели...

Вот так и жили. У Матрены, кроме Семки, еще были дети, незаметно рождались и незаметно умирали в первые недели после рождения. И когда умирали, Матрена скупо плакала и сквозь слезы говорила:

— Бог прибрал от нашей жизни.

Чтобы не умереть с Семкой с голоду, Матрена кидалась на всякий грошовый заработок. Летом она выгружала из баржей соль, доски, сортовое железо, а зимой ходила по богатым соседям мыть полы и полоскать белье. В свое время она попыталась отдать Семку в приходское училище, и у Семки ничего было пошли дела,— хорошо стал учиться, но осенью Иван утащил и пропил Семкино пальтишко и башмаки, купленные Матреной на свои деньги.

Так Семка и отстал от ученья.

В двенадцать лет он уже ходил с матерью выгружать соль, «работал не хуже любой бабы», как говорила о нем Матрена. Был он крепкий, задорный, смелый. Зимой, когда кунавинские ребята устраивали драки с гордеевскими, Семка кидался в самую гущу. Была у него белая баранья шапка, и гордеевские прозвали его «Белой шапкой».

— Держись, ребята. Белая шапка идет!

С ним плечо в плечо становился Никита Расторгуев — тоже малый усадистый, кулаками молотил вроде кувалдами. И еще Колька Смирнов — верткий, живой, быстрый. Втроем они так нажимали на гордеевских, что под ногами снег таял.

В шестнадцать лет Семка выглядел таким же длинным и плечистым, как папаша, и был принят в артель грузчиков. Может быть, он так же стал бы пить, как пил его отец и пили все грузчики, потому что какой же он в артели товарищ, если бы не пил? Но тут грянула война, и жизнь стала решительно меняться. С войной «прикрыли винопольку», грузчики стали пить столярный лак, политуру и денатурат.

Как-то проходя по Нижнему базару мимо дегтярной лавки, Иван увидел у двери бак с керосином, взял фунтовый черпак, зачерпнул керосину и выпил... В лавке захохотали, стали отпускать соленые шутки. Какой-то дурак дал Ивану незажженную папиросу и спички:

— Закуривай, дядя!

Иван поднес зажженную спичку к бороде, борода вспыхнула — и обожженного Ивана на легковом извозчике полицейский повез в больницу.

Когда через полмесяца Иван появился на пристанях, его мало кто узнавал: он был безбород, худ и желт, как яичница. В полмесяца он постарел на десять лет и работал куда хуже прежнего.

— Вот... сдохну скоро, все нутрё не годится,— пожаловался как-то отец.

— А кто виноват? Сам грешил, сам и кайся,— жестко, без всякой жалости сказала Матрена.

— Да-а! Са-ам! Много ты понимаешь! — забормотал Иван.

— А кто же? Я, что ли, вливала тебе вино в глотку всю твою жизнь? Сам, поди, лакал.

Иван посмотрел на нее свирепо. Прежде Матрена от такого взгляда заметалась бы, как мышь, а сейчас просто посмотрела на него через плечо, не вынимая рук из деревянного корыта, в котором она стирала тряпки. Иван подавленно молчал. Ему хотелось кричать и спорить: не только он виноват, что жизнь его пропала «не за понюх табаку».

— Сам... сам,— бормотал он, мучительно отыскивая, кто же в конце концов виноват.

К зиме Иван поправился. Однако прежняя сила к нему не вернулась. И он думал — виноваты тут новые порядки, запрещающие продажу водки: если бы ему пить столько же, как прежде, он был бы такой же сильный.

Месяцы и годы потянулась война. Мобилизации хлестали страну. Жизнь на Волге постепенно стала путаться. Не только молодые грузчики, но и пожилые уходили — угонялись на войну. Волга безлюдела. Пароходы подвозили к Нижнему запасных

солдат, которые отсюда отправлялись дальше, на фронт, по железной дороге. Солдатские песни звучали грустно, как плач. И уже никто не верил в победу.

Когда в марте семнадцатого года докатилась в Нижний весть о революции и десятитысячной толпой сормовичи пришли с завода на Благовещенскую площадь — Семка Острогоров был в самой гуще толпы.

Он смотрел кругом точно проснувшийся. Что такое?

По какому случаю радуется весь народ? С восторгом и злорадством он смотрел, как по улицам вели арестованных полицейских и жандармов, вчера еще всесильных людей. Семен крикнул:

— Бей полицию!

На него оглянулись и остановили:

— Зачем бить? Их надо судить судом, а не самосудом.

В порту начались митинги. В длинных темных амбарах собирались грузчики. На первых порах речи им не давались:

— Это... как теперь... значит, мы вроде свободные граждане... то вот, значит, говори, ребята, как оно теперь и что.

«Ребята»— бородатые, огромные мужичищи,— как немые, беспомощно оглядывали друг друга.

— Вот ба... насчет прибавки. Хлеб-то стал дороже, а хуже. И морковь взять... ведь гривенник за штуку просят. Это думать надо!

— Верно! Давай прибавку!

Робкие митинги первых дней очень скоро сменились бурными собраниями вместе с судовладельцами.

Судовладельцы метались, как крысы, которым наступили на хвост, и сыпали словами, точно горохом:

— Да что вы, ребятушки, прибавки да прибавки? Это же разор всему судоходству. Кто нам будет кладь сдавать?

А здоровенные грузчики требовали:

— Прибавку давай!

Иван говорил дома, смеясь:

— Вот достукались жизни! Умирать не надо. Только выпивки маловато — самогон один...

А Семка хмурился и все оглядывался, не понимая, что кругом происходит. Он замкнулся, заугрюмел. Ему теперь шел двадцатый год, и мать собиралась его женить, советовалась с соседками, а те льстиво говорили:

— Такому молодцу невестушку можно подобрать первый сорт.

Раз вечером Семка пришел домой сердитый,— мать захотела развеселить его и заговорила о хваленой невестушке.

Семка посмотрел на мать и сказал небывало грубо:

— А ну их, твоих невестушек.

Мать от испуга уронила блюдо.

— Да это что с тобой, бессовестный? Матери такие слова?

Семка махнул рукой.

— Учила бы ты меня, когда надо было. А бабу себе я и сам найду.

— Как учила? Ты про чего говоришь?

Угрюмо и зло Семен сказал:

— Хожу как дурак. Люди про книжки говорят, про газеты. А я всему чужой. Ну? Даже читать вы меня не научили. Тоже родители называются!

— Ай, батюшки! Ай, родимые! Да нешто я тому виной? Не виновата я, прости Христа ради. Я тебе для училища башмаки купила, а отец пропил.

— Дать бы этому отцу раза́ хорошего! — пробурчал Семка, и лицо у него стало жестоким.

Мать даже испугалась: «Пожалуй, отколотит отца, не дай бог!» Когда отец пришел, Семка поспешно оделся и ушел, не сказав ни слова.

В августе в Нижнем Новгороде произошли крупные события: восстал местный запасный полк под влиянием работы большевистских агитаторов, отказался идти на фронт, требуя отправки буржуазно-помещичьих сынков, которые «работали на оборону». Временное правительство послало для усмирения из Москвы юнкеров. Полк приготовился к бою. Весь город был в страхе. Ждали, что юнкера начнут стрелять из пушек по кремлю. Солдаты раздавали винтовки всем, кто согласен пойти «против господ». У кремлевского арсенала толпились рабочие-сормовичи и курбатовцы, грузчики и Семка с ними. Тут он впервые взял винтовку. В решительный день, когда юнкера на броневиках подъехали к городу, Семка вместе с солдатами и рабочими пошел их встречать. Юнкера были сломлены в один час и обезоружены. Их повели в город по мосту. Увидев близко сытые господские лица, аккуратные фуражки, новые шинели и блестящие сапоги, Семка вдруг озлился, сунул свою винтовку товарищу и начал бить юнкеров кулаками. Его удержали. Свои кричали на Семена сердито, хоть иногда и смеялись. Парень с дерзкими серыми глазами крепко взял его за руку, отвел в сторону:

— Подожди, товарищ, успокойся.

— Как успокоиться? Они на нас пушками да пулеметами, а мы успокойся?! — кричал Семка.

Парень отвел его дальше, принялся расспрашивать, кто он, где он живет...

К вечеру Семен вернулся домой радостный: в нем бродили задор и дерзость, потому что он узнал, как надо держать винтовку. В ту исключительную осень судоходство на Волге спуталось еще задолго до конца навигации. Судовладельцы отказывались платить команде и грузчикам, пытались пораньше увести свои суда куда-нибудь в тихие гавани, вроде Василёва,

Алексеевки, Балакова. Солдаты, покинувшие фронт, захватывали пароходы и силой заставляли команду плыть от города к городу. Работы в нижегородском порту прекратились. Грузчики ходили без дела. Казалось, Волга умирает.

Однажды в осенний вечер Семен возвращался домой. Нудный дождь поливал пустую грязную улицу. Вдали в сумерках виднелось кладбище с голыми деревьями. Вороны летели из города ночевать на кладбище, и ветер задирал их перья. Мокрый и раздраженный, Семен лениво шел домой.

С утра бродя по пристаням, он вымок и теперь злился неизвестно на что. Он плохо понимал, что делается кругом. Каждый день у грузчиков закипали споры почти до драки: «Не было революции — была у нас работа. А теперь вот у вокзала стойте, как нищие на паперти,— не дадут ли пассажиры чемоданчик отнести?»

Переваливаясь, ощущая непомерную тяжесть, Семка шел злой, как волк. Из-за угла вывернулся быстрый человек и разом остановился перед Семеном, будто на столб натолкнулся.

— Ба! Здорово, товарищ!

Семен присмотрелся. Это был тот самый, сероглазый, что когда-то после стычки с юнкерами расспрашивал его, кто он и где живет.

— Вот тебя мне и надо.

Он глядел в лицо Семену открыто, весело, и Семен улыбнулся впервые за день.

Парень заговорил о буржуях, о господах, спросил, согласен ли Семен взяться за винтовку.

— Мы собираем отряды Красной гвардии. Ты хочешь записаться?

И Семен ответил стремительно:

— Конечно, хочу!

Они быстро пошли назад, к ярмарке, и теперь Семен шел легко и весело.

В маленькой гостинице, каких бесчисленное множество было на ярмарке, шла запись в Красную гвардию. Сероглазый познакомил Семена с черненьким бойким товарищем в матросской форменке.

— Острогоров? Подожди... Острогоров, Острогоров... что-то фамилия очень знакомая. Это не родственники тебе грузчики Острогоровы?

— Я сам грузчик. И отец у меня грузчик. И дед был грузчиком.

— А-а, ну теперь знаю! — прервал черный.— Потомственный почетный пролетарий. Очень приятно... Так это твой отец пронес колокол в двадцать пять пудов целую четверть версты?

— Он его из трюма один вынес.

— А это нешто труднее?

— Знамо, труднее. Попробуй-ка по трапу подняться...

Черненький посмотрел на Семеновы плечи, на кулачищи и засмеялся. Потом он торопливо записал что-то карандашом в ученическую тетрадку.

— Ты приходи сюда к нам... каждый день. Мы подробнее с тобой поговорим. Может быть, тебе доведется взять груз потяжелее колокола...

Семен отошел от стола, остановился у стены, присматриваясь. В комнате толпилось десятка два матросов и рабочих. Молодой мужик с рыжей бородкой, в лаптях, что-то шепотом говорил трем солдатам. Все были сдержанными, эта сдержанность не понравилась Семену: он ждал, что здесь будет буйно и весело, как в ватаге Степана Разина,— о чем поется в старинных волжских песнях. А тут тихо, сурово... Он насторожился. Сероглазого не было в комнате, а чернявый усердно писал. Семену стало не по себе, и, никому не говоря ни слова, он ушел. «Вот они какие... большевики. С ними надо с опаской».

Однако утром на другой день он опять пришел и тут увидел: все будто переродилось — все возбуждены и говорливы.

Сероглазый пробежал мимо с револьвером у пояса и на бегу крикнул Семену:

— Слыхал? В Петрограде началось!

И скрылся в соседней комнате. «Что началось?» Семен прислушался, о чем говорят. В Москве из пушек стреляют. Офицеры и юнкера заперлись в кремле.

И точно кто толкнул его в спину, он шагнул к тем, кто говорил, и спросил властно:

— А мы... поедем?

— Куда?

— В Москву. Юнкерей бить?

— Нет, мы должны здесь приготовиться. Разве ты не слыхал? Здесь тоже собираются буржуи выступить.

— Ага. И у нас? А мы что?

— Вот и думаем, как с ними поговорить.

— Что же думать? За манишку их да под ноготь.

Кругом засмеялись.

— Верно, товарищ! За манишку!

Кто-то хотел хлопнуть его по плечу, но до плеча не дотянулся, хлопнул по руке.

— А ты уже винтовку взял?

И сразу будто заборы упали — все заговорили с Семеном, шутливо, с прибаутками:

— Такому богатырю на одну руку сто юнкеров подавай.

Уже через полчаса, с винтовкой на плече, подпоясанный новеньким солдатским ремнем, на котором висели патронные сумки, Семен шагал в толпе красногвардейцев из Кунавина в город. И знакомое чувство решительности и задора захватило его от маковки до пят.

В этот вечер он не вернулся домой ночевать. И не возвращался... вплоть до двадцать второго года, когда кончились все фронты, а красноармейцы были отпущены по домам. Буйным и вместе твердым шагом прошел он по всем фронтам. За четыре с половиной года побывал он и в Сибири, и на Украине, и в Крыму, и на Кавказе... Оглушительно пел он тогда простую, но победную песню:

Мы сме-е-ло в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе-е-е за это!

В конце голодного двадцать первого года он полтора месяца валялся в тифу в лазарете маленького украинского городка,— вышел из лазарета худой, высокий, костлявый... Тут его потянуло домой, к себе на Волгу.

Миллионы тогда было таких, как Семен,— смелых, решительных, но незаметных героев, которые на своих плечах несли великие пролетарские походы и их славу, а после походов вернулись к своему прежнему труду — спокойно и незаметно.

Четыре с половиной года Семен не был дома, а эти годы и для него, и для отца с матерью были как десятки лет. После долгих блужданий по Кунавину (теперь пригород стали называть Канавино) он наконец вошел во двор дома, где, как ему указали, жили Острогоровы.

В пустом дворе седой, согнутый старик разбивал колуном винную сорокаведерную бочку. Семен крикнул:

— Здорово, дедушка! Не здесь ли живут Острогоровы?

Старик обернулся. У него были очень широкие плечи, седая смятая борода закрывала лицо.

— Эва, дедушка! Да нешто я тебе дедушка? — сказал он и бросил колун.

— Тятя! — испугался Семен.

— Кхе-кхе... Знамо, тятя! Аль уж я так постарел?

С крыльца сбежала Матрена, закричала на весь двор:

— Семушка! Родной мой! А я уж и не чаяла тебя в живых видать.

Матрена изменилась мало, все такая же была высокая и костлявая. Со скупой суровостью все трое — очень непривычные к ласкам — поздоровались. Матрена всплакнула и сквозь слезы позвала:

— Чего же мы стоим на дворе? Пойдемте в избу.

Иван поднял колун и, выпрямляясь, закряхтел, как дряхлый старик.

В комнате было так же пусто, как бывало, но на полу лежала дорожка, сотканная из тряпок, и Семен вспомнил, что, когда он был маленький, мать часто ткала такие дорожки и продавала на базаре. Бывало, пьяный отец рвал их в клочья.

Это воспоминание больно кольнуло, и Семен уже грубовато, обычным голосом спросил:

— Ну, как живете-то?

— Да ведь живем,— вздохнула Матрена и запнулась.

А Иван многословно, монотонным голосом начал рассказывать, что дела повсеместно сократились. «Волга будто не живая», только и заработки, что у вокзала.

— Силов-то прежних нет,— вздохнула Матрена.

— Колотье у меня во всем теле,— пожаловался Иван,— теперь пять пудов насилу подымаю.

— А ты-то что такой худой? — спросила Матрена сына и опять заплакала.— И покормить-то тебя нечем, горе мое горькое! Вот отец разобьет бочку, печь затоплю, сварю картошки. Вчера в Совете бочку дали на дрова. Через всю улицу так и катили ее вдвоем. Живем трудно...

Семен нахмурился. Он видел: старики в самом деле живут плохо.

На другой день Семен пошел в город, в Совет «требовать работы», вернулся только к вечеру, угрюмый.

Матрена сразу заметила его сдвинутые брови.

— Аль не дали?

— Дали. Буду старостой над сторожами на ярмарке. Жалованье положили. Паек будет.

Матрена обрадовалась: сторожа на ярмарке хорошо живут, потому что воруют доски, двери, окна, оконные стекла — продают мужикам. Такое воровство не считалось за кражу.

— Говори слава богу! — весело сказала она.

— Вот знал бы грамоту, меня бы на хорошее место поставили,— угрюмо забурчал он.— А то... старший сторож... только.

Мать мельком поглядела на отца. Тот виновато отвернулся. Мать вздохнула:

— Дружок твой Колька Смирнов — самоучка, а теперь за писаря живет в пристанской конторе. Умный-разумный парень... только одна беда — большевик.

Семен засмеялся:

— Умный-разумный, хоть и большевик?

— Да, хороший парень,— просто ответила Матрена, не понявшая, почему Семен засмеялся.

На новой своей работе Семен оказался очень деятельным. Обыватели в этот год уже оправились от разрухи военного коммунизма и принялись чинить обветшалые дома и строить новые. Ярмарка для них была местом добычи строительных материалов. Сторожа, соблазненные подачками, «отпускали» им и доски, и стекло, и кровельное железо, сорванное с крыш корпусов. Семен, как сокол на уток, налетал на сторожей:

— Воровать не позволю!

— Семен Иваныч! Да ведь добро-то купеческое. Аль ты за купцов стоишь? — вступали в спор с ним сторожа.

— Было купеческое, а теперь наше.

— А раз наше, бери и ты... и мы возьмем, сколько надо.

Семен неуклюже, но властно объяснял, почему нельзя брать, хотя это и наше.

— Вы свое государство обкрадываете. В одной Молитовке украли два миллиона пудов соли. Это как?

— А что ж нам, умирать с голоду? За соль мы хлеб покупали. Ты большевицку руку тянешь, а большевики сами говорят: при социализме бери, сколько тебе влезет.

Семен без дальних споров говорил:

— Вы вот что, граждане хорошие, идите-ка в контору, возьмите расчет. Нам таких ораторов не надо.

Сторожа-воры и через Матрену пробовали найти подход к Семену.

— Усовести ты его. Чего он так нос задирает! У такого доходного места стоит, а сам не берет и нам брать не дает.

Мать приступила было к Семену, а тот прямо закричал на нее:

— И ты за воров?

— Я не за воров, а только... ведь ты и сам таскал доски, когда мальчишкой был. Хорошо быть честным богатому, а у бедного какая честность?

— Старо, мать, старо! Теперь так не живут.

И обиженная Матрена потом говорила соседкам:

— Будто подменили его на этой проклятущей войне. Сладу с ним нет.

Два года Семен воевал на ярмарке. Бывало, в ночь-полночь посмотри, а он идет с берданкой за плечом: «Стой! Куда доску прешь?» В него даже стреляли два раза. Да такого не испугаешь. На фронтах всего видал.

Вскоре пронесся слух, что Семен стал похаживать в Молитовку к девке Марье Кувшиновой и хочет на ней жениться. Тут и сторожа, и Матрена обрадовались: женатому больше надо, его легче соблазнить. Действительно, Семен женился. Ждали перемены, а перемены не вышло, все такой же он был несговорчивый.

— Вот нашли чертушку! — ругались сторожа.— Наш брат Исакий, а сладу с ним нет.

В эти годы рядчики, собиравшие артель грузчиков, исчезли, как дым, а на их место появилось множество кооперативных артелей, где главными заправилами были ловкие, пронырливые дельцы. Дельцы обирали грузчиков не хуже былого рядчика. Грузчики иногда били их смертным боем, внушая

таким способом честное отношение к делу. Проклиная дельцов, грузчики говорили:

— Хорошо бы Семку Острогорова назад перетянуть. Пускай бы у нас был артельным. Свой человек — не обманет.

И при встречах звали Семена:

— Идем к нам. Мы тебя батырем выберем.

А батырь — по-татарски богатырь — у грузчиков староста, начальник.

— Что ты, Семка, от фамильного дела отбился? Отец твой, дед твой славой славились по всей Волге.

«Ох уж эта мне их слава»,— морщился Семен, но все-таки решил после раздумья и размышлений вернуться к своему фамильному делу.

Одна артель его звала — «иди к нам!», другая — «иди к нам!». Семен пошел в артель, которая работала на Молитовке.

С приходом Семена на Молитовку круг его жизни как будто завершился: грузчиком был, грузчиком и остался, и будто не было ни его походов по фронтам, ни бездомных костров в Сибири, на Дону и Крыму, ни страданий невысказанных не было. Грузчики в эти годы — как самый отсталый народ — жили малоизменившейся жизнью. Весь рост страны, вся перестройка шли мимо них. То же было пьянство (уже от себя, не от рядчика), те же драки — сперва «на любака», потом в полную силу и злобу. Жили грузчики по сараям и на сушилках у молитовских мужиков. И та же былая жадность осталась при расчетах. Семен даже удивлялся, до чего не изменилась жизнь у грузчиков за эти годы. Будто остановилась на каком-то далеком времени. Изменения, которые понимали и чувствовали грузчики,— это восемь часов труда вместо прежних с трех утра до шести вечера. И это Семен считал очень большим делом. Он помнил, как изломанный и измолоченный долгой работой возвращался, бывало, домой. Тут действительно «с устатку выпить бы».

А ныне после восьмичасовой работы все время твое и праздник весь твой! Подымайся, держись, расти, учись... И Семен принялся учиться.

Сначала не по себе, неловко было ему: «Маленького не учили, а дылда вырос, сам пошел учиться». И еще: сидеть пришлось рядом с бабами да девками, что гурьбой пришли учиться. Чудно! И чтобы не очень стыдно и не очень скучно было, он и жену соблазнил учиться,— сынишку оставляли с бабкой — жениной матерью. И еще десяток грузчиков, помоложе, он уговорил пойти в школу.

Так тихо потянулась жизнь месяц за месяцем, год за годом.

Опять пошла молва об Острогорове по всей нижегородской пристани; острогоровская артель лучшая в порту — меньше пьют, не воруют, работают чисто... Грузчики сами набивались к нему: «Возьми нас к себе в артель. За тобой мы как за каменной стеной».

И Семен выбирал тех, кто был ему по сердцу.

Может быть, так оно и пошло бы — мирно, спокойно, обычно, без больших перемен. Мало ли честных жизней проходит незаметно?

Однажды к Семену на причал пришел его прежний товарищ Колька Смирнов — ныне Николай Иванович, помощник заведующего участком. Они вспомнили, как в детстве босоногими мальчишками бегали по ярмарке, поговорили о Никите Расторгуеве, что теперь работает горбачом в острогоровской артели, о теперешней жизни, о том, что на заводах стали работать по-новому, по-ударному.

— Я так понимаю,— сказал Смирнов,— ныне у нас новая волна революции поднялась: первая была, когда царя свергли, вторая — буржуя свергли, третья — фабрики и землю взяли, четвертая — кулака изгнали, пятая — вот теперь, когда на всех фабриках и заводах стали работать по-ударному. Как у вас, есть ударники?

— Как же, ударники есть,— криво усмехнулся Семен,— по бутылке ударяют очень даже хорошо.

— Нет, в самом деле? — поднял густые брови Смирнов.

— Какие ударники? Работают, как мой дед работал.

Семен пожаловался на грузчиков — народ отсталый: водку пьют, как прежде, и жен колотят, как отцы и деды колотили.

Смирнов нахмурился.

— Да. Я вот читал... В пятом году грузчики были самыми ярыми погромщиками. Сормовичей ловили на Балчуге, убивали. Ты, чай, помнишь? Торговцы угощали их водкой, а они громили.

— Теперь не то.

— Знаю. Да, вот что... ты бы повел своих грузчиков на собрание... говорят об ударниках, о соревновании. Ты сам-то, поди, уже был?

Семен смущенно усмехнулся.

— Не был!

— Да ты что, брат? Аль пружина ослабла? Забился в свою нору, как сыч в дупло. Так нельзя. На широкую воду плыви! Ну? Вся страна вроде как на гору поднимается, а ты — «не был». Отец-то у тебя что делает?

— А он в караульщики поступил. Теперь не пьет. Какая его жизнь? Стар, ноги запухают.

— Вот тебе! Непомерная сила была. А для чего истрачена? Нет, мы не должны так жить. Гляди-ка, гляди, что началось у нас на Волге. Пароход соревнуется с пароходом, пристань с пристанью.

Семен смотрел на приятеля и про себя посмеивался: такой же он остался, как в детстве, задорный, вроде воробья скачет: «чиль-чиль, чиль-чиль».

Эта встреча заставила его задуматься. Вечерами, читая свою водницкую газету, он видел: в газете много говорится об ударни-

ках, о соревновании. Прежде он пропускал такие заметки, не читая, они не касались грузчиков.

«Новая волна революции...» Чудак!

Как-то вскоре после того, вечером, перед концом работы, начальник молитовского участка вызвал Семена к себе в контору. В конторе сидел молодой парень с черными блестящими глазами, в серой кепке и серой рубашке с мягким воротником. Был он щуплый и легкий.

— Вот это наш батырь Острогоров,— сказал парню начальник участка.

Парень встал навстречу Семену, протянул руку, засмеялся:

— Теперь батырей нет, теперь бригадиры. Так это ты, бригадир Острогоров? Очень хорошо. Я, значит, к тебе... как бригадир грузчиков с третьего участка, вызвать пришел тебя на соревнование...— Он заговорил бойко, будто вслух читал газету, и бойкое было во всей его поджарой фигуре, и в серой кепке, и в черных дерзких глазах.

«Ах, ты (Семен про себя обругался), тварь ты бесхвостая... да я тебя...»

Дерзкие слова обидели Семена. Он слушал, нахмурясь. Этот малец, надо полагать, пешком под стол ходил, когда Семен бился на фронтах гражданской войны.

— Так вот, товарищ Острогоров, мы и вызываем вас на соревнование. Принимает ваша бригада или нет?

— Принимаю, да,— глухо проговорил Семен,— сперва, знамо, я поговорю с товарищами... ну, думаю... они согласятся.

— Может быть, мы сейчас поговорим? Вместе бы?

— Конечно, конечно! Поговорить надо сейчас,— оживился начальник участка.— Созывай своих, Семен Иванович!

Семен вышел из конторы очень легкой и очень быстрой походкой, яростно ругаясь про себя. В этом вызове ему чудилось что-то обидное. Как? Ему? Этот... этот гвоздик?

В полутемном пакгаузе собрались все пятьдесят три грузчика — горбачи, выставщики,— вся Семенова артель. Юнец заговорил вольно, с вызовом. На него смотрели угрюмо:

— К чему оно нам, твое соревнование? Баловство? Мы и так работаем неплохо!

— А вот посмотрим, кто лучше! — грозился юнец.

— Кишка у тебя тонка. Ты гляди-ка, у нас какой батырь!

— А что, ребята,— сказал Семен,— нешто мы хуже их сработаем? Что они больно задорятся? Давайте-ка им нос утрем.

Так началась у грузчиков новая полоса жизни.

Через день очень робко водницкая газета написала про «бригаду Острогорова» — так теперь стали называть артель: «Бригада Острогорова включилась...»

Утром начальник участка принес газету на причал, где грузчики выкатывали из трюма баржи бочки с цементом.

— Видал? — отрывисто спросил начальник и подал Семену развернутую газету.

Семен снял голицы и взял газету. «Бри-га-да Ост-ро-го-ро-ва». У него перехватило дыхание. Вытаращенными глазами он поглядел на начальника. Лицо вытянулось, брови полезли на лоб.

— Это... это первый раз в жизни. Героем, можно сказать, на войне был, и то не печатали, а тут... Ух, елки зеленые! — сказал он.

Начальник засмеялся. «То-то, брат! Теперь гляди в оба!» И пошел прочь, припадая на левую ногу. Семен, размахивая газетой, как флагом, побежал на баржу.

— Ребята! Про нас пропечатали в газете! — крикнул он.

В нем заговорило что-то молодое, задорное и непривычно шумное. Грузчики оборвали работу, сгрудились, по-детски заглядывали в газету. Маленький, вертлявый грузчик Володька восхищенно воскликнул:

— Вот здорово!

А бородатый Хмелев, узнав, в чем тут дело, вдруг пошел в сторону от толпы:

— Баловство одно. Делать им нечего.

И дойдя до люка, крикнул злобно:

— Ну, чего встали? Вам побасенки слаще работы? Суревнователи!

Грузчики пошли по местам, но весь день потом много было разговоров.

— Восемь тонн обработать в день на человека. Нешто возможно?

— Не восемь дадим, а десять.

— Будет верещать. Чего нельзя, так нельзя — в затылок себя не поцелуешь.

— Аля-ля-ля! Бери, бери, бери! — задорно крикнул Володька и загремел железной тачкой, спускаясь по трапу с высокой баржи.

— Бери, бери! Аля-ля-ля! — тотчас откликнулся голос с берега.

— Ходи ходором! — оглушительно рявкнул Васька Буков — буян и пьяница.

— Вира-а! Майна! Скорее, черт сопатый!

На барже, на берегу, на мостках задорный шум поднялся тучей. Шестипудовые бочки цемента одна за другой вылетали из трюма и на тачках вереницей мчались на берег. Мостки гулко гудели под ногами и колесами. Низко сгибаясь, грузчики с тачками лезли на яр. Семен схватил пустую тачку и бегом пустился с яра на баржу.

— Майна! Вира!

Двое выставщиков ловко повернули выхваченную из трюма бочку, положили на Семенову тачку.

— Клади другую! — крикнул Семен и сбил картуз на затылок.

— А-а! Берегись! Гляди, две попер! Ай да наши!

Единым духом он вынес тачку на яр к дверям амбара.

Здесь он оглянулся. Вереница тачек ползла с баржи. На некоторых лежало по две бочки. Серая пыль стояла над мостками. Легкий ветер уносил ее прочь. Пыль тяжело садилась на воду. Все кругом было спокойно — Ока, горы за Окой, Волга и город вдали... только на барже и мостках необычный стоял шум.

Вечером, когда пошабашили, грузчики столпились у конторки, где шел подсчет. Бородатый Хмелев сказал:

— А чего ждать? Сколько выгрузили, то и наше. Завтра узнаем.

Он повернулся уходить. Никто не поглядел на него. Хмелев нерешительно остановился. Семен с бумагой в руке вышел из конторки. Он поднял бумажку высоко над головой:

— Четыреста двадцать тонн, ребята!

И разом вспыхнул веселый говор:

— Это здорово! Это да! Знай наших! По восемь тонн на рыло!

— А заработали по тридцать два рубля на человека! — крикнул Семен, выждав, когда шум чуть улегся.

На момент все смолкли.

— Сколько? — со странным испугом крикнул кто-то.

— Тридцать два рубля.

— Не может быть!

Хмелев подошел ближе и недоверчиво усмехнулся.

Взволнованный уходил в этот вечер Семен с пристани домой. Тридцать два! Ведь это, если подсчитать на месяц, так это девятьсот рублей будет! Го-го-о! Значит, недаром ходят разговоры, что ударники на заводах зарабатывают по сотне в день.

Высокий, прямой, он шел, выпятив грудь. И ему казалось: нынче день похож на праздник. Марья, взглянув на мужа, сразу заметила его веселость и нахмурилась.

— Аль в трактир заходил? — сварливо начала она.— По отцовой дорожке пошел?

— Чего бормочешь? — удивился Семен.

— По какому случаю выпил?

— Чего выпил? Воды?

— Веселый больно!

Семен засмеялся... Нельзя не быть веселым, ежели такая победа. Тридцать два рубля — это что? У Марьи глаза засветились, и тотчас она забегала, засуетилась,— скорей готовить ужин.

Хоть и устал Семен, а не спал полночи: прикидывал, как сделать лучше. Работать можно по-всякому. Можно работать — все кипит-горит. А можно работать — мухам смерть. «Ежели поставить Никишку и Петьку Бирюка на укладку бочек, они бы ловчее»... «Что кому дано — кому сила, кому ловкость».

И на следующий день он властно распоряжался: Никишку

и Петьку Бирюка поставил принимать бочки, а Хмелева — на укладку досок, по которым тачки въезжали на первый ряд бочек, потом на второй, на третий, на самый верх яруса. Прежде этим занимались сами грузчики: подъедет и положит доску. Это отнимало минуту, две у каждого. А Семен понимал: *хочешь хорошо работать — считай минуты.*

— Давай! Давай! Давай! — гремело весь день и на мостках, и на берегу, и на барже.

— Майна! Майна! Вира-а! Давай — пошевеливай!

В картузах, в шляпах, с расстегнутыми воротами рубах, грузчики живым гужом тянулись на берег; нагруженные тачки ворчали глухо на гнущихся мостках. А с берега бежали бегом, пустая тачка гремела звонко. С баржи поднималась пыль.

Никита Расторгуев, похожий на копну, рыжебородый, встречаясь на мостках с Семеном, орал задорно:

— Бей гордеев!

Он намекал Семену на прошлое, когда они, мальчишками, били гордеевских ребят.

В обед на пристань пришел черный кудреватый паренек в белой рубашке и белых брюках, спросил бригадира Острогорова. Семена он встретил на пристани. Тот вез тачку с двумя бочками. Семен повернул тачку в сторону, чтобы дать дорогу другим, спросил торопливо, в чем дело. Паренек в белых брюках сказал, что он от газеты — пришел узнать, как идет работа.

— Идет, идет работа! Вчера восемь с четвертью выработали, сегодня дадим больше! — бодро крикнул Семен и наклонился к тачке, повез. Паренек в белых брюках побежал за ним с записной книжкой в одной руке, с карандашом в другой:

— А сколько выработали в рублях?

— Тридцать два! — крикнул Семен не оборачиваясь.

— На человека? — бежал паренек.

— Не на артель, знамо!

Так под грохот тачек, перекликаясь, они добежали до амбара. Паренек остановился у дверей дожидаться, когда Семен сгрузит свои бочки. На минуту Семен остановился возле него.

— Вечером приходите, товарищ! Видно будет, сколько дадим. Похоже, много дадим.

И улыбнулся, показывая белые широкие зубы, загремел тачкой вниз, под яр, на мостки. Паренек подождал его, Семен вывез тачку на яр.

— А как вы готовите рабочее место?

Семен удивленно посмотрел на него:

— Какое рабочее место? Подождите-ка, я отвезу сперва.

Вернувшись из амбара, он отодвинул тачку в сторону, спросил, что такое рабочее место. Паренек рассказал про бригадира с третьего участка. Вот тот действительно умеет готовить место. Семен смотрел на него ястребом.

— Вон как! Это надо обдумать. Спасибо, товарищ, что на мысль навели.

Он пожал пареньку руку и помчался с тачкой вниз, на баржу. Паренек постоял, посмотрел, что-то долго писал в книжку.

В тот день «взяли» по девять с половиной тонн на человека — по тридцать восемь рублей.

А еще через три дня паренек в белых брюках привел с собой лохматого фотографа с аппаратом, тот густым басом попросил Семена постоять:

— Сделайте вид, что везете тачку.

Семен «сделал вид», вышло у него неловко, будто он в первый раз взялся за тачку, но фотограф пробасил:

— Благодарю вас, все в порядке!

Маленький Володька фыркнул и, зажимая рот ладонью, побежал в амбар. Потом он, встречая бригадира на мостках, кричал басом:

— Благодарю вас, все в порядке.

На следующий день в газете водников была статья в половину страницы под глазастым заголовком: «Победа бригады грузчика Острогорова». И снимок был: кто-то с лицом негра неловко вез тачку по мосткам,— «бригадир Острогоров показывает образцы работы».

В бригаде как? *Если хочешь, чтобы хорошо работали другие, работай сам лучше всех.* «Черта ли ты указываешь, если сам работать не умеешь. Сам дай работу!» Эту простую истину Семен знал нутром. На крану, на тачке, на подкладке досок, на переставке мостков — он брался за все сам, и все у него кипело-горело.

— Аля-ля, давай, давай! Майна! Вира!

«Мы им покажем, этим молодцам в белых штанах!»

С некоторой тревогой он ждал дня получки. А вдруг все запьют? Ну, если не все, так некоторые? День, два могут пролететь, и тогда какое тут к черту соревнование!

В день получки работали неровно, много раз допрашивали Семена: сколько же получим?

— Да подождите, дьяволы, сами увидите! Пристают, как ребятишки.

Вечером каждый грузчик получил вдвое против обычного. Эти бородатые дяди, похожие на медведей, подмигивали, смеялись, шутили. Даже хмурый Хмелев, засовывая в кошелек кучу бумажек, сказал:

— А ничего, жить можно!

Никита Расторгуев с картузом стал обходить грузчиков:

— Ну-ка, ребята, клади по пятерке на построение выпивки! Праздновать, так праздновать! Ныне много огребли.

Он подошел к Семену.

— Кладй, бригадир.

Семен заколебался: положить — значит одобрить пьянство, не положить — товарищи обидятся. Нет уж, надо приставать к одному берегу.

— Не положу.

Расторгуев сразу обозлился:

— Это что? От артели отстаешь, Семка?

— В выпивке от артели отстаю.

И, отвернувшись от Расторгуева, пошел на берег.

Расторгуев яростно плюнул ему вслед.

— Начальника строишь? Это мы поглядим.

Семен резко повернулся, широкими шагами подошел к Никите.

— Чего глядеть? Ну? Вот тебе глядеть надо — это верно. Будешь сбивать артель на выпивку — мы покажем тебе дорожку на берег. Понял? Ну, так вот. Собирай, да помни.

Стычка очень взволновала Семена. Грузчики, конечно, не барышни, не институтки, грубость у них обычна.

Однако: «Начальника строишь?» Куда хватил! А еще старый приятель!

Поднимаясь на обрыв и потом шагая по песчаным улицам Молитовки, Семен все раздумывал о стычке. «Как-то надо исправить жизнь? Грузчики — народ без устоев,— это правильно. И не надо бы их соблазнять. Не надо бы, например, у самой пристани продавать вина. А то смотри-ка, в каждой винной лавочке на дверях висит зазывающий плакат: «Продажа водки стопками». Не хотел бы, да забежишь.

И опять же этот табак... через каждые четверть часа слышь-послышь крик на барже, на мостках, на берегу, у амбара: «Закуривай-ай!» И четверть часа сидят, курят. На языке грузчиков это называется «сделать залог» — отдых. А какой же отдых, если человек вместо чистого воздуха дышит смрадным табачным дымом?»

Домой он пришел озабоченный, суховатый, даже забыл купить ребятишкам гостинец, как это делал каждую получку.

Марья, увидев мужа с пустыми руками, посмотрела на него испуганно:

— Аль деньги не получил?

Семен молча вынул толстую пачку бумажек.

— Это что же? Это что же такое? — забормотала Марья, переводя глаза то на мужа, то на пачки денег.

— Ну, закудахтала! — махнул рукой Семен и засмеялся.

Утром случилось то, чего боялся Семен: семеро не вышли на работу. «Где?» — «Известно где, закурили!»

Семен промолчал, сцепив зубы. Зато заругался вертлявый Володька:

— Мы работай, а они пьянствовать!

И ворчал мрачный Хмелев:

— На чужом горбу к обедне ездить хотят... Какая тут, к дьяволу, премия, ежели сразу семеро не работают! Тоже бригада называется!

Перед обедом на яру, возле амбара, вдруг появился Расторгуев. В расстегнутой красной рубахе, без пояса, лохматый, без картуза, он встал, широко расставив ноги, и заорал:

— Эй, начальники! Выходи все на одну руку!

У амбара, на мостках, на барже засмеялись, заулюлюкали, заругались.

— Вон он, Аника-воин!

И Семен сердито засмеялся. Ух, сколько он видел таких богатырей! Это бревно поперек дороги.

— Выходи на одну руку, Семка! Ну? — орал Расторгуев, засучивая рукава.

Грузчики с тачками хохотали и ругались, но никто не остановился, все цепью тянулись по мосткам и берегу. Расторгуев пьяными кривыми шагами подошел к цепи.

— Ну? Выходи!

Он остановился перед тачкой Хмелева, схватил Хмелева за руку, дернул. Хмелев закричал:

— Ты что? Драться?

Трое грузчиков подскочили к Расторгуеву, взяли под руки. Тот вырвался, полез в драку. Цепь остановилась на мостках и на барже, и десятки глоток заорали сердито:

— Дайте ему взбучку, чтобы не лез! В воду его, черта! Сам не работает и другим не дает!

В одну минуту Расторгуева схватили, скрутили, увели за сарай, за ворота, дежурному милиционеру приказали: «Не пускай».

— А-а-а! — ревел Расторгуев на улице.— Все на одного? Я вам покажу!

После работы, как и каждый вечер, собрались на минуту у конторки узнать, сколько сработали. На каждого — больше, чем вчера, но на всех — меньше. И куда меньше!

— Какая тут премия! Поговорить бы надо: или работа, или пьянство. Таких из бригады вон! Верно! Гнать к чертям! Ты вот что, Семен, ты поговори с ними построже.

Когда наутро Семен пришел к пристани — за час до начала работы, чтобы все подготовить,— его встретил Расторгуев — с красными глазами, с мокрой головой:

— Я, слышь, вчера набедокурил. Ты уж не вспоминай, браток!

Семен пристально взглянул на него. И вдруг увидел красные глаза... отца. Вот так же когда-то отец с похмелья бывал смущен ненадолго, а вечером опять буйствовал и дрался.

— Ты не со мной разговаривай, а с бригадой,— жестко сказал Семен.— Вот сейчас соберутся, ты и поговори.

Расторгуев сразу заугрюмел, глаза глянули остро, брови сошлись.

— Ага! Рассердились? Чего это им сердиться? Все одним миром мазаны. Все пьяницы. А в пьяном виде чего не сделаешь? Тут кто-нибудь подстроил. Я узнаю кто.

Он косо, волчьим взглядом посмотрел на бригадира, пошел на берег, глубоко засунув руку в карман, вытаскивая оттуда деньги.

Пока Семен торопливо обходил баржу, причал и амбар, Расторгуев тоже торопливо шел к винной лавке. Угрюмо-ласково он сказал знакомой продавщице:

— А ну, Авдотья Ивановна, отпусти-ка свеженькой литровку.

— Самая свежая! — шутливо улыбнулась продавщица и подала Расторгуеву бутылку водки.— Ты бы закусочки купил...

— На что? Я водку пью голую.

Расторгуев подмигнул, зашел за угол, оглянулся, нет ли поблизости милиционера, и залпом выпил половину бутылки.

— Ха-а! — дохнул он широко открытым обожженным ртом.— Крепка!

Он пошел к пристани и на ходу бормотал:

— Рассердились? Я вам покажу... я вам покажу, как из решета чай пить.

Как раз у конторки собрались все грузчики — на десятиминутное производственное совещание перед началом работы.

— Эй, вы, сердяги! — рявкнул Расторгуев.

На него оглянулись. Он выпил остальную водку и бросил бутылку с яра в толпу грузчиков. Бутылка пролетела через головы, ударилась в стену — осколки засверкали, как брызги.

— Ты-ы! Чалдон. Бурлацкого киселя захотел? — четыре десятка глоток заревели в ответ.

Расторгуев засучил рукава. Четверо подбежали к нему, и минуты не прошло — его волокли уже к воротам.

— Когда он успел нахвататься? — удивленно сказал Семен.— Полчаса назад приходил совсем трезвый.

— Умеючи, нешто долго?

«Пожалуй, я виноват, надо бы просто поговорить, а я пригрозил...»

Перед его глазами мелькнула смущенная похмельная физиономия Расторгуева — и ему стало совестно за себя. В обед он нарочно пошел мимо винной лавки, надеясь встретить Расторгуева, поговорить. И встретил: Расторгуев мертвецки пьяный валялся за углом — головой в бурьян, лицом в землю. Огромные руки беспомощно раскинулись в стороны. Ох, как это было знакомо! Чувство злобы кольнуло Семена в сердце: «Валяется, как свинья в грязи!» И тотчас шевельнулась жалость: точно ли,

что человек сам виноват. Он вспомнил детство, мальчишку Никитку... Сам ли виноват?

На другой день Семен встретил Расторгуева уже у ворот пристани, где два милиционера сердито прогоняли его прочь:

— Вчера дрался и нынче драться пришел? Иди домой!

Семен подошел к нему, улыбаясь:

— Опять скандалишь?

Расторгуев оглянулся. Лицо его было измято, смущенно и сердито.

— Не пускают! Работать не пускают! — закричал он.

— Ну-ну, ребята, не обижайте мальчика. Он нынче скандалить не будет. Идем со мной.

Милиционеры посторонились. Старший сказал:

— Раз бригадир на себя ответ берет, мы пропустим.

Бригады еще не было. Семен принялся готовить «рабочее место» — проверять трюм баржи, расчищать место в амбаре, оправлять мостки. Он не сказал ни слова Расторгуеву. А тот — похоже — ждал руготни. И сам приготовился ругаться.

Длинные, двухвершковые, доски мостков были тяжелы, и Семен поворачивал их с напором. Расторгуев деловито принялся помогать.

— Га-га-га! Вот они, работники-то! — закричали на яру.

То подходили грузчики. Два, три заворчали было на Расторгуева — Семен оборвал резко:

— Будет вам! Нашли про что толковать! Аль с вами не бывает греха?

С середины июля на Верхней Волге и на Оке начинается обмеление, суда в Нижнем (ныне город Горький) паузятся, то есть часть груза с них снимается, а крупные суда разгружаются вовсе.

В тот год из-за небывалой засухи Волга обмелела до полуметра на перекатах. Работа грузчиков в порту приобрела особое значение. Бригады работали непрерывно день и ночь. Лучшим бригадам были обещаны крупные премии.

Бригады соревновались упорно. Семен придумывал все новые улучшения, добивался установки конвейеров с баржи на берег, заставил грузчиков носить голицы, потому что голой рукой, как он заметил, грузчики работали не так смело. Наконец он соединил грузчиков в звенья по пять человек — одинаково сильных и ловких — и расчет вел по выработке каждого звена. Так началось соревнование между звеньями уже внутри бригады. И самое было удивительное, что звено Расторгуева шло первым... Ого, что было, когда начинала работать бригада! Будто пожар пылал и на барже, и на берегу, и в амбарах. «Залоги» — то есть «минуты отдыха», «покурим!» — были редки: пять минут в час.

О бригаде уже говорили по всем пристаням города Горького, каждый день писала о ней газета, бригаду стали перебрасывать с одного участка на другой — на прорывы...

Первая декада сентября была объявлена на всем водном транспорте стахановской. На рейде перед городом и ниже города по Волге длинными рядами стояли баржи, ожидая перегрузки и разгрузки. Сентябрь — самый рабочий месяц у грузчиков: надо успеть все сделать до ледостава. Стахановская декада была объявлена вовремя. И в эту декаду бригада Острогорова постановила работать, не считаясь со временем.

— Все равно зима идет — зимой отдохнем.

Пятнадцатого сентября, вечером, в клубе водников было отчетное заседание — по стахановской декаде. Днем перед заседанием на причал к Семену пришел профорг. Поговорили о делах, потом профорг сказал:

— Вот что, Семен Иваныч, тебе придется ныне речь сказать. Приготовься.

Семен нахмурился: речей-то говорить он не любит, и не доводилось выступать на собраниях.

— Да уж ты как-нибудь. Понатужься,— засмеялся профорг.

— О чем же говорить?

— Мало ли о чем! Ну, скажи, как работали в декаду, как ты объединял людей в звенья, по каким признакам. Да, вот еще что,— ты знаешь, как жили грузчики прежде. Семья Острогоровых — известная семья. Скажи, как жили прежде и как теперь. Куда грузчики девают деньги... Ну, ты сам знаешь.

Семен смущенно почесал в затылке:

— Непривычный я в этом.

— А ты привыкай. Ты у нас знатным человеком становишься, говорить доведется.

И ушел.

Всю остальную часть дня Семен ходил как связанный. «О чем же сказать? Как живут грузчики? Вот Белов купил кровать за триста рублей — с шишками, с матрацем». Семен про себя засмеялся: «Нешто про кровать рассказать?»

В клуб пошли всей бригадой — пятьдесят два человека, а пятьдесят третья — Марья Острогорова — Семенова жена. Когда вошли в трамвай, она оглядела грузчиков и зашептала мужу на ухо:

— Гляди, гляди, как все оделись!

Семен оглядел всех,— в самом деле все оделись чисто, в новых пальто. «Нешто про одежу еще сказать?» — подумал он, все время мучительно подыскивая, о чем говорить на собрании.

Клуб водников помещался в большом здании на бывшей ярмарке. До революции здесь был ресторан. Семен помнил, как из окон, бывало, доносились пение и пьяные крики.

Сейчас полным-полно собралось грузчиков, пришли и на-

чальники участков, механизаторы, счетоводы. Перед эстрадой, заставленной пальмами, большим кружком сидели музыканты. Трубы их сияли под тысячесвечными лампами. В зале стоял сдержанный шум. У Семена забилось сердце, он оглянулся тревожно (мысль о выступлении мучила его, как заноза). Но кругом были все знакомые лица. Вот Бородулин Федор — бригадир со второго участка,— он все кричал, что «всем пить даст». При виде его Семен почувствовал прилив задора. Вот Николай Смирнов издали кивает головой. Надо быть дураком, чтобы при нем смутиться. «А, скажу что-нибудь»,— решил он и стал оглядываться уже спокойно.

Вдоль стены прошел представитель наркомата Дулейкин — высокий, худой. Здесь, среди грузчиков, он стал будто меньше ростом. Прошел инструктор политотдела.

— Все начальство нынче здесь! — зашептал кто-то позади Семена.

Представитель профсоюза водников открыл собрание. Музыка оглушительно сыграла «Интернационал». Председатель прочитал список, кого партком и профком предлагают избрать в президиум. И тут Семен будто прыгнул в холодную воду — такой дрожью обдало, когда председатель назвал его имя. Марья, сидевшая рядом, зашептала радостно: «Тебя! Тебя!» Семен торопливо толкнул ее локтем: «Молчи!»

— Какие изменения? Какие дополнения? — взывал председатель.— Товарищи члены президиума, прошу занять места.

Музыка заиграла веселый марш, пока там и здесь поднимались избранные и шли на эстраду. Представитель наркомата взял Семена за рукав, посадил рядом с собой — в первом ряду, прямо у стола. Семен положил было руки на стол, но они ему показались слишком огромными, и он спрятал их под стол, в складках красной скатерти.

— Товарищи! Основной доклад о работах горьковской пристани сделает представитель наркомата Дулейкин,— крикнул председатель.

Все глаза повернулись к Дулейкину, и Семен облегченно пошевелился. «А чего я робею?» — подумал он. И, чуть улыбаясь, посмотрел туда, где сидела Марья. Виднелась только половина ее лица. Марья заметила его пристальный взгляд, кивнула головой.

— На первое место в нашем соревновании вышла бригада товарища Острогорова, сидящего вот здесь! — говорил Дулейкин и, повернувшись к столу, показал на Семена.

В зале что-то грохнуло, будто повалился потолок. Сразу лица оживились, белые хлопающие руки замелькали, как птицы.

— Вы знаете, товарищи, Острогоров происходит из старинной семьи грузчиков Острогоровых, которая славилась издавна своей силой и буйством. Прошлую темную славу этой семьи

ныне сменяет светлая слава нашего прекрасного работника, бригадира...

В зале опять загрохотали хлопки. У Семена билось сердце.

— Нами постановлено выдать бригаде Острогорова первую премию в десять тысяч рублей...

— Урра! Браво! — закричали в зале.

Дулейкин поднял руку.

— Из этих десяти тысяч одна тысяча присуждается персонально бригадиру Острогорову...

Музыка заиграла туш, и зал наполнился грохотом. Начальник пароходства встал со стула и, глядя прямо в лицо Семена, оглушительно аплодировал. Семен растерянно поднялся. Дулейкин с другой стороны тоже смотрел ему в лицо и неистово хлопал. И со всех сторон — лица, лица, улыбки, хлопки, музыка.

— Браво! Урра! Острогоров!

Семен, беспомощно улыбаясь, стал кланяться. Он плохо понимал, что происходит.

Но вот шум стал стихать, все опять сели на места. Дулейкин опять закричал в зал:

— Вторая наша премия, пять тысяч рублей, выдается женской бригаде Илюниной.

И опять гром, музыка, шум. Илюнина поднялась красная, с блестящими глазами. Семен тоже встал, захлопал огромными ладонями... И дальше все пошло проще — речи, музыка, шум в зале. Говорил начальник пароходства — опять с особенным почетом о бригаде Острогорова, потом инструктор политотдела... Председатель нагнулся к уху Семена, сказал шепотом:

— Сейчас твоя очередь.

— О чем же сказать?

— Скажешь, как работали. И о прошлом скажи. А вот теперь ты... (Он поднялся.) Товарищи, слово имеет бригадир Острогоров.

Весь похолодевший, подошел Семен к трибуне.

— Теперь... я скажу, как мы работали,— хрипло начал он и дважды кашлянул.— Конечно, до стахановского движения мы работали по старинке, как мой дед и отец работали. А тут разговор пошел — ударники, стахановцы, рабочее место. Я сперва и не знал, что это такое...

Он рассказал, как бригадир с третьего участка вызвал его на соревнование, как он ругался про себя, оскорбленный, как научился готовить рабочее место, следил за работой товарищей, объединял в звенья, «равный к равному».

— О прошлом расскажи! — крикнул молодой голос из зала.

— А чего рассказывать? Ныне и вспоминать не хочется. У деда моего, и прадеда, и отца только и праздника было, что водка. Это вы знаете. Я лучше расскажу, как теперь мои товарищи по бригаде живут...

В зале примолкли, сотни глаз глядели в лицо Семену.

— Бывало, рядчики спаивали бурлака,— бурлак за пол-

бутылку готов был поднять груз в двадцать пять пудов. Пьяный себя не берег. А ныне — себя берегут, людьми себя считают. И дома живут не так, как бывало.

И рассказал про кровать в триста рублей, про то, что грузчики ходят в театр, читают книги. И даже пятеро концерт ходили слушать — «заплатили по пять рублей за место».

Ему хлопали сильнее, чем Дулейкину. И он успокоился только тогда, когда заговорила Илюнина... В конце вечера начальник политотдела сказал, что переходящее Красное знамя присуждено бригаде Острогорова:

— Пусть лучшее звено этой бригады возьмет знамя!

Зал замер. Никто не шевельнулся. Председатель крикнул:

— Лучшее звено? Товарищ Расторгуев здесь?

Кудлатый Расторгуев поднялся из рядов.

— Где твое звено? Пусть товарищи идут сюда.

Еще четверо поднялись за ним, все полезли на эстраду, музыка играла оглушительно. Пять здоровенных мужчин вышли на эстраду. Инструктор политотдела подал Расторгуеву знамя. Расторгуев взял его обеими руками. Зал зашумел, как водопад. Семен поднял руку, и шум смолк.

— Обещаем никому не давать это знамя, держать его твердо в нашей бригаде.

Из зала крикнул кто-то с насмешкой: «Ну, посмотрим!» И опять гром аплодисментов и музыка. Расторгуев пошел с эстрады. Красное бархатное знамя высоко поплыло над головами.

Осенью, когда закрывалась навигация, Семен ездил в Москву на съезд водников как делегат грузчиков. До закрытия навигации переходящее знамя так и осталось в его бригаде. В горьковских газетах была помещена речь Семена на съезде в Москве — все о том же, как работали грузчики, как жили прежде и живут теперь. И о кровати в триста рублей тоже было. Газета поместила портрет Семена.

Со съезда Семен вернулся с двумя чемоданами подарков, чуть похудевший, но веселый, постриженный и причесанный. Это было утром, когда вся Молитовка работала. Поздоровавшись, он заторопил Марью, чтобы скорей дала завтракать:

— В союз просили прийти.

— Ну уж, подождал бы ныне ходить,— недовольно сказала Марья, посматривая на чемоданы.

Очень быстро она приготовила завтрак и, поставив его на стол, уцепилась за чемоданы. Стоя на коленях, она начала выкладывать подарки — книги, вязаную кофточку, отрез материи, патефон.

В тот же день слух о приезде Семена пронесся по всей Молитовке, а на другой день, с утра, лишь ушел Семен на работу, соседки гурьбой полезли к Марье в избу — узнать, что рассказывал Семен про Москву.

Мать Мараиха, видавшая на своем веку всякие виды, качала головой, удивляясь вслух:

— Вот времена! Семка-грузчик на одном плану с высоким начальством.

— Уж чего...— скромно вздохнула Марья,— теперь в газетах только и печатают, кто хорошо работает.

Весь день в избе одни соседки сменялись другими. Пришли и Матрена с Иваном — оба высокие, по-стариковски тощие. Иван хрипел, шел тяжело, опираясь на падог. И тотчас сел у стола.

— Еще здравствуйте. Давно у вас не были. Услыхали ныне, Семен приехал из Москвы. Вот пришли.

Сын рассказал про свою поездку.

Иван покачал головой, задумался. И сказал тихо, по-стариковски:

— Вот дела-то... какие. Жить бы теперь... глядишь, и я бы к настоящему делу пригодился. Сила у меня была больше Семкиной. А ныне... нет... ушла силушка.

*1937*

## СОДЕРЖАНИЕ

*В. Петелин.* А. С. Яковлев (1886—1953) . . . . . 3

**ЧЕЛОВЕК И ПУСТЫНЯ.** Роман

**КНИГА ПЕРВАЯ**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

I. У Змеевых гор . . . . . 12
II. Дом над Волгой . . . . . 17
III. У дверей в большую науку . . . . . 32
IV. Мгла . . . . . 42
V. Непонятный завет . . . . . 53
VI. Герой сменяет героя . . . . . 59
VII. Дерюшетта . . . . . 75
VIII. Ладья переплыла пороги . . . . . 87

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

I. За наукой . . . . . 96
II. Кровь зовет . . . . . 109
III. Мы — Андроновы . . . . . 116
IV. Суженую конем не объедешь . . . . . 128
V. Завоеватель . . . . . 145
VI. Жнитво . . . . . 160
VII. О богатстве праведном . . . . . 166
VIII. Удар по пустыне . . . . . 178

**КНИГА ВТОРАЯ**

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

I. Беспокойный человек . . . . . 184
II. Сима . . . . . 196
III. Всеобщая обида . . . . . 208

IV. Депутат . . . . . 219
V. Бунтари . . . . . 226
VI. Дома . . . . . 233
VII. Победа . . . . . 238
VIII. Либерал . . . . . 244
IX. Почет стучит в дверь . . . . . 257
X. Один в поле — воин . . . . . 271

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. Встречный ветер . . . . . 281
II. Тревога . . . . . 287
III. Камень дал трещину . . . . . 298
IV. Смута . . . . . 302
V. Сарынь идет . . . . . 320
VI. Последние встречи . . . . . 343
VII. Погибель . . . . . 356

## РАССКАЗЫ

Смерть Николина камня . . . . . 374
Мужик . . . . . 385
Лебеди . . . . . 392
В родных местах . . . . . 400
Жгель . . . . . 421
Цветет осокорь . . . . . 447
Воробьи . . . . . 457
Легенда . . . . . 464
Волчья ночь . . . . . 467
Последний выстрел . . . . . 474
Глухарь . . . . . 480
Слава семьи Острогоровых . . . . . 494

**Яковлев А. С.**

Я47 Человек и пустыня: Роман; Рассказы / Вступ. статья В. Петелина; Сост. и подгот. текста В. Яковлевой.— М.: Худож. лит., 1986.— 527 с.

В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.

Я $\frac{4702010200\text{-}245}{028(01)\text{-}86}$ 53-86

ББК 84Р7

**Александр Степанович Яковлев**

---

**ЧЕЛОВЕК И ПУСТЫНЯ.** Роман

**РАССКАЗЫ**

Редактор Т. Шурыгина
Художественный редактор С. Гераскевич
Технический редактор Л. Коротеева
Корректоры Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 4513

Сдано в набор 04.11.85. Подписано в печать А-11630, 24.06.86. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Бумага офсетн. № 1. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33+1 вкл.=33,06. Усл. кр.-отт. 33,06. Уч.-изд. л. 35,18+1 вкл.=35,23. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2221. Заказ № 5-461. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Книжная фабрика «Коммунист». 310012, Харьков-12, ул. Энгельса, 11.

А. ЯКОВЛЕВ